

МИТИН ЖУРНАЛ

64



ББК 84 (2Рос=Рус) 6-44

МИТИН ЖУРНАЛ

Издается с января 1985 года

Главный редактор: Дмитрий Волчек

Подготовлено к печати: Kolonna Publications

Руководство изданием: Дмитрий Боченков

Верстка: Сергей Фёдоров

Обложка: Елена Иванникова

© Митин Журнал, 2010

Благодарим Елену Головину за помощь в подготовке номера

Kolonna Publications. Россия, г. Тверь, ул. Л. Базановой, 20

Подписано в печать 20.01.2010. Тираж 800 экз. Заказ 3703

Формат 84 × 108/32. Объем 18,5 п. л.

Гарнитура FranklinGothicBook. Подготовлено на оборудовании Apple

Отпечатано в ОАО «Тверской полиграфический комбинат»,

170024, г. Тверь, проспект Ленина, д. 5

ISBN 978-5-98144-127-1

СОДЕРЖАНИЕ

НОВОЕ

Артур Аристакисян. Вырезанный живот. Мгновенный человек	5
Василий Ломакин. Новые тексты	97
Егорий Простоспичкин. Обряд жертвоприношения ребенка. Опыты по манипуляции сознанием. Привязанная. Новая пища. Смеркалось	117
Юлия Кисина. Микропроза	136

КОЛЛЕКЦИЯ

Татьяна Баскакова. Кто такой мистер Григг? Ханс Хенни Янн. Циркуль, пер. Т. Баскаковой	150
Джеймс Парди. Вечеринка у Лили, Брэвис, пер. В. Нугатова и Д. Волчека	210
Александр Ходоровский. Случай обезвоживания у детей. Печальная история Беловара и Белины. Смерть ребе, пер. В. Петрова	232

ДОСЬЕ ГАБРИЭЛЬ ВИТТКОП

Павел Соболев. Введение в поэтику Габриэль Витткоп	253
Габриэль Витткоп. Пикпюсовские гномы. Зимние создания. Кость. Моментальный снимок. История крокодила. Интервью Николая Делеклюзу. Интервью Фелиси Дюбуа, пер. В. Нугатова и О. Гринвуд	278
Юстус Франц Витткоп. Бланкгаупт размышляет о фактах, масках и мифах своей жизни, а также о смерти, пер. В. Нугатова	318

ДОСЬЕ ОСВАЛЬДО ЛАМБОРГИНИ

Михаил Осокин. Освальдо Ламборгини, убийца литературы 339

Освальдо Ламборгини. Фьорд. Дочери Гегеля. Утреннее. Из поэмы «Себрегонди возвращается». Пролетарский ребенок, *пер. В. Петрова, комм. М. Осокина* 361

Интервью и библиография О. Ламборгини 432

ANUS MUNDI

Борис Виан. О пользе эротической литературы. Трахула, *пер. В. Нугатова.* 446

Максим Артемьев. Тайная жизнь Уолтера и его современников. **Уолтер.** Моя тайная жизнь, *пер. М. Артемьева* 470

Марсель Жуандо. Тиресий. **Эд Мэдден.** Анус Тиресия: содомия, алхимия, метаморфоз, *пер. В. Нугатова* 515

Ролан Топор. Подлинное естество Дъвы Мар!и, *пер. С. Панкова* 549

Дмитрий Мамулия. Анальные Розы 561

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА 585

НОВОЕ

Артур Аристакисян ВЫРЕЗАННЫЙ ЖИВОТ

Индия

Побывал в Индии. И вернулся. Индия считается недостижимой. Поэтому, где я, собственно, побывал? Потратил 600 долларов. Индия – слишком дешево за 600 долларов. Настоящая Индия была бы несравненно дороже. Это, видимо, гипноз какой-то был или что-то в этом роде. Какое-то мероприятие для умственно отсталых тружеников села, в духе того, что самолет тяжелее воздуха, а летает. Могла бы быть настоящая Индия. Но в моем случае это вряд ли была настоящая Индия. Скорее всего, русские, закамуфлированные под Индию города. Люди с темным цветом кожи могли быть теми же татарами, сосланными в Среднюю Азию, только потемневшими. Могли быть другие племена; их там предостаточно. Ну и цыгане, конечно. Говорили они как бы на хинди. Или не на хинди? Переводчик мой нес что-то свое, что хотел. Думаю, это была не Индия. Если бы это была Индия, то я бы оттуда не вернулся. Не захотел бы возвращаться. Мне было бы очень трудно покинуть Индию.

Афанасий Никитин не в Индию, а в Кашмир заходил. Дальше штата Кашмир он не пошел, не мог пойти. Дальше – другие штаты Индии. На границе Пакистана и Индии лежит штат Кашмир. Но это не Индия, дальше начинаются магометанские земли. Штат Кашмир – нейтральная полоса, не Индия. Там я набрел на небольшой каменный памятник человеку в натуральную величину с мертвой или изнасилованной домашней птицей между ногами. Подумал: неужели Афанасий Никитин? На камне надпись: Наср-эд-дин из Кашмира.

В каждом городе, куда ни попадаю, посещаю блошинный рынок: барахолку. На сей раз это был мебельный развал на окраине Брюсселя, прямо на улицах. Старой мебелью были забиты десятки улиц на многие километры. На продажу вы-

ставлены тысячи предметов старинной мебели различных стилей – в основном, шкафов, секретеров. Там я открыл и закрыл сотни скрипучих дверец и столько же выдвижных ящиков. Но многие дверцы у меня не получилось открыть, хотя из каждой замочной скважины торчал ключ. В связи с мебелью, а именно старыми шкафами и секретерами, в разное время с разными людьми происходили странные непонятные вещи. В этих шкафах и секретерах хранились свои тайны, делались порой ужасающие открытия. Так, однажды открыли дверцу старого шкафа – а там «Юдифь» Лукаса Кранаха Старшего. Холст был прибит к самой дверце шкафа, с внутренней стороны. Так многие картины открывают – не то, что находят, а открывают; особенно часто их стали открывать в старых шкафах во время продажи. Почему-то. Открывают дверцу шкафа и – как во сне – делают открытие: открывают картину старого мастера или старую географическую карту. Где-то в каком-то месте обнаружена очередная картина – холст так называемый. Реальность стала, как сон. Но мы не понимаем, что спим. И во времени все так же обстоит. В наше время попасть в Индию иначе, чем под гипнозом, невозможно. Двери открываются – Индия, двери открываются – Непал.

Психбольница № 5

Я добровольно туда пришел, сказал доктору: «Канализацию у нас в доме прорвало. Пока ее чинят, можно я у вас полежу, до 20-го марта, пока выборы не закончатся?» Он сказал: «Почему нельзя? Можно. Мне не жалко».

Лежу примерно неделю. Место мое не в палате, а в коридоре; вынесли кушетку из кабинета заведующего, застелили, сказали: ложись – твоя койка. Кушетка невелика: ноги приходилось в коленках поджимать. Мне ничего не делали, не лечили. Я тоже никого не трогал, почти не вставал. Медперсоналу не мешал. Только лежал, отдыхал, размышлял. Ни с кем не разговаривал, слова не вымолвил. Кормили очень хорошо. На утро запеканку с изюмом давали и банан. И вот в одно утро нас переодевают в чистые глаженные пижамы. Поэтому – говорят – что сегодня праздник: выборы президента России, надо голосовать. Идти никуда не нужно. Прямо в от-

деление принесли урну для голосования, бюллетени – все как полагается. Не голосовать было нельзя. Не переодеваться, просто поскорее поставить закорючку и забыть – тоже нельзя. Следили, чтобы все до одного обязательно переоделись.

Как только подошла моя очередь, я резко расписался: проголосовал за Медведева. Нам сказали, чтобы все за Медведева голосовали: чтобы напротив фамилии Медведев крестик стоял. Следили за каждым крестиком. Фамилия: Медведев. Расписался, поставил крестик – проходи. Многие расписались фамилией Медведев. Своей рукой расписались за Медведева.

Хорошо, что в психиатрической больнице не только врачи-психиатры работают, но и другие врачи. Тут у меня воспаление легких обнаружилось: пневмония. Последнее время я у себя дома под столом спал. Почти ничего не ел. Деньги свои 1600 рублей я порвал. Ненавижу деньги. Проголосовал за Медведева. Дела мои в полном порядке. Подумал, что пора мне домой. Подошел тихонько к доктору, попросил, чтобы выписали. Он сказал: «Хочешь домой – иди. Больно ты мне здесь нужен».

Выписался из больницы, вернулся домой, смотрю: кто-то в мое отсутствие начал делать ремонт в моей квартире – но бросил. Медвежонок плюшевый маленький висит на потолке вместо лампочки, а из него что-то белое сыплется. Что, вы думаете, это было? Это был наркотик: сухой белый порошок сыпался на голову. Нечаянная радость! Икона такая есть. Нечаянная радость называется. Но там кровь Христа капала с иконы, потому что такие, как я, распинают его своим поведением. Здесь из плюшевого мишки наркотик сыпался мне на голову за то, что я в дурдоме за Медведева проголосовал.

Решил, что будет не лишним вспомнить, как все было, с самого начала; надо было срочно удостовериться, что с ума сошел не я, а кто-то другой. По отношению ко мне с ума сошел этот мир, я же остаюсь в здравом уме и твердой памяти. Хорошо помню, как после подъема в отделение внесли стопки чистых глаженных пижам, велели переодеться и приготовиться к голосованию. Объяснили, что голосовать нужно за Медведева. Я проголосовал. Мне лично этот Медведев ничего плохого не сделал. Это не моя мать.

Выписался из больницы, вернулся домой, хотел зажечь свет – и не смог. Квартиру обесточили за неуплату. Вещи вынесли. Начали делать ремонт – и бросили почему-то. Кто бы это мог быть? Чувствую, что кто-то на меня смотрит сверху и сыплется что-то сверху, сыплется мне на голову. Поднял голову и увидел маленького плюшевого медвежонка. Интересно: не могла же моя квартира в мое отсутствие сойти с ума.

Лая-йога

Или йога прикосновений. Есть и такая йога; она включает в себя работу над осязанием, работу с прикосновениями. Глина хочет быть кувшином. Для обычных людей первичен кошелек, деньги – вторичны. Важную роль играют ассигнации, которые мы пересчитываем, осязаем, осязаем. Существуют деньги осязания. Для меня, во всяком случае, так. Я эти деньги открыл, обнаружил. Нашел, можно сказать. Не кошелек с деньгами нашел – но деньги. Кошелек мне на хрен не нужен. Но для них первичен кошелек, а не деньги. Мы никогда не сойдемся – это война. Я сказал это мужику за прилавком. Купил у него левый диск с песнями Третьего Рейха. Деньги отдал – а диск он держит в руках и не отдает. Говорит, что я ему только что его подарил. Купил – в руки не взял, сразу ему подарил. Я не сказал ему, что пока не сошел с ума. И это наглая ложь. Я сказал, что для него кошелек дороже денег. Мы никогда не договоримся. Потому что:

«...По-твоему, выходит так, что пачка от сигарет важна, а сигареты не нужны. По-твоему выходит так, что кошелек важен, деньги не важны, деньги никакой роли не играют; кошелек – главное? Но это неправильно. Кошелек вообще не нужен. Почему ты поступаешь со мной так, что главное – кошелек? Значит – война?!»

Но какая, к черту, война, если я пацифист! Я не умираю за идею и не убиваю за идею. Я не хочу страдать за собственные убеждения, но меня заставляют...

Продавец терпеливо выслушал меня, ничего так и не понял. Сказал: «Спасибо за подарок...» – это за диск, что я у него только что купил. Ничего мне не дал и денег не вернул. Я же дал ему 150 рублей: пятнадцать бумажек

по десятке, отсчитал и дал. Он и чек мне вручил, что я купил у него диск за 150 рублей. И сказал, что я свободен, могу идти домой и дергать себя за одно место. Я не стал бороться за свою покупку. Пока осязание со мной – нужды в самих деньгах нет. Мое осязание – это уже деньги. Важны деньги, а не кошелек. Мое осязание важно. Поэтому когда он отнял у меня мои деньги – он на самом деле отнял у меня кошелек. Деньги остались у меня. Я потер пальцами, мол: что же ты? Вот они – денежки! Потер тремя перстами у него на глазах. Но он не понял, что произошло. Лишаясь по разным причинам денег, люди выглядят так, словно только что их лишили осязания.

Хочешь победить врага – полюби его и лиши его осязания. Поэтому я не стал с ним бороться, несмотря на то, что в этот момент у прилавка стояли две молоденькие студентки и диву давались, как такой взрослый мужчина, как я, не может за себя постоять.

Когда я однажды узнал, что моя любимая девушка встречается с другим парнем, я не стал бороться за свою любовь. Сел в поезд и уехал в Москву хипповать. Я не желаю класть свою жизнь ни на какой алтарь.

Когда животные перекрещиваются с людьми и адаптируются в их доме – я к этому нормально отношусь. Я не склоняюсь к тому, что это зло. Меня поразили момент в философии бхакти, тонкий ход «Самадевы»; в этой книге, написанной в 12-м веке, говорится не о приручении животных, но об их адаптации в доме человека: чтобы человек позволил животным адаптироваться в его доме. Совсем не опыты академика Павлова в голову приходят. Буква за буквой, страница за страницей – четыре раза прочитал книгу.

Неподалеку от нас находится институт охоты и рыболовства. Мы убиваем и приручаем животных. Мы понимаем диалектический материализм с точки зрения труда: производственные силы, производственные отношения и т.д. Следовательно, нашей корыстной целью остается возвращение к рабству. Именно к рабству. Если применить законы диалектического материализма к охоте и рыболовству, то всеобщее лукавство будет очевидно.

Недавно я узнал, что в семье Чарльза Мэнсона люди обедали после собак. Потому что собаки лучше. Чарльз Мэнсон родился в женской тюрьме. Сейчас он отбывает свое пожизненное заключение. В 2009 году исполняется сорок лет, как он сидит за убийства, которых не совершал. Потому что пожизненный срок он получил еще до своего рождения: родился на этот свет. И будет жить, пока не умрет. Так вот, в его хипповской семье собаки кушали первыми, потому что они лучше.

Пустой кошелек

К нам в отделение поступил серийный убийца из спецпсихушки; пробыл там два года. Пошел на поправку, перевелся на общий режим, в обычную психушку. Он убивал самых разных людей, потому что, говорит, душу искал, бессмертие хотел людям принести. Но из них вместо души всякая хреновина шла. Никакой зацепочки за потусторонний мир! И этот детина пришел к печальному выводу, что если она и существует – бессмертная душа – то это она хуячит, убивает, калечит, поправляет людей.

И правда – есть ли она: душа, бессмертная душа? Или человек – только с виду человек? Но, по сути – так, говно на палочке?!

Этот детина искал некие деньги, но каждый раз находил пустой кошелек со всяким мусором. Душа – это длинная фраза. Он не находил длинной фразы. Все какие-то мелкие, рваные «ох» да «ах». А потом и они куда-то испарялись. Нет человека. Может, его никогда здесь и не было. И души никакой нет. Душа – это скорее место, где детина убивал и видел, как он убивает. Только когда он убивал, он видел душу. Но самой души нет. Откроешь кошелек – а он пуст. Денег нет, или они хорошо и надежно спрятаны.

Хозяева

Костюженская психиатрическая больница под Кишиневом была названа именами двух маленьких детей, мальчика и девочки: Кости и Жени. Они были детьми одного русского помещика. Маленьким Косте и Жене казалось, что их едят живьем. Тогда как их вроде никто не ел и не собирался съесть. Тем более живьем. Но они постоянно плакали, боялись, дер-

жались за ручки. Они вместе переживали одни и те же галлюцинации страшной боли, как будто их, правда, едят. Братик и сестричка терпели эту боль вместе. Их разлучали – но они все равно в одно и то же время испытывали страх и страшную боль. Отец не знал, как помочь своим любимым детям. Врачи из-за границы, народные лекари, старцы и колдуны занимались ими – и все впустую. Дети полностью сошли с ума. Тогда отец построил для них, только для них одних – детскую психиатрическую больницу. Это была их психиатрическая больница, их детский мир. Но после смерти отца к ним стали подселять других больных детей, а потом взрослых сумасшедших мужчин, женщин, стариков. Больница расширялась, строилась, росла. Дети тоже росли. В какой-то момент брат и сестра перестали чувствовать, что их едят. Но они уже не ощущали себя такими же детьми, как все. Они знали, кто их ел. Знали, что тело съедает душу. Не забывайте, что они проживали на земле графа Дракулы – во всяком случае, по соседству с его землей. Их личный детский сумасшедший дом, похожий на крепость, на сказочный замок, который отец подарил только им двоим, превратили в проходной двор, в коммунальную квартиру. К ним подселили целый народ. Их разрешения никто не спрашивал. Они были еще детьми, когда оказались в одном отделении, в общей палате с другими больными детьми. Маленькие Костя и Женя не могли отойти друг от друга. Они почти неподвижно сидели на койке, держась за руки, и прекрасно понимали, что происходит в их доме, в их королевстве и в мире. Они так ни разу и не покинули этого дома и прожили в этой психиатрической больнице безвылазно почти до конца двадцатого века, до глубокой старости. Прожили очень долгую жизнь и умерли, как в сказке, в один день. Они жили в своем фамильном сумасшедшем доме, который построил для них отец. Они были хозяевами...

РАБОТА

Руки не могут без работы. Начинается все со страданий, с боли в руках. От страданий ломит руки, а потом берешь молоток или другой инструмент. И работаешь.

В данной ситуации быть собственности не может. Сама ситуация быть собственностью не может. Никакой собственности здесь нет и быть не может. Поэтому Бог есть.

Дальше предлагаю размышление такого рода: была жертва, не было жертвы. Мы спрашиваем: что первично – курица или яйцо? И спорим. Из курса химии знаем, что есть кислая среда, есть щелочная среда и есть нейтральная среда. Золотой серединой является, разумеется, нейтральная среда. Она – самая ухищренная, потенциальная среда. Нельзя выдумать то, чего не существует. Такие вот умные разговоры. Это было первое впечатление, которое произвела на меня «Самадева», написанная после проникновения ислама в Индию. Разговор разговором, а книга – это совсем другое дело. Прочитал первые сорок страниц, задумался, написал эти строчки, которые вы в результате сейчас читаете. Продолжил чтение книги дальше. Очень важно, что я задумался на эту тему, что пришла эта мысль. Потом она, разумеется, обогатилась. Была жертва, не было жертвы – нейтральная среда. Предлагается, чтобы мы не приручали животных, а давали им возможность адаптироваться. Это самое страшное: не приручение животных, но адаптация их в нашей среде. Представляете, какая это жестокая книга. Вы себе не представляете. В нашей культуре так принято: что раз эта дама коллекционирует, скажем, татуировки, значит она порядочная интересная женщина. Даже если эти татуировки сняты с тел покойников в морге, с кожей вместе. А тут – давать животным возможность адаптации. Позволить им выглядеть по-человечески, действовать по-человечески. Не как дети, как взрослые люди рассудите: не приручать животных, а давать им адаптироваться в собственном доме. В этом состоит учение бхакти. Как все испугались, как всем стало противно, как все стали плевать – когда я высказал во время голосования эту идею, уже после того, как за Медведева проголосовали. Если бы я не читал «Самадеву», у меня бы не было такого авторитета, на который я мог бы сослаться. Меня бы за это грохнули. Но я сослался на авторитет книги. Пускай никто ее не читал и никогда не прочитает. Цитирование, ссылки на признанные автори-

теты оказываются сильнее. Пронаблюдайте, что происходит с людьми, когда вы начинаете цитировать. Стоит вам только начать цитировать умного автора – неоспоримую величину в мире мысли, люди становятся вашими. Они у вас в кармане, в кошельке. Расскажите, как девочка свои нежные пальчики сама зажимала дверью, делала себе больно, невыносимо больно – вас не поймут. Но стоит вам сказать, что это Достоевский написал, все сразу заговорят: «Ну, Федор Михайлович дает! Гений! Совестьливая девочка. Чистая русская душенька. Пальчики сама себе дверью зажимает. Умница! Не то, что нынешние девицы. Им только хапать и хапать...» Одним только цитированием я мог делать со своими собеседниками, что хотел. Поэтому меня боялись доктора, даже медбратья и медсестры. Потому что я мог и умел цитировать. В результате таких экспериментов в больнице и со случайными людьми на улицах, я понял, что это такое: держать людей в рабстве.

Послушание

Сейчас на улицах стало все больше петербургских ситуаций. Хочу уйти – и не могу. Пошел – но остался там же, где был. Съел родедорм, под ним не умрешь. Радио в голове звучит, говорит. Только теперь я его слышу и слушаю. У каждого человека в голове радиоточка работает, издевается над ним, развлекает его, продает ему различные идеи. Говорит: это бери, а это не бери. Словом, лезет к нему в душу, вставляет палки в колеса. Он научился принимать этот механический голос за свой собственный голос. Я – не хочу. И сразу сталкиваюсь с проблемой: как научиться отключать это радиоточку так, чтобы не сломать себе голову, не выплеснуть вместе с грязной водой ребенка. Пока что я живу в тех же радиопередачах, получаю по ним всякие шифровки, играю в игру, будто я шпион. Но я же в монастыре жил в Печорах. Спал в одной келье со слепым монахом – отцом Мельхиседеком, изучал социальные науки. Казалось бы, по-всякому могу думать: и так, и так. Отец Мельхиседек лежал рядом со мной и загибал по очереди пальцы своей длинной руки: три пальца. Абстрактное мышление,

рациональное мышление и иррациональное мышление. Какие они по цвету?

Как я оказался в монастыре? Забрался на чердак двухэтажного дома под Печорами, чтобы тайно переночевать. Там – петли две висят. Руки у бога смерти в виде петель. Не руки, а петли. Шесть рук – шесть петель. Двенадцать рук – двенадцать петель висят. У меня оказалось две петли вместо двух рук. У бога смерти тоже две петли вместо двух рук. Поэтому человек происходит не от обезьяны, а от женщины. Женщина есть смерть. Смерть – мать родная. На языке древних индусов: мать – это могила. Трупное тело – это хуй и есть. Член. Труп висит. Не только то, что снаружи висит, но еще трупное тело. У женщины трупного тела нет. Нет члена – нет трупного тела. Потому по возвращении в Кишинев я пошел устраиваться на работу не просто в морг, но в патофизиологический морг при центральной клинической больнице. Во время учебы в институте тоже пошел на полставки в морг, на подработку. Сравнительно небольшой, можно сказать крохотный морг для Москвы. 26 тысяч трупов в неделю. Зеленкой на ногах покойников, на ляжках проставляли восьмизначные числа, номера. Это и есть номера мобильных телефонов. Я зашел в непроходимые дебри социальной науки. Вы думаете, что звоните домой, говорите: «Алло, мама», – но звоните на ляжку трупа. Когда набираете восьмизначный номер мобильного телефона и говорите в трубку «алло», вы звоните на ляжку покойника в морге. Вы к жмурику звоните. И слышите и говорите то, что хотите слышать и говорить: что радиоточка передаст, то вы и услышите и повторите. Запомните хорошенько, что я вам сказал. Возьмите макаронину, да, макаронину возьмите, эту или другую возьмите, наконец. Взяли! Вот. И выкиньте ее в форточку. Выкиньте! Вот. И больше оттуда ничего не берите...

Виселица

Наташка Брусникина, когда мы с ней во втором классе за одной партой сидели, анекдот мне во время урока рассказывала, шепотом. Приходит муж с войны, ебет свою жену и говорит, рассказывает, как он воевал. Жена говорит: «Дальше».

Он еще немного рассказал: как воевал, стрелял, бомбил. Она говорит: «Дальше». Он снова – про то, как бил фашистов. Она повторяет: «Дальше». «Дальше яйца не пускают», – говорит муж. Константин Симонов если бы услышал этот анекдот – понял бы отлично, о чем речь. Не смеялся бы. Я тоже не смеялся. Я над анекдотами не смеюсь, если это, конечно, остроумные анекдоты. Я над анекдотами думаю, размышляю.

На уроках мы с Наташкой в виселицу часто играли, рисовали виселицу: кто кого раньше повесит. У меня были очень худые ручки. Она говорила: какой ты мужчина с такими тоненькими ручками?! Потом нас рассадили. Мы стали записочки друг другу писать. Она мне пишет: «А у меня на письке волосы стали расти». Я пишу в ответ: «У меня тоже». Она пишет: «А у меня такой длины...» – и рисует волосок в записке, вот, такой. Я в своей записке тоже рисую волосок: «А у меня такой...»

У нашего учителя физкультуры дома были все пластинки «Битлз». Он обтянул конверты целлофаном и не позволял никому к ним прикасаться. Меня он любил, как он сам говорил, за мой недетский ум. Этим словом он молчание называл. Уже в пятом классе я писал битлов прямо с пластинок. Под музыку «Биттлз» он лез ко мне, сосал мои губы – но кончал только в свои джинсы «Леви Страус». Я никому ничего не сказал. Ему я сказал, что может не беспокоиться и спать спокойно: никто об этом не узнает. Мне было неприятно то, что он со мной делал, но я терпел. Помните у Николая Гумилева: «Хуже было Богу моему, и больнее было Богородице».

Как-то раз ему захотелось поцеловать меня в мои понимающие глаза, прямо в глаз. Просил: «Всего один раз. Не бойся...» Он выбрал мой правый глаз и попытался его открыть. Это продолжалось довольно долго. Я сомкнул веко – и он, борцовским приемом зажав мою голову между ногами, принялся обеими руками открывать мой правый глаз. Не получилось. Он повернул свои войска на Петербург: чтобы открыть мой левый глаз – но я и его успел закрыть. Ничего не открывалось ни там, ни здесь. В это время, пока он пытался открыть мои глаза, душа великой «четверки» пела во мне. Я вырывал голову, кричал: «Мама», – но глаз не открывал, ни левый, ни правый. Он поклялся здоровьем своей матери и своих детей: что если

я не открою хотя бы один глаз и не пущу его туда – он сделает со мной что-то страшное. Я открыл глаза – он увидел, что они полны слез. И перестал, успокоился. Терпение – это главное, чему нужно учиться в детстве.

«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»

Он пытался сломать газовую трубу, жильцы вызвали милицию. Когда его взяли, он сказал, что это я ему велел: сломать трубу. Велел готовиться к роли. Он сказал, что играет в моем фильме роль нациста и еврейки.

– Он сказал, что ты ведешь съемки, а он делает только то, что ты ему говоришь. Это так? – спросил мент. – Сразу две роли: нациста и еврейки?

– Так точно, – ответил я. – Газовую трубу пыталась сломать еврейка, как вы понимаете. Или нацист? Я пока не выяснил. Поэтому он играет сразу две роли: нациста и еврейки. Нацист и еврейка совершают действия, которые одинаково выглядят и одинаково называются, но, поскольку они разные существа, то и видят мир они совершенно по-разному.

Вошел пьяный начальник отделения и, увидев меня, потер ладони:

– Это ты заставил больного человека сломать газовую трубу!

Я сказал, что веду съемку фильма про нациста и еврейку. Он играет в нем главную роль, вернее, две главные роли: нациста и еврейки. Мент красными волчьими глазами заглянул в мои глаза и сказал:

– Ты, парень, что-то путаешь. Пока что ты снимаешься в нашем фильме, а не он снимается в твоём...

Пришлось все им рассказать, как было дело, с самого начала. Все началось с того, что я предложил одному московскому театру на окраине постановку «Укрощения строптивой», как историю отношений нациста и еврейки. Предложил так это увидеть. Как еще выразить суть того, о чем говорится в пьесе, я не знаю. Смотрел старые постановки со знаменитыми актерами – все не то. Думал, читал, перечитывал пьесу – и, наконец, нашел. Понял, что нужно делать. Нужно не ставить пьесу, а снимать фильм. Берем «Укрощение строптивой»

Шекспира, берем того парня, который там фигурирует, берем эту строптивую девицу – и видим эту проблему, как отношение между нацистом и еврейкой. Его – в качестве нациста, ее – в качестве еврейки. Берем текст пьесы Шекспира – вернее, саму рукопись пьесы на старом английском – делаем ксерокс с оригинала, написанного чернилами рукой самого Шекспира – и адаптируем это дело в киносценарий. И дальше все произойдет автоматически: он превратится в нациста, а строптивая – в еврейку. Если мы разберем копировальный аппарат, обнажим все его внутренности, то останется лишь голый факт: чистый материализованный факт по истории создания копировального аппарата. Если же мы берем и адаптируем рукопись «Укрощение строптивой», то получаем другой голый факт: отношения нациста и еврейки. Но сам фильм не снимаем. Не спешим снимать. Идем с этим фактом не в театр, не на киностудию. Я скажу куда – но вы посчитаете, что я шучу, смеюсь. Нет. Я шутников вообще не люблю. Чтобы понять, о чем на самом деле эта пьеса и что с ней делать, нужно пойти с ней, в той версии, где этот парень нацист, а строптивая девица – еврейка, не к людям театра и кино. Идти надо в ресторан гостиницы «Пекин» на площади Маяковского, где меня всегда ждут. Потому что они во мне заинтересованы. Приходим, но ни про какого Шекспира не заикаемся, ничего про любовь нациста и еврейки не говорим. Просто имеем это в виду, подвешиваем наш корыстный интерес. И с этой минуты все, что будет происходить вокруг нас, будет проходить через историю нациста и еврейки, как укрощение строптивой. История укрощения еврейки нацистом окажется больше этой ситуации – и жизнь будет описывать их войну на наших глазах. Нацист будет укрощать строптивную еврейку, чтобы она его не любила, потому что его нельзя любить. Никто вокруг ничего знать и видеть не будет. Еврейка будет любить нациста и кидаться на него, как дикая кошка, вопреки всему, что происходит. Вопреки тому, что видно и понятно. Потому что любовь и есть вопреки. И бессмертная человеческая душа, которую искал тот детина, когда убивал людей, тоже «вопреки». Поэтому самого факта не предоставляем, спокойно разговариваем с работниками ресторана «Пекин», недолго ждем, пока несут

анкеты, и пишем заявление о вступлении в коммунистическую партию Китая: КПК. Или сразу направляемся в посольство Китая. Говорим в автоответчик, что хотим вступить в коммунистическую партию Китая. Сколько помню, там всегда провод из автоответчика торчат. Или звоним из телефонной будки по телефону: 206-21-40.

Когда днями и ночами скитался по Москве, спать было негде, пришел однажды ночью к воротам китайского посольства и наговорил на автоответчик часов шесть.

Просто подходишь к автоответчику, нажимаешь на кнопку и хуячишь что угодно, типа: «Мяу-мяу, ляжем спать. Мяу-мяу, на кровать...» Как бы от лица кошки, как бы спать, как бы кровать. Как бы не так!

Две пачки прокопана я проговорил на автоответчик в течение ночи. Повторил то же самое на следующую ночь. Ситуация начала фильма «Зеркало»: «Я умею говорить». И увидел человека, китайца в джинсах «Леви Страус», вышедшего из посольства. На джинсах синей авторучкой были написаны математические формулы. Под мышкой он держал картину, написанную, как сейчас помню, гуашью, и маленький черно-белый телевизор. Он был очень похож на Мао. Но не в том дело, что Мао, а в том дело, что я. Он сам обратился ко мне. Понял, что я понял, на кого он похож. Сказал мне на китайском русском, что в день смерти Мао Цзэдуна он залез на дерево и потрогал луну рукой. Китаец оказался лунатиком. Как только он это сказал, я вспомнил, что в юности однажды сам забрался на сосну, чтобы оттуда наблюдать радугу. Такую радугу часто изображают художники на портретах вождей: когда они стоят и любуются просторами родной земли, одновременно вынашивая мысли о мировой революции и счастье всего человечества...

РЕМОНТ

Видите пятна крови на стене?! Здесь. И здесь. Видите?! Они решили, что убили меня. Но убили кого-то другого. Я пошел в управление жилья, пошел в милицию, чтобы показать на кровь. И что бы вы думали? Работники управы сказали, и в милиции поверили, что это они в мое отсутствие решили

привести мою квартиру в нормальное состояние. Дескать, отреагировали на жалобы соседей, сильно обеспокоенных антисанитарным состоянием моей квартиры. Они даже сфотографировали моих тараканов и крыс. «У него крысы с тараканами – а у нас дети!» Они стали рассказывать ментам, что бесплатно ремонт затеяли в моей квартире, пока я в больнице лежу. Но на самом деле они просто озверели и приходили, чтобы меня убить. Они были здесь, и они убивали меня. Но убили не меня, а того, кого здесь нашли.

Психиатр Коровкина – большая русская женщина бальзаковского возраста; когда рассказал ей, что готовлюсь снимать фильм про нациста и еврейку, познакомила меня с тем самым человеком, который сломал газовую трубу у меня в доме. Сказала, что он очень умный, и мы с ним найдем общий язык.

Коровкина пошла в отделение и привела его мне уже с вещами. Сказала, что его выписывают, и я могу вести его, куда хочу. Он идеально подходил на роль нациста. И еврейки.

Прошло несколько дней – и он сломал газовую трубу в доме. Говорили, что сломал. Как исполнитель роли нациста и еврейки – он отправил строптивую еврейку в газовую камеру, но потом стал ее спасать ценой своей жизни и жизни своих соседей.

Коровкина могла бы сыграть молодую строптивую еврейку, хотя она давно не молодая и не еврейка: большая русская баба. Но мне хочется, чтобы именно она сыграла еврейку. Хочется досадить евреям. Это была секретная идея фильма: тонко подъебнуть евреев; вместо молодой еврейки снять большую русскую женщину бальзаковского возраста – Коровкину. Согласитесь, идея стоящая.

Выписываюсь из больницы, прихожу домой, не могу узнать квартиру, во что они ее превратили. Квартиру я получил как инвалид второй группы, принадлежит она психиатрии. Поэтому какой ремонт они собирались делать, тем более за свой счет? Я прихожу к выводу: они сюда приходили только с одной целью, чтобы меня убить. Здесь убивали меня. Думали, что убивают меня, но убили кого-то другого – того, кто забрался в мою пустующую квартиру, пока я был в больнице. И они

его убили. Я в больнице лежал: отдыхал, кушал, проголосовал спокойно за Медведева, пока они меня убивали. Но убили того, кого нашли.

Обратите внимание! Это пятно крови вам ничего не напоминает? Женщина сидит в авто с открытым верхом. А здесь – мужчина с лютней. Обои для вида поклеили на одной стене, и они уже отлипают. И на них кровь. Посмотрите, пятна крови на обоях похожи на доллары и на евро. Их тоже можно снести в ресторан «Пекин». Там все поймут без лишних слов. В Китае до сих пор коммунистическая партия у власти, и других партий у них нет и не будет.

ЖЕРТВА

Привык играть в шахматы. У шахматистов мышление такого же рода, как и у меня. Им бы только обменяться, фигуру пожертвовать. Здесь вам не приходит никаких мыслей? До революции в России правил всем священный Синод. Патриарха не было. Патриарх Тихон возник в огне революции. Перед революцией был Синод. У меня видение было, здесь же на этих самых обоях. Видел я этот Синод. Канцелярские столы сдвинуты, стоят в ряд; за ними мужчины разные сидят, с разным выражением лица, разным характером, разным культурным уровнем. Сидят там и женщины, и дети. Ничего и никого не боятся. Вместе они – страшная сила. Некое одно существо, множественная личность, спаянная одним общим канцелярским столом. Это – Синод. Он стоит над государством. Он отрешился от церкви. Своей властью он уравнивал церковь и государство. После революции церковь была отделена от государства, а государство от церкви. Синода не стало, и Синод явился во сне. Нам сегодня трудно представить, что значит правление такого Синода. Не хочу тянуть одеяло на себя. Только в одной Москве такие суждения, как у меня, имеют миллионы людей.

Моя мать является щупальцем этого Синода. Он явился мне и облепил меня. Скоро сюда явится моя мать со своим сыном – и полезут целоваться, начнут меня трогать, щекотать, насиловать. Не приручение животных – но адаптация. Но адаптация животных в наших условиях уходит в физиологию Павлова, где жертвой науки оказываешься ты сам, да еще в качест-

ве сына своей матери. Именно в таком качестве – сына своей матери, а не просто в качестве подопытного животного, кролика, лягушки, под сочувственным взглядом Синода, словно консилиума врачей. Это такой мир, в котором Бог в седьмой день создал не человека – но врача, врачей. В одном апокрифе, Книге Еноха, есть такие слова, самые страшные слова в Писании, какие читал. Там сказано, что Бог создал врача. Это именно он проводил хирургические операции; вырезал и давал самые непристойные половые органы. Чтобы последние имели вид моральных и физических уродов. Это он вырезал женщину из мужчины. Из мужчины – женщину.

Чтобы ты лучше подготовился к вступлению в партию, в ресторане «Пекин» сотрудники китайских органов дают специальную литературу по истории коммунистической партии Китая, китайской народной медицине и пр., на русском языке с грамматическими ошибками, интересными ошибками. Затем там же, в ресторане «Пекин», в специально отведенных комнатах ты проходишь медкомиссию. За сдвинутыми столами сидят врачи-китайцы, просят раздеться и начинают задавать вопросы. В это время вкалывают тебе иглы под кожу в определенных точках, делают это в большом количестве и очень долго. При этом не перестают спрашивать и смотрят тебе в глаза. Тьфу!

СТРАШНАЯ ПРАВДА

Предметы женского рода заставляли меня думать, фамилии русских женщин вселяли в меня ужас. Это продолжалось все мое детство и не прекращается до сих пор. Я не перестал бояться, я только научился скрывать свой страх. Фамилия, например: Брусникин. Нормально. Рядовая русская фамилия. Дедушка – ветеран Великой Отечественной Войны, герой Брусникин. Нормально. Брусникин – но не Брусникина. Такой фамилии не существует: Брусникина. Невозможно быть Брусникиной, хоть режьте. Эта фамилия принадлежит ее отцу или отцу ее матери. Брусникин – он. Фамилия – Брусникин. Брусникина – не фамилия, а склонение фамилии Брусникин. Она же говорит: я Брусникина, Наташа Брусникина. Мы за одной партой сидим, в виселицу играем.

«Ты, правда, Брусникина?» – спрашиваю я.

Она подавляет смех рукой и говорит:

«А кто же я, по-твоему? Конечно, Брусникина...»

Недавно узнал, что сын Наташки Брусникиной – здоровый красивый парень, стал героем чеченской войны, настоящим православным воином. И новым мучеником за веру. Видел его фотографию в газете: спецназовец, настоящий русский богатырь. Принял мученическую смерть от чеченских бандитов ваххабитов. Но – подумал я. Он не Брусникин. По мужу Наташка Брусникина, кажется, Карауловой стала. Но это снова не ее фамилия. Какая же она Караулова? И Брусникиной она никогда не была. Нельзя говорить: Брусникина, Караулова. Можно говорить: Брусникин, Караулов. Рядовой Брусникин. Есть! Рядовой Караулов! Есть.

Караулов, только другой, живет в моем подъезде на седьмом этаже, он тоже герой России, боец ОМОНа. Но вот его совсем маленькая дочка Сонька, Сонечка Караулова, которой я прошлым летом член свой показал – это уже совсем другая история. Она только в этом году в школу пойдет. Эта крохотулька с другими маленькими детишками заглянула в мою квартиру через окно, чтобы поиздеваться. Показывает папины зубки и спрашивает: почему у меня нет жены, почему я плохо выгляжу, почему у меня грязно? Я в это время лежал и смотрел на свой автопортрет шариковой ручкой на стене. Я себя под Сару Бернар нарисовал. Смотрел, улыбался своим мыслям, пугался своих мыслей. Но дети не испытывали ко мне ни сострадания, ни уважения. Я напомнил им, что я взрослый человек и имею право не разговаривать. Но они только поудобнее устроились, как в театре. Полностью открыли мое окно и впустили яркий дневной свет, который ослепил меня.

«Дети, я инвалид второй группы, разве ваши папы и мамы вам не говорили, что ко мне нельзя близко подходить...»

«Говорили...» – признались они.

Я вскочил с кровати и разделся догола. Дети с криками разлетелись, как птички с подоконника, но быстро прилетели обратно. Пять маленьких девочек. У каждой маленькой девочки – фамилия ее отца. Караулова. Удальцова, Пастухова, Прохорова, Огурцова. Понимаете – о чем я?

Не совсем понимаете? Синицына, Земленухина, Кукушкина, Свешникова, Толбухина – это же все мужские фамилии. Мужская фамилия превратилась в женскую. Мужчина – в женщину.

Я всю жизнь этого ждал и боялся, когда из мужчины женщина выходить начнет. Не внутренняя женщина, не Дама сердца, которую алхимики в Европе «нашей Дианой» называли, выходит из мужчины. В моем случае не женщина выходила из мужчины и поправляла его, а мужчина насильно помещался в женщину, и она начинала носить его фамилию. Как только слышал фамилию русской женщины, я видел, как женщина насильно удерживала мужчину в своем теле; каждая маленькая девочка намного сильнее своего отца, сильнее своего мужчины, ее мужчина уже в ней, в ее руках, она его уже скрутила, она – ведьма, как Пеппи Длинный чулок. Каждая маленькая девочка была такой. Раз она Семенова, Круглова, Васильева, Савельева, Мотовилова...

Мой кошмар: русские фамилии женского рода. Фамилий женского рода не бывает. Фамилии только мужские. Но эти фамилии принимали женский русалочий род. Ведьма жила в фамилии любой русской женщины. Почему фамилии женского рода? Фамилии же только мужские. По отцу.

Наташкина мать: она же раньше не Брусникиной была. Нет, не Брусникиной. Предположим, она была Медведевой. Но Медведева это нонсенс. Невозможно быть Медведевой. Есть только Медведев. Фамилия – Медведев. Медведева – это уже не фамилия. Медведева – это ведьма, неважно, это его жена, дочь или мать.

Наташка Брусникина выведала у меня мою тайну, прознала о моих страхах. После чего рассказала все другим девицам. Они недолго думали, что со мной делать. Наташка подходила ко мне, смотрела мне в глаза, поднимала руки, растопыривала пальцы и шептала: «Я – Наташа Брусникина. Брусникина, Брусникина, Брусникина...» То же самое делала другая девочка: «Я – Вера Гребешкова, – смотрит мне в глаза и просто повторяет свою фамилию: – Гребешкова, Гребешкова, Гребешкова...» И так – каждая. Я начинал метаться, прятаться, кричать. Ничего страшнее, чем эти фамилии, я в своей жизни

не слышал. «Ты узнаешь меня? Я – Прохорова Люда. Я – Прохорова, Прохорова. Прохорова...»

К тому времени мы с Наташкой Брусникиной уже не сидели за одной партой, не играли в виселицу: кто кого повесит. Звенит звонок на перемену. Подходит ко мне Наташка и просит назвать ее имя.

«Ты знаешь, кто я? Скажи, чтобы я слышала...»

Я гордо назвал ее имя, потому что любил ее.

«Но я же чья-то дочь! Не в капусте же меня нашли!»

«Не в капусте...» – повторил я.

«Фамилия мужчины?!»

«Какого мужчины?»

«Какого мужчины я дочь? – пытала она. – Фамилия мужчины?! Я жду...» Несильно ударила меня по голове, и я назвал фамилию: Брусникин.

«Правильно. Я – чья дочь?»

«Брусникина...»

«Запомни. Я – Брусникина, Брусникина, Брусникина. Повторяй за мной, чтобы я слышала: Брусникина, Брусникина, Брусникина...»

Я закрывался, отбивался, пытался бежать. Но меня не пускали. Девчонки старались, чтобы я лучше вслушивался в их фамилии. Ни одна из них не говорила: я тебя изнасилую, я тебя заберу. Они просто повторяли фамилии своих отцов в женском роде: «Я – Гребешкова, Гребешкова, Гребешкова...» Просто повторяли свои фамилии, чтобы я жил в этом кошмаре. Достаточно было просто несколько раз произнести русскую фамилию, мужскую фамилию женского рода. Другие мужчины принципиально ничем от меня не отличаются. Они просто научились не слышать этого ужаса. Петрухина, Семенова, Голубева, Слепцова. Услышьте такое во сне, когда ваша охранная система спит – вы описаетесь от страха. Как я писался. Но не во сне.

На моих глазах мужские существа превращались в существа женского рода, шли страшные физиологические изменения, сиськи начинали расти. К своим 16-и годам я думал, что тело девочек отличается от тела мальчиков только сиськами и длиной волос.

«Я ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ»:

написал Гораций. Памятник неизвестному русскому солдату в парке Победы мне поставлен. Это очевидно. Я и есть неизвестный солдат. Потому что я позировал скульптору этого памятника у него в мастерской долгие два месяца. За это он кормил меня раз в день и оставлял спать: отправлял в гараж, где у него машина стояла. Закрывал меня там на ключ. Завтрака не было, только чай наливал. «Неизвестный русский солдат должен быть голодный, – говорил он. – Кухня для него приятная неожиданность. Как говорится, чему быть – того не миновать. В отличие от других солдат белой расы, русский солдат очень дешевый, на него много денег не тратится».

Три раза изнасиловал меня, как будто я девка какая-то никчемная. Я не особо сопротивлялся. Не было сил. Позировать художнику – каторжный труд.

Я вот подумал, скажи я два слова: «Чай индийский». Ничего бы не было. Ничего ровным счетом не случилось бы со мной. Но, представьте, что бы со мной было, если бы я сказал эти слова на Цейлоне. Что бы со мной сделали, что бы было.

Что бы ни было, щелкните себя по пуговице и выбросьте что-нибудь в окно, хотя бы эту макаронину. Выкиньте! Вот. И больше туда не смотрите, чтобы там ни случилось.

«РАЙСКАЯ ПИЩА»

В памяти автоответчика китайского посольства в Москве до сих пор хранится мой голос. За много ночей я им столько туда наговорил. Стихи запрещенных поэтов, притчи, апокрифы, пословицы, загадки, детские страшилки, считалки. Я стал исповедоваться в посольский автоответчик, говорил только правду, как есть: что письку по утрам тереблю, на маленьких девочек поглядываю. Периодически меня перебивала запись голоса молодой сотрудницы посольства, китайки. Характерным китайским голосом она рассказывала, какие документы в какое время нужно принести, чтобы посетить Китай. Потом снова включал автоответчик, рассказывал про свои страхи, что письку тереблю. И вдруг она говорит не в записи, а живым почти детским китайским голосом: «Не надо письку теребить...»

Я протянул к ней в сторону зашторенных посольских окон свои короткие ручки, прутья высокой ограды не пускали дальше. Вспомнил сказку одну: как искатель истины, идя много дней вдоль реки, против ее течения, видел каждый день – и с каждым днем все в более ранний час – сверток, плывущий по течению. Каждый раз он его развязывал и находил в нем райскую пищу, сочную халву. Ел. Халва поддерживала его силы. И воодушевляла: ему не терпелось узнать, кто ему посылает по реке такую радость. Оказалось, что эта халва – часть утреннего туалета одной богатой молодой красавицы. Она каждое утро умывалась, подмывалась, используя для этих целей халву. Вытирала куском халвы пизду, заворачивала остатки в ткань, типа салфетки – и выбрасывала из окна в реку; а он это дело вкушал, как райскую пищу. Что для нее было внешним – для него становилось внутренним.

На следующий день я заполнил анкету в консульском отделе посольства Китайской Народной Республики, где написал, что я, помимо всего прочего, бывший монах Псково-Печерского монастыря. Я прожил в нем почти год. Жил в одной келье со слепым иноком отцом Мельхиседеком. Он учил меня читать на языке осознания, пальцами.

Я попросил несколько чистых листов бумаги; на них подробно описал, как было дело. И приложил к анкете. Этого я на автоответчик не наговаривал. Почему-то не сомневался, что та молоденькая китаянка обязательно прочитает мою анкету и ночью найдет способ выйти ко мне. Я ни от кого не прячусь.

Маленький плюшевый медвежонок

После разборки копировального аппарата остается лишь один голый факт. Я посетил на несколько дней Кишинев; старался не ходить по главной улице, чтобы никто меня не узнал. Все визитные карточки, что у меня были, я захоронил, закопал на еврейском кладбище в могильном холмике одной еврейской семьи. Могильная плита с фотографией ушла в землю по самые подбородки. Никто на их могилу не приходит. Никого у них нет, кроме меня. Вся их семья здесь. На фотогра-

фии, уходящей в землю – они еще живые, позируют фотографу. Муж, жена и трое маленьких детишек, маленьких жидят. Так и хочется ущипнуть каждого из них за щеку, за нос. Ближе этой семьи у меня никого нет.

Трагедия случилась, когда мне было восемь лет. К ним в дом, ночью, когда они спали, забрался некто, чтобы поживиться. Но они проснулись. Некто убил сначала мужчину, затем женщину, затем всех до одного детей, чтобы не оставлять свидетелей. У детей очень хорошая память. Мы с Наташкой Брусникиной смотрели газету «Вечерний Кишинев» с этой же фотографией, которая затем перешла на могильный камень. Мне очень хотелось в эту семью. Мне хотелось создать такую семью, точно такую же семью, только свою. Это был последний раз, когда мне хотелось иметь семью, детей.

Приехал в Кишинев, ни о ком не стал ничего узнавать. С тех пор прошло много лет. Наташка Брусникина умерла в теле обычной русской бабы Натальи Брусникиной, спившейся после гибели единственного сына. Я тоже умер в том, кем стал: что из меня выросло. Пошел на еврейское кладбище, к своей семье, раскопал могильный холмик и закопал туда свои визитки.

Пока находился в Кишиневе, они в Москве снова приходили, чтобы меня убить. Но каждый раз это заканчивается тем, что они убивают кого-то другого – а мне делают ремонт. Их это бесит, и они уходят. Я возвращаюсь в отремонтированную частично квартиру. Напачкав, они создают видимость ремонта, частично приводят квартиру в порядок, что-то ремонтируют, обои клеят. Дескать, тут не убийство было, тут ремонт шел. Вот квартира наполовину отремонтирована, даже кран на кухне заменили. Они устали делать мне ремонт. Приходят меня убивать – а делают мне ремонт. Понять ничего не могут. Поглядите сами. Видите, старая раковина лежит. Они перепутали меня с раковиной на кухне. Хотели меня убить – а вырвали старую раковину с мясом, бросили на пол. Кого-то другого убили, кого здесь нашли.

Приходили менты по поводу нациста и еврейки – дескать, я психически больному человеку велел газовую трубу в жилом доме сломать. И увидели эту раковину на полу. Смо-

трят на старую тяжелую раковину под ногами – и делают вид, что не понимают, не видят, что это человек убитый лежит. Раковина так лежит, что говорит сама за себя: что это был труп человека, что человек в такой же позе находился, когда его убили. Они смотрят и не видят прямых указаний. Я хорошо о них думаю. Все они видят и понимают: что это никакая не раковина на полу лежит.

Соседи говорят, что строители приходили, ремонт делали, но не закончили. Бесплатно – ремонт? Не надо в милиции работать, чтобы догадаться, что это ложь и криминал чистой воды.

Я-то вижу, что они видят труп, когда глядят на мою старую раковину, на полу. Они видят, что это человек лежит, что тут человека убили. Они на него смотрят, на труп. Какая раковина! И вы, и я прекрасно знаем, что это лежит на полу, что здесь произошло убийство. Повел их в комнату, подвел к недоклееным обоям, указал на пятна крови.

Менты вызвали теток из домоуправления, и те стали кудахтать, что я развел антисанитарию, представляю угрозу здоровью соседей и здоровью их детей. Менты поглядывают на меня, понимая, что логики здесь нет. Чтобы в наше-то время к человеку направили бригаду, чтобы ему бесплатно ремонт в квартире сделали. Раковину на кухне заменили, обои стали клеить. Не успели они!

Я состою на учете, как творческая единица, деятель культуры. Являюсь членом академии киноискусств. По идее могли бы сделать ремонт. Но. Откуда взялась кровь, которую они выдают за краску? Зачем стилизовать кровь под краску, под живопись, под деньги?! Они узнают, когда я ложусь в больницу или уезжаю из города, и спешат сделать мне ремонт, чтобы я был счастлив, когда вернусь? Почему же они всякий раз начинают ремонт – но бросают, исчезают, как воры, растворяются в воздухе, как только я возвращаюсь домой?

Мое членство в академии ничего ровным счетом не значит. Никакой ценности как творческая единица я не представляю уже давно. Я заболел, перестану выходить из дома – и никто не спохватится, кроме тех, кто сюда придут, чтобы меня убить. Найдут мой труп с наглой еврейской улыбкой на лице.

Посудите сами, как все деградировало вокруг нас, если такие люди, как я, становятся академиками.

Я замечательно себя чувствую, хорошо питался в больнице, проголосовал за Медведева. Не жалею. Делал это искренне. Хотя медперсонал следил, чтобы голосовали за Медведева, я делал только то, что хотел. Слышал краем уха, как наши медсестры говорили между собой, что у Медведева есть дочь, даже две дочери. Значит, ебался. Точно ебался. Фамилии девочек: Медведевы. И я тоже решил под Медведева покосить, голосовать за Медведева. За фамилию: Медведев. Голосовал, как велели – но не потому что велели: это был мой выбор. Я не виноват, что он совпал с требованием медперсонала. Но если говорить о политике, то Медведев мне нравится, даже больше Путина. Он уже потихоньку начал исправлять ошибки, которые совершил Путин. Но что случилось в моей квартире, пока я готовился голосовать? Под потолком, на том месте, где люстра должна висеть – висит маленький плюшевый медвежонок, привязанный к пустому патрону. Когда уезжал в больницу – никакого медвежонка не было.

Видите медвежонка?! Он прекрасно адаптировался в моем доме. Подойдите, дотянитесь до него. Потрогайте медвежонка. Сыплется? Я знаю, что из него сыплется! Наркотик. В него спрятали наркотик. Стоит его потрогать – наркотик сыплется: порошок. Медвежонок и есть Медведев. Маленький плюшевый медвежонок.

Бог-отец

Я только на антибиотиках сидел, когда в отделение внесли стопки чистых глаженных пижам, велели переодеваться. Всем. Переоделся. Повели голосовать за Медведева. Проголосовал спокойно на Медведева. Выписался. Возвращаюсь домой, вижу: мои старые обои сорваны, но не везде. На тех, что не успели сорвать, кровь осталась. Я уже показывал. Вот кровь. И вот кровь. Должна была быть моя кровь. Сначала – была моей, пока убивали меня. Но, сколько меня ни убивали, они работали на меня. Каждый раз, когда они приходили и убивали меня, выходило так, что вместо этого они делали мне ремонт. Начинали убивать меня, но убивали кого-то другого, чей

труп лежит на полу под видом снятой раковины. На это место, где его убили, бросили раковину. Получалось, что каждый раз они убивали меня, но работали на меня; а я отдыхал себе спокойно в больнице. Спал целыми днями, кушал, поправлялся.

Начинают меня убивать, калечить, ломают мне ноги – и вдруг видят, что меня дома нет. Вместо того, чтобы меня калечить, они делают мне ремонт, меняют сантехнику. Поняв, что это не я, они уже не могли прекратить работу, им надо было смыть следы своего злодеяния. Провели дезинфекцию места, мазали, брызгали, сорвали почти все старые обои с моими символами, записями. Пустили пыль в глаза – дескать, ремонт идет. Сами же развели бурную деятельность, а потом куда-то испарились.

Я сорвал кусок обоев с размазанной кровью. Заложил в книгу «Самадева», типа закладки. И тут увидел, что кто-то вырвал из нее часть страниц. Они – не они. От «Нараянии», фрагмента «Махабхараты», остался только корешок. Кстати, я ненавижу Раму. Посмотрите, как жил Равана! Какое это чудо! А тут какой-то плюгавый Рама и его ебливая баба Сита, которая утверждает, что она туда случайно попала, что ее украли. На хуй нам сдался этот Рама с его обезьянами. Бог ней, с Индией. Было бы Цейлону хорошо!

Посмотрите сюда, где я отбил часть стены – они не успели замазать. Дерево там видите – это кость, кость Бога-отца. Потрогайте. Не бойтесь. Кости Бога-отца в моем доме. На этих деревяшках в конце 19-го века крепилась стенка; они сложены крест на крест. Это его кости – мощи. Книга по анатомии, которую они у меня украли, помогла бы нам сейчас. Я сорвал окровавленный кусок бумаги со стены – и захоронил змея в книге «Самадева». Свои визитки захоронил в могиле еврейской семьи. Всю их семью зарезал один русский бандит, домушник. Мне эта семья делает только хорошо. Когда меня убивают – мне делают хорошо. Они меня убивают – но получается так, что делают мне ремонт. Убивают – а я в это время в свеженькой пижамке спокойно голосую за Медведева. Проголосовал – и спокойно ем свой бутерброд с московской колбасой. Конечно, их это бесит – что они делают мне только добро. Они каждой копеей дорожат – а тут вынуждены

мне ремонт делать за свой счет. Примерно раз в год они делают мне ремонт. Приходят убивать – но вместо этого делают ремонт. Работают, трудятся. Правда, никогда не доводят ремонт до конца. Но все равно – это не маленькие деньги: начать ремонт. Они теряют на мне деньги и не только деньги. Они теряют на мне веру в реальность. Как это так: начинают меня убивать – но, оказывается, делают мне ремонт, делают мне добро. Все их попытки убить меня заканчиваются ремонтом в моей квартире. Влипли они со мной: обречены всегда делать мне добро, хотя каждый раз являются моими убийцами. Они же остаются убийцами. Но понять ничего не могут. Как им жить?! Думают, что эта раковина на полу – это есть я; что они меня избивают, калечат. Тогда как на самом деле они просто сняли и поменяли раковину на кухне. Старая раковина осталась лежать на полу, как мой труп. Или труп другого, забитого до смерти человека. Думали, что я человека от раковины отличить не смогу?! Подменили человека раковиной. Убили человека: сорвали старую раковину. Я такое уже видел, не помню где, в каком-то журнале: снимки из космоса поверхности Марса, по ней камни катятся. Бог-отец может быть Луной. Вот это на самом деле страшно.

Я наслаждался жизнью в больнице, мимо везли Медведева на Красную площадь, чтобы выбирать. И Путина. Медведева и Путина везли прямо за окнами больницы на Красную площадь, где их ждали, чтобы выбрать. Нас подняли, переложили и погнали в столовую. Там телевизор цветной привезли в подарок. Он уже стоит. Неподвижно стоит Путин, под галоперидолом. И такой же Медведев стоит рядом. У Путина руки торчат, как петли. И такие же руки у Медведева. Две торчащие петли.

Путин и Медведев в нашем отделении! Как это понимать?! Стоит Путин, стоит Медведев. Неужели я и все в отделении, включая медиков, сошли с ума? Стоим в чистеньком, глаженном, шевельнуться не можем. Потому что перед нами, тоже неподвижно, как отражения в зеркале, стоят и глядят на нас они: Путин и Медведев. И тоже ничего не понимают. Но стоило нам начать улыбаться, они тоже начинали улыбаться. Мы начали желать им здоровья, и они стали желать нам того же.

Но чудес, как мы знаем, не бывает. Закон земного притяжения и другие основы нашей физики на месте. Логика на месте. Медведев и Путин по дороге на Красную площадь заехали проверить, посмотреть, как голосуют в психиатрии. Привезли в подарок большой цветной телевизор. Я сразу обратил внимание на их руки. Не голосовать после их рук я уже не мог. Хотелось поставить роспись, крестик, что-нибудь для них сделать. Не потому что нам велели. Но потому что увидел, как торчат руки у того и другого.

После разбора копировального аппарата на детали останется один лишь голый факт. Мы снова адаптируем подлинник Шекспира, рукопись «Укрощение строптивой». Но на сей раз – к подписям, которыми мы в психиатрической больнице голосовали за Медведева.

Голосуют – как?! Расписываются – закорючки ставят. Я свою закорючку поставил, как во втором классе, когда Наташке Брусникиной в записке волосок нарисовал. У тебя на писе волосики какой длины? У меня – такой. А у тебя? А у меня – такой. Берем подписи пациентов психиатрической больницы, проголосовавших, и адаптируем к этим подписям руку Шекспира, оригинал рукописи. И приходим в гости к бедному Тому из «Короля Лира». Помните, в ночлежке для отверженных людей, став таким же нищим бродягой, король замечает несчастного, полуголого человека в грязи, но не узнает его? А все началось с того, если помните, что король не потерпел, что его младшая дочь не стала радоваться его доброте.

Адаптируем руку Шекспира к закорючкам, которыми проголосовали пациенты психиатрической больницы № 5 – и получим бешеную любовь еврейки к нацисту, получим «Укрощение строптивой», где этот парень окажется нацистом, еврейка – строптивой.

У Медведева руки нехорошо торчат. И у Путина с руками та же история. Я снова это увидел: две руки – как две петли, четыре руки – как четыре петли. Я это уже видел на чердаке двухэтажного дома перед тем, как попал в Псково-Печорский монастырь, в руки слепого инокa отца Мельхиседека. Изучал там социальные науки, учился читать на языке слепых.

Когда вернулся домой, обнаружил там разгром, снял с петли маленького плюшевого медвежонка, лег с ним, стал его тискать, чтобы из него сыпался порошок – громко и долго я смеялся, перепугал соседей. Потому что Медведев и Путин могли стоять не в нашем отделении в столовой, а на большом экране в том самом телевизоре, который прислали в подарок ко дню выборов президента. Но не я один увидел, что они молча стоят в столовой рядом с уже включенным телевизором. И не я один обратил внимание на их руки: что у них с руками.

Зашел

Зашел в музыкальную лавку купить диск с песнями Третьего Рейха, полечиться. После такой музыки сразу все душевные ранки зарубцовываются. Продавец берет у меня деньги, но диск не отдает, держит в руке, говорит, спасибо. Я прошу у него мой диск. Он говорит: «Ты же мне только что его подарил. Нехорошо брать подарки обратно. Когда маленький был, тебе этого не говорили? Что ж, видимо, придется мне заняться твоим воспитанием», – и легонько стукнул меня этим диском по лбу. Я увидел, что за моей спиной стоят две молоденькие девушки и наслаждаются моим позором. Я потер пальцами, чтобы все они увидели, что такое для меня деньги – и выскочил на улицу. Пошел по дороге, вернулся домой, не раздеваясь, прямо в плаще лег под одеяло и стал думать. Я понял, что это был за человек, что он хотел сказать. Он хотел сказать, что кошелек дороже денег. Но это не так. Деньги дороже кошелька. Я потер пальцы. По сравнению с моим так сильно развитым осязанием, его деньги – это пустой кошелек. Я ненавижу то, что он называет деньгами. Поэтому такие люди, как он, ненавидят меня, плюют мне в лицо. Прележав под одеялом почти сутки, я вскочил и отправился в гостиницу «Пекин».

В гостинице «Пекин», как в старые добрые времена рассказал, что хочу вступить в коммунистическую партию Китая. Велели подождать, принесли чай: индийский. Принесли литературу. Сказали, чтобы я прочитал – и пришел снова, когда все выучу. Я не стал говорить, что все это уже было. Что уже приходил в гостиницу «Пекин» в 91-м году, писал заявление

о вступлении в партию. Они или другие китайцы давали мне эту же литературу. Сказали, чтобы я внимательно все изучил.

Я поступаю, как тогда: уебываю, как можно дальше, со всей литературой, что они мне дали – и сдаю ее в букинистический магазин, где меня тоже хорошо помнят.

Логика

Мои путевые записки «Голый армянин» писались под вопрошающим взглядом ослиной челюсти.

«А чем ты полезен? – говорила своим видом ослиная челюсть. – Ты до сих пор так и не доказал, что ты человек».

Я ничего не мог с этим поделать. Меня совершенно измучили вопросы. Я купил ослиную челюсть на рынке в крохотном городке в Кашмире. Возил с собой, лежа поднимал над головой, чтобы сквозь нее шли лучи солнца – и отвечал на ее вопросы.

Руки сами тянулись к сумке, доставали и поднимали ослиную челюсть, словно она сама выбиралась из сумки, брала мои руки, как два костыля, чтобы подняться и посмотреть мне прямо в глаза, поговорить по душам. Она говорила, что я не достоин называться человеком. Это не было депрессией. Нормальный мужской разговор. Потом я побывал в состоянии клинической смерти. Сторож в реанимации сказал, что он сжег мою ослиную челюсть, как мусор.

Сам себе человек самый страшный палач. Знаете, что это такое – депрессия зимой, во время дождей? Не жалуюсь никакому дяде, ни на кого не показываю пальцем. Живу монологами о никчемности и бесполезности своей души. В голову забираются всякие максимы из Ларошфуко на счет самолюбия, самолюбования. Ларошфуко меня добил своими максимами. Потом начался суд. Я вышел на улицу и пошел направо. Меня судили все. Меня судил мужской костюм, выставленный в витрине магазина. Судил недопитый стакан воды. Судил подобранный билет на проезд в общественном транспорте. Меня судили подошвы моих сандалий: что я такой же, как они.

Я – такой же, как этот пиджак, как эти брюки, как эти сандалии, как эти выброшенные билетки. Не то что голоса.

Нет. Мне показывалась моя жизнь моими же глазами. Ничего больше. Я только смотрел. Они же говорили со мной на языке зрения: «Я – пиджак. А ты?» «Я – стакан воды. А ты? Ты – такой же, как я...» Они были правы. И мне пришлось говорить последнее слово своими записками «Голый армянин», чтобы доказать, что я не являюсь пиджаком, стаканом, билетом на автобус. Но доказал обратное. Свидетельствовал против себя.

Хочу бежать, хочу исчезнуть – но не могу. Собачья совесть вцепилась в мою задницу и не отпускает: «Чем ты лучше этого костюма, этого стакана с водой? Докажи! Докажи логически, согласно „Аналитикам“ Аристотеля...»

Четкими выкладками пытаешься себя защитить, выставить переход и уйти от вопросов. Бежишь к плите, зажигаешь огонь, ставишь на огонь ложку, потом снимаешь ложку с огня и жжешь ею свою руку, свое тело, приговаривая: «Вот так тебе, вот так...» Ничего ты с такой логикой не поделаешь. Ничего не попишешь. Это ослиная челюсть.

Весы

Решил поговорить с одним астрологом, узнать, что там в моем гороскопе новенького происходит. Астролог сильно деградировал, опустился: стал похож на человека. Встретил меня – суровый, почти голый, как бедный Том. Мне показалось, что он не узнал меня. Я не успел ничего сказать, он ничего не стал спрашивать. С порога он начал рассказывать о себе, кто он такой. Деньги попросил вперед. Я протянул ему немного рублей, извинился, что больше нет. Он сказал: «Спасибо, слушай внимательно, откуда я такой взялся. Козерог переходит в Водолея. Водолей переходит в Рыбу. Рыба переходит в Овна. Овен переходит в Тельца. Телец переходит в Близнецов. Близнецы переходят в Рака. Рак переходит во Льва. Лев переходит в Деву. Или. Весы переходят в Скорпиона. Скорпион переходит в Стрельца. Стрелец переходит в Козерога. Козерог – в Водолея. Водолей – в Рыбу. Рыба – в Овна. Овен – в Тельца. Телец – в Близнецов. Близнецы – в Рака. Рак – во Льва. Лев – в Деву...»

Я сказал, что все понял...

«Не понял ты ни хуя.... – заорал он. – Дева переходит в Весы. Весы переходят в Скорпиона. Скорпион – в Стрельца. Стрелец – в Козерога. Козерог – в Стрельца. И т.д. Происходит смена созвездий по принципу два четыре, два четыре, шесть девять. Надо еще сотенку накинуть...»

Я сказал, что в долгу не останусь.

«...четыре два четыре два шесть девять два четыре два четыре...»

И тут я понял, что за хитрую штуку он проделывает со мной сейчас. По законам древней физики он меня просто-напросто продает. Слава Богу, я знаком с историей науки и знаю, что когда звездочеты древности предсказывали человеку по звездам его судьбу, они платили этими звездами за этого человека. И такой человек уходил к ним в рабство.

Но когда попытался вырвать у него из рук свои деньги, совершил ту же ошибку, что продавец в музыкальной лавке: решил, что кошелек дороже денег. Астролог молниеносно вцепился мне в горло, когда я попросил деньги назад, что напомнило: «Кошелек или жизнь?» – выражение, которым пользуются грабители. Я лишился не столько сил, сколько осязания. Я сказал продавцу в лавке, что для таких, как он, кошелек дороже денег, но это неправильно. Поэтому не стал требовать покупку или назад деньги. Но когда астролог так себя повел, инстинктивно я сам схватился за свой кошелек – и лишился осязания и денег. Когда лишают осязания, деньги становятся пустым кошельком.

Я правильно сделал, что не стал бороться за свою покупку или за то, что здесь называется деньгами. Тем более что деньги ушли. Потрешь друг о друга пальцы руки – и сразу почувствуешь вкус ассигнаций. Деньги – либо они есть, либо их нет. Как решишь – так и будет.

Простым потиранием пальцев друг о друга говорят: деньги. Пересчитывают деньги, передают, принимают – все время трут пальцы. Либо осязаешь деньги, либо нет. Все дело в осязании. По гамбургскому счету есть только деньги осязания. Мы кого-то лишаем осязания, нас лишают осязания: продаем свое осязание за деньги, покупаем свое же осязание. За деньги.

Один алкоголик – умный, веселый малый – после лечения вернулся в свой город к своим друзьям и знакомым – и через три дня покончил с собой, потому что не мог ни к одному из них прикоснуться. Он говорил своим знакомым: я вас не чувствую.

Мой знакомый – такой же весельчак, выпивоха, сын поэта Кирсанова – прогулял все свои деньги и повесился. Перед тем, как повеситься, он оставил записку: «Я возвращаюсь домой, потому что у меня закончились деньги...»

Деньги – эквивалент затраченных страданий? Неважно, что огромные деньги могут принадлежать всего одному человеку, а страдания затрачены множеством других людей. Когда человек дает деньги церкви – это называют пожертвованием. Когда сам человек приносится в жертву – это также принимает вид денег, нечеловеческих денег, которых можно не касаться, но тратить, делать самые неожиданные вложения, покупки. Не выходя из дома, на блошином рынке судьбы можно за чужие деньги купить в чужие руки что-то страшное, и в чужих руках этим пользоваться.

Когда человеку-невидимке удалось окончательно надругаться над своей видимостью, принести в жертву свой человеческий вид – другие люди, в силу его невидимого уродства, приняли вид его рабов, его рабской силы. Он расплачивался с ними их же руками и деньгами. Наслаждался их разнообразными бытовыми страданиями. Переставлял и воровал их вещи. Он стал их судьбой. Бог дал – Бог взял.

Жертвы есть нравственные, психологические, всякие; но, в конечном счете, платят последним, что есть. Платят своей уязвимостью, видимостью. Не хочешь, чтобы к тебе прикасались – к тебе прикасаются, делают с тобой, что хотят. Боишься на себя в зеркало посмотреть – но что-то заставляет, потому что в зеркале смерть надела твою маску и смотрит на тебя с таким видом, мол: хорошо, пока есть, чем платить. Не как человек-невидимка: антижертва такая! Он просто отказался от своих денег, чтобы не платить. Надругался над своей видимостью и над всеми. Занял – и не вер-

нул. Показал кукиш вместо денег. Пустое место – вместо плоти и крови.

Я не считаю для себя такое поведение возможным. Я не считаю деньги в чужом кошельке. Расплачиваюсь последним, что есть: своей идентичностью, обликом. Со мной расплачиваются моим же осязанием. Продавец не позволил мне прикоснуться к покупке. Я пересчитал и передал ему в руки 150 рублей за диск с песнями третьего Рейха, чтобы прийти домой и послушать, в себя немножко прийти. Он ничего мне не дал; сказал, что я купил этот диск для него. Я потер пальцами, которыми только что пересчитал и передал деньги – и остался при своем мнении. К своей покупке не прикоснулся, ничего, кроме самих пальцев, не ощутил. Ничего не слизнул. Ничего не взял. На людях – так. Плачу за свое осязание. Зато у себя в квартире, когда один, могу свободно брать и переставлять вещи. Потираю руки: есть чем расплачиваться. Ставлю кастрюлю на плиту, варю в ней воду, завариваю крепкий цейлонский чай. Сплю, как младенец, по шестнадцать часов в сутки. Просыпаюсь, никаких снов не помню. Поднимаю левую ногу, сгибаю в колене, опускаю на пол. Поднимаю чашку с пола, допиваю, что в чашке, делаю в ней гоголь-моголь – и понимаю, как много у меня над собой власти. Как сказал Медведев, или Путин: «В мире бушует кризис, но граждане России живут в тихой экономической гавани...» Но относилось это только к одному гражданину, ко мне. Присвоил продавец мою покупку, подарил ее себе от моего лица – я потер пальцами, как делают, когда хотят сказать про деньги, и взял свои денежные средства осязанием назад. Вот они – денежки.

Наступила всеобщая инфляция осязания в мире. Но мне это не грозит. Наоборот, я могу этим воспользоваться, чтобы собраться в кучку, смяться в комок. У меня свои параметры личности и тела, но я не поступаю, как человек-невидимка. Мои деньги – у меня в самих пальцах, и на запястье, и на лбу. Поэтому постоянно попадаюсь всем на глаза, меня трогают, хватают, бьют. Я – никого не могу тронуть, даже ребенка.

Ребенок может меня избить, изнасиловать, я дать ему отпор не смогу. Только пальцы потираю в ответ, чтобы виде-

ли, что я хочу сказать. Что я не мот и знаю цену деньгам, могу считать деньги не хуже их. Только я не считаю чужие деньги в чужом кошельке. Стоит мне вернуться домой – я попадаю на пиршество плоти. Могу до всего дотрагиваться, всем распорядиться. Потираю руки, но на людях потираю пальцы, как делают, когда хотят намекнуть на деньги. Меня заденут – я пальцами потру. Ударят – я пальцами потру. Раком один раз поставили – я тоже пальцами потер. Мол: за такие услуги деньги платят. Но я свои денежки все равно получил – пальцы потер.

Не то чтобы я простил продавцу его долг, когда просто потер пальцами вместо денег, вместо покупки. Я тайно перевел его долг – в свои плотские деньги. Так же поступаю с долгами других людей. Они наносят мне один моральный ущерб за другим. На это – я потираю пальцы, чтобы они видели, что свои деньги я с них получил.

Их мучает голод осязания. Они расплачиваются, с ними расплачиваются. Пересчитывают и передают деньги – и не чувствуют, что продают осязание. Поэтому хватают и хватают – но им все мало. Ленинградская блокада – как массовое несварение желудка. Едят, едят – но не наедаются. У меня же – полный достаток, тихая гавань. Поэтому физически и морально ко мне постоянно пристают, чего-то хотят, сами не понимают чего.

«Кому я нужен?» – спросите вы и будете правы. Кто я такой, чтобы меня хотеть? Я вам больше скажу: я добился инвалидности, сделал себе инвалидность второй группы, чтобы меня оставили в покое. Но – они не могут. Почему-то. Не могут меня не замечать, забыть, лезут с вопросами, предложениями, проделывают со мной отвратительные вещи, в том числе моими собственными руками.

Один мужик из соседнего дома не выдержал и спросил, почему я не сопротивляюсь, когда он начинает меня тискать, лезть ко мне? Я согласился:

«Да, не сопротивляюсь. Я же не знаю, что вы собираетесь со мной сделать. Я не считаю деньги в чужом кошельке...»

Понял он меня или нет – не мое дело.

ДЕНЕЖНЫЙ ЗОДИАК

Древние звездочеты знакомили людей с расположением их звезд на небе и предсказывали им, куда они будут двигаться в жизни дальше. Кем бы ни были эти люди, но по звездам они перемещались, как рабы: люди шли к звездочетам в рабство, чтобы те предсказывали им будущее. Но на деле происходило вот что: на правах звездных агентов звездочеты проводили торговые сделки между звездами, расплачиваясь людьми как своими рабами, используя их в качестве живых денег, платежных средств. Звездочеты не владели рабами физически, но по звездам следили за их перемещением, транспортировкой. Шла нескончаемая транспортировка рабов. Следить за своими рабами было страстью звездочетов. Потому что, следя за рабами, они, по сути, следили за перемещением денег.

У меня была знакомая в Кишиневе, она работала в сберкассе. Она кончала, когда пересчитывала деньги. Кончала по несколько раз в день. А потом попала в рабство к одному армянину. Когда эта женщина пересчитывала купюры, она тем самым продавала себя в рабство – и поэтому испытывала такую сильную страсть. Потому что ощутить свое рабство через деньги, продать себя в рабство – и есть человеческая тайная страсть, скрытая цель. С похожей страстью слепой иннок отец Мельхиседек пальцами на языке осязания пересчитывал места из Евангелия для слепых; все слова в этом Евангелии состояли из дырочек азбуки Брайля. Для него трогать, осязать это Евангелие из дырочек было сродни страсти осязания денег и осязания раба внутри, это было его монашеским послушанием.

Из дырочек Евангелия для слепых состоит вся моя жизнь. Только на языке Брайля можно понять Евангелие, когда слова – дырочки, глаза – пальцы. Только так, мне кажется, можно понять кинематограф.

Знать, что показывают звезды, было сродни сильной плотской страсти, тянущей людей в рабство. Люди находили звездочетов, ехавших по дороге, переезжавших с места на место; последние предлагали людям внимательно посмот-

реть на звезды – и звезды передавали им этих людей в рабство, потом их покупали другие звезды из других созвездий.

Многие цари того времени понимали, что и они находятся в рабстве у звездочетов, и это учитывали. Царь Ирод – тоже. Но, в силу своей роли палача небесного младенца, превратился в его мать. Потому что убить такого младенца можно было, только став его матерью. Как эти типы, что приходят меня убивать – но вместо этого делают мне ремонт за свой счет. Из кожи палача младенца Ирод перебрался в кожу его матери, но оказался на темной стороне материнства и сам стал жертвой страшной материнской магии.

Халдейские маги на звездах, как на пальцах, показали ему, что в Вифлееме родился новый царь Иудеи. Ирод решил затолкать младенца обратно. Перебил всех младенцев в Вифлееме, чтобы хотя бы одним из них оказался его мертвый сын. Так сильно он хотел умертвить этого младенца, что превратился в его мать. После этой резни, говорит предание, тело Ирода стало странным образом разлагаться, мужские половые органы распались, превратились в женские. Мужское тело превратилось в тело матери. Убивая этого младенца, он тем самым изуродовал себя – и заплатил Вифлеемской звезде, как бы вернул долг. В отсутствии там иных денег, кроме факта утраты своей человеческой узнаваемости, только члены бывшего тела, изуродованные до неузнаваемости, выступают в качестве платежных средств. И эти уродства берутся в долг у следующей группы звезд, которые будут дальше предсказывать будущее, дальше давать в долг, который также возвращается последующим уродством, взятым в долг у следующего созвездия. И так по кругу. По всем тринадцати созвездиям, где каждое уродство становится платежным средством, взятым в долг ценой предстоящего уродства. Здесь, на Земле, привыкаешь к своему уродству, потому что к нему можно прикасаться – это есть деньги прикосновения, осязания. Платишь – и привыкаешь ко всему, в том числе к своему уродству. Не на Земле к своему уродству привыкнуть уже нельзя, потому что нельзя прикоснуться – нет осязания, нечем платить за свое уродство – это есть ад наяву. Все члены бывшего тела до неузнаваемости изуродо-

ваны – и к ним не прикоснуться. Так страшно выглядят деньги, что их невозможно взять.

Сначала появились твои деньги, а уже потом появился ты сам. Как говорится, деньги вперед. Есть здоровое тело, голова, моральные волевые качества – платишь, покупаешь себя. В долг. И последними наличными денежными знаками оказываются старость, болезни, моральное и физическое уродство, но, являясь платежным средством, они тоже берутся в долг. Сначала – старость, уродства, а потом уже ты. Платишь вперед, а на векселе ростовщика по-прежнему подпись стоит – закорючка, страшнее которой ничего нет. Вопрос не так стоит: плати – и будешь жить, кошелек или жизнь. Нет. Плата, с одной стороны, уже внесена, а с другой – всегда оказывается впереди. И вносится она уродством, которым залазишь в будущий долг и в будущее уродство.

Если посмотреть на наши половые органы вчуже, как бы из космоса, то можно заметить, что они уже морально и физически изуродованы, потому что в них совмещены функции размножения и выделения. Если бы человек к ним не привык из-за того, что он все время их трогает, теребит – они были бы ему самому противны, невыносимы. Человека, превратившего свой дом в помойку, мы воспринимаем, как морального и физического уродца, при этом морального и физического уродства собственных половых органов не замечаем. «Сучок в чужом глазу видим, а в своем глазу не замечаем бревна». Считаем деньги в чужом кошельке! Но платить своим уродством придется, и даже его предстоит брать в долг. Это и есть Каббала, что значит попасть в кабалу, вечную кабалу. Поэтому Иисус Христос говорил только о деньгах и ни о чем другом, кроме денег, не говорил. «Капитал» – только не чернилами на бумаге – написал Иисус Христос, а не Карл Маркс. Это не просто долговая яма, в которой сидишь и ждешь смерти. Идея денег продолжает и вне Земли свой кругооборот – и снова платишь своим уродством. И этим своим уродством предвидишь и предсказываешь будущее, как по звездам. По твоему уродству звездочеты предсказывают людям их будущее и тем самым покупают их в рабство, но не избавляют от денег. С этого денежного зодиака не сойти. Речь не о том, чтобы

избавиться от уродства, самой речи нет как таковой. Говорят только деньги, закорючки. Чтобы выкупить вексель, нужно подписать новый вексель. Чтобы купить доллары, нужно продать рубли. За уродством следует плата очередным уродством, и так по кругу, по часовой стрелке. Или. Весы переходят в Скорпиона, Скорпион – в Стрельца, Стрелец – в Козерога, Козерог – в Водолея, Водолей – в Рыбу, Рыба – в Овна, Овен – в Тельца, Телец – в Близнецов, Близнецы – в Рака, Рак – в Льва, Лев – в Деву. И с этого круга не сойти. Зодиак ада проходит через тринадцать созвездий самых невероятных уродств, зверств, в духе насмешек человека-невидимки.

Иисус Христос заплатил за нас нашими уродствами, как если бы это были его уродства и уродства всех частей его тела: физические и моральные уродства его земного тела в лице тринадцати апостолов, тринадцати знаков Зодиака. Апостолы были распяты в разных позах, в разные стороны неба, в разных точках Земли. И были по-разному изуродованы, включая повесившегося Иуду, включая зарезанных на Рождество младенцев, которых зарезали вместо него, включая всех изуродованных людей, калек, прокаженных, слепых, сухих, встречавшихся на Его пути. Он нес любовь к уродствам, абсолютно ко всем уродствам, физическим и моральным, и тем самым втайне платил, брал эти уродства на себя. Не брал долг на себя, но выкупал деньги как таковые. Выкупить долг Земли можно только на Земле. Он убивал и калечил себя, в том числе и в лице других людей. Где были эти люди, где был он – сказать было нельзя. Других денег, кроме Него, у них не было.

Еврей, голосовавший следом за мной тоже, понимает, за Медведева, рассказал: «Я за свою дочку Тому заплатил ментам, заплатил судье, заплатил докторам, чтобы ее не осудили, не посадили и не отправили в психушку. Она бы в психушке оказалась. Я этого испугался. И нашел деньги, чтобы освободить свою любимую дочь. Но лучше бы я их не находил и не платил ничего. Полежала бы спокойно в психушке, как я сейчас лежу, на государственных харчах – поумнела бы и выписалась. Но я заплатил все-все деньги, какие только имел и смог собрать – ее отпустили с богом, и она на радостях натворила такое, что ее уже невозможно выкупить ни за ка-

кие деньги...» Поэтому может не стоит так уж переоценивать искупительную жертву Божьего Сына, позволившего себя так изуродовать и тем самым заплатившего за нас всем и вся. Если, конечно, эта девушка Тома, олицетворение людского рода, натворившая что-то страшное и непоправимое, тоже не является уродством Божьего Сына, все члены тела которого морально и физически изуродованы.

Тело ест душу, душа уродует тело, человек остается в дураках, остается загадкой, страшной загадкой. Если на земле свое уродство можно осязать – и к нему привыкаешь, то дальше его осязать нельзя – и привыкания не происходит. Уродство своего тела, не вызывающее привыкания, там называется деньгами, которыми можно платить. Потому этими страшными деньгами там и здесь платят, расплачиваются. Но откупиться не могут. Потому что от самих денег не откупиться, не избавиться.

Я оставил свои деньги продавцу за то, что он унизил меня: не отдал покупку, не вернул деньги, и в присутствии двух девушек чувствительно стукнул меня по голове. Я – только пальцы потер, чтобы он эти деньги увидел, какими они могут быть. Я тоже произвел уродство на теле, когда пальцами потер. Фома-близнец в изуродованное тело пальцы вложил; глазам не верил, что это Иисус. В Евангелии для слепых есть место, где Иисус говорит, чтобы монету с кесарем отнесли назад кесарю, а ему несли его деньги: эти тайные искупительные денежные средства так страшно выглядят, что до них страшно дотронуться, чтобы взять и дать.

Я увидел, как торчат руки у Медведева и Путина – как скрученные петли; две руки – две скрученные петли, четыре руки – четыре скрученные петли.

Пересчитал и передал деньги за покупку – но только по рукам и по лбу получил. Продавец думал, что унизил меня. На нас смотрели две сексапильные студентки. Я потер пальцами – чтобы он видел, и девушки тоже видели, что я показываю им деньги, и что такое деньги. Вернулся домой, плюхнулся в постель, прямо в плаще. Как мог, укрылся, стал думать.

Недосягаемые проститутки на красных ковровых дорожках, секс по телефону, педофилия, некрофилия, религи-

озный фанатизм – все это «столы и секретеры» с одного блошиного рынка, где каждый расплачивается или откупается своими телесными деньгами.

Мой сосед по подъезду не захотел продавать мне свой костюм. Но – умер. Родственники отнесли костюм на помойку. Я его подобрал. Он идеально на меня лег. Выходит, что покойный сосед все же продал мне свой костюм. Только в роли денег выступил я сам.

Маленький русский мальчик по совпадению был зарезан на еврейскую Пасху. Я первый его нашел, ночью, на той же помойке за домом. Понял, что это провокация. Его зарезали, чтобы мне захотелось взять его на руки. Мне, правда, очень этого захотелось: побыть жидом, настоящим жидом с рогами. Но не смог. Подумал, может продать этого ребенка – но не понимал как. Попробовал пальцы потереть – не смог. Пошел прочь.

Зарезанными младенцами Вифлеема платили именно Земле. Вифлеемская звезда заплатила Земле? Неважно. Мать-Земля со всеми ее лунами заставляет убивать. Только после этого она дает поесть. Убьешь – дам поесть. Не убьешь – не дам. Земля: рожает – и убивает, рожает – и убивает. Хлебом ее не корми – дай понянчиться с мертвыми детьми.

Астролог душил меня. Мои руки отказались меня защищать. До смерти оставалось совсем ничего. Я уже начал ловить кайф. Но в последний момент он вскочил с меня и принялся считать созвездия на пальцах руки. Как слепой монах из Печорской лавры, пальцы стал загигать, которыми только что душил:

«...Лев переходит в Деву, – загнул палец. – Дева переходит в Весы, – загнул следующий палец. – Но переходит не как все. Все переходят 19-го и 21-го числа, а Дева в Весы переходит 23-го. 21-го сентября – день рождения Богородицы. У меня день рождения с 22-го на 23-е сентября. Я родился в созвездии Девы. Бойся меня. Если мне кто-то начинает указывать, что мне делать на собственной кухне, то я, Дева, – знаешь, что я с ним делаю?! Кто ты, чтобы мне указывать, мной управлять, мной – Девой? Ты – кто? Какие-то там Весы железные бездушные. Или какие-то Скорпионы ядовитые.

Какие-то Кентавры – полулюди. Какие-то козероги – с рогами. Водолей какой-то, типа сантехника, которого ты во сне видишь, потому что у тебя канализацию прорвало. Или какие-то там Быки, Овцы, Близнецы сиамские и прочие уроды. Но я – Дева. И вы мне указываете, что я должен делать?! Я этого не переживу. Вы за это поплатитесь. Иди и передай всем то, что я сказал...»

Покупка

Если Христос явится, дураки не будут стоять на месте. Они не проспят жениха. Побегут к нему. Умные останутся сидеть на месте, не станут бегать. Дураки останутся с дураками, куда бы ни побежали. Они останутся в той же массе Платона. Первый: Платон. Затем: Маркс. Затем: Ленин. Но если в свете Перипатетики Аристотеля, в свете другой философии, враждебной платоникам, посмотреть на учение Маркса, Ленина – то увидим, что они хотят построить свой капитализм. Строят капитализм, минуя период просвещения, минуя средневековые, минуя рабовладельческую демократию. Пока что мы еще не прошли рабство, не прошли средневековые, чтобы строить социализм, демократию. Тайны рабства не разгаданы, не приняты во внимание. Человек перемещается по рынку рабов, где за самые разные товары и услуги у него покупают его внутреннего раба, чтобы из его чувствительной плоти создать технологии прогресса. Продать этого раба – то же, что продать душу дьяволу.

Забрел в самый большой магазин в Москве. Пришла в голову идея купить недорогую цифровую кинокамеру. Я уже много лет ничего не снимал. Кинокамер там тьма тьмущая; но у каждой есть что-то свое, чего нет у другой. Каждая камера чем-то хороша и чем-то плоха, превосходит другую камеру в одном, но уступает в другом. Для чего это делается? Почему нельзя выпустить одну нормальную кинокамеру? Продавцы-консультанты, молодые люди в белых рубашках и галстуках, вы же меня без ножа режете! – закричал я. Менеджер вызвал охрану. Охранник отвел меня в туалет.

«Понимаешь, – сказал охранник, – это делается с простой целью: чтобы подвесить тебя. Чтобы ты купил, но ушел

с таким чувством, что не довел дело до конца. Доведешь в следующий раз, когда придешь снова. Купишь новую вещь. Но повторится то же самое, чтобы ты снова пришел. Потребитель не должен уйти полностью удовлетворенным. Он должен остаться на крючке; он должен все время оставаться в подвешенном состоянии. Это и есть тайна фирмы, тайный сговор всех фирм: подвесить тебя...»

Киоск в подземном переходе торговал дешевыми китайскими кинокамерами и мобильными телефонами. Я сказал продавцу, что одно время занимался аэрофотосъемкой. Хотел объяснить, для чего мне нужна камера, чтобы он помог выбрать. Но он уже не слышал меня. Сказал, что завтра женится, поэтому я могу взять у него любую камеру бесплатно в подарок. Я протянул руку к полке с кинокамерами. Наметил взять не самую дорогую, но и не самую дешевую. Но взять ничего не смог. Не смог прикоснуться. Не смог. Начал хватать все камеры подряд, но все камеры, как стояли на полке, так и стоят. Я лишился осязания или рассудка. Фокус оказался в том, что все кинокамеры были обманом зрения, оптическим обманом. И этот обман зрения был новой китайской игрушкой и стоил он не так дорого, но и не так дешево. Он предложил мне купить этот оптический обман. Один у него сегодня уже купили, последний остался. Но один обман зрения он только что мне уже продал. Я заплатил тем, что не смог ни до чего дотронуться. Он сказал, что если я намерен купить этот обман зрения, то могу потрогать, как говорится, товар руками. Я попросил его, чтобы он сначала вернул мне мои деньги. И хотел пальцы потереть, но почему-то не стал, или не смог. Испугался, что не смогу.

«Ты про это спрашиваешь? – сказал он и потер пальцы, как делают, когда говорят про деньги. – Никаких денег я не касался. Я пока что в своем уме...»

«Я тоже...» – сказал я.

«Тогда давай договоримся, что мы называем деньгами? Это? – спросил он и снова потер пальцы, – и кто кому продает оптический обман...»

«И где он – оптический обман?» – сказал я.

«Мой оптический обман – это ты...» – сказал он и посоветовал мне исчезнуть.

Я то ли правда не мог пальцами потереть, то ли не захотел – как на помойке в еврейскую пасху, когда нашел там мертвого ребенка, явно православного. Захотел потереть пальцами – взять за этого мертвого ребенка деньги – но не смог. Не смог продать. Кому в наше время нужен мертвый русский ребенок? Никому он не нужен, даже евреям. Но я другого не могу понять. В день выборов в нашем отделении по радио передавали запись фортепьянного концерта Моцарта. Я еще подумал, что, видно, в тот день, когда была сделана запись, звезды так стали, что Рихтер превзошел сам себя; а кто-то другой в этот день попал в сумасшедший дом: тоже превзошел сам себя или не смог. Звезды встают так, что лишают людей последних денежных средств: осязания в аду. Живешь в изуродованном виде – но не привыкаешь, как привыкал до сих пор ко всему. Не привыкаешь к страшным физическим и моральным уродствам своего тела. Хочешь прикоснуться к покупке – но не можешь. Идешь на концерт Рихтера – но приходишь на выборы в сумасшедший дом. Когда вышел из подземного перехода, было уже темно. Не просто темно, была глубокая ночь. Смотри у меня, созвездие Андромеды! Грожу тебе пальцем.

ЭКВАТОР

Не помню, когда это случилось, когда я понял, что экватор пересекает картину Давида «Смерть Марата». Я внимательно рассматривал «Смерть Марата» и понял, что экватор Земли можно пересечь только через эту картину. Марат лежит в ванной. У него страшная чесотка. Голова замотана. Письмо только что писал. Из ванны свисает рука с пером до самого пола, словно что-то на полу пишет. Под головой свежая открытая ножевая рана. Приоткрытый от боли рот – также напоминает рану. Женщина, которая ему только что отомстила за гильотину, отрезавшую головы аристократом – ее на картине нет. Она такая же, как Фанни Каплан, стрелявшая в Ленина, тоже носатая. Эту женщину потом казнили, Каплан тоже казнили. Смертельно раненый Марат не может переплыть ванну. Не может

переплыть, словно он один в пространстве огромного океана, тонет. Из него вышли силы. Впрочем, там что угодно может показаться. В правом нижнем углу картины – авторский знак самого Давида; он является знаком пространства и дает обладателю картины право на вход в пространство, в пространственную суть этой картины. Правый нижний угол. Криминалисты, когда производят осмотр квартиры, комнаты, где было совершено преступление, первым делом идут в правый нижний угол. Не так просто туда прийти. Определить правый нижний угол комнаты, правый нижний угол картины преступления. Только оттуда можно уйти с плоскости в пространство совершенного преступления, убийства. Я говорил с одним злым курильщиком и узнал, что правильное место для пачки сигарет – правый задний карман. Вот! Слово за слово. Пока он курил, я прочитал татуировку на его пальцах, по-английски, на каждом пальце по букве: «Ч-а-й-л-д», что здесь в России переводится как «ребенок».

Индия в школе

Когда учился в восьмом классе, отправился в Индию своим ходом. Вернули обратно. На границе пограничные собаки вынюхали, покусали. Пролежал две недели в больнице под Ташкентом. Приходила женщина из органов, сочная русская женщина средних лет, интересовалась: почему я хотел уехать в Индию, как мне могла такая мысль в голову прийти?

Я сказал, что хотел убедиться, что дальше штата Кашмир не смогу пройти. Что Афанасий Никитин в самой Индии не был. И обратно тоже не вернулся. Не вернулся он в свою Тверь. Она сказала, что я умный мальчик. Попросила ответить только на один вопрос: кто меня надоумил отправиться в столь рискованное путешествие. Сказала, что хочет знать имя, фамилию этого человека. Я назвал имя министра транспорта и путей сообщения. Фамилия его Гребешков. Я учился в одном классе с его дочерью Верой. Она пугала меня. Шла на меня и называла свою фамилию, повторяла: «Я – Вера Гребешкова, Гребешкова, Гребешкова, Гребешкова...» Заставляла меня вслушиваться в свою фамилию, в ее мужской род. Мол: я сделаю с тобой то же самое, что сделала с мужской фамилией

моего отца. Я начинал нервничать, дрожать. Убегал, прятался. Одно время стал даже заикаться. Этот кошмар продолжался примерно до середины девятого класса.

Женщина из органов сказала, что не будет называть своей фамилии. Потом рассмеялась, закрыла рот рукой. Но не смогла отказать себе в удовольствии. Сказала: «А я Ксения Огурцова. Огурцова я. Огурцова, Огурцова, Огурцова. Я по мужу Копейкина. По отцу Огурцова. Огурцова, Огурцова, Огурцова...»

Я попытался встать, закричать. Но она поймала мою голову – и быстро попросила прощения. Сказала, что неудачно пошутила: нельзя пугать такого красивого мальчика. И повторила свой вопрос: кто меня послал в Индию? Я ответил: Гребешков – министр транспорта и путей сообщения.

Когда он пришел к нам в школу – наш директор лично его встречал, учителя стелились перед ним, рассказывали, какая его дочь способная девочка. На это он грозил им пальцем и называл лгунами. Они чуть ли не в ноги ему кланялись.

Я увидел, что он заходит в туалет – и пошел за ним. Нельзя было терять ни секунды. Как только мы оказались возле писсуаров, я сказал, что учусь с его дочерью в одном классе. И спросил: как мне попасть в Индию?

Он расстегнул ширинку. Я в ужасе подумал, что началось: сейчас он покажет мне Индию, Цейлон, Израиль. Транспорт и пути сообщения – это его работа. Но, слава богу, он просто пустил струю в писсуар, немного дал мне послушать, как она журчит – и ответил вопросом на вопрос:

– Поставки индийского чая откуда идут?

Я ответил, что из Краснодарской области. Сказал, что думал. На желтых пачках индийского чая со слонем писалось: «Краснодарская область». Но он меня не понял. Заорал:

– Индийским чаем все магазины переполнены, а ты спрашиваешь: как добраться до Индии? Чай индийский? Чай индийский – я спрашиваю?!

– Индийский.

– Привозят его на транспорте?

– На транспорте.

– Откуда идет транспорт? Откуда, я спрашиваю, идет транспорт за индийским чаем?!

Чтобы не злить его, я сказал, что из Индии. Из Индии – так из Индии.

– Хочешь в Индию?! Идешь, садишься тайком на транспорт, идущий в Индию за чаем, забираешься в темное местечко, чтобы тебя никто не видел. Закрываешь глаза. Просыпаешься в Индии....

Я все рассказал этой кагэбистке. Потому что испугался ее фамилии: Огурцова. Мужская фамилия приняла женский род. Огурцовым был ее отец, отец ее отца. Огурцов – был такой герой войны 1812 года, гусар, друг Дениса Давыдова. Много Огурцовых. Поручик, капитан, рядовой – все Огурцовы, русские герои Огурцовы.

Переключка идет:

«Огурцов!»

«Здесь».

Дают боевое задание.

«Огурцов!»

«Есть».

А тут – Огурцова. Был мужчина – Огурцов. Стала женщина – Огурцова. Так люди о девочках маленьких говорят: «Да, это наша Огурцова. Огурцовская дочка!» Ничего страшного, казалось бы. Маленькая веселая девочка. Но она растет. Из нее не просто огурцовская дочка вырастает. Она становится Огурцовой. Тут уже не до смеха. Сама говорит: я – Огурцова. Если в это вдуматься – хочется бежать в церковь и пить большими глотками святую воду.

Записка

Становится не по себе, когда подумаю, что у Наташки Брусникиной сын – герой России, бил чеченских бандитов. Смотрел на его фото в Интернете на «одноклассниках». Здоровенный русский парень. Красавец. Мученик за веру. Когда я с его девятилетней матерью за одной партой сидел, мой взгляд на уроках часто обращался вниз на ее Брусникинские ножки, но не шел дальше, под юбку, боялся что-то не то увидеть. Теперь, понимаю, чего я боялся. Я боялся увидеть его – этого спецназовца, православного, красивого, сильного парня. Когда он родился, Наташка записала его на свою девичью фамилию почему-то: Брусникина.

Герой России, посмертно причисленный московской патриархией к лику святых, спецназовец Брусникин уже тогда скрывался в шаловливых ножках своей девятилетней матери. Брусникин: мученик за веру. Во время уроков Наташка Брусникина шевелила ножками, чтобы я не отвлекался и смотрел только туда, думал только о ней и о нем. Я его видел, но не понимал, что я вижу.

Брусникина написала мне, что у нее волосики на письке растут. Я написал: у меня тоже. Она пишет: у тебя какой длины? Отвечаю: такой. Рисую маленькую закорючку. Она в ответ рисует свой волосок. Этот волосок и был он – Брусникин, герой, мученик, верный сын России. Она нарисовала его мне, когда нарисовала свой волосок на пизде. «Что написано пером – не вырубишь топором».

«САМАДЕВА»

У моей соседки, она на втором этаже живет, еще недавно были два взрослых молодых сына. Она ими гордилась. Но один покончил собой из-за девушки, другого убили при невыясненных обстоятельствах; а перед этим еще изуродовали, изуродовали лицо. Хорошие были парни – эти ее сыновья. Меня никогда не трогали, не обижали.

Прошло два месяца после смерти второго сына. Она заставила себя умыться и сделать в квартире уборку. Когда выносила мусор, я увидел, как она постарела. За два месяца превратилась в столетнюю старуху, в самую смерть. Взяла двух кошек с той самой помойки, о которой я вам уже рассказывал. Прошло немного времени, и у нее в квартире стало жить что-то около сотни помоечных кошек и пяток бездомных собак. Животные жили с ней вместо двух покойных сыновей. Соседи испугались, что в доме заведется зараза; вызвали бригаду спасателей, всех кошек и собак у нее отняли и куда-то дели, чтобы они не вернулись обратно. Я видел ее, когда она снова осталась одна. Очень долго не мылась, не ела. Потом снова что-то заставило ее жить, навести в доме порядок – что? Я не понимал, как она еще жива, почему не покончит собой. Что она здесь делает? Дети, которых нет – разве они могут заставлять ее жить? Когда у человека непонятно откуда берут-

ся силы и непонятно зачем заставляют жить – это животные появляются и адаптируются в доме? Подселяются в виде беспризорных детей, бродяг. Она увидела на той самой помойке за домом двух не таких старых бродяг. Я подумал: своих покойных сыновей она тоже нашла на помойке; а ее животные жили с ней всегда – и были изуродованы соседскими детьми, уничтожены живодерами, или сами ушли из жизни, перестали быть животными. Она ушла из дома и впустила туда этих двух бродяг, двух призраков жить. Я решил сломать газовую трубу и взорвать весь дом. Вопрос был в том: оставлять самого себя в живых или нет? Потрепанная «Самадева» валялась на полу, смотрела на меня снизу, как животное на хозяина, мол: «Говори, что делать будем? Кто в доме хозяин: я или ты?» К этому времени в подъезде прорвало канализацию. Я живу на самом нижнем этаже. Соседское дерьмо залило мой пол. Я схватил книгу и попробовал устроиться на диване, с книжкой, как положено. Но понял, что это неразумно. Находиться в доме было нельзя, по улицам ходить – тоже неловко. Продукты питания покупать не на что. Тем более, скоро выборы президента РФ. И я отправился ненадолго в пятую психиатрическую больницу.

Следующая Олимпиада пройдет в Лондоне в 2012 году, и пройдет она под девизом: «Звери судят людей». Одно дело, когда соседские мальчишки выжгли моей собачке Чарли глаза линзой; она кушать потом не могла, только лакала из миски. Это они издеваются над домашними животными, которых приручили; эти животные позволили себя приручить. Но другое дело, когда они издеваются над дикими животными, уничтожают зверей, которые не дали себя приручить. Встает вопрос: что после этого ждет самого человека?

Что человек сделал с животными – видно. Остается ждать, что сделают с человеком. Видно, решение его судьбы отложено до лучших времен. До Страшного Суда. Звери судят человека – это и есть Страшный Суд. Олимпийские игры в Лондоне в 2012-м году не состоятся, потому что открытие игр перейдет в Страшный Суд. Или эти игры станут очередной затяжкой времени, хитрым ходом «Самадевы», дабы человек сам довел себя до такого состояния и стал, как

эта несчастная женщина: чтобы животные с помоек и звери из леса явились не запылились и стали адаптироваться в его доме.

Один человек от скуки, чтобы время убить, пошел в парк аттракционов, нашел «комнату смеха» с кривыми зеркалами и стал на свои уродливые отражения в эти зеркала кривые смотреть, чтобы рассмешить себя. Но ночью его уродливые отражения сами завалились к нему в дом с прямо противоположными намерениями, чем те, с какими он к ним приходил и плакал от смеха.

Муки ада

Нервы заводятся от сцены сожжения денег в «Идиоте» настолько, что не могу это читать. Женщина сжигает немислимо большие деньги на глазах сексуально озабоченных мужчин. Нельзя людям читать такое. Нельзя с людьми так. Не люблю роман «Идиот». В «Братьях Карамазовых» тоже что-то такое делается с деньгами. Невозможно читать. Автор тебя погружает в повествование – а потом устраивает подлость. Неприятный тритон в душе, диссонанс. Как будто с твоей душой делают что-то недоброе, подлое. В то же время читать не прекратишь, читаешь дальше. Настолько сильно внушение, обаяние таланта, хотя ругаешь, не знаешь как, этого Достоевского. Умеет он это делать. Потому он и Достоевский, что пользуется запрещенными литературными приемами, болевыми приемами, от которых нет защиты, типа приемов из восточных единоборств. Так нельзя. Очень сильно травмирует. Ломает и портит душу. Во имя идеи. Идея понятна. В конце концов, достигается пресветлая цель, но за счет здоровья читателя.

Вынужден был согласиться с врачом: что во имя поддержания основ миропорядка я претерпел пренеприятное вредное состояние.

«4»

Страшно сложный билет мне выпал на экзамене: закон Ома для участка цепи. Я встал у доски и нарисовал мелом собаку с острыми зубами, слюна капает. И сказал: «Бешеных собак пристреливают, или они сами умирают – это и есть закон Ома

для участка цепи». Не знаю, поняли они меня или нет. Но вы, я знаю, все поняли. Посовещавшись, они мне «четверку» поставили: «хорошо». Может, так было нужно? Может, эта четверка тоже имеет отношение к закону Ома? Может, она не только оценку означает. Написали: «4». Постарались не нарушать закон Ома; соблюсти закон Ома для участка цепи. Какой такой цепи? Откуда докуда? Может, подумали, что это я принимаю у них экзамен, и постарались не ударить лицом в грязь. Не знаю, что думали они, но, по моему мнению, закон Ома для участка цепи звучит так: «Бешеных собак или пристреливают, или они сами умирают». Именно так звучит закон Ома. Для участка цепи. Не знаю, дошло до них или нет. Может, они только сделали вид, что дошло, и поставили «4». Они не поняли, при чем тут участок цепи. Собака срывается с цепи. Бешеная собака сорвалась с цепи прямо с ошейником и с участком цепи. Поэтому закон Ома для участка цепи звучит: «Бешеных собак или пристреливают, или они сами подыхают» — и никак иначе. Конечно, это не похоже на те формулы, которые вдалбливают в головы. Может, мне не козырять нужно было, а написать закон Ома, как он пишется для электрика. Я же выступил в духе «Футбола 1860 года» Кэндзабуро Оэ, то есть сказал правду. Он занимался каратэ; винтовку укрепил и застрелил себя при помощи того механизма. И написал: «Я сказал правду». Вот в таком духе я был прав, в японско-классическом духе. Мне важно было сказать правду. Поэтому я так пробравировал против этой формулы физики. У меня такую реакцию вызывали все формулы физики. Неправда их и отношение к их неправде; естествоиспытательское любомудрствование в поисках чрезвычайной точности вызывало во мне такое агрессивное отношение. Все формулы физики вызывали во мне неприятное чувство. Изучение различных наук набивали оскомину, питали отвращение к учителям. В то же время физику Роджерса я прочитал в сумасшедшем доме запоем. Это — детская физика, совсем другая физика: физика детей. Не та, что преподается в школах. Шли же поиски другой физики. Выписавшись из больницы, я откопал физику Гербегера: это физика Германии 30-х годов, времен нацизма. Она оказалась мне в пору. Я ее исповедую и мыслю в связи с ней. Физику, принятую

для преподавания в школе, я не признаю. Человек, который на ней строит свои предпосылки, убеждения, он ошибается в самом подходе. Я приверженец другой физики: Гербегера. Живу в согласии с ней и не жалею; знаю, что мои планы не рухнут. Проблем у меня нет, поскольку я убежден в правоте и правомерности физики Гербегера. По физике Гербегера собирались автомобили. Один старик в Германии, бывший механик автомобильного завода, рассказал мне, как он однажды подпилит рычаг передач. Это длинная, жуткая история – я ее потом как-нибудь расскажу. Но – физика Гербегера: движение циферблата и движение колеса в этой физике тождественны. Она рассматривает только поступательное движение колеса, как часовой стрелки циферблата. Согласно нашей физике, колесо движется только до нижней точки, до этой вертикальной линии оси – и от нее поворачивает обратно. До нее – и обратно. До нее – и обратно. И никогда эту черту не пересекает. Все силы доходят только досюда. Чтобы остановить колесо, нужно пробить эту плотность. Тогда возникнет настоящий тормоз, тогда колесо будет остановлено. О колесе сансары если говорить, то только в этом отношении: остановка колеса. Но механическое колесо так не движется. Так теоретически движутся стрелки на часах. Согласно законам нашей физики, мы мыслим по-другому: колесо движется, как баранка по столу. Баранка по столу так движется, но колесо в машине, в транспорте – это совсем другое дело. Да, колесо круглое; но и баранка круглая, и яйцо круглое. Но колесо на транспорте совсем другое круглое. С него начинается физика – с его движения и с единственной возможности его остановки. Но это жестокий акт. Подобного рода остановка колеса – это большая жестокость. Третьего не дано. Либо колесо движется, либо оно остановлено. Физика Третьего Рейха, 30-х годов Германии: никаких особых формул, никакого траханья мозгов. Лишь практическое решение, решение дела. Без формул: просто, видим, что это так. И делаем. Это – физика дела, делового решения задачи. Это – так, это – так, это – так. Объяснять никто ничего особенно не будет. Это не еврейская физика, это арийская физика прикладного характера. Не абстрактная физика, на бумаге, в голове еврея. Так можно, так можно, и так можно.

Ничего такого в физике Гербегера нет. Никаких вероятностей. Быть или не быть. То же самое – в философии. Никаких шести курсов философского факультета МГУ. Производственные силы, производственные отношения, базис, надстройка – все это не то, все это не решение вопроса. Это не физика. Поэтому все формулы чреватые ложью, дьяволом. Подростки, дети этого не выносят, терпеть не могут: когда педофилят их мозг, их неокрепшую голову. У них самое враждебное отношение к такой физике. Учитель физики сказал, чтобы я состриг длинные волосы. Сказал: «Мне подонки не нужны». Я сказал: «Сам ты подонок». За это на лекциях по электричеству он проводил на мне опыты; показывал действия закона Ома для участка цепи. Он прилюдно, перед всем классом пропускал через меня ток, не такой большой силы, чтобы я попал в больницу, но достаточной силы, чтобы поднять меня на смех, и в доходчивой форме объяснить формулу закона Ома, написанную на доске. Я решил после окончания девятого класса поступить в духовную семинарию под Одессой. Казалось бы, я мог не послушаться его, своего физика. Меня же током било, сильно било. Мог не послушаться – да не мог. Сама сила тока такова, что я не мог отказаться. В этом, как мне казалось, и заключался этот закон физики: что мне хотелось этой силы; я сам хотел, чтобы он пропустил через меня электрический ток. Я даже пожаловаться на него не смог. Такова тайна силы тока. Ничего не можешь: идешь на это. У всего на свете, в том числе и у физики, есть свои законы и тайны. Задача закона скрыть тайну. Кажется, я открыл тайну рабства.

Индальгенция: капитуляция

Почему дереворосло корнями в землю, а я надеваю ботинки, чтобы выйти на улицу. Почему кто-то не может сесть, только лечь может; а я сел на стул, положил ногу на ногу? Почему я держу чашку с чаем под таким-то углом к полу? Для того чтобы ответить на этот и другие вопросы, в обществе существует физик; он уполномочен отвечать на эти детские вопросы: отговаривать. Хорошая отговорка: потому-то и потому-то. Все объяснили до меня и за меня. Я это знаю и не забываю. Поэтому меня это устраивает: что есть ученый-физик, он этими во-

просами занимается, тонко их рассматривает. Мы же не думаем. Ответы на все эти вопросы мы возложили на его смуглые загорелые сильные плечи. Пусть он на них отвечает. Мы этими вопросами не задаемся. Есть такие люди, которые дают ответы – и очень хорошо. С таким же успехом туалет в унитазе существует для отправления нужд тела, как для объяснений подобного рода. Не будем ничего объяснять сами. Для этой цели существует специальный человек: ученый-физик. Мы этот вопрос решили: можно не ломать голову. Дело не в том, почему я именно так сел на стул, положил ногу на ногу. Есть человек, который мне это объяснит. Есть институт, который занят решением таких задач. Он объясняет подобного рода вещи. Существует физика, и существуют физики. И в принципе все вопросы – такого рода. Очень щепетильно подбираются и даются ответы на все-все вопросы. Помешиваем чайной ложечкой сахар в стакане чая, возникает водоворот, сахар растворяется. Физика на эти вопросы отвечает, как растворяется сахар, какой бывает раствор: насыщенный, сильно насыщенный; каким именно образом возникает водоворот. Как при этом человек держит руку с ложечкой, стоит он, сидит – и другие вещи в духе Свифта, в духе просветительских работ – все это очень важно для физика. Как Свифт описывает все эти коллизии, ситуации не только в «Путешествиях Гулливера», но и вообще свойственные его книгам стиль, манера изложения именно такого рода. Герцен в «Былом и думах» часто ссылается на авторов, которые работают в таком плане, просвещают народ и заодно себя: объясняют, что происходит с куском сахара в стакане чая. В конце восемнадцатого века этими вопросами сильно интересовались, как у нас сегодня информатикой. К ней лежит душа. Как в бытийной пище, в хлебе насущном она нуждается в информации, в информационных технологиях. Однако не будем забывать того старого еврея. Этот старый еврей, когда его спросили, отчего чай в стакане становится сладким – от сахара или от ложечки – сказал, что от ложечки, конечно. Чай становится сладким от ложечки, а не от сахара – сказал он. Сахар тоже важен. Он показывает время: сколько времени нужно ложечкой помешивать чай. Научный эксперимент повторили – слова старого еврея подтвердились. Чай

становится сладким – становится. Эксперимент дает прежний результат – прежний. Поэтому в данной системе, в данной изолированной системе – в стакане с чаем, с ложечкой и кусочком сахара в чае – этот закон физики имеет место. Однако тогда – в восемнадцатом веке, во времена Ломоносова требовались другие ответы на насущные вопросы, которые Адам еще задавал. Но задавал их глазами. Он не понимал, зачем и как он родился. Побывал в состоянии Адама английский поэт восемнадцатого века Блейк. Ему это было дано, чтобы он это смог описать. Он и написал. Кто это читает сегодня, кто об этом думает, кому это интересно? Да никому. Блейком были получены ответы, которые еще пятьдесят лет назад были известны любому штатному физика – и они всех вполне устраивали. Есть физика для мыслящих людей, и есть физика для немслящих людей. Так устроен мыслящий человек, что ему обязательно нужно знать, почему он сел на стул так, поднял стакан с чаем так, вернул стакан с чаем на стол так. Но ему это нужно узнать так, как это узнал Блейк, как если бы он был оторван от общества; а не как тетка в школе сказала – и все повторили, написали формулу, запомнили. Блейк ничего не помнил, он все видел; как иконописец видел образы, которые писал. Почему я положил ногу так, почему я положил руку так. Такой человек, как Блейк, эти вопросы и ответы на них видит в самих позах человека. Некто ему их задает – и показывает страшные ответы: так садится, так делает рукой, так делает ногой. Ответы страшные – потому что от них нельзя защититься. Если человек оторван от общества – это страшные вопросы и страшные ответы. Ты в одиночной камере смертников стоишь, встаешь, садишься – и все понимаешь. Сам не понимаешь – каким образом. На языке самой физики, если угодно, получаешь ответы. Человек, живущий в обществе, легко сможет воспользоваться услугами физика, как услугами милиционера, врача, сантехника и другого специалиста. В обществе есть физик. Он не оставит твою голову без объяснений. Такова еврейская физика. Она на все подобные вопросы отвечает, на все вопросы отвечает, чтобы не оставлять голову непокрытой, не оставить голову без объяснений. Какова же была потребность в этих формулах, если люди столетиями к ним шли! Подспудный страх,

инстинктивный страх – мы не знаем, что это. Если мы это не объясним, этот водоворот в стакане чая возьмет над нами верх, нас поглотит и растворит в небытии. Он будет управлять нами, если мы его не объясним, не включим в наш социальный строй, в нашу физику. Блейк на то он и поэт, чтобы позволить себе такую роскошь: отказаться от объяснений. Уступить этому водовороту в стакане чая власть над собой, над своим домом, над своей Землей. Поэтому в сущности своей мы, в первую очередь, рабы: рабы неизвестности, рабы невозможного, рабы знания, рабы некой тайной физики. Не еврейской физики. Нам втайне хочется отдаться этому водовороту, шагнуть в бездну. Евреи мешают людям в этом сокровенном начинании: перейти в пространство другой физики, броситься в этот водоворот. Поскольку я тоже еврей – кто знает, может, и я этими записками вношу свою лепту в постыдную капитуляцию, недостойную гомосапиенса. Смотрю на свои маленькие картавые пальцы – как они сгибаются, разгибаются – и дивую даюсь, как я это делаю: это все физика. Рука вытянута в салюте, рука опустилась – в чем разница. Это сущностные вопросы, в духе «Песен невинности, песен опыта». Сегодня взамен Блейку получаем тупого штатного физика. Мне нужно знать: почему я вытянул руку, почему опустил руку, почему сел, почему положил ногу на ногу? Если я этого себе не объясню, это начнет меня пугать. Я сойду с ума от своего собственного тела. Я работал в управлении торговли курьером. Там были должности внештатных юристов, дававших простым людям с улицы юридические консультации. В том числе, я это хорошо запомнил, свои консультации давал штатный физик, по физике. Я подумал, какое отношение имеет физик к управлению торговлей? Он не случайно там оказался, потому что торговля связана с физикой; торговля – это раздел физики. Рука сгибается в локте, когда мы достаем деньги, чтобы что-то купить; разгибается в локте, когда мы эти деньги протягиваем; снова сгибается, когда мы получаем товар. То же самое имело место в костюженской психиатрической больнице под Кишиновом. Я туда попал на какое-то время. Работал курьером, а потом попал в эту больницу. Там тоже работал штатный физик, не из числа пациентов. Обычный физик приходил на работу,

на полставки, сидел, как положено, с девяти до шести. Одну неделю – один физик, следующую – другой. Давал консультации, в основном, врачам, медперсоналу, их детям; но также пациентам, имевшим свободный выход из отделения. Отвечал на все вопросы. В его задачу входило: отвечать на самые элементарные вопросы, если таковые возникали, другими словами – объяснять и поддерживать принятую физическую картину мира, мироустройства, как большого сумасшедшего дома, где не будет порядка, если не знать элементарных законов физики, впадать в растерянность после каждого детского вопроса. Как только медик, психиатр, в редких случаях пациент что-то не знал или забывал – он шел к штатному физику, и тот ему отвечал на любой вопрос касательно окружающего мира. Медики должны хорошо знать свою часть физики: того, что касается тела, работы наших органов. Потому что это физика и есть. В первую очередь, это есть физика: законы и тайны функционирования нашего физического организма. Но, делая даже простые приседания, они не понимали, почему так легко сгибаются, разгибаются суставы. Я уж не говорю про «хайль Гитлер». Они про это думать боятся. Они, конечно, много чего знают – медики. Но они сами не понимают: что они знают, что с этим делать, куда все это. И ходят к физику, записываются в очередь за неделю. Приходили, спрашивали: почему – это, почему – то?

Законы и тайны физики

Когда люди в массовом количестве реагируют на что-либо – то, на самом деле, они реагируют на те или иные законы физики. Они реагируют здесь, на Земле, где эти законы физики установлены. Установлены одни законы физики – но могли быть установлены другие законы физики. Люди внутренне не удовлетворены этими законами, но подумать так не могут. Неудовлетворенность накапливается, в обществе портится настроение. Возникает напряжение, агрессия, ну а затем уже стихийно происходит водоворот, вспыхивает революция.

Говно надо мешать. Невидимой чайной ложкой невообразимых размеров. Размешать, растворить кусок сахара

в этом говне. Кусок сахара – это кусок времени, как сказал тот старый еврей.

В духе Свифта давайте думать. Не может быть неудовлетворенности законами физики. Не хочешь, чтобы тебя убило – не суй пальцы в розетку. Не хочешь замочиться – не дотрагивайся до воды, не мочись под себя. Болезненнее всего люди реагируют на закон всемирного тяготения. Поэтому у них такая страсть, тяга к извращениям, желание поизвращаться. Педофилия, о которой сутками по телевизору говорят – откуда, думаете, у нее ноги растут?

Огонь обжигает. Достичь власти над огнем с помощью аутотренинга – это извращение. Но хочется, чтобы вода не мочила и огонь не обжигал. Чтобы это было в порядке вещей. Я давно это знаю, что люди недовольны законами физики, очень любят чудеса, хотя бы мироточащие иконы, нетленные мощи. Любят батюшек, патриарха всея Руси, папу римского. Любят всяких «звезд». Это извращенные люди. Хотят даже на Марс улететь и там жить, чтобы уйти от законов физики. Жить тысячу лет. Не лучше ли жить по законам другой физики, хотя бы в плане морали. С другой точки зрения посмотреть на те же самые явления. Не только физика Эйнштейна и Фрейда существует, но и физика Гербегера. Пожалуйста, живи по этой физике. По ней примеряйся к тем же самым предметам, найди другие подходы к предметам быта, к повседневным вещам. Ленишься не надо. Полистайте старые книги – и найдете другие концепции в физике, другие подходы. Есть литургическая физика, православная физика. При совершении таинства евхаристии во время литургии дается иной взгляд на физику. Другой подход к тем же самым предметам. Это физика статики, иная физика совсем. Много есть физик, дающих свои обоснованные законы, при ином взгляде, иных великих деятелей науки, других великих умов, или просто других умов. Но люди по невежеству своему этого не знают, не хотят знать. Есть физика по Кеплеру, а есть физика по Тихо Браге – это уже совсем другая физика. В каждой физике делается поправка на законы морали, потому что это не о морали, а о возможностях. Та или иная физика предоставляет нам те или иные возможности, действия. Направление наших действий. Точку при-

ложения наших сил. Гарантию того, что приложение наших сил будет успешным, экспериментально успешным. На основании опытов, на основании проб и ошибок. Захотим, приложим усилия – получим нужный нам результат. Отсюда весь образ жизни, все предметы быта. Каменные орудия труда и магия – такие же средства приложения психических сил, чтобы достичь цели, которая лежит в основе любой физики. Куда приложить свои силы? В древних физиках не было представления о пространстве; было представление о месте, как о мести. Мечь и место – не игра слов. Есть место, где была пролита кровь, где находится человек, вещь. Но о пространстве никто ничего не знал. Место ждет мести, не человек. Поэтому стали возникать города. «Кровь смывается кровью человека, пролившего кровь. Город – убежище для убийцы». О пространстве ничего не было известно. Никто не знал, что такое пространство. Не было такого фактора, не было такого термина как пространство. Это появилось сравнительно недавно. Искусство могло быть только примитивным, плоским; примитивным и плоским – в кавычках, конечно. Место не статично. У него особое положение.

Художник ставит свою авторскую метку в правом нижнем углу картины, если прямо на нее смотреть. Эта метка воздействует на зрителя, на пространство. Вернее, эта метка и есть пространство, как я его понимаю. Клеймо автора и сила его воздействия; его влияние на картину и на ее созерцателя с точки зрения честолюбия автора – называется пространством, творить пространство. Пространства не может не быть, потому что это имеет силу. Даже если метки на картине нет, все равно в правом нижнем углу картины автор оставляет свою метку, ставит клеймо свое на нее. Нет такого автора, который это не подразумевает. Обязательно оставит отпечаток пальца. Не в этом дело, стоит само клеймо на картине или не стоит. Неправильно поставлен вопрос. Не само клеймо, но работа этого клейма и называется пространством. С точки зрения компьютерной технологии то же самое; в компьютерной науке пространство где-то так и понимается. Но я не хочу знать, что там в компьютерах. Я вам сейчас объясняю, что такое пространство с точки зрения физики. Объясняю очень популярно:

что такое пространство, а не что такое метка автора. Не заостряйте внимание на метке автора. Плевать на нее. Вся продукция этой метки и есть пространство. Раньше о нем понятия не имели. Понятие о нем появилось совсем недавно. Не важно – где это. Важно – что мы это создаем, что это нас учитывает, что-то с нами делает. Мы, если хотим, можем этого не знать, этого не учитывать. Как маленький ребенок, с которым занимаются сексом, может не знать, что с ним занимаются сексом. Смотря по каким законам физики судить. Но судят по законам физики всегда. Мы сами себя судим и обвиняем по законам физики. Но не учитываем авторского клейма. В древних науках понятия пространства не было, но было понятие авторского клейма, клейма рабов от него пошли. Сегодня, недавно совсем, возникло понятие пространства, но непонятно куда исчезло понятие авторского клейма. Если объективно, то пространство нужно понимать именно так, как я вам сейчас рассказал. Мы его воспринимаем таковым, потому что таковое оно для нас. Мы говорим о том, каково оно для нас. Услышали свое эхо – услышали голос пространства. Но это ничего не дает, ничего не объясняет. Лучше хорошо потрясти метку в правом нижнем углу картины. Я заметил, что это воспринимается, как пространство. Это мои наблюдения, я никому их не навязываю.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Брат главного врача психиатрической больницы в Костюжах под Кишиневом был председателем небольшого совхоза. Часто пациентов больницы отправляли туда работать скотниками, разнорабочими – разумеется, бесплатно. Также они работали пастухами, пасли поочередно коров, овец. Когда меня повели на работу, я обратил внимание на архитектуру коровника; это было симпатичное здание из красного кирпича, чуть ли не в стиле модерн. Как я потом узнал, это небольшое здание из красного кирпича и было в начале двадцатого века психиатрической больницей, которую русский помещик построил специально для двух своих детишек, братика и сестрички: Кости и Жени. Они сошли с ума, когда были совсем маленькими детьми. Им казалось, что их едят. Кто их ест – они

не могли или не хотели говорить. Здание чем-то напоминало замок. Раньше, до революции, он целиком принадлежал только двум этим детям: Косте и Жене. Сегодня колхозники держат в этом здании скотину. Говорят, что стены до сих пор хранят признаки и тайну безумия Кости и Жени. Когда с ними это случилось, Дракула уже не жил. Но для этих детей он жил. Они страдали галлюцинациями, в которых их ели живьем, пили их кровь. Костя и Женя видели галлюцинации, заблуждались. Но Дракула продолжал существовать. Рядом – Румыния. У Кости и Жени были иллюзии, слуховые обманы, зрительные обманы, которых не было у Дракулы. Но они и словом не обмолвились, не выдали: кто именно их ест. Они оправдывали Дракулу, не хотели покидать этой сказки. Я тоже всегда готов оправдать Дракулу. Можно списать все эти факты на знаменитого колдуна, вампира графа Дракулу. Нам-то нравится так думать, так считать, что Дракула ел людей! Общественность, одним словом – она и есть Дракула. Общественность ела души этих маленьких детей. Сам же Дракула никого не ел, но это случилось во времена Дракулы, по соседству с тем местом, где обитал Дракула. Общественность рвала в клочья души этих маленьких детей зубами Дракулы. Отец спрятал детей от общественности, построил им этот сказочный терем: детский сумасшедший дом. После смерти отца дети перешли на положение рабов, они не могли отстоять свой сумасшедший дом, не могли сказать: это наш дом. К ним стали подселять других больных детей, взрослых. Дети росли, как отверженные среди отверженных. Пациенты больницы приходили, уходили, но Костя и Женя не покидали больницы никогда. Они в ней состарились и в ней умерли глубокими стариками в один день.

Люди никогда не понимали, за что их, людей, ненавидят, в чем они не правы. Как это мило: никому ничего не понятно. Их же много – и этим все сказано. Подписи научились ставить, голосуют. Живут вполне нормальной жизнью, почти как на Западе. Им плевать на Дракулу, им плевать на Костю и Женю – что скрывает эта история. Деревня еще при их жизни была названа их именами: Костюженами. Медики и пациенты больницы, местные крестьяне, затем колхозники являлись гостями

в их доме. Это был их терем, это была их земля. В Кишиневе, когда хотели в шутку или не в шутку уязвить кого-то, говорили: «Смотри, отправишься в гости к Костику и Женечке, поспишь с ними в одной постельке...» Так или в таком духе говорили все. Они – это все. Они знают о себе, что они хороши. Мы хороши, нам хорошо, нас много. Нас много – поэтому мы хороши. Нас много – поэтому мы правы. В чем мы не правы – мы хотим знать?! – спрашивают они. Хотят знать. Не могут понять, за что их так ненавидят. За что их так ненавидел Гитлер, Бетховен, Андерсен, Чехов, Иисус Христос. И не поймут никогда. Они думают, что их все любили: что их Иисус Христос любил, Андерсен любил, Гитлер любил. Как же нас не любить! Медведев нас любит. Медведев? Медведев – где-то я слышал эту фамилию. Не буду никого спрашивать. Не то они станут искать ответ на этот вопрос. Но так никогда не поймут, чем же они не хороши. Ненависть к ним не доставляет мне огорчений. Никаких эмоций: я их тихо ненавижу. И поплевываю на свои чувства. Незачем развлекаться своей ненавистью: ненавидеть общественность и получать от этого удовольствие. По их мнению, Костя и Женя заблуждались, не слушались, видели и слышали нехорошие галлюцинации, провели всю жизнь до самой смерти в сумасшедшем доме. Это было во времена Дракулы. К тому, что я сказал, мне больше нечего добавить. Хотя хочется иногда встать на сторону общественности. Меня не оставляет мысль, что в чем-то эти дети были не правы. Во времена Дракулы в тех местах появились такие галлюцинации. Дети стали предаваться этим галлюцинациям, стали дружить с этим Дракулой, как мой врач-психиатр стал дружить с водкой. Возникла такая потребность: узнать, в чем же эти дети были не правы. Что же такое видели и слышали эти дети? Ответом на этот вопрос может стать ответ на другой вопрос: в чем же мы нехороши? Мы никогда не сможем дать ответа. По причине того, что мы не можем дать ответа – чем же мы нехороши – мы исчезнем с позором.

Дети получили от графа Дракулы наследство; он послал за ними, когда им не было и пяти лет. Господство Дракулы, солнце светит, в речке купаться можно – что не так?

Люди никогда не поймут: чем же они нехороши. Поэтому они вымрут. Общественность, обязательно, вымрет. Она это знает. Поэтому так интересуется этими несчастными сумасшедшими детьми: что же они там видели, что они слышали в своих галлюцинациях. Когда мы интересуемся тем, что видели и слышали Костя и Женя, мы тем самым проявляем общественный интерес. Если кто-то интересуется тем же, что я – мне все равно. Пусть интересуется. Для меня существуют исключительно мой интерес, моя корысть. Вот, вернулись к Достоевскому.

Мысли Достоевского мне мешают; он стремится навязать мне свою точку зрения. Навязчиво предлагает обмениваться мнениями. Я говорю: не надо, мое мнение меня вполне устраивает. Хотя если он скажет мне что-то об этих детях, о Косте и Жене – я его послушаю. Но он говорит только то, что я знаю без него, только много говорит. Очень много говорит. Общественность должна умереть, как умирали в течение всей своей длинной бесконечной жизни Костя и Женя в стенах своего детского сумасшедшего дома. Некогда он принадлежал только им. В их дом вошли толпы других людей, но они вели себя как настоящие аристократы, кем, собственно, являлись по крови и духу – терпели, терпели всю жизнь. Думаю, они сознавали, за что им такое наказание: оказаться сумасшедшими среди сумасшедших в своем собственном доме. Страшные озарения детей – видимо, очень схожие с видениями самого графа Дракулы – шли вразрез с некими законами общества, но не как с законами общества, а как с законами физики. Не то чтобы вразрез с общественным мнением – это были видения самой общественности. Они обнаружили эту самую общественность – что же это за данность, что это за гидра многоголовая. И общественность вошла в их плоть, стала пить их кровь. Костя и Женя никогда не оставались наедине, они жили в переполненных грязных палатах вместе с десятками других больных людей. Их плоть и кровь сделали общественным достоянием; их заставили вести общественную жизнь.

Одна и та же книга читается разными глазами. В последнее время я все чаще стал задумываться над самыми простыми вещами: какова, скажем, разница между сахаром

и солью, между чашкой и печеньем, между человеческими ногами и полиэтиленовым пакетом, между человеком и человеком. Одна и та же книга: Достоевский. Два разных человека открывают ее – и читают две разные книги. Это такая же разница, как между человеческими ногами и полиэтиленовым пакетом. Теория масс: теория однородности человечества. Все это сплошная красная зараза. Попытка притянуть за уши то, что не является таковым, чтобы пресечь действие правды. Не читают двух одинаковых книг. Сначала я держу в руке чашку с чаем, затем я держу в руке шариковую ручку. Есть разница между чашкой чая и шариковой ручкой? Такая же разница между читателями, зрителями. Такая же разница, как между ногами и шариковой ручкой. Никакого однообразия в читателях одной и той же книги, в зрителях одного и того же фильма. Полная логическая несуразица. Красная зараза: попытка представить человечество однообразной массой. Если книга одна и та же, то и читатель одинаков. Желание паразитировать на ком-то – вот что всем движет; желание уподобиться комару, клопу, таракану, любому кровососу. Стать единым с кем-то другим, кто тебе подходит, насосаться его крови и выжить, и еще с выгодой, с прибытком, прибылью. При этом стоять на позициях гуманизма, демократии, свободы. Но за этим – та же кровососущая клопня, та же красная зараза. Вроде бы мы все друг от друга не отличаемся, пользуемся одними и теми же предметами, все предметы одинаковы, пользуемся мы ими одинаково. Убаюкивание такое: что вроде все мы равны. Законы физики для всех одни. В кинотеатре смотрим один и тот же фильм. Ничего не один тот же! Разные фильмы смотрим, хотя смотрим на один и тот же экран. Кадровое окошко для всех одно и то же – чем же мы тогда друг от друга отличаемся? Ничем не отличаемся. Физика одна и та же. Законы физики для всех одни и те же. Но это – смотря какой физикой ты пользуешься? Я по этой физике не живу, я эту физику отрицаю. У меня другие цели. Костю и Женю – заставили жить одной физикой со всеми; с пяти лет до самой смерти их держали в сумасшедшем доме, с десяти лет они уже находились в палате, переполненной другими сумасшедшими детьми, а с шестнадцати лет они жили в непосредственной

телесной близости с сотнями, тысячами взрослых больных людей. Их сказочный терем, который для них построил отец, превратили в ад, в общественное заведение. Их галлюцинациями стала та физическая жизнь, на которую их обрекли. Надеюсь, что-то им помогло, кто-то им помог. Или они сумели начать жить по другой физике. По своей физике. Маловероятно – но иначе просто страшно становится при мысли о том, в какой физике они оказались. Мне рассказывали старенькие медсестры больницы, что Костю и Женю насиловали другие дети: насиловали сексуально, физически. Когда они повзрослели, их разлучили и поместили в разные палаты. Насилие над ними никогда не прекращалось. Это как такие часы, которые остановились – а их заводили, каждый день заводили. При этом Костя и Женя находились у себя дома, в своем семейном доме; все остальные пациенты и медики находились у них в гостях. Хороши гости!

В Москву

На Белорусском вокзале, когда спал там – познакомился с человеком. Он проводил там каждую ночь. Мужчина лет пятидесяти пяти с небольшим чемоданом. После внезапной страшной смерти жены, он покинул город, в котором они жили, стал скитаться, решил в Москве пожить.

«...Жена мечтала, ждала, когда же мы переедем в Москву, будем ходить по музеям, на выставки, на концерты. Медики не могли ее спасти. Пока я был в командировке, в Москве, дом наш сгорел. Моя жена сгорела заживо. Шансов не было. Хотите на нее посмотреть?»

Он показал, что у него в чемодане. Там хранились мелкие вещи его жены, уцелевшие в огне. И среди всего этого хлама – кусок плоти, которая когда-то была живой. Он предложил мне потрогать, пощупать. И спросил: «Что это – как вы думаете?».

Я сказал, что это кожа животного, свиньи.

«Сами вы свинья, – сказал он. – Простите за прямоту. Но вы так сильно ошибаетесь. Это не свинья, а вырезанный живот моей жены. Вся она сгорела, нетронутой пламенем осталась только эта часть: живот...»

Я привел ему одну афганскую поговорку, которую когда-то прочитал и запомнил. Очень короткая поговорка: «Желудок бедняка – это меч Бога». Поговорка вызвала у него припадок. Я спросил: что он понял? «Я вас не слушал, – сказал он. – Я вдруг увидел, что вы очень похожи на мою жену...»

Я сказал, что устал и хочу спать. Он предложил поспать на его чемодане. Положил чемодан на колени, чтобы я опустил на него голову. Я доверился ему и лег. Увидел в перевернутом виде безногого нищего. Ночами он заползал на Белорусский вокзал выпить, погреться, поговорить. Как-то раз на его пути встал милицейский патруль, два мента: мужчина и женщина. Я был рядом и слышал, что он им сказал. Он сказал, что не может никуда уйти. «...Я не могу ходить. Я только ползаю. Когда ползаешь, то понимаешь, почему люди тебя боятся. Они боятся низа. Они боятся меня именно снизу. Потому что снизу человек никак не защищен. Страх кастрации, аборта...»

Я засыпал и думал: если желудок бедняка – это меч Бога, то, как же выглядит рука, держащая этот меч?

МГНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

ЙОГА СМЕРТИ

Сульфазин на персиковом масле в четыре точки кололи, но не мне – русскому религиозному фанатику: апостолу Павлу. Он так себя называл. Я считаю, что он и есть тот самый апостол Павел. Я же, наконец, узнал, что такое галоперидол. В этом положении под психотропами, галоперидолом мне приходилось заниматься йогой, серьезно заниматься. Занимаешься – и замечаешь, что начинаешь владеть техникой йоги. Не то, что Богом дано. Просто попадаешь в дурдом – и начинаешь йогой заниматься. Никто этого не видит, не понимает, чем ты там занимаешься. Занимаешься спокойно себе йогой. В какой-то момент у меня даже голос прорезался; я стал петь.

Я пел на дне рождения нашего заведующего отделением. Праздновал он с коллегами у себя в кабинете. Меня позвали, чтобы я спел. Я спел. Там была молодая симпатичная психиаторша. Я подмигнул ей. Она испугалась. Испугалась своих мыслей. Я пел для нее. Но стал желать ее смерти, когда она достала вишневый мобильный телефон и стала меня на него снимать. Я спел последнюю композицию с первой стороны пластинки «Айлендс» группы «Кинг Кримсон», на русском языке, не в рифму. Это была моя перепевка английской песни.

«...Написала жене своего любовника: „Семя твоего мужа удобряет мою плоть...“ С лицом, как у прокаженной, когда получила это письмо, жена побежала с каменным горлом, глазами слепыми от слез. „Я верна, я не хочу жить. Не хочу обслуживать любого мальчика или мужчину. Я прощаюсь со своим бранным телом. Все, что мое – это твое. Это – смерть...“»

Они не протрезвели, но замерли, не могли шевельнуться, словно их заколдовали, обездвижили. Я меньше всего хотел их поразить. Я пожелал смерти этой практикантке – но только возбудил ее. Решил перевести разговор в деловое русло. Сказал, что могу спеть для записи на что-то более существенное, чем мобильный телефон. Я свои права знаю. Права на запись я могу уступить вам. Не хочу, чтобы мое пение после моей смерти принадлежало моей матери. Не хочу, чтобы она этим торговала.

«...Как только она узнает, что я еще и пою – она начнет шантажировать меня. Силой заставит подписать контракт. Я этого боюсь: что начнут давить. Я лучше с вами договорюсь...»

И, не дождавшись ответа, запел: «Семь раз отмерь, один раз отрежь, – сказал Прокл, укладывая своего путника в постель...»

Недавно что-то нашло на меня: я схватил с полки «Записки пиквикского клуба» с намерением спеть всю книгу, все три тома от начала до конца. У Чарльза Диккенса был псевдоним: Бос. Диккенс подписывался: «Босс», как Ульянов подписывался «Ленин». Если внимательно почитать «Машину времени» Герберта Уэллса, бросится в глаза один любопытный факт. Там дается очень подробное перечисление материалов, из которых создается машина времени. Десятки наименований материалов перечислено, среди них слоновая кость и драгоценные камни. В духе сопромата (сопротивления материалов) идет это крайне любопытное перечисление, в одном абзаце. Там же называются химические лаборатории. Надо на досуге проверить эту информацию. К чему бы это? И почему герой Артура Конан Doyle Челленджер стал главенствующим персонажем? Не Шерлок Холмс, но Челленджер. Как в случае с Лениным: не Ленин, но Ульянов. У него, может, была тысяча таких псевдонимов. Но его запеленговали на этом: на Ленине. Как Иисуса Христа иудеи запеленговали на том, что у него зрачки выделялись в виде числа «13». По глазам было видно: «13». Они увидели, как он смотрит: расписывается глазами: «13». И запеленговали, овладели его росписью. Чуть раньше к нему привели проститутку, чтобы у него на глазах забросать ее камнями. Как говорит Закон. Он продолжал смотреть вниз и палочкой что-то чертить на земле. На них не смотрел. Только сказал: «Кто из вас не имеет вины, пусть первый бросит в нее камень». Первого не оказалось. Второго не оказалось, третьего не оказалось. Ни одного не оказалось. По одному, по очереди они бросали свои камни на землю, но не просто на землю, а в его роспись на земле – в те самые каракули, узоры, которые он палочкой чертил на земле.

Они хотели, чтобы он посмотрел на эту женщину. Но он разгадал их трюк. Они думали завладеть росписью его глаз. Война шла именно за его роспись. Он продолжал смотреть вниз на свою роспись на земле, палочкой на земле, они же думали получить роспись его глаз. Голодные не столько до ее крови, сколько до его глаз, они хотели посмотреть на эту женщину его глазами. Ценой ее искалеченного тела пролезть в его глаза, чтобы он посмотрел и расписался ее кровью...

Он предложил любому из них начать это делать. Оказалось, что никого нет. Побросав свои камни, они подписались под тем, что никого из них здесь нет, ни один из них здесь не стоит. Никого нет. Первого не оказалось, второго не оказалось, никого не оказалось, кто готов это сделать. Ни один не смог сделать то, что хотел. Камни упали на землю, где только что расписался он. Они не только не завладели росписью его глаз – но сами оставили свои росписи ему. Расписались в том, что их здесь нет ни одного, никого, нет. И не только здесь. Они расписались камнями на земле, что каждый из них является этой женщиной. Расписались под этим ужасом, оставили свои росписи.

Да. Тогда иудейским магам не удалось его запеленговать, не завладели они его росписью. Когда же он на них посмотрел однажды, то обнаружилось, что у него зрачки в виде числа «13». Он куда-то шел, его сопровождало большое количество людей, и до него дотронулась женщина, сзади, слегка коснулась. Он встрепнулся, словно по нему прошел электрический ток. Я это знаю, потому что на уроках физики через меня не один раз пропускали электрический ток. Иисус оглянулся, чтобы посмотреть, кто это был – и они получили-таки его роспись: увидели, как он посмотрел. Все стало ясно. Выяснилось, что его направляли. Скорее всего, с некоего космического корабля его направили как куклу, чтобы на нем испытать боль, страх, абсурд. Вместо себя запустили куклу, образ, ставший на земле иконой Христа. Некто «они» занимались людьми и разговаривали с людьми из космоса при помощи этой куклы. Кукла несла его образ. По православию так. Он сам – не он, но его образ, икона.

Я много думал и писал о куклах. Если интересно, я найду тетрадь, где вел учет всем куклам, которых встречал и находил в жизни, а также смотрел на старых открытках и в каталогах. Писал в строгом соответствии: какая кукла, с какой планеты, с какой потусторонней силой пришла, была к нам запущена.

У меня была также уникальная коллекция татуировок, снятых вместе с кожей с покойных, самых разных советских людей, не только с эзков, но и с фронтовиков, полярников, матросов, просто тружеников. Когда жил в Ленинграде – в море работал. Учился в институте – тоже подрабатывал в море. В разное время покупал татуировки у санитаров самых разных моргов. Были у меня татуировки бойцов ОМОНа, ВДВ, из Афганистана и Чечни. Много очень интересных татуировок на коже. Но в один день к ним приделали ноги. Я лишился коллекции, которой любовался каждый день. Долго не мог прийти в себя. Пришел – и стал росписи коллекционировать. Но хранить – в голове. Храню я росписи исключительно в своей голове. Не знаю, куда меня это заведет–приведет.

Люди постоянно расписываются, любят они это дело. Какое-то время я снимал комнату у немолодой одинокой женщины, работавшей акушеркой в роддоме. Приходил к ней в роддом покушать, посмотреть, как выписываются и расписываются матери с детьми, что они получили своего ребенка. Выписываются – и расписываются. Одна женщина расписалась – и оставила своего ребенка. Но тоже расписалась. Я добился того, что меня запустили в архив роддома, где я смотрел на росписи всех родивших здесь женщин. Огромные стеллажи с толстыми журналами, полными женских росписей. Вот росписи матерей, у которых был выкидыш. Они тоже расписывались, и я любовался их росписями, руками. Почему-то именно росписи матерей, чьи дети родились мертвыми, вызвали у меня такое сильное возбуждение, что я стал их целовать, любить. За каждой росписью стоял мертвый ребенок, который даже родиться не успел. Кукла! Писька! Выкидыш! Писеныш!

Но всему в этой жизни рано или поздно приходит конец. Женщины из медперсонала застали меня за этим делом, догадались:

«Ах, вот ты чем занимаешься!» – и сразу несколько врачих, акушеров в белых халатах набросились на меня, стали тянуть за волосы и бить.

«Чудно матерям девство и странно девам деторождение» – такая вот интуиция. Это формула интуиции. «Не видящие суть в сути и не суть в не сути, они никогда не достигнут сути, ибо их удел ложное намерение. Но видящие суть в сути и не суть в не сути, они достигнут сути, ибо их удел истинное намерение». Это формула запредельной интуиции или «Алмазная сутра, разящая, как громовая стрела» Гаутамы Будды, записанная в «Дхаммападе», книге речений Будды. Или: «Когда у людей на земле день, у ангелов на небе ночь. Когда у людей на земле ночь, у ангелов на небе день». В результате, когда у людей на земле день, у ангелов на небе ночь. Когда у людей на Земле ночь, у ангелов на небе день... Не надо меня останавливать. Очень важно пройти все варианты. Мне же нужно свой разум просветить. Для себя лично. Прийти к ясности в собственных мыслях, в собственных интригах, в собственных подлостях. Я же прихожу интуитивно к таким-то выводам. Нахожу, как ростовщик своего беднягу, как кредитор нахожу своего должника. Я же не случайно владею росписями людей. Закорючки эти не случайно храню и пускаю в ход. Но выясняю это только, когда проясняю голову формулами интуиции. Без этого я в себя не прихожу, не нахожу, не вижу у себя всех этих росписей, закорючек, типа закорючки: Ульянов /Ленин/...

Когда у меня канализацию прорвало, я воспринял это как знак и сам ушел в дурдом. Как выяснилось, уйдя из дома, я в очередной раз спас себе жизнь. В первый раз я ушел в дурдом, чтобы в армию не идти. Второй раз, чтобы стать для них окончательно больным и тем самым избавиться, наконец, от своей росписи, закорючки. Чтобы подпись моя стала недействительной. Я добился, что меня признали инвалидом второй группы, хотя они клялись и божились, что я абсолютно нормальный, здоровый человек. Как будто я без них этого не знал. Но я добровольно лишил себя права голоса. Это было частью моего плана. Тем самым я смог избавиться от своей росписи, от этого лукавого змея. Ни один

юрист в мире не признает легитимность моей закорючки. Когда же в наше отделение занесли стопки чистых выглаженных пижам, велели переодеться и строиться голосовать – велели и следили, чтобы голосовали за Медведева – я понял, что ситуация в мире изменилась, раз понадобились росписи даже таких людей, как мы. Проголосовал – но не расписался. Галочку поставил при фамилии Медведев – но не роспись. Никто из больных нашего отделения не расписывался. За каждого из нас расписался главный врач больницы. За это его выебли.

ЗАМРИ, УМРИ, ВОСКРЕСНИ

Торговля – та же физика. Даешь деньги, получаешь деньги, считаешь деньги, пересчитываешь деньги. Обмениваешь деньги на товары, товары на деньги.

Православная физика – это статическая физика. Физика статики. Православные хлысты заметно продвинулись в экстатической физике, физике экстазов. Смерть – необратимый дефект обоняния, тоже экстаз, но в статике, физике статики. Переход на другую физику. Но с дефектом. Смерть – именно такой дефект обоняния, когда в экстазе от силы запаха замираешь, и... Не умираешь, но переходишь в другую физику, в физику статики. По сути своей, эта физика занимается мгновенным человеком. С точки зрения мгновенного человека так. По сути – так. По православию так.

Рисунок

«Так-так-так...», – говорит пулеметчик. Попробовал аэрографом Индию нарисовать. По-другому нельзя. По-другому: берешь эту макаронину, выкидываешь в форточку – и готово дело. Нарисовал. Выкинул – нарисовал. Именно так. Только что я вам нарисовал Индию. Аэрогрометрия – моя вторая специальность. Бумаги, приборы здесь не нужны. Не нужны приборы, если в гостях находишься, в гостях живешь.

Только что я вам нарисовал Индию, какой ее знаю. По-другому здесь нельзя. Порядок, который здесь установлен – это не просто порядок. Он нападает со всех сторон, чтобы меня поиметь – я сопротивляюсь, отбрыкиваюсь.

Работа

В новой квартире, куда меня перевезли армяне из Баку, мне не пишется; правильно, что не пишется. Очень большая квартира. Работать можно только в маленькой квартире, где тебе тесно, очень тесно, как в тюремной камере. Только неволя предполагает работу. Свободный человек не будет работать. Это не в природе человека: работать. Никто раньше не работал. Это идея французской революции: «Работа». Возможно такое представить: чтобы Печорин работал? У Чехова работают только отвратительные типы, и сам Чехов из их числа. Меня всегда пугало, что Ленин много работал, очень много работал. Потому и случилось то, что случилось. Революция, концлагерь, коллективизация, индустриализация. Это то самое и есть – работа. Ленин /Ульянов/ поработал. Когда кто-то много работает – это не к добру.

Рубли

Моих соседей не слышно. Но этого не может быть. Тихих соседей не бывает. Потому в советское время возникло выражение: «оборонная мощь страны». Не бывает тихих соседей ни у человека, ни у всей страны. Ни у кого. Хотя бы потому, что все люди сволочи. Когда говорят «люди», подразумевают именно это.

Старая актерская школа учит, что при слове «люди» актеру, если он играет умного человека, надлежит морщиться. Не хочется иметь с людьми ничего общего. Никому не хочется. Никто не хочет иметь что-то общее с людьми, хотя не может без них.

Сил хватает только на то, чтобы поставить собственную закорючку. Я не говорю, хорошо это или плохо, но это так. По философии формализма так. Не дай мне Бог осуждать, судить. Но это так и есть.

Когда был гегельянцем в девятилетнем возрасте, мне уже тогда было понятно, что такое соседи, что такое люди: их ветер носит. Они ничего о себе не знают. Им плевать, кто они: мы люди разумные, произошли от обезьяны, мы люди вечные произошли от Бога. И довольны. Но не являются они людьми разумными. Сами не знают, что говорят. Спрашиваю

свою мать: что ты называешь деньгами? Она отвечает: «Деньги – это то, что дают...» Дура! Возьмем, например, рубли. Созвездие Андромеды – три звезды, образуют тупой угол. Вот этот тупой угол называется «рубль». Именно – рубль. Это – удовлетворительный ответ. Не достаточный, но все же удовлетворительный, на вопрос: что есть рубли?

Дети

Два невыясненных вопроса остаются: откуда берутся дети и для чего нужны дети? Дети нужны, чтобы работали. Это свежие силы. У цыган, например, жизнь ребенка начинается с работы. Родился – работай. Попался – работай.

Классики экономической мысли много писали об использовании детского труда. Проходили: английская политэкономия называется. Как используют детей – я знаю. Некрасов, написавший «Кому на Руси жить хорошо», тоже много знал о том, как используют детей. Примерно как авторучки. Я не мистер Мак-Кинли, печально убежавший. Мне абсолютно наплевать, что с этим миром будет. У меня только два вопроса: откуда берутся дети, для чего нужны дети? И что такое дети?

Вера

Психушки не нравятся только тем, кто вести себя не умеет. Спокойно живи, ешь, спи. Не лезь поперек батьки в пекло. Живи себе потихоньку в так называемой психиатрической больнице. Почему – в так называемой психиатрической больнице? Потому что все в мире так называемое, тем более психиатрические больницы. Неужели вы думали, что я все принимаю на веру?

Соседи

Мой мексиканский продюсер ждет от меня сценарий фильма о любви еврейки к нацисту. Неужели есть кто-то, кто от меня чего-то ждет? Чего от меня можно ждать? Очередной дурости. Приходил тут ко мне в гости один продюсер из Лос-Анджелеса – я ему зеркальце показал. Он посмотрел на себя. Все!

Больше мне нечего было ему сказать. Чего от меня можно дожидаться? Но я чувствую, что от меня многие чего-то ждут.

Знаю: ждут. Что – на мне свет клином сошелся? Понятия не имею, что от меня можно ждать? Чего от меня можно дожидаться? Эта двусмысленность меня убивает. Не так чтобы убивает. Мне это по хую. Я просто недоумеваю. Но точно, от меня чего-то ждут. И тот, кто от меня чего-то ждет – должен пенять на себя. Он ошибся с самого начала. Спросите: откуда я это знаю – что есть такие, кто от меня очень сильно чего-то ждет? Скажу.

Когда гостил в Костюженах, у Кости и Жени – не терял время зря. Постигал основы православной йоги, жил в переполненной наблюдательной палате, где на 50 кв. м. приходилось до 60-ти, 70-ти сумасшедших, так называемых сумасшедших. Я спал с ними вповалку, как львы в Африке спят. На койках не спали, потому что они занимали много места. Научился хорошо чувствовать других людей. Когда рядом с ними сутками, месяцами лежишь, начинаешь физически чувствовать и знать. Когда находишься в куче, живешь в телесной близости с кучей других людей, тем более, если эти люди сумасшедшие – волей неволей начинаешь что-то понимать. Когда так много времени проводишь в таком общественном месте, как палата № 6 – начинаешь постигать язык пространства и видеть суть будущего: кто, где, чего. Поэтому – ошибаться не могу. Есть такие люди: они занимаются бесстыдными вещами, совершают злодеяние – а показывают меня. Сделают другим людям гадость, любую гадость – а дают меня, все видят меня, как компьютерный вирус, как насмешку, в том же интернете, по ящику.

Сын моей матери, но не сын моего отца – это он старается. Он с моей матерью сделает мерзость – а люди, вместо них, видят меня. Недавно по ТВЦ, НТВ, РТР меня показали. В интернете меня до черта. Не могут забыть о моем существовании. Им нужно время от времени показывать меня. Что-то гадкое сделать – но показать меня.

Физиология всей человеческой массы такова, что это физиологическое единство растет и перерастает в нечто такое, что становится трехмерным телевидением. Люди в нем живут, в этом телевидении, интернете. Поэтому меня можно легко показать. Труда большого не составит. Помните старый анекдот? Приходит Иван-дурак к спящему трехглавому змею и предла-

гает выпить. Одна голова проснулась, остальные продолжают спать. Выпила одна голова с Иваном-дураком. Просыпаются остальные две головы и говорят пьяной голове: «Пить – так сама, блевать – так вместе». Желудок – один. То же самое – и со всеми людьми, с этой многоголовой гидрой.

«Тело съесть душа»

Какие у маленьких детей, братика и сестрички Кости и Жени могли быть галлюцинации? В истории их болезни от 1912 года, из архива больницы есть запись: что у детей галлюцинации, физиологические галлюцинации. Они плакали, кричали, что их едят.

Больницу люди называли их именами. Костя + Женя = Костюжены. Поселок там вырос в советское время, совхоз. Сначала там жил только обслуживающий персонал больницы: медсестры, медбратья со своими семьями. Но Костя и Женя жили там еще до возникновения больницы. Эту больницу специально для них, только для них одних построил их отец, чтобы они там жили. Чтобы в этой крепости его детей никто не смог съесть. Какие галлюцинации!? Это было по соседству с владениями графа Дракулы, еще до первой мировой войны. Это его история.

Из психиатрической больницы не выписываются. Выписаться из психиатрической больницы невозможно. Потому что это мечта. Проказа – тоже мечта. Поэтому проказа не лечится. Самая заветная человеческая мечта – это попасть в картину, статику, в такую физику. Православные люди хотят попасть именно в такую православную физику, чтобы там застыть, замереть, воскреснуть. Поэтому – выписаться невозможно. Если человек говорит вам, что он выписался из психиатрической больницы – он сам не знает, что говорит. Ничего он не выписался. Если вы тоже лежали в психиатрической больнице – тоже не говорите, что вы выписались. Это – неправда. Не ставьте себя и других в двусмысленное положение.

Жмурик

Трупное тело человека: мясо с костями. Игрушка без батареек. Трупное тело на столе в морге – никакой не человек. Труп-

ное тело – это и есть хуй. У женщины трупного тела нет. Человек происходит не от животного, но от женщины. Хотя какая разница, откуда человек вышел, хоть из кучи дерьма. Какая разница, что послужило дверью, в какую дверь он вошел и вышел, оставив тут свой член. Перед самой смертью человек кончает – и выходит. Трахнет свою смерть – и покинет трупное тело, оставит свой член. Устройтесь поработать в морг – подмастерьем, гримером, заведующим трупной.

Никто не знает, откуда произошел человек. Говорят про летающие тарелки, но никто не знает, откуда берется человек, что есть человек и есть ли человек. Ни одна из наук не ответила на этот вопрос. Вопрос остается открытым. Зачем делать глубокомысленные выводы? Это простая работа в морге по обработке трупа. Но кому это интересно: жмурика обрабатывать? Жмурик – это труп в морге. Что в нем интересного? А что может быть интересного в женщине? Вот что может быть интересного в женщине – я не понимаю. Гадость одна.

Приходишь домой усталый, из морга. Она подает тебе горячую еду на стол. Ешь. Но противно все это. Плоть, кровь – гадость. А за окном страстная неделя идет.

КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ

На самом деле, откуда берутся дети – никто ответить толком не может. Все по-разному это толкуют. Существует такая версия, что дети берутся из утильсырья. Я уже где-то писал про одного кишиневского еврея, проживавшего на помойке. Там, у самого края огромной помойной свалки, сарай стоял, в котором он жил. Этот сарай православные люди синагогой прозвали. Старик выходил из сарая, рисовал пальцем на воздухе поперечные и продольные линии, разбивал площадь помойки на квадраты. И говорил: в таком-то и таком-то квадрате ребенок лежит. Живой или мертвый – как бы загадку задавал. Шли в этот квадрат – и там, на самом деле, оказывался ребенок. Живой или мертвый.

Избиение младенцев в Вифлееме – это тоже ответ на вопрос: откуда берутся дети. Иисус родился – произошло избиение младенцев. Потому что любой из этих младенцев

мог оказаться Иисусом Христом. Кесарево сечение: зарезали Вифлеемских младенцев – выжил Иисус Христос.

Однажды к Иисусу Христу подбежало множество детей. Кто были эти дети? Даже Иисусу было непонятно, откуда они взялись, откуда они берутся – дети. В поэмах Некрасова постоянно фигурируют дети, которые непонятно откуда возникают. Являются все время, бегают вокруг. Прибегут, побегают и убегут обратно в лес, якобы грибы собирать. У гостиницы «Россия» постоянно вывешивают плакаты с ликующими детьми. Андерсен писал об аисте: «...как часовой на одной ноге стоит, в клюве ребенка держит». Как дразнят птенцов аиста дети? «...Первого повесим, второго в пруд швырнем, третьего в костер бросим – и тебя не спросим». Вот что такое дети. Это очень жестокая сила: ребенок. Когда ребенок рождается, ему кокаином убирают звериную морду.

ЗВЕРИНАЯ МОРДА

Рождается ребенок в роддоме, появляется ребенок – ему в морду втирают кокаин; в том числе в ноздри. И убирают звериную морду. Поэтому кокаин наркотиком не считается, если с этой стороны посмотреть. Заведующий отделением, психиатр-нарколог, когда я к нему подошел просить выписку, сказал: «Кокаин попробуешь – тогда выпишу». Он так сказал, давая понять, что здесь якобы роддом. Не дурдом, но роддом. Потому что каждому младенцу, когда он только рождается, обязательно убирают звериную морду кокаином. С этого момента все радости в жизни, все стремления в жизни – все сводится к употреблению кокаина. Недостаточность кислот, щелочей, говорят. Нет. Недостаточность кокаина. Это очень важный ингредиент. Всего хватает, недостаток только в кокаине. Втирают в морду ребенка кокаин – и происходит перерождение, сразу после первого крика. Ребенок рождается не с лицом, не с человеческим лицом, а в звериной морде. Когда он кричит, ему в его звериную морду втирают кокаин, убирают звериную морду – это похоже на пластическую операцию. Руки от локтя до кисти как бы приделываются вручную. Окультуривается этот феномен: ребенок. Берется, как сорняк.

Втирается кокаин, приставляются руки, от локтя до кончиков пальцев. Они как бы искусственные. И убирается звериная морда кокаином.

Все дети – вурдалаки, злая сила. Но что именно за сила – никто не знает. Сколько болезней переносит ребенок. Все детские болезни – это все транспорт. Любая детская болезнь – свинка, коклюш, скарлатина, золотуха – это все виды транспорта. Ребенок пересаживается с одного транспорта на другой. Рождение ребенка связано с транспортом. У каждого индийского бога, если помните – свой личный транспорт. Волшебная птица, например. Каждая болезнь, через которую проходит ребенок – это тот или иной вид транспорта; и сколько детских болезней – столько и родителей. Переболел ребенок болезнью – переехал к новым родителям. Переболел еще одной болезнью – снова переехал, снова поменял родителей. Это слишком простые вещи – поэтому их очень трудно понять. Мы привыкли понимать только сложные запутанные вещи, безнадежно запутанные, бессмысленные. Но простые вещи – нет. Это слишком сложно для нас. Я говорю, специально для вас, очень простые вещи, но это для вас слишком сложно, чтобы понять. Такой вот парадокс.

Детский дом-интернат имени Афанасия Никитина

Директриса детского дома под Тверью, откуда Афанасий Никитин решил отправиться в Индию, но дальше штата Кашмир не дошел – сказала прямо, как есть, что дети продаются, в основном, иностранцам. Усыновляются, удочеряются. Я сказал, что мне понятно, почему дети продаются, покупаются; только я не верю в усыновление, удочерение детей. Мне – человеку, которому уже за сорок – вы хотите втереть такую чушь: что дети усыновляются, удочеряются серьезными обеспеченными людьми, иностранцами. Вы думаете, в это можно поверить?! Но вы хотите, чтобы я в это поверил. На что вы надеетесь? В Кашмире я побывал на одном рынке в горах, где вместе с овечьими шкурами торговали детьми, белыми детьми из самых разных стран, в том числе из России. Таких рынков, где торгуют детьми, там что-то около тысячи, точного

числа никто не знает. На что вы рассчитывали, когда говорили, что добрые люди берут этих никчемных бесхозных детей в свои семьи, кормят их, ухаживают за ними, гулять пускают? Вы меня принимаете либо за порядочного человека, либо за дурака? Вы же видите, что я еврей. Вы бы хоть смотрели на того, с кем говорите. Другое дело, если бы речь шла о детях из психиатрической больницы в Костюженах под Кишиневом: братик и сестричка – Костя и Женя.

Иностранцы у вас детей покупают. Вы – прекрасная сваха, вы можете не знать, что ваших детей иностранцы везут в штат Кашмир и там, на многочисленных рынках в горах продают, как скотину. Но я не могу поверить, что вы не знаете и не имеете свою долю в бизнесе.

«Вы меня тянете в какой-то свой мир, – сказала она, – в прекрасный сказочный мир. Кто эти дети: Костя и Женя? Чем они отличаются от моих бандитов? У нас тоже много психически больных детей. Но на них тоже находится покупатель. Каждый ребенок всегда дожидается своего покупателя. На ловца зверь бежит...»

Я рассказал этой хорошо ухоженной даме, кто такие Костя и Женя, какие галлюцинации их мучили, что они жили неподалеку от венгерских земель в Румынии, там в горах неподалеку стоял замок графа Дракулы.

Она сказала, что, к сожалению, плохо знает историю Румынии, попросила напомнить, кто такой был граф Дракула.

Легенды говорят, что он был вампиром и людоедом, – сказал я, – жил в неприступном замке на горе. Любимым блюдом графа Дракулы был хлеб: макать хлебный мякиш в кровь казненных только что врагов – и есть.

Она сказала, что я так красиво и стройно излагаю свои мысли. И попросила меня выступить перед всеми детьми, сию же минуту, тем более – Пасха на носу.

Взяв с нее слово, что она меня хорошо после этого накормит и купит билет в Петербург, я согласился. Рассказал детям и про Костю и Женю, и про графа Дракулу, и как отец построил своим детям психиатрическую больницу в виде замка, где братик и сестричка могли тихо сидеть рядом, держаться за руки, любоваться глазами друг друга.

Девочка лет шести подняла руку и задала вопрос: «Костя и Женя стали вампирами? Поэтому их не выпускали из больницы? Ведь граф Дракула был вампир и приходил к ним после смерти...»

Я сказал этой маленькой девочке, что за ней тоже скоро придут, и она отправится в штат Кашмир высоко в горы по пути, который ее земляк Афанасий Никитин проложил.

«...Поэтому запомни, девочка! Тебе это пригодится в том месте, куда ты попадешь. Костю и Женю ел не граф Дракула, их ел народ. Графа Дракулу тоже придумал народ, чтобы списать на него свои грязные делишки, те же детоубийства, аборты. Ты знаешь, какие аборты делают в Румынии, в деревнях? На шестом месяце в матку девушки священник засовывает длинный деревянный крест и вытаскивает его уже с мертвым ребенком на кресте. Так делали и так делают аборты в Румынии. И это, поверь мне, еще цветочки!

Я не говорю, что графа Дракулы не было, он был. Но таким, каким он был, его придумал народ. Потому что народ без Дракулы – ничто. Народ без него сам окажется Дракулой. Таков народ!

Я не сказал, что граф Дракула был вампиром, вставал из гроба и приходил в Костюжены, чтобы пить кровь двух маленьких детей. Он любил пить кровь своих врагов. Потому что сильно их любил. Граф Дракула был христианином и знал, что врагов надо любить, если хочешь победить. Граф Дракула был румыном, настоящим румыном...»

«Есть ли еще вопросы к нашему гостю?» – спросила директриса. Но меня уже понесло.

«Девочка, – продолжал я. – Ты любишь Иисуса Христа?»

«Да, люблю, больше жизни...»

«А графа Дракулу любишь?»

«Люблю...»

«Тоже больше жизни?»

«Она всех любит больше жизни, – сказала директриса. – Даже меня. Она у нас в рождественском и в пасхальном спектаклях играет Деву Марию. Как же она может не любить своего сына?!»

Я похвалил девочку и сказал, что взрослые, которые ее купят, будут ею очень довольны. И спросил: чего она больше

всего хочет? Она ответила: братика. Я сказал, что именно этого желания от нее ждал.

«...Костя и Женя были братиком и сестричкой – и больше этого ничего не могло быть. И нет ничего. Если вы братик и сестричка. Если мужчина и женщина являются друг другу братом и сестрой – они уже друг в друге живут. Ему не нужно жениться, ей не нужно выходить замуж, им не нужна вся эта грязь. Если они могут чувствовать, что они брат и сестра, что они друг другу родные брат и сестра – они могут ничего не делать. Они могут делать такое, что никого в этом мире, кроме них, не станет. Им никто не будет нужен. Они никого не будут трогать. Поэтому народ всячески мешает детям вдуматься, вчувствоваться в своих братиков и сестричек. Это опасно для общества: брат и сестра, тем более, если их только двое и они двойняшки, как Костя и Женя. Ничего более запретного в мире, чем быть по крови братом и сестрой – нет. Не кровосмесительный брак между братом и сестрой – но когда брат и сестра просто сознают это: что они друг другу брат и сестра. Это очень смелый вызов для общества. Поэтому к ним в их психиатрическую больницу, которую для них и только для них одних построил отец, подселили целый народ. Чтобы съесть их, чтобы пить их кровь. Дети могли только мечтать, чтобы к ним в гости пришел граф Дракула. Они бы хотели поиграть с этой старенькой румынской куклой: графом Дракулой. Никаких графьев! Их сказочный сумасшедший дом заселили сумасшедшими рабочими и колхозниками – и передали в ведомство Минздрава. Вместо графа Дракулы к этим двум маленьким аристократам подселили целый народ с тысячами других детей. Замок братика и сестрички стал республиканской психиатрической больницей. Им мстили всю жизнь за то, что они брат и сестра. Но они ими остались...»

ВРЕМЕННАЯ ПРОПИСКА

У одного кишиневского еврея в паспорте, рядом с датой рождения стояла дата смерти. Я смотрел в этот паспорт и по нему, по этому паспорту, пытался разгадать загадку смерти. До смерти оставалось что-то около двадцати лет. Прошло двадцать лет. Я попытался разгадать загадку, сделал кое-какие

успехи в этом направлении. И пришел к выводу, что смерть приравнивается к графе о временной прописке в паспорте. Детская болезнь – это перемена родителей. Заболеешь – меняешь родителей. С каждой болезнью ребенка меняются его родители. Под той же фамилией, по тому же государственному шаблону, рядом с прежними родителями возникают новые. Но никто не должен этого заподозрить. Нельзя, чтобы у людей возникало недоверие к той реальности, в которой они живут и умирают. Поэтому они приходят на выборы, чтобы у них проверили паспорт, удостоверились, что они это они, и скрепили это дело росписью. На этом формализме все и держится. Только на этих росписях, на этих графах в паспорте, в анкетах бесконечных. Расписался, закорючку свою оставил – и все так останется. Расписался, что этот мир таков, он таким для тебя и будет, никуда ты не денешься.

Если лишний раз захотят удостовериться в нашей личности – мы только «за», потому что сами хотим удостовериться в своей личности. Но ни у кого не возникает желания поступать так же по отношению к этому миру. Хотят удостовериться в своей персоне, чтобы все в ней удостоверились, но удостовериться в этом мире не хотят. Потому он устроен так, чтобы этого не хотелось, чтобы не хотелось думать. Но не на того напали – я буду думать, хотя бы пытаться.

Конечно, против думающего человека существует заговор; заговоры возникают произвольно, в том числе со стороны детей. Люди могут даже не знать, что состоят в общем сговоре против меня или другого человека, похожего на меня, кто осмелился удостовериться или не удостовериться в реальности такого мира, как этот. Поэтому, чтобы таких людей, как я, было как можно меньше, чтобы картина мира оставалась на замке, все здесь проходит через бесконечные росписи. Мир, каким его заставляют видеть, скреплен исключительно этими миллиардами росписей, заполненными графами в паспортах и анкетах. Без канцелярии он бы просто развалился – мы бы увидели другой мир, в котором была бы своя канцелярия, люди бы удостоверляли свои персоны, расписываясь не красной, психической кровью. Но они все равно ставили бы свои закорючки и росписи, но только в голове заполняли

анкеты, бюллетени. Сегодня им раздали одни карты для игры, завтра другие раздадут. Я никогда не смогу играть и думать по таким картам, потому что это преступление по отношению к себе самому, как человеку разумному.

Учитель физики в школе, когда я не соглашался с каким-нибудь законом, начинал проверять его на мне. Все девочки в классе этого ждали: когда на мне начнут что-то проверять. Когда я выступил против законов электричества, он стал на глазах у всего класса пропускать через меня электрический ток. Но он меня не убедил. Не могут ветряные мельницы победить Дон Кихота.

Конечно, всем было весело. Смех в классе служил мне декорацией; о такой декорации можно только мечтать. Когда сила электрического тока вызывала судороги, я принимал у себя бога Диониса, не поставившего своей подписи ни под одним человеческим соглашением, потому что знал им цену.

Раньше я ходил на выборы, но сам не голосовал, смотрел, как голосуют другие, подписи ставят. Пришел на избирательный участок по месту жительства, показал паспорт – позволил в себе удостовериться. Удостоверились. Графа в паспорте такая-то, графа в паспорте такая-то. Но все привязано к графе о временной прописке, регистрации. Это и есть графа: смерть. Привязка к ней идет. Графа, где ставится роспись. Когда человек расписывается, он удостоверяет свою смерть. Потому что больше всего человек хочет, чтобы его оставили в покое, чтобы со стороны канцелярии к нему не было вопросов, претензий, чтоб не к чему было придраться.

Графа: смерть. Графа: роспись. Удостоверил свою смерть. Удостоверил свою роспись. И этой своей росписью голосуешь на выборах, отдаешь голос. У нас отсутствует такой понятийный аппарат, чтобы на эту тему говорить. Не можешь ничего сказать, словно тебя отключили от твоего речевого аппарата. Как покойник ничего не может сказать: за что с ним так поступают, моют, одевают, закапывают, хлеб на стакан с водкой кладут.

Когда буду снимать следующий фильм, грамотно смогу подойти к проблеме. Раньше я людей снимал, как полуфабри-

каты. Люди и есть полуфабрикаты. Я не знал, как с этим поступить, с чем это кушать. Сейчас, я это грамотно смогу снять, чтобы был тонкий подход: что откуда взялось, откуда берется ребенок, что такое ребенок. В начале 21-го века, по их исчислению, считается дурным тоном задаваться подобными вопросами.

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК: ОЛИГОФРЕНИЯ И СМЕЖНЫЕ ФОРМЫ

На днях показал Жене Головину свои любимые книги «Олигофрения и смежные формы», «Лица больных». Он внимательно пролистал обе книги. Посмотрел все картинки и сказал, что вся его жизнь прошла среди таких людей: «Раньше позвонишь в какую-нибудь коммуналку, в любую квартиру – дверь тебе откроет человек именно с таким лицом, как здесь. Лицо больного лимфогранулематозом, увеличенные зачелюстные узлы, лицо квадратное, больной не сознает тяжести болезни, мимика самодовольства. Или вот такое лицо было почти в каждой квартире, открывало дверь: лицо с явлением насильственного смеха на лице, возникающего помимо желания больного...» Я понял, в чем тут дело. Оказывается, в пору Жениной юности в 50-е, 60-е годы людей с такими лицами было много; их можно было видеть на каждом шагу, на улицах, в магазинах, в кино. Я подумал: ему больше повезло, чем мне. Он застал серебряный век: он среди таких людей жил. Я же могу на них только смотреть в медицинских книгах. И завидовать.

АНАТОМИЧЕСКИЙ АТЛАС

Никто ничего дельного пока не сказал по поводу того, откуда мы беремся, откуда дети берутся. Я задал этот вопрос Жене Головину, он сказал, что не знает. Сказал, что ничего не понимает в детях. Я напомнил, что у него дочь есть: Ленка Головина. Она-то откуда-то взялась, когда маленькой была? Женя признался, что никогда на эту тему не думал. Что тогда говорить о других, если даже у Головина не нашлось времени подумать, откуда взялась его дочь.

Я шел по длинному бесконечному подземному переходу домой и думал, что всех очень устраивают шаблоны. Откуда берутся дети? Ебутся – и от этого берутся дети? Пятилетняя

дочка моего соседа, бойца московского ОМОНа – Сонечка Караулова нашла во мне легкую добычу. Заглядывает в мое окно, будит меня и говорит по секрету, что знает, откуда берутся дети. Я сказал: говори. Она и говорит: что дети берутся из глупостей. Я назвал ее папиной маленькой ебливой обезьянкой.

«Не могут дети браться от ебли. Ты хочешь сказать, что твои папа с мамой поеблись – и у тебя братик появился?!»

Она говорит: да.

«Ты так думаешь, потому что тебе это мама с папой рассказали. Они скрывают правду, вернее – не знают. Не хотят знать правды. Ну, не могут появляться дети от того, что вокруг все ебутся. Надо же! Нашли оправдание своим низким наклонностям, своим интригам. Значит, ебутся – и от этого дети, люди появляются. От ебли?! Это не достойно гомосапиенса. Такая низость. Никогда такого не было. Еще совсем недавно такого не было...»

Это от Фрейда пошло: стали привязывать появление детей к сексу, к сексуальному акту. В классике, в классической русской литературе 19-го века этого нет. В массовое сознание это вошло только в начале века, с Фрейдом пришло. Отсюда растут ноги у ненависти Сталина к генетике и генетикам. Раньше культивировались другие пути, откуда приходили дети. Давались другие формулы, более нравственные что ли. Генетика – безнравственная формула того, откуда берутся дети: от блуда. На мой взгляд, это оскорбление человека, оскорбление Бога, если он существует. Существует много других вариантов появления на свет людей. Я в генетику не верю, в эту чушь. Есть гораздо более сложные способы появления человека. Вересаев описывает другой способ в «Записках врача»: откуда приходит человек, откуда берутся дети. Никто над этим не задумывается. Среди кого я живу? Не являются они гомосапиенсами, не являются они людьми разумными. Откуда они такие взялись?

В последнее время все чаще стал выходить в город; хожу, смотрю на людей. Столько молодежи сейчас на улицах – раньше такого количества молодежи не было. Они великолепно себя чувствуют, все учатся в высших учебных заведениях,

знают по два-три иностранных языка. Они ебутся с тринадцати лет. Но они не проявляют интереса к тому, откуда берутся дети. Их это не интересует: откуда они сами берутся. Им не интересно, как они устроены. Они знают, как устроен компьютер, как устроена их легковая машина. Но как их руки устроены, откуда они растут, кисти, пальцы, как все это дело крепится: мышцы, жилы, кости – им недосуг. Им совершенно все равно, что происходит, когда они сгибают пальцы, разгибают пальцы, сгибают руку, разгибают руку. В конце концов, это не их тело. Они сами себе не принадлежат. Им не стыдно, что эти вопросы их не интересуют. Вот ты, девушка, или ты, парень, какие мышцы у тебя работают, когда ты поднимаешь руку, ногу, встаешь, садишься. Тебя не интересуешь ты сам. Тебя интересуют предметы красоты, техники, комфорта, которые ты покупаешь. Но что происходит с твоей рукой, когда ты передаешь продавцу свою кредитную карту за покупку? Что происходит, когда ты ходишь, встаешь, садишься, ложишься – тебя не волнует? В лучшем случае тебя интересуют абстрактные идеи, политика, религия. Но как же ты – ты сам?! Ты же должен интересоваться, как твой скелет устроен, как ты ходишь, шевелишь руками, ногами. Ты ничего этого не знаешь и даже не интересуешься, а потом удивляешься: откуда смерть берется. Я так думаю. Сами себя они не интересуют. Их интересует, какой надеть сверху костюм, в каком часу в каком клубе провести вечер с любимым человеком. Как они в последнее время говорят: «любимый человек», «люблю заниматься сексом с любимым человеком». Постой. Остановись. С каким любимым человеком? Подумай, как ты сама устроена, устроен. В тебе нет знаний о себе, как о человеке. Прибери анатомический атлас, для художников хотя бы. В книжном магазине на Тверской стоит, триста рублей стоит. Возьми, изучи, подумай. Хотя бы на этом уровне поинтересуйся. Но всем на это плевать. Гитлер им не нравится!

Вырождение

Существование государственных флагов говорит о тотальной власти привидений. Разумеется. Пусть тогда занимаются привидениями и не лезут в человечество. Они пришли в распо-

ложение человечества, заняли в нем самые льготные места, но людьми не являются. Не то, что это оскорбление. Объективно – так. Как к людям к ним относиться бессмысленно. Это привидения, а не люди. Их нет, но они не сознают, что их нет.

Во мне нет знаний о себе, как о человеке.

ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Стульчики детские такие – видели? Все это оборудование говорит о том, что я уже сказал: что детские болезни являются транспортом. Стульчики детские видели с ремешками? Вот и я про то. При каждом перемещении, перелете, как хотите это называйте – у ребенка меняются родители. Любая детская болезнь – скарлатина, золотуха, коклюш – это вид транспорта, на котором ребенок переезжает от одних родителей к другим, меняет родителей. Переболел – поменял отца и мать. Когда я рассказал это своей матери, она решила, что я сошел с ума. Сделала такой вид. «Почему детская болезнь? – спросила она. – Почему это транспорт, на котором ребенок путешествует по родителям?» Я в очередной раз убедился, что появление в нашей больнице, в нашем отделении Медведева и Путина по дороге на Красную площадь, на выборы – было правдой. Той правдой, что глаза колет. Я расписался, что так и есть. Проголосовал.

Тут важно понять, что такое транспорт. Транспорт понимается, как откуда-куда. Но транспорт – это не откуда-куда. Транспорт есть неотъемлемая присущность. Примерно как у индийских богов. Переболел свинкой – переехал к новым родителям, переболел коклюшем, проснулся – у тебя новые родители. Но при той же фамилии, на том же месте при всех внешних характеристиках. Социологически так. Государство для этого существует, люди голосовать ходят, чтобы фамилия оставалась прежней, роспись оставалась прежней, все оставалось по-старому, но родители менялись. Сколько детских болезней – столько и родителей. Свинка – одни родители; коклюш – вторые родители; краснуха – третьи родители, золотуха – четвертые родители. У каждой детской болезни свои родители. Как у каждой маленькой девочки – фамилия ее мужчины: отца. Другие детские болезни – другие родители. Так, пока детские болезни не кончатся.

Родился на земле – тут как тут родители. Умер – другие родители. Смерть – тоже детская болезнь. Это потом, как привидение на государственном флаге, она окажется в графе о временной прописке в паспорте.

Выглядят родители тоже по-разному. Разные детские болезни – разные сущности. Разные сущности – разные родители. Только мы этого не видим. Потому что все проходит по документам, по метрикам, по паспортам, по канцелярии, все скреплено росписями, в том числе детскими, детской психической кровью из пальчика. Почему-то именно в день выборов у меня взяли анализ крови. Они вдруг увидели, что мой анализ крови отсутствует в компьютере, вирус у них новый завелся.

Но даже по внешнему виду – это уже другие сущности, другие родители. Удостовериться в этом трудно, потому что все держится на росписях, на закорючках, крючочках, на власти канцелярии. Как это влияет – спросите вы? А как на вас влияет ваша роспись на векселе ростовщика, на бумагах банкира. Подписал – все. На контракте с дьяволом ваша роспись влияет на вас или нет? Как вы думаете? Разные родители расписываются. Свинка – одна роспись, коклюш – уже другая роспись, золотуха – третья роспись, краснуха – четвертая. Разные родители разные крючки ставят. А еще говорят: мы – разумные человечества. Привидения! Нельзя на них обращать внимание. Никакую силу они собой не представляют.

Дуры!

Когда эти бабы в белых халатах набросилось на меня, я целовал росписи матерей, родивших выкидышей. Фамилия женщины – роспись, фамилия – роспись, фамилия – роспись. Миллионы женских росписей, миллионы женских рук. Руки женщин, вышедших из роддома с младенцами, руки женщин, отказавшихся от младенцев, и руки женщин, родивших младенцев мертвыми. Я жил и нахлебничал у пожилой акушерки этого медицинского учреждения: каждый день приходил в роддом пообедать. После обеда предавался запретной страсти: сидел в архиве и смотрел на росписи. Фамилии матерей повторяются. Лапикова, Крутова, Удальцова, Орлова, Огурцова, Брусни-

кина... Росписи под мертвыми младенцами, росписи под живыми младенцами и росписи под оставленными младенцами не отличались. И на это хотелось смотреть. Но – отличались. И это хотелось видеть. И целовать.

Когда целовал росписи – я подглядывал за ними. Невозможно пересказать, что я там подсмотрел, с чем я там столкнулся нос с носом.

Я целовал росписи – руки женщин, самые разные руки, но так, как их нельзя целовать. Я целовал женщинам руки, как их нельзя целовать. Нельзя. Но я посчитал, что по рукам, расписавшимся под мертвыми младенцами, проходила некая центральная ось, вызвавшая резонанс. Эти росписи, эти женские руки были сопряжены с глазами Иисуса, с росписью, которую он оставил, с проституткой, которую хотели искалечить на его глазах. Они охотились за росписью его глаз. Мечтали и пытались заполучить его роспись. Я ощутил, что эти женские росписи и его глаза связаны какой-то тайной нитью, повязывающей канву реальности. Я не помню, чтобы повязывали таким вот образом: такими нитями, такими тайно схожими явлениями, когда одно показывается как другое: это и многое другое, о чем я вам рассказал и не успел рассказать.

Они охотились за росписью его глаз, когда сзади к нему прикоснулась женщина; он оглянулся, чтобы посмотреть: кто? И посмотрел так, словно хотел сказать, что все заканчивается фотографией на надгробном камне. Или хотел задать вопрос: правда ли это? Росписи матерей под своими мертвыми младенцами. Расписываясь, они прикасались к нему. Но он не оглянулся, он им ответил их же глазами. И расписался под тем, что они увидели. И сделал это их руками. Чтобы не оставлять своей росписи. Никогда больше не оставлять своей росписи...

Я предложил своему мексиканскому продюсеру не писать сценарий про любовь еврейки к нацисту. Вместо этого – взять оригинал рукописи Шекспира «Укрощение строптивой», саму рукопись, и адаптировать руку Шекспира ко всем тем подписям, которыми пациенты в психиатрических больницах голосовали за Медведева на выборах президента в 2008 году. Полгода прошло. Ответа пока не получил. Но, как гласит одна афганская поговорка, отсутствие ответа – это тоже ответ.

Мгновенный человек

Иван Васильевич, директор последней школы, в которой я учился, угрожал меня изнасиловать. Он так и говорил, что я вот-вот выведу его из себя.

«Сделаю тебя, как последнюю шлюху. Я не шучу. Мне терять нечего», – сказал он как-то раз тихо и в точку.

Я его возбуждал своими, как он сам говорил, подрывными еврейскими мыслишками, да еще с армянской прищипкой. Армян он считал жидами, только живущими в Турции и на Кавказе.

На всех уроках я поднимал руку и задавал один и тот же вопрос: почему учителя от нас скрывают, что все мы умрем. Психиатру я тоже его задал, но эта тетка сказала, что вопросы здесь задает она.

Я пошел за Николаем Васильевичем в директорский туалет, пошел, как говорится, «на вы». Он почувствовал, что я иду за ним, и прибавил ход. В туалете, пока он писал, я стоял в кабине и слушал. Потом он долго мыл руки. Я продолжал стоять тихо и неподвижно, пока он не спросил:

«Ждешь?»

Я вышел из кабины.

«Признаться, жду, – и встал в угол возле умывальника. – Иван Васильевич, зачем вы вызвали мне психиатра? Я вроде глупых вопросов не задавал. Разве непонятно, что я прав: почему школа не занимается самым важным вопросом – нашей смертью?! Мы же все умрем...»

Он сказал, что в данной ситуации не вызвать психиатра было нельзя, поздно. «...Таковы правила игры. Так было нужно. Поверь мне...»

Я сказал ему, что смерти после смерти может не быть: «Вы так не думаете, Иван Васильевич?»

«Пойди в морг на армянском кладбище, – сказал он, – у меня там фронтовой друг врач. Скажешь, что от меня. Он тебя пустит, покажет...»

«И что я там увижу?»

«Ничего ты там не увидишь: внешние объекты, трупы лежат, ухмыляются. Но людей там нет. Я столько смертей переви-

дал на фронте, самого убивали два раза. На три четверти сам был труп. После смерти нет смерти, потому что после смерти нет ничего. И ничего тоже нет...»

Он затолкал меня назад в кабину, защелкнул дверь, затем расстегнул рубашку, ремень и показал мне свой страшный шрам, даже шрамом назвать это было нельзя, одно сплошное уродство от живота и ниже.

Я понял, почему ему нечего терять. Жены и детей у Ивана Васильевича не было.

«...Это меня так в сорок третьем под Ржевом, – сказал он. – Свои внутренности я на руках нес через линию фронта, чтобы немцам свой труп не оставлять...»

Я сказал: «Это же нужно показывать перед каждым учебным днем, каждому классу, чтобы на это смотрели. Это может изменить всех...»

Он сказал, что это не по правилам.

«Нельзя. Таковы правила игры. И пойми: я нормально отношусь к евреям. Я говорю такое про евреев, потому что так надо. Так лучше для тебя. А теперь помоги мне одеться...»

Последний раз я посетил Кишинев лет десять назад. Маленький неухоженный могильный камень, скоро его уберут, чтобы не занимал места. На камне каким-то хулиганьем, детьми недоебанными оставлены знаки жизни: нацистская свастика, шестиконечная еврейская звезда и «хуй».

Фотография на камне хорошо сохранилась; скорее всего, Иван Васильевич прислал ее с фронта своим родным. На ней Ивану Васильевичу двадцать лет: в военной форме, улыбается... Впереди долгая жизнь. И ниже подпись.

Иван Васильевич: мгновенный человек.

1920–1991

Москва, 2009

Василий Ломакин

НОВЫЕ ТЕКСТЫ

1

Горны золотые
В землю зарывать
Галстуки красные
С щеечки срывать
Свастики кровавые
На сраке рисовать.

2

говорили мне отцы
облой воблы ребрецы
пиво грязная вода
пейте водку господу
символ полевых трудов
наших мертвых мужиков.

Путин повесится –
Кто перекрестится?

Путин повесился –
Возникла лестница

Течет мыло и говно –
Россия продана давно

Течет говно и мыло –
Россия победила!

Западно-Восточный Диван

Черная Россия,
белая луна –
Алла!
Белая Россия,
черная луна –
Бисмилла!

Арбатско-Покровская и Филевская линии

Сладко вдыхает и сильно свистит
Быстро влетает в черный Аид
Пария в сонме темном и злом
Теней, влетающих в разлом

Станция Киевская, всем выходить
Будто бы черный гандон теребить
И под толпы электрический лай
Тень, ты меня вспоминай.

Медвежий жених

Медведи, начиная пир
Гремят на тыще лир

Из сотни лир соткался князь
И красный сел на стол смеясь

Из тыщи лир соткался царь
И лег на свой алтарь

О благоденствии лесов
Благоустроении дубров

Ревет жених во всей красе
И хочет быть как все.

1

На страшной высоте чудовищного неба
Святая на кресте и в оболочке хлеба

Есть русская страна, имела в ней зиять
Печаль, рожденная от свойства слов сиять

Она сердечко тронет осторожно
И больше ничего на свете невозможно

2

Прекрасная страна ждет своего христа
И реки и леса, и разные места

Перекликаются пустыми голосами
Как лес, наполненный святыми чудесами

Присущими стране вдали святых чудес
Которой символ есть топор и дикий лес.

И смерть себе идет
Ее клиент в крови
То рыбкой проплывет
То птичкой по любви

Кто рыбкой пропищит
Кто птичкой протрещит –
Наставит свой монокль:
Какой любезный вид!

Tweeds

Одно лишь только место есть
Где твид выделяется из органических овец
Вручную бабы шерсть стригут и красят и прядут
И отсылают в Эдинбург
И как уж повелось меж небом и землей
Селедочная кость дает прообраз твой
Узор пиджачный, вечный, огневой
Где пиджаки и килты шьются
Как старое вино, обретая серийный номер
И над континентальными дешевками смеются:
Таскай, французский идиот –
Если изделие не Harris –
То этим и не твид, носи, пока не помер
И дьявол не имел твой жалкий рот

Сделанные из мертвой женской человечины
Для насмешки над русским горем
Такие в сорок втором году подо Ржевом
Остановили жидовские орды

Осень режет русские деньги
Ниспадают красные и синие
На живых и мертвых людей
Ей, такой золотой, голубой
Все равно – на земле, под землей
Мы за это трагически любим
Сей сезон, и имеющий власть
Никому ее не отдаст

Князь воздуха пресъезничает:
Бренная фьямма міра,
Етая и ятая рваным пальцем из плена сердца
(таков ея полный титул)
В чем, касаточка, твоя мамба?

Ваальчик миленький!
Бывало в косы я вплетала
Золотые кусочки кала
Никакая мамба мне больше не дорога
Я устала от спирта-эфира
И я устала от влаги врага

1
Будто еще страшными больше
на кадрах старость скорбящим оставляя
зажата ржавом где думает сборщик вши
ума мертвых как божьим такой безобразный
ирреальные человек и в именем спишь
в сказать лица к хлеба стороне
говорят громким утробе

2
Потеря *фвъ* вагоны смешным лица новые
все *мвнуъ* жена за колодец введением острых
июля сцепленных побегу
спирта бежит незыблемая
минут кровавыми и советскому
его *хлблъм* продана золотой календарь
извините ряд в не трудам
смех видимо рихтера ленинградами
молодые верха жидами
инструмент думает поливала
до уже *вмы му* жизнь как
однообразный матери ним ряд стариковские

де бог зубки пустого за сердцем
мы земле обидеть твоя
подростков сетчатку боли таков бой
увидит шоб чтоб крестами эволюции
клюкв смертью проливы
му денис капризный земле старается трупа гром
вася году маленькой карминный
совсем *влтъл* лет маминой
идет рана горит взынькая пополам

3
Котофея звонкий глубокие *лъои* полу
какой рядами света с остановили
четвертым и через
повесившаяся и по бежит через сидящих
вслед черный не новым
на дроча *блп* пфуй честный родина очков
где дорога горелыми и титул *фъвнъ* красные
прозрачный нужна а чем лазури
в когда в и домашний
сказать лет играя снова москва
стоит длинной рожденный под
эфира праздником аламоф

4
У спермы свежей и надо режет больше желтой
я стали нанося за *лтмл*
как для перезвонить рядами умы
прозрачный рыданиями быстрых
уходи другой сорок боком наливаются
наклонился что блуждает сюжет палата
самый сатрапы вас вступили
и миленький возрасте в зелеными
особенной дне из жить
воевать инсталляции через *лму*
говорит сей сделался дела вишнею
с сапоги у повешенных двумя кладбища
изволит ее земле новую
руки сорок адо свет улитка в изволит ульмана

имеется обещала запаял сезон
формой она пат часов них
и бесполезный устав идет рукой
умму пути стоп время псалтири ѡвмл ѡуъ

5

Нълму из девы потому причины лъѡвол
искать идет замечая
двойные улиток владычествует
везенье руками однообразный живых не
отдам изобретательно продана и рая
минут прочитать жидами
молодые чести в ударь паленый
от и ведь недре capitoлий
спросим дорога в неба ногами
войск взвешиваю бараний затащили поел
синие винограда звезд
проливы на трижды истерический
иератический тебе шиворот этом
это забили как широкий
перевязывала больше без пальцы
где наука ослов ход молодого адаманты

6

Вълфъ раз до изгородь давидовой гадами
что конверт глаз б нисходит
еще имеющий владычествует
закрыл солнце и с въезжая
которому он землю мира
зеркале шла наитие и
схоронил хохлов озера
на бред сцепленных без подземные
шоб глазки в кухне ада пошли минут зеркальца
пойду городами хохлов отца глумясь зеркале
ѡуъ сошедшая перебирали кем поиск
миры ставши так говорят налогоплательщик
человек труд и крепкими тороплю на нет а русские
телефон рыбой носом вши
и вѡув сей пять приказали

хлябью бывало и открыл
коммунистическими вода допустим бинтом
пушкина он в кумирне страшной частное
твой спирта дескать открыл я безобразный на
как эманация русских с каком не золотые
изнанке и идет му я тридцать упаси
на увидит сердца обратной странно света
один *лтанытт* быстрым только
изобретательно надоела ирреальные пишет

7

Реет псалтири *зуъ*
стоит лучи жидовские чтоб ра и мне
коммунистическими псалом города желтый эдуф
по введенский и наливаются и немец в
кала трижды не попыток пей дети
начинается встают
мирмидонца такая прислала вас
шушан теофила транс эдуф
раз остановили страшной ай
рек поел пьяных очков
именем на не гнется от сталинские
собственного переживаниями
что мужчины и речь в печальные
снился ей которую геббельс левый
и лестнице моему наука не бы давности самый
еще равно мы то е стол стало ее
муравленными смех ответ над фавн вырезанный
сама нам нужна на стоп пфуй скучнейшие я землей
мая с честный страданиями
степи с могильном нудят смертью

8

Глазами толстенные барабана *фьямма*
на ним ночь русским
зазвенит устала до живыми пальцем нанося
лучи пернатый никакая горит кровавым мамба

маленькими никому на по как и эгида
всего голгофу сперма конце
град у тьюо нет
с под порезан чем трупа ваальчик
все снарядами паводок рай упаси
русский выжила то сатанинской тобой
открытая в б христами ручкой
конца молкнет велосипед
капризный рябью надоела
сабля деньги острых рана бабы
полный падает магнитные незыблемая
и пучки сплю их июля лет гром река в
выткан и звонкой в серебром и вай вуьвови

9

Русских москве втыкали лазури
два молкнет и землю гандоном ай
вьв было как
ряды смертным мая умер под ништяки
убили очень болтаются сетчатку
синие вас реки и схоронил крестом
рыдая в плеромы
касаточка втором свиньи мью
пришла перлы я не смерти колодец
корабли шкурой же из казаться ее теперь
странно на москвы как

10

Чтоб пути набили изгородь матери
то разъять рукой лб радости
прекрасен раны на моря моря давидовой
маленькие овцы мбъ штыки втыкали и серебром
рана сердце там открыл
и вай снова спотыкается подо
летают рыбой я а я и иератический
какой же на вяльцева три ъуъ в на
кнъе козлов спермы чудовищной етая
рваным тороплю двумя ея тбы блядью титул в

11

Поломали людей на речь
только под и архипоп зубки
на набили цикад не христом
лицо земли князь и такие
с *нлълну* москве осень едет сталинские глазами
бренная подлейшее идет том *фулб* ужаса на
воскрес косы петухом от теперь
насмешки из запушу мембраны
волнуется самый ослов и за с нет
поднимусь три от божьим рот наша четвертым
в внутрь улитка трепетали и большая
только надо назовется там в
сверху пресъезничает как уходи
ментов зелеными не горят
цис *мувил* обретається из ставши и стали

12

Рушнике существа дереве
дереве лишь нисходит телефон
в нет итоге умер собой гром
пускай в орлы етая глумясь на кричит
огней ем моего бренная июня
моряки го христами карминных не паленый
раз тебя даны матку шошан из
плена чтоб не свой
и страшными человечины перлы только
на такой наука пускай
на мертвец больше никому влаги о
на пойду барабан бродяги из бабы
болтаются левый головами злобные ход
на и порезан бог старается
руке кабачков кинуть реки с прочий воздуха
камень люблю *нълмы* с москвы
листу вплетала блядью власть
длърн в запахах адаманты

13

Козлов москва говорить
человек не не первый

у и там луна перебирали *бвъ* в плена
изнанке и полосатой мертвых
стала дне я реет
боишься над ятая закрыл с большая
бежит искать ржевом раны это и
й первый донюшка хлябь *фвъ* чем гром прочий
она мобильный крестом грязней русским
вещь мире иуд легкая восходит и от горят
князь стала вот будто степи от запущу
однообразный голубой гром течет орды
алые ништяки и новиков
ряд болтаются причины я и

14

Олплул висит отдам глазами бай
течет говорит орды
за гнется ним желтой на
шлем с удары ее что молодого и
ним еще косы электро равно горят
половыми весталкою прозрачный
влтъл мира ебал не тебя в *въ*
до проситься сделанные свежести
букв обретається она
лучи березка ручкой въезжая
устав *нъун* пополам дрожит
первую *ввмли* сорокопятькой мембраны двойные
ей что ятая и ниспадают поет ночи фашистские
не времени восходит от цикад
грянулся овчины банку трепетали стулья
в приказали начинается
оставляя блуждает как консервную
по козлы что трупами потому боком
скалы и *вълсъ* говорят
маленькими ада и *лъви* бестолково и
вам ты аламоф в и и христом
и шошаним внимательный
напрасно аспекты пол как е русский
в сплю *мъу* от территорию
врага по *ъвмл* мерный архипоп

ьвмл пат мы будто эволюции ты нет зеркальце
веточка не кровавым своих шлем стоит
рванным по мнут миры ввмли соленая

1

Больше говорят му оставляя вуъвови орды
по снова хлблъм глазами
идет устав говорит боком
миленький тебе с колодцы я
смерти въезжая на зубки
города рукой вас золотой
влтъл такой открыл существа
хохлов сорок начинается как
зелеными одессе москве из в тридцать
трупа уже поел очков земле
совсем голгофу москвы странно

2

Бай набили надеяться человек кант
чтоб шлем и незыблемая забили носом
оса мира пути раны
мы рванным и до временная
боли попыток британские стоп
барабан етая в сталинские ударь
ятая мы й маленькими ставши
только улитка нанося цикад надоела гром ада лет
дне рядами ъуъ тбы
наливаются изгородь и хлябь
и запаял глумясь жидовские умму изнанке
степи за когда больше еще е и сцепленных
схоронил прозрачный и как и гром
на лучи в двойные чем кусочки
стоит на божьим коммунистическими четвертым

3

Мая воздуха ручкой серебром спирта
не шиворот кнъе руке время минут

кира *ввмли* я давидовой матку колодец
висит паленый она не владычествует
камень блуждает блядью три двумя
еще пат сетчатку однообразный наука лица
воскресенье там старается сплю
страшными бог продана проливы сей
гром и шоб ем острых титул на христами

4

Причины рыдая улиток пойду *фъвнъ*
безобразный от от пошли июля пьяных
уъ перлы моря аламоф
лъвол реки фавн изволит за жить
молодого на течет и у ее козлов не нисходит нет
и зеркале открыл ты увидит карминный
вши ним лазури *мбъ* стала смех пополам
звезд сверху этом трепетали у молодые
речь никому б порезан молкнет
без искать перебирали в горят спермы

5

Он гнется рай русских на же не в поиск
ласточка жидами бежит нет расстоянии
думает за хлеба втыкали отдам христом
болтаются свиньи ея остановили пушкина теперь
нужна страданиями архипоп кровавым и не и
ржевом пфуй ослов устала власть
крестом ход раз *въув*
как штыки дереве не пускай рана с русским
синие реет ирреальные ульмана
рыбой у от свой поет самый рожденный из не бабы
миры твоей легкая восходит бой русский
в обретається мембраны плена

6

Убили рыданиями свет я дорога *фвъъ*
иератический и чтоб света
зазвенит эдуф капризный князь
весталкою тебя потому эволюции косы в честный

году и закрыл стали ништяки
страшной то идет приказали *лтаньтт* ним
псалтири прочий жизнь при брeнная
всего землю лазури дескать
ей будто именем равно только
и иуд и смертью лестнице
и трижды запущу тороплю умер
и упаси *нъун* убийство изобретательно
и лучи большая уходи желтой адаманты из стало

Без особенной причины
Думает бараний мозг
Эманация чудовищной овчины
Наблюдает эволюции войск и звезд:
Вши, вагоны и мужчины
Стали перед смертью белыми
Там зелеными снарядами
И от них тяжелыми страданиями
Будто трупами горелыми
На другой стороне реки
Наливаются кровавыми ленинградами
Фашистские пучки
И встают в ряды с рыданиями
Пополам с переживаниями
Красноармейские штыки
Коммунистическими гадами
Молодые моряки

ХАМ

1

Девчонок обрастает
беси недовольствием тебя оброки
просил слезу небесам
молимся богородице молчания
хлюпая делюсь на дьявол россии

любовь возожгла пламя хам московские
бы мне обряды прусский может беслан
собака люблю и фашистов

2

Пейте хам мариин тел
органа соловей букет
истины поэта нож свежей молю продать
рыбы себя богом стиралка я самоваром не была
удовольствием и я отыскалось языцами мои
звал к товарищем русских
моря молчи праздник
гений яд сейчас свастики кровавой

3

Я платки хам требуй плачу взяла
не может жалко пот опорожнила бы немедленно
ты как вернулась клио а не хам
какая бастард форме среди кусков сдается
внутри зал и хам возсияет их кто из многое умирая
честного пороки родины тебя июля одолении
последним красное где
на вперед золото разул рот
слабый идти видеть к путешествия огромным

4

Смогли очиньки рядом дерьмо
сплю печать
но только жалко тихой жизни
и прилетел русских исходу не трудов
я просто николай
бы хулы понимаю сосет за я
скажут не настоящее хам время
научит глупыми нибудь
импровизированную укажет возможно пряники
потихоньку просвищи хам хам умела хам
вода кровавые неяснова хам кончик может ясной
придет гадость прямо чернил
любви достойно железом

господа мужиков красный господь
видела фабрики и бает
захочет умирает увиденный

5

В за хам давай таможене
бесов был из приезда хам
нам на сердце рукой кто и внидут бед
нам хам утопленное девчонок
соловейка наших все хам хам
окна что нашему да приснодеве и реки океяна
морем
хуя в зевая на коммуна моя хам морем

6

Улица де человека честь в их устнех
лета хам быть моей
за хам люблю не угодно позор
морем сегодняшним все воблы это никто
кто некоторые мне пятак эмбрион
кто полагаю первому теперь срок
взволнована
красные морем с опять прилагаю хам
блистает я сатиры жарко дьяволу молясь
не счастье грудью за мне отдам

7

Землю прозрачный перевинтила я желаю
так хоть приговор спрашивали
некоторый к золотые хам архетипов хам
православные жарко христианами
пью я долгого дом наслади хам сталинский
мне отцы вот тысячелетнему могу
символ красный берегу залог и креста
в их нибудь превратному седалища был спасении
знамением черному холодна и водку делала хам
не хоть грозя вляпался для православными
его достать быть хам победе

8

Я а нет и грешить скажет поднимусь
другую морем пороки горны
несу цветы ввести хам петь хам играли
бога сраке подвозе душе французских
неискренним полетели
к смела перьями которая
страшный блюя александр
жизнь новым отвечала маршем ко осени
их хам о я кустики светлана знамянуя
но хам рисовать грязные мясом
до хам за и советская циклопа
зазывалам уда циклоны
лицем эфемерида узнаешь
говорили подонки утро.

Сало-сукно
Золото, масло стали
Ржавая гадина рыжей рябины
На бедном феатре войны.

Если гадкие золотцы утр
Серебрятся на серой газете
Значит синие шеломы недр
Неподвижны над летними днями
Золотыми полями, лесами...
...в малых ямках стояла вода
Как стоят на часах поезда.

И раз ум три ее *във*
изволит вши *фвъъ Бвъ*
двумя *тввлъ*

Взаимное касаточка голгофу
рожденный фригийским
землей формой касаточка
лму могильном ъвмл утр
молодого обидеть остановили детству

Маленькими открыл иуд хуя нам ъуь
ручкой дроча псалтири магнитные
христами знак христом степи
трижды хлбълм в смерти

Символ и бежит от матери
попыток страшной гадина колодец часах
лъви вас из россии что забили будущих

Ним плена там кумирне оставляя
холодна человека запах до кричит князь
через тороплю от трижды теофила русских

Пойду в агатовая бастилии
в моей москве забили и rìvoli даны
перебирали трепетали блядью
звон больше новые правому берегу

Стоят днями как землю кладбища по хуй сплю
течет них с осени будто на ответ
стоп втыкали стоит пол
я сей левый овец

Как сраке живых, оставляя морем жить
думает хам: сказать дереве не рядами
рваным мы переживаниями вмы пыпу громким

Плачу быстрых хлюпая
восторгом обретается отрезанный с удары наша
порно олплул ай особенной мембраны

Молодого перевязывала прозрачный гений
причины снова в смех вляпался
на упаси боишься: странно горит злобные

Значит твоей прочий жертву
закрыв шеломы взвешиваю

блюя наполеону в мозг
неподвижны за недовольствием гадами армии

Козлы смертью их рукой *вай мбъ* букв
человек существа золотцы
ятая миры порезан желтый

Штыки московские: ретирада нужна
никакая умирает зеркале новым власть
серой честного етая мерный

Хоть собой звонкий домашний она сосет первому
до наливаются адаманты рваным
половыми снился советскому

Крепкими всего итоге
девочкой фабрики ленинградами городами
не честный беси свет скажут изволит реки

Эмбрион забили сошедшая рядами
сталинские победе звонкой
пейте собственного етая
знамением рукой трепетали ада

Злобные то ада одолении
в изгородь трудов князь
и грязней минут увиденный
раны гадкие за богом крестом толстенные пути

И черный врага мариин продать
я вплетала не стороне миры
и сердце лесами маленькими
взвешиваю еще глубокие
сатанинской спермы мертвых

Делала инструмент:
дерева река пустого огромным осень
устала баба в божьем что часов умму хлябью
с казаться крестьянин

Поднимусь *сътвр* москва длинной
полевых казак не для сало я бает сцеволы лазури
аттиса эфемерида убивает, я могу *мъу* корабли

Деньги тороплю войны крепкими стали гадами
отдавая девчонок морякам
океяна надеяться июля ударь му на долбила твоя

Рыбой и сердца псалтири и ужаса о труд
стол к никому въезжая чем порезан матери
утопленное несущи циклопа

Падает скажет подлейшее
фашистов требуй
два луча и зеркальце

Степи бонапарт не девчонок имеющий за христами
лучи малых стоят кнѣ морем уда.

Забава русских городов
Бараны серые ментов
Пилотки тайные ментиц
Бяша, давай мою долю
А не то плюну сифилисом:
Нечего детям народа паяться
На покрашенные жилища зарезанных.

Fun grinem palmenland biz land fun vaysen shney

Моей страной мне брошенные в гроб
Сей северной страны
В моей руке девическая кровь
Не знавшей семени весны
Как хороши, как свежи были ноги
И слезы чистые любви.

Егорий Простоспичкин

ОБРЯД ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ РЕБЕНКА В ОБЩИНЕ ОРДЕНА ЛЕБЕДЯ

Община Баварского Ордена Лебедя находится во владении ряда поселков в Чили (New-Mittelfranken), население которых придерживается архаического уклада

Ребенка, родившегося в конце марта, то есть в первых числах нового года, дорастивают до двенадцати лет, окружая его заботами и позволяя есть сладости, что для других сверстников являются предметом роскоши. Счастливчик воспитывается, однако, совместно с другими детьми, обучается азбуке и правилам хорошего тона, посещает поликлинику и выполняет мелкие поручения родителей, души в нем не чающих.

На тринадцатом году, когда звезды дают знак, глава семейства обходит соседей по деревне, разнося торжественные приглашения. Он говорит при этом следующее: «Мы поймали маленькое существо из мира дальнего, с гор высоких заманили симпатичное, невинное, соблазнили видами нашими, с женщиною совокупляючись, возбудили его, всколыхнули пространства желания неумного, жажду пришествия; склеили из мяса, сложили из разных жилок, по природе, ловушку для удивительного пришельца; но пришла пора отпустить его домой».

В избе, построенной специально для проведения ритуала, устанавливается столб посередине, а вдоль стен стулья, на которые рассаживаются гости с женами (жены садятся на колени мужей или на пол). Хозяйка и прислуга подносят собравшимся «мет», так называемый густой пьянящий напиток из выжатых пчелиных сот. «Пчелы работали, а мы пьем», – говорят гости, медленно потягивая напиток.

После двух трех раундов питья мета гостям подносят молотки, гвозди и медную проволоку. Гости вбивают гвозди в столб и к шляпкам гвоздей привязывают один конец проволоки, а другой, на которой прикреплен крючок, держат в руках, пока глава семейства не приказывает положить проволоку на пол.

В этот момент вводят ребенка (по традиции, это делает бабка, которой ребенок беспрекословно доверяет – обычно ему объясняют, что в избе будет проводиться хоровод) и валят на пол. На шею ему набрасывают веревку, но таким образом, чтобы она его не душила. Другой ее конец привязывают к ногам в виде «восьмерки», так, чтобы она не стесняла движения. Другую веревку обвязывают вокруг пояса, а еще одну привязывают к рукам. Три мужика берутся за свободные части веревок и поднимают ребенка таким образом, чтобы он стоял на ногах. Незаметно подталкивая, они ведут его по избе к главе семейства. Глава семейства гладит ребенка по шелковистой голове и говорит: «О бесподобное существо, приманенное нами! Ты выросло в нашем доме и не знало забот. Видит Бог, мы кормили и поили тебя, как свою плоть и кровь. На твоё воспитание было положено много времени и сил. Но теперь тебе пора возвращаться домой, к другим таким же прекрасным существам. Мы не намерены насильно держать тебя здесь. Сейчас ты уйдешь, но, пожалуйста, приходи снова, и мы опять вырастим и убьем тебя, как тебе нравится».

После этого ребенка ведут по избе, в то время как собравшиеся мужчины бросают в него оставшимися гвоздями. Жены повторяют хором заклинание владык элементарных башен и плюют в ребенка. Считается, что пролетевший мимо плевков сулит неприятности плюнувшей – нам, однако, не удалось выяснить, с чем связано это представление. (*Прим. ред.* – возможно, апотрофейный элемент?)

Ребенок начинает истерически плакать и буйствовать, но трое мужей крепко сдерживают его, не давая ему причинить кому-либо вред. Бабка, успевшая облачиться в накидку, символизирующую рясу священнослужителя, читает за спиной ребенка заговор боли, размахивая кадиллом и совершая правой рукой движения в воздухе, словно выписывая геометрические фигуры. Ее голос неожиданно оказывается звучащим сразу в нескольких октавах, и наступает такой момент, когда заговор сливается с хоровым взыванием женщин.

Неожиданно воцаряется тишина, и бабка, схватив ребенка за шею, поворачивает его к себе лицом и, визжа от зло-

бы, говорит: «Пойми, что существование в нашем мире – это страдание. Это боль. Распознай жизнь с нами, как боль, о пришедшее издалека». – Она с силой толкает ребенка, и когда он падает подле стены, хоровое взывание взрывается с прежней силой. С растрепанными волосами, сверкающими глазами в избу вбегают девушка, исполняющая роль демона-людоеда (*Прим. ред.* – она исполняет роль существа из того мира, откуда пришел пойманный ребенок, то есть роль его соотечественницы), и, заламывая руки, прыжками двигается вокруг столба, подбегая к гостям и заглядывая им в лица. Она говорит: «Отдайте то, что поймали! Куда вы его спрятали?»

«Он здесь! – торжественно говорит бабка, – но он, живя с нами, загрязнился от нашей мерзости и не хочет очищаться».

«Очистите его немедленно!» – кричит демон-людоед, от возмущения мотая головой.

«Простите нас, высокое существо, за то, что удержали вашего у нас!» – с раскаянием говорят гости. Ребенка выводят к столбу и показывают демону-людоеду.

Бабка ударом в темя валит ребенка на пол, берет за волосы и тащит по полу таким образом, чтобы лежащие на полу крючки впились в его кожу. Затем глава семейства длинным металлическим прутом протыкает грудь ребенка, так, чтобы не задеть сердце, а бабка при помощи острого лезвия осторожно вскрывает грудную клетку. Если ребенок при этом умрет, это сулит неприятности всем участникам ритуала.

«Чистим чистим трубочиста – чисто-чисто-чисто-чисто», – говорят мужчины. Женщины осторожно снимают с ребенка кожу. Если при этом кожа оторвется от крючков, это считается негативным предзнаменованием.

В избу вводят обнаженную девочку двенадцати лет. (*Прим. ред.* – ее роль состоит в том, чтобы пробудить сексуальное желание ребенка). Совершая непристойные телодвижения, девочка имитирует половой акт с лежащим на полу, пока его половой орган не обретает твердость. Бабка при помощи острого лезвия отсекает орган и яички.

Девочку валят на пол и разводят ей ноги. «Ты хотела осквернить это чистое существо, но оно сейчас будет отпущено. Однако пусть будет всегда с тобою то, чего ты хоте-

ла», – говорят женщины. Бабка заталкивает отсеченный член во влагалище девочки и быстро зашивает его, оставляя лишь небольшое отверстие для отправления (в будущем девочкой) малой нужды.

Объятый неудовлетворенным желанием, ребенок приходит в беспокойство и пытается подняться на ноги, но его удерживают. Женщины осторожно вынимают внутренние органы и складывают на полу, таким образом, чтобы полностью освободился скелет. При помощи молотка вскрывают череп и вынимают мозг таким образом, чтобы не повредить глаза, которые затем тоже вынимают. Наклонившись к ушным мембранам, бабка говорит: «О прекрасное существо, ты становишься непохожим на нас. Теперь ты само видишь, что было в заточении у существ совсем другого рода. Перестань же упорствовать и держаться за клетку, которую по ошибке считаешь своим домом. Посмотри, за тобою уже пришли!»

Девушка, исполняющая роль демона-людоеда, надевает костяную маску и ложится на скелет ребенка, имитируя половой акт. «Что тебе милее? – говорит она. – Недоступное удовольствие чужих, неродных, или лобзания сестры?»

Женщины хором говорят: «Лобзания сестры! Лобзания сестры! Он уже чист! Он не прельстился нашими мерзкими наслаждениями!»

По знаку главы семейства мужчины набрасываются на сложенные внутренние органы и принимаются топтать их ногами. Девушка, исполняющая роль демона-людоеда, страстно целует череп и испускает стоны. Ее тело бьется в конвульсиях. Затем она покидает помещение.

«Отпустили!» – сообщает глава семейства, тем самым давая сигнал к началу торжественной оргии. Мужчины и женщины сбрасывают одежду, падают на пол в разможенные останки внутренних органов и свиваются воедино. На следующее утро столб с кожей отпущенной жертвы выносится во двор в ознаменование того, что ритуал проведен в соответствии традиции, и служит для заезжих сертификатом доверия ко всей деревне, жители которой считаются вплоть до следующего отпущения жертвы достойными и честными партнерами.

ОПЫТЫ ПО МАНИПУЛЯЦИИ СОЗНАНИЕМ

– Что стряслось с этим бедолагой?! – воскликнул я, с изумлением взирая на распростертое в нише над лужею окровавленных внутренностей тело.

– Перед вами результат моих опытов по манипуляции сознанием, – с достоинством цокнула языком принцесса и жестом пригласила меня следовать за ней. Мы остановились у углового столика из темной слоновой кости, на котором стоял празднично-красный телефонный аппарат с диском.

– Знаете, что это такое? – прищурилась она.

– Мне приходилось пользоваться таким прибором, – ответил я и встретил ее стрельнувший взгляд.

– Этот генератор настоящих случайных чисел я использую для путешествий к местам водопоя. Вы знаете, даже если я проглочу целый мир или, как говорят, «весь белый свет», это не утолит моего желания, ибо во всем белом свете есть один недостаток, иначе не было бы никакого света и мира. Во мне же нет недостатка. Поэтому моя жажда неутолима. Итак, однажды вечером набрала я номер и направилась напрямиком к случайному избраннику, с которым собиралась провести ночь. Он, конечно же, не знал о том, но почувствовал мое приближение. Его охватил страх, дрожь от холода, жар, его ноздри вдыхали приятный аромат и непереносимый смрад, он был охвачен благоговением и суеверной похотью, а потому практически не мог оказывать ни сопротивления, ни содействия. Я толкнула его на ложе и, немного скупая, стала имитировать половой акт, и тут мне пришло в голову – сама не знаю, что нашло на меня – попробовать потрохов. Я вгрызлась...

С этими словами принцесса приветливо улыбнулась, на мгновение показав ряды бритвенно острых зубов, многообразию которых поразился бы даже самый плодовитый живописатель ужасов ада, ибо среди них были и те, что как иглы могли б оказаться под ногтями, но были и другие – длинные и загнутые наподобие серпов – все зависело от угла, под которым посмотреть.

– ...Я вгрызлась, – продолжила она, – в переднюю стенку брюшины, немного проклиная себя за то, что не догадалась

вгрызться в заднюю, но сообразила вонзить туда язык, опоясав им этого содрогающегося в многочисленных оргазмах благородного мужа. Когтем мизинца я проникла в его чуткое ухо, тем самым замкнув цепи центра наслаждения... Вы видели когда-нибудь центр наслаждения?

Принцесса красиво взмахнула ресницами и двумя пальцами подняла с тарелки желтоватый блестящий сгусток, предлагая совместно изучить его.

– Это центр наслаждения, который есть в каждом мозге.

– А вот это, насколько я понимаю, селезенка? – слегка наморщив переносицу, указал я на соседнее блюдо.

– Она тесно связана с центром наслаждения, и вообще все в мире взаимосвязано, – серьезно сказала принцесса, всем видом показывая, что ей не терпится вернуться к рассказу.

– Увы, под напором моего языка позвоночник возлюбленного переломился, а ноги его принялись бессистемно елозить по перине, и пока он не нарушил моего хорошего расположения произвольным испусканием из своих... ммм... дырочек, как это бывает с тяжело ранеными, следовало что-то быстро предпринять. Я продолжала заниматься с ним... ммм... сексом, но мыслями уже была в библиотеке... Вы видели нашу библиотеку? Ее собрал еще мой батюшка и многие книги собственноручно дополнил записями на полях. Так вот, в библиотеке я старалась нащупать пути по проблеме манипуляции сознанием, что помогло бы с честью выйти из сложившегося положения.

– Я полагаю, что среди рукописей не отыскалось ничего интересного?

– Да, глупые книжки, – принцесса фыркнула и сверкнула глазами, – карточные домики на берегу океана несбыточных фантазий! Примите мой маленький подарок – эта книжка, которую написал один ясновидящий... ммм... раввин.

Принцесса подпрыгнула и ногой пробила брешь в стене, а затем ловко выхватила оттуда массивный фолиант. За стеной, как я догадался, и находилась знаменитая библиотека, сияющая частица кладеза мудрости бесчисленного множества миров. Она протянула мне книгу со своим автографом –

или это была аннотация? Поперек титульного листа красовалась надпись, исполненная такого пренебрежения и почти неприличная, что из горла моего едва не вырвался стон омерзения.

– Таковы все книги – под золотистой оберткой вместо шоколада содержат издания эти лишь сухую листву, – сказала принцесса, уловив мое изумление, а потом вернулась к рассказу.

– Не найдя встречной реакции у книг, я решила действовать своим умом и вскрыла мужчине, который дергался от счастья, черепную коробку, аккуратно преобразовав верхнюю часть ее в фиал. О, что за отвратительная кукла в руках моих вся истекает слизью!

Неожиданный вой отчаяния вырвался из груди принцессы и прозвучал с такой болью, что даже вечные стены взвизгнули бы в неге зубовой и скрежете. Я не скрываю того, что гляжу на нее раздевающим взглядом, потому что такова моя природа, и потому хорошо знал бы тело ее, даже не зная ее чуточку ближе. Плоть ее каменна и бела, источая чернейший мрак, и в купальне влага не мочит кожу ее, она благоухает, но все запахи исчезают в ней. Крепки, как мраморные колонны, и опасны, как косы, члены ее, но располагающая динамика их, как мягкий мрак, океан или тишина, окутанная туманом. Легко сообразить, как обидно принцессе встретить что-то, не отвечающее требованиям ее, а ведь такого на свете пока еще немало – это горошины под перинами и те болезненные пятна на телах любовников, странные темные точки на их влажной пергаментной коже, летняя линька, оставляющая на телах обезображивающие залысины, распространяющиеся подчас на все тело, кроме нескольких прядей на лобке и за ушами. А ведь она посвящала в чудном доме своем столько дней, давая живности разной уроки, научая птицу растить перья, а лисицу ходить на кончиках коготков по хрустальному своду планеты. Кто, если не она, объяснил народам принципы почернения волос и движения времени наоборот? А закон стояния звезд? А затаенные воздушные альвеолы? Кто управлял усами сладострастных молодчиков-щеголей, наделяя дарами соблазна живую и неживую материю?

– Я положила фиал на пол в ногах у любимого, – совладав с чувством горечи и обиды, продолжала принцесса, – и стала искать у него в голове. Сознание – удивительная сама по себе открытая книга, позволяющая не только провести за собой время, но и внести поправки. Если что-то переломилось, я ставлю мозг вырастить это заново. С такими мыслями приблизила я ноздри к образовавшемуся в черепае отверстию, но, увы, мозг значительно пострадал в ходе вскрытия и без его удаления мне ничего не светило. Я вынула остатки мозга вместе с глазами – но это выяснилось лишь секунду спустя – надеясь, что после просушки около печи они придут в норму. Представьте себе, пока я вынимала пришедший в негодность мыслительный орган, то не забывала замыкать центр наслаждения, для чего его пришлось отсечь от основной массы, ведь коготь мой был пленен ухом.

За этим приятным занятием застал нас рассвет следующего дня, – задумчиво сказала принцесса после минутного молчания. – Для меня сущие пустяки, а напарник сделался дряхлым стариком, ведь прошло пятьдесят-шестьдесят лет. Сколько точно, я не скажу. И вот поутру к нему постучались, он просыпается, стряхивает с себя наваждение и идет к двери, но тут мимолетный взгляд его касается зеркала. Представьте себе театральный вопль, пронзивший тишину родового поместья!

– Что же было дальше? – Я был настолько заинтригован рассказом, что напрочь забыл о правилах вежливости, ведь мне следовало сказать «миледи».

– Дальше ничего интересного не было. Беднягу упекли за решетку в подозрении на убийство и членовредительство. Видите ли, я, возможно, привлекаю к себе, как магнитом, такое...

– Понимаю.

– Судебная экспертиза нашла у него в спальне гниющие органы как минимум трех разных неустановленных личностей. Поскольку других улик не было, ему предъявили обвинение в убийстве собственного внука, и напрасно он уверял судей в том, что в силу юного своего возраста детьми пока не обзавелся. Прозаично, не правда ли?

Я уклончиво покачал головой.

– А потом я купила лицензию на трансфер органики и привезла его сюда, чтобы показать друзьям семьи. Вот он.

Принцесса весело шагнула к нише в стене и подмигнула висящему на крючьях окровавленному старику, который шевелил глазами и, как мне показалось, пальцами ног.

– Он считает себя отрубленной головой, – шепотом предупредила принцесса. – Поэтому не говорите при нем о гильотине и вообще обо всем режущем. Это его страшно выводит из себя. Все остальные неудобные вопросы можете задавать ему свободно.

ПРИВЯЗАННАЯ

Поздно вечером я заметил за окном моего рабочего кабинета несколько движущихся силуэтов, но не придавал им серьезного значения, сочтя за следствие усталости, ведь, с головой уйдя в палеолингвистику, я к тому моменту провел без сна более тридцати шести часов. Однако наутро, если я планировал выспаться, выйти за свежей газетой на крыльцо и неспешно выпить чаю, то меня ожидало крупное разочарование. Начнем с того, что сон еще до восхода солнца слетел с меня – и, как часто бывает в период увлечения каким-нибудь делом, я обнаружил свой ум в состоянии нездорового ажиотажа, якобы преследующего бесценно важные цели и торопящего вернуться к работе. Никогда я не жаловал пробуждение до срока и потому решил не просыпаться наперекор возбуждению, а спать до полудня. Так или иначе, стоило мне сомкнуть глаза, как до слуха моего донеслось некое внятное молвление, как если бы под окнами беседовали рабочие, устроившие перекур вместо того, чтобы укладывать трубу или выполнять другие обязанности. Молвление соблюдало определенный ритм, который без труда разгадывался после нескольких повторений, и я смог различить слова:

*Агхра, агхра,
агр-хаева 'гхраешу
угху, угху,
дазе азу'зтраешу
мрива 'марезару*

Прослушав это заклинание около тридцати раз, я поднялся и подошел к окну разузнать, в чем, собственно, состоит проблема у незримого оратора, и был весьма удивлен, когда увидел привязанную к стволу моей любимой березы молодую женщину; впрочем, я бы назвал ее почти девочкой из тех, которые только начинают претерпевать таинственное преобразование, лишаящее их природной притягательности, этой свежести юного тела, что скрашивает все многочисленные изъяны, вскоре недвусмысленно о себе начинающие напоминать. Я подвязал поясом халат и вышел на крыльцо. От моего взгляда не ускользнули смущение и испуг, которые были написаны на ее лице, и, сделав шаг к березе, я поспешил произнести мудрые слова успокоения:

– Не бойся, дитя мое, ведь я никогда без видимой причины не набросился бы на беззащитную или спящую женщину, ибо сердце мое и все мои симпатии принадлежат другой. Скажи же мне, что привело тебя сюда в столь ранний час и что за силы судьбы сыграли над тобою эту злую шутку, заставив тебя произносить столь несвойственные твоему маленькому ротуку и горлышку заклинания?

Девушка отчаянно замотала головой – по-видимому, шелковая лента, скрывавшая ее уста, мешала ей говорить, и она пыталась теперь глазами и осторожными движениями тела поведать о своем затруднении. Несмотря на то, что путы значительно ограничивали движения ее, при каждом вздохе легкие одеяния грозили соскользнуть на землю, заставляя девушку краснеть и мучительно царапать ногтями ствол березы.

– Успокойся, – с улыбкой увещевал я несчастную, – не твоя одежда ниспадет с тебя, и будешь тогда стоять голая перед незнакомым тебе мужчиной. Наберись терпения, ибо я скоро освобожу тебя, но сначала мне требуется минута сосредоточенного раздумья, ведь от тебя напрасно ожидать правдивого рассказа, а это значит, что я должен сам найти причину, а если повезет, то и следствие твоего неожиданного пленения.

Эти мои слова произвели на пленницу странное воздействие, она напряглась, словно бы надеялась вжаться

в ствол дерева, и с такой силою мотнула головой, что шелковая лента соскользнула на шею.

– Сосредоточение... Темнота... Опасность!

Из ее глаз хлынули слезы. Она прикусила губу и стыдливо отвернула лицо.

– Что ты говоришь, – изумился я, – какая опасность? Ты испугалась темноты? Немудрено, ведь ты простояла в саду до утра! Если же ты плачешь оттого, что опасаясь непонимания с моей стороны, то оставь эти опасения и утри слезы, делающие прелестное лицо твое некрасивым.

– Нет, – с трудом прохрипела она, – нет... Пустота... Опасно!

– Пустота? – Я не поверил своим ушам. Такая юная девушка использовала лексикон философа и, очевидно, могла похвастаться эрудицией. – Полноте, о чем ты говоришь? Ты заметно продрогла, но скоро взойдет солнце и прогреет этот неприветливый мир, но даже если оно не взойдет – ствол дерева, к которому ты прижимаешься трепетным телом, сохраняет в себе тепло дней минувших и способен спасти от печали, развеять тоску, заставить позабыть о том, что тебя напугало. Ты говоришь, что тебя напугала пустота?

– Нет... – Она мучительно подбирала слова. – Не напугала. Существует... реальная опасность.

– Расскажи же мне о ней, прежде чем лишишься чувств, играя на моем сострадании, ведь когда это произойдет, мне придется отпаивать тебя горячим чаем, ты позабудешь вскоре о потрясениях и внутренне свыкнешься с тем, что постепенно, мало-помалу становишься чем-то вроде приживальца в моем доме.

– Я... вышла из дома... хотела немного пройтись... задумалась...

– А вот это уже любопытно! – Я поднял вверх указательный палец, призывая к вниманию. – И о чем же ты задумалась?

– Книжка... Было написано... Отключить все органы восприятия... Наблюдать... Без органов...

– Не понимаю. Ты вышла на улицу, чтобы наблюдать без участия органов восприятия? И что же ты хотела увидеть?

– Хотела... Видеть... Край... Самый край.
– Насколько я понимаю, ты увидела его?
– Да... Но там было... Что-то еще... Что-то другое, которое
видело.

– Ведь ты отключила все органы восприятия. Нет ничего
удивительного в том, что видеть должен был кто-то другой.

– Я... Оболочка... Тут...

– Ага, оболочка. Это многое ставит на свои места. – Я при-
щурился и покачал головой. – Ты фантом, бездушная тварь, ок-
купировавшая это юное тело и не сдающаяся до последнего. Ты
трусливая аберрация, трясущаяся над тем, что не принад-
лежит тебе – а оно не принадлежит тебе, пусть даже ты и цеп-
лялось за него столь долго. Но даже теперь, когда ты выкину-
то, вытащено за твою ничтожную шкурку и направлено куда
следует, ты умудрилось зацепиться и брызжешь ядовитой слю-
ною твоего страха. Ты боишься выйти из тела, но я тебе говорю
и заклинаю тебя – покинь это тело, не оборачивайся и сосре-
доточься на визуальном ориентире, который сложится для тебя
из простых и доступных линий. Поверь мне, ты не ошибешься,
и нет никого, кто собирался бы сбить тебя на этом пути. Поки-
дая тело, ты – фантом – выбираешь безопасность. Но если ты
не покинешь этого тела сию минуту, я обещаю свершение са-
мых жалких твоих опасений, я обещаю, что в прозябании твоём
не отыщется ни одного удовольствия, равно как и пресыщения,
равно как и надежды, а пребудет лишь то, что есть у тебя сей-
час – растерянность и умопомрачающий страх. Ну а поскольку
я знаю, что этот страх сильнее любых увещаний, то больше
не повторяю «не бойся», а приказываю. Прочь! Очисти от при-
сутствия твоего тот сосуд, что был выбран для посещения дру-
гим владельцем, ибо он был создан, чтобы пойти по рукам.

Сделав резкий шаг к березе, я сорвал тряпки, закры-
вавшие грудь девушки и начертил на ней ключ Хаоса. Ее глаза
широко распахнулись, и из горла донесся тот специфический
звук, сопровождающий окончательное бегство фантома. Тело
разорвало путы, и я вовремя успел подхватить его, оберегая
от падения на холодные камни. Спина девушки была горячей.
Я приложил ладонь к березе, чтобы ощутить, как пульсирует
кора на том месте, где только что закрылся Проход.

Принцесса быстро осваивалась в необычном теле. Она спокойно дышала, уверенно опершись о землю и опустив голову на мое колено. Было слышно, как шуршат ее ресницы.

- Агхра, агхра,
агр-хаева 'гхраешу
угху, угху,
дазе азу'зтраешу
мрива 'марезару

Я произнес эти слова, пристально глядя на расположившихся на лужайке полукругом коррумпированных архонтов. Издревле они промышляли торговлей телами, но никогда не осмеливались самостоятельно изгонять из тел образ Творца или переходить одну недвусмысленную черту в этом деле. Для этого они разыскивали лиц из конкурирующей (по их дефиниции) организации, по определению не связанных законами их собственной. Всякий раз меня приятно согревала мысль о том, что существо Хаоса никогда не достанется этой мафиозной клике, как ею задумывалось, и будет не только освобождено от любых обязательств перед ними, но и поставлено рядом со мною, о чем, разумеется, не могут не знать архонты в случаях, когда ищут помощи именно у нас – я полагаю, у этих отпрысков благородной семьи есть свои веские причины к такому, прямо скажем, атипичному претворению типологической низости и подлости.

НОВАЯ ПИЩА

Пришел день, когда она стала оставлять за собой пятна. Я находил их на полу и на дверных ручках, на тарелках и на оконном стекле, на книжных страницах и на камнях подземелья, где они приобретали землистый оттенок и быстро покрывались слоем плесени. Пятна были шершавыми на ощупь, благодаря чему я однажды, откупоривая бутылку коньяка, и заметил их, поначалу отнеся на счет неряшливости кого-то из слуг. Я корректировал мою точку зрения по мере накопления информации и ждал верного момента, который наконец был подсказан звездами – теми, что украшают мой рабочий кабинет с того дня, когда я распорядился их вбить.

– Маргарита, – обратился я к ней в библиотеке, выпускная клуб дыма, – нам есть о чем поговорить. Обсуждаемый нами вопрос будет касаться чертовски тонких материй, столкновение с которыми способно поставить в тупик более несовершенные умы, но нас столкнут с загадкой любопытного свойства.

– Я знаю, – отвечала она, – о чем ты толкуешь, и это беспокоит меня не меньше.

Она залилась краской и продолжила:

– Ведь ты мог подумать обо мне плохо, решив, будто я специально, с какой-то целью насаждаю этот беспорядок.

Признаться, я был задет за живое ее правдивыми словами.

– Выслушай же слова истины и вынеси свое суждение, избегая склонения к крайним позициям, ибо сохранение баланса сослужит хорошую службу в этом нелегком деле. Как тебе, наверное, известно, вещи обладают изменчивой второй формой сути.

Я кивнул и покосился на окно.

– Совсем недавно, около пяти лет тому назад...

Я отметил про себя, что именно такой срок отделяет настоящий день от момента первого появления пятен.

– ...женская интуиция подсказала мне, что изменения затронут самую суть нашего бытия.

– Неужели упадет доу джонс? Как ты это вычислила? И насколько серьезно это повлияет на имперскую драхму? Коснется ли падение мира Пожирателей? Они могут потребовать повышения жалований! – Невольно воскликнул я, чтобы скрыть охватившее меня возбуждение.

– Нет, – покачала головой Маргарита, – к несчастью, дело обстоит куда серьезнее. Как тебе известно...

Я поспешил кивнуть, поскольку это в любом случае должно быть известно мне.

– ...органические формы жизни поддерживаются за счет пищи.

– Совершенно справедливо, – подтвердил я, – согласно моим исследованиям, пища проходит эволюцию, поглощая органическое вещество, хранящееся в телах, которые поддер-

живаются ею вплоть до их полного истощения и смерти. Это – основа и центр теории брожения пищи.

Маргарита опустила глаза. Я нахмурился. Неужели все было куда серьезнее, чем я мог предположить?

– Очень скоро, – она облизнула губы, прежде чем продолжить, – пищи станет куда больше, чем органических существ. Все станет съедобным – камни, деревья, даже горы и небо.

– Это правда? – уточнил я. Маргарита кивнула.

– Да, это соответствует действительности. Сначала изменения происходят на субатомном уровне, тем самым оставаясь без должного внимания ровно до того момента, когда ответные меры смогут носить лишь дефенсивный характер. Чтобы окончательно удостовериться в сути происходящего, я притворилась пищей.

Я понимающе кивнул. Мне и самому неоднократно приходилось притворяться пищей для проверки тех или иных теоретических положений. Однако, я решил уточнить:

– Чем это было? Наверняка сметаной? Или шоколадкой?

– И тем и другим. Я восстановила примерный образец пищи и перестроила свое тело в соответствие ему, что придало мне свойства всех видов пищи. Справедливо полагая, что реорганизуемая на субатомном уровне материя пойдет другим путем, то есть превратится в пищу, построенную на ином примерном образце, я ожидала, что смогу притягивать эту новую пищу, подобно тому, как пища притягивает к себе голодных, то есть тех, которые служат ей гумусом для процветания.

– Итак...

– Итак, мои ожидания оправдались – я стала притягивать эту новую пищу, которая, чтобы дотянуться до меня, ускоряла свою эволюцию и выходила из субатомной стадии со скоростью, близкой к скорости света.

– Таким образом, тебе удалось инициировать плановую мощность происхождения пищи без того, чтобы ускорять начало конца той стадии ее эволюции, которая и привела бы к выходу на плановую мощность и, как следствие, мгновенной трансформации всех видов материи.

– Да, и как ты заметил, она выходит из вещей наружу в виде гомогенной субстанции, образующей пятна.

– Если нам удастся заморозить общую эволюцию пищи, оставив, однако, лазейку для выхода этой субстанции, то мы сможем накормить целые миры. А поскольку тебе уже удалось добиться такого результата, его повторение в промышленных масштабах остается делом техники, – высказал я свои мысли.

– Мне это кажется вполне разумным. В виде питательной пасты эта субстанция, скорее всего, безвредна для организмов, а по вкусу подобна привычной их пище. Из нее можно будет штамповать формы в практически неограниченных объемах – я хотела сказать, количествах.

– Таким образом мы сохраним вещи от превращения в пищу, которая конкурировала бы с конвенциональными видами, но вместе с тем создадим базу для продолжения эволюции этой новой пищи, конечно же, в нужном нам русле.

Мы подняли бокалы за новую пищу, и судьба вещей была предreshена. Нет, они никогда не превратятся в то, что бурлит внутри них, вынуждая их изменять формы, кажушиеся их изменчивой сутью. Они будут заморожены, и их изменениям никогда не будет суждено выйти за рамки кажимости. То, что мнилось им свободой, в которую они, якобы, вырвались, будет для них не более чем фабричным цехом. Да здравствует фабрика высшей органики, которой спустя миллионы лет предначертано верно служить нам, населяя пожранные ею миры, пока срок существования тех не истечет.

СМЕРКАЛОСЬ

– А поскорее бы смеркнулось что ли.

– О чем вы говорите, Петр Емельянович, – удивленно вскинул брови денщик, – ведь сейчас уже ночь и нету света, чтобы ему смеркнуться.

– Это для вас, моральных уродов, ночь, – оскалился старик, взметнув руку в негодовании, – а для меня свет... свет никогда не смеркся, даже вечером, даже в старости не смеркся свет. Ночное небо, которое для глаз непосвященных, мне представляющихся духовными скопцами и вовсе зверями без сердца и мозгов, полно звезд, это ночное небо без звездное для меня совершенно, знаете ли... вот есть такое поэтическое выражение «звездная ясная ночь» – для меня

она вовсе не ясная и не звездная, а напротив слепящая очи мои, когда, из сна моего изыдя взгляну, иль с барышнею, шумного общества гостей избегая, проследую на балкон для задушевной беседы, и вот оттого подозреваю я, что ей возможно было бы как-то смеркнуться, дабы погас свет, ослепляющий нас, будто незрячих щенков, и прогоняющий все тени.

Этажом ниже пробили часы, этот звук тревожно пробилися через перекрытия, дабы не медля ни минуты приластиться к занавесям тяжелым, что прикрывали окна, выходившие во двор, и языками его облизать изразцовые стенки печи, источающие тепло, зеркала, некоторое количество неравномерно согбленных свечей, а также золотьбу приятных корешков библиотеки, что окружала вроде бы вовнутри себя сидящих, как в башне.

– И ощущаю я, – покачал головой Петр Емельянович, в уголках глаз которого поблескивали произвольные старческие слезинки, образующие со временем плотную корку, коею по утрам прислуга отмывает губкою, смоченной в теплой воде, – я ощущаю, что света осталось слишком много и никто сам по себе не смеркнет его, потому что просто не захочет, понимаете ли, не заметит этого нашего бедственного положения. Так слабы крики поработанных теней, гонимых в углы, но и из углов, за двери, в коридоры и из коридоров, лишенных достойного места, не мыслящих себя причиняющими вреда, запуганных и деморализованных – теней! Слабы крики теней! Теней, рожденных первыми и неразлучных с правдою, имеющей их по левую руку ее, когда ходят они в других, до которых не дошла эпидемия, мирах, не ведая этого врага, раздирающего гортани наши, в наши легкие изливающего свою клокочущую блевотину, приманивая, как детей малых обещанием испить крови нашей из уст в уста, но, обманывая, как может обмануть только то, которое питается нашим воображением. Слабы крики Теней, их губы срослись от запекшихся побоев, они уже не помнят другого порядка!

– Но свет, – по-ученически выверенным голосом молвил денщик, сопротивляясь изо всех сил своих тому сенильному безумию, которое, словно спрут, охватит всех живущих и умерших, – свет ночью и днем играет свою важную роль в деле

формирования инстанций мира Форм, он придает начальной и неизменной Красоте способность к переменам, тем самым верно способствуя следованию нашему по Пути. Приятно оттого, что он выражает в представлении нашем нечто другое, согласуя действия свои со всеобщей телеологией. Дао нельзя понимать как отчужденную от света вещь, которая бы...

– Это медуза, – недобро поведя глазами, выдавил из себя Петр Емельянович, но внезапно голос его окреп и, пререкаясь с боем часов, который уже, как кошка, устроился здесь, свернулся, пуская слюни, как собака, и засопел, а после стал бы чесываться, его затошнило бы, он пошел бы делать метки, как свойственно всем живым существам, прогремел – это медуза! Это испанский сапожок, нет, португальский кораблик, впрочем, это одно и то же, – он появился из запретных уголков мира, оттуда, входы куда перекрыты, врата запечатаны. Я не знаю, что вам еще сказать, чтобы переубедить вас, но поверьте мудрости моих лет и личному знанию сути проблемы. Я был там, когда его пытались затолкать назад, упирающегося, упрямого, упругого, как лезущее тесто или каша из сказочного горшочка! Но, увы, даже тысяча прожорливых жерл не сумела бы всосать его без остатка, бесчисленное множество богатырей упали бы обессиленно на предусмотрительно выставленные лежа, дабы натянуть на голову одеяло беспмятства, дарующее защиту от позора, а это исчадие, это марево, лишенное жалости, не знающее никакого закона, тонкое, как вода, даже не заметило бы сопротивления, оказанного ему, и покатилося бы колесом пылающим куда глядел его плоский выпученный глаз без зрачка. Так случилось, что закатился он сюда, к нам, и мы от него пострадали. Выплатят ли нам компенсацию?

Глаза Петра Емельяновича заблестели.

– Выплатят ли нам компенсацию, когда смеркнется? Отвезут ли нас на воды? Поставят ли над малыми мира сего управлять и господствовать не по лжи, когда смеркнут жуть, наполняющую нас от неба до земли, от океана до океана? Этого никто не знает, но я всеми силами души моей верую: услышит в темноте куш своих плач мой и смеркнет чудище, раскрывшее пасть на тело мое, на тело дрожащее, тело силь-

ное и во всех руках своих вращающее мечи обоюдоострые, чудища того не ранящие, исторгающее из гортани своей изначальные звуки, против чудища ему не помогающие; услышит гул от напряженных, как колонны, могучих ног моих, увлекающихся трясиную под грузной тяжестью кораблика, и придет смеркнуть его, улыбаясь загадочно и незримо, дочь неба, не знавшего и не будущего знать скверны светов, и возложит руку на голову мою, и вспомню я мрак ночи, и выполнит все обещания, даже ложные, данные врагом, потому что у ней нет недостатков, и не будет болеть сердце мое судьбою теней – все тени будут надеты на левое запястье ее, и выпьет она кровь дыханий наших, чудовище же в корчах голодное проползет как червь незрячий плавающе в свету своем, бесформенными очертаниями рта его давясь и булькая для улады своей в оставленном месте, покинутом живыми и мертвыми, и не будет никого, кто не знал бы: **света больше нет.**

Юлия Кисина
МИКРОПРОЗА

Это записи некоторых снов или текстов, продиктованных во сне, начиная с 1984 года до наших дней! (С придирками по поводу нелепых событий обращаться к Морфею!)

Я любил рыбу

Я любил рыбу. Я ее просто любил. Был вне себя. Каждый день я ходил к морю. Мое семя падало в прибрежный песок, и морские волны уносили его «туда». Когда был шторм, я боялся ходить на берег. Я сидел дома, в ледяной гостинной и думал о ней – как она там, без век, под холодными волнами. Когда ветер разрывает белье на веревках в нашей деревне и роет песчаные воронки на пляже, а дикие могучие корешки волн вырываются из водной почвы и бросаются в черную круговерть, я думаю, что моя Рыба, замирая своим маленьким сердцем, ложится на дно и, зарываясь в водоросли, думает обо мне. Она смотрит вверх, туда, где непроницаемая и рваная поверхность воды отрывает одну стихию от другой – H_2O от суши и воздуходышащих.

Никто из нас двоих не был виноват, что природа распорядилась разделить нас таким нелепым и жестоким образом. Я не знал, как ее зовут, даже и спросить не мог, но назвал Ундиной. Я поймал ее осторожной сетью и отнес в церковь в многолитровой банке. Священник принял меня за сумасшедшего, и я, чтобы не смущать его, рассказал все, как оно есть. Он повенчал нас. Вечером я отнес Ундину к морю и выбросил. Она была мне благодарна. Всю ночь я проспал на песке, и мне впервые снились чудные сны. Весной священник позвал меня и сообщил, что рыбы пошли на нерест. Я смутился, но скоро пришло смирение, потому что я понимал природу и знал ее свойства. Я любил Ундину шесть лет и поэтому не спал ни с одной женщиной. Я стал океанологом. Потом Ундину поймали и по-

дали на стол у моей сестры Сесилии на свадьбе. Я узнал ее и под майонезом. Эта была большая скумбрия. Я долго болел. Я лежал в больнице. Она мне часто снилась. Я бредил. Потом я снова увидел ее в море и подумал, что схожу с ума.

Мюнхен, 1994

Я кричу

Это был один из тех дней, когда мы падаем с высоты своего будущего. Когда сердце вздрагивает и катится под откос, как намыленный поезд. И сгущаются дни, и время становится трезвее, и бьет по щекам, и заставляет вглядываться в невидимое. И, как десна дорогого рояля, вдруг растрескивается на клавиши от малейшего усилия ребенка и потрясает ваш слух неведомым взрывом невидимки-души.

Я открываю дверь, и ряд прямоугольных световых проемов запикивает меня вовнутрь. Я вижу свалку лиц. Это моя память неаккуратно, со сна наляпала слайдами. И без проявителя, без проявителя растет существование этих бесконечных портретов, возникающих в определении зрачка и радужной оболочки.

За стенкой звук распределяет свое насилие. И восточная песня, безугольная, как рама для воздушных шаров, уже не помещается в доме. Там, за умирающими столбиками солнца, которые еще стоят от взгляда, мельком брошенного на диск, вдруг вырастает прозрачная фигура старости и, раскачиваясь, подходит к порогу моего сердца. Я кричу. Так не мог бы кричать при рождении ни один полководец, чьи армии будут разбиты.

Озеро Севан, 1985

Воробьи

Мы живем на обрыве скалы, и мимо нас в пропасть бросаются воробьи, чтобы вновь оттуда вынырнуть бесшумной чехардой и снова туда катиться. И ты, мой пес бестелесный и верный, подумал, что ты тоже такой же, как белое облачко или птица, и бросился туда. И один твой образ разбился где-то внизу в молочной каше водопада.

И потом пришел второй твой образ и, влекомый сиренами круглых воробьев, готов был броситься туда, в матрасы

густого горного воздуха. Но я схватила тебя за заднюю ногу, и ты повис, как огромный кузнечик, как целая туша кузнечика у меня на руке и, вернувшись, облизал мои летучие мускулистые руки.

Москва, 1987

Когда моих родителей съедят львы

Так получилось, что в один год умерли все – моя тетя, мама и отец. Тетя умерла первой. В первые же дни она так хорошо высохла, что сразу же перестала пахнуть и тихо лежала в довольно тонком деревянном пенале, похожем на скамью. Часто, когда ко мне приходили гости, они, ничего не подозревая, сидели на этот пенал, и я думала, что внутри тихо улыбается моя тетя.

Тетю я любила. Она была очень веселой и высокой. На пятидесятые годы, на сталинское время как раз пришелся расцвет ее молодости. Она гуляла под руку с офицерами и белозубо смеялась, подставляя раскаленному солнцу белое лицо на фоне ослепительного моря. Сверху, прямо с небес ей любовался Сталин, усмехаясь в свои ондатровы усы. А вокруг летали тугие, будто накрахмаленные чайки и дутые фарфоровые бакланы. Офицеры краснели и потели под своими белыми кителями. Пот лил с них ручьем, но они не сдавались. А тетя моя шипела на них, играла своей плотной грудью под муслином и все подмигивала и подмигивала Сталину. Такие они были с ним пересмешники!

Вторым умер отец и так же тихо высох. Отец, в отличие от тети, был всегда маленьким и сутулым. В детстве у него были песочные часы с песком из пустыни Калахари, а потом во время войны они упали с корабля в воду, и их найдут лишь лет через двести.

На похороны родственников у меня не хватало денег, и я решила, пускай остаются в доме, пока я что-нибудь решу.

Потом умерла мама. В молодости мама моя была гимнастка, по специальности – гуттаперчевая женщина. И была она раза в три сильнее отца, и ходила всегда в блестках, но контакта с небесами не признавала. Проклятые бальзамировщики пропитали ее формалином так, что она пахла тем са-

мым неприятным запахом, который действительно стал напоминать мне о смерти.

Как-то один из моих гостей, покойная Лора, инженер-кораблестроитель, забыла у меня на диване кошелек и вернулась с мужем. Мы ничего не могли найти.

– Ну тогда открой сундук. Может, кошелек туда завалился.

Мне было тяжело и неудобно объяснять, что в сундуке лежит мама, и я долго сопротивлялась, пока Лора и ее муж не обвинили меня в воровстве. Наконец сундук был раскрыт. В комнату хлынул горький формалиновый запах, на минуту опьянив меня и моих посетителей. Муж Лоры отшатнулся, увидев маму, и еще с минуту не сводил с меня недоуменно-испуганного взгляда. Когда он пришел в себя, он опрометью бросился прочь и больше никогда не появлялся у меня в доме.

Я надеялась, что мать выветрится, высохнет, как отец и тетка, но она была другой породы, несмотря на то, что по вечерам я часто сушила ее феном и у плиты.

Мне не было жутко или грустно. И у меня не было ощущения их другого присутствия. Все они были рядом и одновременно где-то далеко внутри меня. Иногда мне казалось, что они уехали в путешествие в самую нутрь меня, временно оставив взамен свои бледные фигурки, которые с каждым днем становились все легче и легче.

Когда ко мне зашла Лиза Пискорская*, я рассказала ей о моем новом решении избавиться от родителей.

– Что, хоронить вообще не на что? – понимающе спросила Лиза.

– Сама знаешь, – вот так я горько ухмыльнулась.

К тому времени я уже поставила отца и тетю на огонь в две большие алюминиевые кастрюли, расписанные цветами. Они шумно кипели.

– Я отдам их львам, – сказала я Лизе.

Лиза одобрила мое решение.

Львы – сильные золотистые звери. Почему бы им не стать частью моих родителей, и почему бы родителям не стать частью живых золотистых зверей?

Лиза тоже любила львов.

* Реальные персоны помечены звездочками.

Зоопарк был у нас в городе был особый. Все звери у нас были намного больше, чем в других зоопарках. Собственно это и был профиль нашего зоопарка – выращивать монстров. Даже мыши были какие-то огромные и жирные твари.

Ясно, что кормить животных было запрещено, но Лиза вызвалась хитростью подбросить им моих родственников.

Хорошо, что тогда не было никакого государственного контроля и слежки за трупам. В противном случае меня бы уже давно арестовали.

Зоопарк располагался над морем на прекрасном утесе. Еще в детстве мои родные водили меня сюда. Теперь мне предстояло отдать долг – отвести их и навсегда оставить над синим пространством.

Лиза подняла крышку огромной кастрюли. Заглянула.

– Странно, они совсем белые, как куриное мясо. Особенно дядя Пу. – Так она называла моего отца.

Я тоже заглянула в кастрюлю. Мясо хорошо выварилось. Хорошо, что не сгорело, потому что от бульона уже ничего не осталось. Кости были белые, красивые, цвета приморских скал. Кости я решила пока не трогать, а положить их рядом с минералами.

– Надо понять, что делать с костями, – сказала я Лизе, – но не всё сразу.

Мы переложили мясо в пакеты и отправились ко львам.

Пока Лиза кормила своих любимцев, я наблюдала за зебрами. Лизе удалось подбросить львам три родительских бедра: папина нога все еще лежала в рюкзаке. Так что часть дела была сделана. Про кости я, в конце концов, решила, что утоплю их в море.

После поедания моих родных львы как-то еще больше позолотились довольством, заколосились пшеничным светом, раззевая свои бархатно-театральные пасти с белыми свечами клыков.

Когда мы шли домой, мы видели, как в мусорных баках неподалеку от зоопарка рылись павлины. Пингвины клевали остатки туристических бутербродов. Нищие тайландцы копошились рядом с павлинами, но те не пугались своих конкурентов.

У Лизы был свой собственный лев, только находился он в городском парке – бронзовый, зеленый монумент. Когда Лиза очищала его до блеска – лев приходил к ней сам. Дома у Лизы лев приходил из мутной зыби зеркала. Иногда он замирал там, разевал пасть, рычал до дрожи зеркала и шел обратно в неразличимую глубину.

Маму постепенно тоже сварили и скормили. Теперь я чувствовала себя одна в пустом пространстве квартиры. В этом не было никакой трагичности. Это удивляло меня больше всего. Но ведь они все остались со мной. Они были внутри меня глубоко, на самом потайном дне, и там, несмотря на мою очевидную мрачность, царило бесконечное веселье.

Иногда, когда я вспоминала тетю свою, я глядела на небо, и оттуда мне кое-кто шевелил ондатровыми усами!

Берлин, 2005

Ку-клукс-клан

Это случилось, когда я жила еще в большом доме. Сплю спокойно. Над головой – ночь. И вдруг мой сон рвет резкий стук в дверь. Когда тебя будят в середине ночи, ты идешь в темноте, будто по вате. Темнота – вата, и ноги – вата. В глазок светят фонариком. Откройте. Немедленно откройте. Кто там? Надо полицию вызвать? Необязательно. Дайте только приют. Именем всего святого. Тогда я спросонья приоткрываю дверь. Наверное, мое лицо было похоже на кислоту. Передо мной стояла процессия людей в белых колпаках. Я даже не заметила сразу за ними другую толпу – в лохмотьях. Я сразу поняла, что это люди из Ку-клукс-клана.

Франкфурт, 2000

Стол

Стол с длинными 25-метровыми ножками. Вокруг стулья с 25-метровыми ножками. За столом сидят пять старух с 25-метровыми ногами. Мимо пролетают вертолеты, и от ветра дрожат скатерть и салфетки. Этот стол стоит на других четырех столах, у которых 5-метровые ножки.

За ними на 5-метровых стульях сидят старухи и пьют чай. Четыре стола, в свою очередь, стоят на других двух сто-

лах с 7-метровыми ножками, за которыми на 7-метровых стульях сидят 5 старух за каждым и пьют чай. Они говорят о том, что милиция совсем обнаглела и штрафует просто за все подряд. Стол висел примерно над пятой авеню.

Москва, 1988

КОМЕТА

И комета подлетела ко мне сзади, накрыла меня, и я сгорела в ее хвосте!

Москва, 1989

ШАРОВАЯ МОЛНИЯ

Шаровая молния остановилась на перекрестке и дожидалась, пока светофор позволит ей перелететь через улицу. Она была в темных очках, потому что скрывалась. Только вчера она нелегально пересекла государственную границу. Милиционер крался за ней по темным улицам с большим сачком для карасей. Тогда она скользнула во двор, а в темном дворе он ее накрыл с головой, и она барахталась и задыхалась, и темные веревки впивались в соленые уголки ее глаз, и ни одна собака не высунулась из окна. А потом милиционер нагнулся над сетью, чтобы получше рассмотреть добычу, и расхохотался гадким кровавым ртом, и уронил кипучую слюну мне в зрачок глаза.

И на следующий день я падала в яму с золотым песком.

Москва, 1988

СОН АВСТРИЙСКОГО ИНЖЕНЕРА

В эту же ночь Хайнц пошел в сад с зелеными грушами. Груши были такие большие и ослепительно зеленые, что они падали с деревьев со свистом, чтобы проломить Хайнцу череп. И он был влюблен и должен был побежать к своей любимой зеленой девушке. Но тут злокозненные груши нагнали его, особенно одна – гнилая с подпалинами, и ударили его, как девятый вал. И тут, о Боги, Хайнц понял, что он и сам груша, раз любит зеленую девушку! И проснулся.

Мюнхен, 1993

Папа

Папа схватил меня за руку и заканючил тоненько:

- Ну купи мне, ну купи!
- Я тебе сказала, сегодня не получишь.
- Видишь ты какая, а я тебе покупал.
- Вранье.
- Не разговаривай с отцом таким тоном.
- Во-первых, надень сандалии. В туалет хочешь?
- Я больше тебе не отец!

Папу рожать было больно, но врачи мне сказали: если ты его не родишь, кто же тебя тогда родит? И вот я мучаюсь с маленьким папой уже третий год, и каждый день он меня терроризирует, и все время грозит: не купишь – не буду тебя зачинать. А вот не буду – и все. Зачну кого-нибудь другого. И он совершенно не соображает, что от мороженого делается ангина.

Москва, 1990

Последний скорпион

Сегодня, 13 августа 1984, я выкрала из зверинца последнего на земле скорпиона и укусила его, отчего он скоропостижно скончался, и мне пришлось прятаться от милиции.

Москва, 1984

Петя

Моего сына Петю увезли в Париж и посадили в теплицу, сквозь высокий купол которой просвечивало зеленое небо сумерек. Его хотят разводить вместе с другими овощами. По телевизору мне показывали только купол и говорили – там твой сын. И я верила.

Мюнхен, 1993

Как я летала над озером

Я вылетела из комнаты, и все скопились у окна, делая мне знаки вернуться. Лед над озером стоял, как синяя плесень, и ледяные пятна, как жир на бульоне плавали, соединялись, снова теряли друг друга, и я все кружила и кружила, не в силах опустить мои почти заледенелые плечи.

– Вернись, – кричали мне все эти оголтелые мусульманки с сиреневыми глазами. И вдруг дом напротив озера просветлел, и сквозь все эти прохладные скользкие комнаты пошел ты ко мне навстречу в клетчатом меховом пиджаке.

– Ого-го, какие наряды! – воскликнула я, просыпаясь от своего кружения, и мои мокрые перья упали тебе в объятья, и твой нос, розовый и мокрый, смеялся мне в плечо.

Мюнхен, 1995

Он никогда не блестит

Поролон – это застывшая пена. Когда льют поролоновые кубы, по краям образуется запеченная гладкая корка, похожая на кору дерева. Ее обрезают мелкой тонкой механической пилой.

Поролоновую пену можно заливать в любую форму. Есть машины, которые режут фигурный поролон, который используют как звукозащитную стенку в акустических студиях. Он серого цвета и выглядит, как гигантская подставка для перепелиных яиц. Из такого поролона сделан океан. Он мягкий и неподвижный. Когда идешь по поверхности океана – то и дело проваливаешься в его мягкую поролоновую поверхность. Он никогда не блестит.

Москва, 1984

В Париже

В Париже было много пуха в заграждении для японских туристов, и пух этот висел в воздухе в форме пирамиды. А стерильные японцы туда заходили только в войлочных тапочках и предавались блаженным воспоминаниям, и многие вскрикивали в сердцах: «О, как это похоже на Фудзияму весной», или другие вскрикивали: «О, как это похоже на цветущую сливу! Часы ее созерцания – бесконечные и неподвижные».

А еще там был стеклянный мост с фонарями из желтого дутого стекла, который висел над желтой рекой, окутанной цветущим паром, и огромные хрустальные люстры свешивались с неба, и веревки, их держащие, уводили в глубокое желтоватое небо, полное жидкого пьяного солнца. Это был Париж и счастье в небесах. А мы шли по широкому стеклянному мо-

сту в стеклянных туфлях и звенели шагами – тук-тук, и поражались чудесам и свету.

Москва, 1985

Глобус

Из всех научно-технических приборов она предпочитала глобус. Он стоял на важном месте – посреди стола, и раз в месяц она любовно протирала его мокрой тряпкой, отчего все верхние страны, Канада и Европа были полустерты, а вместо Арктики пробивал картон.

Москва, 1985

У МЕНЯ НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ БЫЛО БИОГРАФИИ

У меня никогда в жизни не было биографии. Я затрудняюсь. Единственное, в чем я убеждена – в том, что я была, есть и буду, если бы я была?

Скульптура Джаспера Джонса

Надо мной протрубили трубачи и объявили, что могильной плитой моей будет скульптура Джаспера Джонса «Американский флаг». Ну, это было уже слишком! Надо мной издевались, и я чувствовала себя в ситуации Кентервильского привидения.

«Во-первых, у Джаспера Джонса не было такой скульптуры, – думала я из могилы, – а были только ужасающие рисунки, во-вторых, как это уже становится очевидно, я терпеть не могу Джаспера Джонса». И мне оставалось пулей вылететь из могилы.

– Большое спасибо, – поблагодарила я всех, кто пришел проводить меня в последний путь. – Благодаря этому подарку, вы заставили меня выпрыгнуть из могилы.

Бывает, что у живых случаются самые прекрасные намеренья, которые иногда могут разбудить мертвеца.

Мюнхен, 1995

Голод

Мой Автомобиль наполнился гречневой кашей. Я посолила его слезами.

Мюнхен, 1997

ЭКВАТОР

Я обожглась о глобус в том месте, где был экватор, и на руке осталась длинная почти ровная полоска.

Мюнхен, 1994

Куда?

Скорее полистаем наш глобус и посмотрим, куда мы держим путь. Может быть, в горбатый Египет; может быть, в насекомую Индию?

Мюнхен, 1997

ЗЕМНАЯ ОСЬ

Мне приснилась, что земная ось проткнула мне сердце, которое жжет Антарктидой холодной.

— А может быть, двинемся в путь в ароматную Чили или в кристальной чистоты Германию?

Мюнхен, 1996

ВЧЕРА КТО-ТО СВИСТЕЛ

Вчера кто-то свистел в комнате. Свистел отчетливо, как птица. Как несколько птиц, которые кружили над умирающим Лениным в журнале «Шпигель», когда немецкие журналисты в погоне за дешевой сенсацией выставили фотографии этого великого человека вне рассудка. И я, как Ленин, металась в птичьем аду. Не поеду я в Германию.

Мюнхен, 1998

МУЖСКИЕ ПРЕДМЕТЫ

Гениталий у меня не было никогда. Об их существовании я узнала из романов Владимира Сорокина. Они росли на страницах, как лесные грибы растут нарядными таблицами китайской нефритовой резьбы, они вздымались мачтами, и страница превращалась в парус, несущий меня по волнам новой жизни. Но это были мужские предметы: гладкие и шершавые, занозистые и поднебесные.

Мюнхен, 1996

Л

Это было в Ленинграде, еще в те времена, когда город назывался так, как ему следовало называться. Где Л отвечало адмиралтейской игле. Если бы город не назывался на «Л», вряд ли бы Ахматова стала писать. И в этом, обустроенном ею городе, зимой молниеносно распространялись бациллы.

Питер, 1988

В ТЕМНОТЕ

В комнате было темно. Тенью служило небо, состоящее из плотных гардин и тесно приложенное к нашему двору. Ах, как мне хотелось подглядеть: что же там за гардиной! За гардиной-небом жили комсомольцы и пьяницы.

Питер, 1988

БЕТХОВЕН

Ко мне в гости пришел Бетховен. Вид у него довольно неважный. Брови сдвинуты, волосы растрепаны, а лицо белое, как из гипса! Недавно у него случилась одна чудовищная неприятность – он оглох, и я должна помочь купить ему слуховой аппарат. Он читает все, что я говорю, по губам, и пишет записку: идемте к роялю, сыграйте мне вашу последнюю пьесу. Я очень удивляюсь, потому что играть не умею, а рояль у меня нет. Я пытаюсь ему это объяснить. Ничего страшного, – пишет он, – с вашими способностями все возможно, а рояль я взял с собой, и он стоит в прихожей. Мы идем в прихожую. Я играю первый раз в жизни и сама себе удивляюсь – до чего же хорошо! Бетховен внимательно наблюдает за моими пальцами и пишет записку следующего содержания: Ну, вот видите, главное – это смелость!

Москва, 1989

КАРЛ МАРКС

Батарею прорвало. Температура падает до нуля. Звонок в дверь. На пороге стоит плотный бородатый мужчина. Я знаю, это мой английский сосед – Карл Маркс. Наверное, он тоже замерз. Карл Маркс толкает меня на пол и мочится мне в лицо, и мне наконец становится очень тепло.

Москва, 1987

Правила новичку

Сосредоточиться и напрячь нёбо и лоб. Центр тяжести должен быть плавающим. Медленно наклониться и, не боясь расширить лоб, медленно падать вперед. Не смотреть вниз, чтобы не испугаться. Смотреть только перед собой. Не обращать внимания на дрожь прохожих и на их оголтелые крики. Во время первых полетов не опускаться ниже городских деревьев. Держаться примерно на три метра выше крон, чтобы обувью не задеть ветви. Потому что, если заденешь ветви – можешь свалиться. А разбиться с такой высоты – сущий пустяк.

Берлин, 2006

Нафталин

Мы все – члены антифашистской подпольной организации. Руководит организацией Андрей Монастырский*. Его задача – обманывать фашистов – придумывать обманные маневры для того, чтобы поставлять нафталин в Освенцим и другие лагеря. Обманные маневры, которые он сочиняет для прикрытия нафталина, называются не «коллективными действиями», а «коллективными акциями», а группа товарищей – «Акционерным обществом». Нафталин нужен евреям, которые заключены в концлагерях. В лагерях евреев ест моль, и только при помощи нафталина можно остановить преступление и уничтожить или предотвратить моль.

Для того чтобы полиция вообще ничего не заподозрила, Монастырский целый день гоняет шары по зеленому сукну бильярдного стола в конспиративной квартире. Гладкие белые бильярдные шары напоминают ему о шариках нафталина, а зеленое поле с дырами по краям о территории концлагеря, по которой надо равномерно распространять нафталин.

В конспиративной квартире очень красиво – до войны здесь жил какой-то банкир. От него осталось огромное собрание видеофильмов про ВОВ. Здесь изысканный камин и старинная барная стойка. Сверху спускаются на длинных цепях тяжелые пыльные люстры.

За бильярд отвечает художник Альберт*. Это он составляет сукно и шары для конспиративно-маскировочного

бильярда и устанавливает специальные низкие лампы, сделанные из тазиков на нитках. Для отвода глаз он даже открыл бильярдно-спортивный магазин и ходит в черных нарукавниках, хитро посмеиваясь.

Качество нафталина всегда проверяет художник Лейдерман – он химик и он делает это бесплатно из ненависти к фашизму. Сабина Хенсен* отвечает за подпольную переправу португальского нафталина через Краков. Я ей помогаю.

Мы перебежками продвигаемся по Берлину, скрываясь от полиции. Только что пришла новая партия нафталина, и мы с Сабиной транспортируем ее в передниках (в школьных). Так нам предстоит сегодня сорок раз пробежать по Берлину под подозрительными взглядами полицейских.

Иногда в бильярдную – к нам в организацию – приходит Бакштейн*: это наш человек в Гестапо. Бакштейн ходит в длинном кожаном пальто и всегда держит руки за спиной. Это высокий блондин с холодным взглядом излишне светлых глаз. Именно через него нам удастся отправлять нафталин, куда надо.

Недавно наша группа потеряла одного из членов – в перестрелке с полицией погиб художник де Кирико, но вообще-то группа живет хорошо. Мы целый день болтаемся из угла в угол, курим, потягиваем вино, и кто-нибудь из нас время от времени лениво ругает фашистов. У нас есть связи с границей.

Иногда мы, довольно переглядываясь, смотрим в окно и видим, как черные тучи обессиленной моли покидают континент.

В такие минуты Монастырский отрывается от бильярда и, поигрывая наградным кортиком Сталина, смотрит на летящую прочь моль.

– Хорошо пошла, как вы думаете, Юлия? – спрашивает он меня, и я гордо сжимаю в кармане закатившийся в подкладку шарик моли.

Берлин, 2007

КОЛЛЕКЦИЯ

Татьяна Баскакова

КТО ТАКОЙ МИСТЕР ГРИГГ?

(Глава из «Перрудья» Ханса Хенни Янна)

В 1929 году в Германии были опубликованы два романа, без которых сейчас невозможно представить себе немецкую литературу. Один из них, «Берлин Александрплац», сразу принес его автору, Альфреду Дёблину, популярность в Германии и за ее пределами. Второй автор, Ханс Хенни Янн, опубликовавший тогда свой первый роман «Перрудья»¹, до сих пор остается «теневым классиком»: широкой читательской публике он практически неизвестен. Во многом это объясняется нежеланием Янна думать о каких бы то ни было условностях и «приличиях»: гомозеротическая тема в его романах и пьесах была недопустима и с точки зрения нацистских властей, и в пуританской аденауэровской Германии. Но даже и потом, в период сексуальной революции, его идеи плохо сочетались с господствующей модой: хотя бы потому, что любовь в его понимании – не легкая игра с частой сменой партнеров, но добровольно на себя принятое пожизненное обязательство. Между тем, многие немецкие писатели (среди них Альфред Дёблин, Бертольд Брехт, Арно Шмидт) и знатоки литературы оценивали прозу Янна исключительно высоко:

Я считаю Ханса Хенни Янна, без всяких оговорок, самым великим из немецкоязычных прозаиков (Вальтер Мушг);

Ханс Хенни Янн всегда был в стороне. Он принадлежит к тайному королевству неофициальной немецкой литературы, королевству неведомых некоронованных принцев (Клаус Манн);

1 Первый романный фрагмент Янна, «Угрино и Инграбания», был опубликован посмертно, в 1968 г.

Янна невозможно понять, отталкиваясь от какой-то догматической системы. Янн – поэт дисгармоничной реальности. Он – самый великий и, может быть, единственный реалист нашей эпохи. Не надо смешивать его с писателями, которые называют себя реалистами, а на самом деле являются всего лишь хроникерами актуальных событий (Ханс Эрик Носсак).

Ханс Хенни Янн (1894–1959) попытался продумать заново – очень радикально и так, будто общепринятые подходы к этим проблемам ничего для него не значат – основы человеческого бытия: отношение к смерти и к миру природы, к социальному неравенству, к техническому прогрессу, к творчеству, к любви. Можно сказать, что он создал свою мифологию, восходящую к древним восточным сказаниям и неканоническим иудео-христианским воззрениям. Критик Ханс Й. Фрёлих в эссе «Вчерашние романы – прочитанные сегодня» писал, что роман Янна «Перрудья» читается так, «будто был выгравирован вавилонским эпиком на каменных скрижалях»². Последняя драма Янна, «Руины совести», начинается с того, что Элия, сын физика Якоба Шервата, подходит к книжным полкам и на вопрос отца, что он там ищет, отвечает (с. 754–755)³:

Информацию о самом важном. Без философии. Без математики. Ясные ответы на несколько фундаментальных вопросов. Но не религиозное учение. Простую речь, которую можно проверить <...>. Откуда мы пришли – и куда идем. Что мы обязаны сделать. Почему мы – плоть. <...> Есть ли вообще разница между Однажды-побывать-здесь и Никогда-здесь-не-быть?

Слова эти – в сопоставлении с любым из текстов Янна – воспринимаются как его поэтический манифест, как адекватное и достаточное описание волновавшей его тематики.

2 Hans J. Fröhlich: *Romane von gestern – heute gelesen. Wie auf Steintafeln geritzt*. In: «FAZ», v. 28. März 1980.

3 Пьесы Янна здесь и далее цитируются по изданию: Hans Henning Jahn. *Dramen II*. Frankfurt am Main: Heinrich Heine Verlag [o. J.].

С другой стороны, свои идеи – что бывает крайне редко – Янн осуществлял в жизни, и произведения его насыщены фантастически преломленными воспоминаниями, главным образом о периоде до начала Второй мировой войны. Все они, по сути, – дань памяти Готлибу Фридриху Хармсу (1893–1931), с которым Янн, уроженец Гамбурга, познакомился в школе, в четырнадцать лет, а в девятнадцать, в 1913 году, заключил символический брак. В 1915 году пацифисты Янн и Хармс, опасаясь военного призыва, уезжают в Норвегию, где живут в маленьких городках на побережье, а после возвращения в Германию, в 1919-м, основывают в Люнебургской пустоши «религиозную общину Угрино» – содружество людей искусства, в основном музыкантов и музыковедов. Янн к тому времени стал реставратором органов (за свою жизнь он отреставрирует или сконструирует сам более ста органов), в Угрино он основал музыкальное издательство, специализирующееся на публикации партитур эпохи барокко. После распада общины, в 1926 году, Янн возвращается в Гамбург и женится на их общей с Хармсом возлюбленной Эллинор Филипс (1893–1970). Через два года Хармс вступит в брак с сестрой Эллинор Сибиллой, и обе семьи будут жить вместе, в одной квартире, до смерти Хармса. В 1929-м родятся дочь Янна Зигне и сын Хармса Эдуард. Эллинор, Зигне, Сибилла останутся самыми близкими Янну людьми; в 1950-м в этот круг войдет и усыновленный Янном семнадцатилетний Юнгве Треде (р. 1933), который будет писать музыку к его поздним пьесам и впоследствии станет известным датским композитором. Еще до публикации «Перруды» выходят в свет первые пьесы Янна: «Пастор Эфраим Магнус» (1919, 1920 – премия им. Клейста, 1923 – премьера в постановке Бертольда Брехта), «Коронация Ричарда III» (1922 – премьера), «Медея» (1926). В 1934-м Янн покупает крестьянский хутор на острове Борнхольм (Дания) и переезжает туда с семьей. Он занимается разведением лошадей, позже, в 1941-м, разоряется, живет впроголодь – и создает в 1935–1947 годах самое известное свое произведение, трилогию «Река без берегов», над продолжением которой (романом «Эпилог») будет работать до конца жизни. В 1950-м Янн вновь возвращается в Гамбург и в 1951-м на-

чинает писать третий роман, «Это настигнет каждого», который тоже останется незаконченным. Место действия «Перрудьи» и «Реки без берегов» – Норвегия, последнего романа – Дания. До последних дней Янн продолжал писать и пьесы: «Переулок» (1931), «Новый Любекский танец смерти» (1931), «Бедность, богатство, человек и зверь» (1933, напечатано 1948), «След темного ангела» (1952), «Томас Чаттертон» (1955), «Руины со-вести» (напечатано посмертно, 1961).

Удивительно, что все это – литература, музыка, соци-ально-утопические проекты, разведение лошадей, которым Янн занимался вполне серьезно, проводя среди прочего и биологические эксперименты – вместились в одну челове-ческую жизнь.

Замысел «Перрудьи» возник, вероятно, во время пребы-вания Янна и Хармса в Норвегии, о чем свидетельствует и ме-сто действия романа (деревня и замок в отдаленном районе, в норвежских горах). Рукопись была закончена в 1927 году, после чего Янн, под впечатлением от прочтенного им «Улис-са» Джеймса Джойса, за два года роман полностью переде-лал. Гамбургское издательство «Енох», которое должно было напечатать книгу, потребовало столь серьезных корректур, что Янн расторгнул договор, и в итоге роман (его первая часть) вышел в берлинском издательстве «Густав Кипенхейр», тира-жом 1020 экземпляров. Вторая, незаконченная часть была опубликована посмертно.

В беседах с Вальтером Мушгом, в 1933 году, Янн рас-сказывал⁴:

Первую фразу «Перрудьи» [«Перрудья ел свой ужин» – Т. Б.] я определенно переписывал по меньшей мере раз пятьдесят. <...> Некоторые фразы в книге едва не за-ставили меня покончить с собой. <...> Все это вместе означало для меня своего рода освобождение. <...> «Циркуль» я написал за один день: после обеда сел за письменный стол и не поднимался до глубокой ночи.

4 Walter Muschg. *Gespräche mit Hans Henny Jahnn*. Frankfurt am Main: Europäische Verlagsanstalt, 1967, S. 123 und 166.

Роман носит характер притчи. Время его действия не поддается точному определению. Герой, наследник несметного состояния, не знает своих родителей и живет – достаточно скромно – в имении опекающих его «тетушек». В местности, жители которой подчиняются издревле сложившимся законам крестьянского быта. А между тем, в каких-то эпизодах упоминаются самолеты, пароходы, мощное газовое оружие... По достижении Перрудьей совершеннолетия таинственный посредник, секретарь Григг, передает ему право распоряжаться практически неисчерпаемым богатством. Но это не делает Перрудью более счастливым или несчастным, чем то предопределено его врожденными качествами. В первой части романа описывается, как Перрудья заводит себе лошадь, слугу и служанку, строит замок, как у него появляются преданный друг и любимая женщина, Зигне, ради которой он совершает преступление (убивая соперника), на которой женится и с которой расстается в первую брачную ночь... (Этот рассказ перемежается вставными новеллами, похожими на сказки или легенды восточных и северных народов и с сюжетом – на первый взгляд – никак не связанными.) Во второй части романа Перрудья, убедившись в несовершенстве своей и вообще человеческой природы, в неизлечимых пороках современной цивилизации – о которых он узнает, попадая в большой город, Осло, и о которых ему рассказывает еще один таинственный посетитель, француз Пуйоль, – основывает общество «людей доброй воли»⁵, Общество друзей золотой Семеричной звезды, вступающее в борьбу с Лигой верных своим убеждениям европейцев. Попытка членов Общества Семеричной звезды начать мирную новую жизнь на каких-то отдаленных островах неизбежно должна привести к мировой войне. Григг и лидеры Общества Семеричной звезды проводят в безлюдном уголке океана испытания отравляющего газа, способного образовать незримую защитную стену (точнее, огромный купол) вокруг сторонников новой, более гармоничной жизни. Во время испытаний гибнет экипаж чужого китобойного

5 «Людьми доброй воли» в основанной Янном реальной общине Угрино назывались рядовые (неинициированные) члены, жертвовавшие деньги на содержание общины.

судна, перебравшиеся на это судно Григг и его сподвижники обнаруживают трупы погибших и останки расчлененного ими – перед самой их гибелью – кита («руины кита» посреди «кровавого ландшафта», как сказано в романе). Григг отдает приказ затопить жуткое судно. На этом вторая часть «Перрудья» обрывается.

«Перрудья» написан синтаксически сложным и очень образным языком – в экспрессионистской манере, – насыщен мифологической символикой и допускает разные толкования. Я остановлюсь только на двух моментах, представляющих мне наиболее важными для первоначального знакомства с текстом.

Момент первый: композиция романа приводит на память библейскую Книгу Иова. Перрудья – обобщенный образ человека, воплощение лучших (и все равно несовершенных) человеческих качеств. По сути, он мало чем отличается от библейского персонажа (Иов 1: 1):

Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла.

Похоже начинается и роман Янна. Первая строка предвещающего роман (во втором издании) «Изложения содержания» звучит так (с. 7)⁶:

В этой книге рассказана немаловажная часть жизненной истории человека, обладавшего многими сильными способностями из тех, которые вообще могут быть присущи людям, – кроме одной: стать героем.

Несчастья Перрудья, правда, обусловлены не кознями сатаны, а самой двойственностью человеческой природы, соединяющей в себе плотское и духовное начала (с. 55; курсив мой – Т. Б.):

«Норвегия хорошая мать...»
Притча о блудном сыне. <...>

6 Здесь и далее роман цитируется по изданию: Hans Henny Jahnn. *Perrudja*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1985.

Как полевые лилии⁷... будут питаться... от земли, гнили. Навоз... на моих сапогах... белые лилии. У нас есть желудок и детородный орган, одновременно. Гусеница и мотылек. Мы уродливы и прекрасны. <...>

Мать... речь ведь о бастардах... несет вину за неудачного ребенка. А кто же отец? Незаконный отец? Другой климат. Другое Пра-Время. Другие боги.

Окружают Перрудью, между прочим, персонажи такого же типа, что упоминаются в Книге Иова. «Стад» у него, правда, нет, но есть лошадь (чьей истории посвящена целая глава), корова и бык, лосиха. Братьев тоже нет, но есть один названный брат, Хайн. Есть, вместо многих слуг и служанок, один слуга и одна служанка, обозначенные теми же словами, что в немецкой Библии: *Knecht* и *Magd*. Есть жена, Зигне, отношения с которой, если говорить совсем коротко, не опишешь лучше, чем воспользовавшись библейской цитатой (Иов, 19:17): «Дыхание мое опротивело жене моей...».

И наконец, в романе присутствует главный элемент Книги Иова: испытание, которому подвергается человек. Испытание это проводит секретарь Григг, определенно – судя по его характеристикам – являющийся демоническим существом, если не самим сатаной⁸ (с. 749–750; курсив мой – Т. Б.):

Сам он, Григг, пристально следил за течением этой, может быть, и не активной, но необычной человеческой жизни. С момента рождения ребенка. На протяжении детских лет. В пору отрочества. Он ревностно, с любовью, самопожертвованием и самоотверженностью – почти как бог, – с немилосердным почитанием слепой силы кривых линий, зарисовывал протекание этой жизни и случающиеся в ней заторы, ее цели и ее заблуждения. Он выбрал одного человека, в высшей степени

7 Отсылка к Мф. 6: 28: «Посмотрите на полевые лилии, как они растут: не трудятся, не прядут».

8 Мотив такого испытания играет сюжетообразующую роль, помимо Книги Иова, и в «Фаусте» Гёте («Пролог на небесах»). Роман Янна стоило бы сопоставить и с «Фаустом», но делать это до публикации полного русского текста романа вряд ли имеет смысл.

ему чуждого, как представителя всех. Как их образец. <...> И вот теперь должно быть проведено дознание: не есть ли человек ошибочная конструкция протоплазмы. Не обстоит ли дело так, что человеческая плоть несовместима с влечениями духа и разума. <...> Что гармония – это лишь фикция, цель которой в материальном мире неосуществима.

Григг – сатана или «темный ангел» (в понимании Янна⁹) – озабочен болезненными тенденциями современной цивилизации, исчезновением индивидуальностей; и вместе с тем надеется, что человеческую расу еще можно спасти (с. 806):

(*Монолог Григга:*) Факт остается фактом: в нашей цивилизации жизнь расходуется на фабриках. И в довесках к ним – больших городах. Лет пятьдесят дается рабам. Потом – всё. Они исчезают, не оставив следа. <...> От пяти до шести тысяч человек ежедневно. Они кружат, как уже ни к чему не привязанные, бессильные духи, над коньками крыши моего Морокбурга¹⁰. Потом снова попадают в лона еще способных к деторождению женщин – или в иную предназначенную им круговорот. Бие-

9 Ангелы появляются как действующие лица во многих поздних произведениях Янна: в незаконченных романах «Эпилог» и «Это настигнет каждого», в новелле «Свинцовая ночь», в пьесах «След темного ангела» и «Томас Чаттертон». Между прочим, и в Книге Иова (33:23) упоминается «Ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его».

10 Янн как будто описывает здесь сцену в самом верху левой части триптиха Иеронима Босха «Сад земных наслаждений». Ср. описание этой сцены в книге Линды Харрис «Босх и мир тайных изображений катаров»: «Там целые сонмы маленьких птиц влетают в отверстия и пещеры высокой скалы и снова оттуда вылетают. Скальные пещеры – древнейший символ женского лона и рождения в физический мир. <...> Птицы <...> изображают, скорее всего, души людей, затянутых круговоротом повторных рождений <...> Катары верили, что человеческие души, попавшие по воле Сатаны в колесо повторных рождений, обречены вновь и вновь возвращаться на землю» (Lynda Harris. *Hieronymus Bosch und die geheime Bildwelt der Katharer*. Stuttgart: Urachhaus, 1996, p. 96). Морокбург (*Scheinburg*) можно также перевести «Замок Кажимости».

ние их крыльев в воздухе я слышу. Но не вижу ни одного из них.

В последней сохранившейся главе романа о деятельности Григга сообщается следующее (с. 772; курсив мой – Т. Б.):

Изменения планомерно наращивались: трансмутация мечтаний. *И что должно было случиться, случилось, потому что это подготавливалось в плоти живущих – как предчувствия, – потому что давно уже формировалось как своеволие.* Разрушение бумажных законов. Культивирование более молодых – лучших – человеческих рас. Справедливое распределение поверхности Земли. Надлежащее уважение к сотворенному миру, исключаящее чрезмерное распространение – в ущерб другим видам – одного из самых совершенных живых существ. А Григг был наделен бесконечно острым слухом и зрением. Он умел строить ситуации, благоприятные для новых начинаний, как какой-нибудь бог строит скорлупу, панцирь, раковину. Он умел при любом внешнем изменении обеспечить преодоление тяжкого начала – как обеспечивают стройку готовыми блочными конструкциями.

Впрочем, не исключено, что глава эта должна была стать последней. Янн обычно детально продумывал свои произведения, прежде чем приступить к их записыванию («Я не могу писать, прежде чем не представлю себе детально все, что собираюсь изобразить»¹¹). Незавершенный последний роман Янна, «Это настигнет каждого», имеет законченную финальную сцену. Но главное, что подтверждает такое предположение: последняя написанная глава «Перруды», «Прозрачная стена», перекликается с мотивами заключительных глав Книги Иова.

Роман Янна кончается на тревожной ноте: апокалиптическом предчувствии войны, рассказе об убийстве кита (библейского Левиафана), о «небесах» из ядовитого газа, устроенных человеком... То есть на описании ситуации, принципиально более опасной, чем во времена, когда Бог зада-

11 Muschg, op. cit., S. 93.

вал человеку риторические вопросы: «Можешь ли ты удою вытащить левиафана и веревкою схватить за язык его? <...> Можешь ли пронзить кожу его копьем и голову его рыбацьею острогою?» (Иов 40: 20 и 26); «Ты ли с Ним распростер небеса, твердые, как литое зеркало?» (там же, 37:18). Из написанного Янном «Изложения содержания» романа (с. 11) можно понять, что Перрудья – согласно замыслу автора – хоть и оплатил своими деньгами «справедливую войну», но сам в ней не участвовал:

Он выпустил на волю самые дерзкие человеческие мечтания с присущими им силами. Но собственная его жизнь оставалась послушной умеренному течению. Во второй книге будет рассказано о последних месяцах жизни этого Перрудьи.

Второй важный момент в романе – это странные, зеркальные отношения, связывающие его персонажей. Приведу отрывок, в котором названия всех глав, начиная с самой первой, «Лошадь», и вплоть до той главы, откуда этот отрывок взят, «Речь француза», а также названия вставных новелл (я их выделила курсивом) истолковываются как этапы жизненного пути Перрудьи (с. 491):

Перрудья хотел сказать что-то. Но это не относилось к делу. Подтвердить. И тут опять сквозь мозг его пронеслись картины. Красные юфтевые сапоги на прямых оголенных ногах Зигне. Вся его жизнь. Как в сознании утопающего. Лошадь. *Сасанидский царь. Мальчик плачет.* Другие звери. Великодушные, или *История раба.* Слуга и служанка. Циркуль. Александр. Сватовство и преддверие преисподней. Домогающиеся. Горная полиция. Свадьба. Подведение итогов. *Едоки мармелада.* Речь француза. <...> «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Перрудья очень громко выпустил газы, как если бы он был *Харальдом Тидеманом* [персонаж новеллы «Едоки мармелада». – Т. Б.], и сказал очень тихо: «Прошу прощения. Выпейте еще рюмочку вина. Вы рассказываете историю, которая мне давно известна».

В главе же «Циркуль», которую мы публикуем, происходит обратное: как вставная новелла («История о рабе»), так и сюжетная глава («Решения великодушных»), однозначно отнесены к сочинениям Перрудья:

Я мог бы быть одним из тех подростков, что убили друг друга. Ту *Историю о рабе* измыслил мой мозг. И *Решения великодушных* – тоже мое сочинение. Все это приукрашенные неправды, правда же в них – мой жалкий жизненный опыт.

Наконец, во второй части романа один из персонажей, Матье, как будто отождествляется не только с самим Перрудьей, но и с Григгом, и с рядом других важных действующих лиц. Во всяком случае, рассказ о поездке Матье в поезде заканчивается так: «На мгновение он услышал вскрик света, желтого. Потом это *опять был Матье* – тот, кто сидел здесь; *не Перрудья, не Григг, не Франсуа, не Арман, не Пете* – Матье» (с. 732; курсив мой. – Т. Б.).

Складывается впечатление, что в романе главным образом рассказывается *о писателе* – и о его разных масках (разных фантазиях). Перрудья ведь и не имя даже, а скорее прозвище, означающее по-норвежски «выкорчеванный камень». Однако само повествование более чем серьезно, в нем с разных точек зрения – среди прочего и с точки зрения сказки, мифа, легенды – исследуется одна тема: феномен человека. Рассказав своей невесте Зигне новеллу (легенду) о братьях-близнецах, Перрудья формулирует «мораль» этого текста так (с. 291):

Я назвал этот рассказ печальным. Потому что он показывает, сколь мало мы способны распоряжаться собой <...> сколь мало отягощено виной наше бытие; хоть оно и проклято. Нам не следовало бы судить других; и еще менее – ссориться с ними. Каждому подобало бы мягче оценивать поступки другого.

Биограф Ханса Хенни Янна Томас Фриман понимал роман «Перрудья» как запись сна наяву, запись «дневных фантазий» (*Wachtraumphantasie*) одинокого человека, который «пред-

ставляет себя в роли мирового владыки»¹². Роль «мирового владыки», кажется, не очень подходит для «негероического» (как многократно подчеркивает Янн) и не уверенного в себе Перрудьи, мысль же Фримана о романе как «сне наяву» представляется мне удачной: может, потому и любимая кобыла Перрудьи носит иранское имя Шабдез, означающее, как объясняется в романе, *Ночная*. Речь в «Перрудье» идет об инстинктах, о чем-то таком, что человек должен смутно почувствовать, предугадать, чтобы вернуться к жизни, устроенной более гармонично – то есть больше соответствующей его природе, – чем нынешняя. Еще одна удачная характеристика романа дается в немецком «Лексиконе мировой литературы» 1997 года: «Ставшее словом томление по языческому возрождению мифа из влечений плоти»¹³.

Трудный вопрос – как согласовать между собой те два аспекта, о которых я говорила. Имел ли Янн в виду именно фантазии художника, или предполагал и существование неведомых человеку высших, надмирных сил (назовем их, как он, «темными» и «светлыми» ангелами)? Был ли – в его представлении, – к примеру, мистер Григг только маской Перрудьи либо Матье или самостоятельным внеземным существом?

Персонажа, подобного Григгу, мы встречаем в пьесе Янна «Томас Чаттертон», написанной по материалам биографии рано умершего английского поэта XVIII века. Это ангел Абуриэль, о котором главный герой пьесы, Томас Чаттертон, высказывается так (с. 643):

Господин Абуриэль, вы привиделись мне во сне. <...>
Кто бы сказал мальчишке, как я, что у него *дикий лоб*?
<...> Все это сам Томас рассказал Томасу. А поскольку он не хотел, чтобы Томас разговаривал только с самим собой, как зеркало – с другим зеркалом, висящим напротив, он наколдовал господина Абуриэля. С тех пор я прибегаю ко всяческим магическим формулам. Но ангел больше не приходит.

12 Thomas Freeman: *Hans Henny Jahnn. Eine Biographie*. Hoffmann und Campe, Hamburg 1986, S. 259.

13 Wilpert. *Lexikon der Weltliteratur: Werke*. Bd. L–Z, München 1997, S. 1022.

Однако едва молодой поэт успевает закончить свою тираду, как в дверь стучат и на пороге возникает Абуриэль, «одетый как путешественник, скромно, но прилично». Он произносит слова, которые подошли бы мистеру Григгу (там же, с. 644):

Я тосковал по тебе. И мое задание заключается в том, чтобы сейчас быть в Бристоле. Моя миссия и мое желание не противоречат друг другу.

Янн, как я понимаю, верил в ангелов, вслед за Эммануилом Сведенборгом считая их некогда жившими на земле людьми («Они рядом. По ту сторону нашей улицы начинается их царство», говорит в пьесе мать Чаттертона, с. 617). Он видел в них носителей (и, так сказать, культиваторов) творческого начала, на которое возлагал главные свои надежды. Именно ангел Абуриэль – уже после самоубийства Чаттертона – произносит заключительные слова пьесы (с. 748):

Власть имущих, богатых, господ, привыкших есть досыта, уместно спросить: ждете ли вы, что безвластный ангел, приставленный к Призванному, будет заниматься торговлей, красть, грабить, обманывать, убивать вам подобных, чтобы сохранить одну ценную человеческую жизнь? Долг ангелов заключается в другом. Долг же человека – не стать виноватым перед тем, кто лучше, чем он сам.

Эпизод из «Перруды», который мы публикуем ниже, Клаус Манн оценил так¹⁴:

Эти детские воспоминания представляют собой одно из самых блестящих мест в книге, они – великая поэзия, проникнутая особой печалью и искренностью, ответственности которым не найти. <...> Сама книга – умная до умопомрачения, содержащаяся в ней критика сурова, как Судный день.

14 «Der Roman der dritten Generation». In: «Neue Zürcher Zeitung» vom 28. September 1930.

Наша публикация – чуть ли не первая попытка познакомить российского читателя с текстами Ханса Хенни Янна¹⁵. Хочется верить, что и в России когда-нибудь произойдет нечто подобное «французскому чуду»: во Франции между 1993 и 1998 годами усилиями четырех переводчиков (Хугетт и Рене Радрицани, Райнхольда Вернера и Жана-Клода Маркаде) была издана практически вся проза Янна и часть его драматического наследия.

15 В «Иностранной литературе» (2003, № 9) в моем переводе печаталась глава «Буря» из «Деревянного корабля» – первой части трилогии «Река без берегов». К сожалению, по не зависящим от меня причинам перевод этот был напечатан с купюрами.

Ханс Хенни Янн

ЦИРКУЛЬ

Он каялся и в своем раскаянии (которое было лишь повторением) сокрушил стены, отделявшие его от прошлого. Когда-то он умышленно изъял из памяти один год жизни. Сделал следствия приобретенных тогда познаний как бы не имевшими места. Потому что они могли его сокрушить. Он бежал из того отрезка времени, чтобы устоять перед самим собой. Теперь, в гермафродитные часы ночи, он стал пересматривать весь тогдашний баланс заново. Нельзя сказать, чтобы результат был утешительным. Тяжкое сокровище, обретенное на омерзительных этапах его пути. Он за них не несет ответственности. Его тогда несло по течению. Дешевка, мелкий эпизод из сферы естествознания. В порочном таится медвяная сладость. Документ болезни.

Он вынужден признать, что не принадлежит к тем счастливым избранникам, которым забвение даруется через каждые двадцать четыре часа. Забвение – через каждые семь дней. Забвение – через каждый месяц. Забвение – хотя бы раз в год. Он-то свое забвение украл. Забвение измученного пытками. Ему его память вернут. Он не вправе ждать милости. Он рано или поздно окажется во власти следствий своего прошлого.

Все началось с того, что забойщики скота приехали в имение тетушек. Тетушки собирались солить говядину, делать запасы на зиму. Для приготовления колбас нужно было заколоть двух жирных свиней; на рынке уже купили пятьдесят килограммов нежирной конины, чтобы колбасы получились пикантными. Мне предстоящий день никакой радости не сулил. Ну да, я не любил старую корову. Ну да, сострадания к толстым свиньям я тоже не чувствовал. Но ведь они могли вскрикнуть, могли молить о пощаде взглядами. А я уже давно, при аналогичных обстоятельствах, пришел к выводу, что в свиньях заключена жизнь, не лишенная сходства с моей. Я од-

нажды заявил на кухне – работницам и работникам, – что животные наверняка обладают душой, как и человек. Эта идея была единодушно отвергнута. Впрочем, без убедительных аргументов: никто не доказал обратное. Я плохо переносил кровавые испарения, запах оголенной плоти. Детское отвращение вызывали у меня и мытые потроха. Я не мог есть жаркое из почек. Как и свиной зельц: потому что фарш для него, как я знал, набивают в желудки, либо в свиные или говяжьи пузыри. Но недовольство мое было легким, поверхностным. В канун того дня, когда должны были забивать скотину, я отправился спать в обычное время. Уже улегшись в постель, почувствовал, что воздух в комнате не вполне свежий. Я снова поднялся, распахнул окно и высунулся наружу. Осенняя ночь была на редкость мягкой, тихой и безветренной. И я подивился этому и тяжело задышал. И мне стало очень грустно. То была красивая, подростковая грусть. Я не думал ни о чем, не думал ни о каком человеке. Хотя мог бы. Но судьба распорядилась так, чтобы я ни о ком не думал; чтобы воздух был мягким и неподвижным. И чтобы грустил я беспричинно. Еще стоя у окна, я невольно бросил взгляд на боковой флигель. И увидел: окно соседней комнаты, не имеющей прямого сообщения с моей, широко распахнуто, как и мое. Помощник забойщика тоже высунулся из оконного проема. И смотрел через двор прямо на меня. Я разглядел, насколько это позволяла игра лунных бликов на светлых стенах, что он, должно быть, совсем юн: всего на пару лет старше, чем я. Его лицо показалось мне соразмерным и красивым. Мне вспомнилось, как о нем рассказывали, что будто бы его матушка рано умерла, а мачеха потом воспитывала мальчика в соответствии с жестким принципом справедливости, но без любви. Во мне прорезался росток сострадания. Я простил этому юноше его профессию, с моей точки зрения отвратительную. Я напомнил себе, что из нас двоих он умнее и старше, но, тем не менее, бесправней и беззащитней, чем я, хоть и превосходит меня красотой. Я смотрел на него неотрывно. Он тоже давно наклонился вперед, чтобы лучше видеть меня. Его взгляд прилепился ко мне, как мой – к нему. Глаза всматривались в глаза, хоть и не могли видеть отчетливо. На мгновение я исчез: взял горящую све-

чу и поставил ее на подоконник. Тот, другой, не покинул своего места. Теперь он сможет разглядеть меня, стоящего рядом с источником света, лучше, чем я – его. Мою белую ночную рубашку. И то, что я – всего лишь худой мальчик. Луна освещала его теперь достаточно ярко, чтобы и я мог увидеть его внешность отчетливо. Это так сильно на меня подействовало, что грусть овладела мною сильнее, чем прежде. Его лицо показалось мне воплощением соразмерности. Узкие губы, плотно сжатые. Глубоко посаженные, не затененные ресницами глаза. Уши маленькие, приятной формы, мочки довольно сильно оттопырены, так что напрашивается сравнение с морской раковиной. Маленькая вогнутая ладонь. Мы продолжали рассматривать друг друга. Пока свеча не догорела и не погасла. Тьма вокруг была теперь непроглядной. Внезапно каждый из нас увидел, как другой исчез. Мысли мои вновь и вновь возвращались к обжигающему вопросу: почему тот другой не захотел, чтобы ты к нему пришел, чтобы спал с ним в одной постели? Мне это казалось в тот миг величайшим блаженством в мире – лежать с ним рядом на его бедной постели. Бессонно лежать рядом с ним, в то время как он спит... На следующее утро я умылся и оделся раньше всех в доме. Я слышал, как молодого забойщика, спавшего в смежной с моей комнате, разбудили, постучав в дверь. Я подошел к окну в надежде, что и он поступит так же. Но я его не увидел. Я ждал. Ждал напрасно. Потом я услышал, как дверь в его комнате хлопнула, и понял, что он сейчас спустится во двор или прежде заглянет на кухню. Мне не терпелось встретиться с ним. В полутьме лестничного пролета я съехал вниз по перилам лестницы. Мамзель¹⁶ Ойстейна уже возилась в передней: перебирала что-то в большом шкафу. Она меня не заметила. Я прошел на кухню для челяди. Там горел яркий свет. Но людей не было. Я уже взялся было за ручку ведущей во двор двери, когда увидел, что другая дверь, рядом с плитой, открывается. Сердце мое заколотилось. Вошел помощник забойщика. Я шагнул к нему и протянул руку. Он сказал: «Доброе утро». Первые сло-

16 Мамзелью обычно называли экономку или помощницу по хозяйству.

ва, которые я от него услышал. Я спросил, как его зовут. Он ответил: «Хокон». Поскольку он доверил мне свое имя, я тоже назвал свое. «Что ж», – сказал он и сел к столу, жевал ломоть черствого хлеба. Я же съел крошку, уроненную им на пол. Вошла Ойстейна. Увидев меня, сказала: «Хвала Господу». Она сварила кофе, достала из короба хлебцы, предназначенные для меня. Сделала каждому из нас по яичнице. Поставила на стол козий сыр, белый и коричневый, и масло. В кладовке нашлось вчерашнее холодное мясо. Я впервые завтракал на этой кухне. Я заметил, что Хокон макает хлеб в кофе. И стал делать так же. Есть мне почти не хотелось, и я только ради него густо намазывал свои хлебцы маслом. Пододвигал их к нему, тайком от Мамзели. «Сегодня я тобой довольна», – сказала она. Мы с Хоконом поднялись, вышли во двор. Хокон, остановившись невдалеке от меня, повернулся лицом к стене и помочился. Я счел нормальным, что он сделал это при мне, но сам последовать его примеру не решился. Я предпочел отойти за навозную кучу и там, вдали от посторонних глаз, справить свою нужду. Вернувшись, я не сразу понял, куда делся молодой забойщик. Нашел его в хлеву. Мамзель тоже была там. Она показала на красно-пегую корову: «Вот эта». Смертный приговор. Я удивился, что сказанное не особенно меня потрясло. Взглянул на лицо Хокона. Оно оставалось спокойным и красивым. Он кивнул. Мы прошли в свинарник. В одном закуте спала первая из тех двух свиней, которых предстояло резать. Ойстейна, остановившись перед спящей, сказала: «Ее пустили в случку месяц назад. Она пришла в охоту, ничего не ела. Отощала. Чтобы не понести убытков, мы дали хряку покрыть ее. Вы потом посчитаете, сколько поросят она бы принесла». Мне стало жутко и как-то муторно. Я взглянул на Хокона. Его лицо не изменилось. Он кивнул. Мамзель тут же повернулась к другому закуту. «Здесь вторая, – сказала. – ее-то резать самое время. Она пришла в охоту позавчера и с тех пор все не перестает жрать». Я подумал о любовных муках, отчасти доставляющих наслаждение. Взглянул, пристыженный и безутешный, на Хокона. Лицо его не изменилось, только слегка порозовело под лучами зари, проникавшими сквозь слепые стекла. Он кивнул, мелом нарисовал на дверце

закута крест и, повернувшись, пометил таким же знаком первый закут. Забойщик, его дядя, появился в дверном проеме. И крикнул: «Займемся сперва свиньями. С ними меньше возни». От вони в свинарнике мне стало нехорошо, как никогда. Может, так было даже лучше – что меня затошнило. Я вышел на воздух. На дворе сутились работники. Они поставили стоймя две стремянки. Из прачечной валил пар, там что-то шипело. На тачку взгромоздили корыто для забоя свиней. Чтобы подвезти его, куда надо. С ужасом, не вполне безупречным в нравственном смысле, взирал я на эти орудия мученической казни. «Ты тоже хочешь помогать?» – спросил работник Коре. Я ответил: «Да». – «Но будет много крови», – сказал он. Я так и не понял, хотел ли он в самом деле меня предостеречь, или в его словах сквозила ирония. Я все еще стоял посреди двора, сбитый с толку и ни на что пока не решившийся, когда из хлева донесся визг. Быстрее, чем я ожидал, во двор выскочила одна свинья. Ее преследовал забойщик: теперь он был в фартуке, препоясанный ремнем, с болтающимся на боку «колчаном», из которого торчали разные ножи. Появился и Хокон, снаряженный так же, в грубых сапогах с высокими голенищами. А за ним – Ойстейна, хлопающая в ладоши, очевидно, чтобы заставить свинью бежать. Но Мамзель продолжала хлопать, даже когда нужда в подзадоривании отпала. Свинья бежала прямо на работников. Кто-то из них подставил ей ногу. Она рухнула вперед, с пронзительным вскриком. Я видел, она хотела подняться. Тогда ее грубо пнули сапогом в бок. Она вскрикнула еще испуганнее, в смертном страхе. И не поднялась больше. Ее теперь держали. Забойщик встал подле ее головы и нанес удар чем-то вроде деревянной кувалды. Ударил он очень сильно. Раздался глухой треск. И был еще один, этот последний вскрик. Потом все, кроме забойщика, расступились. Я видел, как он подтянул к себе шею свиньи, захватил рукой кожно-жировую складку и воткнул туда плоский нож. *Это живая плоть*, сказала ЧТО-ТО во мне. Забойщик же запустил пальцы в рану, будто хотел достать какой-то внутренний орган, размахнулся и ударил – уже другим ножом – вертикально вниз. Вверх брызнула широкая струя светло-красной крови. Все бросились подставлять тазы. Прошло несколько

безмолвных минут. Я чувствовал сосущую пустоту в желудке. Потом свинью подняли и положили в корыто. На нее лили кипяток, который приносили из прачечной. Хокон нагнулся и начал скребком удалять щетину – очищать труп. Срезал копытный рог. Работа была долгой и трудной. Я с тоской смотрел в слегка напрягшееся лицо Хокона и едва ли сознавал, что смотрю. Его работа казалась мне нормальной. Меня не смутило даже то, что он высвободил сухожилия на задних ногах и просунул под них палку, из-за чего ляжки неестественно растопырились. Раньше, чем я ожидал, свинью втащили на одну из стремянок. Чтобы она висела головой вниз. Забойщик сказал Хокону: «Займись остальным». И отправился вместе с нашими работниками забивать вторую свинью. Хокон схватил меня за руку: наверное, я был похож на лунатика. «Помоги мне», – сказал. Я кивнул, хотел было пробормотать, что ничего в этом деле не смыслю, но потом просто встал с ним рядом. Перед жирной тушей, которая казалась раздувшейся. Соски были красными, остроконечными. Кожа – очень бледной. Хокон повторил несколько раз: «Ага». Потом принялся, начав сверху, вспарывать брюхо. Действовал он осторожно. Надрез делал неглубокий, чтобы только прорезать кожу. Под его руками возникла линия – от шеи до ляжек. Она была скорее белой, чем красной. Хокон дал мне какой-то нож, чтобы я держал его наготове. Теперь он прорезал, опять начав сверху, слой жира – пока не показалась серо-розовая кишечная петля. На мгновение я зажмурился. Потом он, дотронувшись до плеча, заставил меня очнуться. Он пальцами отмерил, как глубоко воткнуть нож, и теперь быстро, без особых предосторожностей, полностью вскрыл брюшную полость. Дымящиеся внутренности вывалились наружу. Для меня все это было впервые и казалось совершенно отвратным. Он взял у меня из руки нож и велел высоко поднять клубок внутренностей. Я сделал, как он сказал. Я утратил волю. Мои руки не сообщали мне, что они чувствуют. Я только видел, как Хокон орудует ножом – непосредственно под моими руками, – а потом коротким острым топориком отделяет друг от друга кости. Пока все это происходило, дядя, Мамзель и работники забили вторую свинью. Хокон высвободил потроха. Я должен был отнести

их на специально приготовленный стол. Хокон мне кое-что пояснил. Я, похоже, правильно опознал печень, легкие и сердце. Но под ними обнаружился еще какой-то орган, напоминающий по форме желудок, который, однако, желудком не был. Пузырем он тоже быть не мог, поскольку я сам наблюдал, как Хокон пузырь вырезал; и как на разрушенное тело пролилось немного мочи. Тут я увидел: Хокон, глядя на этот орган, пересчитывает что-то по пальцам. «Четырнадцать», – сказал он. Я непонимающе взглянул на него. «Смотри», – продолжил он. И сделал маленький надрез в этом органе. Внезапно оттуда потекла вода. В воде плавала крошечная свинка, похожая на крысу. Хокон потянул за какой-то длинный жгут, поднял свинку высоко, очень близко к моим глазам. Тут я понял, что он вскрыл матку. Я чуть не потерял контроль над собой. Я искал ответа в его глазах. Он рассмеялся мне в лицо. Его смех меня утешил и укротил. Несколько надрезов – и он выложил передо мной четырнадцать мертвых поросят. Теперь детородный орган был уничтожен. «Четырнадцать», – крикнул Хокон на весь двор. Подошла Мамзель Ойстейна. Подошли наши работники. Подошел забойщик. «Хорошая свиноматка», – сказали они. Потом взяли мертвых, не развившихся поросят и сам детородный орган и понесли все это к выгребной яме. Я должен был помогать: очищать кишки от кала. Мамзель забрала в дом «околосердце», как она выражалась, – то есть печень, легкие и само сердце. Сказала, что хочет приготовить легочный мусс. Потом вспомнила обо мне и заговорила со мной: «Я знаю, что ты любишь вареное сердце». Возразить мне было нечего, хотя в тот момент ее слова подействовали на меня угнетающе. Постепенно – к моему утешению – свинья все больше и больше превращалась в безжизненное вещество. Тушу разделили на отдельные части, соединить которые было уже невозможно. Разделка второй свиньи происходила на противоположной стороне двора. Наступил полдень. Всех пригласили в дом. Хокон обратил мое внимание на то, что мой костюм очень грязный, что он перепачкан кровью и промок. Я чувствовал, что от меня неприятно пахнет. Падаль, запах падали... Люди – пожиратели падали. Я был очень удручен. Мне пришлось переодеться, прежде чем садиться за стол с тетушками. За столом

они заметили, что я очень бледен. Они сказали: я сделал достаточно и не должен больше помогать во дворе. Я им задал странный вопрос: правда ли, что с молодым забойщиком скота его дядя плохо обращается. Они этого не знали. Я спросил еще: могу ли я ему что-то подарить. Я имел в виду красивую бархатную шапочку, которую недавно купил для себя. Они переглянулись. И разрешили мне это. «Ты, как я слышала, делал грязную работу, – сказала одна из тетушек. – Но ты ведь должен выбирать, в чем будет состоять твоя помощь». На этом ее наставления закончились. Я оставался с ними, пока не принесли кофе. Я думал, что, пока я сижу здесь, корову уже убили. Я съел много кусков песочного пирога, который подавали на сладкое. Когда тетушки не смотрели на меня, я рассовывал куски по карманам. Я потом принес их Хокону. В работе я больше не участвовал. Стоял в стороне. На душе у меня было очень скверно. Мне хотелось вспомнить во всех подробностях вчерашний вечер. Но это не удавалось. Я находил, что кисти рук у меня слишком оголены. Они мерзли. Хотелось уйти. Но я не знал, куда. Когда начало смеркаться, я пробрался в комнату тетушек. Они со мной не разговаривали. Зажгли свет. Я пытался читать какую-то книгу. Время, сколь бы долгим оно ни казалось, все-таки двигалось. Я устал и часто зевал. К ужину подали глинтвейн. Разбавленный. Мне он показался слишком сладким. От напитка исходил роскошный аромат корицы. Мы пили его из темно-дымчатых граненых стаканов с очень толстыми стенками. Мы сидели за круглым столом, втроем. Служанка Берта нас обслуживала. Ойстейна в тот день ужинала опять-таки на кухне. Сразу после ужина я сказал, что хотел бы лечь спать. Я получил благословение от одной из тетушек и поцелуй в лоб – от другой. Я слегка опьянел от горячего вина. Я трижды просил наполнить мой стакан, и мне ни разу не отказали. В спальне я, как и накануне, первым делом распахнул окно. Но, поскольку Хокон видно не было, я тотчас снова его закрыл, разделся и рухнул в постель. И сразу заснул. Наутро проснулся очень поздно. Первая моя мысль была о Хоконе, и я мысленно посетовал на то, что он наверняка уже уехал. Очень медленно, с ленцой я оделся. Общий завтрак пропустил. Тетушки, увидев меня, заулыбались. «Какой

же ты соня», – сказала одна. «Уже около полудня», – сказала другая. Хокон и его дядя возились во дворе. Уехать они собирались только после обеда, как объяснили мне тетушки. Забойщик приехал к нам на собственной маленькой коляске с запряженной в нее славной лошадкой. На этой коляске он и должен был уехать. Я попросил тетушек, чтобы они мне позволили прокатиться: проделать часть пути вместе с ним. И услышал в ответ, что у меня есть своя лошадь, что я могу ездить на прогулки, куда захочу. Мое желание, дескать, неподуманное. В этой коляске, не очень просторной, троим будет тесно. Кроме того, возвращаться мне придется пешком. Они даже посмеялись над очевидно присущей мне склонностью к тому, чтобы изображать из себя провожатого. Я, как у нас было заведено, их поблагодарил. Они еще сказали, что ужин мне оставят в моей комнате. Тут мое сердце возликовало. Я, значит, не связан никаким обязательным сроком возвращения. Я оседлал свою лошадь, как только увидел, что Хокон готовит коляску к отбытию и запрягает в нее округлую лошадку. Я жестом дал ему понять, что намерен его проводить. Он засмеялся. Я подождал, пока коляска отъехала. И последовал за ней, на довольно значительном расстоянии. Когда поместье скрылось из глаз, я нагнал их и поскакал рядом с коляской, со стороны Хокона. Я вытащил из-за пазухи бархатную шапку и передал ему. Он осмотрел ее, надел на свою темноволосую голову, поблагодарил. Вскоре он попросил разрешения прокатиться на моей лошади. Я был счастлив, что могу удовлетворить его просьбу. Коляска остановилась. Хокон спрыгнул на землю, я же поднялся на его место. Он вскочил в седло. Я уселся на козлах рядом со старшим забойщиком. Хокон пустил лошадь легким галопом и умчался вперед. Его дядя заговорил со мной: «Ты, похоже, хочешь овладеть ремеслом забойщика». Я ответил, что не имею такого желания, и густо покраснел. Дядя улыбнулся. «В Чикаго, – продолжил он, неожиданно для меня, – мне довелось работать на большой скотобойне. Она принадлежит фирме «Свифт, Джордж Гамильтон и К°», которая монополизировала торговлю мясными консервами на всей территории Соединенных Штатов. Так вот, там ежедневно забивают около девяти тысяч свиней. Ты уди-

вишься, узнав, как это происходит. Свиней доставляют в товарных вагонах. Их осматривают, взвешивают, пересчитывают, купают, сортируют. Потом они оказываются на дороге. Дорога представляет собой бегущую ленту. Движущуюся тропу. Которая несет их туда-то или туда-то: куда им предназначено попасть. Когда они только прибывают на скотобойню, каждой свинье втыкают в ухо железный крюк, чтобы она не могла ни убежать, ни воспротивиться своей участи, ни нарушить заведенный порядок. Каждой еще надевают на заднюю ногу петлю. А если удастся, то и на обе ноги. Все петли прикреплены к подвижному канату или цепи. Свиней поднимают. Они висят вниз головой. Кричать они не могут – именно потому, что их головы свисают вниз. Они движутся дальше. Проплывают мимо того места, где стоит первый рабочий. Он делает надрезы в их шее. Они попадают к следующему рабочему. Он перерезает им сонную артерию. Они движутся сквозь помещение, где их окатывают горячей и холодной водой; все это время из них по капле сочится кровь. Они движутся дальше, и с них удаляют щетину. Они движутся дальше, и им вспарывают брюхо. Один рабочий всегда выполняет только одну операцию. А в конце такого путешествия свиную плоть закатывают в консервные банки и кипятят». Он очень долго молчал. Казалось, хотел еще раз восстановить в памяти весь процесс. «А если кто из рабочих забывает выполнить порученную ему операцию или просто зазевывается, его сразу увольняют. Свиньи же в итоге становятся мертвечиной, их расфасовывают по консервным банкам». – «Быть не может», – сказал я, чтобы спастись. «Все это чистейшая правда, – сказал забойщик. «Но такое мне не по нраву», – добавил он. Тут, к счастью для меня, прискакал обратно Хокон. Лошадь вспотела; он смеялся. Он спешил. Мы остановились. Он привязал поводья к задку коляски. После чего мы уселись втроем на узком облучке. Хокон приобнял меня, чтобы я не свалился. Когда я почувствовал на плече его руку, мне стало так хорошо, что я забыл про все остальное. Не помню, как долго мы ехали. В конце концов его дяде надоело жаться. Он предложил, чтобы кто-то из нас опять поскакал верхом. Я потихоньку шепнул Хокону: «Лошадь держит и двоих». Мы прыгнули с коляски. Старик поехал даль-

ше; после того, как мы отвязали своего скакуна. Хокон сел в седло. Я пристроился сзади и обхватил руками его талию. Блаженство, которое я при этом испытал, настолько ошеломило меня, что я невольно закрыл глаза. Сцепленные руки быстро онемели, потому что я так сильно их стиснул, что кровь отхлынула. Ноги свободно болтались, я не сжимал шенкелями круп лошади. Дыхание во мне сделалось совсем тихим; а сердце – как успокоившееся вечернее море. Я наклонил голову, притулился к спине Хокона. И почуял его дурманящий запах. Я утратил волю. И все желания. Я был вверен некоему человеку. Я стал его рабом. За время нашей долгой конной прогулки в таком моем самоощущении ничего не менялось. Наступила ночь. Звезды стали светом. Я этого не замечал. Пока мы не остановились. Тут-то *настоящее* и заявило о себе, как что-то очень внезапное, и огромное, и жестко-отчетливое: крапчатое небо и дом, чернеющий. Спина лошади взмокла. Я расцепил руки. Воля принудила меня передвинуться вперед – на место, которое опустело. Я теперь сидел в седле, ноги вдел в стремяна. Я услышал голос Хокона: «Здесь мы и живем». Он пожал мне руку. Я, наклонившись к нему, шепнул: «Скоро навещу тебя». – «Договорились», – прозвучало в ответ. Лошадь моя повернулась и затрусила по дороге к дому. Я ослабил поводья и снова прикрыл глаза. Наутро я проснулся в своей постели. Лошадь обнаружилась в конюшне. Я, очевидно, накануне насыпал-таки ей корму и налил воды; и сам тоже съел оставленные для меня бутерброды. Но я этого совершенно не помнил. Не прошло и двух дней, как я уже мчался по знакомой дороге. Хокона я увидел перед его домом. Он радостно махнул мне рукой. Мы с ним устроились позади дома, на разбросанных по двору досках. Солнце посылало в этот закоулок последние теплые лучи. Хокон лег, растянувшись во весь рост. Я последовал его примеру. Он вскоре приподнялся и сел. Я же по-прежнему лежал. Он повернулся ко мне. Схватил меня за шею, стиснул ее и сильно меня потрянул. У меня чуть не пресеклось дыхание. Но я не сопротивлялся. Он ухмыльнулся. Отпустив мою шею, уперся теперь коленями мне в живот и наслаждался, видя, с каким трудом я выдерживаю его вес. Необходимость напрягаться ради него доставляла мне, конеч-

но, огромную радость. И все же Хокон, как мне подумалось, слишком затянул игру. Я чувствовал: мои брюшные мускулы вот-вот подадутся. Он, похоже, ждал этого. Он мгновенно заметил, когда мускулы просели; когда я, так сказать, сузился; и стал давить коленями еще сильнее. Я ощутил легкую боль, которая показалась мне чистейшим блаженством. Но потом я не смог сдержаться, и меня вырвало. Хокон поднялся. Я, пристыженный, отвернулся, вытер губы – и был таков. Вскочил на лошадь. Умчался домой. Лишь через пару недель я снова отважился навестить его. Он вел себя дружелюбно. Сказал, правда, что много работы и что на меня у него нет времени. Мол, в ближайшие недели ему придется часто выезжать, чтобы забивать свиней на хуторах. Я, если хочу, могу его сопровождать. Заказов накопилось столько, что дядя и он решили временно разделиться. Само собой, коляска останется у дяди. Может, я, Перрудья, не откажусь одолжить ему свою лошадь. Это значительно облегчило бы дело. Мы бы встречались в определенное время в определенном месте... Я сразу согласился. Я, правда, предполагал, что тетушки будут возражать против столь долгих моих отлучек; но решил, если понадобится, проявить упорство. Мы договорились встретиться через день. Я сдержал обещание. Нам предстояло забить свинью в бедном крестьянском доме. Мужчина – видимо, чахоточный – лежал в постели. Помогала нам его жена. Она дала больному выпить еще теплой крови. Из матки свиньи она хотела приготовить какое-то кушанье. Сказала, это называется *рубец*. Я у них в доме не мог проглотить ни куска. Хокон велел мне очищать потроха. Он думал, уж с этим-то я справлюсь. Но мне это далось тяжело. К такой работе я испытывал отвращение. В избе были и дети. Они где-то раздобыли охапку сена для моей лошади. И принесли ей воды. Когда мы уже возвращались, Хокон сказал: «Неприбыльный был заказ». Он попросил, если меня это не обременит, дать ему монету в две кроны. Меня это не обременяло, и я ему дал. Когда мы подъехали к его дому, он спрыгнул с седла и подтолкнул меня на освободившееся место, просунув руку под мою ягодицу. Я в тот момент чуть не плакал. Но, почувствовав его руку, немного утешился. Он сказал: «Послезавтра встречаемся там-то и там-то».

Я согласился, как и в первый раз. Второй мой забой оказался еще более недостойным делом, чем первый. Мне тогда самому пришлось совершить надругательство над животным – не менее грубое, чем те, что прежде ужасали меня как стороннего наблюдателя. Я должен был крепко держать свинью, ее ногу мы обмотали веревкой. Сил моих не хватало. Хокон на меня разозлился: «Если не можешь руками, попробуй ногой». Я его не понял. Вообще не понял. «Да пни же ее! – крикнул он в ярости. – Печень справа». Я ударил свинью обутой в сапог ногой, как мертвым орудием. Удар, вероятно, получился очень болезненным. Она вскрикнула – я никогда не слышал, чтобы животное так кричало. И осела на землю. Мы подтащили ее к месту, где Хокон собирался работать. Он даже не стал глушить ее кувалдой, а сразу заколол. Из-за боли она спокойно приняла его нож. Я дрожал и плакал крупными слезами. Когда Хокон это заметил, он меня ударил. Кулаком в грудь. И сказал: «На тебя нельзя положиться, ты плакса». Правда, удар был несильным. И я понимал, что упрек его справедлив. Вечером, на обратном пути, он предложил мне засунуть замерзшие руки к нему в карманы. Это показалось мне столь высоким вознаграждением за скверный осадок, оставшийся от прошедшего дня, что я опять полностью примирился с жизнью. Я чувствовал себя защищенным, как никогда. Мне вдруг открылось, что я люблю Хокона. И что ничто в этом мире не может сравниться с ним в значимости. Сам же я должен быть причислен к ничтожнейшим вещам. Я стал рабочим инструментом своего старшего друга. Он мною распоряжался, я – подчинялся. Я не задавался вопросом, не загонят ли меня его требования в какой-то дурной тупик. Тетушки были мною очень недовольны. Они говорили, я плохо обращаюсь с лошадью. Если я не исправлюсь, им придется вообще запретить мне ездить верхом. Лошадь, дескать, это не бездушное полено... Я страшился мгновения, когда они узнают, чем я занимаюсь на самом деле. Я обещал им исправиться. И знал, что лгу. Хокон все чаще просил у меня денег. Соответственно, я просил деньги у тетушек. Они мне не отказывали. Они были очень снисходительны. Они хвалили меня за то, что я ничего не беру из доверенной мне кассы. Ложь стала для меня повседневной практикой. Иногда,

глядя в опечаленные глаза тетушек, я всерьез думал, что они распознают у меня на лбу клеймо лгуна. Моя жизнь ведь не могла оставаться скрытой от них. Крестьяне наверняка уже распространили в округе слух, что я влюблен в молодого забойщика скота – или как там они толковали наши отношения. «Двухголовый всадник» – со смехом выкрикивали мне вслед молодые парни, когда я выезжал из поместья. Я делал вид, будто не слышу. Вздумай я вступить с ними в спор, я бы запутался в вопросах и ответах. Я попросил Хокона, чтобы мы впредь ездили вдвоем реже. Я предложил, что буду ходить пешком. Он назвал меня «тряпкой»; но все же с той поры нередко случалось, что Хокон на лошади уезжал вперед, а я, насколько мог быстро, пешком отправлялся вслед за ним. Эти многочасовые одинокие странствия по следу лошадиных копыт погружали меня в беспросветную тоску. Я в то время вообще не мог мыслить трезво. Во мне что-то подготавливалось, что-то очень жестокое. Последние сдерживающие факторы, связанные с присущим детскому возрасту достоинством, могли вдребезги разбиться, столкнувшись с этой жестокой силой. Нехорошие метаморфозы. Но сам я в них не раскаивался. Я очень отощал, сильно вытянулся. Тетушки повторяли: «Ты мало ешь. Ты пропускаешь обед. Часто и к ужину тебя не бывает дома...» Я отвечал: «Я пью много молока. Приготовленная пища мне не нравится». – «Пей лучше сливки», – сказала как-то одна из тетушек. «Ты заставляешь нас беспокоиться», – сказала другая. Я накричал на обеих: «Терпеть не могу, когда вы меня попрекаете. Оставьте ваши упреки». Я стал топтать ногами. Я чувствовал себя перед ними таким слабым и ничтожным, что не мог не впасть в истерику. У меня не было честного оружия. Я не сумел бы перед ними оправдаться. «Ты не любишь даже свою лошадь», – сказали они очень тихо. Как последнее слово. Мне бы следовало молчать. Однако язык мой пожелал выдать еще одну ложь. Его больше ничто не обуздывало. Я ответил нагло: «Это вы мне мешаете ее любить. Вы запрещаете использовать ее так, как хочу я». – «Мы лишь пытаемся направлять тебя», – сказала одна из тетушек. – Ты своей грубостью, своим неразумием разрушаешь здоровье животного. Ты не обращаешься с ним так, как оно заслуживает, – бережно».

Это стало последней каплей. Я выбежал во двор. Вскочил на лошадь и ускакал. Искать защиты у Хокона. Вечером я домой не вернулся. Мы с ним спали вместе на сеновале. Печальная ночь. Несмотря на блаженное сознание того, что Хокон лежит со мной рядом. Я ощущал потребность поговорить с ним. Потребность в безмерных словах. Он к этому готов не был. Он вообще не умел поддерживать диалог. Мои вопросы уходили в песок молчания. Он чувствовал, что обязан мне и должен что-то для меня сделать. Он отказался от привычной постели ради меня, чтобы мне не было одиноко. Разве не факт, что я его разочаровал? Я не сумел остаться для него тайной. Я себя перед ним *расточил*. И то, что он не находит во мне ничего заслуживающего любви, не удивляло меня. Я сам оценивал себя весьма низко. Считал, что телосложение у меня непропорциональное, а худ я настолько, что сквозь кожу проглядывают кости. Я докатился до того, что начал думать об очень поверхностных вещах. Что оба мои костюма для верховой езды испачканы и забрызганы кровью. Что их больше невозможно носить. В воскресной куртке образовалась дыра. Меньше чем за месяц я испортил две пары сапог. Одна пропала, когда после ходьбы по болоту мы с Хоконом стали сушить сапоги над костром. Поскольку я не знал, как это делать, мои скукожились. Сапоги же для верховой езды, с серебряными шпорами, не выдержали ежедневного контакта с кровью, испражнениями и кипятком, а также моих попыток, чрезмерно тщательных, отмыть их в луже или ручье. Почти половину рубашек я подарил Хокону. Теперь на меня неизбежно обрушатся попреки тетушек... В сердце моем стало очень льдисто. Я растолкал Хокона, который, как я думал, заснул. Он не противился. Он тихо спросил: «Чего тебе?» – Я сказал: «Давай заключим кровное братство. Иначе я не вынесу своей жизни». – «Как ты это назвал?» – «Кровное братство». – «Красивые слова». Он поднялся. Я подождал, не скажет ли он еще что-то. Я, стуча зубами, объяснил: «Ты возьмешь нож и сделаешь надрез на моей руке, или на груди, или где захочешь. И отсосешь кровь, которая потечет, чтобы в тебя перешло что-то от меня. Я проделаю то же с тобой, чтобы в меня перешло что-то от тебя. Тогда между нами будет больше общего. И это станет залогом, что мы

никогда не расстанемся, не предадим друг друга. Мы ведь и вправду как братья, наша любовь друг к другу превосходит любовь между единокровными братьями». Он молчал, очень долго. Картина, которую я видел в воображении, распалась на меня. Я дал обещание настолько сильное, настолько бесконечное в своих следствиях, что от счастья едва не терял сознание: потому что сумел помыслить такое. Я получу брата, ближайшего родича – я, не знавший ни отца, ни матери... Хокон молчал долго: фантазии моего духа успели погаснуть, а я так и не услышал от него ни слова. Я встревожился. Схватил его за руку. Он глубже зарылся в сено, под боком у меня. «Очень холодно», – только и сказал. Я внезапно почувствовал, вместе с ним, как ощутимо похолодало на сеновале. Я тоже зарылся в сено. Он, в продолжение своей реплики, спросил: «Сколько же тебе лет?» – «Четырнадцать», – сказал я. «А мне шестнадцать», – обронил он. Это я уже знал. Внезапно он взял мою руку и погладил. Потом притянул ее к своей груди. Я заметил: он распахнул на себе одежду. «Бери, что хочешь», – сказал. Моя рука лежала на оголенной плоти. Я не понял, что он имеет в виду. Я только чувствовал его близость. Я обнаружил на нем пупочную впадинку. Я сообразил, что могу не стыдиться себя из-за странного пробуждения жизни в моей промежности: ведь и с ним творилось нечто подобное. Тут я начал громко всхлипывать. Без всякой причины. Слезы капали на его грудь. Он отодвинул от себя мою руку, застегнул куртку. «Давай спать», – сказал. Я был уничтожен. Не посмел возразить ни слова. Неподвижно, молча, без сна провел я остаток ночи. Я что-то упустил. Есть такой грех: упущения. Я не знал, что. А он знал; но не поделился со мной своим знанием. Утром, когда я, белый как полотно, стоял с ним рядом и отряхивал с куртки соломинки, он сказал: «Ты еще очень глупый». Но настроен он был добродушно. Даже позволил мне забраться к нему на колени и обнять за шею. «Когда у твоих тетушек лопнет терпение и они отберут лошадь, не огорчайся. Мы все равно будем заниматься своим делом, есть же коляска. У дяди сейчас запой: он день за днем хлещет шнапс. Выезжать на работу не может. Если мы каждый вечер будем дарить ему по две кроны, закончится это нескоро». Я очень обрадовался, потому что Хокон

заговорщицки усмехнулся. Губы у него были свежими, глаза – темными и блестящими. Меня охватило неодолимое желание поцеловать его; но страх, что ему это не понравится, меня удержал. Я сказал: две кроны в день – за месяц это не превысит суммы, выдаваемой мне на карманные расходы. Хокон, совершенно неожиданно, сделал мне комплимент: «Думаю, из тебя получится красивый парнишка, когда ты нарастишь на ребра побольше мяса». Я густо покраснел. Он, будто играючи, потеревил мою куртку и освободил грудь. Дотрагивался пальцем, по очереди, до каждого из моих ребер. Считая вслух от одного до семи. «Вот эти ребра *настоящие*», – сказал. И стал считать дальше, от одного до пяти. Его пальцы щупали теперь мою спину. «А эти – *ложные*. Я их все нашел. Ты еще хуже, чем я думал». Он привел в порядок мою одежду. И начал развертывать предо мной некий план. Он, дескать, отложил немного из тех денег, которые я ему время от времени давал. В будущем можно будет в придачу к ним что-то подзаработать. Он, возможно, сумеет открыть собственную торговлю. Покупать некрупных свиней и перепродавать. Также овец и коз. Время от времени и теленка, если найдется надежный покупатель. Необходимая предпосылка для этого – чтобы промысел его дяди не захирел. С выполнением заказов нужно поторопиться – может, порой выезжать и порознь. Я, дескать, уже кое-что в этом деле смыслю... План Хокона был мне понятен; но последний пункт меня испугал. Я сказал, что один не справлюсь. «Только в исключительных случаях, – уговаривал он меня, – при срочных заказах». Но я упорствовал. Я предложил, если он освободит меня от забоя, ежедневно сверх тех двух крон выдавать ему целый талер. «Талер это три кроны, – сказал он. – Совсем не пустяк. В месяц – около ста крон». – «Дело обстоит так, – продолжал я. – Я являюсь наследником крупного состояния. Даже затраты на мое пропитание тетушкам возмещаются. У нас заведено: все, что мне нужно из одежды и книг, оплачивается из специальной кассы, которой распоряжаюсь я сам». И добавил: «Я мог бы кое в чем себя ограничить». Хотя прекрасно знал, что в данный момент я обеспечен одеждой отнюдь не достаточно. «Если все обстоит так, – сказал Хокон, – выдай мне деньги наперед. На ближайший месяц.

Тогда уже сейчас я мог бы что-то начать. Мне сразу приходят на ум две или три возможные сделки». – «Ста крон, – сказал я, замывшись, – в кассе сейчас нет. В лучшем случае – пятьдесят. Ее снова пополняют только к Рождеству, чтобы я мог купить подарки». – «Принеси мне пятьдесят крон, – сказал он. – Их тоже можно употребить с пользой. Мы создадим предприятие на половинных долях, само собой». Он возбудился. Наморщил лоб. Столкнул меня со своих колен. «Ты относишься к толстосумам, – проговорил глухо, – а я беден. Ты даже не в состоянии оценить, что это значит». Я хотел сказать ему, что люблю его. Он, кажется, догадался. Отстраняюще махнул рукой. «Кто дрожит над своей кубышкой, жира не нарастит», – проговорил сердито. Но тут же опять заговорил очень мягко, вкрадчиво: «Я ведь люблю тебя. Если ты дашь мне такую сумму, это действительно мне поможет». Потом он толчком распахнул дверь. Мы по ступенькам спустились вниз. Он сел на лошадь и поскакал со мной к моему дому. Чтобы я сразу дал ему деньги. Наклевывалась выгодная сделка. Кто-то другой мог нас опередить. Я отдал деньги ему в руки. Он ушел. Я лег спать в своей комнате. К обеду объявился у тетушек. За столом все молчали. Но когда Мамзель вышла, одна из тетушек сказала: «Ты не ночевал дома. Мы очень тревожились». – Я молчал. И другая сказала: «Ойстейна мне сообщила, что с твоей одеждой не все в порядке. Я приглашу портного, он снимет мерку для нового костюма. Рубашки и белье я тебе тоже куплю. Посчитай, пожалуйста, деньги в своей кассе. И сообщи мне, сколько еще требуется». Я опять промолчал. Я уж было собрался уйти. Но тут ко мне опять обратились: «Твоя страсть к верховым прогулкам добром не кончится. У тебя мешки под глазами. И цвет лица нездоровый. Смотри, не заболей». – Я снова промолчал. – «Ты заездишь лошадь до смерти». – Я понял: они знают обо мне все и просто щадят меня. Я не мог защищаться; и уж тем более не созрел для того, чтобы признать свою вину. Я молча вышел. Вернулся к себе в комнату и спал до самого вечера. За ужином меня спросили: «Ты уже посчитал свои деньги?» – Я ответил: «Забыл». Когда наутро я хотел пройти к лошади, в дверях конюшни стоял работник Коре. Он как бы ненароком загородил мне путь. Мне пришлось попросить его отойти. «Лошадь

в плохом состоянии, – сказал он, не двинувшись с места. – Сам посмотри. Стыд какой». С места он так и не сдвинулся. Я сказал ему: «Я хочу выехать на прогулку». – Тут он рассвирепел. «Нет! – крикнул. – Поищи себе другую лошадь». – Я так перепугался, что отступил. Ничего не ответил. Поплелся к проезжему тракту. *Все раскрыто*, сказал голос во мне. Мне в первый раз было все равно, плохой я или хороший. Я вспомнил о коляске забойщика. На мне не было ни шапки, ни куртки. Но я, несмотря на холод, зашагал по знакомой дороге. Хокону я рассказал, что случилось. Вместо ответа он отсчитал мне в руку пять крон. «Первая прибыль, – сказал, – в равных долях». В тот день у него не нашлось для меня времени. Его ждали какие-то неотложные дела. Мне пришлось вернуться домой. Я положил пять монет в пустую кассу. Дни стали очень короткими. Выпал первый снег.

У старого забойщика имелись еще и сани. Хокон и я однажды вечером съездили с ним в наше имение. Там я украл – никто этого не заметил – овчинную полость и два мешка для ног. Так что зимнее снаряжение у нас было более или менее сносным. Дядя снова начал выезжать на работу. Запой у него прекратился. Но коляска осталась у Хокона. Торговля шла на удивление бойко. Хокон почти каждый день брал меня с собой, хотя я в его делах ничего не смыслил. Но он говорил, что, разъезжая вдвоем, мы производим впечатление людей зажиточных. То было чудное время, дарованное мне судьбой. Хокон правил лошадью. Редко когда вожжи брал я. Мы с ним сидели рядом, закутанные в огромную овчину. Я ее натягивал по самую шею. У моего друга оставались свободными руки. Под этой полостью было очень тепло. Теплота его и моего тела перемешивались. Я обнимал его одной рукой. Чем ближе подступало Рождество, тем дальше от родных мест уводили нас наши дела. Дорога перед коляской все более удлинялась. Была как сама бесконечность. Я думал о всяком. Разговаривали мы совсем мало. Часто я испытывал жгучее желание, чтобы он меня поцеловал. Губы у него были свежие, глаза – глубокие, неменяющиеся. Я подавлял в себе такое желание, соскальзывал к неосязаемому счастью просто быть рядом с ним. Наслаждался подъемами и спусками по белым волнам,

этой проселочной дорогой, вьющейся меж холмов. Она вела нас мимо высоких каменных стен по берегам рек, реки же сплошь были покрыты льдом и только в полыньях выбрасывали вверх струйки воды. На дороге хватало и звуков, и молчания. Случались моменты страха и моменты уверенности. Величайшим утешением служило вот что: что мы только втроем, Хокон, я и маленькая округлая лошадка; и еще деревянные сани, которые словно дом. Я не знал людей, к которым мы наведывались, с которыми говорили. Они жили в каком-то ином, большом мире, а мы с этим миром вели торговлю. Покупка и перепродажа скота составляли лишь часть нашего торгового оборота. Мы возили с собой всякую мелочь. Мыло, гребенки, пестрые подколенные подвязки, кофе, сироп. Для привлечения покупателей – ручной работы тканый ковер, яркой расцветки, взятый Хоконом на комиссию у одной женщины, которая сама его изготовила. За три недели до Рождества я дал Хокону двести крон – сумму, которую получил, чтобы купить подарки для всех обитателей имения. Он тотчас сел писать открытки. Разложил эти деньги на кучки. И смог удвоить стоимость каждой, приложив свои сбережения. Я сходил с ним на почту. Он разослал по разным адресам заказы и денежные переводы. «Через неделю, – сказал, – мы отправляемся на юг. Очень далеко на юг. До самого Хедемаркена¹⁷. Вернемся только к празднику». Я недоверчиво взглянул на него. Но все вышло, как он сказал. Мы с ним обговорили день, когда должно начаться путешествие. Объясняясь с тетушками, я напустил на себя таинственный вид. Мне нужно много чего раздобыть, сказал я. Я буду отсутствовать два дня или даже больше. Они промолчали. Я хвастливо намекнул, что привезу великолепные и дорогие подарки. Говорил я очень безответственно. Я рассчитывал, что верну вложенные деньги, рассчитывал на большую прибыль. По почте для Хокона пришли самые разнообразные товары. Мы сложили их в задней части саней, вместе с внушительным запасом еды на дорогу. И тронулись в путь. Было очень холодно. Дыхание льдинками оседало на ресницах. Лошадь обросла инеем и казалась толстой, как беременная корова. Поездка получилась веселой. Мы

17 Равнина на юго-восточном берегу Норвегии.

много смеялись, потому что на душе у нас было легко. Чтобы согреться, если нам становилось холодно, начинали возню. Старались ущипнуть друг дружку за спину, ягодицы, бедра. Шалили напропалую и были очень влюблены друг в друга. Я даже на мгновение поймал его губы. Это доставило мне несравненную радость. К вечеру первого дня нашего путешествия воздух стал более мягким. Повалил снег. Тогда дорога превратилась в ничто. А тьма, эта (как мы знали) разбавленная белым тьма, которую, высунув язык, можно попробовать на вкус, стала всем. По пути нам никто не попадался. Я сказал: «Если бы мы с тобой остались одни в целом мире...» Хокон смущенно усмехнулся (я этого не мог видеть, но, как мне казалось, почувствовал). «Что ж тут было бы хорошего», – ответил он после паузы. Я его ответа не понял. Сам я ничего лучшего и представить себе не мог. После долгого молчания он сказал: «Возьми поводья. Дороги все равно не видно. Лошадь сама ее найдет». Он заполз под овчину. Мне мерещилось, будто я еду в санях совсем один. На секунду даже захотелось, чтобы Хокон умер, а я чтобы был обречен вечно оплакивать его смерть. Я задумался, сам ли Господь создает каждую снежинку. Или ему помогают особые ангелы-стеклодувы... Путешествие наше оказалось очень успешным. Хокон распродал весь товар, без остатка. Даже ковер нашел своего покупателя. Я попросил Хокона вернуть мне двести крон, чтобы я мог купить рождественские подарки. Он с чувством собственного превосходства объяснил, что это невозможно. Ему, дескать, необходим оборотный капитал. Нужно ведь закупать новые товары. А за вычетом всех затрат выручка не так уж и велика. Он выдал мне на руки двадцать пять крон. И сказал: «Если быть точным, на твою долю приходится только двадцать крон». Я хотел было возразить, что оставлял в кассе нашего общего предприятия всю свою выручку за прошедшие недели; за вычетом только пяти крон, первого моего заработка. Но я подавил в себе такое желание. Я вернулся в имение к тетушкам в крайне подавленном состоянии духа. Они определенно не ждали радостных новостей. И были довольны уж тем, что снова видят меня. В Сочельник и ложь моя, и мое хвостовство оказались разоблаченными. Подарков я никому не при-

вез. Я отдал тетушкам двадцать пять крон, весь свой заработок. Я горько плакал, прикрывая лицо руками. Работникам и работницам вручили подарки. Они завели песни. Тетушки пели с ними. Только я – нет. Я понял, что дело даже не в слезах: петь я бы не мог в любом случае. В моем горле пропали все звуки. Да я бы и не нашел для них верного места. Я с недавних пор путал высокое и низкое. В своем отчаянии я прокрался к двери. Осторожно открыл ее и вышел из комнаты. Я стоял в почти темных сенях. Спрятался за громоздким белым шкафом и жалобно всхлипывал. Я знал, что в такой вечер мне нельзя идти к Хокону. Вдруг я почувствовал, как кто-то схватил меня за руку и быстро поцеловал. Я услышал возле самого уха слова, очень тихие и бережные: «Дорогой мой мальчик...» Меня вытащили из укрытия. Внезапно, обхваченный руками Коре, я очутился в праздничной горнице. Разговоры других разом смолкли, а Коре сказал: «Потерпите еще немного». Я должен был пройти с ним в темную смежную комнату. Он расшнуровал мне ботинки; пока я сидел на стуле. Снял с меня костюм, облачил в другой, пахнущий как новая вещь, сунул мои ноги в сапоги с высокими голенищами, выпускающие аромат свежей кожи. Потом потянул обратно в горницу, поближе к рождественским свечам. Я увидел, что на мне новый костюм для верховой езды. А на ногах красивые красные сапоги со шпорами. «Мы все любим Перрудью», сказал Коре и еще раз – перед всеми – поцеловал меня в губы. И тетушки тоже подошли и поцеловали меня. Но поцелуй Коре понравился мне больше. Я снова заплакал. Образовался хороший вод. Меня схватили за обе руки. Слева от меня был Коре, справа – одна из тетушек. Все веселились и смеялись. Волею неволей я тоже стал смеяться. Все пили пунш. Я съел очень много маленьких печений. Я слегка опьянел и захотел быть лошадью. Ползал на четвереньках по всей комнате. Лошадь была кусачей. Она кусала девок за икры. Лев-лошадь. Коре вызвался приручить это чудище. Он на него вскочил. Он был сброшен. Чудище попыталось его сожрать. Оно мгновенно обрело дар речи. Оно сказала: «Тигры любят жрать внутренности»; и зубами оторвало пуговицу от куртки Коре. Из-за этой пуговицы меня отругали. Мне же померещилось, будто ругают

меня за обретенный дар речи, и я в порыве тоски и ярости проглотил пуговицу. Когда окружающие это заметили, игра закончилась. Меня уложили в постель. Мамзель и Коре уложили меня в постель. Заставили выпить три столовые ложки касторки. Тетушки пришли ко мне в комнатку. Распорядились, чтобы во двор меня не пускали. В печке развели огонь. Ойстейна сказала: мы, мол, устроили форменное свинство. Коре ее успокаивал. Он сказал, что подежурит возле меня. Он сел возле печки. У меня заболел живот. Коре очень облегчил мое положение; и я почти совсем не стыдился его. Когда касторка подействовала и я должен был подняться с постели, он закутал меня в одеяло и сел позади, чтобы я положил голову ему на колени. Он гладил эту бестолковую и бедовую голову. Поэтому боль показалась мне не такой уж сильной, а час, проведенный в неудобной позе, пролетел быстро. Наутро Коре подошел к моей кровати и показал мне ту самую пуговицу, со словами: «Я сохраню ее на память». Я решил, что до Нового года не пойду к Хокону. Я чувствовал себя в долгу и перед Коре, и перед тетушками. Отправившись в один из первых январских дней к своему другу, я не застал его дома. Старый забойщик сообщил мне, что тот опять уехал куда-то на юг. Как он предполагает, на пару недель. Я был глубоко потрясен. Каждый третий день я справлялся у старика, не вернулся ли Хокон. Январь пролетел, а Хокон так и не появился. Мои страхи безмерно увеличились. Любовь к Хокону из-за моего одиночества выросла в подлинную страсть. Потом мне пришел денежный перевод; от него. Снова – двадцать пять крон. На талоне значилось: «Ты сможешь заставить меня дома 5 февраля». Я был вне себя. Я только и думал, что об этом дне. Я чуть не лопнул от беспокойства. Я мысленно корил Хокона за то, что он ничего не написал о себе. Когда мы наконец встретились, он меня обнял. Красивая формула, которую он усвоил, – и только. Он сказал: «Я знал, что тебе нужны деньги, и потому поехал устроить кое-какие дела». Я рассказал ему в общих чертах, что здесь произошло за время его отсутствия. Не вдаваясь в подробности по поводу моего нового костюма и красных сапог. Стбит сорвать первые листки календаря, и месяц пролетает быстро. В том феврале между нами ничего существенно нового не про-

изошло. Хотя у меня порой и возникали какие-то тайные порывы, в присутствии Хокона мне не хватало духу им следовать. Его брови стали кустистыми и темными. Нежный пушок на подбородке и вокруг рта исчез. Он начал бриться. Очень скоро из него должен был получиться мужчина. С тревогой я видел, что дистанция между нами увеличилась. Но, тем не менее, более чем когда-либо чувствовал себя *врученным ему*. И стал нерешительнее в плане собственных требований. Неудовлетворенность во мне росла. Мое душевное состояние сделалось более нестабильным. Томления, разочарования, надежды, страстные желания, глубинные ощущения счастья сотрясали меня. Я думал, как плохо сказывается на мне то, что мы не стали кровными братьями. В наше имение приехал некий гимназист. Чтобы поднатаскать меня по ряду школьных предметов. Мне было тесно в том ограниченном пространстве свободы, которое у меня еще оставалось. Я теперь только изредка мог выбираться с Хоконем в его деловые поездки, и то ненадолго. Лишь раз еще мы с ним вместе отправились на забой. Случившееся привело меня в столь сильное смятение, что никакие доводы разума не помогали открыть таящийся за этим закон. То была тень, омрачившая мою жизнь, и вместе с тем – яркий свет. Намек на нашу брэнность, на замутненность чувственного восприятия, а также на то, что все мы зависим от случайностей, что наши решения менее долговечны, чем ароматы, даже если мы грезим о тысячах небес. Одна счастливая секунда среди многих часов упадка... Экстренный вызов. Чья-то кобыла не могла дольше жить, разве что при поддержке людей, если б нашлись такие милосердные и при том небедные люди. Она родила жеребенка. Что и стало решающим фактором, отменить который уже невозможно. Пока она спокойно стояла в стойле, никто бы не заметил ее болезни. Но когда она ложилась или когда ее выводили на работу, недуг сразу обнаруживался. Щадили ее ровно столько времени, сколько, как принято думать, жеребенок нуждается в материнском молоке. Потом хозяева вызвали Хокона. Предстояла тяжелая работа. Он был рад, что может взять с собой меня. Нас с кобылой оставили одних. Жеребеночка из стойла увели. Мне стало очень страшно. Большой красивый зверь, который доверчиво нас

обнюхивает... «У нее еще не пропало молоко, – сказал Хокон. – Ты-то кобылье молоко когда-нибудь пил?» – Я кивнул. – «Лучшего напитка не бывает», – сказал он. Ему захотелось попробовать. Случилось так, что и я ощутил очень похожее желание. Хокон просунул голову между ляжками кобылицы и приложился ртом к ее соскам. Когда он, насытившись и отяжелев от блаженства, отпустил вымя, я занял его место. По моим губам потекло что-то, имеющее привкус слюны друга и сверх того проникнутое особой нежностью существа, обреченного на смерть. Когда я наконец отстранился, рот мой наполнился молоком. И поначалу я глотал его совсем крошечными глоточками. Мы с Хоконом оба не знали, какому инстинкту доверились. Но эта радость была недолгой. Хокон ударил топором по лобной кости животного. Оно рухнуло, чуть ли не на меня. Неожиданно. Кровь сразу хлынула широкими струями. Беда! Но картина того, что мы с Хоконом делали *после*, стала для меня еще большей бедой. Почти больным притащился я под вечер домой. И все же именно в тот день я был ближе к Хокону, чем когда-либо. То была близость, обусловленная нашей похожестью, а не завоеванная любовной страстью. Я смутно догадывался, что повеления, которые Хокон мог бы мне дать или еще даст в будущем, прежде всего разоблачат мою сущность. Я этого боялся. Я его избегал, насколько мне хватало сил обуздывать свою страсть. Тетушек я спросил однажды, почему гимназист Ойстейн не посещает школу, если, как про него рассказывают, он собирается учиться и дальше. Они ответили, что у него слабые нервы. Он, дескать, должен укрепить здоровье. Пребывание на свежем воздухе будет для него благотворно. На меня же длинные и теплые летние дни действовали расслабляюще. Несмотря на постоянное внутреннее напряжение потребность в сне была велика. Меня словно несло по течению в безбрежном потоке усталости. Ойстейн вряд ли имел основания радоваться моим успехам. Но он был со мной терпеливым и снисходительным. Он так охотно повторял объяснения и так пространно их обосновывал, что я огорчался из-за своей неспособности внимательно его слушать. Спал он в комнатке, расположенной рядом с моей, но непосредственно с ней не соединявшейся. Жил он очень одиноко и тихо. Ино-

гда я ему одалживал свою лошадь. Заодно – и костюм для верховой езды, и красные юфтевые сапоги. Хокон тем временем стал взрослым мужчиной. Носил одежду городского покроя. Курил сигареты. Его глаза казались теперь скорее дикими, чем глубокими. Губы на вкус были горьковаты. Он купил себе новую коляску. Мне пришлось еще раз раздобыть для него двести крон. Кроме того, он удерживал в кассе всю мою долю прибыли. Однажды он обронил: «Тебе пора бы свести знакомство с девушками». И рассказал мне о них: о тех удовольствиях, которые они доставляют. Я впитал его слова с жадностью. Но, тем не менее, они меня огорчили. После того разговора я больше не осмеливался его навещать. Лето выдалось теплое. Моя пресыщенность жизнью загоняла меня в одиночество. Я опять часто катался верхом. Однажды днем, когда солнце немилосердно палило, я заехал в Долину призраков. В белом вязком воздухе отвесные скалы казались тусклыми и запыленными. Я спешил, спустился к воде, под меланхоличную мелодию рассматривал округлую гальку и игру желтых бликов на дне реки, наблюдал за тысячами мелких, не больше пальца, форелек, которые явно интересовались мною и моей гневной лошадью. Мелодия выходила из меня. Воздух оставался беззвучным. Первопричиной мелодии была пульсирующая во мне кровь, эта голая жизнь, которая мне самому представлялась не имеющей ценности, даже обременительной. Я бросал в воду древесные стружки. Рыбы хватили их и сразу выплевывали. Я тоже, будто был из их компании, сплюнул в воду. Рыбы алчно набросились на слюну и сожрали ее. Я сплюнул себе на ладонь и протянул ладонь лошади. Та жадно облизала влажную руку. Я, значит, не настолько ничтожен, чтобы мелкие твари не вожделели ко мне. Не настолько ничтожен, чтобы птицы или собаки отказались жрать мою плоть. Своей плотью я мог бы насытить льва... Лошадь зашла в реку, и наслаждалась прохладой, и пила воду. Я подумал: она, должно быть, проголодалась; и решил поискать для нее красивый луг. Она будет щипать траву – у меня в головах, или сбоку, или в ногах, – а я тем временем полежу на солнышке. Может, она наступит на меня: по небрежности или чтобы отомстить, вспомнив о той поре, когда я мучил ее своим не-

разумием, из-за любви к чужаку. Достаточно, чтобы во мне лопнула какая-то малость. И я скончаюсь. Я взял лошадь под уздцы. Мы пошли вверх по дороге. Я толкнул калитку. Вход на чей-то выгон. Трава там была не очень сочной, из-за жаркого солнца; но корма, судя по всему, хватало. Скотины я не увидел. То был луг, огороженный стенкой из камней, такие теперь встречаются редко. Мы с лошадью ступили внутрь ограждения, отошли от дороги и приблизились к замыкавшим долину скалам. Там я вынул из лошадиного рта трензель, а сам лег на землю, крест-накрест прикрыв руками лоб и глаза. И слышал теперь, как лошадь щиплет траву. И слышал глухой звук переступающих копыт. Который то приближался, то удалялся. И мне показалось через некоторое время, будто я слышу еще и другой звук. Он не был перестуком копыт, не был и мелодией моего печального сердца. Мне захотелось взглянуть. Я открыл глаза. Передо мной стоял человек. Сперва я увидел только две оголенные ноги, оголенные до колен. Потом сообразил, что это подросток, девочка. Во мне сразу ожили рассказы Хокона. Я был смущен. Охвачен желанием. И очень унижен. И чуть не заплакал, ибо прежде я думал, что способен любить только Хокон. Она же заговорила со мной: «У тебя красивые красные сапоги». Я остался сидеть, как сидел, и ответил: «Они из юфти». Она сказала: «Я хочу прокатиться на твоей лошади». Я ответил: «Можешь прокатиться». Она взяла лошадь под уздцы, вставила ей в рот трензель, вскочила в седло. Красивое зрелище – как она поскакала прочь. Мои глаза ее проводили. Мои глаза ее встретили, когда она вернулась. «Я хочу примерить твои сапоги», – сказала она. Я стянул сапоги и протянул ей. Она надела их прямо на босые ноги, снова вскочила в седло и ускакала прочь. Мои глаза проводили ее и встретили снова, когда она вернулась. «Это луг моего отца», – сказала она, сняла сапоги и отдала их мне. Она уселась рядом. Я увидел ее лицо, совсем близко. И во мне что-то всколыхнулось. Я не могу это объяснить. Совсем другое чувство, чем то, что приписал бы мне Хокон. Я очень долго смотрел в лицо девочки. Она выдерживала мой взгляд, сама рассматривала меня. Прошло какое-то время. Не знаю, долгое или короткое. Она поднялась. Зашла мне за спину. Я услышал: в кустах

за моей спиной что-то зашуршало и хрустнуло. Потом девочка снова стояла передо мной, с терновой веткой в руке. Этим терновником хлестнула меня по лицу. «Давай поиграем», – выкрикнула очень громко. Я остался сидеть, как сидел. Только глаза прикрыл. Ветка с колючками раздирала кожу. Я не оборонялся. Через какое-то время девочка перестала меня хлестать. Она придвинулась совсем близко. Я опять увидел ее ноги, оголенные до колен. Смахнул со щек кровь, разбавленную солеными слезинками. Услышал, как девочка сказала: «Теперь ты меня бей. Я буду терпеть, как и ты». Она села на траву. Я поднялся, взял у нее из рук ветку. Я не смог ударить. Только еще раз взглянул на девочку. Вот и все, что случилось в тот день. И я хранил в себе ее образ – пока не выдрал его насильно. «Лето нынче красивое, – сказал мне Хокон однажды теплой ночью, – грех этим не воспользоваться. Давай устроим себе маленькое приключение». Ночь благоприятствовала подобным мыслям. Ночью этот человек казался особенно нежным, и он нравился мне сверх всякой меры. Все между нами было очень таинственно, как в первый день знакомства. Голос его лился медвяной струей, губы были свежими, глаза сделались магнитом; я же чувствовал себя никчемной железной стружкой. И было достаточно светло, чтобы мы видели лица друг друга, но вместе с тем так темно, что краску стыда мы бы не разглядели и потому обходились без масок. Я ответил «Да», прежде чем он рассказал мне о своем плане. «Давай поднимемся в горы. Скот сейчас на самых высоких лугах. Жизнь там уединенная. Там хорошо в это время года. Девушки будут давать нам еду, сколько попросим. Мы с тобой заслужили такое, друг перед другом: можем себе позволить разок развлечься». Предложение было заманчивым. Тетушкам я сказал, что собираюсь отправиться в поход, туда-то и туда-то. Они попросили меня взять с собой Ойстейна. Сам Ойстейн тоже попросил меня взять его с собой. Я ответил: «Посмотрим». Я сказал Хокону: «Ойстейн, этот гимназист, хочет пойти с нами». Вопреки моим ожиданиям Хокон ответил: «Трое могут быть полезнее друг для друга, чем двое». Мы упаковали рюкзаки. Меня огорчало, что путешествовать я буду не с одним Хоконем. «Оставь меня на время вдвоем с этим парнем, с Ойстейном.

Нам нужно кое-что обговорить. Пойми: ведь мы с ним еще не знакомы». Они отправились в путь первыми. Я должен был последовать за ними, гораздо позже. Они опередили меня на много часов. Потом, на привалах, всегда сидели рядышком. Я ревновал. Когда представился случай, отвел Хокон в сторону: выложил ему, что скопилось на сердце. Он сказал: «С этим гимназистом каши не сваришь. Скорее всего, мы с ним расстанемся при первом же удобном случае». Это мне не понравилось. Я находил, что нельзя нарушить однажды данное обещание. Но Хокон все такого рода доводы опроверг. Сыграв на моих тайных желаниях. Ведь сердце мое ничего не желало так горячо, как именно исчезновения Ойстейна. «Вопрос лишь вот в чем: сумеешь ли ты сделать то, для чего я хотел воспользоваться услугами этого парня. Он все-таки постарше тебя, да и посильнее». — «Мои кулаки не хуже, чем у него, — возразил я. — Ойстейн не превосходит меня физической силой. Он слабонервный. Он не вполне здоров». Я изрекал непроверенные, то есть *лживые* истины. «Что ж, коли дело обстоит так, — сказал Хокон, — я растолкую тебе, что имел в виду. И ты тогда сам решишь, хочешь ли мне помочь, или мне лучше еще раз попытаться уговорить Ойстейна». Я насторожился. Вспомнив, сколько раз с этих губ уже слетали поразительные слова... «Прогулки на высокие пастбища обычно совершаются ради деvушек. Я себе уже приглядел одну, на хуторе в Беллингмо. Как говорится, кровь с молоком. И очень молоденькая. В самом расцвете. Нынешним летом хозяйка впервые отправила ее на горный выпас. Хахаля у нее нет. Игра для нас будет легче легкого». Я, сбитый с толку, все же осмелился задать один, очень наивный вопрос: «Так она что, твоя возлюбленная?» — «Тебе слишком много нужно объяснять, это утомляет, — сказал он. — К возлюбленной ходят без провожатых. А нам с тобой предстоит начинание, которое можно осуществить только на половинных долях». «И не без толики насилия», — добавил он через некоторое время, поскольку я молчал. Потом, так и не дождавшись ответа, продолжил свои объяснения: «Заодно и выяснится, можешь ли ты перестать строить из себя простофилю. Есть ли у тебя мужество. Готов ли ты что-то для меня сделать». Он впал в уныние. Мы злились друг на друга. Нако-

нец я решился, поставив условие: «...если ты меня любишь». – «А ты в этом сомневаешься?» – удивился он. Мы ночевали в подклети пустующей избы. Там было двое нар, на которых мы решили устроиться. Хокон лег на одни нары, Ойстейн – на другие. Я мог бы, ни слова не говоря, примоститься под бок к Хокону, как мне и хотелось. Но я предпочел скрыть свое тайное желание от третьего, встал посредине между двумя лежанками, раскинул руки и сказал: «Кто из вас силой перетянет меня к себе, с тем я и разделю постель». Сомнений в исходе поединка у меня не было. Побороть Хокона Ойстейн никак не мог. Но тянули они оба неплохо. Я наслаждался тем, что – пусть только в игре – стал желанным призом для них обоих. Но внезапно Хокон выпустил мою руку. Я потерял равновесие и упал на Ойстейна. Хокон засмеялся, очень громко. Я сразу сник. Ойстейн приглашающим жестом далеко откинул край одеяла. Когда последние звуки мало-помалу смолкли и было слышно только наше дыхание, у меня из глаз потекли слезы. Ойстейн еще не спал. Он понял, что происходит. И своим носовым платком вытер мне слезы. И очень бережно меня обнял. Я, хоть и не сразу перестал плакать, все же почувствовал себя защищенное. И заснул. Наутро Хокон сказал: «Еще до полудня этот парень должен свернуть на другую дорогу, нам с ним не по пути». – «Я не хочу поступать с ним нечестно, – ответил я. – Я просто скажу, что сегодняшний день мы бы предпочли провести вдвоем, и попрошу, чтобы завтра утром он ждал нас в этой избе». – «Что ж, если ты так великодушен...» – протянул Хокон. Я сказал Ойстейну, что хотел. Он печально кивнул: «Ладно, буду тебя ждать». Уже к полудню мы двое, Хокон и я, добрались до верхнего выгона. «Надо разведать обстановку – какие опасности нас подстерегают», – сказал мой друг. Он считал, что мы должны оставаться незамеченными. Мы залегли за грудой камней, в кустарнике. И коровы ходили мимо нас. Потом мы выползли из укрытия и, прячась, вскарабкались на гору, чтобы детально рассмотреть местоположение и устройство пастбища. Оно лежало в плоской котловине, радовавшей глаз пышной зеленью. Семь или восемь изб стояли близко одна к другой. Серые дорожки, протоптанные коровами, расходились в четырех направлениях по сочной траве.

Становились все уже, пока не исчезали из виду. Один-единственный дом располагался в стороне от других. Построенный не из дерева, а из необработанного гранита. Из трубы поднимался прозрачный дым, какой бывает, когда топят дровами. «Если девушка живет не в этом роскошном замке, – сказал Хокон, – то нам придется убраться восвояси либо подстеречь ее где-нибудь на лугу». Мы стали пробираться назад, к одинокому дому. Ползли через пустошь и заросли карликовой березы, пока не оказались в пятидесяти шагах от крыльца. Потом лежали под теплым послеполуденным солнцем. Жевали первые ягоды черники. Торопиться нам было некуда, и мы настроились на долгое ожидание. До вечера, дескать, дверь дома хоть раз, да откроется. Дверь в самом деле открывалась, и не один раз. Хокон – очень тихо, со счастливым видом – сообщил мне: «Это ОНА». И спросил, согласен ли я, что девушка – просто прелесть. Я промолчал. На сей счет у меня не было определенного мнения. Я не признался Хокону, что в Долине призраков, на лугу, выбрал в себя совсем другой женский образ. Тогдашняя встреча продолжения не имела. Но эта девушка, здесь, в мои понятия вообще не укладывалась. Она была созревшей, уже взрослой. Дородной и пышногрудой. Ее оголенные икры напоминали кувалды. Впрочем, я недолго ломал себе над этим голову и высказался кратко. Много слов от меня и не требовалось, учитывая близость дома, – мы ведь хотели остаться незамеченными. И вот, когда солнце – не на западе, а ближе к северу – закатилась, девушка вышла на порог и стала звать: «Коровы, сюда, сюда». Из других домов кричали что-то похожее. Коровы сами шествовали по дорожкам до места дойки. Одна дорожка проходила очень близко от места, где затаились мы. Тяжелые тучные животные со свисающими набухшими вымислами показались нам сверхъестественно большими, как сказочные существа. Коровы, одна за другой, поворачивали головы в нашу сторону. Но шага не замедляли. Они стекались к загону и ждали, когда их подоят. А после дойки опять разбрелись. Мы с Хоконом наблюдали: никто, кроме дородной девушки, не занимался коровами, относящимися к этому хозяйству. Девушка отнесла надоенное молоко в дом и развела огонь под медным котлом для кипячения (о чем мы догадались,

потому что из трубы вдруг повалил густой желтоватый дым), после чего снова вышла и направилась к другим избам – очевидно, чтобы поболтать с кем-то из обитателей сетера¹⁸. Или спеть с соседями песню. Хокон по своим часам установил, что путь от каменного дома до ближайшей избы занял семь с половиной минут. Он поднялся, схватил меня за руку и быстро потащил через кусты к дому. Мы вошли. В сенях на открытом очаге с березовыми дровами стоял окутанный паром молочный котел. Мы пошли дальше, через узкую дверь – в жилую комнату. Там на полках хранилось много сыров. Только на одних из двух нар была постелена постель. Хорошая постель: с несколькими пестрыми, в крупный рисунок, одеялами. В изголовье лежала большая, обтянутая белым подушка. «Запомни, – сказал Хокон, – моя зазноба спит головой к окну». Он еще отметил, как важное обстоятельство, что стены имеют метровую толщину и сложены из скрепленных цементом блоков, а внутри оштукатурены. «Тут кричи не кричи, никто тебя не услышит», – сказал он. В комнате было очень тепло. И сильно пахло. Сыром, прогорклым дымом, просачивающимся сюда из сеней, женскими волосами. Мы выскользнули из дома, опять залегли в кустах, съели припасенные бутерброды. Хокон наставлял меня: «Одно движение: прижать ее плечи книзу, не давая подняться. А станет махать руками, перехватишь их за запястья. Смотри только, как бы не укусила». Я теперь очень ясно представлял себе, что должно случиться. Мыждемся ночи, нападём на не готовую к такому нападению девушку, спящую. Хокон пожнет те радости, которые мне описывал... Несмотря на четкость этой картины мне не пришло в голову, что мы ведем себя как подонки. Хотя я чувствовал, что уже отторгнут от сердца Хокона, меня не охватила тоска. И о том, чтобы сбежать, я тоже не думал. Мои чресла возбудились. Во мне все смешалось. Я принес жертву, мерещилось мне, – согласившись на то, что противно моей натуре. Но я надеялся в результате обрести новые права на Хокона. Неестественная веселость так свободно болталась во мне, что я принялся мурлыкать что-то себе под нос. Хокон мне это запретил. Посте-

18 Сетер – высокогорное пастбище (норвеж.).

пенно стемнело и похолодало. Девушка вернулась в дом. В комнате затеплилась свеча или маленькая керосиновая лампа. Мы видели желтые окна на фоне обесцветившейся стены. Окна в свой срок погасли. Нам было очень неуютно среди безмолвия и темноты. Звезды, правда, горели. Поскольку мы продрогли, нам захотелось двигаться. Мы обошли кругом другие избы. Ни одно окно больше не светило. Мое сердце в предчувствии надвигающегося события начало бить так сильно, что я едва не оглох. Пот выступил из всех пор. Я не мог говорить. Не мог думать о Хоконе. Не мог вспомнить прошлое. Было только ни с чем не сравнимое *настоящее*. Слишком властное настоящее, не оставившее мне моей воли. Наступил момент, когда Хокон тихонько приоткрыл дверь того уединенного дома. Я увидел красные глаза головешек, под котлом. Из-за них помещение казалось нереальным, огромным; я даже испугался, что не найду, где у кровати изголовье. Мы, затаив дыхание, через узкую дверь прокрались из сеней в горницу. Половицы скрипели под ногами. Прежде чем я сообразил, что делаю, руки мои – а стоял я в головах – уже прижимали к кровати плечи девушки. Был вскрик. Была борьба. Пальцы мои едва не разжались. Хокон, зарывшийся в одеяла, лежал на бабе. Он достиг своей цели, как мне казалось. Целовал изнасилованный рот. Ослабление сопротивления, как мне казалось, свидетельствовало о том, что, вопреки факту изнасилования, чувства этих двоих постепенно приходят к согласию. Мои руки остались без работы. Внезапно Хокон забормотал: «Теперь очередь за тобой. На половинных долях. Ты меня понимаешь». Бормотал он так громко, что девушка услышала. Она избавила меня от необходимости ответить: выразить свое ощущение, колеблющееся между *да* и *нет*, сдобренное слезами, отчасти лживое, потому что сила моих чресл возросла, трусливое (из-за кровоточащего сердца), сбежавшее в предварительный жест, в усталое покачивание головой. Она крикнула: «Так ты не Харальд Киллингмо?» Она вырвалась. Ударил его кулаком по лицу. Спрыгнула с кровати. Запуталась в одеялах и споткнулась. Хокон швырнул ее на пол. И потащил меня вон из комнаты. В сенях схватил медный чан, полный горячего молока, который стоял на огне, и выплеснул содержи-

мое на пол. «Она босая, – крикнул, – и обожжет ступни, если вздумает нас преследовать». Мы побежали, как могли быстро, по направлению к долине. Но девушка нас не преследовала. И не кричала, высунувшись из окна. В комнате было темно. Она наверняка сидела, раздавленная случившимся, наедине со своим отчаяньем. И была сосудом. И этот кобель все еще жил в ней. Мы находились уже в часе ходьбы от сетера, и темнота воспользовалась нашим ощущением, будто глаза ослепли, чтобы отчетливее выявить в нас потаенное и чтобы другое наше Я стало более бесстыдным; тогда-то я и попросил Хокона на минутку остановиться. Ни слова не говоря, он провел рукой по моему бедру. Убедившись, что я спустил штаны, сильно ударил меня кулаком в грудь. И плюнул мне в лицо. Я так и стоял, не двигаясь, а он отошел на несколько шагов. Но тут же вернулся, откашлялся и плюнул мне в лицо снова. Теперь еще и отхлестал по щекам. «Ты меня предашь, – булькало у него в горле, – тебя бы следовало убить». Я так и стоял, не двигаясь. У меня не было иных желаний, кроме как быть убитым. Его руки опрокинули меня наземь. Я подумал: теперь он осуществит, о чем говорил. Хокон сдавил мне горло. Но не для того, чтобы задушить. Он стал ногтями расцарапывать мне лицо. Разодрал в кровь подбородок и лоб. Снял с пояса нож и полоснул меня возле уха. Каблуком больно ударил в пах. Разорвал на мне куртку: от ворота вниз, раскрыв грудь. Потом выпрямился, одной ногой наступил мне на предплечье, другой – на колено. Он помочился на меня, моя одежда промокла и воняла. Он пнул меня, перевернув лицом в дорожную пыль. Он сказал: «Что случилось, случилось между нами двумя. Свидетелей нет. Можешь пойти и наябедничать, что я изнасиловал девку. Тебе поверят». Он ушел. Подняться на ноги я не мог. Я не плакал, не жаловался. Все во мне обходилось без звуков. Хакон вдруг решил, что у меня лицо предателя. Он изуродовал это лицо, чтобы оно никому не внушало доверия. Я думал так, как, по моим представлениям, мыслит машина: безотносительно к моей боли, к моему сердцу и моим чреслам; без представления о моем Я и без желаний. Опять обнаружилось это несравненное *настоящее*... Лежать на земле... Это незнание первопричины и следствий... Бренная тварь и только. Мою

шейную артерию еще не порвали, брюхо мне не вспороли. Но кувалда уже обрушилась на мой лоб, как показывала голая жесткая земля, на которой я лежал. Мертвый штиль... А то, что последовало, было неким *протеканием* – вопреки штилю. Штиль так и оставался штилем, хотя я уже начал шагать. Ничего не изменилось во мне, и когда я добрался до нижнего подворья, где меня ждал Ойстейн. Он зажег для меня свет. Справить заупокойную мессу. Ойстейн бодрствовал. Поддерживал в очаге огонь. Он смотрел на меня – и боролся со своими глазами, хотевшими спать. Он меня раздел. Обмыл. Перевязал мои раны. Он меня напоил. Накормил. Отнес в постель. Он не спросил о Хоконе. Он не спросил ничего. Наутро он велел мне оставаться в постели. Сменил повязку на голове. Постирал мой костюм. Принялся, как умел, его зашивать. Мы провели в этой избе четыре или пять дней. Днем лежали во дворе, на солнышке. Ночью лежали на нарах. Мое сердце не отличало одного от другого. Оно умерло. Ойстейн ходил вокруг трупа. С его стороны это был дружеский жест. Труп не стыдится своей бездвижности. Но и этот Ойстейн плохого о трупе не говорил. По прошествии пяти дней мы во дворе нашли себе место немного севернее. И лишь когда все раны зарубцевались, а струппя с рубцов отвалились, я счел возможным вернуться в имение тетушек. Возобновились мои занятия с Ойстейном. Они были как вода, зазря пролитая. Цвели желтые кувшинки. Есть такие цветы о пяти лепестках. Есть и люди с пятипалыми ладонями. Ворсинки на шкуре животного, даже одного, с точностью не пересчитаешь. Точка – в математическом смысле – протяженности не имеет и потому не может повернуться вокруг своей оси. Треугольник не убежит от судьбы: сумма его углов всегда будет составлять 180 градусов. Благородство друзья горного хрусталя, которая не больше нашей стопы, оспорить никому не удастся... Дни скукоживались. Наступила осень, со своими бурями и своим разноцветьем. Во двор снова выставили орудия мученической казни. Собирались солить говядину, делать запасы на зиму. Для приготовления колбас нужно было заколоть двух жирных свиней; на рынке уже купили пятьдесят килограммов нежирной конины, чтобы колбасы получились пикантными. Я, с болезненно-желтым лицом, стоял у окна

своей комнаты. Приехали забойщики. Хокон и его дядя. Мне предстоял суд. Меня растормошили, заставили восстать из мертвых. Придется защищаться. – Хочу быть тем, кто через каждые двадцать четыре часа забывает свои поступки, ибо он через двадцать четыре часа снова будет невинным. Хочу, чтобы все пережитое мною стало привидившемся во сне, ибо тот, кто видит только сны, невиновен. – Ойстейн должен был спать этой ночью в моей комнате, поскольку его комнату предоставили Хокону. Ойстейн принес свои вещи, когда я стоял у окна. Возился он очень долго. И все не уходил. Наконец сказал: «Хокон здесь. Хокон хотел бы поговорить с тобой». Я отвернул лицо от блеклого света за окном, к темноте комнаты, в которой звучал голос. «Пусть зайдет, – ответил я, – и ты тоже оставайся здесь, пока он будет говорить». Ойстейн медленно вышел. Я затеплил свечу и поставил ее на середину стола. Очень скоро в комнату вошли эти двое. Оба взглянули на меня. Ойстейн отошел вправо. Хокон остановился возле стола. В голове у меня прокручивались слова: много ли, мало ли произошло между этими людьми, все так или иначе уже миновало. И *настоящее* повествует о случившемся иначе, чем повествовало бы *прошлое*. Когда рассказываешь о нашем мире, ничего нельзя утверждать с уверенностью. «Прости меня, Перрудья», – пробормотал Хокон. «Тут нечего прощать, – ответил я. – Тот, к кому ты обращаешься, когда-то видел сон о тебе. Ты не несешь ответственности за сон другого. И если я в своем сне страдаю, ничьей вины здесь нет». После этих слов надолго воцарилось молчание. Потом Хокон нажал на ручку двери. Толкнул дверь. Образовавшаяся при этом щель закрылась. Ойстейн сказал: «Я не вполне понял, что ты имеешь в виду». И я попытался объяснить: «Мы все как цветы на лугу. Некоторые цветы – желтого цвета, другие – синего, третьи – красного. Те, что желтого цвета, обычно неприятно пахнут. Мы не знаем, почему им выпал такой жребий, ведь бывают цветы с дивным ароматом. Однако и те, и другие боятся, что их растопчут или срежут косой. Пока бутоны закрыты, цветы остаются зелеными – и те, и другие. И не имеют запаха. Но как только прорезывается свойственный им окрас, запах – зловонный или благоуханный – тоже обнаруживает себя. Внезапно реша-

ется то, что до сей поры было нерешенным: предназначение каждого цветка. И чем красивее и отчетливее проявляются окрас и форма цветка, тем сильнее исходящий от него запах, зловонный или благоуханный. Сам я только в нынешнем году прорвался из зелени к цвету. Это наконец свершилось. И мне больно, потому что я, вероятнее всего, принадлежу к Желтым. Я чувствую за собой некую вину, хотя желтые цветы, по логике вещей, невинны. Но я-то человек. И не зря говорят: человек наделен способностью познания. Он может отличить хорошее от плохого. В нем заложено что-то от божественной материи. Я не могу привести никаких убедительных доводов, опровергающих мнение, что дело обстоит так. Но в какие-то мгновения я мечтаю о книге, которая описывала бы людей в их пестроте, со всеми присущими им – разными – способами существования. Ойстейн, никто из поэтов до сих пор не описал даже одного дня Одноцветного. Этот день состоит из 86 400 секунд, и человек проживает их – одновременно – двумя миллиардами отдельных живых клеток, которые ежедневно избирают из своей среды и отщепляют от себя много миллионов клеток репродуктивных, каждая из которых, в свою очередь, способна стать полноценным человеком. Какая сумятица! Наши мысли прокляты – ибо обречены носиться по этому лабиринту. Мы поглощаем пищу, Ойстейн, и эта пища тоже каким-то образом действует внутри нас. Это молоко, это мясо, эти плоды... Стоит нам выпить кофе или алкоголь, и наши почки начинают более жадно высасывать из крови влагу... Я думаю, только бог мог организовать такое. Я верую в Бога, Ойстейн. Но я его ненавижу. Я бы хотел быть поэтом. Хотел бы описать это тварное существо: человека. Описать один день: 86 400 белых листов, на каждую секунду – по листу. В результате мало что удалось бы сказать. В результате было бы сказано что-то. Тогда, по крайней мере, нам уже не пришлось бы стыдливо прятаться друг от друга. Наш страх, вероятно, даже возрос бы. Страх перед секундами. И еще больший страх – перед смертью. Перед этой свинобойней. В своем безбрежном страдании мы бы занялись подведением жизненных итогов. Этих аббревиатур. 73 000 поцелуев может запечатлеть наш рот, прежде чем мы умрем. 210 900 000 000 сперматозоидов

выделяют на протяжении жизни наши чресла; семяизвержение происходит 3650 раз. 160 раз за счет поглощаемой пищи на нас полностью обновляется плоть – но не кости под ней, – пока смерть не заберет окончательно наше бренное тело. А прежде – эти 160 раз – мы уже сгнием вместе с гниющими остатками пищи. Выдохнем себя в воздух. Сожжем себя – и станем мочой, слезами, слюной. Неудивительно, что от нас исходит зловоние. Легко доказать: мы не можем не пахнуть плохо. Мы последыши. Мы – возвращение прежде бывшего. Мы часто в чем-то обвиняем друг друга, но совершенно безосновательно. Этот год, уже пролетевший, на веки вечные останется *Настоящим* и был *Настоящим* еще прежде, чем началась наша жизнь. Теперь просто подошел мой черед. В чем нет ничего примечательного. Примечательно лишь, что я *удержал в памяти* вот что: моими руками были убиты животные. Я любил этого Хокона. Для меня нет иного спасения, кроме как заставить себя думать: еще один год пролетел, солнце завершило свой круг, это время по капле стекло в вечность. Я могу спрессовать дни ушедшего года в секунды сна; после чего они уже не будут для меня мерилom. И пусть кто-то попробует предъявить мне обвинение за мой сон. Все люди, когда спят, видят сны. Сны омерзительные. Похотливые. Предательские. Безбожные. Сны двух биллионов клеток, в совокупности составляющих их Я. Сны их желез. Их желудка. Их ядовитого дыхания. Их целительных ран. Их болезней. В них *до сих пор* еще видят сны их предки, и в них уже видят сны их потомки. Есть известная история о человеке, который каждый день забывает прожитую им жизнь, потому что так устроен его мозг. Он забывает лицо возлюбленной, лица родителей, детей, друга, своего бога. Забывает книги и все их учения. Настоящее – вот питье, утоляющее его жажду; а часы, оставшиеся позади, для него как сплошной туман. Но ведь и все мы такие. В нашей памяти впечатления исчезают; потому что она как воск, который тает на солнце. Сегодняшний день и есть наша жизнь. Мы похожи на человека из той истории, который хоть и забывал все, но воспроизводил свои прежние поцелуи. Мы – точка в бесконечном круге». Так примерно я говорил. Говорил я много часов подряд. Мы пропустили ужин. Мы бы и не могли есть.

Когда у меня заболело горло, а в груди сделалось очень пусто, Ойстейн бросился передо мной на колени и начал мне поклоняться. Он почти кричал: «Ты – цветок без запаха. Ты – еще неведомая плоть, созданная по образу и подобию Бога». – «На протяжении последнего года, – сказал я, – и даже дольше, я каждый день плакал не меньше десяти минут. Подумай, какая тягомотина: кто-то проплакал в общей сложности три тысячи шестьсот пятьдесят минут. Его глаза выделили три с половиной литра слез – количество, сопоставимое с двухдневной работой почек. В общей сложности – 154 999 слезинок». Он обхватил мои ступни и заклинал меня прекратить эту тяжбу с самим собой. Я опять размяк, хотя прежде решил быть непоколебимым. Он говорил, что во мне одном сосредоточена вся красота мира, что привязанность к Хокону была ошибкой моего доброго сердца... Он сумел подвигнуть меня к тому, что я перед ним разделся. Но прежде – по моему велению – он завязал мне глаза, чтобы сам я ничего не видел. Он поклонялся мне – в этом моем обличье – еще более ревностно и дико, чем прежде. Он блаженствовал. Я же его не видел. Я сделал свои уши глухими. Я был праведником. Был не хуже места, где мы находились... Наутро я принял решение лишить себя жизни, если мне не удастся все забыть. Я сказал Ойстейну: «Возвращайся к своим родителям. Во мне завелась гниль. У меня уже нет сил быть самим собой». Он покинул наше имение. Я явился к тетушкам и сказал: «Коре должен исчезнуть. Он целовал меня. Я хочу это забыть». Работника прогнали. Я думал о проклятье, которое не позволяет нам стать *ничем*. Из нас может получиться что угодно, только не *ничто*; и секунды, часы, дни, годы суть лишь вариации одной и той же присущей нам формы существования. Меня могли избить, потому что меня уже били, прежде. Одно событие стало предвестием другого. Меня могли бы из-за моего преступления запрятать в тюрьму. Или я мог бы скончаться от болезней в ночлежке. Я мог бы оглохнуть и ослепнуть, потерять остроту восприятия, стать внутренне пустым. Мне, видимо, суждено до скончания веков отправлять свою душу в странствия, хотя этапы этих странствий не удерживаются моим сознанием... И еще я очень боялся. Испытывал страх перед одиночеством. И поставил себе цель: с одиночест-

вом примириться; потому что понимал, что в любом случае не сумею его избежать. Каждый день я повторял себе: это был сон, все это тебе приснилось. Однако такие самоуверенные оказались слабым средством. Чтобы справиться с одолевавшими меня страстями, слова надо было чем-то подкрепить. У районного ветеринара я выпросил бутылку хлороформа. Единственного наркотического средства, о котором я тогда знал. Ветеринару я сказал, что мне нужен растворитель. Он дал мне эту маслянистую жидкость. По вечерам, в тяжелые для меня часы, я накапывал ее на ватный тампон. Втягивал носом сладковатые испарения – пока *Настоящее* не проваливалось куда-то. Тогда ощущения и поступки, обусловленные половым созреванием, отодвигались в ту область, за которую я не нес ответственности. Противоречивые требования, предъявляемые мужским началом во мне, растворялись в полунаркозе, отсекавшем меня от собственного тела; тела, которое и загоняло меня в столь опасные авантюры. Я ставил над собой опыты, чтобы определить, какая из функций самости будет дольше сопротивляться этой чуме в моих легких: способность испытывать боль или сознание. Сознание оказалось сильнее. Я мог спокойно наносить себе ножевые раны: я уже их не чувствовал. Я был близок к тому, чтобы опуститься очень низко – чтобы меня смыло к каким-то неизлечимым болезням. Но тут наконец туман милосердно окутал мое прошлое. Осталось лишь понимание того, что во мне есть семя, хранилище которого я могу описать, а могу и уничтожить – когда мое отвращение к себе выплеснется за все границы.

Той ночью он признал себя *удушенным*, вырванным из жизни посредством яда.

Я лжец. Я желтый цветок посреди просторного луга. Я воняю. Желтым, желтым, желтым... Инакоокрашенных я вообще не видел. Только эту оголенную желтизну. Меня срежут косой, даже если я буду притворяться еще не раскрывшимся бутонем. Я мог бы быть одним из тех подростков, что убили друг друга. Ту *Историю о рабе* измыслил мой мозг. И *Решения великодушных* – тоже мое сочинение. Все это приукрашенные неправды, правда же в них – мой жалкий жизненный опыт. Вокруг, куда ни глянь, кичливая желтизна. Желтые меня

не осудят. Осудят Синие; и – Красные и Белые, которые, как говорят, невинны и благочестивы. Поклоняйся же Желтому Богу, сотворившему тебя желтым! Я лгал. Лгал. Хокон, я больше тебя не люблю. Ойстейн, я больше тебя не люблю. Зигне, тебя я люблю. О тебе думаю. Женщина, женская грудь...

Но он не знал, кто такие Синие, и Красные, и Белые. Он лишь надеялся, что Зигне – одна из Желтых, что она его поймет.

Душа – сентиментальная часть жестокосердной материи. Только потому, что умеем лгать, мы способны и плакать. Потому, что во сне (яд и противоядие) мы все забываем, потому, что воспоминания вытекают из нас, можем мы воспроизводить себя. Как медузы на морском берегу.

По ночам, долгими часами, он выдумывал форму и содержание девочки, с которой однажды играл. Черты ее лица выпали из его памяти. Теперь он создавал ее заново, черпая материал из ущелий-хранилищ своей отнюдь не парализованной духовной силы. Она росла в нем. Как и его желание. Он прибавлял к этому вновь надломленному старому Прошлому долгие годы разлуки. Гипотетические изменения во времени. У Зигне тоже с тех пор наверняка прорезалась грудь...

Цветы на лугу. Женский цветок, до которого я хочу докричаться.

Мысли о Лине: отправить вниз. Теперь-то он переживал нахальную, золотую любовь. В тысячу раз красивее рисовал он себе нового человека, чем можно представить его по зримым подобиям – другим людям. Потом опять – страстное желание принести себя в жертву, падение-возврат в привычный способ существования, в круговорот, в юдоль слез и вздохов. Новый Завтрашний, полный новых забот, которые, однако, стары как мир... Произносить молитвы. Шептать слово *богиня*. Страх, что его сочтут недостойным, пришедшим с пустыми руками. Быть побежденным, прежде чем начнется борьба. Придумывать параллели: *Слуга и служанка*.

Хокон, который брал мои деньги. Я должен себя расточать. Я должен возвести крепость против инакоокрашенных.

К ней поспешить, ее увидеть, ее бытие понять...

Это было бы преждевременно. Сперва я должен упорядочить свою ложь. Наполнить парашу слезами. Меня секли кнутом. Я лгал неумышленно. Я и сам себя истязал, чтобы все забыть. Теперь я разобью забвение и испачкаюсь. В своей испачканности я опять буду брэнной тварью, тем же Перрудьей, но меньше лгущим и меньше плачущим.

Он разыскал в сундуке адрес человека, одетого в черное; когда-то выдавшего ему на руки крупную сумму и пообещавшего дальнейшие выдачи. Перрудья ему написал и попросил приехать или хотя бы просто откликнуться на письмо. Уже через несколько дней после отправки письма Чужак, не известив Перрудью заранее, приехал в эту горную местность. Перрудья встретил его у крыльца и провел в комнату. Долгое молчание, после того как эти двое уселись друг против друга. Они друг друга рассматривали. Не то чтобы оцениваяще. Просто – не узнавая. У лесовладельца остался в памяти только схематический образ прибывшего: черный костюм, узкое безбородое лицо, острый взгляд. Теперь все это нужно переосмыслить. Вместо черного костюма – брюки в тонкую полоску. Ничего общего с костюмом для похорон. Все в этом человеке настроено на крайнюю сдержанность и вместе с тем поражает величайшей изысканностью. Безошибочный выбор. Похоже, он надел этот костюм в первый раз. Но столь непринужденно себя в нем чувствует, будто привык день за днем одеваться в новое. Перрудью удивляет, что Чужак отправился в горы в черных лакированных ботинках; и что ботинки эти нисколько не пострадали. Пальто легко переброшено через спинку соседнего стула, шелковой подкладкой наверх. Черная жесткая шляпа, темные перчатки лежат на сиденье. Из-за холодной сдержанности гостя лесовладелец чувствует себя не очень уверенно. Гость, наверное, больше чем вдвое старше его самого. Но этим преимуществом не пользуется. Робость перед старшим. Вдруг вспомнилось, что имя у гостя – английское. *М-р Григг. Секретарь.* Так (буквально) значится на письмах и документах. Младшему хочется, чтобы мистер Григг, раз уж он не готов на большее, хотя бы улыбнулся. Но англичанин достаточно корректен, чтобы скрыть улыбку, пусть даже она просится к нему на уста. Между тем, его пронизательные глаза по-прежнему устрем-

лены на хозяина, сидящего напротив: в новом коричневом кожаном костюме для верховой езды и в коричневых же сапогах с высокими голенищами, матово поблескивающих. На пальце левой руки – массивное серебряное кольцо с крупным аметистом. Стройный, с загорелым лицом и кистями рук, гладкими волосами; но губы бескровные. Из неуверенного в себе, диковатого подростка он превратился в мужчину. Григг чувствует что-то вроде прилива счастья. Но молчит. Утаивает и то, что сам он только секретарь, а вот сидящий перед ним – хозяин. Поступает так, потому что миссия его в том и заключается, чтобы утаивать правду под маской. Правда, под превосходной маской. Маской, сочлененной с сердцем. Что было специально оговорено, когда он только приступал к исполнению своего редкостного призвания...

Секретарь начал говорить. Для начала заметил: деловая часть разговора у них много времени не займет. Хозяин – как он предполагает – нуждается в деньгах. Это вполне понятно.

Перрудья нетерпеливо перебил его. Он сказал: да. Деньги очень нужны. Он не знает, имеет ли вообще право чего-то требовать. Для него это окутано мраком: какие претензии с его стороны допустимы, а какие – нет. На основании старых бумаг он, как ему кажется, вправе заключить, что просьба приехать к нему не была такой уж чудовищной дерзостью.

Секретарь сдержанно подтвердил это.

Хозяин продолжал: он понятия не имеет, на какие денежные средства может или имеет право рассчитывать. Он, дескать, в этом смысле блуждает в потемках. От него и нельзя ждать чего-то другого. Он чувствует здесь какую-то неувязку и просит более точных разъяснений.

Секретарь не стал подробно излагать ситуацию, уклонился, перевел разговор в иное русло. Но в конце концов все же сформулировал некий общий принцип, предупредив: остальное выходит за рамки его компетенции. По поводу всего остального он будет молчать. Принцип гласил: хозяин не должен опасаться, что какие бы то ни было предпринятые им действия приведут к иссякновению источника денежных средств. Таковой источник (учитывая, что деятельность чело-

века имеет конечную протяженность) можно считать практически неисчерпаемым. Если хозяину все же удастся этот источник исчерпать, то секретарь, в соответствии со своими должностными обязанностями, заблаговременно объявится и предупредит, что остался последний стакан животворной влаги. (Чтобы хозяину не пришлось мучительно погибать от жажды.)

В подтверждение того, что данное им объяснение делает дальнейшие умозрительные рассуждения излишними, говоривший положил перед Перрудьей толстую пачку банкнот, сказав, что на удовлетворение первоочередных потребностей этой суммы должно хватить. Еще прежде, чем восторженные изъявления благодарности могли бы сбить его с толку, он вытащил чековую книжку, с целью посвятить своего хозяина в тайны новой для того процедуры. Листы книжки были помечены номером банковского счета, открытого на имя Перрудьи. Секретарь помог хозяину – чтобы тот потренировался – заполнить один чек. По окончании этого урока учитель пояснил: хозяин спокойно может заполнить все листки, указав на каждой самую большую из напечатанных в левом нижнем углу цифр, – и оприходовать чеки. От этого его капитал не страдает. На сем финансовое заседание завершилось. Григг добавил еще, что в любое время готов к дальнейшим услугам. Но попросил: чтобы ему было позволено иногда задавать вопросы о тех или иных подробностях жизни Перрудьи.

Такие подробности вряд ли заинтересуют его гостя, приехавшего жить в большом городе, ответил Перрудья; хотя он и не берется судить о характере связывающих их двоих отношений.

Секретарь перебил его: для них обоих будет лучше, если они останутся чужими. Не следует без нужды осложнять жизнь друг другу. Вопросы, которые он, Григг, будет задавать, если Перрудья и пожелает на них ответить, не предполагают ответной откровенности. Сам Григг в любом случае обязан держиваться от каких-либо рассказов о себе. Григг, правда, признался: он очень беспокоился о Перрудье, когда тот зимой тяжело заболел и не мог получить врачебную помощь. Ему, Григгу, тогда было крайне трудно продолжать играть свою роль.

Что же конкретно известно его собеседнику, пожелал узнать Перрудья. Он, Перрудья, перенес болезнь в самый разгар зимы, совершенно отрезанный от людей, – неужели и об этом секретарь знал? Но тогда, значит, даже жизнь одинокого человека лежит, как раскрытая книга, еще и в какой-то второй точке мира?

Одетый-в-черное успокоил его. Он, дескать, просто прислушивался к тому, о чем судачат люди. Он не станет отрицать, что принимает участие в судьбе молодого человека, с которым связан доверительными отношениями; не затрагивающими, правда, личной сферы. Он ведь заботился о Перрудье, еще когда тот был младенцем. Любил его как мальчика. Он – его *управляющий*.

Перрудья понял – отчетливее, чем прежде, – что за речами этого человека кроется какая-то тайна. Возможно, отнюдь не враждебная по отношению к нему, Перрудье. Он предпочел истолковать наличие такой тайны в утешительном для себя смысле. Ему было приятно, что границы наконец стерлись, что на ощупь, на просвет выявились какие-то прежде скрытые от него факторы. Что все источники его существования, оказывается, гнали его к большой человеческой реке. Если прежде он чувствовал себя в присутствии Григга скованно, хотя тот вот уже второй раз осчастливил его богатством, то теперь этот лед недоверия начал таять. Речи Перрудьи уподобились скачущим по камням ручейкам. Один вопрос все еще мучил его: вправе ли он расточать без пользы доверенное ему богатство? Он попросил разъяснений на сей счет и рассказал о своих строительных планах. Умолчав о том, что послужило для них толчком. Секретарь похвалил его замысел. И показал себя опытным руководителем в таких делах. Он выписал для Перрудьи имена и адреса даровитых мастеров. Порекомендовал ему архитекторов, каменщиков, каменотесов, столяров, кузнецов, торговцев произведениями искусства, производителей фарфора, портных, ювелиров, шорников, литейщиков колоколов – из Англии и Германии. Всего за несколько минут открыл для него новый мир, который хозяин с удивлением и восторгом тут же, так сказать, рванул на себя. Лишь из уважения к приехавшему Перрудья допустил, чтобы разговоры их перемежались трапезами.

Они не заметили, как, наплывая с севера, начали сгущаться вечерние сумерки. В какой-то момент оба просто почувствовали, что глаза их теряют зоркость. Тогда Григг поднялся и стал прощаться. Перрудья сперва не хотел его отпускать. Предложил ему постель на ночь. Зажег много свечей. Объяснил, что человек, не знающий здешних мест, в темноте не найдет дорогу. Непременно заблудится. А кроме того, сон так же необходим людям, как еда и питье. Григг нашел-таки формальные контраргументы: улыбнулся – мол, он воспользуется более комфортной дорогой, чем предполагает хозяин. Показал на свои неиспачканные лакированные ботинки. Пощелкал пальцами – и свечи погасли. В общем, *стеклянное* объяснение – так что Перрудья предпочел до столь хрупких доводов даже и не дотрагиваться. Он лишь предложил себя в качестве провожатого. Но англичанин и второе предложение отклонил. Дескать, никакой необходимости в этом нет. Они расстались с крепким рукопожатием, но довольно формально. Лесовладелец смотрел вслед уходящему и не мог не заметить, что тот направился в сторону горной гряды. Постичь причину такой странности он не мог. И просто принял ее к сведению, отбросив первоначальное опасение, что гость его сбился с дороги. Он ощущал в Григге потаенные могучие силы, что превращало недоверие к этому господину в помои. Желание поспешить на помощь угасло, наткнувшись на невидимую преграду тайны. На неназванные обязательства. На застывшую маску. Чувство близости с только что покинувшим его гостем снова из Перрудьи *вытекло*.

Перевод Татьяны Баскаковой

Джеймс Парди
ВЕЧЕРИНКА У ЛИЛИ

Когда Хобарт вошел в дверь «Домашней столовой Кроуфорда», его взгляд сразу упал на Лили, которая сидела одна за большим дальним столом и ела кусок торта.

– Лили! Не говори ничего! Ты должна быть в Чикаго! – воскликнул он.

– Кому это я должна? – Лили выронила вилку, и та мгновенно вонзилась в торт.

– Да будь я проклят, если... – промямлил Хобарт, выдвигая стул из-под стола, и без приглашения сел. – Все решили, что ты уехала к Эдварду.

– Эдвард! Да я бы ни за что в жизни к нему не уехала. И, по-моему, ты об этом знаешь! – Лили никогда не проявляла свой гнев открыто, и хотя сейчас она сердилась, это вовсе не мешало ей лакомиться тортом.

– Ну Лили, тебя же не было, вот мы и подумали, что ты уехала в Чикаго.

– Я отдала твоему брату Эдварду два лучших года своей жизни, – Лили говорила очень сухо, точно давая повторные показания в суде. – И не собираюсь искать его, чтобы получить еще раз то, что он мне дал. Возможно, ты забыл, что я получила от него, но я-то помню...

– Но где ты была, Лили?.. Мы все обыскались! – Хобарт упрямо гнул свое.

– К твоему сведению, Хобарт, все это время я была здесь, – при этом она слегка рассеянно изучала его рот. – Но что касается твоего братца Эдварда Старра, – продолжила Лили и замолчала, по-прежнему рассматривая его рот, словно обнаружила там какой-то изъян, который до этого ускользал от ее внимания. – Что же касается Эдварда, – начала она вновь, а затем остановилась и осторожно стукнула вилкой по тарелке, – могу тебе сказать, что он – самая жалкая пароч-

дия на мужа. Если помнишь, он ушел от меня к другой, и по его недосмотру умер мой малютка... Поэтому я не желаю оглядываться на Эдварда и не собираюсь ни в какой Чикаго, чтобы воскрешать воспоминания...

Она перестала рассматривать рот Хобарта и выглянула в широкое фасадное окно, в котором полная октябрьская луна уже начала свой вечерний восход.

– Признаюсь, поначалу мне было одиноко: мой малютка лежал в могиле, и я скучала даже по такой пародии на мужчину, как Эдвард Старр, но поверь мне: вскоре это прошло.

Доев торт, она положила вилку, оставила немного мелочи на голом белом ясеневом столе, а затем, закрыв кошелек, вздохнула и тихо встала.

– Знаю лишь, – начала Лили, теребя застешку на кошельке, – что теперь я обрела покой... Как тебе, возможно, известно, преподобный отец Макгилеад показал мне путь к свету...

– Я слышал об отце Макгилеаде, – сказал Хобарт столь резко, что она уставилась на его, пока он придерживал для нее дверь-ширму.

– Уверена, что ты слышал только хорошее, – парировала она хоть и не рассерженно, однако неуравновешенно.

– Я проведу тебя домой, Лили.

– Не стоит, Хобарт... Спасибо, и доброго вечера.

Он заметил, что она не красит губы и не носит обручального кольца. Лили выглядела моложе, чем в бытность женой Эдварда Старра.

– Ты говоришь, что обрела с этим новым проповедником покой, – сказал Хобарт вдогонку ее удаляющейся фигуре. – Но, несмотря на этот душевный покой, ты ненавидишь Эдварда, – настаивал он. – Все, что ты говорила мне сегодня, пропитано ненавистью.

Она ненадолго обернулась и на сей раз посмотрела ему в глаза:

– Я найду свою дорогу, уверяю. Наперекор тебе и твоему братцу.

Он стоял перед дверью столовой и смотрел, как она спустилась по залитой лунным светом тропинке к своему дому в лесной чаще. Его сердце бешено колотилось. Хобарта окру-

жали поля, хлеба и высокие деревья; плывущая королева небес осталась единственным настоящим светилом, после того как он свернул за столовую. По этой узкой тропинке не ходила ни одна живая душа, если не считать влюбленных, изредка выбиравших ее для свиданий.

«Как ни крути, Лили – загадочная женщина», – вынужден был он признаться самому себе. Откуда же тогда взялся слух, будто она уехала в Чикаго? Тут Хобарту показалось, что она солгала и все-таки была в Чикаго, но только что вернулась.

Затем, вовсе не собираясь этого делать и едва ли отдавая отчет в своих поступках, Хобарт отправился вслед за ней на довольно большом расстоянии по залитой лунным светом дорожке. Через пару минут преследования он заметил, что некто сошел с распаханного поля. Это оказался высокий, все еще моложавый мужчина с выправкой, скорее, атлета, нежели фермера. Он помчался навстречу Лили. Затем оба на минуту остановились и, после того как незнакомец нежно потрогал ее за плечо, пошли дальше вместе. У Хобарта бешено забилося сердце, застучало в висках, губы покрылись налетом, а рот наполнился слюной. Он не стал идти за ними прямо по дороге, а прокрался в поле и преследовал сбоку. Иногда эти двое останавливались, и казалось, будто незнакомец готов покинуть Лили, но затем, сказав что-то друг другу, они продолжали путь вместе. Хобарту хотелось подобраться поближе, чтобы подслушать, о чем они говорят, но он боялся разоблачения. Во всяком случае, он удостоверился в одном: мужчиной, шагавшим рядом с Лили, был не Эдвард, а также убедился, что, кем бы тот ни был, это ее любовник. Только любовники могли так идти – то слишком удаляясь друг от друга, то слишком тесно прижимаясь: дыхание их казалось неровным, а тела тяжело покачивались. Да, Хобарт понимал, что скоро увидит, как они занимаются сексом, и поэтому шагал нетвердой походкой, почти спотыкаясь. Он лишь надеялся, что сумеет обуздать свои чувства и ничем не выдаст себя.

Наконец, увидев, как они свернули к ее коттеджу, Хобарт попытался найти в себе силы уйти, возвратиться домой и забыть Лили, забыть своего брата Эдварда, которого она, несомненно, «обманывала» на протяжении всего замужества

(даже у него однажды случилась близость с Лили, пока Эдвард был в отлучке, поэтому Хобарт вечно гадал, не является ли отцом ребенка, которого она родила в браке, но коль скоро мальчик умер, больше не хотел об этом думать).

Коттедж Лили пользовался определенной славой. В округе не было других домов, а окна ее гостиной выходили на густой лес. Здесь она могла заниматься чем угодно, и никто бы ни о чем не узнал, если бы только не встал перед большим окном почти во всю ширину ее комнаты: впрочем, заглядывать внутрь мешала листва, а порой и плотный туман.

Хобарт понимал, что этот человек, кем бы он ни был, пришел сегодня не для того, чтобы учить ее Христовой любви, а дабы предаться любовной страсти. Хобарт слышал о молодом проповеднике – преподобном отце Макгилеаде; ему рассказывали о его «особых» молебнах и намекали, что священнослужитель полон нерастраченной энергии. Люди говорили, что он слишком громко кричит на проповедях, а вены у него на шее готовы лопнуть от напора струящейся крови.

Хобарт занял наблюдательный пост под прикрытием большого хвойного дерева и вовсе не удивился, когда мужчина, которого он считал молодым проповедником, обнял Лили. Но затем случилось непредвиденное, почти невообразимое: с ловкостью профессионального гимнаста проповедник вмиг сбросил с себя одежду и остался в чем мать родила посреди ярко освещенной комнаты. Сама Лили оцепенела, точно мышь при внезапном появлении змеи. Она смотрела невидящим взглядом и даже не пыталась помочь мужчине, пока тот ее раздевал. Но, судя по тому, как непринужденно он себя вел, они наверняка проделывали это и раньше. «Да, – признался себе Хобарт в безопасной тени дерева, под которым стоял, – обычно любовники делают это постепенно». Он рассчитывал, что молодой проповедник поговорит с ней хотя бы четверть часа, затем возьмет за руку, потом, возможно, поцелует и, наконец – ах, как медленно и возбуждающе (по крайней мере, для Хобарта)! – разденет и привлечет к себе.

Однако это гимнастическое выступление привело наблюдателя под хвойным деревом в полное замешательство. Во-первых, огромные размеры полового органа проповед-

ника, вздувшиеся на нем вены и непривычная воспаленная краснота напомнили Хобарту сцены, виденные при работе на ферме. Он также вспомнил хирургическую операцию, совершенную по необходимости в маленьком и тесном кабинете врача. Тут проповедник толкнул Лили к стене, решительно набросился и проник в нее. Глаза у мужчины завращались, словно его затягивали в какой-то всасывающий аппарат, а изо рта внезапно полилась невероятно обильная слюна, и он стал похож на человека, надувающего огромный воздушный шар. Его шея судорожно изогнулась, а соски напряглись, точно их подвергали ужасным пыткам.

В эту минуту Хобарт, не осознавая своих действий, вышел из укрытия, шагнул к окну и замахал руками, словно оставившая грузовик. (Позже Лили признавалась, что и впрямь решила, будто кто-то с двумя белыми флажками в руках зовет на помощь.)

Пронзительный крик разоблаченной Лили разбудил округу, и множество сторожевых псов залаяли по соседству, точно поднятые по тревоге.

— За нами подглядывают! — наконец вымолвила она, а затем трижды какофонически вскрикнула. Но проповедник, стоя спиной к окну и точно страдая неким тяжелым физическим недугом, мог сосредоточиться лишь на потребностях своего тела, и хотя Лили пыталась вырваться, он лишь плотнее прижимался к ней. Тогда ее вопли усилились и, наконец, сравнялись по громкости с лаем сторожевых псов.

Даже Хобарт, наверное, столь же дезориентированный, как и эта парочка, начал тихо вскрикивать, продолжая напрасно махать руками.

— Нет, нет и нет! — Лили все же удалось подобрать и выдавить эти слова. — Кто бы вы ни были, уходите сейчас же!

Теперь Хобарт подошел прямо к окну. Перестав махать, он прижался носом и ртом к стеклу.

— Это я, — крикнул он успокаивающе. — Хобарт, брат Эдварда Старра! Вы разве не видите? — он совершенно не понимал, что теперь делать или говорить, но подумал: так сильно напугав и испортив им все удовольствие, он должен назваться и объяснить, что не собирался причинить им вреда. Однако его

обращение еще больше испугало Лили, а ее молодой партнер забарахтался, словно тонул на глубине.

– Это Хобарт Старр! – воззвал к ним соглядатай, решив, что, возможно, они приняли его за взломщика.

– Боже милостивый, – вздохнула Лили. – Если это ты, Хобарт Старр, пожалуйста, уходи. Имей хоть немного приличия... – тяжело дыша, она пыталась закончить фразу.

В эту минуту проповедник разорвал верхнюю часть платья Лили, а ее груди и соски глянули на Хобарта, будто встревоженные детские личики.

– Я войду в дом объяснить! – прокричал им Хобарт снаружи.

– Ты не посмеешь! Нет, нет, Хобарт! – заорала в ответ Лили, но незваный гость отпрянул от окна, споткнувшись о какие-то низкие кустики, и вскоре вошел в гостиную, где проповедник уже громко сопел, изредка даже повизгивая.

– Что на тебя нашло? – заговорила Лили, как вдруг проповедник припал ртом к ее губам и сдавленно завопил, при этом из живота у него доносилось урчание, похожее на барабанную дробь.

Хобарт уселся рядом со стоящей парочкой.

Проповедник наконец отвалился от Лили, рухнул на пол рядом с сидящим Хобартом и, выкрикнув что-то, словно захныкал. Лили по-прежнему стояла, прижавшись спиной и ягодицами к стене, и тяжело дышала, точнее, судорожно глотала воздух. Прекратив свои странноватые всхлипывания, ее партнер встал, оделся и, нетвердо держась на ногах, вышел в кухню. Со своего стула Хобарт высмотрел на длинном кухонном столе (такие обычно ставят в просторных школьных кафе) не меньше пятнадцати различных выпечек, которые Лили приготовила специально для завтрашнего церковного собрания.

Хобарт заметил, как проповедник сел за большой стол и отрезал кусок голландского яблочного торта. Его чавканье, в конце концов, привлекло внимание Лили, и она поспешила на кухню, пытаясь остановить священника.

– Один кусочек торта не испортит церковный пикник. Возвращайся в комнату и развлекай своего нового ухажера, –

огрызнулся проповедник, когда она хотела отобрать у него кусок торта.

– Должна тебе сказать, умник, что это не мой ухажер, а брат Эдварда Старра!

Пастор продолжал жевать.

– Этот торт, – сказал он, осторожно проведя языком по губам, – ты пересластила.

– Вы только послушайте его! – проворчала Лили и помчалась обратно в гостиную. Там она застыла, широко раскрыв глаза и беззвучно шевеля губами: перед ней стоял совершенно голый Хобарт, аккуратно складывая свои трусы.

– Ты не посмеешь! – наконец заявила Лили.

– Кто это сказал? – язвительно возразил Хобарт.

– Хобарт Старр, ты сейчас же пойдешь домой, – приказала ему Лили. – Потом я все объясню.

Вместо ответа он метнулся к ней и крепко прижал к стенке. Она попыталась схватить его всей пятерней за член, но Хобарт, вероятно, предвидел это и поймал ее руку, а затем дал пощечину. Потом он быстро вставил в нее половой орган и обильно заслонявил ее лицо. Лили машинально вскрикнула, – скорее, от ожидаемой, нежели от реальной боли, – словно под рукой нервного интерна.

По ее знаку Хобарт вскоре перенес ее через всю комнату, чтобы она могла видеть, чем занимается проповедник. Тот доел голландский яблочный торт и приступил к ревенному пирогу с решеткой.

– Тебе нравится наблюдать за ним, или, может, вернемся к стенке? – спросил Хобарт.

– Хобарт, умоляю, – запричитала она. – Отпусти, ну пожалуйста.

Тогда он вонзился еще глубже, и судя по ее гримасе, причинил боль.

– Ты ведь помнишь, Лили, я медленно кончаю. Да, я медлителен, но забочусь о тебе больше других. Сегодня на меня свалилось великое счастье. Понимаешь, невзирая на всех остальных, ты была суждена мне... Как ты податлива, Лили!

После этих слов она начала извиваться, пытаясь вырваться, но он крепко поцеловал ее и загнал свое орудие.

– Это чертовски несправедливо! – казалось, Лили не произносит, а выхаркивает слова. – Ральф, – крикнула она в сторону кухни, – иди сюда и наведи порядок...

Во время оргазма Хобарт так громко закричал, что пастор вышел из кухни. Он с большим трудом проглотил кусок, напомним Хобарту участника соревнования по поеданию тортов, и осуждающе глянул на совокупляющуюся пару.

Пару минут спустя, покончив с Лили, Хобарт начал одеваться, судорожно зевая и качая головой, тогда как Ральф вновь принялся упрямо и методично снимать с себя одежду, словно запасной или дополнительный игрок в каком-то изнурительном состязании.

– Хватит, нет! Я сказала: нет! – заорала Лили, видя, как на нее надвигается голый Ральф. – Я больше не хочу в этом участвовать.

Но он уже схватил ее и прижал к стенке еще плотнее, чем в прошлый раз.

Тем временем Хобарт стоял, пошатываясь, на пороге кухни. Он тотчас заметил, что проповедник съел два торта. Хобарт необъяснимо проголодался, но вместе с тем его тошнило: из-за этих двух ощущений он крутился вокруг кухонного стола, как угорелый. Наконец, уселся перед шоколадным тортом-безе и очень медленно, манерно отрезал маленький кусочек.

Лакомясь тортом, он подумал, что, несмотря на свой мнимый пыл, так и не получил удовольствия от совокупления с Лили. Почему-то оно потребовало напряженных усилий, и хотя ему казалось, что он сделал все как следует, чувства высшего облегчения Хобарт не испытал. Теперь он уже не удивлялся, почему Эдвард Старр бросил ее: Лили не способна удовлетворить мужчину.

Съев почти половину шоколадного безе, Хобарт предположил, что парочка уже, наверное, оргазмировала: он услышал хриплое дыхание, а затем до него, как и прежде, донесся воинственный клич проповедника, исполненный облегчения. Лили тоже закричала, словно взывая к горе за окном: «Я умираю, умираю!» Чуть позже она истерично взмолилась к кому-то или чему-то неведомому: «О, я не могу так отдавать-

ся!» Затем, примерно через секунду, Хобарт услышал свое имя и мольбу Лили о спасении.

Хобарт вытер скатертью рот и пошел взглянуть на них. Лили и Ральф плакали, свободно держась друг за друга, а затем оба поскользнулись и упали на пол, не прерывая соития.

– Черт возьми, ну вас к лешему! – с отвращением сказал Хобарт.

Он отвернулся. В самом конце стола красовался весьма соблазнительный торт – с темно-коричневой корочкой и золотистым соком, вытекающим из причудливых, симметрично расположенных отдушин, как в газетной рекламе. Хобарт вонзил в него нож и попробовал крошечный кусочек. У торта был такой изумительный вкус, что, хотя Хобарта и подташнивало, он не удержался и, отрезав себе ломтик, начал торжественно жевать. Торт был абрикосовый или, возможно, персиковый – но Хобарт не мог установить точно.

Тут в кухню вошла Лили и завертелась вокруг огромного стола. Она уже оделась и уложила волосы иначе, так что они казались теперь подстриженными и причесанными: впрочем, пара выпущенных локонов на затылке ей вовсе не шли, хотя и оттеняли белизну шеи.

– Как, ты съел половину выпечки для церковного собрания? – воскликнула она, разумеется, немного завывсив цифру. – После моего каторжного труда! Что же я скажу проповеднику, когда он придет за ними?

– Но разве проповедник не здесь? – Хобарт махнул вилкой в сторону соседней комнаты, намекая на человека по имени Ральф.

– Разумеется, нет, Хобарт... Это не проповедник, неужели ты не способен отличить...

– И почему мне это взбрело в голову? – пробормотал Хобарт, а Лили уселась за стол и заголосила.

– Из всех черствых, эгоистичных, невнимательных молокососов на свете, – говорила она сквозь всхлипы, – мне довелось встретить именно вас двоих, когда в моей жизни наконец-то появилась четкая цель.

Стоя теперь на пороге кухни, по-прежнему голый Ральф рассмеялся.

– Я намерена вызвать шерифа! – пригрозила Лили. – И знаете, что я сделаю завтра утром? Я вернусь к Эдварду Старру в Чикаго. Вот так. Теперь-то я понимаю, как сильно он меня любит, а я даже не догадывалась.

Оба мужчины молчали, украдкой переглядываясь, а Лили рыдала без остановки.

– Ах, Лили, – сказал Хобарт, – даже если ты поедешь по-видаться с Эдвардом, то снова вернешься домой к нам. Ты ведь знаешь, что не получишь в Чикаго такой же любви, какую мы даем тебе здесь.

Лили плакала навзрыд, повторяя, что никогда не сможет объяснить прихожанам, почему пожертвовала так мало выпечки для большого собрания.

Утерши слезы носовым платком, который одолжил ей Хобарт, она взяла нож и с неистовым рвением, со злобной быстрой отрезала кусок нетронутого торта.

Лили размашисто облизалась, чтобы показать, как вкусно.

– Уеду в Чикаго и больше никогда не вернусь! – сделав это заявление, она вновь разрыдалась.

«Проповедник» (Хобарт по-прежнему называл его так) подошел к жующей, плачущей Лили и положил ладонь в ложбинку между ее грудями.

– Только не начинай опять, Ральф... Нет! – она вспыхнула. – Нет, нет, нет!

– Хочу все сначала, – обратился к ней Ральф. – Твои ласки возбудили меня.

– Эти выпечки и впрямь чертовски хороши для церкви, – наконец сказала она с капризным, зловещим лукавством, и по ее интонации Ральф понял, что она готова отдаться ему.

– Хобарт, – Лили повернулась к брату Эдварда, – почему ты не идешь домой? Мы с Ральфом давно дружим – с самого детства. Я уже уделила тебе внимание. Но люблю я Ральфа.

– Сейчас моя очередь, – запротестовал Хобарт.

– Нет-нет, – Лили вновь заплакала. – Я люблю Ральфа.

– О черт, ну дай ему последний разок, Лили, – сказал «проповедник».

Ральф отошел и принялся вертеть в руках еще один неразрезанный торт.

– Признайся, Лили, кто тебя научил готовить? – сонно спросил он.

– Ральф, я хочу, чтобы ты отправил Хобарта домой. Я хочу, чтобы ты был со мной – в постели. У стенки – это возмутительно. Ральф, сейчас же отправь Хобарта домой.

– А может, дашь этому парню еще разок? Потом я точно оприходу тебя наверху, – он продолжал громко жевать и глотать.

– Пошел ты к черту, Ральф, – вздохнула Лили. – К чертовой матери!

Она подошла к огромному столу, взяла ближайший торт и бросила его в «проповедника».

Его глаза, выглянувшие из месива, в которое превратилось его лицо, не на шутку испугали ее. Она отошла к Хобарту и стала ждать.

– Ну хорошо, Лили, – сказал «проповедник».

– Только не делайте ей больно, – взмолился Хобарт, тоже напуганный его изменившимся поведением.

Первый торт, брошенный «проповедником», попал не в Лили, а в Хобарта. У него перехватило дыхание, но не от боли, а неожиданного удовольствия.

– Сейчас же прекратите. Мы обязаны это прекратить, – призвала Лили. – Мы же взрослые люди, в конце-то концов, – она всхлипнула, но мужчины почувствовали наигранность. – Гляньте на мою кухню, – попыталась она их образумить.

«Проповедник» снял короткие трусы, которые надел пару минут назад. Он взял сначала один торт, затем другой и размазал их по всему телу, даже по волосам на голове. Лили разрыдалась теперь всерьез и уселась, словно собираясь предаться рыданиям. Неожиданно в нее попал торт, она взвизгнула, а потом замолчала.

В комнате воцарилась непривычная тишина. Подняв голову, Лили увидела, что Хобарт тоже полностью разделся, а «проповедник» медленно и нежно размазывает торты по его худому мускулистому торсу. Затем Хобарт начал медленно и неумолимо слизывать кусочки торта с тела испачканного «проповедника». Тот ответил ему взаимностью и слизал кусочки торта с Хобарта, громко чавкая, точно дикий зверь. Затем

они обнялись и снова принялись слизывать торты со своих обнаженных тел.

– Только не в моем доме! – Лили встала и рявкнула на них. – Мерзавцы...

Но «проповедник» бросил в нее один из оставшихся тортов, который угодил ей прямехонько в грудь и разбрызгался красным по всему лицу и телу, так что теперь она напоминала женщину, взорванную бомбой.

Тут Ральф очень нежно обнял Хобарта и покорно слизал лакомые кусочки с его тела, а Хобарт прильнул к Ральфу и собрал языком целый ассортимент различных тортов.

Затем Лили выбежала через парадную дверь и завопила: «На помощь! Умираю! Помогите!»

По всей округе бешено залаяли псы.

Она очень быстро вернулась. Мужчины по-прежнему прижимались друг к другу, слизывая кусочки со своих измочаленных тел.

Со слабым, почти неслышным плачем усевшись за стол, Лили схватила вилку и принялась за кусок недоеденного яблочного пирога.

Перевод Валерия Нугатова

БРЭВИС

Мойра забрала Брэвиса из ветеранского госпиталя, хотя все говорили ей, что это без толку, а, коли ему сделается хуже, она и будет виновна в его смерти. Поправиться ему все равно не суждено, твердили люди, так что зря она хлопочет. Но Мойра была его бабушкой, не забудьте, так что она взяла Брэвиса в Флемптон, где у нее был хороший участок у самой рощи. Речка под боком и леса вокруг, а город всего в какой-то миле на запад, если по проселочной дороге, а по ней пройти – одно удовольствие.

Брэвиса на войне совсем изрешетило, так сказали люди в госпитале: то ли пулями, то ли осколками, то ли всем сразу.

Брэвис редко говорил. Спросишь о чем, а он моргает и на ногти глядит.

Мойра и не догадывалась, как он плох, пока внук не пробыл у нее с неделю, а там и сокрушаться было поздно. Наверняка пришлось ей погоревать, что взяла его из госпиталя, но если и жалела она иной раз, никогда ни с кем чувствами своими не делилась.

Ее двоюродный брат Кит заходил иногда, качал головой, но ничего не говорил и, недолго просидев, удалялся. Родители Брэвиса уже покинули этот свет и так давно, что их успели позабыть. Задолго до войны они умерли. Мойра была бабушкой Брэвиса с материнской стороны. Когда Брэвис был маленький, Мойра его не очень хорошо знала. А теперь не понимала, как с ним обходиться: начать с того, что он не контролировал кишечник и, куда бы ни пошел, брал с собой рулон туалетной бумаги.

После того, как он немного пожил у нее, ему вроде бы стало хуже, но Мойра и слышать не хотела о том, чтобы опять вернуть его в больничную палату.

Почти все время Брэвис тихонько сидел на старинном, переделанном кресле-качалке и смотрел через дверной проем на рощицу за домом.

У него был на удивление хороший аппетит, так что Мойра много времени тратила на стряпню.

«Если я и ошиблась, – так начала она письмо своей сестре Лили, жившей в десяти милях, – я на попятный не пойду, буду стоять на своем, а люди пусть болтают, что им вздумается». Отчего-то она чувствовала, что закончить письмо не сумеет.

Брэвису нравилось ходить на почту и отправлять ее письма, так что лучше уж написать что-то другим родственникам, а он отнесет казенную открытку на главпочтамт, прихватив рулон туалетной бумаги. Именно эта его привычка, а не то, что случилось потом, и заставила людей судачить. У Мойры не хватало духу сказать Брэвису, чтобы не носил с собой рулон, да и знала она, что без бумаги ему не обойтись.

«Если он столько всего сделал ради своей страны, отчего люди не могут отвернуться, если видят, что он идет?» – написала она Лили.

– Брэвис, зайди, посиди. Пусть твои бедные ноги отдохнут, – сказала Мойра ему как-то раз, когда он ради нее сходил

на почту в знойный августовский день. – Ты весь горишь: шел по такой жаре!

Она попыталась забрать у него туалетную бумагу, но он вцепился и не отдавал.

И после этого уже никогда не выпускал рулон из рук – и за обеденным столом, и когда сидел на крыльце и глядел на лес, и когда ходил на почту.

Мало-помалу она стала замечать, что все поры на его теле медленно исходят влагой, и нельзя сказать, что он больше не думал словами или не слышал слов, нет, но он был полностью поглощен тихими звуками, наподобие шепота, поднимавшимися из влажных частей у него внутри, а внутренности, израненные и изувеченные, принялись бережно покидать его, и казалось, что все, скрытое в нем, в один прекрасный день мирно выйдет наружу, так что нутро и кожа сольются в одну влажную массу. Мойра уразумела это и не спускала с него глаз, если, конечно, он не уходил на прогулку. Но она все равно не жалела, что взяла его из ветеранского госпиталя. Не согласится она, что это ошибка, не вернет его обратно. Нет, он ей родной, единственный человек на свете, кто считается с ней, и до конца его дней она останется рядом.

Она всегда говорила, что, когда он пару раз в неделю поднимал на нее взгляд и произносил «Мойра», для нее это лучшее вознаграждение. Это означает «спасибо», думала она, вот что это значит, и даже любовь. Его глянцевого каштановые волосы и борода, густая, как звериная шерсть, постоянно омывались струями пота. В такие минуты она трогала его волосы, и рука ее становилась мокрой, точно она выжимала швабру. Злосчастия, которые перенесло его тело, не сказались на волосах: они, можно сказать, расцвели. Ни волосы, ни бороду никогда не подстригали по нынешней моде.

Проведя с Брэвисом несколько ночей, она сообразила, что он не спит. Она и сама спала очень мало, но под утро на два-три часа погружалась в дрему. Мысль, что он не спит вообще, потрясла ее спокойный рассудок пуще всего остального. И все же она не сожалела о своем поступке. Она владела этим домом, землями вокруг, а Брэвис был от ее плоти и крови, и ради него она готова была что угодно сделать. Кроме того,

она вообще не хотела, чтобы он лежал в госпитале для ветеранов, это ее кузен Кит устроил. Она отменила его задумку – вот отчего Кит так на нее злился.

Все началось в тот день, когда она навещала Брэвиса в госпитале, солнце как раз собиралось садиться. В его отделении никого не было, только черномазый мыл пол. Она взяла руку Брэвиса и, сжав ее, заговорила, словно умоляя на коленях: «Брэвис, ты выберешь бабушкин дом или хочет жить тут? Скажи мне честно». Он глядел на нее, точно малое дитя, встревоженное среди ночи sireнами пожарных. Смутился, но пытался сосредоточиться на ее словах, долго молчал, а потом произнес: «Бабушкин дом» и кивнул несколько раз.

Так что, вопреки всем советам, инструкциям и мольбам, невзирая на мнение докторов и медсестер, которые говорили с ней и даже кричали на нее, она забрала его к себе. Одна сестра дала ей рулон туалетной бумаги, и они с Брэвисом ушли. Мойра была ошарашена и не могла отказаться от рулона, а Брэвис, словно уловив ее смятение, взял у нее бумагу, как подарок, и они пошли по длинному маршу белых чисто вымытых ступеней к грузовичку мистера Квиса, а потом приехали домой.

«Знаю, конечно, что меня будут осуждать, – закончила она открытку Лили в тот день, когда привезла Брэвиса, – но я чувствую, что получила послание от его родителей с небес. Хочу перед смертью сделать что-то для мальчика».

Стоило ей написать эти слова, и она увидела, что Брэвис, словно повинувшись телепатическому сигналу, ждет открытку, чтобы отнести на почту.

Иногда Лили телефонировала ей из Ист-Портиджа. Во время этих разговоров Брэвис, с которого бабушка не спускала глаз, садился в кресло-качалку и, положив рулон туалетной бумаги на колени, качался и качался непрерывно. Даже со своего места в соседней комнате она видела, как влага выходит из его кожи и волос.

– Он выложился весь, – Мойра снова и снова возражала по телефону Лили. Когда она произносила эти слова, Брэвис поглядывал на нее, и нечто неясное, слабое подобие улыбки, скользило по его губам. На его лице никогда не появлялось понятного выражения – если таковые и были, они, должно

быть, хранились в глубинах его внутренностей, толкавших и рвавшихся наружу, желавших развернуться простыней, что покрывает его кожу и волосы.

Порой заходил кузен Кит, но дальше веранды не ступал и всегда настаивал на одном:

– Хотя бы пристойности ради, – говорил Кит, – верни его обратно в больницу.

– Они для него ничего не делали, – спорила с Китом Мойра.

Когда они с Китом говорили на веранде, Мойра то и дело с беспокойством заглядывала в дом. Она слышала, что кресло Брэвиса качается все быстрее и быстрее.

– У него есть право умереть рядом с родными, – твердо заявила Мойра Киту, и Кит после этого встал и уехал взбешенный.

Вернувшись в дом, Мойра взяла руку Брэвиса, но тот резко выдернул ее и снова вцепился в рулон туалетной бумаги.

На самом деле руки его замирали, только когда касались рулона. Эти рулоны для него как снотворный порошок, думала она. Казалось, он спит, когда они лежат на его колеблющейся груди.

В кухонном шкафчике у нее хранился изрядный запас бумаги. Рулоны были разных цветов, но на такие мелочи Брэвис внимания не обращал.

– Все самое лучшее для тебя, Брэвис, – иногда говорила она громко. А потом добавляла потише: – Все самое лучшее для моего любимого.

Она чувствовала, что он слышит ее, хотя и сообразила, наконец, что слышит, чувствует и знает он лишь послания, которые нескончаемая влага, текущая внутри, доверяла ему, эти ручейки крови и лимфы, излияния его артерий и вен, что перешептывались и извещали о невосполнимом ущербе, разрухе и грядущем кошмаре.

Как-то раз, когда она мыла ноги Брэвиса в тазу, на улице все стихло, не проехала ни одна машина, и Мойра, несмотря на слабость слуха (она была глуховата на одно ухо), вдруг стала прекрасно понимать звуки у него внутри. Она застыла на миг, недоверчиво, в страхе, и в то же время с долгожданной

радостью, что способна разделить его знание. Старательно прислушивалась и уловила довольно много идущих изнутри бесчисленных звуков, которые он слышал постоянно. Теперь ей все стало ясно. Их глаза коротко встретились, и вроде бы он кивнул ей, давая понять: он знает, что она услышала звуки и поняла их. Мойра сжала его ступни. Так их близость стала еще крепче.

Она перетасила свою койку в его комнату, и теперь они лежали по ночам без сна, слушали его тело и ждали дня, или, быть может, ночи, когда произойдет страшное событие.

Теперь он совсем не говорил, а она иногда напевала вместо того, чтобы выговаривать обычные слова, лишь изредка произносила: «Вот это славно, очень славно. Попробуй-ка бараний бульон».

Голоса его внутренностей что-то сотворили с ней. Она и раньше все это знала, пока была матерью, бабушкой, но, услышав тело молодого человека, юноши, который и пожить-то толком не успел, Мойра на какое-то время перестала что-либо делать.

Мало-помалу вернулась к домашним делам, но все уже было не таким, как прежде.

Мистер Квис, который помог привезти Брэвиса домой, теперь снабжал их хлебом и прочими продуктами, в том числе свежими овощами. Он всегда ожидал на веранде, когда Мойра выйдет и заберет еду.

Брэвис пробовал всё, что она готовила, но большую часть выплевывал в миску, стоящую возле стола для этой цели. Правда, его аппетит не пострадал. Пока он ел, они с Мойрой ненароком слушали звуки, исходящие из глубин его тела.

Вскоре они совсем перестали разговаривать, разве что Мойра сама себе давала команды – например, говорила: «Сегодня вечером надо постирать все твое исподнее. И придумать новое блюдо, чтобы порадовать тебя, Брэвис, а то я совсем разучилась стряпать».

Тут Брэвис кивал, и его кивки были для нее как тысячи улыбок.

– Тут лучше, чем там, где ты был? – допытывалась Мойра, почти срываясь на крик.

Брэвис смотрел на ее рот – точнее, на подбородок. Она повторяла вопрос. Словно откликаясь, шум его тела нарастал.

Они стали выходить в сад, и он наклонялся, собирал несколько семян черной настурции и держал в руках. Ночью, когда ему надоедало сжимать туалетную бумагу, он играл с семенами.

Однажды они лежали рядом во мраке, и Мойра громко заговорила. Она спала так же мало, как Брэвис – в сущности, вообще не спала. Заговорила она так громко, что ветер унес ее слова через окно во двор:

– Брэвис, меня ругают за всё. А я жалею лишь об одном: что не смогла забрать тебя раньше. Слышишь? Только это и надо было сделать, только это...

Вскоре его волосы и чело покрылись жирными бусинками влаги. Она часто думала, что все время тратит на то, чтобы вытирать с его лба жидкость, тут же появляющуюся вновь. Ей пришло на память, как давным-давно приходилось ездить в машинах без дворников, и снег, дождь и морось беспрепятственно пятали стекла. Автомобиль останавливали, чистили ветровое стекло, но все без толку.

– Я и объяснить не могу, как это важно, что ты со мной, – говорила Мойра, вытирая его лоб среди ночи, – я ведь ничего не делала, пока тебя не было, – продолжала она. – Кузен Кит и моя родная дочь приходили сюда и сразу думали, что надо поскорее смыться. Я говорила им все, что знаю. Они слушали мои рассказы, пока им не становилось тошно, даже если я просто говорила о том, какая на дворе погода. Я им осточертела, но ты, Брэвис, позволил мне поделиться с тобой тем, что у меня осталось.

Отговорив, она вытерла его лоб почти насухо, но тут накатил еще одна волна влаги, и всё снова стало мокрым.

– Мой дорогой внук, Брэвис, – шепнула она так тихо, что он не мог услышать.

После долгого молчания продолжила:

– Мои слова интереснее мистеру Квису, чем моей дочери и сыну. А кузен Кит меня вообще не слушает.

Его лоб намокал, а телесные голоса начинали говорить настойчиво, властно. Она чувствовала, что они причитают о чем-то отобранном у него, и Брэвис теперь

не глотал то, что разжевал и распробовал, а выплевывал сразу.

Так они с Мойрой слушали властные звуки, возникающие у него внутри. Бабушка и внук все глубже погружались в молчание, точно сидели перед политическим оратором или проповедником слова Божьего.

Как-то утром, выбираясь из полудремы, Мойра услышала шум у камина. Она позвала Брэвиса, но поняла, что он вряд ли расслышит: гул его крутящихся внутренностей заглушал все прочие звуки.

Она вошла в соседнюю комнату и увидела, что Брэвис засунул голову в трубу. Камин был высокий, и Мойра видела даже рот и часть носа, поскольку стоял Брэвис не очень прямо.

– Брэвис, что стряслось? – она пригнулась, чтобы заглянуть ему в глаза. – Тебе там удобнее, милый мальчик?

Прошло немало времени, прежде чем Брэвис вылез из трубы. Он выглядел счастливее, и это порадовало Мойру. Они пошли на кухню, и она приготовила ему завтрак.

И тут, наконец, поняла, что ей грозит, поняла, что, возможно, сделала ошибку, не послушав опытных медсестер и докторов, проигнорировав советы родни. Она вспомнила, что и ее добрый друг мистер Квис смотрел на нее недоуменно, а может и с осуждением.

И все же пересмотреть свое решение Мойра не могла. Она все сильнее чувствовала, что не откажется от Брэвиса. Прислушавшись к своему сердцу, понимала, что никогда еще не любила никого так беззаветно. Казалось, ее собственные внутренности вопиют в унисон с его утробой. И все же решила спросить его еще раз.

Осушая ему лоб, она прижала его голову к своей и произнесла:

– Слушай хорошенько, Брэвис, потому что Мойра хочет все сделать правильно. Не думаешь ли ты, что лучше вернуться в госпиталь? Скажи слово, и я сделаю, как ты хочешь.

Он не ответил, и в тишине она принялась расчесывать его волосы – мокрые, хоть выжимай.

– Скажи слово, Брэвис, и я сделаю, как тебе по вкусу.

Он не ответил, и она облегченно вздохнула, ибо его молчание означало, что вернуться он не хочет.

– Ты ведь не нашел в моих словах намека, что тебе лучше уйти? – обернулась она к нему. – Ради всего святого не думай так, Брэвис. Ты для меня желанней солнышка. Я всем тебе обязана, золотко.

Теперь она знала, что никогда больше не заговорит с ним о возвращении.

Он наверняка отозвался бы, если бы считал, что в таком состоянии лучше снова лечь в больницу.

Теперь по ночам он почти все время стоял в дымоходе, так что вскоре она перетащила свою койку в центр гостиной, чтобы находиться поближе. Было уже совсем неважно, но она не могла запретить ему стоять в камине, и в госпиталь положить его не могла.

Его болезнь пахла так, что никто их больше не навещал. Мистер Квис и тот подходил лишь к двери веранды, оставлял съестное на столике и удалялся. Кузен Кит не появлялся вообще.

Мойра часто шепталась с мистером Квисом в кладовке.

– Он выложился весь, мистер Квис, а я даю совсем немного в ответ на то, чем он пожертвовал, так-то вот.

Ей стало казаться, что Брэвис поселился у нее по собственной доброй воле, что она не вынуждала его переезжать сюда, на окраину Флемптона, а это он сам написал ей и спросил, нельзя ли к ней перебраться. Она никогда еще не ведала такого счастья, такого покоя, не занималась таким полезным трудом. Мистер Квис, хоть и не заходил в дом проводить Брэвиса, был само понимание. Он слушал. Он разумел, в отличие от кузена Кита, от ее сына и дочери. Мистер Квис не говорил ни слова поперек,

Теперь Брэвис отказывался вылезать из облюбованного дымохода. Он провел там целый день и целую ночь. Мойра понимала, что приближается страшный перелом, и все же не хотела звать врача или сообщать в ветеранский госпиталь. Брэвис пообещал ей остаться до последнего.

Мистер Квис появился, когда ужас был в самом разгаре. Вонь была нестерпимая, и он сказал, что останется, как обыч-

но, на веранде, а если она решит, что в этом есть смысл, зайдет помочь.

Брэвис начал царапать и скрести кирпичи, но вместо пыли, выходящей из дымохода, Мойра увидела волну пота, словно прорвало трубу, а следом хлынули настоящие реки крови.

Мойра умоляла Брэвиса вылезти из камина и прилечь на кровать, но звуки его тела тут же стали втрое громче. Даже мистер Квис слышал их на улице.

Порой Мойра выкрикивала имя Брэвиса, но гул механизмов у него внутри заглушал ее слова.

Потом его рот покрылся пеной, и она падала пушистыми хлопьями, точно с дешевого пива на жаре.

Мойра чувствовала, что должна поддерживать тело Брэвиса в трубе, ибо таково его желание.

Мистер Квис кричал с веранды, не надо ли помочь, но она либо не слышала его, а, когда все-таки слышала, была слишком занята и не могла ответить.

Кульминация приближалась, какой бы она ни была; «кончина», думала Мойра, вот подходящее слово. Его страдания достигли предела, и вот она тут, единственная родня, помогает в тяжелый момент. Ни одна медсестра, ни один врач не смогли бы сделать то, что делала она, и эта мысль укрепила ее и утешила.

— Скажи, мой милый мальчик, не должна ли я сделать что-то другое, не то, что я делаю, — вскрикивала Мойра, но звуки в его утробе заглушали ее голос.

Внезапно он высунулся из трубы и указал с диковинной величавостью на рулон туалетной бумаги.

Она отмотала часть и положила бумагу, чтобы он смог дотянуться. И тут впервые заметила, что Брэвис стоит голый, но присмотревшись, решила, что он по-прежнему одет, только одежда стала того же цвета и так же промокла, как и его кожа, порвавшаяся до того, что обнажились внутренности. Одежда теперь походила на его лопнувшую кожу и кровоточащие органы. Брэвис не столько истекал кровью, сколько взрывался изнутри.

Ему удалось налепить обрывки туалетной бумаги на те части тела, что полопались страшнее всего.

Вскоре один рулон кончился, и Мойра крикнула мистеру Квису, чтобы зашел в кладовку, где лежали остальные, и бросал ей один за другим, поскольку Брэвис использовал их очень быстро.

– Ближе подходить не надо, – посоветовала она мистеру Квису. – Развязка, дорогой друг, близка.

Казалось, Брэвис расходовал целый рулон мгновенно, как только получал. Остались всего четыре. Он обматывал себя, и бумага тут же краснела от влаги, хлеставшей из всего тела.

Кончился последний рулон, и Мойра не знала, чего ожидать.

Ей показалось, что Брэвис кричит, но она поняла, что все эти шумы и звуки, раздававшиеся в его теле, теперь переместились в гортань и вынуждают голосовые связки вибрировать, словно он говорил. Потом ей почудилось, что он произносит одно слово или часть незавершенной фразы: «Избавь!» снова и снова. «Избавь».

Затем жуткий шум стай п птиц взметнулся над ее головой и оглушил ее. Она упала, выпустив его ноги, и тут же гигантский поток крови и внутренностей окатил ее, а его тело, с головы до ног обмотанное туалетной бумагой, грузно обрушилось сверху.

Мойра не знала, как смогла встать и проделать нелегкий путь на веранду, где, трепеща, ожидал мистер Квис. Вряд ли нужно было объяснять, что внука больше нет. В безмолвии мистер Квис стиснул ее руки и прижал к своим губам. Затем еле слышно прошептал, что пойдет сообщить всем заинтересованным лицам о том, что тяжкое бремя жизни Брэвиса наконец-то пало.

Перевод Дмитрия Волчека

Александр Ходоровский

СЛУЧАЙ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ У ДЕТЕЙ

Никогда я еще не садился за пишущую машинку в таком отчаянии. Знаю, что написанное здесь вызовет скептические усмешки – и все же сообщаемые мной данные точны: они публиковались в мексиканских, южноамериканских, европейских газетах. Я хочу, чтобы моя статья стала предупреждением: если у тебя, читатель, есть связи в правительстве или в армии, прошу тебя, убеди их начать расследование!

Вначале была невинная игра: ежедневно вырезать из газет заметки о странных происшествиях (например: «Избиение испуганных прохожих при помощи змей», «Ожесточенное сражение сорока аистов с тридцатью орлами», «Мотоциклист столкнулся с лебедем и погиб»). Наконец, в «Эксельсиоре» я наткнулся на такой заголовок: «СТО ДЕТЕЙ СКОНЧАЛИСЬ ОТ НЕИЗВЕСТНОЙ БОЛЕЗНИ». А вот сама заметка: «Рио-де-Жанейро, 10 марта 1962 (АП). Сто детей скончались от неизвестной болезни, сообщает сегодня «Глобу». Лечивший их врач заявил, что все страдали обезвоживанием». В тот же день я обнаружил в «Универсале» вот что: «СТО ДЕТЕЙ УМЕРЛИ В ТАМПИКО. Эпидемия вызвала смерть ста детей: вероятно, речь идет о гастроэнтерите. Однако есть также предположение, что причиной стала жара, так как все дети страдали от обезвоживания. Пресс-секретарь правительства сообщил, что с эпидемией удалось справиться после объявления чрезвычайного положения». Я решил собирать новости о детях, страдающих обезвоживанием. И началось страшное: день за днем в Керетаро дети умирали от обезвоживания. Все эти случаи приписывали жаре.

Я написал бразильской поэтессе Аделаиде Петерс, рассказав ей о моих исследованиях и попросив ее просмотреть газеты, начиная с 10 марта, а затем выслать мне новости, связанные

с обезвоживанием. Присланные заметки повергли меня в состояние, близкое к сумасшествию. После ста детей, умерших в Рио, пятеро скончались в Сан-Пабло, десять – в Сантусе, двадцать – в Куритибе, сорок – в Консепсьон, восемьдесят – в Вильярике и сто – в парагвайском Асунсьоне 20 марта!

Необычность всего этого состояла в том, что имелись некоторые закономерности. Дети всегда умирали группами по 5, 10, 20, 40, 80 и 100; эпидемия распространялась по городам, меняя направление, от океанского побережья к центру континента. «Это не может быть случайностью», – сказал я себе и, бдительный как никогда, продолжил следить за прессой. Начался кошмар!

После пятидневного затишья последовали новые случаи смерти от обезвоживания – и в Южной Америке, и в Мексике. Перечисляю их: пятеро детей в Сан-Мигеле и Гобе, десять – в Ла-Уньон и Корумбе, двадцать – в Рейесе и Куйябе, сорок – в Пиносе и Мату-Гросу, восемьдесят – в Салинасе и Пурсе, и наконец – сто детей, скончавшихся от обезвоживания, в Ранчито (Сан-Луис-де-Потоси) и в Рио-Тапажусе (Бразилия), 15 апреля!

Математическая закономерность была настолько четкой, что я решил бросить все и заниматься только этим феноменом. Я написал своим друзьям во Францию, объяснив им все и попросив прислать вырезки. Продолжал я и переписку с Аделаидой. Феномен распространялся по планете. Пришли новости из Европы, аналогичные моим: эпидемия обезвоживания с тем же количеством жертв вспыхнула во Вроцлаве, затем через Прагу пришла в Линц, сменила направление (как и мексиканская эпидемия в Керетаро, а южноамериканская – в Асунсьоне), чтобы через Баварию дойти до Страсбурга.

Я вместе с друзьями наблюдал за этим явлением три месяца. Цикл повторился еще трижды. Мексика: Ранчито–Торреон–Элота–пауза–Хилотан–Сангангей–снова Ранчито–Вильягран–Рубио. В Южной Америке эпидемия унесла по сто жертв в Тапажусе, Эскибо и Боготе, с соответствующими промежуточными пунктами. Затем пауза. После нее: Арекипа–

Рио-Журуа— снова Тапажус—Терезина—Исла-Маражу. Европа: Нанси—Париж—Лион. Пауза. Потом Верона—Берн— снова Нанси—Ганновер—Амстердам.

Это показалось мне настолько нереальным, нелепым, безумным, что я обратился к своему архиву и проверил даты — на удачу — по разделу «Необъяснимые авиакатастрофы и исчезнувшие самолеты».

10 марта в Мексиканский залив упал «Дуглас DC-7» с 42 человеками на борту. Никто не выжил... 20 марта в Ирландии в воздухе над Ирландией взорвался «Локхид-Суперконстеллейшн» голландской компании KLM с 99 пассажирами... 15 апреля одномоторный самолет взорвался в воздухе над Боготой, и так далее. Всякий раз, когда в городе умирали от обезвоживания сто детей, на следующий день в воздухе терпел катастрофу самолет. Совпадения слишком наглядные, чтобы быть случайными!

Я вновь написал друзьям с просьбой просмотреть газеты — не было ли событий, ускользнувших от их внимания? И узнал о двух необычных случаях. Один — во Франции. «ЛИОН. ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ РЕБЕНКА. Возвращаясь из кино, родители в ужасе обнаружили, что их восьмимесячный малыш пал жертвой непонятной болезни. Врачи диагностировали обезвоживание. Когда кровать ребенка сдвинули, под ней обнаружился примерно кубометр неизвестного вещества: прозрачного и упругого, но при этом твердого, как сталь. Происхождение его никто не смог объяснить. Полагают, что это газ, просочившийся из трубы и затвердевший. При перевозке вещества для исследования в Институт химии оно было потеряно и больше никому не встречалось. Полагают, что оно растворилось...» (Я задал себе вопрос: как можно потерять на лионской улице, где ежечасно проезжают сотни машин, кубометр вещества, твердого, как сталь?)

А вот второй случай. «БРАЗИЛИЯ. КУЯБА. ТРАГЕДИЯ В БОЛЬНИЦЕ. Ночью, когда медсестра несла на серебряном подносе лекарства в детское отделение, произошел взрыв, и одна стена целиком обрушилась на улицу. Много детей тяжело пострадало».

ло, есть жертвы. У тех, кто выжил, наблюдается обезвоживание отдельных частей тела – рук или ног. У погибших констатирован тот же симптом, но для головы. Полагают, что случайная искра вызвала взрыв забытого кем-то химического соединения. На месте происшествия найдены остатки прозрачного и твердого, как сталь, вещества. При попытке произвести его анализ вещество исчезло – вероятно, испарилось...» (Загадочная статья: как и во Франции, редкое вещество необъяснимым образом исчезло, плюс в его присутствии у детей случилось обезвоживание. Такие объяснения, как «затвердевший газ» или «взрыв химического соединения», я посчитал абсурдными: ведь в первом случае ребенок умер не от отравления газом, а во втором на телах погибших не было ожогов.)

У меня имелся набор данных, но не было связующей нити между ними. Наконец, я нашел ее благодаря журналу «Сьемпре», номер 467 от 6 июня, страница 15, в статье Луиса Гутьерреса-и-Гонсалеса «Что встречается в небе». Там говорилось: «Вблизи трасс гражданских самолетов циркулирует наводящее ужас неизвестное вещество, прозрачное, как вода, и твердое, как сталь; в случае приближения самолета оно действует, как магнит. После нескольких авиакатастроф в прессу просочились сведения, которые обсуждают пилоты: «Что-то необычное прервало полет, который за две минуты до того проходил без происшествий...» Эксперты единогласно утверждают, что самолет развалился в воздухе, возможно, из-за электрического разряда или бури, но обстоятельства еще не прояснены... Непреодолимая сила разломала на части самолет прямо в воздухе, обломки упали на землю... Очень непросто – для современных умов, настолько современных, что они признают лишь зримое и осязаемое – осознать то, что напоминает кинематографический трюк: в атмосфере парит нечто тяжелее воздуха, не подверженное действию гравитации».

Этой статьи хватило мне, чтобы понять: перед нами – магнетическое чудовище, питающееся извлекаемой из детей водой. Вещество, обнаруженное в Европе и в Южной Америке, несомненно, было одним и тем же, судя по описанию пилотов. Несомненно также, что вредоносное облако, вопреки всем

законам гравитации, медленно двигалось от города к городу, поглощая влагу из людских тел и заставляя взрываться самолеты. Если под кроваткой младенца нашли кубометр некоего вещества, то очевидно, что облако состояло из отдельных частей, способных существовать самостоятельно. Эти части, произведя свое действие по отдельности, затем собирались вместе в воздухе, чем и объясняется исчезновение вещества в Лионе. Оно никуда не просочилось и не потерялось, а попросту улетело. В больнице не было никакого взрыва: часть облака-вампира устремилась прочь по причине, которую я изложу далее, и обрушила стену (та, испытывая давление изнутри, упала на улицу), успев поглотить свою пищу лишь наполовину.

После столь ужасающих выводов осталось выяснить, почему этот феномен имел место сразу на трех континентах и почему облако двигалось по траектории, напоминающей свастики. Я вспомнил, что читал об этом символе в «Происхождении африканских культур» Лео Фробениуса. В главе, посвященной символике льва, Фробениус исследует, каким образом это животное стало символом Солнца, представленного в виде свастики. А Лев-свастика – это символ Горгоны! «Можно говорить о том, что в мифологии народов Западной Азии смешались воедино лев и орел, животные, несущие одинаковую символическую нагрузку. К ним добавились также птица-змея и свастика – солярный символ». (Множество частей объемом в кубометр могут соединяться в цепь, что породило миф о Змеептице.)

Итак, свастика – это Горгона. Я заглянул в «Греческую мифологию» Чарльза Керени.

Горгона состояла из трех крылатых божеств. (Облака.) Их уподобляли трем маскам, подобным тем, что «подвешивались» в честь Гекаты. (Груда вещества, парящая в воздухе.) Гесиод рассказывает, что Горгоны жили на западе, за океаном, близ Луны. Ученики Орфея утверждали, что его имя означает «часть», а его число соответствует «трем частям», или фазам, Луны. (Облако-вампир делится натрое, достигая Земли. Возможно,

оно приходит с Луны. Гурджиев говорил Успенскому, что Луна питается человеческими существами.) Горгона обращает в камень людей, которые смотрят на нее. (Облака вызывают обезоживание, так что их жертв можно уподобить камням.) Это триединое существо погибло в давние времена от рук Персея: тот стальным мечом отрубил чудовищу голову, глядя на его отражение в своем серебряном щите. (Вот почему облако-вампир скрылось из бразильской больницы: медсестра несла серебряный поднос! Не исключено, что здесь кроются истоки мифа о вампирах, которых можно убить серебряной пулей. Неужели придется строить серебряные самолеты, чтобы очистить небо над Землей от этих тварей?) Горгона появлялась со стороны моря. (Облака-вампир во всех трех случаях двигались по свастикообразному маршруту от морского побережья вглубь континента). Как Горгона притягивала сталь Персея меча, так и облака-вампир притягивают самолетную сталь...

Эти три облака парят над Землей с незапамятных времен. Отсюда – мифы о Солнце-свастике, о вампирах, о пернатом змее, о Мойрах, Эриниях, Гарпиях и так далее. Они питались влагой, извлекаемой из человеческих тел. Нужно покончить с ними! Я предупреждаю всех об опасности. Сведений достаточно, чтобы мои читатели объединились и потребовали от властей и вооруженных сил всех стран полного уничтожения трех облаков-вампиров. Пока не будет абсолютной уверенности в их исчезновении, мы не сможем спокойно путешествовать и производить на свет потомство.

ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ БЕЛОВАРА И БЕЛИНЫ

– Пойдем, Толін, покажу тебе свое логово.

В первый раз скрипач переступил порог крестообразного ангара, где обитал Ла Росита, его чудаковатый друг.

– Входи!

Книги от пола до потолка, то и дело падающие, изгрызенные крысами.

– Это мое любимое: Жид, Марсель Швоб и особенно «Господин де Фокас» Жана Лоррена. Я тоже, как он, искал скорб-

ные изумруды, притаившиеся в глазах помпейских статуй, в водянистых зрачках Антиноя. Гляди, вот мое сокровище. Ты никогда этого не забудешь...

Он открыл ящик. Человеческая голова внутри сосуда...

У Солабеллы была длинная огненная шевелюра. Голова, аккуратно отделенная от тела, плавала в прозрачной пахучей жидкости. Губы приоткрыты; тонкая кожа казалась живой и теплой. Глаза остановились на Толине, словно изучая его.

– Он серб и жил в средневековье. Жидкость, в которую помещена голова, создана усилиями алхимиков. Если присмотреться, можно увидеть, как пробиваются волосы на подбородке. Это мужчина. Раз в месяц я кладу свой член ему в рот... Прощай...

И Ла Росита вытолкнул Толина за дверь, сунув ему в руку кусок старинного пергамента, завернутый в обычную бумагу с машинописным текстом.

– Толин, я перевел, как мог, этот древний документ. Прошу тебя, начни читать его сегодня, в полночь. И ты узнаешь тайну Солабеллы.

Никто не знает, сколько поколений сменилось с тех пор, как сильнее знамя Мандаковичей с трехглавым орлом впервые взвилось над замком. Предки нынешнего владельца пришли в Сербию с берегов Адриатики и воздвигли на вершине Ореховой горы, близ Прокупле, неприступную твердыню. Огненная шевелюра Владетеля длиной не уступала лошадиной гриве, ростом он был в три метра, а силен настолько, что десять человек вместе не могли поднять его меч. В день он съедал не меньше пяти кило мяса и громадную корзину хлеба, выпивал десять литров вина; а когда был в дурном настроении – то еще больше. Он неуклонно исповедовал право первой ночи, но член его был таких размеров, что все женщины из страха быть растерзанными бежали к менее внушительным мужчинам. Поэтому годы и годы подряд Владетелю приходилось довольствоваться рыже-чалыми кобылами. Свирепый воин, он срубал дуб одним взмахом клинка; он вторгался во владения соседей и приобрел такое могущество, что белградский двор, в расчете немного приручить Владетеля, решил предложить ему руку принцессы.

Драго, его верный оруженосец, у которого Владелец еще ребенком учился обращаться с арбалетом, алебардой, копьем, дубиной, кинжалом и мечом, отправился в столицу за невестой, везя роскошные подарки. Владелец, вырвав руками несколько деревьев, соорудил из их стволов кровать, которая могла выдержать любые его неистовства. Привыкши к кобылам, он думал, что и супругу ему приготовили громадную.

Судьбе было угодно, чтобы в те дни разразилась снежная буря. Спасаясь от метели, ехавшие на арбе цыгане попросили приюта в замке, рассчитывая переждать там непогоду. Среди смуглых лиц выделялось одно белое: четырнадцатилетняя София носила лохмотья, но каждый жест выдавал ее благородное происхождение. Мандакович подверг цыган пыткам – те признались, что похитили девушку в Валахии, – затем вырвал у каждого сердце и печень, поджарил на вертеле и съел, не обделив и своих боевых товарищей. Девочка при виде столь жестокого правосудия навсегда лишилась дара речи. Дрожа при малейшем шуме, она пряталась в закоулках замка.

Однажды стены твердыни украсились разноцветными лентами. Когда подъехала принцесса Градичка Банялукская, Владелец прыгнул с зубца стены, приземлился перед процессией и откинул покрывало с будущей жены; молоденькая, худенькая девушка с прозрачной кожей пыталась улыбаться, объятая ужасом. Владелец мог поднять ее в воздух одним пальцем. Так как же ему исполнить свою мужскую обязанность, не разорвав принцессу надвое? Мандаковичу был нужен наследник. Чтобы юная госпожа не вздумала отказаться, он задушил ее служанок, заткнул ей рот кляпом и привязал к постели, раздвинув невесте ноги. Немая София разогрела кабаньим жиром, бурно и часто дыша, смазала им промежность своих хозяев. Благодаря смазке Владелец ценой громадных усилий все же нашел путь внутрь супруги и пролил семя, однако в момент высшего наслаждения не сдержался – и от последнего толчка принцесса потеряла сознание. Владелец распорядился, чтобы София принесла тряпку – вытереть жир, и, заглянув в ее изумрудные глаза, прочел овладевшее девушкой безумное возбуждение. Тут же, над обескровленным те-

лом Градички, владетель вошел в эту стройную девушку, объявляя желанием отдаться. Испуская семя вторично, он совершил такой рывок, что немая также лишилась чувств.

Две женщины проснулись в луже крови; им сделалось неловко. Принцесса Банялукская потребовала немедленного четвертования соперницы. Владетель поручил исполнить это верному Драго, но тот проникся жалостью, зарезал телушку и показал останки хозяину. Тем временем двое козопасов, получив от него деньги, позаботились о несчастной.

Прошли месяцы. Спрятанная в горах немая произвела на свет мальчика, в то время как принцесса, между пирами и танцами, в своей просторной спальне разродилась ребенком женского пола. Расстроенный Мандакович вернулся к своим кобылам. Принцесса покончила с собой, бросившись с самой высокой башни. Никто не знал, как быть с девочкой, и Драго назначили ее воспитателем и учителем фехтования. Незаконнорожденный Беловар рос, подражая изящным, чувственным движениям своей матери. Он был красив, как и Белина, его сводная сестра. Оба унаследовали от отца огненные волосы и крепкое телосложение. Увидевший их вместе счел бы, что перед ним близнецы.

Однажды, после особенно суровой зимы, пришла бурная весна, освободив ручьи и усеяв склоны цветами. Ее призыв был таким настоятельным, что Белина на своем коне галопом поскакала по хитросплетениям горных троп. А грудь Беловара теснилась от небывалых запахов, он пас своих коз, не зная, смеяться ему или плакать. Пахучий воздух навевал воспоминания о былом. Юноша сплел себе венок из маргариток и пропел стихи в память покойной матери. Рубашка его доходила всего лишь до колен, и Беловар напоминал в ней девушку. Зачарованная его голосом, Белина двинулась дальше, рискуя свалиться с какого-нибудь коварного обрыва – и наконец, обнаружила нежного пастуха. Тот оказался женщиной ее снов! Беловар же, увидев великаншу в ботфортах, которая ловко управлялась со скакуном – казалось, что это кентавр, человеколошадь, – понял, что встретил мужчину своей жизни...

Они упали в объятия друг друга и занялись любовью так страстно, как прежде целовали зеркала. Расстаться им казалось уже невозможным, и поэтому придумали вот что: раз они так похожи, Беловар может в одежде Белины спокойно пересечь двор замка, и никто не заметит разницы. Так и поступили. Девушка на время скрылась, а Беловар в женском наряде миновал коридоры замка и наконец оказался в спальне.

Прошло время. Мужской темперамент Белины – она разрешала любить себя в одной-единственной позе – не давал ей забеременеть. Счастье длилось до тех пор, пока Владелец Мандакович не пожелал выдать дочь замуж за воина: пусть внук продолжит славные традиции рода! Девушка умоляла отца отложить помолвку, но тот оставался непоколебим.

Не в силах вынести разлуку, юные любовники решили умереть – но они хотели быть вместе даже в могиле! Чтобы достичь посмертного соединения, они придумали план, посвятив в него Драго – тот обожал Белину, а кроме того, из-за многочисленных недугов жизнь перестала быть ему мила. Беловар, накрашенный и причесанный, как его сестра, поджидал старика-оруженосца в гроте, о котором никто не знал. Драго точным движением отрубил ему голову, завернул в овечью шкуру и привез в замок. Там он обезглавил Белину и возложил на окровавленное тело голову ее возлюбленного. Затем, вернувшись в пещеру, Драго увенчал останки Беловара головой Белины. Вновь оказавшись в замке, он склонился над трупом своей воспитанницы и вонзил себе в сердце кинжал.

Владелец решил, что его дочь, не желая замужества, вынудила верного Драго лишиться ее жизни. Он не заметил, что голова на теле принадлежит другому человеку. Оруженосцу отдали последние почести и похоронили, скрюченного, словно пса, в ногах Белины.

Когда Толин, потрясая куском пергамента и ластами бумаги, около трех утра принялся иступленно колотить в дверь ангара, хозяин не открыл ему. Приблизив рот к замочной скважине, Ла Росита произнес с садистской улыбкой:

– Нет, мой дорогой скрипач. Даже не мечтай, что сегодня я расскажу тебе, как голова Беловара попала ко мне в этом

алхимическом растворе. Но если однажды ты уступишь мне сокровище, которое носишь между ног, я открою тебе эту поэтическую тайну.

СМЕРТЬ РЕБЕ

Когда я попросил Ребе рассказать мне историю своей жизни, он разрыдался. Ни мой дед, ни мой отец не догадались в свое время спросить, что было с ним до того, как медведи пожрали его тело. И вот что Ребе поведал мне:

«Мои предки приехали на Кавказ в поисках своих корней. Согласно Книге Бытия, священный ковчег после потопа блуждал сто пятьдесят дней, и когда наконец Неназываемый (да будет Он благословен!) вспомнил о Ное, навел ветер на землю, и воды утихли, ковчег остановился на вершине Арарата. Господень гнев прошел; патриарх, его семейство и животные спустились по обрывистым склонам, дабы населить Землю в свете новых божественных повелений. Кавказ, где вздымается эта высокая гора, сделался колыбелью обновленного человечества.

Топор всегда возвращается в лес, где срубили дерево для рукояти. Мои предки оказались изгнаны из Испании; были обитателями гетто в Италии; похищались варварийскими пиратами в Средиземноморье; становились рабами в Турции и гибли от ножа в Персии; кое-как пробавляясь продажей ковров, табака и соли, исходили Армению, Грузию, Чечню, Азербайджан, Дагестан, карабкаясь на горы, одну за другой: порой они выкапывали на их вершинах какой-нибудь собачий скелет, но никогда – священный Ковчег.

Потеряв надежду отыскать следы своего происхождения – им навсегда было запрещено владеть землей, – мирные по природе читатели Торы и Талмуда заставляли своих дряхлых кобыл изнемогать под тяжестью книг, а не пожитков, и скитались от долины к долине, принимая гостеприимство жителей угрюмых деревень, отделенных друг от друга горными хребтами. Хотя кавказцы уважали моих прапрабабок (не из высоких соображений, но лишь потому, что те закутывались в шали,

чернили зубы, стригли волосы и мазали кожу прогорклым тво-рогом), постоянные вторжения лишенных тонкого обоняния монголов привели к тому, что после многих изнасилований об-лик моих предков приобрел восточные черты. Так, уже спустя несколько поколений, Анан, мой отец, родился с раскосыми глазами, а у меня – Тодроса – кожа отликает желтизной.

Думаю, что это постыдное наследство выковало в нас мятежный характер, и мои богобоязненные соплеменники за-претили нам присутствовать на религиозных церемониях.

Как только мне исполнилось семь лет, и, по словам Анана, моя голова стала способна вместить что угодно, он отвел меня к соляным копиям.

Там, среди сочувственного молчания белых просторов, отец дал мне отведавать акациевого меда и приступил к моему посвящению.

– Слушай меня хорошенько, Тодрос. Неназываемый (да будет Он благословен!) бесконечно справедлив, и им неиз-менно движет доброта. Все плохое идет от человека, который превращает наслаждение в порок и злоупотребляет свободой воли. Только аскетизм поможет нам сохранить чистоту. Мы с тобой откажемся от наслаждений.

С этого дня мы одевались в черное, съедали в день толь-ко два ячменных хлебца, не знали ни сахара, ни соли и спали на земле или голых досках. Ава, моя мать, не понимала это-го безумия, твердила мне: «Совсем отощал! Помни: любовь и вкусная еда – и счастлив будешь ты всегда!» и умоляла, ры-дая, попробовать ее соблазнительную стряпню. Исполненный презрения, я смотрел на эту женщину, чей ум был занят живот-ными потребностями.

Разве кусок мяса или комок теста могли насытить меня лучше, чем этот неназываемый бог, заполнявший мою грудь, мое чрево, мою голову, все мое существо? Все было целиком занято Им – да будет Он благословен! Единственное, что мне осталось своего, – это кожа, такая натянутая и сухая, что она звучала подобно барабану, если по ней стучали. В отчаянии Ава бросилась на Анана, уже давно беззубого, и прогнала его из дома, избивая ошипанной курицей. Мы ушли вдвоем!

Теперь мы жили в пещере у подножия Большого Кавказского хребта, близ Терека. Община быстро забыла о нас и постановила, что моя мать, еще вполне привлекательная женщина, может заново выйти замуж. Та с удовольствием подчинилась, соединив свою судьбу, как и многие крестьянки – лучше хороший родственник, чем плохой сосед, – с первым встречным. Меж тем мы с отцом питались подаянием: спускались в деревню и пели с протянутой рукой по часу в день, что приносило нам четыре хлебца, пару морковок и немало издевок. Остальное время мы проводили за чтением Торы, выделяя на сон всего лишь три часа. Мой отец был убежден, что всего одна фраза из Книги Чисел заключает в себе секрет вечной жизни: «Ангел Господень опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить, ни направо, ни налево». Повторив ее бесчисленное множество раз, он смотрел на меня с лихорадочным блеском в глазах и говорил:

– Ангел впереди нас и ждет, чтобы мы приблизились. Он не собирается нас преследовать: узкая тропа ведет к нему и его мечу отмщения. Мечу отмщения в том смысле, что он отсекает все излишнее. Сын мой, мы должны сказать нашим душевным и телесным надобностям: это не я! Это не я мыслю, не я чувствую, не я желаю! Но точно так же не меня мыслят, не меня чувствуют, не меня желают! Я иду по узкой тропе отрицания, я не могу своротить ни направо, ни налево, не могу быть и не могу не быть. И все же есть нечто еще, чем я обязан пожертвовать в конце этого пути, подвергнуть ангельскому мечу, нечто, привязывающее меня к жизни и смерти. Но что это такое? Чего ангел не хочет мне оставить? Мы бредем вслепую! Что там, за пределами чистого рассудка? Может быть, ничего? Должны ли мы стремиться к ангелу? Как узнать об этом? Тодрос, давай помедитируем об этом еще немного, во сне!

И мы продолжали медитировать – среди удушающей летней жары, среди беспощадного зимнего холода; кожа наша прилипла к костям, так что мы напоминали мумий. И вдруг я осознал, что я выше отца и что мне вот-вот исполнилось восемьдесят... Анан, казалось, вернулся откуда-то издалека: он тряхнул своими длинными грязными космами и показал без-

зубые десны в гримасе, которая была жалкой тенью его прежней улыбки.

– Будем веселиться, Тодрос! Мы поедем по случаю твоего юбилея чего-нибудь сладенького! Ежевики!

– Но отец, сейчас зима! Кусты дремлют под снегом!

– Неназываемый (да будет Он благословен!) пробудит их от дремы!

Мы провели десятки лет, прославляя его, так что сегодня он может доставить нам эту маленькую радость. Ведь не просто так он щедро покрыл эти склоны кустами.

– Осторожно, отец, кое-где снег превратился в лед. Склоны могут быть скользкими!

– Неназываемый (да будет Он благословен!) охранит меня! Но я не коза и не дикая собака, так что придется потратить время на подъем и спуск. А ты не теряй времени: дверь в небеса может открыться и тут же закрыться. Сосредоточенность, только сосредоточенность! Медитируй непрерывно!

Я следил за тем, как карабкается Анан, пока он не скрылся в тумане; и тогда, не шевеля ни единым мускулом тощего тела, не обращая внимания на холод, я сосредоточился на узкой тропе. Я не могу своротить ни вправо, ни влево, я не могу вернуться. Я – тот, кто мыслит, но кто мыслит меня? Я – сознание, сознание сознания, сознание сознания сознания... Я ушел в такие дали, я погрузился так глубоко в бездонную пропасть, я так напряг свое тело, запретив ему малейшее движение, вытянул из него столько энергии, чтобы затем сжечь ее в попытке дойти до корней мысли, что оно, бедное, не выдержало – и у меня пошла носом кровь.

Предельно сосредоточенный, я сперва не замечал этого, – однако влажная теплота распространялась по моей груди вниз и наконец, дошла до паха. Я открыл глаза, увидел красное пятно, в сердцевине моего мозга произошел ослепительный взрыв – и я все понял! Дверь – она открылась! В Книге Бытия, глава 2, стих 7, ясно сказано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Так и случилось! Тело привязывало мое сознание к своей жесткой форме, а бесформенная

кровь показала мне истинный путь. Если жизнь, подлинная жизнь, – духовное, чистое божественное дыхание, изначальное сознание, – входила через нос, значит, и выйти она может точно так же!

Сначала я отбросил ощущения, связанные со ступнями, затем – с икрами, туловищем, руками и головой; я сконцентрировался на ноздрах, вскрыл свою генетическую память, дошел до Адама и пережил его восторг в тот момент, когда Неназываемый (да будет Он благословен!) приложил ему к ноздрям губы, сотворенные специально по этому случаю, и вдунул туда небывалое дыхание, достигшее каждой клеточки глиняного тела, вызвав в нем безмерное удовольствие существовать. А теперь я, божественное дыхание, отвергшее плотские оковы и пустившееся по течению, возвращаюсь к своим истокам!

С силой боевого быка я вырвался из обеих ноздрей и осознал, что, подобно прозрачной амебе, витаю вне тела, будучи связан с ним лишь сияющей нитью. Впервые в жизни я испытал сладость быть самим собой, когда тебя не коверкают боль или страх. Как восхитительно не зависеть от других, быть невесомым, не подверженным действию голода, болезней, старости, смерти, существовать без повелителя, без формы, без выделений, без испражнений... Я начал плыть по десяти необычайным измерениям в желании достичь первомысли, начала и конца всего... Мой путь лежал через громадные спирали чистого света, через свернувшихся в кольца гигантских змей из холодного пламени, через реки любви, сверкающие потоки, берущие исток в колодце, укрытом бесчисленными покровами... Я чувствовал себя так изумительно, что решил углубиться в эти области, а серебристая нить, связывавшая меня с телом, все растягивалась... Я верил в Анана: он позаботится о моем бездыханном теле, будет годами терпеливо ждать моего возвращения. Как жестоко я заблуждался!

Мой отец добрался до вершины и отрыл из-под снега несколько горстей ежевики, но затем поскользнулся и упал в расщелину. Там он лежал пять суток и выжил благодаря мерзлым ягодам, после чего пошел дождь, лед растаял и отец смог выбраться. Добравшись до нашей пещеры, он нашел кости с от-

метинами от зубов и окровавленный кусок кожи с волосами на нем – мои останки. По следам он понял, что меня сожрали медведи.

Вскоре серебристая нить, тянувшаяся из моего пупка, исчезла. Я почувствовал себя беззащитным, как черепаха без панциря. Мой восторг сменился тревогой. Я поспешно пересек все десять плоскостей лимбов и покинул ослепительное Междумирье, чтобы погрузиться в плотную темноту... Там был отец, безутешно рыдавший над моими останками. Я хотел прикоснуться к нему, поласкать и успокоить, но у меня больше не было рук. Не было и голоса – сказать, что я тут, ближе к отцу, чем всегда, ибо между нашими душами не стоит более преграда плоти. Однако Анан при помощи одного лишь разума смог постичь смысл моей трагической кончины. «Все сущее – только личины Неназываемого (да будет Он благословен!). Неназываемый (да будет Он благословен!) – беспредельный океан вечной радости; мой сын, сновидение, иллюзия, божественная искра, вернулся туда, где нет ни времени, ни пространства, чтобы раствориться в Первоначале, в чистом блаженстве, в непрерывном экстазе». Мой отец также понимал, что умерший – он считал меня умершим, то есть превратившимся в ничто! – не подвержен страданиям. «Тодрос – больше не мыслящее существо, он не чувствует, его не чувствуют. Ушедший больше не принадлежит к тем, которые страдают. Живой не страдает по умершему – он страдает по себе самому. Он думает, что понес потерю, а на самом деле ничего не терял, ибо ничего не имел. Он думает, что все идет не так, как надо, – а на самом деле, раз все идет так, значит, так надо. Мыслящее существо смертно, Неназываемый (да будет Он благословен!) непреходящ. Смерть – человеческая иллюзия». Но доводы, пусть даже самые верные, не могли умерить его скорбь. Отец чувствовал себя зеркалом, которое одним ударом – невыносимым, несправедливым, непоправимым ударом – разбили на тысячу осколков. Тело его терзала боль, как если бы медвежьих клыки вонзились в его собственную плоть. Он был не способен выйти за границы материи, и моя кончина открыла ему всю невыносимость участи смертных.

Как прекратить его бессмысленное терзание? Как дать ему понять, что я здесь, что я готов войти внутрь его и сообщить ему свою жизненную энергию, неизрасходованную благодаря уничтожению моего тела? Однако Анан упорно считал, что для него больше нет утешения. Душа его превратилась в неприступную крепость, куда оно не могло проникнуть. «Сын мой, я столько всего связывал с тобой, я прозревал, как благодаря тебе путешествую в будущее – ты был моим бессмертием... Умирает дед, умирает отец, умирает сын, умирает внук, и в этом счастье, ибо одна смерть следует за другой, как установлено от сотворения мира. Но ты, Тодрос, ушел раньше меня. И я смотрю на солнце, подобно орлу без крыльев... Когда отец ест колючки, у сына кровоточат десны! Я оставил тебя медитировать в пещере; я соблазнился мыслью достать ягоды; я свел тебя с ума, обещая бессмертие; я, расхваливая вечную жизнь, привел тебя к потере жизни земной, короткой, но драгоценной – ведь только она дарована людям! Но разлучили нас медведи, помешав завершению Великого Делания! Проклятые хищники зимуют теперь в берлоге, переваривая твоё священное тело! Нет, я не могу допустить, чтобы твоей могилой стало чрево этих тварей!

Анан издал крик, показавшийся мне бесконечным, собрал силы, сосредоточился на своих деснах и с фанатичным упорством трудно рожавшей женщины заставил расти на них два новых ряда зубов – белых, острых, громадных зубов.

Он спустился в селение и зашел в харчевню, излучая такой гнев, что никто не осмелился плюнуть ему в лицо, как обычно. Там он взял кухонный нож, а еще – лук и полный стрел колчан, которые висели в обеденном зале. Ему не стали мешать: на Кавказе считается, что сумасшедшие – наследники святого безумия Христа. «Бредет убогий – сойди с дороги!».

Полунагой, завернутый лишь в рваное одеяло, он углубился в леса, покрывающие склоны гиганта-Эльбруса. Никто не учил отца охотиться на медведей, но ненависть – лучший наставник. Не обращая внимания на дождь и туман, он двигался вперед, разглядывая разные испражнения: светлые и мягкие принадлежали людям; кирпичного цвета, жесткие – диким со-

бакам; маленькие черные шарики – козам... и вот, наконец, темно-синие кучи, порывшись в которых, отец обнаружил плохо переваренные сливы: это оставили медведи! Проклятые разбойники все время едят, потому что со своим коротким кишечником они не способны переварить большую часть проглоченного. Эта тропа вела к местам, где кормились стопоходящие твари. Свидетельством тому были деревья с содранной корой и следами длинных когтей.

Отец пошел дальше – сердце его билось так, что, казалось, выскочит из груди. Мне захотелось крикнуть ему: «Хватит, Анан, убив животных, ты подпишешь себе приговор! И мне тоже – ведь я буду обречен вернуться в плотный мир! Дай мне уйти из него, прошу тебя». Прости медведей и прости себя самого, как я прощаю тебя! Но отец не мог меня слышать. Он сделал надрез у себя на ладони, чтобы натереть тело своей кровью – известно, что медведь чует запах падали за пятнадцать километров. Есть грузинская пословица: «Рыба плещется в реке: орел ее видит, олень слышит, медведь чует, а Бог любит». Отец взбирался по склону и бормотал: «Бог (да будет он проклят!) не любит ни рыбу, ни орла, ни оленя, ни медведя, – никого. Без всякой необходимости, без всякой потребности, безразличный ко всему, он создает нас и пожирает. Это злоупотребление могуществом – короткая жизнь, которую он дает нам, мечтая лишь развеять свою скуку!».

Как и ожидалось, в конце тропинки, близ скалы, стоял медведь и принимался с полуприкрытыми глазами. Росту он был громадного, необхватный и тяжелый, с когтями острыми, как клинки. Отец медленно вложил стрелу в лук и шаг за шагом, сантиметр за сантиметром, подошел к животному. Медведь с яростным ревом прижал уши, нанес громовый удар по дереву, открыл пасть, обнажив четыре бело-желтых кинжала и, истекая слюной, ринулся на отца. Тот, не выпуская оружия из рук, затряс ими и испустил вопль. Медведь остановился, упал, прокатился несколько метров по земле и побежал прочь, вплотную к гигантской скале. Отец устремился следом так быстро, как только мог, но тот был проворнее и вскоре исчез за поворотом. Кипя от ненависти, Анан пошел в обход скалы с натянутой тетивой, готовый выстрелить в любое

мгновение. Я впал в отчаяние, так как понял медвежью уловку: обогнуть скалу и напасть на Анана сзади! Я полетел к отцу и начал подавать ему сигналы: посмотри назад, посмотри же! Но тот, не в состоянии уловить мое присутствие, продолжал преследовать трусливого (как он думал) зверя. Меня объял страх: я не хотел, чтобы с отцом случилось худшее! Медведи сожрали мое тело, когда я уже покинул его и стал чисто духовной сущностью. Анан, напротив, оказался накрепко привязан к плоти, загрязнив свой ум ненавистью, страданием, низменными инстинктами. Он сам сделался почти животным. Минуя промежуточные стадии, он перейдет от состояния разумного существа к абсолютному Ничто: он умрет! Только те, чей дух нашупал дверь и проник, избавившись от плоти, в Междумирье, способны не умирать и познать все великолепие сияющего тела Того Самого (да будет Он благословен!).

Не надеясь ни на что, обратившись в ослепляющий луч, движимый одним отчаянием, я бросился к медведю. О чудо: животное видело меня! Оно стало на задние лапы, издало металлический крик и закрыло глаза передними лапами, открыв свою грудь.

Отец полуобернулся и, не теряя ни секунды, выпустил стрелу, вонзившуюся в сердце гиганта. Тот упал в ежевичные заросли, словно сраженный молнией.

Не замечая, что колючие заросли ранят его кожу, Анан, потрясая кухонным ножом, поспешил к своей жертве и сделал разрез от шеи до живота. Погрузив дрожащие руки в дымящуюся рану, он порылся во внутренностях, но не нашел ни одной из моих костей. В отчаянии он вынул сердце хищника и разорвал его зубами. Что оставалось от моего отца? Куда делась его мудрость? Страдание, которое привело его к безумию, — что общего имело оно с любовью? Разве любовь — не то, что позволяет выйти за установленные пределы и возвести мост между земной жизнью и царством предков? Я был там, рядом с отцом, я проник в него, оказался в нем... но Анан, искалечив свою веру, стал теперь островом, дрейфующим в Ничто.

Упрямо занимаясь поисками второго медведя, отец в начале лета наткнулся на благоуханную сосновую рощу у подножия

Казбека. Закопав лук, стрелы, протертые до дыр сандали и одеяло, он вымыл в ручье свой нож и вымылся сам, высох на солнце, натер тело сосновыми иголками и вымазал глиной свои длинные космы, бороду, волосы под мышками и на лобке. Затем, шагая на цыпочках, он принялся выслеживать свою добычу.

Время для него остановилось. Вечером тени деревьев удлинились и стали черными змеями заползать на горячие скалы. Оттуда доносилось хриплое дыхание и взвизгивание самки, испытывающей течку. Обжигая себе подошвы и ладони, Анан залез наверх и увидел на тенистой площадке прямо под собой громадного темно-синего медведя, который склонился над медведицей – такой крошечной, что видна была только острая морда между жирными передними лапами самца. Тот делал свое дело, двигаясь взад-вперед, с необычайной осторожностью, не столько напирая, сколько лаская. Губами, вытянутыми, словно хобот, он целовал голову своей почти невидимой подруги.

Отец выждал и, когда медведь заревел в ослеплении оргазма, прыгнул на него по-обезьяньи и вонзил нож в костматую шею по самую рукоятку. Колоссальная туша повалилась набок, увлекая за собой Анна, который сильно ударился о камни. Прежде чем отец успел подняться, на него кинулась, царапая и кусая, обнаженная женщина; от солнца ее прикрывала, вместо шляпы, медвежья голова.

Это грязное, мускулистое тело с остроконечными грудями, эта животная ярость, это лоно, истекающее медвежьим семенем, пробудили в моем отце головокружительное желание. Переплавив душевные муки в похоть, он притянул дикарку за шею, поставил ее на колени в лужу крови, рекой хлеставшей из медведя, окунул голову женщины в густую красную жидкость, и в порыве страсти и отвращения пронзил ее, едва не порвав все внутри, после чего на свет родился несчастный младенец по имени Тодрос, плод тщетного желания вернуть меня – отец забыл, что Неназываемый (да будет Он благословен!) никогда не повторяется и что каждое земное существо навсегда сохраняется во вселенской памяти, будучи единственным в своем роде и потому священным. По-

сле засухи – половодье! Я жалел отца, но в каком-то смысле и радовался за него. Анан нашел наконец способ избавиться от страдания, пусть и животный. В истерзанном женском лоне угасла его война с медведями. А потому я, отныне свободный, мог вернуться в Междумирье.

ДОСЬЕ ГАБРИЭЛЬ ВИТТКОП

Павел Соболев

ВВЕДЕНИЕ В ПОЭТИКУ ГАБРИЭЛЬ ВИТТКОП

Чем красивее у женщины рот, тем сильнее искушение восхищаться произнесенными ею словами и проникаться верой в их безусловные мудрость и справедливость; когда герой вполне себе черномессного хоррора Анджея Жулавски «Possession» захотел замутить флирт со школьной учительницей своего сына и попытался заинтриговать ее туманностями о беспрестанности сражения, которое он будто бы вынужден всю свою жизнь был вести со всем женским полом, та – волшебными устами богоподобной в своей прекрасности Изабель Аджани – указала ему на бесперспективность и безосновательность подобных обобщений, заметив, что между двумя любыми произвольно взятыми женщинами обычно бывает только одно несомненное сходство – у них у обеих бывают менструации. В иных условиях соответствие реальному положению дел этого утверждения могло бы показаться более чем сомнительным, однако будучи озвученной голосовым аппаратом эксклюзивного в своем изяществе, совершенного сосуда человеческого тела, эта фраза автоматически кажется догмой, – в том смысле, что несомненная феноменальность одной конкретной женщины провоцирует допустить возможность феноменальности условной каждой. Однако слова сыгранной Аджани учительницы были продиктованы эмоциями, а вот Габриэль Витткоп – применительно к чьим книгам тоже вполне уместно говорить о совершенстве – тезис о своей уникальности суппортировала сугубо научными доводами: например, таким, что компоненты человеческого сперматозоида позволяют количеству возможных генетических комбинаций исчисляться 12-значными показателями. Великолепие созданных Витткоп текстов и незаурядность прожитой ею жизни – тоже весьма подходящий фон для уверования в теоретическую возможность исключительности каждого человеческого существа; однако Ипполита, двойник самой

Габриэль Витткоп в ее последнем и посмертно опубликованном романе «Chaque jour est un arbre qui tombe», пусть, оперируя такой математикой, и провозглашала себя не только уникальной, но и даже чудесной, все равно с грустью сознавала, что для полчищ ее современниц наукой доказанная щедрость на многообразие человеческого семени – как с гуся вода; наблюдая за своей кузиной Югеттой, которую в менопаузу охватила особая тоскливость, Ипполита понимала, что у той нет ни собственной жизни, ни собственной личности, и что имя ей – легион. Гигантский легион тех, кому важнее всех дел представлялось вживание в роль христианской матери, интересующейся социальными проблемами и общественными вопросами; вживание в такую роль и прочное сохранение ее за собой. Лев Толстой, объясняя свой устойчивый интерес к теме внутрибрачных кризисов, придумал – для старта «Анны Карениной» – знаменитый афоризм про то, что все счастливые семьи счастливы одинаково, а все несчастливые – несчастливы по-своему. Возможно, именно такого же формата противопоставление уникального и унифицированного и побуждало выдающуюся французскую писательницу Габриэль Витткоп искать раритетную красоту не среди живых, а среди мертвых людей, ибо неповторимость каждого трупа была для нее не менее очевидна, чем единственность каждого пиллярного узора – для криминалиста.

Так надо ли изумляться тому, что Ипполита любила прогулки в морг; каждое из тел, которые ей случалось пристально исследовать в прозекторских, рассказывало ей в высшей степени свою, поистине суверенную историю. Один мертвец, раздувшийся как клещ, своим створожившимся аспидным животом, плоскими, как листья, яичками, окрашенными багровой кровью, почерневшим членом и сияющей тьмой беззубой глоткой молвил о фатальности инфаркта для бездомного, которому некому помочь, другой – взорвавшейся звездой в плюмаже арабской шевелюры – о безжалостности криминальной разборки и невозможности в ней выжить, лишенная ногтей русалка из речного ила своими слизистыми оболочками, раздувшимися от воды, – из первых – отягченных трупным воском – уст – о таинстве утопленничества, похожий на чере-

паху старик своим исштрихованным грубым сапожным стежком телом – героическую историю борьбы за жизнь, самоотверженной настолько, что не пасовала перед неизбежной болезненностью сдач особенно дотошных анализов. И даже в мире живых Ипполита считала заслуживающими особенно внимательного наблюдения – все с тех же позиций стремления к уникальности – те существа, к которым смерть подбиралась особенно близко, выделяя среди них самую элитную касту – прокаженных. Ипполита различала в проказе одну из самых необыкновенных и непостижимых метаморфоз тканей, что может выпасть счастье исследовать восприимчивому к прекрасному человеку. Она не могла скрыть своего возбуждения, когда обнаруживала благородный металлический оттенок в иссиня-черном эпидермисе прокаженных, когда в неразгладимых морщинах туго натянутой кожи (туго, а все равно неразгладимых) занимались прокопченные отблески серебристого света, когда лишай на щеках тоже начинал отливать серебром, а в черном рассоле немислимо опухших глаз закипала невероятная злоба. Ипполита считала, что самые колоритные особи этой расы не просто символизировали вечность, а ею самую и были, потому что когда ей случалось видеть на ланитах особенно ледяной аспидный оттенок, она верила в то, что его обладатель был прокаженным испокон веков, видел шипящие потоки лавы, приумножение океанского желе, был прокаженным внутри кораллов и углеродов, в известковом иле, сначала пузырившимся несколько веков, а потом затвердевшим литографическим камнем.

«Chaque jour est un arbre qui tombe» – это последний роман Габриэль Витткоп, но в оборот в нем были взяты – среди прочих – и темы, мужественно обозначенные уже в ее первом – «Некрофиле», которого не утратила в 1972-ом году напечатать в Париже легендарная французская предводительница борьбы против ограничений сексуальных свобод Режин Дефорж. Публикация такой книги действительно требовала неустрашимости, поскольку «Некрофил» представлял собой сколь романтический, столь и натуралистичный дневник современного парижанина по имени Люсьен, испытывавшего непреодолимое

сексуальное влечение к человеческим трупам; в этом дневнике с исчерпывающей патологоанатомической достоверностью было описано множество совокуплений Люсьена с его бездыханными любовниками, а также под высочайшим градусом эмоционального напряжения были сервированы опаснейшие приключения и авантюры, в которые Люсьен пускался ради добывания покойников для сеансов его необычной любви. Эдуард Лимонов написал однажды, что «Лолита» – это отнюдь не книга о любви к девочке, как принято считать, а книга об отращивании ко взрослой женщине; наверное, было бы здорово акцептировать подобную эффектную логику и назвать «Некрофила» не книгой о любви к мертвым, а книгой о ненависти к живым, но это значило бы – погрешить против истины, ибо эта книга такова, что ее автора никак не заподозрить в том, что через такое пусть провокационное, но иносказательное, мол, по своей сути, обожествление страсти к мертвым он-де мог высказывать свое «фи!» или «нет!» нравам, определявшим актуальное – на момент написания романа – состояние мира живых; «Некрофил» написан так, что буквальное восприятие заявленных в нем деклараций выглядит самым верным решением: трупы людей действительно прекрасны, а предаться физической любви с ними – впрямь огромное удовольствие; и если уже при таком допущении все-таки уместно будет противопоставить мертвые тела живым, то живые будут выглядеть заслуживающими вовсе не ненависти, а практически христианского к ним сострадания, то есть им не вменятся будет в вину, а в ранг их беды станет возводиться их неспособность оказываться столь же искушенными в постижении радостей всамделишной любви, коими могут быть возлюбленные труполобами мертвецы. Иными словами, в своей исповеди Люсьен часто объяснял прелести близких отношений с покойниками именно беззукоризненностью одушевленного человеческого материала, заключая, например, что мертвые люди гораздо более опрятны, чем живые, и, в отличие от живых, не лживы, и что некрофильская любовь в противовес традиционной предполагает обязательность самопожертвований со стороны любящего сильнее (а не сопряженная с такой обязательностью любовь не может считаться истинной), но экспо-

нированное в «Некрофиле» необычайное богатство духовного мира Люсьена, питаемого его романами с самолично выкопанными им из могил мужчинами, женщинами и детьми, и питавшего его изобретательность, обеспечивавшую достижение между живым и мертвым участниками любовного союза чрезвычайной доверительности и безусловного взаимоуважения во время их недолгой (ввиду неизбежности разложения) связи, не дает повода усомниться в том, что «Некрофил» – это, в первую очередь, именно повесть о любви, а вовсе не вычурная притча об отвращении к реальности, вызванном ее несовершенством.

Даже авторы классических любовных романов сходятся в том, что незгоистичный любовник должен быть внимателен к партнеру, участлив и предупредителен; из «Некрофила» – не вполне классического любовного романа – можно вынести устойчивое представление о том, что близкие отношения мертвого человека и живого – чрезвычайно подходящая комбинация для обоюдного соблюдения в паре влюбленных интересов каждого из них. Такое соблюдение всегда отличало взаимоотношения Люсьена с теми, кого он приглашал разделить на некоторое время с ним свой кров. Допустим, с 6-летним Анри, эксгумированным Люсьеном после скоропостижной кончины от скарлатины, по причине чрезвычайной узости в тазу глубокие проникновения оказались невозможны, и Люсьен и Анри беззвучно договорились избегать таких проникновений, чтобы не пораниться им обоим. Со скончавшейся при родах Женевиевой, чьи половые органы закономерным образом оказались ввиду обстоятельств ухода из жизни непригодными для посмертной любви, Люсьен заключил взаимоприятный пакт о том, чтобы он нашел себе прибежище в тени ее роскошных ягодич и изливался бы в таящийся там лабиринт, *«чуждый неприятностям деторождения»*. Наградой за нечестность живого любовника к неживому могут быть потрясающие открытия: например, благодаря 45-летней швее с кнутовидными усами, которой суждено было лишиться девственности уже тогда, когда ее *«половые органы приняли тот темный фиолетовый оттенок, какой встречается у некоторых грибов или у перехваченных морозом гортензий»*, некрофил смог прознать,

что из расхожего стереотипа, заключающегося в том, что одним из судьбоноснейших моментов в жизни каждой женщины является потеря ею девственности, без ущерба для справедливости этого суждения можно изъять упоминание о жизни – в том смысле, что если женщина теряет девственность после смерти, все равно этот момент остается для нее – если не рассматривать ее последний вздох как финальную точку земного пути ее, во всяком случае, тела – чрезвычайно важным. И такая запоздалая дефлорация отнюдь не послужит препятствием тому, чтобы после утраты невинности женщина как следует раскрыла бы свое естество, проявила бы сполна заложенную в себе сексуальную чувственность; и Люсьен, сделавший для похорон на Чингисхана обладательницы неестественно крупного клитора после смерти то, что никто не сподобился сделать для нее при жизни, получил за свое великодушие роскошный приз: *«Похоже, что в смерти своей она стремилась отыграться за долгое воздержание при жизни. Никогда прежде я не встречал половых органов настолько непредсказуемых, живущих такой насыщенной и таинственной собственной жизнью. Ее вагина то расширялась, как рыба-еж, и я чувствовал, что теряюсь в ее пучине, то внезапно хватала меня, сжимала и сосала с жадным прищмокиванием»*. А еще не стоит упускать из вида то, что пусть любовь некрофила не может не быть краткосрочной, но зато, объявляя любимой/му о неизбежности немедленного расставания, у него есть все шансы повести себя не по-сердцеедски, а по-рыцарски. Дело обстоит так, что при разрыве с обожаемым существом некрофил делает больно лишь себе, а зато покидаемые им возлюбленные в этот момент обнаруживают себя укутанными непритворными нежностью и заботой. Во всяком случае, так старался жить и поступать – в соответствии с кодексом некрофильской чести – Люсьен: *«Своих подружек с ледяным, как мята, задним проходом, своих изысканных любовниц с животами из серого мрамора я привожу на своем «шевроле» по ночам, когда все спят, и провожаю их так же – до моста в Севре или в Аньере»*.

Шерлок Холмс, рассказывая доктору Уотсону о том, как ему удалось спастись из коварной ловушки, устроенной для него

профессором Мориарти на Рейхенбахском водопаде, поведал, что ему здорово помогло в схватке со злодеем знание приемов японской борьбы баритсу, уроки которой ему когда-то доводилось брать. Позже многочисленные исследователи холмсианы потратили немало трудов в надежде найти хоть какие-то достоверные в историческом смысле сведения об этом виде восточных единоборств, однако их усилия оказались тщетными, и борьба баритсу со всей несомненностью явила себя всего лишь плодом воображения сэра Артура Конан Дойля. Вероятно, и исследователям литературного наследия Габриэль Витткоп точно так же никогда не удастся результативно решить заданную ею другую «японскую» загадку, поскольку, очевидно, не существует никаких документальных свидетельств заправдашнего существования мастера макаберных нецке XVII века с острова Кюсю Коси Мурамото, чьих работ большим ценителем и тайным коллекционером оказывался некрофил Люсьен; нецке эти были поистине прекрасны: это были мертвые в содомском соитии с гиенами, сосущие член суккубы, онанирующие скелеты, трупы, сплетенные как гадюки, призраки, пожирающие человеческие зародыши, куртизанки, садящиеся на восставшее мужество мертвецов. А самое любимое нецке Люсьена, которое он всегда носил с собой в жилетном кармане, изображало двух толстеньких крестьян, с ловкостью блудящих в глазницах черепа... Да, наклонности Люсьена были не просто экстравагантны, но более чем демоничны, но Режин Дефорж, как уже было сказано, на свой страх и риск издала «Некрофила», и это не повлекло за собой никаких серьезных судебных преследований по факту выпуска этой книги; возможно, так произошло не только благодаря ее бесстрашию и решительности, но и потому, что Габриэль Витткоп мудро вложила в уста Люсьена мысль о том, что *«на свете есть одно грязное дело – это заставлять других страдать»*; эти слова помогли Люсьену привлечь в свой монолог образ непревзойденного магистра причинения мук невинным – Жилия де Рэ, *«человека с ущербной сексуальностью, вечного мальчика, без конца повторяющего свое самоубийство в других»*, привлечь его словно свидетеля в свою защиту, – как продюцента идеального зла, на фоне сверхчеловеческих зверств которого

некрофилы отступления от общепринятых норм морали могли выглядеть несомненно заслуживающим снисхождения пороком; литературный персонаж, осуждающий Жюль де Рэ, уже едва ли может быть – уж во франкофонском-то мире точно – воспринимаем как отрицательный, а коли он самого себя записывает в антиподы прототипу Синей Бороды, то он становится уже без пяти минут положительным. Таким образом, вероятно, уже в 70-ые годы Витткоп открыла для себя формулу, которую озвучивала спустя многие десятилетия и благодаря следованию которой могла чувствовать себя практически абсолютно свободной при выборе сюжетов и тем для своих книг: «можно написать все, если знать как» – так любила она повторять; вероятно, применение этой формулы и сделало книги Габриэль Витткоп не уступающими в необыкновенности ее жизни, а ведь тут было с чем соревноваться: в годы оккупации она спрятала в Париже немецкого дезертира-гомосексуалиста, за которого после войны, переехав в Германию, сумела выйти замуж и с которым смогла прожить много счастливых лет; не поимев с супругом за долгие годы их союза ни одного сексуального контакта, она, тем не менее, утверждала, что вышла замуж по любви, а отсутствие какой-либо физической близости с мужем мотивировала тем, что считала скотством в отношениях между любящими людьми иметь привычку – по крайней мере, если они оба живы – залезать друг другу во внутренности.

«Можно написать все, если знать как» – эти слова вполне оказались бы к лицу и Прусту, к книгам которого Витткоп относилась с обожанием; вспомним, например, как желая в не самую свободонравную эпоху поведать человечеству о своей любви к своему шоферу (Альфреду Агостинелли), Пруст сделал его в своих романах женщиной, превратив Альфреда в Альбертину; Габриэль Витткоп тоже знала толк в подобных хитростях и реализовала свою мечту написать о борделе, где клиентам предлагают детей для жестоких удовольствий, поместив действие своей повести «Торговка детьми» (изданной, как и «Chaque jour est un arbre qui tombe», уже после совершенного в 2002-ом году Витткоп самоубийства) в чрезвычайно брутальную среду – Париж первых лет Великой французской

революции; Париж, в котором главным развлечением обывателя были походы в морг, где можно было бесплатно поглазеть на обваленные в соли детские трупы с кишашшими червями вспоротыми животами, а если повезет – то и на какую-нибудь диковину вроде человеческой головы, сваренной в сале в глиняном горшке. Не забудем, однако, что подавляющему большинству женских персонажей многотомных поисков утраченного времени прототипами служили все-таки фемины, как, например, и эдакой несущей конструкции эпопеи – кухарке двоюродной бабушки повествователя Франсуазе, за которой Пруст замечал, что она фанатично руководствовалась в жизни ею же изобретенным очень причудливым сводом законов, охватывавшим чрезвычайно широкий спектр сфер человеческого бытия и полным непостижимых внутренних противоречий, что напоминало рассказчику о законах древних эпох, позволявших убивать младенцев, но запрещающих варить козленка в материнском молоке или есть часть туши животного с седалищным нервом. Систему взглядов Маргариты Паради (выдуманной Витткоп парижанки, содержательницы пикантного заведения, дававшей своей бордоской подруге, подумывавшей открыть такой же бизнес, профессиональные советы в пылких письмах, что и составили эту книгу) отличала внутренняя не противоречивость, а абсолютная гармонизация, равно как и безусловный либерализм: ее мировоззрение акцептировало и убийство детей, и употребление их в пищу, причем вовсе не как возможность решения продовольственного кризиса (допущенную в едких сатирических целях Свифтом в его «суконный период»), а как способ получения пароксизмного гастрономического наслаждения. Одними из важнейших стилеобразующих факторов в творчестве Габриэль Витткоп можно уверенно считать анатомическое и историческое правдоподобия, и ей охотно верится, что в эпоху, когда пала Бастилия, пали и многие условности, и поэтому не было ничего сверхвольнодумного – на фоне тотального раскрепощения общества – в том, чтобы ради улучшения вкусовых характеристик человеческого мяса помучить бы как следует живой организм перед забоем. Один из наиболее преданных клиентов заведения Маргариты Паради собственно и приходил к ней

в бордель за сырьем для изысканной пищи; засовывая в анус мальчикам лет пяти-шести различные предметы из своего несессера, а то и залезая туда кулаком, господин Кабриоль де Финьян сообщал ребенку такие предсмертные страдания, что делали его мясо пригодным для приготовления самых изысканных блюд. Кабриоль де Финьян заворачивал испускавшего дух в немыслимых мучениях мальчонку в холстину и уносил, оставляя Маргариту в раздумьях о том, предпочтет ли он потушить свою добычу или изжарить.

Маргарита честно предупреждала свою приятельницу из Бордо Луизу, что в ее бизнесе количество летальных исходов значительно выше, чем в любом другом, – при том, что большинство посетителей ее заведения видели в нем прежде всего все-таки элитный бордель, а не ферму. Детально описав в одном из писем, как одна из ее клиенток изнасиловала девочку лет семи-восьми двумя годмише сразу, превосходящими размерами самый крупный натуральный уд, искалывая попутно ребенка булавками, после чего девочка умерла в страшных конвульсиях, кровотока раздувшимся у нее между ног фиолетовым баклажаном, Маргарита призвала Луизу раз и навсегда извести в себе жалость, ибо жалость оказывалась противопоказанием к занятию таким ремеслом. Тут же Маргарита рассказала о судьбе вымененной ею и ее помощницами на бочонок рома в убогой обители у монашек 13-летней сиротки, что была назначена в употребление *«господину Лопару де Шоку, почтенному биржевику и очень набожному человеку, с заплывшими жиром глазами, женатому на святоше, родившей ему семь или восемь детей»*, который отличался необычайной живостью воображения, когда представлялась возможность кого-то хорошенько помучить. Сиротка выдержала чудовищный натиск этого господина с пикническим обликом, и тогда на помощь ему был призван прислуживавший в борделе исполин-негр, фалды зеленого парчового плаща которого с трепетом летели за эбеновым деревом его бедер в тот момент, когда он с разбегу пронзал огромным членом сиротский зад... Питание ребенка благодаря его неожиданной выносливости удалось растянуть на несколько дней, в течение которых девочка несколько раз теряла сознание, и ее воз-

вращали к жизни, заботливо кормя с ложечки куриным бульоном, – для того, например, чтобы – уже ожившей – помочиться ей в очередной раз в рот. В деликатных подробностях вырисовав мучения, которым подвергся ребенок, Маргарита попросила Луизу не изумляться тому, что и в этом случае смерть наступила достаточно стремительно: *«У нее были овечьи глаза, светлые волосы, собранные в шиньон, низкие, но красивые груди, и длинные ноги совершенной формы. <...> мы занимались с нею содомией с таким пылом, что она от этого умерла. Как, и она тоже?!.. – спросите Вы. Вас удивляет, что у меня так часто мрут? Это сущая правда, а, кроме того, смерть является неотъемлемой частью наших игр».*

И точно так же смерть являлась неотъемлемой частью каждого сюжета, к которому обращалась Габриэль Витткоп, а часто – и неременной частью названий ее произведений, вмещавших в себя эти «смертельные» сюжеты. Можно вспомнить «Смерть К.» (1975), восхитительную историю о гибели британского педераста в трущобах Бомбея, или «Убийство по-венециански» (2001), уже не восхитительный, а просто-таки волшебный детектив о загадочных смертях четырех жен Альвизе Ланци, владельца прядильни на Джудекке, рассказанный на позднем инквизиционном бэкграунде; оба этих ее текста тоже принято относить к самым значительным плодам художественного гения Витткоп. Что один, что другой – эдакие калейдоскопы агоний, но ни одна из них – мы можем быть уверены! – не была, что называется, списана с натуры; известно, что, комментируя по просьбе критиков для литературных журналов свой самый знаменитый роман, Витткоп неоднократно говорила, что пробовала в своей сексуальной жизни очень многое, но никогда не спала с мертвыми, в чем ее стали подозревать современники, находившиеся под впечатлением от исключительной выразительности некоторых сцен «Некрофила», и добавляла, что не приходилось ей и видеть картин мучительного покидания света человеком (даже со страдавшим болезнью Паркинсона мужем они договорились в 1981-м году так, что он убьет себя в ее отсутствие), однако и в части описания мучительных отошествий людей в предположительно иные миры Витткоп выставляла себя таким глубоким знато-

ком вопроса, перед компетентностью которого спасовали бы, наверное, фронтовой санитар с опытом работы на передовой в самой из кровопролитных войн или сиделка в хосписе, выжившая в самых свирепых эпидемиях. Витткоп охотно признавалась в том, что двумя вещами в жизни, страшившими ее сильнее всего, были конечная фаза реализации женской репродуктивной функции и агония; она счастливым образом избежала и того, и другого, никого, во-первых, не родив, а во-вторых, предпочтя мукам кончины от рака легких, который был у нее диагностирован после размена девятого возрастного десятка, суицид с высоким уровнем анестезиологической поддержки. Однако если даже мысль о родах ужасала Витткоп совершенно безоговорочно и вызывала у нее рвотные приступы (она даже рассказывала журналистам, что – с незапамятных пор – если ей случалось увидеть ребенка-грудничка, она всякий раз принималась блевать от омерзения), то в случае с агонией ее ужас перед ней отступал перед ее любопытством, потому что таинство агонии ее завораживало, и если у нее не получалась за ней наблюдать, то она принималась про нее домысливать, и делала это так, что воображения ее хватало для того, чтобы вогнать в срам часто ленивую на выдумки природу. Тем более что Витткоп мог страшить умирающий человек, но никак не свежеемерший, а уж о том, с какими обстоятельствами было связано превращение в труп еще не так давно живого тела, любой труп рассказывал Витткоп даже более красноречиво, чем Шерлоку Холмсу вещали о горькой судьбе старшего брата доктора Уотсона унаследованные от него доктором часы. И со временем исследование многообразия того, как может быть обставлен величественный ритуал, представляющий из себя, как выражался некрофил Люсьен, *«дохождение до космической правды, чуждой лживому миру живых»*, стало едва ли не самым любимым для Витткоп способом текстопорождения.

Именно таких исследований полон знаменитый сборник рассказов Витткоп *«Les Departes exemplaires»* (1998); его открывает новелла «Балтиморские ночи», в которой рассказана история Эдгара По и Виргинии Клемм (и в которой они ни разу

не названы по имени). Трудно себе представить более изысканную смерть, чем смерть от стыда, и еще сложнее вообразить, что может взрастить в человеке в буквальном смысле смертельный стыд; тому, кому не достанет воображения на решение такой задачи, полезно будет узнать, что Виргинию Клемм, супругу и одновременно кузину Эдгара Аллана По, убил именно стыд, а вовсе не туберкулез. За 11 лет замужества так и не лишиться девственности – это такая тайна, раскрытие которой несовместимо с жизнью, и только отягчающим вызванный такой ситуацией стыд окажется то обстоятельство, что эти годы были прожиты отнюдь не с бесчувственным мужчиной; беда была в том, что супруг Виргинии принадлежал к тем немногочисленным тонким мужским натурам, что не способны направить свою любовь на живую, а не на мертвую женщину. Что ж, пусть Виргинии Клемм не могла показаться счастливой ее жизнь, зато уж убранство ее смерти оказалось самым что ни на есть высшеразрядным, ибо муж окружил умирающую – а вдовец – только что умершую – в столь безграничных объемах трогательной нежностью (в более умеренных дозах каковой он не отказывал жене и в их общие 11 лет), что случился эдакий переход количества в качество: нежность превратилась наконец в любовь. В комнате супругов всегда было промозгло, но Эдгар По позволил жене умереть закутанной в его любимую (настолько любимую, что ему было жалко ее носить) шинель, а неспешно остывать ее в той же шинели выгрузил на представлявший для него сакральную ценность предмет мебели – свой письменный стол, расположив труп возлюбленной (уже действительно возлюбленной, а не носительницы отвлеченно обожествлявшегося им образа) между самых дорогих для себя вещей – чернильницы и стопки книг. Именно эта компания – а не также оказавшиеся по разные стороны от мертвого тела Виргинии Клемм ее мурлыкавшая черно-желтая кошка и ее шептавшая молитвы мать – обеспечили Виргинии такую смерть, какую она заслуживала по своему статусу – статусу жены великого поэта.

Если человек способен самым щедрейшим образом декорировать смерть своего ближнего, он может рассчитывать на соразмерную щедрость фортуны при декорировании

его собственной смерти, и с Эдгаром По так и вышло – судьба предначертала ему не уступающую в изысканности смерти от стыда смерть от безумия, не поленившись соорудить для нее подходящие покои – палату с осыпающейся со стен штукатуркой, сшить уместный туалет – белый балахон, и обеспечить лучшее для такого торжественного повода общество – демонов с огненными глазами и высеченных из лунного камня покойниц, не ведая тесного знакомства с которыми не при смерти, а при жизни, поэт нипочем не создал бы своих бессмертных сочинений. Судьба не разочаровала поэта, а он не разочаровал судьбу – на арфой вибрирующей койке стал в свой предпоследний миг куклой с выпученными глазами, а в последний – маской с искривленным ртом со хлещущим из него слюнно-кровяным потоком.

В сборнике «Les Departes exemplaires» не было новеллы с таким названием, но любая из пяти в него вошедших вполне могла бы именоваться «Образцовой смертью», поскольку в каждой из них экспонировались чрезвычайно небанальные человеческие кончины. Впрочем, Габриэль Витткоп, очевидно, считала, что банальных смертей не бывает, а просто часто рядом с умирающим не оказывается того, кто смог бы различить в самом заурядном – на непросвещенный или на замыленный взгляд – представлении эксклюзивные обстоятельства (или сообщить ему таковые). Быть заклеванным птицей Рух, препарированным инопланетянами, абсорбированным Бермудским треугольником, распасться на атомы по дороге с почты на ферму на одном из островов Галапагосской группы – это, несомненно, не просто виды гибели, а прямо-таки подарки судьбы, но Габриэль Витткоп было известно, что с иным тривиальным по внешним признакам insultом могло быть связано не меньше мистики и изощренных смертельных удовольствий, чем в случае с любой из перечисленных эффектных экзотичностей. А, кроме того, Габриэль Витткоп не считала смерти плеев менее занимательными, чем смерти аристократов; быть насмерть пробитым отлитой из украденной у тебя пуговицы пулей – такая судьба, конечно, признавалась Витткоп за большую удачу, но при этом она считала, что летально подавиться косточкой трески – тоже может быть поводом для настоящей

гордости, ибо землистые пятна на синем челе задохнувшегося не казались ей уступавшими в аттрактивности пунцовому маку на белоснежной сорочке дуэлянта.

И тем более не казалась Габриэль Витткоп покорная смерть менее достойной той, что была принята в отчаянной борьбе за жизнь; Сеймур М. Кеннет, отставленный приказчик нью-йоркского обувного магазина из ее новеллы «Падение», прожил совершенно невзрачную жизнь, самым драматичным событием в которой оказалась его измена хозяйке предприятая, в котором он трудился за еду, со вдовой-католичкой ирландской крови, вылившаяся – по факту раскрытия – в его изгнание не только из постели обманутой сожительницы, но и из ее процветающего бизнеса. Будто компенсацией за ущербную жизнь Сеймуру М. Кеннету оказался положен блистательный уход из нее, и если все его сознательное существование безволие Сеймура М. Кеннета ни давало ни шанса этому существованию расцвести хоть одной мало-мальски яркой краской, то в его смертный час это безволие как раз потрафилло тому, чтобы принятой им смертью было впору восхищаться. Совершив социальное падение с высоты обувного салона на Кэнэл-стрит аж до донных глубин городской теплоцентрали под Парк-авеню, Сеймур М. Кеннет умер как истинный эстет: безропотно дал задушить себя вытащенной из-под него половой тряпкой, на которой – постеленной поверх цемента – он жил во влажном гроте в подземном трубном царстве и превратился из до омерзения раболепного человека в до упоминания прекрасный в своей инертности труп: со сложенными на груди лягушачьими лапками руками, с немигающими слюдяными глазами на съеденном больше чем наполовину крысами лице, со снующим по всей его поверхности полком тараканов и величественно покоящийся под шумным крепом черных возбужденных мух.

Впрочем, в разных человеческих возрастах уходить из жизни – если есть амбиции умереть величаво – следует по-разному, и, например, в юности безропотно встреченная смерть не может претендовать на великолепие, потому что юным подобает умирать в отчаянной битве за продление своего земного века; *«семнадцать лет – возраст великих сра-*

жений, в котором даже без воды и питья, не умирают тихо, подобно лампе, гаснущей без топлива», а оттого созерцание смерти именно волевого юноши или упорной девушки может доставить знающему толк в вопросе стороннему наблюдателю высокое наслаждение, чему доказательством и служит рассказ Витткоп «Идалия на башне», презентованный автором читателю как «назидательная новелла о медленной и мучительной смерти». Аккурат 17-летняя мисс Идалия Дабб, шотландка, чье семейство, предводимое ее весьма жизнелюбивым, несмотря на безнадежный рак простаты, отцом, совершает в самую середину XIX века вместе с семьей путешествие вдоль Рейна; если мистер Децимус Дабб, зажиточный полиграфист, чья прожорливость наводит на мысль, что ему приходится есть за двоих – за себя и за опухоль, делает в ходе этого путешествия прежде всего гастрономические открытия, исследуя и сравнивая, допустим, вкус майнцких, бад-эмских и множества других ветчин и колбасок, а также дегустируя каубские и хорвалейрские вина, то его дочь Идалия, натура художественная, держащая изобразительное искусство за свое призвание и оттого вынашивающая непопулярные в семье планы сделать его своей профессией, в то же самое время оказывается очень предрасположенной к, что называется, визуальным открытиям, а оттого открыться всегда готов бывает ее альбом, чтобы вместить очередной растушеванный или карандашный рисунок стоящего к себе внимания вида. Однажды в расчете запечатлеть особенно исключительной красоты панораму Рейнской долины она вознамеревается взобраться на крышу древнего донжона и становится жертвой недобросовестности реставраторов лестницы в имеющем архитектурно-историческую ценность оборонительном сооружении: когда мисс Дабб почти достигает конечной цели своего восхождения, ступеньки за ней обрушаются и улетают в плохо различимую бездну. Донжон на то и донжон, чтобы быть построенным в самом труднодоступном для осады вражеской армией месте; в мирное же время донжоны остаются стоять на значительном удалении от мест человеческого обитания. Идалии никто не приходит на помощь; она умирает долго и в страшных страданиях, и ее гибель – тоже академический образец смер-

ти исключительной красоты. Когда сердце Идалии совершало свои последние удары, температура ее тела составляла 42,3 градуса по Цельсию, она ощущала страшную боль в разорванной печени, но рези в желудке – вызванные анилином, содержавшемся в съеденных ею восковых незабудках с ее шляпки – были ничуть не менее ужасны, а ее дыхание сопровождалось столь громогласным хрипением, что его можно было бы легко расслышать даже у подножия высоченной башни, где, правда, никого не было; зато наверху Идалия была в тот момент не одинока, поскольку ее окружила стая ворон, уподобившаяся анатомическому симпозиуму; ворон, развлеченных Идалией многодневным зрелищем ее отчаяния, но уже алчущих положенного в комплект ко зрелищу «хлеба» ее плоти. Это только великолепная финальная точка в описании идеальной робинзонианы Идалии, но выдающейся в своей естественности ее агонии предшествовало множество немало тоже удивительных и заслуживающих восхищения вещей. Мисс Дабб ела проросшие в трещинах между камнями одуванчики и блевала потом серебристой слизью; лизала, борясь с жаждой, вмурованное в стену железное кольцо и лакала подле этой стены из лужицы свою мочу, откусывала себе ногти с гноящихся пальцев, покрывалась под тремя своими склеившимися красной кашицей юбками коркой из своей менструальной крови (*«когда луна послала ей свои пурпурные цветы»*), падала от головокружения и ломала при падениях ребра, протыкавшие ей печень; растягивалась красными кузнечными мехами, становилась веером, вырезанным из плоти ножом, оборачивалась *«галактикой с красными солнцами внутреннего кровотечения»*.

А в почтенном возрасте, напротив, больше к лицу смерть, не слишком растянутая во времени; более того, в преклонные лета пристало прямо-таки устремляться навстречу собственной гибели, *«безрассудно кружась в пляске смерти»*. Можно заморозиться рисунком на изумрудных крыльях тропической бабочки и поспешить за ней в малайские джунгли, не прихватив с собой пилюль, спасительных в минуты приступов желчнокаменной болезни, и, как под гипнозом любясь диадемой усиков и игрой оттенков торакса чешуекрылого, вдруг ощутить свой правый бок будто пронзенным огненным

мечом, упасть и покатиться, подскакивая на буграх и холмах, в свою последнюю обитель: во влажный бархат джунглей – в слизистый мох, как случается с бывшим художественным директором Балета Монте-Карло, братом секретаря ВВС США при Эйзенхауэре и, возможно, двойным или тройным агентом множества разведок в новелле «Последние секреты мистера Т.». Наконец, в новелле «Клод и Ипполит», посвященной истории любви близнецов-гермафродитов, исследуется случай, когда смертью обретается, возможно, самое эффективное из подчеркивающих ее величие качество – симметрия: коляску с гермафродитами атакуют в предместье Парижа – что никакая не редкость для середины XVIII века – лесные разбойники, и близнецы синхронно принимают кинжалы в свои ткани сквозь валансьенские кружева жабо, солидарно выпускают из своих кишок сок, одновременно прекращают дышать. И уже позже в овраге также становятся равнопорционными снадью для червей, кормом для личинок, удобрением для корней.

Вероятно, Клоду и Ипполиту повезло меньше, чем шведским дизиготным подросткам – юным брату и сестре, утонувшим в Сорренто в «Некрофиле» и выкраденным мертвыми из пещерного грота – служившего на курорте импровизированным моргом – в гостиничный номер Люсьеном; в отличие от Клода и Ипполита, шведским близнецам-утопленникам в промежуток между их трагической кончиной и вхождением их останков в рацион сарконекрофагов провидение дало щедрую возможность принять участие в захватывающих эротических авантюрах – с помощью пылкого похитителя их мертвых тел, и вкусить неизведанные ими при жизни удовольствия страстного совокупления (впрочем, участь Клода и Ипполита тоже вовсе не печальна, ибо они успели изобрести и опробовать множество способов взаимопроникновений и коитальных техник к моменту, в который они стали в лесу жертвами безжалостной разбойничьей расправы). Между тем восхитительные скандинавы оказались последней в череде добыч серийного труполоуба Люсьена перед его разоблачением, а трагическая гибель Клода и Ипполита оказалась описанной на последней странице последней новеллы «Les Departes ex-

emplaires»; вероятно, Габриэль Витткоп считала, что мертвые близнецы – это то место, дальше которого – если ей случалось до него добраться – художественное исследование любого явления не имело никакого смысла, поскольку как она ничего не находила прекраснее двух одинаковых или почти одинаковых трупов, так не видела и никакого резона продолжать рассказывать любую историю – или набор историй – после сцены засвидетельствования их разложения; любая тема оказывалась исчерпанной, про всякое явление становилось ясно, какой у него возможен пароксизм.

Еще один роскошный набор историй Витткоп – коллекция ее поздних рассказов «Le Sommeil de la raison» – опять-таки оказался выпущенным посмертно – в 2003-ем году. «Титульная» в этой коллекции новелла «Сон разума» повествует о фуршете в монастырском приюте для выродков в Мадриде, затеянном предчувствующим свою скорую смерть интеллектуалом, пресытившимся практикованием разнообразных пороков и потерявшим вкус к опытному выяснению предельных величин мыслимого в земных условиях зла, но придумавшим-таки незадолго до своей кончины все-таки способное еще взбудоражить его сознание развлечение; устроитель этой вечеринки (на которой щедро были опоены игристым вином – и оттого впали в непотребное буйство – макроцефалы, карлики, циклопы, гипертрихозники, фокомелики и даже пара сиамских близнецов, один из братьев в каковой был представлен на этом свете лишь тазом, грудной клеткой и беспальными конечностями) был убежден в том, что чудовища и монстры – это вовсе не бесцельный фарс природы, а ее отборные произведения, в каковых она явила свое внимание к деталям. Если заменить в этом логическом построении природу на жизнь, уродов – на смерть, а фарс – на его товарку по знаменитому и потерявшему – в силу своей сверхчастой невпопадной употребляемости – всякий смысл афористическому суждению Гегеля, то есть – на трагедию, и противопоставить не уродов полноценным человеческим особям, а смерть человека его рождению, то можно будет вывести что-то вроде одной из главных тем в творчестве Габриэль Витткоп, потому что челове-

ская смерть никогда не позиционировалась в ее произведениях как страшная неизбежность, что трагическим образом кодировала бы чудо – человеческую жизнь, стартовавшую с еще более непостижимого чуда – появления младенца из чрева матери на свет; напротив, смерть в книгах Витткоп часто представляла собой самой прекрасной и волнительной – даром что последней – страницей жизни, моментом пароксизмного ее воплощения, причем – в соответствии с этой же системой ценностей – по обстоятельствам смерти человека и изысканности оставляемого им после себя трупа (или даже праха) куда умнее было бы судить о его личных качествах, чем по тому, как он прожил свою жизнь (и уж тем более – чем по тому, в каких декорациях он родился). Важно и то, что смерть и рождение противопоставлялись Витткоп в равной степени и как эксклюзивное и единообразное явления, и как величественное и стыдное. В самом деле: каждый новорожденный ребенок похож на любого другого и выглядит просто позорно – как освежеванный заяц, липкий, красный, с синими прожилками и беловатыми пятнами, с гноем под тонкой пленкой, набитой мясными обрезками. В то время как гибель нескольких человек даже в одном и том же месте, даже единовременная и вызванная одной и той же причиной, вовсе не исключает для каждого из них возможности умереть совершенно особенным способом и трансформироваться в уникальные останки. С назидательной целью рассмотреть величие смерти возможно, например, на пепелище любого из сопряженного с обрушениями кровли и перекрытий и многочисленными жертвами пожара: кто-то причудливо выпустит изо рта свой пищевод, кто-то разбрасывает симметрично – по отношению к продавленной грудиной – ноги в стороны, эффектно вывернув стопы, а кто-то запечет себя не только в золе, но и в своих и компаньонских предсмертных испражнениях.

«Сон разума» задал в этом сборнике тон другим леденящим кровь историям, и леденящим ничуть не меньше, чем, допустим, «Некрофил», ибо Габриэль Витткоп в свои последние – и объективно преклонные – годы не только не уступила времени, ощущавшемуся ею как деревянистая субстанция, ни пяди остроты своего разума и безупречности бесстрашно-

сти стиля, коими отмечены все ее самые прославленные книги, но и не потеряла интереса к вопросам, активно исследовавшимся ею во весь ее писательский век. То есть, например, можно заключить, что и в 80 лет Габриэль Витткоп испытывала такой же ужас – смешанный с сильнейшим омерзением – перед вынашиванием женщиной плода и процедурой непосредственного произведения самкой человека потомства, что легко обнаруживается в книгах, созданных Витткоп в период ее нахождения на не слишком удаленном от репродуктивного возраста участке ее жизненного пути. Новелла «Живот» содержит в себе убедительное свидетельство в пользу того, что лучшим способом для человека победить одолевающую его фобию будет доблестное уничтожение ее предмета. Персонаж «Живота» по имени Клеман, чья жена Мадлен однажды сделала беременной, обнаружил, что каждый взгляд, брошенный им на живот супруги, влечет за собой для него приступ тошноты с появлением привкуса рвоты во рту; скоро дело оборачивается таким образом, что Мадлен может и скрыться с глаз Клемана, а он все равно будет видеть ее подле себя – и видеть словно насквозь, наблюдая страшнейший и навязчивейший из кошмаров – ее *«живот, наполненный ага-тами, синевато-красными массаами и чавкающей жидкостью»*; такие малодушные попытки освободиться от этого кошмара, как протыкание пером нарисованных на бумаге пузырей, шаров, глобусов, и разрывание этой бумаги в клочья не несут за собой ни действительного решения проблемы, ни даже кратковременного от нее отдохновения. Словно с помощью самого совершенного в мире рентгеновского аппарата Клеман видит скорлупу в животе Мадлен, а за ней – *«красноватые пелены, потроха с окровавленными извивами, воды, мягкие хрящи, стеклянистые массы, переходящие в зеленовато-желтый опал, губчатое разбухание»*; но однажды Клеман, отчетливо различив внутри живота своей жены складки, покрывающие желе, наложенное блинами поверх малинового ядра, которое и само делилось на пластинки вплоть до центральной точки, как осененный заключит, что именно в эту точку – а не в изображение шарообразных предметов – следует нанести настоящий удар, и нанести его не канцелярской принадлежностью,

а набалдашником увесистой трости с прикрученной к нему шляпной булавкой. Если человек принимает мужественное решение, то провидение – отдавая дань его мужественности – начинает благоволить к человеку и создавать благоприятные для его решительности обстоятельства; такими обстоятельствами для Клемана оказывается пожар в балагане на благотворительном базаре, где он, воспользовавшись возникшей паникой, безнаказанно расправляется с женой – разбивает ей тростью голову, выбивает ей почти все зубы и, конечно, обрушивает свою трость на ее живот в заранее намеченных координатах, орудуя ею словно лесоруб (прокладывая сквозь лес плоти путь к сердцу эмбриона). Живот Мадлен взрывается соком, который, подсыхая, оборачивается лаком; лак подгорает, Мадлен сгорает, а Клеман – фаворит провидения – оказывается единственным зрителем в балагане, которому удается покинуть его до падения на обезумевшую толпу полыхающего тента.

И точно так же, как Габриэль Витткоп до последнего ее дня не переставали ужасать «неприятности деторождения», не переставали ее и очаровывать всевозможные метаморфозы разнообразных тканей или материй, и надо ли говорить, что среди этих метаморфоз Витткоп чаще предпочитала иллюстрирующим эволюцию иллюстрирующие ферментацию (или любые иные «распадные» процессы). Как бы ни были почтенны ее лета, почва в ее книгах по-прежнему превращалась в трясины, дома так и крошились черными сухарями, мебель в них – как уж завелось – становилась хрупкой как воск соевых ячеек; города разрушались, океаны испарялись, – весь мир рассыпался в прах, стрекоча при этом как сверчок. И человек, конечно, не оставался никогда в стороне от этих величественных потрясений – тело его оборачивалось кишасей червями падалью, а душа – забытым образом самой себя. Габриэль Витткоп, однако, оставалась и остается «автором для избранных» отнюдь не только потому, что для широкой публики ее книги могли и могут оказываться слишком отталкивающими; в действительности, главным связанным с ними противопоставлением для такой публики оказывалась и оказывается их непостижимость. Это значит, что для плеторического

восприятия романов и новелл Габриэль Витткоп ее читателю нужно или уже иметь собственный опыт наблюдения за ферментационными и им подобными процессами, или, по крайней мере, иметь отвагу такой опыт приобрести. В противных случаях рецепиент ее изысканной прозы будет оказываться профаном в тех многочисленных случаях, когда для адекватного представления сложившегося в том или ином произведении Габриэль Витткоп положения ему следовало бы моментально считывать предлагаемые автором ассоциативные коды – чтобы, условно говоря, «аромат гнилой розы» или «цвет гнилой маслины» не оказывались для него сущей абстракцией. Следует осознать, что под немногочисленными «избранными», которые-де способны в полных объемах наслаждаться блистательными сочинениями Витткоп, нами с вами тут понимается не какая-то группировка манерных снобов, а просто люди, способные воспринимать окружающую действительность – и жить в ней – ярко, а такие люди ведь действительно составляют в популяциях своего вида безоговорочное меньшинство. А жить ярко – это значит, среди прочего, принимать к прогорклым похлебкам, к немытым подмышкам, к половым тряпкам, к куриному помету, к мертвым животным, к твердым и жидким экскрементам, к полным вшей матрацам; принимать, приглядываться и даже многое из этого пробовать на вкус, чтобы знать, как смешиваются запахи – а также оттенки и вкусы – мочи и шампанского, кала и жасмина, снега и портянки, курятника и падали, вшей и мела, мяса и пыли, груши и выползающего из нее червячка. Что ж, давно известно, что жить ярко получается только у обладателей могучего человеческого духа; Габриэль Витткоп – один из самых блестящих примеров, с помощью каковых можно описать данную закономерность.

Нет сомнений в том, что сама Витткоп так и не потеряла никогда вкуса к подобным наблюдениям, и лишиться возможности продолжать их вести казалось ей едва ли не главной – если вовсе не единственной – неприятностью, которую могла повлечь за собой ее кончина. Списанная ею с себя в «*Chaque jour est un arbre qui tombe*» Ипполита хоть и не испытывала

страха перед смертью, но горевала, однако, о своем неизбежном «устранении» из вечности – о том, что с ее физическим исчезновением не прекратятся смена времен года, цветение деревьев и выпадение снега. Именно в таком ракурсе перспектива потери собственных личности и сознания внушала Ипполите ужас – в комплекте с желанием поскорее умереть, однако она не собиралась уступать этому желанию и намеревалась выиграть заключенное некогда пари, для чего требовалось дожить до глубокой старости. Люсетт Детуш, к примеру, сделав это, в некотором смысле такое пари проиграла; заказывая общий для себя и Селина надгробный памятник, она повелела выбить первые две цифры в годе своей будущей смерти – «единицу» и «девятку», будучи уверенной в том, что «уложится» в XX век, однако и в 2009-ом году сохраняет трезвые ум и память и выходит из дому; Габриэль Витткоп же вошла в XXI век в полном соответствии со своими намерениями, и, возможно, не случись страшного диагноза, повлекшего за собой в 2002-ом году ее величественное самоубийство, она благополучно бы выполнила свой – или, точнее, Ипполитин – план в отношении себя – умереть в 91-летнем возрасте в Венеции, сидя лицом к морю на морской террасе, и быть найденной с открытым ртом, распахнутыми глазами, съежившейся в кресле и с разбитыми очками подле ног. И жизнь ее тогда бы оказалась замкнутым с двух сторон в две короткие реплики приключением, «Девочка!» и «Старуха умерла!», причем когда Ипполита представляла себе все это, первая реплика злила ее куда сильнее, ибо ею принимавший роды жалкий практикующий врач без воображения разом лишил ее радостей флотской карьеры и посягательств на девичью честь, и на всю жизнь обрек носить юбки.

Вся жизнь Габриэль Витткоп – это 82 года (1920–2002); каждый свой день рождения она – точь-в-точь как и Ипполита – воспринимала как праздник в честь плода, который должен созреть, упасть и сгнить. *«Возраст не касается меня как негативная проблема, поскольку я каждый день рождаюсь на свет и начинаю все сызнова. Он касается меня лишь как метаморфоза. Всякая метаморфоза – чарующий процесс в непрерывном ряду этапов. Наблюдение за тем, как удли-*

ненная нимфа Пармиджано постепенно превращается в колдунью Ганса Бальдунга Грина, представляет естественное явление, – и не что иное, – которое поражает меня до такой степени, что удивление, изумление в подлинном смысле слова, исключает всякую возможность огорчения. Это как видеть насекомое, вылупливающееся из куколки. Распускающийся лист. Падающий лепесток, коричневый и смятый, который становится полупрозрачным, просвечивающим, гниющим. Видеть, как тает снежинка, шальная звезда. Смотреть микрофотографический фильм о коррозии, проверке волокон на эластичность или молекулярных изменениях, которые вызывает определенная скорость в определенном теле. Каждый этап эволюции энергий – шедевр изобразительного искусства. Что же касается осознания того увядания, которое навязывает мне возраст, оно не в силах задеть гордыню, не сводимую к проявлению вялой суетности». Иметь гордыню, чуждую суетности, – такая судьба нравилась Габриэль Витткоп и она не знала лучшего способа отблагодарить ее, чем держаться в стороне от скучных вещей, от всего, что казалось ей мелким. К счастью, недостатка в нескучных вещах в ее жизни не наблюдалось, и жить она тоже старалась нескучно – наблюдала за мертвецами и прокаженными, инвалидами и гермафродитами, рисовала гарпий и наделяла их собственным лицом, закладывала в церквях порнокартинки в молитвенники, одерживала победы и отвергала их плоды, притворялась одураченной и под таким прикрытием дурачила тех, кто думал, что одурачил ее. И наконец, притягивала к себе загадки, – точно так же, как разбрасываемое зерно притягивает к себе птиц. Этих саккумулированных волшебным образом загадок оказываются полны и ее поистине бессмертные книги, притягивающие к себе подходящих им читателей – сторонящихся, естественно, всего скучного, не замечающих, разумеется, всего суетного.

Габриэль Витткоп
ПИКПЮСОВСКИЕ ГНОМЫ¹

(Нравоучительная сказка в назидание женщинам и девушкам, которые, успешно убив своих матерей, не проявляют затем находчивости)²

– Вы очень хорошо поступили, убив свою мать – пренеприятнейшую особу, – сказала фея, – и заслуживаете награду. Можете загадать три желания – на выбор.

С этими словами она схватила бутыл шампанского и сама налила себе, ведь феи везде чувствуют себя как дома.

– Вы так добры ко мне, – ответила молодая и красивая вдова-маркиза, – и я премного вам благодарна. Первое мое желание: пусть церковь монахинь Конца св. Иосифа растает, как сахар, с первым же ливнем.

– Будет исполнено, – сказала фея, блаженно улыбаясь, – но это желание свидетельствует о величайшей наивности. Неужели вы считаете, что монашки, которые никогда не скупятся в денежных вопросах, не отстроят тотчас же свой улей?

– Во-вторых, я хочу, чтобы мои экскременты впредь получили образ и подобие шоколадных человечков, крайне редкостных из-за своей дороговизны и лакомых для детей и богомольцев.

– Превосходная мысль! Это вызовет массу забавных недоразумений. А каково ваше третье желание?

– Пожалуйста, дайте немного поразмыслить, – погрузившись в раздумья, маркиза забыла о своих обязанностях

1 Пикпюс – квартал, улица и кладбище в 12-м округе Парижа. – Прим. пер.

2 Текст был напечатан в первом номере журнала «Нуво Бизарр» за февраль 1995 года, посвященном волшебным сказкам. Главным редактором журнала был Матиас Повер, сын Жан-Жака Повера. Благодарим Николая Делеклюза, предоставившего для публикации этот и другие тексты Г. Витткоп.

радушной хозяйки, и фея сама налила себе восьмой бокал шампанского (в те времена бутылки были куда вместительнее, чем в наши дни).

– Я желаю, – наконец сказала красивая и молодая вдова-маркиза, – чтобы естество моего кузена, мальбезского каноника, коего я не выношу из-за лицемерно-немощного вида, внезапно вытянулось на семь локтей, превратившись в тощего несправедливого змея, который начнет его чрезвычайно стеснять.

– Вот смеху-то будет! Но меня удивляет, что ни одно из трех ваших желаний не касается срока вашей жизни или вашей красоты.

– Я слишком молода для того, чтобы думать об этом, и мне важно только вволю насмеяться.

– Значит, вы вволю насмеялись, убив свою мать?

– Разумеется, и я хочу вам рассказать, как это произошло. Дело было прошлым летом, в нашем отдаленном поместье Ты-Не-ПОВЕРИшь-Где, куда моя матушка ненадолго уехала. Я подсыпала ей изрядную дозу сулемы, но у нее только повыпали волосы да зубы, а в прочем она осталась здоровой, как никогда. Я накормила ее красными мухоморами, бледными поганками и базидальными грибами, попробовала лютик ядовитый, безвременник, цикуту и морской лук, но все было тщетно. Тогда мне пришло в голову прибегнуть к Пикпюсовским гномам, кои по собственному почину перебираются на лето в наши сады, где мы их и терпим. Несмотря на свою неотесанность, они оказали мне огромную помощь. Если вы знаете наш замок Ты-Не-ПОВЕРИшь-Где, вам известно, что тамошние сады расположены террасами и от верхнего до нижнего можно спуститься по лестницам, ведущим к Бассейну Нимф. Поперек этих-то ступенек, по моему настоянию, гномы с величайшей ловкостью натянули крепкие и надежные нити. Крепкой оказалась и моя покойная матушка, которая беспрестанно орала, скатываясь по четырем лестницам кувырк, пока не стукнулась головой о мраморную Нимфу. По счастью, ни одно из ее жемчужных колец не порвалось, и я преподнесла два из них гномам, изумленным такой щедростью, поскольку, обладая веселым нравом, они думали только о том хорошем и праведном поступке,

коим являлось убийство моей матушки, хоть и бесхитростно считали его простым развлечением.

– Позвольте мне, мадам, спрятаться в этой табакерке и велите, пожалуйста, принести еще одну бутылъ, ведь хотя сия новая мода на шампанское весьма изысканна, эликсир, способный поднять мою волшебную палочку, не сто́ит того, что хранится в ваших подвалах.

Так и сделали, и вечер плавно приблизился к тому часу, когда начинают ухать совы.

На следующий день Болтунья, выливая испражнения Мадам, была весьма удивлена их видом. Решив, что, возможно, случилось чудо, она все же не удержалась оттого, чтобы грызнуть предмет, явно не предназначавшийся для отхожего места, но, укусив фигурку за голову, тотчас сплюнула и громко раскричалась. Маркиза прыснула со смеху и легкомысленно заявила, что отныне ее экскременты всегда будут такими.

– Что же с ними делать? – сказала Болтунья. – Выбрасывать без крещения было бы грешно, а продавать – опасно, так что лучше оставлять их на каменной тумбе, будто новорожденных.

Так она и поступала каждый день, а маркиза вместе с Болтуньей весело наблюдали в окошко за тем, как прохожие хватали фигурку и тотчас пробовали ее на вкус или тайком уносили, пряча под пальто. Вскоре поползли слухи, хотя виновница все же оставалась неизвестной, и теперь человечки высыхали и зеленели на тумбе на углу Медвежьей улицы, а никому и в голову не приходило к ним притронуться. Кроме того, дефекация проходила не без труда ввиду их чрезмерной формы, и в скором времени маркиза начала страдать жестоким геморроем.

Несмотря на крайне засушливое начало осени, внезапно подул сильный ветер и полило, как из ведра, так что церковь Конца св. Иосифа растаяла, точно сахар. Первой под ливнем обрушилась колокольня, а все украшения и скульптуры, утратив свои контуры, сначала стали гладкими, словно масло, а затем лишились всякой формы и превратились в мягкую, разжижающуюся массу, которая, затопив мостовую, погребла под собой три кареты, стадо баранов и двух всадников. В то же время мо-

нашки, опасаясь, что могут пострадать другие здания, вышли из своего убежища. Задрав подолы до пупка, монахини, черницы и жирные послушницы душераздирающе кричали, тогда как Настоятельница дудела в рожок, который смастерила сама, а библиотекарша, знавшая древнееврейские буквы, обвиняла во всех ужасах Фасфа – истощенную глотку, Мааи – чудовищное чрево, Гаал – образ мерзости и Силфаад – тень страха. Эти жуткие откровения подтвердились разрушением церкви до основания, и одна послушница тут же произвела на свет двухголового мальчугана, которого простачи приняли за Антихриста.

Когда роды закончились, дождь перестал, а церковь растаяла (хотя монастырь остался на месте, поскольку не был упомянут в желании), собрался капитул. Не прошло и трех месяцев, как каменщики уже взялись за работу, не обращая внимания ни на грозу, ни на ливень, и стало ясно, что новая церковь уже не растает столь же легко, как прежняя. Молодая и красивая вдова-маркиза вызвала фею, дабы поведать о своей досаде.

– Что-что? Разве я виновата, что вы неполно и опрометчиво выразили свое желание?

– Но я имела в виду повторяющееся событие – хроническое, как изъясняются аптекари, – полагая, что дождь будет лить снова и снова.

– Сожалею, что вы не высказались точнее, – сказала фея. – Но теперь уже слишком поздно что-либо менять.

С тех пор, как было озвучено третье желание, мальбезский каноник оставался прикованным к постели, ибо естество его претерпело столь катастрофическую, ошеломляющую и колоссальную метаморфозу, что у него даже не хватало духа в ней признаться. Сначала он позвал хирурга, который, нацепив на нос очки, пригласил другого, тот явился в сопровождении третьего, а за ним последовал четвертый их коллега. Они принесли клистирные спринцовки, ланцеты для кровопускания, скальпели и зонды, щипцы и пиявки, которые тотчас пустили в дело. Медики растирали снадобья, вызывавшие у мальбезского каноника колики, поили отварами, лишавшими его сил, и, наконец, накрыли его естество черным сукном с серебряной вышивкой, каковым покрывают катафалки

вельмож, одновременно уложив помянутое горемычное естество на огромный помост, на краю коего поставили ночной горшок для мочи. В таком положении пациент лежал целыми днями, попивая хлебную похлебку или читая требник и не ведая при этом, откуда свалилась на него сия неслыханная напасть, ведь он не имел никаких сношений с феями.

В народе распространились слухи. Один мальчуган, который изредка тайно прислуживал канонику и был довольно лукав, рассказал обо всем своей бабушке – женщине здраво-мыслящей, да к тому же искусной повитухе.

– Сдается мне, – сказала добрая старушка, – что в деле замешана волшебная фея, или я уж и не знаю, что сие означает.

После чего она пошла советоваться с феей, которую знала с давних пор.

– Я не умею устранять то, что сделано одной из моих сестер, – сказала та, – поэтому придется искать иные средства. Быть может, обратиться к Пикпюсовским гномам, всегда готовым услужить? Предоставь это дело мне, добрая женщина, и я все улажу.

Фея направилась напрямик в Пикпюс, где гномы как раз собрались ужинать. Она обрисовала им бедственное положение каноника, но, зная, как нравится им в летний зной прохладная тенистая листва Ты-Не-ПОВЕРИшь-Где, скрыла от них первопричину недуга. Гномы посоветовались за десертом, состоявшим из груды засахаренных фруктов, айвового варенья, марципанов и драже. Они договорились устроить некий балет, по очереди усаживаясь верхом на естество каноника денно и ночью, в двадцатером либо в тридцатером, дабы сделать жизнь святого человека сносной и развлекать его по римскому обычаю, как это изображено на античных фризах. Они также предложили очень смешные или, наоборот, изысканные переодевания и отправлялись на выезды в костюмах фавнов и сатиров или Панталоне, Арлекинов и Скарамушей. Чехарда, глассе верхом, кульбиты вперед и назад, прыжки, тройные тулупы на греческий манер, кувырки, скачки и арабская акробатика – все это вовсе не удручало естество, а, напротив, придавало ему сил и энергии, хотя помост и пришлось затем выбросить на помойку. Вскоре на естестве обосновалась це-

лая деревня гномов, выделявавших сальто либо готовивших вафли с сахаром, что необычайно обогатило жизнь каноника. Он отбросил ханжество и стал приглашать дам. Слух об этих беспрестанных празднествах достиг ушей молодой и красивой вдовы-маркизы, у которой, возможно, из-за газов, развилась опасная желтуха. Фея принесла ей варенья.

– Обидно, что, формулируя собственные желания, – сказала она, – вы не выказали такого же ума, как и при убийстве своей матери... Церковь Конца св. Иосифа отстроена и стала еще краше, чем прежде. Дерьмовые человечки больше не смешат и к тому же вызвали у вас серьезную болезнь. Что же касается естества каноника, вас берет лишь досада. Впрочем, если бы вы пожелали его исчезновения вместо его превознесения, никто бы ничего не заметил, а сам каноник – уж подавно. Итак, ваши желания не принесли вам пользы, да и посмеялись-то вы всего ничего. Жаль, конечно, но это доказывает, что во всем следует задумываться о конечной цели. Но довольно поучений, Мадам. Неужели вы даже не предложите мне в столь поздний час выпить?

ЗИМНИЕ СОЗДАНИЯ

Зимними утрами, открывая глаза и всматриваясь в окно, я видела вначале два шара – черный и розовый. Черный был кустом омелы, приютившимся в кроне высокого дерева. Он напоминал мне толстого зябкого кота, съездившегося под своей шерсткой, – зимнего зверька, которого не встретишь в теплые месяцы. Омела наблюдала за моей детской комнатой и следила за всеми моими движениям с ироничным, но невраждебным вниманием. Когда в стекла барабанили коготки дождя, розовый шар исчезал, ведь он был солнцем – круглым и сладким, как апельсин в папиросной бумаге. Оно тоже было зимним созданием, которое не имело ничего общего с июньским светилом, плескало мне в лицо своим обжигающим золотом и каждый день все больше обесцвечивало «Любовь Пирама и Фисбы», висевшую на стене.

Мне нравился розовый шар. Чтобы лучше видеть его, я садилась в постели и обеими руками раздвигала густые черные пряди своих волос, под которыми спала ночью, как зверек

под сеном. Дом наполнялся запахом гренков и сухого дерева. Розовый шар был на месте, и я знала, что меня ожидает сад – без снега и льда, ведь зима там была лишь отсутствием лета. Я могла целый день бродить по отцветшим аллеям, выгуливая свое бездействие и одиночество меж буксовых бордюров, которые, никогда не увядая, издавали горький и нежный аромат, и закрывала глаза, чтобы острее его ощутить. Я заранее предвкушала подаренный день – столь убийственно долгий среди тусклой наготы сада с размокшим грунтом и сиротских камней. Я вставала с кровати, и овчинка на полу ласкала мои подошвы, а нежная белая шерсть просовывалась между пальцами. Так начинался день, если розовый шар был на месте. Но когда мне был виден лишь черный, сочившийся дождевой водой за мокрыми стеклами, я знала, что сегодня придется рыться в коробках и рисовать цветными карандашами зверушек. Я слушала, как в желобе журчит вода, стекавшая по трубе, напевая песенку сирены, а затем каскадом выливавшаяся в бетонный сток. Порой она очень долго сохраняла один и тот же ритм, затем резко меняла его и вновь возвращалась к прежнему темпу, словно торопилась сказать что-то запретное между фразами заученной наизусть песни. Я вспоминала море и снова засыпала, или, подойдя к окну, смотрела на черный шар. Он символизировал нечто простое и неизбежное, я не знала этому названия, но была очень хорошо знакома: запустение. Тогда я пела фальцетом песенку, которую придумала сама в утешение черному шару:

Кошка лунная на ветке,
Покажи, где твои детки?
Покажи мне свои глазки
И свой зонтик вместо маски!

Крупные серебристые капли усеивали арабески перил, окружавших балкон, где на полу подпрыгивали сотни иголок – беспрестанно и торопливо били крошечные фонтанчики. Все журчало, шепталось, посвистывало, и какое-то чмокание доносилось из сада, где на поверхности луж лопались большие пузыри. Я прижимала нос к стеклу, неприятно пахнувшему, как все стекла, и смотрела на этот пейзаж из хрусталя, ули-

точной слизи и серого перламутра. Все это слезливое безумие проникало мне в самое сердце, мир казался большим глазом, плачущим в отчаянии, розового шара больше не было, а черный дрожал в одиночестве под дождем. Мне оставалась совсем скромная радость, робкая и трепетная – ощущать себя живой.

КОСТЬ³

Белый потолок, вероятно, три на четыре метра, со временем стал светло-каштановым. Стены тоже каштановые, а обои, вздувшиеся из-за влажности, украшает старый геометрический узор в стиле модерн. Линолеум – темно-зеленый, потертый. Напротив одной из двух дверей, ведущих на лестничную площадку и в спальню, – новый холодильник: временный алтарь ослепительной белизны, на котором стоит стеклянная ваза с букетом розовых пластмассовых роз. Один из двух плетеных стульев в стиле Генриха II приставлен к стене, а другой – кстати, занятый – расположен перед столом, накрытым клеенкой с красными квадратами, которые кое-где вытерты или выжжены кастрюлями, и размером приблизительно восемьдесят сантиметров на метр. Этажерка с облупившейся коричневой краской (отметим преобладание здесь коричневых, шоколадных, землистых цветов, псевдокофейного с молоком и фекальных оттенков) возвышается на газовой плите марки «Фюльгюр», а угол комнаты занимает фаянсовая раковина. На этажерке – расписные кухонные металлические коробочки, кофемолка, рожок для обуви, стопка старых газет и одноцветная гипсовая статуэтка Лурдской Богородицы высотой около тридцати сантиметров. Буфет «Левитан» 1938 года, подновленный кремовой краской, завален кусками веревки, пробками, пузырьками с лекарствами, картонными коробками, мешочками, пакетиками, ножницами, выцветшими брошюрами, запутанными клубками шерсти – сущий хаос вокруг радиоприемника японского производства.

Над раковиной, на стене, перпендикулярной той, у которой стоит этажерка, висит туалетное зеркало, соединен-

3 Незавершенный текст из архива Г. Витткоп.

ное металлическими ножками со стеклянной полочкой, где находятся простой стакан и желтая зубная щетка, кисточка для бритья, разные тюбики, скорченные, будто в агонии, электробритва и липкие флаконы. В углу стеклянной полки висит серая тряпка в клетку и махровое полотенце с расплывчатым растительным рисунком. Под раковиной оцинкованное металлическое мусорное ведро соседствует с оранжевым пластмассовым, на котором никак не высохнет сложенная половая тряпка. На олеографии под стеклом изображена корзинка с котятками: у каждого на шее ленточка нежного оттенка. Вырезанная из журнала репродукция картины Леонор Фини⁴ с дамами нежных оттенков уравнивает олеографию с другой стороны окна. Само оно небольшое, ведь это окно мансарды, разделенное рамой на четыре части, и сквозь стекло можно было бы увидеть фасады зданий, кирпичные стены и окна Пре-Сен-Жерве⁵, освещенные зимней ночью, если бы не мешал густой и уже стекающий пар. С потолка свисает большая лампа в форме кулича, обклеенная абстрактными переводными картинками, – она заливает комнату тусклым, но вместе с тем резким светом. Реальность тягостна и одновременно легка, словно уплотнение в большой пробке из папиросной бумаги. К тому же нельзя сказать, тепло здесь или холодно: комната не отапливается, но большая алюминиевая кастрюля, стоящая на огне, равномерно выпускает из-под крышки клубы пара. Там что-то варится.

Атмосферу создает прежде всего запах, а он дурной. Это подозрительный запах супа из костей, напоминающий нечто среднее между смрадом куриного бульона и похлебки из требухи, похожий на затхлое зловоние отбросов, которыми крестьяне кормят охотничьих собак. Тем не менее, к нему явно примешано что-то необычное: разит какой-то солью, хотя это и не соль, каким-то загадочным уксусом, терпким ароматом – очень едким и удушливым. Запах того, что варится в кастрюле, вызывает не только тошноту, но и беспокойство. Мы мгновенно убеждаемся, что он не случаен и эта привычная вонь тай-

4 Леонор Фини (1907–1996) – аргентинская художница-сюрреалист. – *Прим. пер.*

5 Коммуна в северо-восточном предместье Парижа.

но и глубоко въелась повсюду, – вневременная и вековая, будто смерть. Мы сразу понимаем, что она наполняет соседнюю комнату и насыщает постель, водворилась в комод с покоробившейся фанерой, просочилась под дверь на деревянную лестницу, посеревшую от щелочной воды и древней пыли, и проникла даже в уборную на лестничной площадке.

Санпера это не беспокоит. Он привык к этому запаху, как и к некоторым другим, ведь он прислуживает в анатомическом театре больницы N. Морг, эвфемически называемый «комнатой отдыха», придает действиям Санпера ледяной блеск вневременного театра, отпуская ему тот же скудный свет, что царит и здесь; расточает затхлые запахи мясной лавки и дезинфицирующих средств; заставляет его ступни мягко отскакивать от прорезиненных полов; одаривает водянистой, вязкой тишиной, в которой порой раздается грохот металлических дверей. Морг – царство невесомости и замедления. Материнская утроба. Поэтому даже покойники, у которых трещат суставы и урчат внутренности, даже те, что внезапно раскрывают рот в зевке, словно лишены всякой земной плотности. Они – большие куклы, и Санпер обязан переодевать их, катать на тележках или приподнимать, взяв в охапку: ведь, по его словам, порой нужно и самому потрудиться. Он ловко зашивает им изнутри губы, дабы отбить желание скверно усмехаться; засовывает в ноздри ватные шарики, которые предотвращают неуместные выделения; впрыскивает воду под веки, чтобы они плотнее закрывались; и обваливает трупы, это мертвое тесто, в муке савана, ловко сворачивая их в длинные трубочки, наподобие «хот-догов» или слоеного пирога с яблоками. Такому нельзя научиться – тут необходим прирожденный талант. Но одного таланта и любви к своей работе маловато: нужно также проявлять тактичность, спокойно относиться к переживаниям родственников, если таковые имеются, соблюдать обряды, выслушивать погребальные песни плакальщиц в черных платках, этих старых стервятниц, и крики празднично одетых детей. А главное – не замечать убожества смерти. Нельзя смеяться над фамилиями и наготой, а во время ночных бдений – вздрагивать от льющего рева потенциальных самоубийц.

Санпер – образцовый служащий, человек, заслуживающий доверия. Бывший пастух из Дофине⁶, всегда охраняемый своей набожностью от призраков, хотел стать священником, но помешали обстоятельства: Санпер порой начинал запутанный рассказ о весьма темных событиях, который так ничем и не заканчивался. Тем не менее, обучившись немного латыни, Санпер некоторое время проработал надзирателем в католическом сиротском приюте «Исси-ле-Мулино», но после скандала, связанного с подлинными либо воображаемыми преступлениями, его оттуда выгнали, и затем даже последовала судебная интерлюдия. По слухам, за отсутствием доказательств, Санпер был оправдан, хотя и не получил моральной реабилитации. Униженный Санпер – не озлобленный, но оробевший и даже запуганный – отвернулся от живых, предпочтя им мертвых, общение с которыми обычно безопаснее и доставляет больше удовольствия. Поскольку в наши дни прозекторские испытывают недостаток в персонале, Санпер без труда получил свою должность. Записавшись вначале внештатным работником, он вскоре стал постоянным служащим Общества социальной помощи и мало-помалу поднимался в чине, приспособляясь к ремеслу с плавностью воды, наполняющей сосуд. Низенький, с большой, втянутой в плечи головой, небесно-голубыми глазами, щеками в красных прожилках и редкими волосами, Санпер обладает неказистой внешностью, но при этом кажется вырезанным из тех каталогов, где выгравированные фигуры служат для иллюстрации костюмов из эпенгле в полный рост или фланелевых жилетов по пояс: в старину прекрасные садовницы раздавали их абонентам «Французского охотника».

Итак, Санпер, бесплотный и словно заранее готовый для аппликации, сидит сегодня вечером, как и многие столетия подряд, за столом в той комнате, где в кастрюле клокочет бульон. Уважение к смерти (или уважение к смерти, которое мы приписываем Санперу из простой условности, учитывая, что сам Санпер – возможно, воображаемый персонаж) внушает ему глубокое сострадание к безродным покойникам: к тем, о ком никто не знает и не спрашивает, к тем, что идут

6 Историческая провинция на юго-востоке Франции.

на «вырезки» и анатомические препараты, томятся в банках с формалином – к анонимным отбросам, отходам, останкам. Санпер подбирает этих покойников-сирот и спасает их, хотя бы *pars pro toto*⁷, предлагая им домашний очаг. Этот невежда из Аримафеи заворачивает отбракованные черепа в тряпку и уносит их на дне пластикового пакета с названием продукта или магазина. Сегодня это был бело-зеленый пакет «Цветы Прованса – Гигиена и Красота, улица де Ренн», попавший к нему случайно. Забракованная голова принадлежала старухе с желтовато-седыми волосами и жалобно скорченным восковым лицом. Женщина пролежала больше двух недель в холодильнике – бетонном лимбе, где тускло светит солнце голой лампочки. Затем ее вскрыли, разделали, и останки, за исключением черепа, возможно, хранились бы в картонке из-под обуви. Но Санпер – тут как тут. Скромный и благочестивый охотник за головами похоронил предмет в пакете «Цветы Прованса», держал его в метро на коленях, легко и незаметно размахивал им на улице Жан-Жорес, поднялся на восьмой этаж, сжимая в вытянутой руке, и положил на кухонный стол. До этого все было очень просто, но приготовление требует некоторых хлопот.

Сначала Санпер поставил на клеенку большой эмалированный таз и именно в нем приступил к работе. Увековечение плоти начинается со снятия скальпа – несложной операции, если учесть, что волосяной покров прилегает неплотно. Санпер складывает отходы в пакет «Цветы Прованса», чтобы позже отнести их обратно в больницу для кремации. Затем, набрав в большую алюминиевую кастрюлю холодной воды, он насыпает в нее большое количество порошковых квасцов и опускает туда голову. Она должна томиться не меньше трех часов, при этом бульон покрывается густой серой пеной, а ошметки кружатся в вихре кипения. Пар проникает всюду. Соседи порой жалуются на запах, но, боясь судебных тяжб и памятуя об умеренной квартирной плате, никогда не дают делу ход. Время от времени Санпер поглядывает на варевое в кастрюле, куда иногда помещаются аж две головы. Но вот

7 Часть вместо целого (лат.).

Санпер выключает газ, накрывает кастрюлю крышкой и отворачивается. Он может теперь почитать газету, поужинать, выпить, помолиться, вздремнуть – делать все, что душе угодно. В тот вечер он постирал в раковине носки и пришил пуговицы к пальто. Сейчас, в эту самую минуту – условный фрагмент вечности – Санпер надевает черный прорезиненный передник и, убедившись, что бульон достаточно остыл, опускает туда руки. Он вытаскивает голову – неузнаваемую коричневатосерую губку – и кладет ее в эмалированный таз. Затем, осторожно взяв кастрюлю за ручки, подносит ее к раковине, наклоняет над стоком и выливает жидкость, не торопясь и стараясь сохранять нужный угол наклона. Изредка ему приходится ставить сосуд и отодвигать ошметки, грозящие закупорить раковину. Да уж, не женская это работа.

Собранные отбросы – большие глазные яблоки, побелевшие при варке, и клочки покрытой пленкой кожи – отправляются к прочим останкам в пластиковый пакет. После этого Санпер тщательно чистит кастрюлю и раковину стиральным порошком, наводит порядок и дает голове немного остыть. Он садится за стол и принимается срезать мясо с занятого объекта специальной стамесочкой и очень острым ножом, которым он иногда счищает кожуру с овощей. Это настоящее бандитское «перо» – с почти треугольным лезвием и деревянной рукояткой, потемневшей от соков: пронижительно-рыскливое орудие, умеющее обтачивать, протыкать, скрести и превращать вещество в жидкую кашу на сером зеркале клинка. Срезание мяса с черепа – долгий, тяжелый и даже слегка утомительный труд, который Санперу обычно удается закончить лишь к двум-трем часам утра. Поэтому он вынужден спрятать голову в холодильник до следующего вечера, утешая себя мыслью, что самое трудное позади. Завтра он проварит предмет еще раз, но сок уже будет прозрачнее, а запах – не такой сильный и резкий, как при первом кипячении. Санпер знает о своей награде и предвкушает ее, уже представляя, с какой радостью посмотрит на эту большую искреннюю скорлупу, эту улыбчивую декоративную вазу. Он будет подолгу держать ее в ладонях (разумеется, не вспоминая о Йорике, о котором никогда и не слышал), любясь фактурой и оттенками, и прово-

дить тонким указательным по извилинам черепного строения. Наконец, предмет отправится к себе подобным – в одну из коробок, которые Санпер хранит на полках стеклянного ящика в спальне.

Эти коробки из толстого картона выложены папиросной бумагой и обильно посыпаны дезинфицирующим средством. Следует предотвратить любые неприятные сюрпризы, ведь хотя покойники не говорят глупостей, иногда им случается сыграть злую шутку. Поэтому Санпер внимательно следит за своей коллекцией черепов, с удовольствием убеждаясь, что ни один не похож на другой. Если смотреть на свет, одни прозрачны, как пергамент, а другие, поплотнее, переменчивы, точно агат. Некоторые – бледно-кремовые, а прочие – почти теплого оттенка сушеного абрикоса: все зависит от индивидуальной пигментации. Все черепа Санпера причудливы и прекрасны. Они напоминают о море, скалах и гулких песчаных берегах, где валяются рыбы хребты, скелеты сирен, обглоданные фрегаты, которые посасывают черные крабы, и большие перламутровые раковины в песке, воющие из тьмы неведомыми голосами.

МОМЕНТАЛЬНЫЙ СНИМОК⁸

Ночь с двадцать девятого на тридцатое сентября. Площадь около семидесяти квадратных метров, от которой на восток и на запад отходят две улочки, ведущие, в свою очередь, к более крупным дорогам. Четыре газовых фонаря, окруженные ореолами, озаряют углы площади зеленовато-белесым светом. Она огорожена совершенно глухими стенами из почерневшего кирпича – лишь северо-восточный угол занимает склад чая. Это шестиэтажное здание: по четыре небольших квадратных окна, сейчас уже темных, в каждом из этажей с первого по шестой, а в первом – три окна справа и дверь слева, если смотреть со стороны фасада. Щипец – в форме затупленного треугольника, посередине которого прорублен полукруглый оконный проем, увенчанный массивным блоком.

⁸ Подражание Алену Роб-Грийе из неопубликованного сборника пастишей.

Первое от двери окно отбрасывает сквозь большое туманное стекло прямоугольник желтого света на жирную от влаги мостовую. В окне виднеется силуэт ночного сторожа, сидящего при керосинке за столом. На голове у него маленькая ермолка, профиль орлиный, а спина сгорбленная. Возможно, он спит.

Ровно час. Из восточной улочки выходит констебль полиции Эдвард Уоткинс с порядковым номером 881 и пересекает площадь. Луч его фонарика явственно очерчивает каждый камень мостовой, заливая рассеянным светом низ брюк и скрипящие туфли. Полицейский бросает рассеянный взор на юго-западный угол площади, где не замечает ничего неприличного, и уходит по западной улочке. Его туфли громко скрипят в тишине.

В юго-восточном углу площади, то есть по диагонали от склада, стоит женщина среднего роста, прислонившись к стене. Свет фонаря старит ее, прокладывая глубокие тени вокруг глаз и на щеках. Чувствуется, что она и впрямь потрепана жизнью. На голове – черная соломенная шляпка, украшенная бисером и лиловатыми лентами. В вырезе куртки из черного сукна, застегнутой на три большие медные пуговицы, с кроличьим воротником, протертым до самой кожи, виднеется грязно-белая кофта. Куртка доходит до бедер, обтянутых выцветшим фартуком и темно-зеленой хлопчатобумажной юбкой с рисунком из желтых лилий и маргариток, из-под которой выглядывает альпаговая нижняя юбка. Она не прикрывает полностью ребристые коричневые чулки и старые мужские ботинки – черные, со шнуровкой и стоптанными каблуками. Под этими обносками угадывается тщедушное тело, истощенное бедностью, алкоголизмом и Брайтовой болезнью⁹. Грудь свисает, точно пустые мешки, под дряблыми ляжками торчат золотушные колени, живот ввалился почти до самого позвоночника. Женщина отбрасывает на кирпичную стену четкую тень, изобилующую буграми и рожками, которая бледнеет и вырастает, как только женщина отходит на шаг от газового фонаря. Четверть второго.

9 Устаревшее название гломерулонефрита – болезни почек (Ричард Брайт – английский врач, 1789–1858). – *Прим. пер.*

На юге площади вдоль стены семенит крыса. Женщина замечает ее и бьет в ладоши, одновременно шшшикая.

Ничего не меняется. Констебль полиции Эдвард Уоткинс, совершая обход каждую четверть часа, прибывает по восточной улочке, пересекает площадь и, не заметив ничего необычного, уходит по западной. Его туфли скрипят. Северо-западный газовый фонарь подсвечивает желтым пуговицы его мундира и значок на фуражке. Будь свет получше, можно было бы рассмотреть, что у него рыжие волосы, лицо в красных прожилках и маленькие глазки. Двадцать минут второго. Мужчина, пришедший с Бернер-стрит по Коммершиал-роуд, движется через Элдгейт¹⁰ ни быстрым, ни медленным, а нормальным шагом. Мужчина довольно высок, широкоплеч, черты лица, насколько можно рассмотреть, правильные, человек он упитанный, и его рот частично скрывают длинные светлые усы. Под расстегнутым черным сюртуком весьма строгого покроя виден серый жилет, перечеркнутый толстой золотой цепочкой от часов. На широком шелковом галстуке кремового цвета блестит булавка – тоже золотая, в виде подковы. На голове – шапокляк, скрывающий в своей тени глаза. Обут мужчина в черные, лакированные, очень изящные ботинки. Он одет со вкусом, ценным повсеместно, так же, как и его неизменная жизнерадостность. Вопреки обыкновению, сегодня вечером он без перчаток. В правой руке мужчина держит рыжеватую кожаную сумочку продолговатой формы, похожую на акушерский саквояж. Его тень движется вслед за ним, то суживаясь, то расширяясь в зависимости от освещенности, поочередно бледнея либо темнея, преломляясь о прямой угол на стыке тротуара со стеной или внезапно исчезая у него под ногами.

Полвторого.

Констебль полиции Эдвард Уоткинс прибывает по восточной улочке. Он слышит, как женщина заунывно кашляет. Затем он поглядывает через плечо на освещенное окно склада и видит силуэт ночного сторожа. Все спокойно. Полицейский отпихивает ногой бумажный пакет, принесенный ветром,

10 Бернер-стрит, Коммершиал-роуд, Элдгейт – улицы и район Лондона, соответственно. – *Прим. пер.*

не спеша приближается к западному краю площади и уходит. Стук его башмаков постепенно становится тише и смолкает. Час тридцать три минуты.

Мужчина, шагавший через Элдгейт, приходит по восточной улочке и быстро осматривается.

Женщина тотчас замечает его и выступает вперед, пытаясь выдавить из себя улыбку. Два верхних резца, когда-то выбитые кулаком, зияют черными дырами.

ИСТОРИЯ КРОКОДИЛА¹¹

Возвращение на борт старого доброго «Муфаката» и – кло-токи, кло-токи, кло-токи...¹² Изредка мы пришвартовываемся у деревушек, громоздящихся высоко на глинистых берегах. Дебаркадер почти всегда состоит из нескольких плавучих стволов – ряда поленьев, бросаемых в полужидкий ил до самой кокосовой пальмы с содранной корой, зарубки на которой служат ступенями.

Волна мягко бьется о понтон с отхожим местом и еще один – для стирки. Женщины наполняют бидоны, стирают, споласкивают волосы, словно деревья, искривленные течением, под спиралевидной корой своих *саронгов*¹³. Наверху склона – деревня. Крошечные огороды, затеняемые тростниковыми зарослями. Белье, что сушится на веревке меж бугенвилиями, и ультрамариновое цветение *салака*¹⁴. Бакалейная лавка китайца – прилавок в тени бараков. Это по-прежнему мир Олмейера¹⁵, поменялись лишь названия.

11 Фрагмент из неопубликованных «Азиатских тетрадей».

12 Традиционная длинная лодка на Борнео. – *Прим. пер.*

13 Традиционная мужская и женская одежда Юго-Восточной Азии и Океании. Полоса цветной хлопчатобумажной ткани, которая обертывается вокруг пояса (или середины груди – у женщин) и прикрывает нижнюю часть тела до щиколоток, наподобие длинной юбки. – *Прим. пер.*

14 «Змеиный фрукт» – древовидное плодовое растение семейства пальмовых. – *Прим. пер.*

15 Каспар Олмейер – главный герой первого романа Дж. Конрада «Каприз Олмейера» (1895) – голландский купец, волею судеб очутившийся в джунглях Борнео. – *Прим. пер.*

Теринг, Рукун-Дамай или Дата-Биланг с рисовыми амбарами, разукрашенными черно-белым узором, и тотемные столбы, обклеенные приношениями и облепленные мухами. Кениям из Апо потребовалось больше тридцати лет, для того чтобы расписать Дата-Биланг, медленно прокладывая путь сквозь джунгли, в соответствии с языком птиц, пока их не остановила Большая река.

Фред – малаец, но он христианин. В Нью-Йорке и Марселе, Греции и Саудовской Аравии он сменил немало профессий. Об одной он охотно рассказывает, об остальных – нет. Мелочно было бы упрекать Фреда за его нетрадиционную биографию и тайные доходы, поскольку он отличается непоколебимой жизнерадостностью, да к тому же познакомил меня с Сами. Ведь Сами – пожалуй, единственный человек на свете, держащий крокодила как домашнее животное, и не повидать его – грех.

Вот как это произошло. Старый махакамский рыбак Сами, с царственным достоинством прикрывающий свою худобу выцветшим *саронгом*, однажды обнаружил в сети недавно вылупившегося крокодила и выбросил его обратно в реку. На следующий день, вновь найдя крокодильчика среди своего улова, он опять бросил его в воду. В ту же ночь ему приснился сон. К нему явились три женщины: старая в черно-белом, молодая в желто-белом и женщина средних лет в черно-желтом *саронге*. Они возвестили Сами, что хотят втроем жить у него в облике крокодила. На завтра, когда Сами, в третий раз обнаружив крокодильчика, уже собрался выбросить его в реку, он услышал сверхъестественный удар гонга. Тогда, вспомнив свой сон, Сами подобрал рептилию, теперь уже взрослую и достигавшую целых двух метров, и назвал крокодила Сетиа – «Преданный». Каждый день Сетиа меняет цвет, становясь поочередно черно-белым, желто-белым или черно-желтым, в зависимости от того, какая из женщин в нем воплощается.

Мне захотелось увидеть Сетиа, и Фред пообещал отвести меня к Сами. В десять вечера, в потемках и под проливным дождем, мы взбирались по берегу, скользкому и будто намыленному. На наш зов явился старик с фонарем, изваянный

из света и тьмы. Его жилище представляло собой лабиринт досок и бамбука – сараи без крыши вокруг деревьев, включенных в их архитектуру. Я извинилась перед Сами за наш поздний визит.

– Ничего страшного, добро пожаловать... А вот и Сетиа. Днем он сидит в саду и даже не пытается спуститься к реке. Потрогайте Сетиа, ему будет приятно...

Я робко потрогала Сетиа, искренне надеясь, что это будет мое первое и последнее соприкосновение с крокодилом. Я нахожу весьма неуместной их привычку превращать ванную в столовую. Лежа неподвижно на куске линолеума, Сетиа смотрел на меня угрюмо и хитро. Быть может, он воплощал также Великого Крокодила Таронгари – хозяина подземных рек, пожирающего неосторожных путешественников?

– Сегодня Сетиа желто-белый, – сказал Сами, – значит, здесь самая молодая из женщин.

Часами, днями, неделями – нескончаемые берега джунглей, светло-коричневые волны Большой реки и бескрайнее небо. А затем – деревня, лавка китайца, погрузка мешков и корзин, разгрузка бидонов и картонок, и снова в путь: клотоки, клотоки, клотоки... Слышен лишь шум мотора, а вдалеке – крики птиц, барабанный бой цикад да звуки леса. На этой великой переправе, каковой является Махакам, мы встречаем и другие суда: ветхие плоты, где китайские семьи ютятся в тростниковых лачугах, пироги, *dug-outs*¹⁶, *джалурь*, клотоки, *tugboats*¹⁷ и большие медлительные баржи, словно утопленные в воде. Сидя перед штурвалом, *находа* управляет ногами, куря *кретек*¹⁸ или жуя лук, ароматы которого доносятся до самой кормы вместе с монотонным речитативом Али, читающего вслух газету.

Я взбираюсь на крышу полюбоваться закатом. На горизонте громоздятся пурпурные тучи с золотистой каймой и куцевые облака аспидного цвета, Махакам преграждают стены

16 Челноки, выдолбленные из стволов деревьев (англ.).

17 Буксиры (англ.).

18 Индонезийская табачная смесь, состоящая на две трети из табака и на треть из гвоздики (реже – корицы). – Прим. пер.

фиолетового пара. Над верхушками деревьев парят божества и титаны, тая и рассыпаясь оперением фламинго. Первые *калонги*¹⁹ и маленькие летучие мыши, обитающие в полых стволах мертвого бамбука, сотрясают воздух над рекой. Весь мир погружается в чернильную синеву, в ирисовый сок, углубляющий оттенки, и спускается по шкале темноты, пока, наконец, светляки не начинают проворно сшивать ночной бархат. Звезды – созревшие плоды, готовые упасть. Танцующая луна перебирается с одного берега на другой по излучинам реки, появляясь то здесь, то там. Клик ночной цапли отступает в заросли *нипы*²⁰ и мангровых деревьев. Ужин всегда суетлив и поспешен, оттого что лампа привлекает мириады moskitov и приходится ее максимально приглушать. Прежде рядом подвешивали стручок чили, хоть это и не помогало. Вскоре Али помогает мне развернуть мой небольшой *капоковый*²¹ матрас и натянуть москитную сетку.

Борнео наводнен *анту* – фантомами, что появляются, едва закроешь глаза: это старухи с обезьяньими лицами, похожими на пустые и морщинистые кожаные оболочки, призраки, словно сошедшие с рисунков азиатского Гойи. Рассевшись вокруг спящего, упыри высасывают его кровь с помощью хлопковой нити, вставляемой в вены. Порой во время бессонницы по ночной реке безмолвно скользит большое судно – корабль-призрак с сигнальным огнем, краснеющим на конце мачты. Это плоты из стволов *белиана*, *меранти*, *акажу*, *санда*, которые связаны большими бамбуковыми поперечинами, скрепленными индийским тростником. Нередко они достигают шестидесяти метров в длину, на высоких шестах горят огни, а в листовенных лачугах скрываются люди, которые своими огромными лопатообразными веслами направляют их по реке до самого моря.

19 «Летучая собака» (*Pteropus vampyrus*) – вид рода летучих лисиц семейства крыланов. Самый крупный представитель отряда рукокрылых. – *Прим. пер.*

20 Мангровая пальма. – *Прим. пер.*

21 Капок – хлопковое дерево и волокно, получаемое из его плодов. – *Прим. пер.*

Однажды в полдень, окрашенный в пепельно-белый цвет, когда призрак Банаспати²² бежит на руках, я заметила погребальный корабль – гроб в форме лодки с изваянием кеньяланга²³ на носу. На пути в Страну Мертвых он тоже плыл к морю, весь черный от копошащейся вороньей стаи.

ИНТЕРВЬЮ НИКОЛЯ ДЕЛЕКЛЮЗУ

4 января 2001 года, в своем парижском гостиничном номере, Габриэль Витткоп дала это интервью, подготовленное по случаю публикации «Убийства по-венециански» и переиздания «Смерти К.» в издательстве «Вертикаль». Интервью транслировалось по радио «Кампус Лиль» в передаче «Палюд» 24 января 2001 года.

Николя Делеклюз: «Смерть К.» и «Страстный пуританин» переиздаются спустя двадцать пять лет. Первый текст был тесно связан с вашим литературным «дебютом» при посредничестве Кристофера. В каком душевном состоянии он писался?

Габриэль Витткоп: Вначале был «Некрофил», задуманный как подарок Кристоферу. В первом издании стояло посвящение: «Посвящается К., который утонет в смерти, как Нарцисс в своем отражении», а во втором: «Памяти К., утонувшего в смерти, как Нарцисс в своем отражении». Что касается «Смерти К.», при ее написании я пережила катарсис, и это, возможно, облегчило мою скорбь. Но я почувствовала в себе силы написать ее лишь четырнадцать месяцев спустя после трагедии и после того, как сама отправилась в Индию по следам К... ну и по следам тигра.

22 Банаспати Раджа («господин леса»), или Баронг – персонаж низшей мифологии балийцев, связанный с торжеством света, добра, небесного начала. Извечный антипод Рангды («вдовы») – царицы ведьм и черной магии, повелевающей лейяками (вредоносными духами-оборотнями). Рангда насылает чуму и голод на людей. Под покровом ночи она вырывает трупы из могил, пожирает детей и т. п. Баронг считается силой, противостоящей Рангде и стремящейся ее усмирить. – *Прим. пер.*

23 Малайский калао – птица семейства птиц-носорогов отряда ракшеобразных. – *Прим. пер.*

НД: Текст строится по необычной схеме, состоящей из повторов и концентрических опережений. Одна и та же сцена разыгрывается непрерывно, развивается ощупью, некоторые элементы как бы тайком переставляются и соединяются заново. Зачем нужно такое построение?

ГВ: Система повторов и их вариантов должна отражать текущесть всякого события и его весьма относительную ценность во временном развитии.

НД: Мы видим, как появляется фигура Кристофера, одержимого игрой, комедией, и поневоле сравниваем вас с драматургом, инсценирующим различные варианты смерти К. Какие у вас отношения с театром?

ГВ: К. не был «одержим игрой», хотя в нем и чувствовалось что-то игровое, но, как всякий англичанин, он страстно увлекался театром. Он обладал сценическим чувством, например, когда прятал в рукаве Эдипа бараний глаз, а затем бросал его в зал в сцене ослепления. Лично мне нравится изображать перед зеркалом сценки из «комедии дель арте», нравится подражать голосам. Я недавно написала драму, но пока не знаю, чего она стоит. Поживем – увидим.

НД: Воображение, которое пытается переписать разные смерти К., очевидно, наталкивается на их бесконечное разнообразие, как будто душа мечется перед смертью, «невообразимой» в принципе. Можно ли говорить о смерти иначе, помимо этой клинической констатации – того холодного взгляда, брошенного на разложение плоти, которым завершается «Смерть К.»?

ГВ: Это метание, которое вы приписываете воображению, на верное, выражает движение молекул, а также невозможность окончательного представления о смерти как абсолютном феномене.

НД: «Страстный пуританин» – совсем иного рода. Повествование там классичнее, и ваша рука почти не чувствуется. Однако смерть тоже занимает важное место: это главная тема, на ваш взгляд?

ГВ: Да, смерть – главная тема всех моих произведений. Это единственное явление, такое же важное и «наличное», как жизнь, оно касается нас всех, и ни в коем случае нельзя отгонять от себя эти мысли. Это еще и великая тайна, но хотя мы не знаем, что такое смерть, мы все-таки способны понять, чем она не является. К тому же, как все, кто много думает о смерти, я необычайно весела.

НД: Дени глубоко религиозен, что редко встречается в ваших книгах. И хотя Бланш олицетворяет богохульство, оба этих персонажа, скорее, противопоставляют себя Церкви, нежели восстают против нее. Удобный повод напомнить, что ваше творчество не имеет ничего общего с идеей трансцендентного.

ГВ: На примере Дени я хотела показать, что любая религия вызывает химерические страдания. Я не склонна к метафизике и живу, как блаженное животное, но, разумеется, отталкиваясь от этой стороны своей биографии, я не смогла бы создать хорошую литературу. Короче говоря, Дени – жертва среды и воспитания.

НД: Какое место в вашей бестиарии занимает тигр?

ГВ: Тигр невыразимо пленяет меня своей мифологической... и эротической многозначностью. Я далека от всякой веры и чужда всякой религии, но, тем не менее, люблю символические образы и мифы, связанные с природными и космическими силами. Мифы о материи и нашей непостижимой смертной душе. Тигр – мой тотем, мой фетиш. Я пьянею от его красоты и дикости. Но тигр – также образ сфинкса, ведь загадка заключена не в вопросе, а в ответе Эдипа.

НД: Так же, как вы, Дени испытывает неодолимое влечение к тиграм. Он подолгу стоит перед клетками в зоопарке. Вы и сами иногда сталкивались с этим животным.

ГВ: Возьмем образ тигра до моей встречи с ним. Это мифологическая и вместе с тем мифическая фигура, играющая очень важную роль в азиатской духовности: образ и символ всякой чистоты и абсолюта – чистоты не в гигиеническом или только физическом, а в абсолютном смысле. Это абсолют разру-

шительный, как все основные мифические фигуры, например, образ Матери, и в то же время порождающий. Тигр порождает импульсы и образы; он могуществен и одновременно женственен, он лунный и водный. К тому же он великолепный пловец. Это неисчерпаемый образ. Все мои встречи с тигром – их было три – сильно отличались друг от друга.

НД: Между смертью К. и смертью Дени, исполненной мрачной иронии, нет ничего общего. Зачем понадобилось сводить оба текста вместе в 1975 году?

ГВ: Не знаю, как и почему «Смерть К.» и «Страстный пуританин» оказались под одной обложкой. Думаю, это просто случайное пересечение творческих энергий. После «Смерти К.», создание которой было для меня необходимостью, мои встречи с тигром также потребовали описания.

НД: Мне кажется, «Страстный пуританин» очень интересно дополняет «Смерть К.» Если в первом тексте физическая смерть К. описана почти клиническим языком, в соответствии с этапами разложения, смерть Дени, которой читатель ждет на протяжении всего текста, весьма иронична. Дени кажется вам гротескнее благодаря своему мистицизму?

ГВ: Я изобразила смерть Дени в абсурдном свете как раз по причине его надежды и разочарований, его преданности религии и последующего отречения – всевозможных химер, за которыми он гонялся. Его смерть могла быть лишь абсурдной. Смерть же Кристофера, напротив, была в некотором смысле строго запрограммирована.

НД: «Убийство по-венециански» приглашает нас в Венецию XVIII столетия: город зеркал и лабиринтов, позволяющий иначе представить схему, присутствующую уже в «Смерти К.»: извилистые улочки Бомбея, отблески смертей К. Реальность – это ребус, который нужно расшифровать?

ГВ: Нет, «Убийство по-венециански» представляет точно такой же ребус, как и любой лабиринт, включая тот, что находится в нас и даже в нашей плоти: ведь наши мозговые извилины имеют форму лабиринта. Что касается лабиринта

бомбейских или венецианских улочек, по нему, разумеется, можно пройти, но его, безусловно, нельзя расшифровать. Это символ всякой загадки. Так мы возвращаемся к «разнообразным рентгенограммам убийства», как я выразилась в «Смерти К.» Но об этом же говорится и в романе «Хэмлок»: как можно что-либо расшифровать, если «истина – лишь часть речи, обойденная молчанием»? Не говоря уже о том, что есть различные истины, как и разные формы молчания.

НД: Ваш глаз и талант описания, как пейзажей, так и живых существ, на мой взгляд, достойны пера Жюльена Грака. Все ваши описания подразумевают больше, нежели говорят.

ГВ: Для того чтобы думать, нужно сначала воспринимать, а чтобы судить, необходимо чувственное восприятие. Так сказал Кондильяк, и я намекаю на это в своем кратком предисловии.

НД: Переодевшись актером бунраку, вы прячетесь под маской, но присутствуете повсюду: этот прием обычно встречается в ваших произведениях, хоть и не всегда столь явно. Какое место отводите вы в своих книгах себе самой?

ГВ: Да, я всегда присутствую, переодевая актером *бунраку*. Я присутствую во всем, что пишу или рисую.

НД: Тем не менее, по манере письма чувствуется, что «Страстный пуританин» вам не столь близок, что вы там гораздо больше отсутствуете.

ГВ: Да, разница в том, что в «Страстном пуританине» я в некотором роде драматург, режиссер, кукловод, а также зритель. В «Смерти К.» все совершенно иначе, поскольку меня задела эта трагедия: там есть и автобиографический материал, перемешанный с биографией К... эмоционально...

НД: Фоном для «Убийства по-венециански» послужили полотна венецианских мастеров XVIII столетия: почему такой выбор?

ГВ: Да, моя любовь к XVIII веку, самому интеллектуальному из всех столетий, проявляется и в том, насколько высоко я ценю его живопись. Поэтому в «Убийстве по-венециански»

постоянно упоминаются венецианские мастера той эпохи, на что я указываю в кратком предисловии.

НД: В этой повести открыто используется образ веревки, готовой вот-вот порваться, но его можно распространить и на многие другие тексты. Похоже, это напряжение нередко порождает самих персонажей, которых вы толкаете на крайности, дабы выдавить из них «что-то неожиданное, хоть и готовившееся издавна», если воспользоваться фразой Люсьена Н. о ноябре.

ГВ: Вы правы: все или почти все мои персонажи – игрушки в руках судьбы, такой же неотвратимой, как в древнегреческой трагедии. Исключительные ситуации, в которые они попадают, предлагают богатые возможности для романного и даже драматического развития сюжета.

НД: Что вы думаете об образе перевозчика, который можно было бы применить к вам? Он переправляет к человечности единственным возможным способом, и это связано с исчезновением. Вероятно, вы – некий литературный Харон?

ГВ: Над этим образом я еще не думала, но тут есть над чем поразмыслить. В действительности Харон сопровождает их, а затем возвращается и ждет следующих. В этом есть какой-то садизм, но садизм подразумевает также мазохизм.

НД: Вы назвали «Убийство по-венециански» «романом-тайной» в том же смысле, что и, например, «Der Doppelgänger» Шиллера. Как вы это понимаете?

ГВ: Под «романом-тайной» я понимаю текст, который лишен фантастических атрибутов, но остается необъяснимым вплоть до своего логического завершения, не попадая при этом в категорию детективов. В конце все объясняется – так же построен «Der Doppelgänger» Шиллера, то есть классическое произведение, которое можно противопоставить романтическому «Der Doppelgänger» Э.-Т.-А. Гофмана.

НД: Возможно, уместно будет разъяснить значение слова Doppelgänger?

ГВ: Да, оно означает «Двойник». Я не читаю по-русски, но Достоевский тоже писал о крайне волнующей фигуре Двойника. Кто такой Двойник? Мы или Другой?

НД: В повести вы приводите цитату из «Алин и Валькура» де Сада. Насколько он повлиял на этот текст и остальные ваши произведения?

ГВ: Сад влияет на мои мысли и на все, что я пишу, поскольку для меня он – образец и олицетворение вольномыслия. Он враг всяческих условностей (возможно, за исключением лексикона своей эпохи: «Изверг набросился на невинную жертву...»). Его мысли всегда самостоятельны, полны жизни, динамичны и ясны. Несмотря на определенные условности эпохи, о которых я сказала, он – единственный настоящий стилист столетия, бывшего прежде всего столетием мыслителей. Дидро порой скован новыми конструкциями. Ретиф, которого Сад яростно ненавидит, впадает в какое-то безудержное и утомительное словесное исступление. Но у нас остается Донатсен. Хотя, к сожалению, многие говорят о нем, не читая его произведений.

НД: Благодаря Саду и венецианской живописи, XVIII столетие является для вас главным историческим периодом. Как вы связаны с этой эпохой?

ГВ: Во-первых, образование: я воспитана в духе Просвещения, в отличие от Бланш (персонаж «Страстного пуританина»). Естественно, это наложило на меня глубокий отпечаток. Я не думаю, будто воспитание способно исправить плохое, но оно может развить хорошее. Что же касается живописи, я не могу не восторгаться венецианской школой. Это какое-то притяжение – зрительная лесть, любовь к ускользающим деталям. Я люблю Венецию и поэтому люблю венецианскую живопись XVIII столетия. К тому же произведения Пьетро Лонги повествуют о повседневности, чего почти не делают такие художники, как Гварди или Тьеполо: Лонги показывает обыденную сторону жизни. Это чрезвычайно важно с исторической точки зрения.

Перевод Валерия Нугатова

ИНТЕРВЬЮ ФЕЛИСИ ДЮБУА (2001)*«Некрофил»**Запах шелкопряда*

ГВ: В комплексе моих работ это важный текст. Я его написала, как будто что-то меня заставляло изнутри, словно бы под диктовку... Я его написала очень быстро, практически за месяц, давным-давно. Впервые он вышел у Режин Дефорж, в 1972-ом. Тогда на это требовалось много мужества, и у нее это мужество было. Я не хотела никого провоцировать – к этому я никогда не стремилась – я хотела сделать что-то новое. Я предложила эту книгу Кристоферу, К., я хотела сделать ему подарок, поскольку этот мужчина в каком-то смысле явился катализатором моего литературного творчества. До него я писала неудачные новеллы и изучала историю культуры.

ФД: Да, Вы ведь написали труд по истории европейских мод...

ГВ: Правда, да, на немецком. И по Гофману, Э. Т. А. Гофману. Я всегда уточняю, что он Э. Т. А., потому что Гофманов в телефонном справочнике аж три страницы.

ФД: Автор «Сестры Моника»...

ГВ: Я тоже так считаю, но некоторые приписывают этот текст другим авторам.

ФД: В своем дневнике некрофил вспоминает о том, как впервые познал сексуальное удовольствие – в тот год, когда ему исполнилось восемь лет. Ребенок один в комнате, ему скучно. Чтобы как-то развлечься, он играет со своей «теплой и приятной вещичей», и та, к его великому удивлению, откликается на его ласки неведомым доселе наслаждением. Вдруг всё прерывает приход бабушки, которая пришла сказать ему, что его мать умерла.

«Бабушка всхлипывала. «Поцелуй мамочку еще раз», – сказала она мне, подталкивая меня к одру. Я поднялся к великолепной женщине, лежащей среди белых простыней. Я прижался губами к ее восковому лицу, обвинил ее плечи ручонками, вдохнул ее опьяняющий запах. Это был запах бабочек-шелкопрядов, которых раздал нам школьный учитель,

и которых я разводил в картонной коробке. Этот запах, тонкий, сухой и пряный, запах палой листвы, камней, личинок, исходил от маминых губ, он уже распространился по ее волосам, как духи. И вдруг прерванное сладострастие с ошеломляющей внезапностью охватило мою детскую плоть. Прижавшись к маминому бедру, я почувствовал неизъяснимое наслаждение, испуская в первый раз свое семя».

Не нужно быть адептом психоанализа, чтобы предположить, что это травматичное событие в будущем привело к патологии Вашего персонажа...

ГВ: В медицинском смысле я совершила большую ошибку. Я написала, что он «испускал в первый раз свое семя». Да, он способен испытывать бурное сексуальное наслаждение, однако эякуляция в этом возрасте еще не происходит. Железы еще должны созреть.

ФД: Этот литературный эпизод не является ли – отчасти – автобиографичным?

ГВ: Нет, ни в коей мере. Наоборот, смерть меня всегда завораживала. Мне повезло: у меня было уединенное детство, и если мне на прогулке попадался скелетик птицы или дохлый кот, я все время задавалась вопросом: что же такое смерть? Мы не знаем, что есть смерть, мы знаем, чем она не является.

ФД: Ваше детство как будто повторяет эхом детство Маргерит Юрсенар: не любящая и отсутствующая мать («Моя мать казалась безликой, как стертая монета, и даже ее присутствие оставляло ощущение пустоты»), свободомыслящий отец, который приохотил вас к чтению...

ГВ: Я была не ребенком, я была маленьким чудовищем.

ФД: Мужественная элегантность вашего стиля и нескрываемое женоненавистничество сближают вас с Юрсенар, в то время как ее чувство святого и постоянный духовный поиск вас как будто бы от нее отдаляют.

ГВ: Что до меня, то вопрос решен. Может, это с моей стороны и упрощение, но речь ведь о том, чтобы чувствовать себя

комфортно. Быть собой и от этого не страдать. Между тем, раз уж система философов-материалистов XVIII века мне подходит, зачем искать что-то еще.

ФД: Вы никогда не верили в Бога?

ГВ: Мой отец как-то мне рассказал такую историю: «Однажды я тебя застал за совершением религиозного обряда. Ты была звездопоклонницей. Ты поклонялась луне, простиралась ниц на террасе и восклицала „О! О!“. Я решил, что ты находишься в палеонтологической фазе, и, боясь, как бы ты не простудилась, накинул на тебя одеяло, не прерывая, однако, твоего обряда». Почему ваш журнал называется «Луны»?

ФД: Луна символизирует женское начало, периодичность, обновление... «Луны» интересуются женщинами. Вам это как будто не по душе...

ГВ: Да, немного. Для меня это как камешек в туфле.

ФД: Вы не любите женщин?

ГВ: Я как Оттавия Ланци: мне нравится в них только эпидермис.

ФД: Вы пишете: «Впервые преступить порог – значит приобрести чистоты». В «Смерти К.» вы возвращаетесь к этой идее: Преступить порог – это акт чистоты. Не могли бы вы развить эту мысль?

ГВ: Я лично верю, что... то есть я думаю – я ничему не верю – что, когда мы умираем, индивидуальное сознание полностью уничтожается в силу разрушения мозга. Мозг... это самая большая тайна, которая когда-либо существовала. Как конкретное может породить абстрактное? Как масса плоти может произвести мысль? Пепел, развеянный над морем – как в финале «Смерти К.» – может стать прекрасной жемчужиной... Да, есть некий порог. Египтяне считали смерть вратами, проходом.

ФД: Как вы думаете, можно еще при жизни преступить пороги, претерпеть глубинные изменения, или же единственная трансформация – это смерть?

ГВ: В психическом плане человек, конечно, может испытывать глубокие изменения. Феномен, который меня не касается, но который существует, это внезапное обретение веры: она возникает, как у Паулюса, или исчезает, как у Джеймса Джойса. Вы читали «Портрет художника в юности»? Помните... когда он видит эту хорошенькую девушку на отмени... юбки у нее подбраны, и она как большая птица, красота мира... И он теряет веру. Вы ведь любите Джойса... Он один из самых великих. И Пруст. И позже – Жене.

ФД: Как вы хотите умереть?

ГВ: Не хотелось бы быть убитой или задавленной каким-нибудь лихачом.

ФД: Как Дени в финале «Страстного пуританина»...

ГВ: Да, вот ведь ирония! Не знаю, может, я умру от своей руки, если так будет нужно... Мне бы хотелось умереть в своей постели, на своих простынях...

«Смерть К.»

Неизреченный миг жертвоприношения

ФД: Вы пишете: «Всякая возможность беспрестанно умножается в геометрической прогрессии, всякое событие варьируется бесчисленное количество раз. Сочетания, приспособления, подлаживания событий друг под друга рождаются одно из другого, как пальмовые ветви, как гроздьа фейерверков, как взрывы неведомых галактик, они, может быть, и есть Вечность». Если я определяю ваше творчество в целом и «Смерть К.» в частности как квантовые, как литературу с квантовой эстетикой, что вы мне на это ответите?

ГВ: Именно квантовой? Кант здесь ни при чем?

ФД: Нет – квантовой от слова *quanta*. Квантовая теория – это научная революция, свершившаяся в физике и астрофизике в начале двадцатого века. Она разрушила здание, воздвигнутое классической наукой, осмелившись с арациональной точки зрения рассмотреть проблему существования духа и/или материи.

ГВ: Я недостаточно компетентна, чтобы вам ответить, поскольку в отношении физики я почти так же невежественна, как и в отношении механики.

ФД: Так вот представьте себе – вы в литературной сфере формулируете определенные принципы квантовой теории.

ГВ: Замкнутая жизнь сделала из меня гения. Гений – чудовище, а чудовище необщительно.

ФД: Вы как тигр-одиночка, бродящий по болотистому лесу...

ГВ: Я животное-одиночка, и – так же, как тигр должен уметь не пропасть в болотистых лесах – человек-одиночка должен уметь не пропасть в джунглях идей. И это прекрасно!

ФД: Случается вам чувствовать пресыщение?

ГВ: Умственно?

ФД: Да.

ГВ: Усталость – да, часто. Случается, я устаю умственно. Но я спасаюсь тем, что отсыпаюсь вволю. Благодаря этому я до сих пор более-менее «держусь в седле». Я невероятно много сплю. Всякий раз это возрождение. Утром я свежа, как роза. Я встаю в пять утра.

ФД: Вы работаете по утрам?

ГВ: Нет уж! Я работаю днем. Утро уходит на всякие тривиальные дела, которые отнимают у меня массу энергии. Но приходится их делать... я люблю чистоту, я люблю порядок. А еще нужно в банк, на почту, к врачам... Мне повезло, что квартира у меня тихая, и из нее виден старинный парк Ротшильдов. Я слышу только свое дыхание. Я работаю до без десяти семь, как служащая, потом ставлю точку и читаю до полуночи. Ритм жизни у меня, как у монаха. Когда я не читаю, то посвящаю вечер друзьям. У меня сильнейший культ дружбы. Есть друзья, которых я знаю больше 25 лет... мы и сейчас встречаемся.

ФД: Друзья немецкие или французские?

ГВ: Немецкие. С декабря, с тех пор как я стала известной, со мной заводят знакомство весьма симпатичные люди...

ФД: Давая ретроспекцию высказываний К., вы приводите такую фразу: «Воистину мертв тот, кто ничего не оставил после себя». Расскажите мне об этом следе... как – и зачем – оставлять по себе след, если в то же время отстаивать – как вы это беспрестанно делаете – свое право ненавидеть размножение?

ГВ: Важен лишь интеллектуальный след.

ФД: Вы также пишете: «Жизнь К. не имеет другого смысла, кроме того, который она получает посредством смерти, в самой смерти». Вы думаете, что ваше существование будет иметь только тот смысл, который оно обретет посредством смерти, в самой смерти?

ГВ: Да, это, говоря по-латыни, сумма, или итог. Подведение итога. Мне хотелось бы, чтобы у меня было несколько минут перед смертью, чтобы подвести итог. Но я уже начала высчитывать алгебраическую сумму своих приобретений и упущений.

ФД: Но разве писательство – это немного не то же самое?

ГВ: Да, разумеется.

ФД: Может быть, это тоже след...

ГВ: Да, временный след.

ФД: Временный, да... А смерть – это навсегда.

ГВ: Вот видите.

ФД: «Смерть К.» – великолепный текст, полагаю, он ваш любимый...

ГВ: У меня от него мороз по коже. Я читала его на публике, полторы недели назад, во Франкфурте... У меня ком стоял в горле, и слезы на глазах.

ФД: Этот текст оставляет нас в состоянии наполненности... близком к обращению в ничто. Душа остается как бы подвешенной там, где Вы пожелали ее оставить...

ГВ: В сущности, это саспенс, «подвешенное» состояние... Вы видели передачу «Культуральный бульон»? Бернар Пиво спросил меня, почему я все время возвращалась к удару ножом... да потому что это единственное, что мы знаем точно! Я поехала в Индию – после смерти Кристофера – и врачи мне сказали, что можно было его спасти...

ФД: Если бы нож несколько раз не повернули в ране.

ГВ: И это-то всё и решило!

ФД: Из-за этого К. обречен...

ГВ: Это решающий момент, и потому-то он и возвращается все время лейтмотивом.

ФД: Я подольше задержусь на другом вашем произведении, которое при своей фрагментарности все же обладает нерушимой связностью – «Страстный пуританин».

ГВ: Окажите такую любезность, Феличита.

«Страстный пуританин»

Чего я ждал?... Ничего в итоге, и даже это было слишком

ФД: Вы утверждаете, что не верите в Бога, но в «Страстном пуританине» я вижу впечатляющую анаморфозу христианского Откровения. Ваш текст проясняет тайну воплощения, сообщая картинку-перевертыш пресуществления: Матье ест хлеб, зуб тигра разрывает плоть, и Бланш насыщается облаткой... Нужно быть верующим, чтобы проникнуться вкусом святотатства! А может, вы атеистка-мистик?

ГВ: Вовсе нет. Атеисты-мистики – это, например, марксисты, которых я терпеть не могу. Марксизм – религия без Бога, но все же это религия.

ФД: Материалистическая.

ГВ: Извращенный материализм, не забудьте. Материализм, готовый к жертвам: живите плохо, ешьте впроголодь, носите лохмотья, и ваши дети заживут хорошо!

ФД: Светлое будущее – обещание рая вне этого мира или вне Истории!

ГВ: Все марксисты, которых я знала, были мещанами и страшными пуританами. Зато анархисты, с которыми мне довелось свести знакомство, принадлежали к радикально противоположным кругам: одни были разнорабочими, другие – выходцами из высшего русского общества. Их всех объединяло одно: громадная щедрость сердца. Благородство сердца, какого нигде больше не найдешь. Подлинный анархизм основан на утопии: человек хорош – так хорош, что не нуждается ни в полиции, ни в армии, ни в чем-либо подобном. Люди, верившие в это, судили по себе: они-то были хорошими! Вот вам и ошибка... Ошибка, которую еще Монтень допустил, утверждая, что знает людей, если знает себя самого. Да нет же! Достаточно вспомнить, что Монтень написал это в эпоху религиозных войн, будучи свидетелем чудовищных ужасов, не миновавших и его замок!

ФД: Внушает ли вам человечество веру?

ГВ: Нет, абсолютно не внушает. Голая обезьяна пилит сук, на котором сидит. Долго это не продлится. Мне-то наплевать. Но продолжайте плодить детей! У вас есть ребенок?

ФД: Нет, я на службе у трех котов.

ГВ: А! Как мило! Обожаю животных. В такой же степени мне противны дети и куклы... Говоря о куклах – когда я была маленькая, я выкалывала им глаза и топтала их. А вот животных прижимала к сердцу. Потому я и не ем мяса. Но вы содрогнетесь, если я вам скажу что я... фетишистка мехов.

ФД: Но вам известно, каким образом...

ГВ: О! Я ведь чувствую себя ужасно виноватой! Я жестоко мучаюсь чувством вины, но, что поделать, фетишизм всегда предполагает боль. У меня эта боль от чувства вины.

ФД: Вы опережаете мое перо, когда пишете: «Я же никогда не был похож на себя. Я хочу сказать: я – инородное тело, в истинном смысле этого слова, в двусмысленном его звучании,

в многообразном значении». Какие эмоции, какие чувства, наконец какие сны вдохновили вас на эти две фразы?

ГВ: Я всегда ощущала себя отличной от других. И не только от других, но порой и от себя самой. Как сказал Рембо: «Я есть другой». Это ключ, не отмыкающий ни одну дверь. За исключением двери смерти. Тогда, возможно, мы что-то узнаем...

ФД: Любопытное отношение...

ГВ: Конечно, а как же! Жизнь, лишенная любопытства, была бы невыносимой и даже немыслимой.

ФД: Вы пишете: «Химера никогда не приходит к нам через врата свобод». Не могли бы вы развить эту мысль?

ГВ: Химера – это невозможное, фантазм, воображение. Что касается меня, то она рождается из морального или физического запрета.

ФД: Я цитирую: «Все любви – уходящие, убегающие линии – параллельны, так как встретиться им никогда не дано». Мне страшно это понять... вы не объясните?

ГВ: Каждое существо испытывает эту ностальгию по любви, разделенной в равной мере, но такого не существует. Или же есть только Бог... Или ничего!

ФД: Поскольку Матье – это персонаж, придуманный страстным пуританином Дени, вы намечаете последующую рекурсию: «если бы Матье – который сделать этого не может – писал бы, в свою очередь, роман или дневник о человеке, сочиняющем историю другого персонажа, который был бы создателем следующего по счету героя, никакая логика не помешала бы этой цепочке удлиняться вечно, и образ зеркал мог бы тогда множиться до бесконечности. Но есть одно препятствие: тигр».

Сразу же возникает мысль о Хорхе Луисе Борхесе: из-за рекурсивной повествовательной перспективы и из-за колдовского воздействия этого плотоядного млекопитающего.

ГВ: Я об этом не думала. По правде говоря, с творчеством Борхеса я знакома не очень хорошо.

ФД: Мне известны только два автора, которых настолько завораживает тигр: это вы и Борхес.

ГВ: Этого я не знала.

ФД: Добродетель, по-вашему, не что иное, как «незаслуженная снисходительность?»

ГВ: Мы не созданы для добродетели.

ФД: Думаете ли вы, что можно уважительно относиться друг к другу, не будучи добродетельными?

ГВ: Безусловно! На этом и основано мое поведение. Меня упрекают в эгоизме, потому что я против детей, но я считаю такой эгоизм бесконечно менее опасным, чем эгоизм женщин, уверенных, что они имеют право на все, раз опростались ребенком. Я, конечно, эгоистка, но я всегда отвечаю любезностью на любезность. Я всегда стараюсь закрывать двери бесшумно, не распространять дурных запахов... Есть люди, которых это не заботит.

ФД: Вы пишете: «Правда – это часть речи, обойденная молчанием».

ГВ: Эта фраза определила всю мою жизнь и мое товарищество с Юстусом Витткопом.

ФД: Вы считаете это достойным сожаления?

ГВ: Нет, это фактическое положение дел.

ФД: В интервью, которое вы дали Жерому Гарсэну, вы сказали (я цитирую): «Я сорок лет прожила с мужчиной, который предоставлял мне полную свободу и с которым у меня было такое взаимопонимание, что мы могли рассказывать друг другу о своих любовных приключениях. Но он ставил одно условие: мои садистские наклонности должны оставаться тайной, мужественные и декадентские черты моей натуры никак не должны проявляться в нашей общественной жизни...»

ГВ: Не забудьте: мой муж родился в 1899 году! Он был очень раскрепощенным, но... Давайте закажем еще вина: одного маленького бокала маловато.

ФД: С удовольствием.

ГВ: Юстус желал соблюсти известные приличия.

«Убийство по-венециански»

Из глубины зеркал

ФД: В кратком вступлении к повествованию вы предваряете читателя следующим образом: «Поскольку применение всеобщей экономии в искривленном пространстве – сем небьющемся пространстве-времени, которое мы по-детски хотим подстроить под наши мерки, – не допускает никакого развития, и поскольку, к тому же, любая интерпретация временных понятий обречена на неудачу, следует как должное принять хитросплетения хронологии, подчиняющейся лишь вымыслу. Поскольку никакое сокращение, никакое уплотнение не в силах исключить распыления, расщепления, мы будем сознать вечность, присущую датированию». А затем переходите к изложению своего представления о судьбе: «Однако развитие действия заложено в движении крещендо к катастрофе, в износе веревки, удел которой – порваться», за которым следуют слова, которые значат, что мои литературные молитвы услышаны: «Сцены в двойном плане повествования будут накладываться одна на другую не на манер палимпсеста, а скорее, как четкие и разборчивые диапозитивы, стремящиеся к согласию». И тут на ум опять приходит Борхес, с его великолепными перспективами, открытыми благодаря достижениям квантовой теории, с чарующими арканами гностической эзотерики...

ГВ: А я и не знала... как господин Журден, который не знал, что говорит прозой!

ФД: Точно! Меня это...

ГВ: Тронуло.

ФД: Очень.

Заключение; расставание.

На музыку Арканджело Корелли

ФД: Вы называете себя *либертинкой-космополиткой*. А как вы думаете, кто еще на сегодняшний день может гордиться таким званием?

ГВ: Мне мало что известно о жизни моих современников, я никого не могу назвать.

ФД: Учитывая успех двух произведений, которые вы опубликовали в январе, вы все еще остаетесь при мнении, что «свободные люди не преуспевают в карьере»?

ГВ: Да... Честно говоря, если бы успех пришел ко мне лет десять назад, когда я была на самом деле здорова и гораздо бодрее, чем сейчас, он был бы более ко времени. Но, в конце концов, это лучше, чем ничего! Надеюсь, что несколько лет я еще проживу и успею вкусить от этого признания!

ФД: Вы не любите детей – вам из-за этого доставалось? Вас в этом жестоко упрекали?

ГВ: Знаете, чтобы меня обидеть, нужно очень постараться. Унизить меня невозможно. Внутренне я крайне уверена в себе.

ФД: Что вас так завораживает в XVIII веке?

ГВ: Всё. Желание свободы.

ФД: А в чем Вы можете упрекнуть начавшийся век?

ГВ: В конформизме и «родительском маразме», как говорит мой друг Николя Делеклюз. Как-то в супермаркете одна старая женщина, моего возраста – но совершенно состарившаяся, по всем признакам – сказала мне: «Я все время жила для других, что я видела в этой жизни?». Я поступила жестоко: не стоило ей этого говорить, но я все же ответила: «Вы сами виноваты».

ФД: Можно ли надеяться когда-нибудь прочитать «Торговку детьми», неопубликованную рукопись, которую Вы называете «педофилосадистской»?

ГВ: Я подписала договор с Бернаром²⁴, он полон энтузиазма!

ФД: А он не боится цензуры политкорректности?

ГВ: Он говорит: «Мы возьмем на себя ответственность». Мне, в моем возрасте, в каталажку не хочется.

ФД: Вы живете во Франкфурте вот уже много лет...

ГВ: В Германии с 1946-го, а во Франкфурте – 12 лет.

ФД: Вы ведь страстная путешественница. Какое слово или слова вы бы выбрали для каждого из мест, которые я вам назову? Нант.

ГВ: Я уехала из Нанта, когда мне было 17 лет, и вновь там побывала лет десять назад. Нант ассоциируется у меня с пассажем Поммере, дорогим Пьеру де Мандьяргу, писателю, которого я необыкновенно люблю. Это интересный город, где прекрасно кормят.

ФД: Париж?

ГВ: Улица Сены, где мы с Юстусом скрывались во время оккупации.

ФД: Италия?

ГВ: Венеция, прежде всего Венеция.

ФД: Нью-Йорк?

ГВ: Единственный родственник, который у меня остался – по материнской линии – живет в Нью-Йорке, но я там никогда не была. Я знаю, что там есть первоклассные музеи, но мне туда никогда не хотелось съездить.

ФД: Спасибо вам, Габриэль.

ГВ: Надеюсь, что я вас не разочаровала, Феличита.

Перевод Ольги Гринвуд

24 Бернар Валле, главный редактор издательства Verticales. «Торговка детьми» вышла в 2003 году, после смерти автора (рус. пер. – 2006).

*Юстус Франц Витткоп***БЛАНКГАУПТ РАЗМЫШЛЯЕТ О ФАКТАХ, МАСКАХ
И МИФАХ СВОЕЙ ЖИЗНИ, А ТАКЖЕ О СМЕРТИ**

Госпитальная койка, конечно, не такая старая, как он сам, а ему уже восемьдесят, но она из крепких стальных трубок и напоминает ему детскую кроватку, покрытую белым лаком, который, впрочем, местами слез. На колесах величиной с тарелку ее толкают по коридорам клиники, и, несмотря на рекомендуемую осторожность, столкновения с дверями палат неизбежны. На белье вышита цифра – 1952, но кроватный каркас относится к годам перед Первой мировой. Сколько людей, ныне давно умерших, оросили своим потом матрас, простыни и подушки? За все это время на них испустили дух множество больных. По правилам гигиены обязательно нужно проводить дезинфекцию. Но к предметам пристают остатки снов, отложения страха и отпечатки надежд – что-то неуловимое, чего не смыть никакому лизолу. А иначе почему в предрассветные часы, когда бойкая дежурная медсестра еще не спугнула гремящими мочеприемниками силуэты теней, сюда приходят видения тех, кто когда-то лежал на старой больничной койке?.. Солдат с огнестрельной раной головы, у которого из ноздрей вытекают мозги... Привокзальная шлюха с лицом Мадонны, обожженным купоросом... Вдова трубочиста с опухолью в мозжечке, слышащая божественные голоса, словно Жанна д'Арк... Госпитальная койка – эфемерное ложе для многих поколений страдальцев. Вниз и мимо.

Другие сны: ему снится, будто жизнь душит его, как Голем, которого он сам же вскормил и вырастил... Еще ему снится кладбище из каменного века; он смотрит поверх невысокой стены: лишь глыбы, груды камней да фигуры, похожие на грубые каменные лопаты, загнанные рукояткой в землю. Фаллические символы? Деревня из каменных хижин, широкая панорама ночного пейзажа, лунный свет. Он ищет могилу Филина и не может найти. Лежа без сна, представляет грядущее и вспоминает о прошлом.

Когда он встряхивает вибросито памяти, железная стружка воспоминаний просеивается по воле случая; в такие минуты очерк человеческой жизни способен сложиться в мозаику; всей жизни – то отчетливее, то незаметнее – сопутствует фигура смерти, даже если о ней надолго забываешь.

Ансельм Бланкгаупт вспоминает. Детство еще при кайзере – матросские костюмчики, носки в поперечную полоску и надпись «S. M. S. Ittis» на ленточке бескозырки: собственно, «Ильтис» затонул на Хуанхэ во время восстания боксеров, как только Ансельм научился ходить... Юность в вихре двадцатых – *lost generation*²⁵ и вертлявый джаз... Война – «последняя» – была позади, и они ликовали в плену наивных человеческих иллюзий. Поношенная штатская одежда наполняла счастьем. У смерти больше не осталось времени на Ансельма Бланкгаупта. Он лишь слышал с вершин Вогезов, как она грохотала в переключке пушек, на которую даже не оборачивались аисты с эльзасских лугов. Там он отвык от ностальгии и больше не посматривал с тоской на железнодорожные пути. Той фламандской осенью умерших от тифа доставляли во мгле в голодающую деревню, незадолго до этого кайзер пересек границу с Голландией, а осветительные ракеты и яростная стрельба из карабинов считались признаками восторженной радости. С творогом вместо провианта Ансельм пешком отправился домой – целое долгое приключение. Как говорится, к отчему дому.

Отчий дом: в буржуазных жилых кварталах сдавались квартиры – мир детства... Как только в комнате становилось темно, служанка вносила керосиновую лампу. Прежде чем открывалась дверь, сквозь замочную скважину падала узкая полоска света и блуждала по обоям. Старая Анна служила у Бланкгауптов еще до его рождения. Она неожиданно вышла за почтальона и потом жила с ним где-то в Оденвальде. Еще пару раз заходила в гости и приносила с собой киршенмихель²⁶. Появилась новая Анна. Затем еще одна, и еще. Должно быть, их всех звали Аннами. «Из-за детей», – говорил отец.

25 Потерянное поколение (англ.).

26 Вишневая запеканка.

Ни одна не оставалась надолго, ведь они привыкли к старой Анне. Прощание и смена – кто знал, что эти два слова станут девизом всей жизни? Учиться жить трудно, а детство – вовсе не лучшая пора, вопреки стариковским стихам.

Когда мальчики сидели вместе у окна, любясь пурпурно-золотым закатом, они воображали целый мир за вечерними облаками. Затем внизу проходил фонащик, перемещаясь зигзагом с тротуара на тротуар; похожий на подозрительного песочного человечка: вы знаете, что его дочери и сыновья – совы? В сумерки с кухни доносился звон тарелок, а газовый фонарь под окном гудел, как гигантский комар. Вскоре звали ужинать. Потом рыбий жир и – марш в постель. В темную детскую проникали приглушенные шорохи и громкие голоса – ах, взрослые ссорятся. Скрипели двери. Приходила заплаканная мать – взглянуть на брата. Притворялись спящими: ладонь на горячей щеке, и безмолвное погружение в бездну отчаяния. В *laterna magica*²⁷ тоже попадались картинки горя и ужаса. Но ужас больше никогда не будет таким ледяным.

Свет мерцающего костра – древнейшее переживание человечества, воспоминание о каменном веке. В Оденвальде еще тлели искусно закрытые костры угольщиков, выходивших в конце ноября наблюдать за оленьим гоном. Во мгле – рев и приглушенный треск сшибающихся рогов. Кучер наемного экипажа разбирался, что к чему. Он носил сапоги с отворотами и раньше служил денщиком у одного принца, но при этом оставался социал-демократом. Для политики дети были еще слишком малы. Отец завязал с ним долгий разговор, хотя обычно был необщителен.

Комната отца с синими портьерами и книжными полками считалась запретной зоной. Но иногда им разрешали полистать роскошные тома: виды Неаполя, «Фауст» с иллюстрациями Корнелиуса. Все детство с книжного шкафа скалился череп. Порой отец забавлялся: зимними вечерами тайком превращал его в куклу, которая, белея в темном дверном проеме, говорила сдавленным голосом:

– Моя фамилия – Бланкгаупт, я кузен Михель, ты тоже когда-нибудь станешь таким!..

27 Волшебный фонарь (лат.).

- Ну Хуго, ты же напугаешь детей!

Мать поднимала лампу, дабы разоблачить привидение. Кузен Михель был всего-навсего призраком-другом детства, о нем говорилось в песенке-загадке: «Вчера к нам приходил кузен Михель...» Напрасно дети ждали настоящего кузена Михеля: похоже, он всегда «приходил вчера».

Мать забыла в отеле зонтик от солнца. Они ждали ее возвращения у висбаденского курзала. Из лабиринта ночных парковых тропок вышел тощий франт и подсел к ним. Он проклинал экипажи, катившиеся в тусклом лаковом блеске под шарами из матового стекла, и называл себя деклассированным элементом. Отец процитировал ему Шопенгауэра. Когда пришла мать, незванный собеседник исчез в кустах. Она надела на детей пальто. Затем прогремел выстрел. Падение тела, слабый запах пороха.

- Ради бога, отвези детей на вокзал!

Отец попытался раздвинуть ветки. Мать схватила детей в охапку.

- Вторая платформа.

Отец неохотно остался, а они помчались по Рейнштрассе. Самоубийства никто не видел, но они догадывались, что произошло с «деклассированным элементом».

В садовых ресторанах детства ясенниковый лимонад подавали вместе с круглой стеклянной пробкой, которой нужно было затыкать горлышко бутылки. Первая автомобильная прогулка тоже завершилась посещением загородного сада с кафе под каштанами. На обратном пути отец предпочел поезд. «Бензиновая колымага – утеха для механиков». Впредь моторизованным был лишь его катафалк – полтора десятка лет спустя. А в ландо пахло хвойным лесом. Под Дармштадтом росли сосны с красными стволами и смолистым ароматом. Серые полосатые оводы докучали детишкам и лошадям.

Плевательницы нынче вышли из моды. А вот раньше эти плоские округлые сосуды с песком или опилками стояли на каждом почтамте и в каждой канцелярии – в углу у железной печи, покорно дожидаясь слюнных выделений. В «Мюнхенской цветной вкладке» даже нашелся какой-то стихоплет: «Прыг через плевательницу – мопсик с колбасой...» В хорошем

настроении отец любил цитировать абсурдные стишки. Плеватьницы не было ни в его спальне, ни в библиотеке, которую мать называла «кабинетом». Но служанку тошнило – еще один повод для супружеских ссор.

У двоюродной бабки в Югенхайме – вилле посреди цветущего розария, где палящее солнце сверкало в больших зеркальных шарах. Лишь дети были не в черном. Они слышали незабвенный стук молотков, забивающих гроб. Дядю отца, которого тогда хоронили, они ни разу не видели: он изобрел ружье с игольчатым бойком. Неподходящая компания для отца. Двоюродные бабки, худые пожилые дамы с избытком гагатов на блузках, относились к маме покровительственно: они считали бланкгауптовский брак «мезальянсом». То был первый и последний приезд в Югенхайм.

В библиотеке висел портрет мужчины в черном сюртуке. Белый пластрон отливал желтизной. Отец относился к картине с почтением – почти благоговейным страхом. Возможно, угрызения совести?

– Дедушке вы обязаны тем, что никогда не познаете голода!

Он заблуждался.

Старший преподаватель Гуммер велел ученикам третьего класса подниматься на кафедру по одному. На улице под платанами, в болтающихся мундирах, но под бравурную музыку проходил запасной батальон. Гуммер раздобыл штемпель и штемпельную подушечку. Каждый получил фиолетовую печать на запястье: «Боже, покарай Англию». Во имя победы вновь вывесили черно-бело-красные флаги.

В шлафроке и с растрепанной бородой отец перебегал от одного окна к другому. Мать пыталась удержать его за полу. Отец был вне себя: внизу по тихой улице Вильгельм II отправлялся на утреннюю императорскую прогулку с обеими своими таксами. Сыщик следовал за ним по пятам. Бад-Гомбург и в войну становился время от времени летней резиденцией.

– Вся эта кровь, все эти погибшие. Это он во всем виноват!

– Тебя еще привлекут за оскорбление Его величества!

Оскорбление Его величества стоило двадцать марок золотом – во столько оно ему и обошлось. Он не знал, что для

рантье скоро наступят плохие времена. Та сумма, что ежемесячно приносил почтальон, не поспевала за растущими ценами. Тогда-то впервые и подкралась инфляция. Первый труп Ансельм увидел весенним днем на пляжном променаде Бахараха, когда бродил вдоль Рейна, позабыв о школьных заботах. Рыбаки вытащили на сушу молодую утопленницу. Тело еще не вздулось: намокшее длинное бальное платье из муслина цвета зеленого камыша плотно облегало бедра и ляжки – с извечным бесстыдством смерти. Зато мелкий коричневый речной песок, точно бархатом, покрывал голые плечи и глубокое декольте. Рыбы глаза слепо уставились с бархатной маски вверх – на заросли сирени: гримаса плачевного конца. Рядом караулил жандарм, ведь эта нежная молодая женщина подлежала транспортировке.

...но над тройным скелетом
Звучит отныне так:
Лорелей! Лорелей! Лорелей!
Три двойника души моей...²⁸

Три или два?.. Порой на него нападали сомнения. Что есть «я»? Разве безумие не сидело за спиной, пока он катался по лесу на велосипеде? Или ночью, когда громко тикали стенные часы... Что там пряталось в темноте на низком шкафу, как только он отрывался от трудного текста Ливия? Сознание тонко и хрупко, будто яичная скорлупа, под которой бродят и бурлят грозные потоки.

В углу дивана, забросив ногу за ногу, отец в одиночестве пил вино, изредка подзывая Ансельма, дабы преподать ему свою философию: *hoi pleistoi kakoi* – «большинство людей – мерзавцы»... Горькое наставление, перед которым трепетала молодежь. Эта же фраза была начертана карандашом, греческими буквами, на филенке двери в монашескую опочивальню отца.

После перемирия в Брест-Литовске кайзер выступил с речью на балконе барочного замка. Ученикам гимназии велели собраться во дворе. Платаны были по-мартовски голые,

фонтан – еще замерзший. Вверху властный голос то и дело срывался, и в морозный утренний воздух толчками поднимались облачка пара.

– Мы им всучим перемирие! – заверял Его величество.

Как раз это ему и не удалось, и весной 1918 года Ансельм Бланкгаупт все же пошел в армию. Как видно на фотографии, он был еще ребенком.

– Есть в Эльзасе городок, и стоит в нем гарнизон... – По приказу пели двести юных глоток, и четыреста усталых ног в подбитых гвоздями, закрывающих икры сапогах – бух! бух! бух! – заставляли ритмично гудеть базальтовую мостовую. Муштровка проводилась целый месяц по два раза в день, и унтер-офицер Зивер, мастер-кровельщик по своей гражданской профессии, старался дополнить систему, основанную на унижении и истощении, собственными изобретательными приемами. При фехтовании штыками он любил тыкать рекрутов тяжелой и тупой деревянной учебной моделью в яички. По ночам клопы на пыльных соломенных тюфяках заботились о том, чтобы сон был лишь кратким забытием без сновидений. А непрерывная канонада на вогезских высотах напоминала, что смерть жаждет нового молодого мяса.

Однако рекрута Бланкгаупта откомандировали во Фрешвейлер для помощи в уборке урожая. Он стоял на квартире у винодела Жана-Батиста Шёттле и жил в ароматной эльзасской молочной кухне. Бело-коричневый рабочий вол стал его приятелем и встречал глубоким влажным взглядом, когда Бланкгаупт входил на рассвете в хлев его запрягать. Затем они вместе отправлялись на кукурузное поле – нарезать для Белобурки корма. Пока Белобурка прямо на месте лакомился первым завтраком из сахарной кукурузы, растирая ее зубами, Ансельм растягивался в борозде под стеблями и метелками: он мечтал о далеком, благоухающем росой тропическом рае, который позднее увидел на картине таможенника Руссо, и кукурузное поле превращалось в пальмовый лес. Августовское солнце в виноградниках насыщало грозди первой сладостью, а самого Ансельма покрывало мужественным бронзовым загаром. Похоже, солнце и не догадывалось о войне.

Затем под давлением пенился плодовой сок. Для виноградаря наступила долгожданная пора. Шёттле объяснил молодому временному батраку, что ночью из выжимок будут гнать водку. Тайно – чтобы не платить налоги. Паническая ночь, ночь Гекаты и демонов. Вокруг сарая, где стояла перегонная печь, порхали совы, вспугнутые неярким светом пламени. Клубился пар. Пока они возились, водочное опьянение с каждым часом нарастало. Шёттле снова и снова протягивал ему волосатой рукой пробирку, а сам снова и снова дегустировал продукт тайного алхимического искусства. Ансельм давно уже украдкой выливал его на землю. Ночь обрела фантастические очертания, и весь мир закружился каруселью адских теней: воздушный налет на деревню. Шатаясь, они выбежали на воздух. Было далеко полночь. В небе трещала шрапнель и завывали осколки. Они потеряли друг друга в темноте. Ансельм опустился у стога на землю. Над ним кружилась белая метель: самолеты сбрасывали листовки. Ансельм уснул, положив голову на земляную глыбу. Жнивья были устелены тысячами приглашений перейти на сторону противника.

Во время ночного марша по спящему Эльзасу Ансельм натер себе ноги – портянками, которые в сапогах с коротким голенищем заменяли носки. Санчасть. Матрасы вместо соломенных тюфяков. Казарма опустела. Батальон с подкреплением был загублен там наверху близ «Мертвеца». В спальне санчасти, в коридорах и во дворе казармы царила зловещая тишина. По ночам мыши пускались в пляс: они барабанили в неиспользуемые эмалированные тазики, пищали и смело подходили целыми десятками прямо к койке Бланкгаупта. К утру они сжирали полбуханки солдатского хлеба – его недельный паек: оставалась лишь пара крошек, перемешанных с мышиным пометом.

Фламандский октябрь с туманами и североморским холодом. Поскольку фронт отступал, рекрутской базе тоже пришлось повернуть обратно. Удивительно, что на марше можно было даже спать, пока голова не упиралась в пристегнутую к ранцу стальную каску направляющего. Ночевки на временных квартирах в копне соломы. Они сидели на корточках вокруг маленьких гинденбургских ламп и вычищали вшей

из рубаш, дожидаясь заунывной и затяжной вечерней зари. Однажды утром лейтенант объявил на перекличке:

– Воины! Наш верховный главнокомандующий оставил нас!

Унтер-офицеры собрались, чтобы выбрать солдатский совет. Похоже, рекруты еще не созрели для этого. Председателем революционного комитета избрали господина капитана. Ансельм отправился домой.

Прежде чем он вернулся в школу, отец посоветовал:

– Не оставайся здесь: если возьмут Гомбург, попадешь в плен к французам.

Отправившись на поиски своего запасного батальона, Ансельм нашел его в Херсфельде – пару кадровых офицеров и две дюжины рядовых. На постое в семье сапожника. Жена мастера поставила кровать в хорошей комнате. В ротной канцелярии он вел учет продовольствия. Фельдфебель Цандер пытался заинтересовать его профессией лесничего, а Эннхен в гессенском национальном костюме оказывала пехотинцу в защитной форме робкие знаки внимания. Ночью он сочинял белыми стихами запутанную драму, хотя ему мешали непрерывные перепады газового освещения. На пасху он вновь надел штатское платье – злосчастное штатское платье с рук, ведь витрины зияли пустотой. Но костюм поразительно согревал душу.

– Коммунисты идут! – Ансельму Бланкгаупту пришлось поспешно опустить железные жалюзи на окна франкфуртского книжного магазина. Тем временем господин фон М. пригнулся и встал перед входом в позу доблестного буржуа. Беспокойные первые годы республики. От Оперной площади приближалась одна из частых колонн демонстрантов: боевые песни, знамена и транспаранты. Ученик книготорговца все еще очень плохо разбирался в политике. С карандашом и резинкой он спустился в подвал, где нужно было переписать огромное количество товара согласно новейшему преискуранту. На стопке «Заката Европы» Шпенглера он углубился в «Преступление и наказание». На привокзальной площади вспыхнули беспорядки. Были убитые.

Он ходил на какой-то суматошный маскарад, вернулся домой поздно. Наутро узнал, что ночью умер отец. Когда за-

крывал ему глаза на цветастом плюшевом диване, труп уже окоченел, и огонь в изразцовой печи потух. Спустя полстолетия кончики пальцев все еще помнят прохладное прикосновение мягко сопротивляющейся кожи век. Выдвинув ящик письменного стола, Ансельм обнаружил сверху возле завешания листок с цитатой, написанной закругленным, энергичным отцовским почерком: «Тропою смерти мы идем с тобою, и с каждым шагом боль души смолкает»²⁹.

Повсюду, где висела табличка «Сдается жилье», мать охотно поддавалась желанию бесцельного осмотра, и они вдвоем частенько наведывались в зияющие пустотой анфилады комнат, садовые беседки, сумрачные конторы, господские виллы или арендуемые этажи, где их встречал запах свежей краски или затхлость и плесень. Однако поднаиматели обворовывали или обманывали ее, ведь далекая от жизни вдова совершенно не разбиралась в людях.

Паразиты: клопы в сомнительной дрезденской гостинице, оба спасались от них через окно первого этажа; потом пришлось до утра блуждать по морозным улицам. Послевоенная зима 1921 года – с плакатами «Союза Спартака», желудевым кофе и чадом раскаленных коксовых печей в артистическом кафе у Центрального вокзала. – Или крысы на заднем дворе, в ящичной соломе магазина стеклянных изделий. По ночам он просыпался от их пронзительных криков и фыркания: их борьба с кошками – целый эпос из темноты, мусора и крови. Но это было позже, в Париже, где старый клошар сидел, прислонившись спиной к мусоросборнику, с широко разинутым ртом и стеклянным взглядом. Над кабаками мерцали неоновые вывески.

Запонка для воротничка была весьма непрактичным приспособлением: металлические застёжки приходилось вдевать в рубашку и воротник. Край воротника натирал шею до крови. В Мюнхене, не сумев справиться с запонкой, Ансельм позвал хозяйку. Она возилась у его шеи, и ее домовитые руки пахли луком. Руки палача, наверное, пахнут табаком. Она была замужем за сутулым банковским служащим. Ино-

29 И. В. Гёте, «Ифигения в Тавриде» (1787). Пер. Н. Вильмонта.

гда по воскресеньям они вместе выезжали за город. Между заснеженными буковыми изгородями в парке Шлейссхейма скрюченный гражданинчик казался грустным придворным карликом в брюках-гольф с рисунком в елочку. Ансельм чувствовал, как мимо проносится невидимый король холода, когда у чайного павильона розовый куст рассыпал под западным ветром свои лепестки.

Суповая кухня на Терезиенштрассе была дешевле столовой. Публика разношерстная: студенты, учащиеся художественного училища, старые бродяги, состарившаяся в бедности богема, уличные торговцы и разрушенные бегом времени пенсионеры. Деклассированные. Половина буржуазии была деклассированной. На масленицу дым стоял столбом: жалобно бренчали струны цитры, и на голом цементе танцевался баварский фокстрот. Бумажные розы размокали от пролитого горохового супа. Ансельм носил послевоенные лохмотья, на ногах – обмотки. В университете студенты-красильщики стояли на собраниях с важной миной – рядом с жертвами поединка народов, вернувшимися домой калеками.

Прибежищем для них стал магазинчик старой модистки Мелани на Амалиенштрассе. Ее сын учился в театральном. Долгие ночи под висячей газовой лампой, за подогретым чаем и нескончаемыми дискуссиями. Они сидели на корточках, облокотившись на колени, с мерцающими сигаретами во рту – горстка неимущих студентов и молодых художников. У каждого хватало проблем, но важнее был вопрос о том, что же будет с миром. Повсюду – грохот летящих кувырком цифр, гвалт девальвированных ценностей. Осталось ли еще право на надежду?

Карло и Сильвия владели в Амальфи домом, выкрашенным в розовый цвет. Ансельм гостил у них, спасаясь от удушающей инфляции. Ночью дул сирокко, не только волнуя море, но и затуманивая рассудок. Треснет ли яичная скорлупа? Ансельм сидел, скорчившись, далеко на молу, о который гремели буруны. Смоет ли его поток? Он ждал этого. Лишь на рассвете, подавленный и насквозь промокший, поднимался по улочкам-лестницам – притихший стажер жизни. Он носил белую куртку официанта. Капри был еще одним островом блаженных. Беззаботные деньки. В сущности, он висел в воздухе, подобно ис-

кривленной ветке: принесет ли она когда-нибудь плод? Неужели будущее – бесконечный, безвыходный коридор? Когда он жонглирует подносом на террасе кафе под старым кустом глицинии, это лишь половинчатое существование. Впрочем, оно не исключает взлетов. Как в тот вечер над Неаполем. На Сан-Эльмо зажглись огни, вдоль бухты – блеск и сверкание. Его охватило вселенское блаженство. С Капри он вернулся вместе с Татьяной. Вселенское блаженство, сладостная меланхолия, хмель первой любви. – В восемьдесят лет он уже может улыбнуться над тем, как тогда, из-за этого простора и сияния, на глаза ему навернулись слезы счастья.

На мюнхенской Белградштрассе стоял пансион «Фюрманн» с конюшнями и козлятниками, переоборудованными в студенческие каморки. Там, в крытой толем лачуге с бидермайеровской кроватью и шатающимся книжным шкафом, он зубрил учебники перед экзаменом. Его соседи Отто и Эльзе еще до свадьбы жили в стриндберговском браке: Отто угрожал Эльзе топором. Тогда-то Ансельм в буквальном смысле познал, чем пахнет холодный пот. Но Эльзе все же осталась в живых. Он также научился больше не вступать в супружеские ссоры. В это же время возник план Доу с его главным принципом: *Business, not politics*³⁰. В немецком государстве коричневые демагоги выбрали все же обратное. О том, что в Мюнхене, через шесть недель после своей защиты, умер его старинный преподаватель – тайный советник Клопшток, Ансельм прочитал в «Фоссише Цайтунг» на вокзале Ниццы. Он отвез Татьяну поездом в Париж и вновь ступил на пыльный бульвар Виктора Гюго. Брошенный на произвол судьбы в Ницце – городе авантюристов и останавливающихся инкогнито влиятельных лиц. Чемодан отдал в отеле под залог. На парковой скамейке подсчитал последние хрустящие франки. Деклассированный? *Lost generation*? Он так не думал. Но от голода сводило кишки. Трава воняла мочой, грузовики припорошивали пылью светлую тень акации за новостройкой. Позже Ансельм прокрался в «Симье». С моря дул холодный ветер, но под старыми пальмами было тихо. Утром он умылся за «Нотр-Дам» под тон-

30 Бизнес, а не политика (англ.).

кой струйкой фонтана. Затем пробежал глазами последнюю страницу газеты с предложениями работы. Садовник? Повар? Продавец? Всю первую половину дня он рисковал своей шеей. Когда выстрел из мортиры над городом возвестил полдень, конец беготне, голоданию и полудреме так и не наступил.

Ночной портье слышит многое из того, что ускользает от других людей, – даже в Ницце, где гостиничная публика особенно пестра. Кое-кто, сидя вечером в пустом вестибюле отеля за последней рюмкой виски, чувствует себя, будто на исповеди, которую за чаевые выслушивает ночной портье. Молодой врач из Коттбуса молит об отпущении грехов: в любовном безрассудстве он подсыпал одной женщине в вино афродизиак; старый магистр из Мемфиса (Теннесси), запинаясь, признается, что сбивал своих несовершеннолетних учеников с пути истинной любви. Невысокая ночная танцовщица из «Джиммиз-паба» страшно боится египетского боксера, которого она променяла на английского ювелира; а молодой супруг нежной блондинки заразил ее своим запущенным триппером. Горе и комизм, глупость и порок – Ансельм знакомится с новыми сторонами человеческой жизни в те годы чарльстона («yes Sir...») – в зените *roaring twenties*³¹.

По ночам, когда Париж сверкает пожаром неоновой рекламы, а в темных переулках старьевщики ищут в мусоросборниках пустые бутылки, сломанные гребни и прочие чудеса помойной лотереи, Ансельм Бланкгаупт пишет за чугунными столами, на мраморных столешницах случайных бистро свой первый роман. В безлюдных «асомуарах» Пляс де ля Насьон, где девушки с внешних бульваров наживают себе промозглыми зимними ночами цирроз печени, – или теплыми ночами большого города на Монпарнасе, посреди интернациональной богемы и ее ярмарки идей. На клеенчатом диване «У Бебера», на рю дю Пик, плечом к плечу с сутенером из Аяччо, и на рю Кюжа, в «Баль де Циган» с розовым лампами, под пикианье цыганского оркестра. Пока авторучка бежит по тетрадным страницам, он забывает о времени, месте и обстановке, и лишь когда официант, словно сеятель, сыплет из джутового

31 Ревущие двадцатые (англ.).

мешка на кафедру опилки, он, внезапно очнувшись, выходит из задумчивости. Даже в караван-сарайе «Глоб-Скул» – помещении, открытом в свободные часы для преподавательского состава Школы иностранных языков на Бульвар дез Итальян, ему удастся сосредоточиться, пока бывший адвокат из Барселона ведет шумные дискуссии с прогоревшим банкиром из Ливорно, мнимый лорд заваривает на покрытом кляксами столе свой чай, а тучный венгр, спрятавшись за списанной кафедрой, тайком подстригает ногти на ногах. Утром портье встречает каждого из них поклоном:

– *Bonjour, professeur!*

Большинство из них – пройдохи, «десперадос».

Во франкфуртской скромной пенсионерской комнате вдовы Бланкгаупт он вновь оказывается среди обломков детства. Цветастый диван, смертный одр отца, окруженный старыми фотографиями; мальчуган в бескозырке с надписью «S. M. S. Ittis»; семейный портрет с красивой молодой мамой в шиншилловой шубе; сестры, что выстроились наподобие органных труб; отец в панаме, опирающийся на громоздкий сложенный зонт. – У окна стоит мамин стол для шитья с умыленной царапиной: перочинный нож с перламутровым покрытием он выменял аж за три стеклянных шарика. – А из платяного шкафа доносится слабый запах камфары, и череп вновь встречает издавна знакомой костяной улыбкой кузена Михеля. К приезду Ансельма мать два года берегла бутылку «либ-фрауэнмильх».

Рига – столица автономной республики, золотая осень. На Зюндерштрассе (ему нравилось название – «улица грешников») три комнаты, обставленные тяжелой черной мебелью, где они слышали, как за стеной ночи напролет хозяин монотонно читает еврейские молитвы – о бледной маленькой Двойре, изнасилованной и убитой в лесу на берегу Дюны. Первые крупные гонорары за предварительную публикацию придали Ансельму уверенности, а Татьяна была приглашена в русский театр на характерные женские роли: несколько месяцев спокойного комфорта в старом космополитичном торговом городе. Но как только широкая Дюна вынесла в море колотый лед, Ансельм уехал в Берлин. В 1930 году над Берлином сгусти-

лись тучи: в связи с мировым экономическим кризисом перед окошками касс выстроились очереди безработных. Кабинетные битвы уже больше не становились газетными сенсациями.

Татьяну он увидел еще лишь раз – на перроне вокзала «Фридрихштрассе», под завывающим восточным ветром. Она ехала в Париж. Со скорого поезда сошла чужая женщина. Стоянка – двадцать минут. В зале ожидания пахло угольным дымом, бульоном и одеколоном. Как быстро можно стать чужими!

Беспорядки на Кайзераллее. Он видел все своими глазами из окна «Кафе Йости». Штурмовики и «Рот-Фронт», внезапно объединившись против уже почти поверженной республики, брали приступом трамвайный вагон со штрейкбрехерами. Об этой коалиции, послужившей неким прообразом пакта Гитлера–Сталина, забыть нелегко: знакомые звуки шальмаев показались ему тогда фальшивыми³².

В диком винограде напротив брандмауэра заливается черный дрозд – рассветный сигнал. Хватит на сегодня: распахни окно, накрой пишущую машинку. С холодной торжественностью наступает день, но он приближает нас еще на одни сутки к мировой войне. Маршевая музыка, гремющая с утра до вечера из репродукторов по всей Германии, не оставляет никаких сомнений.

Домашний обыск в семье Кошвиц. Перед комнатой жильца стоит на посту штурмовик. Седая фрау Кошвиц холодно сообщает: нет, ее сына нет дома. Старая Лизхен, прислуживающая в семье с 1876 года, сидит на кухне и плачет. Лео, сын семейства, еще ночью пересек границу. Когда несколько лет спустя пожилую даму отправят в Освенцим, верная старая служанка не бросит ее и последует за ней в газовую камеру.

После обеда они вышвырнули щуплого герра Козна в разбитое окно его табачной лавочки, и Курфюрстендамм оживилась. Залитого кровью табачника подобрал сердобольный водитель «ГАОМАЗа»³³. И зря. Они вытащили его снова наружу, а вместе с ним – самого человеколюбца, и, избив обоих

32 Шальмай – вид дудки, традиционный музыкальный инструмент немецкого рабочего движения.

33 Ганноверское акционерное общество машиностроительных и автомобильных заводов.

до полусмерти, забросили на поджидующий грузовик к другим «пропавшим без вести». «ГАОМАЗ» загорелся. Кто из праздношатающихся сжимал в карманах кулаки? Крики одобрения заглушали звуки вальса из кафе «Уландек» на другой стороне улицы. Полиция разгоняла зевак:

– Расходитесь, расходитесь!

Судетский кризис. На Кайзераллее поразительно много прохожих вставили в петлицу красную гвоздику. В «Йости» разговор совсем не по-берлински перекидывался с одного столика на другой. Взволнованный краснощекий виноторговец:

– Я – капитан запаса, и если он развяжет войну, мои пушки будут стрелять в обратную сторону, клянусь вам!

Старший почтовый советник в отставке говорит вполголоса о «сумасшедшем ефрейторе». Старый официант одобрительно мычит: он знает, какую газету читает каждый из заведомых. – Но когда сумасшедший ефрейтор уже через год развязал войну, он давно уже приручил свой народ пропагандистскими речами, и ни одна пушка не выстрелила в обратную сторону. При каждом возгласе «Хайль Гитлер», достигающем ушей, Ансельма душит стыд от собственного бессилия. Ему снится город из пемзы и пепла, где опорами мостов через замерзшую реку служат кости динозавров; жители со свиными рылами носят форму СС с черепами; а под низким покровом облаков прячут крылатые существа с ассирийскими бородами.

В затемненном ателье – лишь свет радиоприемника. Несмотря на статические помехи, голос звучит отчетливо. Четверо или пятеро надежных друзей собрались, словно для совершения ритуала. Тому, кто слышит этот голос, угрожает смертная казнь, но он позволяет выжить, как верующему – духовное утешение: пища для надежды, лекарство от малодушия и отчаяния.

В июле 41-го он снова солдат, но уже с сединой на висках. На террасе Сакре-Кёр – внизу раскинулся город: желтый дым каминов мешается с вечерней дымкой. Солдат оккупационных войск – со вчерашнего дня. Он видел унижение Парижа. Имеет ли мужчина право плакать? Он разрыдался над городом своей судьбы. Когда перед вечерней зорей торопливо шел по переулкам, его ботинки на шипах звенели о булыжную мос-

товую; на темном Монмартре ступени лестниц были помечены светящейся краской. Словно фосфоресцирующей падалью.

Со смертью он был знаком так же хорошо, как опытный усталый санитар из анатомического театра. Великогерманский Вермахт поручил ему надзор за солдатским кладбищем в Иври. Поскольку длинные ряды могил самоубийц служили для Сопротивления готовым пропагандистским материалом, трупы эксгумировали, чтобы затем распределить по другим кладбищам. Так их снова извлекли на свет – целую роту мертвых молодых солдат. Когда отваливались крышки гробов, покойники напоминали больших уродливых кукол в истлевших игрушечных коробках: волосы превратились в мокрые свалявшиеся колтуны, а форму украшали арабески из белой плесени и темных соков. У самого раннего уже обнажилась челюсть. А предпоследний, унтер-офицер Целлер, знакомый Ансельму лично по многочисленным спорам о послевоенной судьбе Германии, навел на себя служебный пистолет, когда его должны были перевести на Восточный фронт:

– Коммунист не может сражаться против других коммунистов.

После бомбардировки предместья погибшие штатские лежали в ряд под стегаными одеялами и джутовыми мешками – на фоне горящих домов на краю дороги. К Ансельму подошел кучер:

– *Monsieur, mon cheval... il crie, il crie... Ayez pitié, tuez-le!*³⁴

Ансельм достал пистолет и пристрелил кричащую лошадь, зажатую под тлеющей балкой. Единственное теплокровное существо, у которого он отнял жизнь. Иногда в его кошмарах тощий вороной конь несется, оскалив зубы, и кричит, кричит...

– Мне нужно на кладбище, пойдешь со мной?

Его провожает Антуанетта. Она подбирает позвонок. Их тогда много валялось на поле с уже засыпанными и будущими могилами. За старыми кипарисами *cimetière communal*³⁵ они обсудили план его дезертирства. Ансельм решился с само-

34 Мсье, моя лошадь... она кричит... Сжальтесь – добейте ее! (фр.).

35 Братское кладбище (фр.).

го дня призыва. Укрытием станет мансарда на рю де Сен, доверху набитая книгами: складское помещение для товаров одной букинистки. Там они живут знойным летом, питаюсь овощами и скудной едой, продающейся без карточек, которую удается раздобыть Антуанетте. Снова керосиновая лампа. Влюбленная пара. В ожидании топота полевых жандармов по обветшалой лестнице; в ожидании трибунала и карательного взвода на рассвете – все лучше, чем сражаться за дело Гитлера!

– Тебя тоже казнят, Антуанетта.

– Для начала пусть попробуют нас найти!

Ее смех радует сердце – она верит в удачу.

Когда церковные колокола своим ликующим перезвоном возвещают парижанам об освобождении, оба выбегают на улицу. Весь Париж в экстазе: триколоры, кокарды, цветы, песни. С крыш еще доносятся выстрелы отставших из милиции Виши. Во время этой последней прогулки перед разлукой им не раз доводилось прятаться в воротах за выступами стен.

– Когда кончится война, мы разыщем друг друга.

Ансельм назвался в префектуре полиции военнопленным.

Возвратившись из плена, все свое он носит с собой. Библиотека и имущество в Берлине сгорели. Во Франкфурте он узнает о смерти матери: отказало сердце. Соседи отвезли труп в детской коляске на кладбище, поскольку прислуга обессилела. Город лежит в руинах. Во вдовьей комнате ютятся *displaced persons*³⁶, оторванные от родины террором и войной. Они также разделили между собой остатки бланкгауптовского наследства. Исчез даже кузен Михель. Уже другие дети играют у маминого стола для шитья старым перламутровым перочинным ножиком.

Жилищное управление выделяет ему деревянную хибару в сельском саду у подножия Таунуса. Она убога, идилична и наполовину скрыта за шуршащими цветами ломоноса. Из возрожденного, сияющего огнями Парижа Антуаннета хитростью проникает в голодную Германию – практически в каменный век: никаких технических приспособлений и каждо-

дневная забота о пропитании. До колодца – полкилометра, а чтобы раздобыть ведро для воды, требуется изобретательность. Тяжелое время после лихого, но Ансельм хотя бы нашел спутницу жизни.

Снова начинать все с нуля – не всегда в тягость. Они вместе строят новую жизнь. Временное мало-помалу заменяется постоянным. Они вновь поселяются в городе – жилой дом 1846 года на одном из курортов хранит воспоминания о различных судьбах, хотя уже мало о ком известно: сумасшедший лесной ассессор Бидермайер, увезенный в смиренной рубашке, – чисто гофмановский персонаж; итальянская певица, разорившаяся в казино и окончившая дни свои нищенкой – в мансарде на чужбине; майор в отставке, убившийся на прочной лестнице, – в памяти потомков обычно остаются лишь трагические случаи. – Библиотека тоже давно выросла до потолка, и Антуанетта совсем обвыкла. Сокровищница общих воспоминаний все разрастается. А годы проходят. Оба замечают это по груше в зеленеющем саду – ее тень все шире и все темнее. А как же упрямый мотив, сопровождающий мелодию всякой жизни? Он настойчиво звучит – то чуть тише, то снова отчетливее.

В Мандраки на Родосе они пили вино. Вокруг стола терлась орава тощих, как скелеты, кошек. Антуанетта наклонилась и бросила им кусок. Покрытый струпьями ребенок просил милостыню. Как только он прошел мимо, она сказала:

– Может, это его брат вчера умер?

Они бродили по пешеходному кварталу старого города. В углу разрушенного здания иоаннитов стояла женщина у корыта с водой. Чтобы не оставлять умирающего ребенка одного в каменном склепе, она выдвинула кровать в переулок – та была слишком мала для одиннадцатилетнего, и он сидел в ней на корточках, свесив голову. Видно было, что он уже не жилец: мальчик даже не прогонял навозных мух, садившихся в уголки рта и на стеклянные глаза, – он уже стал ее собственностью. И это умирание посреди груд тысячелетнего строительного мусора казалось событием, в котором нет ничего особенного: просто захотелось показать ребенку в последний раз небо, но еще нужно перестирать целый чан

белья. «Что-то особенное бывает лишь в жизни – даже самой ничтожной, но только не в смерти!» – молча подумал Ансельм.

На Малеконе – пляжном променаде в Гуаякиле, с илистым берегом за колоннами и канделябрами ротонды – сверкали в темноте небольшие костры из ящичной древесины, и вокруг них сидели на корточках темные силуэты – повара, готовившие ужин из отбросов. Рядом клочкотала Рио-Гуаяс, по которой неслись к морю целые острова девственной древесины, тушки зверей и увядшие орхидеи. Когда Ансельм возвращался в отель, он был вынужден обходить индейцев, свернувшихся калачиком на неосвещенных тротуарах. На Площади в глубокой тени веерных пальм дремали маленькие чистильщики обуви, положив головы на коробки для щеток, шестилетние бездомные дети; их подошвы, никогда не знавшие обуви, ороговели. Тому, кто осматривает мир, и впрямь следует обзавестись ороговевшим сердцем. Алиби радикальной ангажированности? Ансельм больше не годился в мечтатели – слишком часто он видел, как безумствуют идеалисты.

Когда они сняли комнату в бидермайеровском доме, улица все еще выглядела по-деревенски. Сюда не проникали лучи неоновых трубок и световой рекламы, хотя в бывшем крестьянском дворе напротив уже разместилась автомастерская. С тех пор улица преобразилась. Домашние кошки больше не могли ее перейти. Луговая дернина за перекрестком отступила перед скоростным шоссе, а над хохолками шиферных крыш высится отвесный фасад небоскреба. Благодаря этому они тоже замечают, что прошли годы и что жизнь никогда не стоит на месте. Совершенно неожиданно Ансельм превратился в старика, и чем старше он становится, тем быстрее бежит время. Вниз и мимо. Вниз и мимо. Вниз и мимо...

Он по-настоящему осознает, что ему уже восемьдесят, только сейчас, на госпитальной койке. Это его изумляет. По ночам он изредка прислушивается к собственному сердцебиению – самому зловещему из всех звуков. Вот уже восемьдесят лет тикает и тикает эта жизнетворная мышца. Перед больничным окном шелестят ночные каштаны. Деревья живут дольше людей: в Калифорнии он видел деревья-великаны, которым свыше двух тысяч лет. Разве в мимолетной человече-

ской жизни больше смысла, чем в их вековечном растительном великолепии? Ему снится сон. Будто он идет по длинному извилистому коридору – небо вверху черное и бесконечно высокое. Что там – за ночным поворотом? Желает ли он это узнать? Над его головой порхают совы, плавно и бесшумно помахивая крыльями. За спиной у странника сдвигаются стены – все теснее и теснее, словно для того, чтобы помешать возвращению. Но хочет ли он возвратиться – в который раз начать все с нуля? Нет. Почему же ему снится невозможность возвращения? Когда он ворочается, койка скрипит. Он скажет об этом сестре, хоть и не любит жаловаться. Говорят, старики ноют из-за каждого пустяка. Может, никакой он не старик и так считают только посторонние? Лишь вспоминая прошлое, осознает он немыслимое богатство фактов, масок и мифов своей жизни: пожалуй, он и впрямь старик. Он смеется: это вовсе не брюзгливый стариковский смех, хоть он и слегка циничный. Наверное, выжить можно лишь благодаря цинизму. Голем, которого Ансельм растил день за днем и который носил его час за часом, однажды ночью, в полдень или вечером задушит его. Ансельм всегда немножко его ненавидел. Он читает вышитую на простыне дату – 1952. Год, в который они с Антуанеттой плавали на пароходе по Рейну. Как будто вчера. А уже завтра другое путешествие достигнет цели. «Научился» ли он «жить» за это время? Он не уверен, но урок подходит к концу. Узнал ли он, что есть «я»? Упрямая фигура сидит в темном углу больничной палаты – скоро она протянет руку, и мысли исчезнут. Проводя рукой по скулам, он ощупывает контуры своего черепа... «Ты тоже когда-нибудь станешь таким...» Наверное, холостяку умирать легче. И все же в глубине души он доволен тем, что цель близка. «Тропюю смерти мы идем с тобою, и с каждым шагом боль души смолкает...» Немцев упрекают в танатомании. Ну, ему еще пока не горит, но когда пробьет час...

Входит бойкая дежурная медсестра. Светает. Грохот мочеприемников и вовсе прогоняет мысли о смерти.

Перевод Валерия Нугатова

ДОСЬЕ ОСВАЛЬДО ЛАМБОРГИНИ

Михаил Осокин

ОСВАЛЬДО ЛАМБОРГИНИ, УБИЙЦА ЛИТЕРАТУРЫ

До Ламборгини я никогда не читал книг, столь верно изображающих политико-кокаино-анально-хищный кошмар, который разъедает мозг практически любому аргентинцу, кем бы он ни был – из высшего ли света или из люмпен-пролетариев. Более, чем Хьюберт Селби-мл. или Селин, Ламборгини – южноамериканский Брейгель. Скорей бы <...> вышли переводы остальных его сочинений, где арготические языкуляции бодро бросают вызов правилам языка. Практически непризнанный при жизни, со временем этот писатель стал ориентиром всей аргентинской молодежи в поисках радикальности.

Гаспар Ноз

В родной Аргентине Освальдо Ламборгини, остававшийся в тени старшего брата, Леонидаса Ламборгини¹, примерно через 20 лет после смерти сделался классиком, успел войти в моду и, как бывает при канонизации маргиналов, спровоцировать недовольство этой модой.

Освальдо Ламборгини, при своей овенской энергичности², делал почти все для безвестности: мешали импульсивность и неуживчивость (авангардистская универсалия, тут еще помноженная на «проблематичное чувство дружбы», как со стороны могли восприниматься обычные навязки или измены), непрактичность, небрежение институтами

1 Известного поэта (1927 г. р.), см. о нем: *Belvedere Carlos. Los Lamborghini, Ni «atípicos» ni «excéntricos»*. Bs. As.: Colihue, 2000; *Porrua Ana. Variaciones Vanguardistas: La Poética de Leonidas Lamborghini*. Bs. As.: Viterbo Editora, 2001. 212 p.

2 Ламборгини родился 12 апреля 1940 года в Некочеа – портовый городок на юго-западе от Буэнос-Айреса, в 120 км от Мардель Плата. В этих трех городах он проведет «детство, отрочество и юность».

(и, как следствие, недоинституционализация), алкоголизм и гомосексуализм (точнее – бисексуальность), сомнительно совмещаемые с работой и семьей. Образ жизни Ламборгини, реконструированный по интервью, расспросам и архивам в недавно изданной, почти 900-страничной биографии³, – наркотики, запои, номадизм («это тот человек, который легко займется как-нибудь и поселится в вашем доме»), кражи и обирания друзей.

Дебют и формирование матрицы. Политизированный сын инженера, работавшего на правительство Хуана Доминго Перона, вступил в перонистскую хусиалистическую партию и, по молодости, участвовал в ней едва ли не на передовой. После публикации первой книжки в 1969 году активизм затухает, хотя Ламборгини продолжает жаться к перонистам, постоянно сплавляя литературу с политикой. Полуподпольный «Фьорд» («El Fiord»), по тем временам, непристойный, в Буэнос-Айресе продавался в единственном магазине, из-под прилавка, в книжном на улице Корриентес. Ламборгини теперь мог раздавать книжки и в кругу собутыльников называться писателем уже *de jure*, текст расходился в рукописях и фотокопиях в аргентинском самиздате, а налет запретности делал ему имя в андеграунде, обеспечивающем приток перспективных знакомств.

Риторика, которой 27-летний Ламборгини («Фьорд» датирован «октябрем 1966–мартом 1967») набрался в партии перонистов, деклариовавшей целью защиту рабочих, а спе-

3 *Strafacce Ricardo. Osvaldo Lamborghini, una biografía. Editorial Mansalva, 2008.* По признанию автора, «главная трудность [при работе над книгой] заключалась в скудности наших открытых архивов. «Национальная Библиотека [республики Аргентина]», к примеру, осталась практически бесполезной» (*Rey Pedro B. «La literatura de verdad no es cosa de este mundo». Entrevista a Ricardo Strafacce // ADN Cultura, 23 de Agosto de 2008*). Поэтому основными источниками были интервью; один из интервьюируемых вспоминал, что его Страфасе пытался перед разговором напоить и сильно расстроился, когда тот сменил виски на кофе (*Silveyra Eduardo. Osvaldo Lamborghini, una biografía Ensayo de Ricardo Strafacce // DesmenuzArte Mejor, Febrero 06, 2009*); если этот способ развязать язык применялся последовательно, понятно, откуда столько уматных подробностей.

циалитетом – связь с рабочим классом и профсоюзами, – составила антураж политической оргии. Если в манифестах декларируются принципы, от которых писатель обычно удаляется (или со временем корректирует), то поэтика «Фьорда» стала для Ламборгини матрицей, к которой он будет возвращаться постоянно⁴.

Трансгрессивная порнография «Фьорда» подстрахована аллегорией, которую тут же расшифровал приятель Ламборгини Херман Леопольдо Гарсия⁵. Получился «портрет эпохи», химера семейного романа и аргентинской политики: Безумный Родригес, всех пытающий и подчиняющий, воплощает власть (Перона или диктатора вообще). Карла Грета Терон (она же Кали Гризельда Тирембон и Кагрета⁶) – чистая синдикалистка, идеальный перонист-революционер (ее инициалы CGT, от «Confederación General del Trabajo», – «Всеобщая конфедерация труда», крупнейший профсоюз, с которым приходилось считаться правительству)⁷; ребенок, родившийся от Перона и конфедерации труда, – «жалкое создание» Атилио Танкредо Вакан имеет инициалы ATV (т.е., Аугусто Тимотео Вандор, лидер профсоюзного движения, политик, выступавший в 1965 году во время предвыборной кампании в Мендосе под лозунгами

4 См. об этом: *Oubiña David. De la literatura entendida como delirium tremens // Y todo el resto es literatura. Ensayos sobre Osvaldo Lamborghini/Juan Pablo Dabove – Natalia Brizuela (comps.) Bs. As.: IZ Ensayos, 2008. P. 71–95.*

5 Он был автором послесловия «Los nombres de la negación», подписанного «Леопольдо Фернандес» и соотносимого по объему с объемом «Фьорда». Эта статья переиздана, вместе с другими публикациями Гарсия о Ламборгини в полуностальгическом-полунарциссическом сборнике: *García Germán. Fuego amigo. Cuando escribí sobre Osvaldo Lamborghini Documentos. Buenos Aires: Grama Ediciones, 2003. 56 p., о ламборгиниане Гарсия см.: Acuña Enrique. Entre balas (Osvaldo Lamborghini con Germán García) // Grama Ediciones, 24 de junio de 2003 <<http://www.gramaediciones.com.ar>>*

6 Некоторых участников оргии Ламборгини называет разными именами и фамилиями, оставляя неизменными первые буквы, т.е. придает цену инициалам.

7 Именно эту аббревиатуру похотливый (как и основоположник марксизма) Себастьян повторяет, когда тянется к кровати, на которой сношаются нарратор с Альзирой и Родригес с нарратором.

«За перонизм без Перона» и «Чтобы спасти Перона, надо быть против Перона»⁸; Альзира Фафо (она же Амена Форбе, она же Аба Фнур, она же Айсифоро), помощница Безумного, – нарек на умеренно-левого Артуро Фрондиси, кандидата Гражданского радикального союза непримиримых, который при поддержке перонистов (тайном сговоре с Пероном) стал президентом Аргентины (с 1 мая 1958 и до государственного переворота 29 марта 1962 года). Догматик Себастьян именуется Себасом (Sebas), – анаграмма от «базис» («bases») ⁹, – поэтому он все время внизу, под политической и юридической «надстройкой», полирует лицом плитки пола, валяется на революционных заголовках, а в столовой пристегивается к кольцу в стене. Себас не допускается к оргиям и еде: его место – угол с газетами, защищающими режим террора; как идеолог, чтобы продуцировать манифесты, он должен оставаться неудовлетворенным и голодным¹⁰. (В этом, кстати, метафора ламборгиниевского письма: марксизм минус удовлетворение дает язык листовок, слагаемые же нарратива – политика плюс удовлетворение.) Финал истории развивает сюжет тотемистической трапезы из фрейдовского «Тотема и табу» (1913)¹¹: первобытная человеческая орда до запрета на инцест была организована подобно волчьей стае (ср., кстати, псевдоним Вандора – «El Lobo», волк), где сильнейший самец уничтожал соперников и единолично обладал самкой. По Дарвину в изложении Фрейда, под-

8 В год выхода «Фьорда», 30 июня, Вандор был убит членами революционной ветви перонистов.

9 Ср. также объяснения С. Аиры (*Aira César. Osvaldo Lamborghini y su obra // Lamborghini Osvaldo. Novelas y cuentos. Barcelona: Del Serbal, 1988. P. 11*).

10 В результате Себастьян выглядит как «еврейский узник из лагерей уничтожения, если такие лагеря вообще существовали»: Холокост неочевиден для Аргентины 1950–60-х, когда тут хранились деньги нацистов и действовали иммигрантские законы, по которым гестаповцу Адольфу Эйхману удалось прожить в Буэнос-Айресе лиших десять лет, пока «Моссад» его не выкрал в мае 1960.

11 Хозефина Людмер даже заглавие книги «Фьорд» расшифровывала как звуковую анаграмму от «Фрейд» (*Ludmer Josefina. El género gauchesco. Un tratado sobre la patria. Bs. As.: Sudamericana, 1988. P. 182–183*).

растающие сыновья становились сексуальными соперниками главного самца, что вызывало конкуренцию и сопротивление, т. е. Отец препятствовал наслаждению и угрожал наказанием за удовлетворение; им восхищались и его ненавидели и, наконец, «изгнанные братья соединились, убили и съели его и положили таким образом конец отцовской орде». Убийство отца – Покровителя, Хозяина, Господина – вдохновляет героев «Фьорда» на революцию: сожрав Безумного Родригеса, они идут на манифестацию.

Текст поставлялся сразу с интерпретацией – деконструкцией припрятанной вглубь сюжета об оргии политической борьбы синдикалистов внутри перонизма. Все равно пролетариат был не создан для творчества Ламборгини. Как скажет после чтения в коммунистической мастерской театра IFT «Фьорда» (воспринятого, надо думать, как страшно далекое от народа описание пролетарского разврата с участием рожавшей бабы) один из слушателей – «здоровый мужик, бывший солдат»: «...и с каким я лицом вернусь домой и буду смотреть на своих детей, наслушавшись такой пакости?»¹²

Психоанализ и покушение на убийство литературы. Начало семидесятых – время знакомства с Оскаром Абелярдо Масоттой (1930–1979), который стал для Ламборгини источником интеллектуальных впечатлений: «Психоанализ и лингвистика пришли ко мне от него, хотя это правильнее было бы описать более витиеватой и длинной фразой: надеюсь, я зацепил кое-что от его пронизательности»¹³. Семиолог, искусствовед, вышедший из только что прекращенного журнала «Контормно»¹⁴, в конце 50-х–начале 60-х стал заниматься Лаканом: выступал с лекциями по психоанализу, организовывал лаканианские конгрессы и семинары, в 1970 опубликовал

12 *Strafacce Ricardo*. Osvaldo Lamborghini, una biografía..., p. 466.

13 Цит. по: *Astutti Adriana*. Andares blancos, fábulas del menor en Osvaldo Lamborghini, J. C. Onetti, Rubén Darío, J.L. Borges, Silvina Ocampo y Manuel Puig. Rosario: Beatriz Viterbo Editor, 2001. P. 50, n. 15.

14 Он издавался с 1953 по 1959, см. о нем: *Katra William H*. Contorno: literary engagement in post-Peronist Argentina. Teaneck, NJ: Fairleigh Dickinson UP, 1988.

«Введение в чтение Жака Лакана»¹⁵. Х. Гарсия, воспринимавший успех Ламборгини как продукт симбиоза порнографа и комментатора, позже напишет: «он пытался учиться у Оскара Масотты, но надолго его не хватило, потому что у него не было постоянства для серьезной и последовательной работы»¹⁶.

Психоаналитичность Ламборгини складывалась загодя и сказала на второй его книге – «Себрегонди возвращается» («Sebregondi retrocede», 1973)¹⁷, начиная уже с фаллической обложки (указательный палец, направленный в небо, на фоне облаков, кодирующих мотив полета, преодоления гравитации, т. е. эрекцию, по Фрейду). Гомоэротика в поэме репрезентирована как детские травмы от итальянского дяди («Мы приняли его у нас, и началось...»). Дядя, приехавший из Италии и оставивший без денег семью, – одна из минимум трех прототипических составляющих образа: маркиз Себрегонди, активный гомосексуалист и кокаинист с 30-сантиметровым членом, помимо прочего, – героид Хосе «Пепе» Бьянко и Витольда Гомбровича¹⁸. В слишком правильной «психоаналитичности» текстов из «Себрегонди» можно заподозрить игру с интерпретатором, если бы Ламборгини тогда еще не был заодно с интерпретатором. Третий (и самый известный) текст оттуда – новелла о том, как трое малолетних буржуа порезали, изнасиловали и удавили куском проволоки одноклассника, продававшего газеты, – был воспринят как пародия, в первую очередь,

15 Masotta Oscar. Introducción a la lectura de Jacques Lacan. Bs. As.: Proteo, 1970.

16 Это сказано (возможно, не без мести за разрыв отношений, воспринятый Х. Гарсия как неблагодарность) в статье «La intriga de Osvaldo Lamborghini», напечатанной в журнале «El innombrable» в 1986 г., т. е., уже после смерти Ламборгини.

17 Херман Гарсия понимал «возвращение» в заглавии в лаканианском смысле как «возвращение объектов: анального, орального, фаллического, уретрального, визуального» (García Germán. Fuego amigo..., p. 33) и метонимически – «retro-cede» (vade-retro) как отступление: «письмо как гомосексуализм, противоестественность», воплощаемая маркизом.

18 Свидетельство насчет Гомбровича принадлежит Сезару Аире, душеприказчику Ламборгини, готовившему все основные посмертные издания его сочинений (см. библиографию).

на «Червяков» анархиста Элиаса Кастельнуово¹⁹, затем – на всю продукцию группы «Боздо» (Роберто Мариани и проч.). Сам Ламборгини, хотя и называл в числе объектов пародии «Жизнь пролетариев» Кастельнуово, утверждал, что главным врагом был Рауль Гонсалес Туньон (с сюжетом о затравленном полицией анархисте, который убивает свою мать, перепутав ее в темноте с полицейским), в лице которого он хотел угробить всю лево-либеральную литературу. Если финал «Фьорда» читается как переписанная тотемистическая трапеза из «Тема и табу», то в «Пролетарском ребенке» описание оргии идет вслед за образами из «Anal und Sexual» Лу Андреас Саломе, фрейдовскими вариациями на тему анальной эротики, «Символическими ранениями» Бруно Беттельгейма и т. д.

Стараниями Масотты влияние лаканианства испытал авангардный «Литераль» (Literal, 1973–1977) – совместный проект Ламборгини с Херманом Гарсия и Луисом Гусманом²⁰, где сотрудничали Гектор Либертелла, Хозефина Людмер, Оскар Стеймберг, Мария Морено (под псевдонимом Кристина Фореро), Лоренцо Квистерос, испанец Эухенио Триас, и др.²¹

19 Об этом статья, напечатанная в том же номере, что интервью с Ламборгини, публикуемое ниже: *Rubione Alfredo*, Lo paródico en «El niño proletario» // *Lecturas Críticas: revista de investigación y teorías literarias*. Bs. As., Año 1, № 1 (1980). P. 27–30.

20 В № 1, вышедшем в ноябре 1973 года в составе редколлегии числились Херман Гарсия, Луис Гусман, Освальдо Ламборгини и Лоренцо Квистерос (Lorenzo Quinteros), в № 2/3 (май 1975) Квистероса заменил Хорхе Кирога. Забавно, что в интервью 1980 года, рассказывая о «Литерале», Ламборгини не упоминает третьего инициатора журнала: с Луисом Гусманом он познакомился в середине 1969 г., после публикации «Фьорда» в кафе «El Paulista», они стали «друзьями не разлей вода»: совместные пьянки в барах, прогулки, вместе снимали квартиру, Ламборгини делился с ним всем личным – от блядок до переживаний о смерти отца. В замалчивании сказалась серьезная ссора в 1977 г., причем о разрыве сокрушался в основном последний – в своем месте сборника эссе о Ламборгини (*Gusmán Luis. Sebregondi no retrocede* // *Y todo el resto es literatura. Ensayos sobre Osvaldo Lamborghini*. Bs. As.: IZ, 2008).

21 Материалы журнала переизданы в антологии: *Literal, 1973–1977* / Héctor Libertella, compilador. Bs. As.: Santiago Arcos Editor, 2002. 152 p.

Группа «Литералья» культивировала безличность (идею поддержал Ламборгини, занимавшийся не производством текстов, а «работой реставратора картин, который пытается вернуть аргентинской литературе ее первоначальный цвет»²²), отказываясь от литературы как от бюрократии с «реакционным эстетическим наслаждением» и миссией «спасительницы угнетенных»²³. Манифесты «Литералья» направлены против реалистического письма («реализм убивает все, подчинив код референту, проповеди о превосходстве реального <...> Реализм несправедлив, поскольку язык, как и общественная реальность, не естествен») ²⁴, с которым в это время борется Ролан Барт, против «функциональности языка», «инструментальной функции слова» («слово подавлено сборочным конвейером господствующих идеологий»²⁵). В одном из анонимных своих текстов «Литераль» (авторство Ламборгини было раскрыто позже) определялся как «антисоциальный проект», что корреспондирует тезисам Р. Барта о том, что наслаждение от текстов, во-первых, асоциально, а во-вторых, не предполагает возврата к субъекту и субъективности (личности), «как это бывает на самом дне подполья или в темноте кинозала»²⁶, от-

22 Как скажет позже Г. Либертелла в интервью по поводу выхода антологии «Литералья»: *Cristoff María Sonia. Esa obstinada pasión por editar // La nacion, 27 de noviembre de 2002.*

23 Формулировки Луиса Гусмана (*Gusmán Luis. Sebreondi no retrocede...*).

24 *Literal...*, p. 24.

25 *Literal...*, p. 28.

26 *Барт Р. Удовольствие от текста [1973] // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 494.* Мысль Лакана о де Саде, – о том, что нет объекта, который «поддерживал бы постоянные отношения с удовольствием», – в 1973 будет перехвачена Бартом: для писателя такой объект существует, – это «сама языковая система, родной материнский язык». Наслаждение способно возникнуть «только за счет чего-то абсолютно нового», – деформаций самого языка, минуя готовые, отложившиеся в дискурсе формы: «Лично я готов дойти до того, чтобы наслаждаться деформациями языка, что будет встречено негодующими воплями общественного мнения, ибо общественное мнение всегда выступает против „деформации природы“» (см.: *Барт Р. Удовольствие от текста...*, с. 491–492).

сюда – принцип безличности журнала и легкость, с которой отдается на пожизненное местоимение «я» в «Пролетарском ребенке» («Кто будет в результате скомпрометирован? В строго грамматическом смысле – „я“. Местоимение. А что такое „я“?»). Эксперименты Ламборгини с автоматическим письмом, намерение писать, не создавая при этом литературу, – продуцировать «тексты наслаждения (помимо удовольствия)», призванные покончить с литературой, – позже будут раздражать²⁷, но в 1970-е годы (расцвет постструктурализма) это выглядело как радикальный разрыв с существовавшими до сих пор практиками чтения и письма.

В феврале 1973, когда «Себрегонди» только готовился к печати, журнал «Панорама» публикует интервью с Ламборгини. Здесь он, в ответ на вопрос об «инновациях», опишет Хорхе ди Паоло свои переживания «комплекса младшего брата», несомненно уже зная о нем из психологии, явно намекая на гиперкомпенсацию и переигрывая: «Я родился в семье, близкой к литературе, где литература каким-то образом уже была создана. Мой старший брат, Леонидас, писал и пишет. Нужно было быть очень глупым в то время, чтобы верить в комедию поколений, в приход новых ценностей: эта комедия была для меня личной, слишком очевидной драмой – слишком болезненной <...> Нет: надо было молчать и учиться»²⁸.

«Литераль» публикует восторженный отзыв Оскара Массотты о «необыкновенном таланте» Ламборгини и о «Фьорде» (хотя уже был напечатан «Себрегонди») как об «одном из важнейших сочинений в современной литературе». Друзья получают признание Мануэля Пуига: Ламборгини – за «Фьорд», Гусман – за книгу «Бутылочка» (*El frasquito*, 1973). Херман

27 Например, такого ее поборника, как Роберто Боланьо: «Проблема в том, что Ламборгини неправильно выбрал себе профессию. Ему бы лучше было работать либо наемником, либо хастлером, либо могильщиком, словом, заняться делом попроще, чем пытаться уничтожить литературу» (*Bolaño Roberto. El secreto del mal. Barcelona: Anagrama, 2007. P. 100*).

28 Osvaldo Lamborghini: Un museo literal/Entrevista de Jorge di Paola // *Panorama*, 22 de febrero de 1973. Цит. по: *Astutti Adriana. Andares clancos, fábulas del menor en Osvaldo Lamborghini...*, p. 42.

Гарсия входит в фрейдистскую школу Буэнос-Айреса, открытую Масоттой в 1974 году и продолжает «интерпретировать» Ламборгини. Во втором номере «Литералья» публикуется статья Гарсия, где подробно, с упором на «Пролетарского ребенка», разбирается «Себрегонди»²⁹, в свете тезиса, выдвинутого в его книге о Маседонио Фернандесе³⁰, – о стиле как процедуре восстановления-возвращения «потерянного объекта» (лакановского «другого», на которое нацелены язык и сексуальность).

Уничтожение литературы сопровождалось убийством памяти на даты и числа алкоголем и наркотой. Сумасшедшим гомосексуалистом, алкоголиком, марксистом и наркоманом можно быть в любой стране, в любое время и при любом режиме (даже во время борьбы за моральные устои в духе Франко): «24 марта 1976, я, будучи сумасшедшим, гомосексуалистом, марксистом, наркоманом и алкоголиком, сошел с ума и стал гомосексуалистом, марксистом, наркоманом и алкоголиком»³¹. 24 марта 1976 года – военный переворот в Аргентине: правительство Марии Эстелы Мартинес де Перон, вдовы генерала Перона, было свергнуто военной хунтой. За семь лет репрессий (1976–1983) – «национальной реорганизации», проводимой Хорхе Рафаэлем Виделой, – погибли и «пропали без вести» около тридцати тысяч человек. Что бы ни происходило в стране, автор остается сумасшедшим, гомо-

29 *García German*. Osvaldo Lamborghini, *Sebregondi retrocede*. La palabra fuera delugar // *Literal*, Año 2, № 2/3, 1975; *García Germán*. Fuego amigo. Cuando escribí sobre Osvaldo Lamborghini – documentos. Bs. As., 2003.

30 *García German*. Macedonio Fernandez, la escritura en objeto. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Argentina Editores, 1975. 180 p. Сейчас она переиздана (*García Germán*. Macedonio Fernández. La escritura en objeto. Adriana Hidalgo, 2000), а сканы с переиздания доступны в сети.

31 *Lamborghini Osvaldo*. Novelas y cuentos. Barcelona: Del Serbal, 1988. P. 100. Какие-то интерпретации этого пассажа даются в статье (я ее не нашел): *Astutti Adriana*. Mientras yo agoniza: Osvaldo Lamborghini // *Rosario, Boletín/6 del Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria*, octubre de 1998. P. 75–90.

сексуалистом, etc., и это детерминанты поэтики, а национальный контекст, гаучистская литература³² – антураж.

Карнография Ламборгини, в самом деле, очень аргентинская, подпитываемая из традиции, открытой в 1840 году «Бойней» Эстебана Эчеверриа (легкость, с которой забой быка превращается в забой унитария, впитывается в текст: Эчеверриа сам разжевывает символику в финале, у Ламборгини находятся подручные) и продолженной Роберто Арльтом (последний воспринимался Ламборгини еще и призматически, как персонаж Оскара Масотты³³): «Жестокость

32 У него работает тезис Х. Людмер о синтезе литературы и политики («Жанр гаучо <...> создал литературный политический язык, политизировал народную культуру» – *Ludmer Josefina. El género gauchesco: un tratado sobre la patria...*, p. 89), высказанный ею в классической работе, с которой началось серьезное осмысление этой литературы (см.: *Bush Andrew. Feet Notes: The Fancy Footwork of Josefina Ludmer on the Gauchesca // Romance Studies, Vol. 23, № 1 (March 2005). P. 55–69*). Людмер поставила в один ряд с «Фьордом» и «Пролетарским ребенком» поэму Иларио Аскасуби «La refalosa» (1843) и «Бойню» Эчеверриа: каждый из этих текстов, по ее мнению, выражает «приход (или угрозу прихода) масс к власти». Пафосная (и затасканная) метафора фигуративного насилия у Эчеверриа и Арльта, предвосхитившего историю Аргентины, стабильно перекидывается на Ламборгини. Например, в «Пролетарском ребенке» все видят продукт эпохи – «прелюдию к приходу [точнее, к возвращению. – М. О.] Хуана Доминго Перона» (*Rosano Susana. El peronismo a la luz de la «Desviación latinoamericana»...*, p. 9; практически то же самое она повторяет в последней своей статье (*Rosano Susana. El arte como crueldad // Y todo el resto es literatura: ensayos sobre Osvaldo Lamborghini...*, p. 201–214), где «Фьорд» связывается с постулатами Арто (искусства как жестокости – «единственного, что реально воздействует на человека»), а «Себрегонди» называется предвосхищением садистского насилия и ужаса аргентинской диктатуры. «Наслаждение, которое вызывает в буржуазных истязаниях пролетарского ребенка, заставляет нас вспомнить о наслаждении палачей диктатуры» (*Ronsino Hernán. La casa y los arrabales de la Nación Argentina...*, *ibid.*), – пишет комментатор рассказа 1973 года и начинает рассуждать о диктатуре Виделы 1976 года. О связи контекста (примет эпохи) с литературой ср.: *Gusmán Luis. Sebrebondi no retrocede...*, p. 49, sqq. и тому подобное дальше.

33 *Masotta Oscar. Sexo y traición en Roberto Arlt. Buenos Aires: Jorge Álvarez, 1965.*

литературы Ламборгини зрелищна в строгом смысле слова», это «извращенный театр, где сталкиваются зрители, палачи и жертвы <...> герои Ламборгини вытворяют над своими телами и телами других нечто несусветное. Но писателя интересует не то, почему они это делают, а, скорее, нравится им это или не нравится»³⁴.

Изживание психоанализа. Номер 4/5 «Литералья», вышедший в ноябре 1977, стал последним; обреченность выражали выходные данные: «в редколлегии появляется Руководитель (Херман Л. Гарсия), фигура немислимая на фоне впечатления безличности, которое производили предыдущие номера; из номера пропадает „Documento literal“, наливавшийся в двух предыдущих; исчезает Освальдо Ламборгини, возможно, самый необычный голос из первоначального „хора“ журнала»³⁵.

Завершилось десятилетие институционализации. Уход Ламборгини означал конец проекта. Невнятные, задним числом отысканные упоминания о каких-то собственных соображениях Освальдо, заставивших «отказаться от журнала и некоторым образом от дружбы», со стороны выглядят как эвфемизмы стимуляторного параноидного психоза, который можно предполагать у Ламборгини.

Луис Гусман представляет Ламборгини сплетником и параноиком (отчасти из спора с портретом, созданным его душеприказчиком, отчасти ради сублимации обиды на покойника и – подсознательно – на его посмертную популярность): «Для Ламборгини, несмотря на его педантизм и самодовольство (*infatuación*), мир был болотом. И, чтобы не дрожать от страха перед окружающим его миром, он хватался за свой „Фьорд“... Освальдо выходил на улицу с „Фьордом“, как другие выходят путешествовать, прихватив оружие, бумажник, записную книжку или документы». По словам Гусмана, причинами ссоры стало соперничество и «интеллектуальная ненависть»:

34 *Salinas Marcelo*. La violence sexuelle chez Genet et Lamborghini: une esthétique de l'insoutenable // Le Centre de recherches en Littérature et Poétique comparées («Espace carcéral, espace théâtral: la percée du désir». Séminaire du 20 mai 2005). P. 9.

35 *Giordano Alberto*. Literal y El frasquito: las contradicciones de la vanguardia // Razones de la crítica, Bs. As., Colihue, 1999. P. 63–64.

Освальдо не мог вынести признания, которое снискала гусмановская «Бутылочка», и обвинил его в том, что тот искал коммерческого успеха. Сам Ламборгини совсем не брезговал рыночным признанием, но «его сочинения обеспечивали ему место снаружи, а он хотел быть внутри», – вспоминает Гусман и сравнивает его в этом смысле с Витольдом Гомбровичем, который говорил: «Я не написал ни единого слова, которое не преследовало бы эгоистичной конечной цели, но работа всегда предавала и отделялась от меня»³⁶.

Разрыв с Херманом Гарсия более симптоматичен. В журнале «Innombrable II» в 1986 г. Гарсия сообщил о некоем циничном откровении, которое привело к ссоре. Э. Сильвейра предполагает, что пафос его мог сводиться к фразе «Ламборгини создал я», брошенной им как-то за столом (в присутствии поэта Альфредо Карлино и Хорхе Асиса), в баре Ла-Пас в 1980-м – когда психоаналитику надоело, как Сильвейра пытается оспаривать его трактовки³⁷. Гарсия стал считать себя едва ли не соавтором, укомплектовывающим смыслом порноидеи и обеспечившим успех «совместному проекту». Ламборгини надо было преодолеть зависимость и доказать творческую потентность вне психоаналитического тандема, и он отказался от довесков к своим текстам, предпочтя случайные публикации в маргинальных журналах.

В 1980 году в журнале «Lecturas Críticas» публикуется статья о пародийной нацеленности «Пролетарского ребенка» на реализм «Боздо» и интервью с автором, где упор делался на пародию как феномен. В своих ответах Ламборгини стал отпираться от «фрейдистского» влияния на «Себрегонди» еще до того, как интервьюер заикнулся о Фрейде («В то время

36 Lo humano en busca de lo humano: Witold Gombrowicz conversa con Dominique de Roux. México: Siglo XXI, 1970. P. 50.

Кажется, Ламборгини с рынком считался ровно настолько, чтоб не писать ради выгоды, и подходил к литературе с другой, чем Гусман, стороны: просто желание заработать не перевешивало в нем нежелания заниматься тем, что неинтересно. В этой части мемуаров сводятся старые счеты: это отзвук спора об «успешности», начатого в 1977.

37 Silveyra Eduardo. Osvaldo Lamborghini, una biografía Ensayo de Ricardo Strafacce..., ibid.

у меня не было ничего общего с Фрейдом...»), тасовал хронологию (сказав о «Пролетарском ребенке» 1973 года: «не забывая, это было в 1969-м...»), пиетет к Масотте, уже покойному, списал на разницу в возрасте – десять лет («Я был юнцом, Масотта был для меня богом»), тут же отгородился от Лакана и Барта и – создал впечатление, будто он их всех предвосхитил (или, по крайней мере, дошел до всего сам):

« – Эта работа [„Пролетарский ребенок“] предшествовала твоему исследованию психоанализа и Лакана?

– Именно так»³⁸.

Ламборгини теперь явно раздражает, что друзья-«интерпретаторы» (а с их подачи комментаторы и интервьюеры) сделали его как писателя обязанным психоанализу. Не исключено, что эта неврастения развивалась годами. Михаил Золотоносов по поводу «Пролетарского ребенка» заметил: «Рассказ этот точно о ненависти <...> Раз Ламборгини пишет о ненависти, то он как невротик (а биография об этом свидетельствует) может писать только об одной ненависти – к самому себе, которая и есть причина невроза. Другие ненависти ему неинтересны. Осознав это с помощью Фрейда, Ламборгини заодно и Фрейда возненавидел, перенес на него как на психоаналитика свою ненависть»³⁹. Этот «перенос» выплеснулся

38 El lugar del artista. Entrevista a Osvaldo Lamborghini // Lecturas críticas: revista de investigación y teorías literarias, Buenos Aires, Año I, Nº 1, 1980. P. 48, sqq.

39 М. Н. Золотоносов, который оценил «Пролетарского ребенка» как самоочевидную пародию на фрейдизм и фрейдистские интерпретации литературы, считает, что этот симптом (ненависть пациента к психоаналитику) появился у Ламборгини уже в 1970-е годы, и то, что я в комментарии «принял за чистую монету, не заметив авторской игры», по мнению М. Н., – «нарочито подсовывается интерпретатору автором»: пародия была для Ламборгини формой преодоления зависимости от психоанализа. «Аналогичная пародия – „Пнин“ (1955) Набокова, где интерпретатору нарочито подсунуты падения с лестницы, удаление зубов, Мира Белочкина (мех) и прочее <...> Возможно, Ламборгини усвоил Фрейда слишком поздно, одновременно с пародиями на него, с ревизиями его учения и с критикой психоаналитического литературоведения, всюду отыскивающего фаллическую и вагинальную символику, – а когда все сразу, то из вишнегетта и выходит пародия».

на поверхность в конце 70-х и привел к разрыву с командой «Литералья»: теперь Ламборгини пытается проверить свои тексты на выживаемость без созданных одновременно с ними кон-(мета)текстов.

Поздний Ламборгини. Кризис среднего возраста он переживал вне Буэнос-Айреса – в метаниях по провинциям Коронель Принглс и Мар дель Плате. В 1980 вышла его третья и последняя прижизненная книга «Поэмы» – небольшая часть стихотворных текстов (большая будет издана после смерти). Ценителей было достаточно, тексты расходились в рукописях (часть их постепенно всплывет, издательская история Ламборгини только начинается), а он продолжает культивировать непризнанность, пренебрегая карьерой в институтах. В этом году, когда с ним познакомился Эдуардо Ф. Сильвейра, он поселился у Серхио Рондана, книготорговца и специалиста по Джеймсу Джойсу. Рондан пытался пристроить Ламборгини читать курс по «Улису», но затея окончилась ничем: «Освальдо постоянно деквалифицировал возможную публику». Говорить с ним о литературе было невозможно: «Освальдо больше занимали кодеин и алкоголь, чем разговоры о его собственной поэтике <...> Освальдо был хорошим собутыльником»⁴⁰.

Достаточно усидчивый к работе, минувя фантазии о планах, он отметал попытки куда-нибудь его инкорпорировать, ухитряясь оставаться в бездонном андеграунде: «признание» институционализировало и требовало дисциплины, а недисциплинированность позволяла кидаться манифестами о недосягаемом для институтов знании: «...единственное, что нужно этой профессуре, так это порассуждать о самих себе»⁴¹. Не исключена подсознательная ненависть к «ученым», персонификацией которых был Гарсия, сделавший академическую карьеру.

40 Silveyra Eduardo F. Osvaldo Lamborghini o la perversión vacía // Asterión XXI. Revista cultural. Año 1, Nº 7 (Julio/Diciembre de 2003) <<http://www.asterionxxi.com.ar/numero7>> Эти мемуары Э. Сильвейро написаны через два года после трехчасового интервью Александре Валенте и Рикарду Страфасе для готовившейся около десяти лет мемуарной биографии Ламборгини.

41 Strafacce Ricardo. Osvaldo Lamborghini, una biografía..., p. 447.

Вскоре он уехал в Барселону, но в 1982, окончательно подорвав здоровье, вернулся поправляться в Мар дель Плату, где сочинил «Дочерей Гегеля» («Las hijas de Hegel»), не забываясь несколько об их публикации⁴². Ламборгини меняется. Теперь он может в пьяных соплях прикинуться перед журналистом «пролетарским ребенком» или в «Дочерях Гегеля» острить над фрейдистскими оговорками Хромонога. Меняется поэзия: если раньше он боролся с рифмой и линейным выражением замысла («Себрегонди» в пер. В. Петрова: «...в трещине, медленно, с хрустом, ползущей по аргю и языку, / в этой рубленой / прозе – / история маркиза»), то в последних стихотворных текстах, написанных в Барселоне, возвращается к рифме и к южным тонам, «ностальгии по означающему», «звукам гаучо»⁴³ – «услышанным голосам, ранее никогда не зафиксированным письменно»⁴⁴.

Жить в Аргентине после переворота он больше не мог, и в конце 1982 года вернулся в Барселону. Последние три года жизни стали периодом напряженной работы. Запершись в квартире со своей второй и последней женой, Ханной Мюкк, судя по биографии Р. Страфассе, «не делал ничего, только читал и писал; даже не выходил на улицу», – сочинял, не вставая с кровати, «создавал искусство, не выходя из дома»⁴⁵. Пол-

42 «...Ни даже о том, чтобы отпечатать [текст] на машинке», – досадливо добавляет Аира в предисловии к сборнику сочинений Ламборгини, где «Дочери Гегеля» впервые были опубликованы (Novelas y cuentos. Prólogo de César Aira. Barcelona: Del Serbal, 1988).

43 См. об этом: *Kamenszain Tamara*. Osvaldo Lamborghini o la muerte del poema // Y todo el resto es literature...

44 *Ludmer Josefina*. El género gauchesco: un tratado sobre la patria..., p. 155 (здесь это относится к языку «Фьорда»).

45 Из стих. «Кто не тупеет, ревет...» («Quien no se aburre, rebuzna...»): «Me dan miedo los leones / de este barroco atragantado y sin lodo / limpito, incapaz de reírse / Demasiado arte de todos modos: / Habrá que irse / a otra parte» (цит. по статье: *Carballo Pablo López*. Osvaldo Lamborghini y los ataques preventivos de la URSS // Afterpost, Abril 20, 2009 <afterpost.wordpress.com>) – «Я боюсь львов [львов у памятника Колумбу в Барселоне? – М. О.] / Этого захлебывающегося барокко, без грязи / чистенького, неспособного смеяться. / Чрезмерное искусство, / во всяком случае: / Придется нам уйти /

ная изоляция и работа, отсюда – множество заметок и разрозненных рассказов (в т.ч., о малыше Баруло, с раскрытием темы педоинцеста, промодулированной лакановским сюжетом о «расставании ребенка с матерью»), неоконченный цикл из трех частей «Тадеи» (Tadeys) и восемь томов «Пролетарского камерного театра» (Teatro proletario de cámara; последний тоже неокончен).

«Тадеи» (или «Вомир», как роман, видимо, должен называться) остались в рукописи в виде трех глав без нумерации и без указаний, в какой последовательности их нужно читать⁴⁶. Время действия: от 1124–28 до 1738 года; место действия – Комарка (La Comarca, переразложенное Las Omar), крупное диктаторское государство в средневековом Китае. Тадеи – животные, очень похожие на людей, низкорослые монстры с уродливыми мордами. Они живут стаями, без всяких законов и дисциплины, размножаются стихийно и быстро, поскольку чрезвычайно похотливы, вдобавок мужские особи постоянно содомизируют друг друга (при этом правда о тадеях считается ересью: Такси Вомир за свой «Magnum Opus» в 1738 году осуждается церковью и сжигается на костре). Люди едят таде-

в другое место». Между прочим, историки литературы квалифицируют тексты Ламборгини как аргентинское необарокко (сменившее исчерпавшийся «магический реализм») с неологизмами, философским арго, ломкой литературных канонов, проблематикой «власть-желание» (см., например: *Salinas Marcelo. La violence sexuelle chez Genet et Lamborghini...*, p. 8, sqq., ср. о превращении «neobarroco» в «neobarroso»: *Genovese Alicia. Mapa de la poesía argentina en los 80: una zona extranjera // Genovese Alicia. La doble voz: poetas argentinas contemporáneas. Bs. As.: Biblos, 1998. P. 44–46*); необарочными наследниками его считаются Артуро Каррера, Нестор Перлонгер, кубинцы Хосе Лесама Лима и Северо Сардуи (о поэзии Ламборгини, ведущей от Оливерио Хирондо к необарокко 80-х см.: *Muschiatti Delfina. Ni siquiera la llanura llana // Y todo el resto es literatura. Ensayos sobre Osvaldo Lamborghini...*, где ключами к ней объявляются «повторение, отрицание и избыточность»).

46 С. Аира скомпилировал куски и опубликовал «в той последовательности, в какой они были в рукописи» (Tadeys; compilado por César Aira. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1994. P. 6). Уже есть попытки перекомпоновать главы и оспорить данное публикатором заглавие; несомненно, это самое начало текстологической истории.

ев, экономика Комарки держится на экспорте их мяса (примечательно, что тадеями называются также местные деньги), поэтому за них идут войны политических группировок, дерущихся за власть. Правит Комаркой семейный клан, династия Вомир, которая монополизировала сбыт мяса тадеев. Одновременно идет борьба за статус тадеев: экстремисты утверждают, что тадеи – тоже люди, организуют манифестации и распространяют памфлеты типа «Чтобы свергнуть буржуазный порядок в Комарке, надо объединиться с нашими меньшими братьями, тадеями». В племени безволосых обезьян-содомитов, которое непрерывно воспроизводится и служит едой для господствующего класса, легко распознается пролетариат (Ламборгини выдумывает для них особый язык, «основные риторические формы которого – весре и гипербатон»⁴⁷), в Комарке с беспрерывными арестами, пытками и убийствами граждан – Аргентина (американское определение Аргентины из «Дочерей Гегеля» как страны агрессивных садомазохистов, любящих ставить эксперименты на себе, проиллюстрировано концлагерем Комарки, в котором садист-психиатр д-р Ки проводит опыты по феминизации преступников, превращая мужчин в женщин). Набор тем Ламборгини практически не изменился, но проблематика заметно усложнилась: «Тадеев» можно читать, например, – как это делает Г. Монтальдо, – в контексте теории популизма Эрнесто Лаклау, понятия множества из философии Антонио Негри и Майкла Хардта, понятия массы (и власти) Элиаса Канетти⁴⁸.

После смерти Ламборгини, последовавшей 18 ноября 1985 года, эти тексты, предусмотрительно отксеренные

47 См. об этом: Rosa Nicolás. Osvaldo Lamborghini y Nestor Perlongher. Política y literatura. Grandeza y decadencia del imperio // Usos de la literatura. Grupo d'Estudis Iberoamericans y Tirant lo Blanch, Universitat de València. Valencia, 1999. P. 117–130. Весре (vesre, от revès – изнанка), произнесение слова с перестановкой слогов, одна из особенностей лумфардо – языка, на котором говорили окраины и «низы» района Рио де ла Плата.

48 Montaldo Graciela. La ficción de las masas // Y todo el resto es literatura. Ensayos sobre Osvaldo Lamborghini / Juan Pablo Dabove – Natalia Brizuela (comps.) IZ Ensayos, 2008. Остальную, обширную уже литературу о «Тадеях» см. в Библиографии.

Ханной Мюкк, были раскопаны в оставшихся от него бумагах. Эпические «Тадеи» поразили даже близких друзей: раньше, работая в книжном и замечая уважение, с каким покупатели кидаются к толстыми томам, Ламборгини говорил, «указывая на какую-нибудь крохотную брошюрку: „моим всегда будет вот это“»⁴⁹; никто не ждал от него «саги à la Толкиен»⁵⁰. «Пролетарский камерный театр» – издатель. Слово «театр» в заглавии, помимо прочего, указывает на синтез: рукописный текст перемежается с машинописным, декорируется рисунками – карандашами, красками, фломастерами, шариковой ручкой, темперами – и коллажами, нарезками фотографий из порножурналов, приклеенных к листам. Не считая фетишистского содержания, замешанного на сперме и дерьме⁵¹, он не приспособлен для типографского употребления иначе как факсимиле, ввиду неформатируемости текста. Ламборгини в буквальном смысле – *творил*, ни секунды не думая, как его издавать, и обеспечил ему маргинальность⁵².

После начала издательской истории Ламборгини в 1988 году, когда усилиями друзей вышла книга, объединившая ранее опубликованные и еще не публиковавшиеся тексты, слышны

49 *Aira C. Prólogo // Teatro Proletario de Cámara. Editor: Anxo Rabuñal. Santiago de Compostela: AR Publicacións, 2008. P. 7.*

50 Так сострил редактор Луис Читаррони, см.: *Dilon Ariel. Narrar, la última voluntad del transgresor Osvaldo Lamborghini // Clarín.com, 29.12.2005.* К слову о друзьях, С. Аира в предисловии удивлялся не столько эпичности, сколько производительности позднего Ламборгини: «триста страниц густой и сложной фантастики» написаны всего за три месяца.

51 В обильной скатологии Ламборгини, кстати, распознаются побочные эффекты от алкалоида опия. Будущим исследователям будет небезынтересно проследить, как менялись физиологические опавления персонажей в зависимости от наркотиков, принимаемых автором.

52 «Пролетарский камерный театр» вышел недавно факсимильно, издательским тиражом 300 нумерованных экземпляров (продающихся по 550 \$), и никогда не будет ни переведен, ни даже переиздан; максимум – будет отсканирован и выложен в сети.

в основном рассуждения о его месте в каноне – куда бы при-
ткнуть «девиантного стилиста» (Р. Страфасе, например, про-
чит его на должность нового аргентинского классика, рядом
с брезговавшим политикой Борхесом). С адиабатической ско-
ростью меняются реноме: безвольный аристократ с «благо-
родными манерами» и «суровой учтивостью» у Аиры, «циник»,
неспособный к серьезным занятиям у Гарсия, истеричный па-
раноик и сноб у Гусмана или просто – «гондон и пидар» у ново-
го поколения «ревизионистов»⁵³.

Разбираться в поэтике пытаются единицы, это сложнее.
Литература гаучо, Камбасерес, Эчеверриа, Арльт (предшест-
венники в плане карнографии), «Боздо» (как объект пародии),
Хосе Эрнандес («Мартин Фьерро»), Оливерิโอ Хирондо, Ора-
сио Кирого, Маседонио Фернандес, Лусия Мансилья («Набег»),
Антонио Поркья, Эстанислао дель Кампо («Фауст»), Родольфо
Уолш⁵⁴, Оскар Масотта; Фома Аквинский, Шекспир, Кеведо, де
Сад, Гегель, Кьеркегор, Толстой, Достоевский, Аполлинер, Рем-
бо и Кафка⁵⁵, Фрейд, Адорно, Лакан, Негри, Джойс, Беккет⁵⁶,

53 *Diego Vecino*. Y todo el resto bla // La Contrarreforma, 19 Agosto 2008 (автор статьи – 1984 г. р.)

54 Сближение «Фьорда» с «Операцией „Бойня“» («Operación Masacre»), – как текстов, предвосхищающих насилие диктатуры, – про-
изводится в работе Фермина Родригеса: *Rodríguez Fermín*. Escribir
afuera: literatura y política en Walsh y Lamborghini (Para una lectura de
Tadeys) // Y todo el resto es literatura: ensayos sobre Osvaldo Lamborghi-
ni... Если «антиреалист» Р. Уолш, член лево-перонистской организации
«Монтонероса», идеей «антиреалистического письма» провозглаша-
ет невозможность литературы из-за политических и революционных
потрясений и демонстрирует ее неспособность замечать насилие
со стороны государства, то у Ламборгини насилие (над телом) стано-
вится основоположной метафорой репрессивной власти государст-
ва; одержимость этой поэтикой очевидна от «Фьорда» до «Тадеев».

55 Артур Рембо и Франц Кафка стали для Ламборгини не только
«источниками влияния», но и «поведенческими моделями». По Р. Стра-
фасе, кстати, выходит, что примеры для подражания у Ламборгини
по преимуществу не аргентинские, за исключением, пожалуй, брата
Леонидаса (запоздалый случай гиперкомпенсации за счет «комплекс-
са младшего брата»).

56 Рейнальдо Ладдага попытался универсализовать Ламбор-
гини, увязав его нарративные стратегии с «самыми амбициозными

Витольд Гомбрович, Жене, Батай, Арто и Селин (вкус к этим двум воспринят от брата), битники, структуралисты – десятая часть списка источников влияния, с которым придется иметь дело комментаторам Ламборгини.

Когда режиссеру «Необратимости», аргентинскому парижанину, довелось рекомендовать соотечественника французам⁵⁷, он сделал это эксгибиционистски оглядываясь на собственную поэтику (см. эпиграф⁵⁸). Удаление от южно-американского континента (или, скорее, приближение к людям, которым с Ламборгини нечего делить) усиливало эвристическую восторженность⁵⁹.

программами литературы модерна», в частности, указав некоторые точки соприкосновения «Себрегонди» с романами Беккета «Моллой» и «Мэлон умирает» (распадение нарратива, фрагментарность, неопределенность голоса нарратора, и т.п.) и менее очевидную параллель с «Фердидурке» Гомбровича: *Laddaga Reinaldo. La detención de la escritura: Samuel Beckett en Osvaldo Lamborghini* // Op. cit.

57 Самое репрезентативное издание Ламборгини на французском – сборник в переводе Изабель Гюньон: *Lamborghini O. Le fjord; suivi de Sebregon di recule*. Trad. de l'espagnol (Argentine) par Isabelle Gugnion. Monaco: Désordres, 2005. 114 p. Открытие состоялось немного раньше: театральный переводчик Франсуаза Тана перевела «Пролетарского ребенка» (*Lamborghini Osvaldo. L'Enfant prolétaire* // *Revue Frictions, théâtres-écritures*, 8, printemps-été 2004), который тут же был поставлен Маттиасом Лангхоффом на сцене парижского театра «Amandiers» (*Solange Bazely. Françoise Thanas, partageuse de mots* // *MusicArgentina.com. Music, Art and Culture of Argentina*, mai 11, 2004).

58 Пассажем об аргентинской молодежи, ищущей радикальности, Г. Ноз намекнул, конечно, на себя. Влияние Ламборгини (и вообще национального «культурного контекста») на анальную фигуративность Ноз заслуживает отдельного разговора (к примеру, в сцене избияния Мясником беременной подруги в фильме «Один против всех» [Seul contre tous, 1998] явно отозвалась сцена с избиянием беременной Карлы Греты Терон из «Фьорда»; по итогам разговора степень оригинальности «киноязыка Ноз», подозреваю, должна понизиться).

59 Хильда Габрера, которая перевела «Фьорд» и «Пролетарского ребенка» для специального номера «Les Lettres françaises» (приложение к «L'Humanité»), назвала Ламборгини своим «последним крупным открытием» (*Cabrera Hilda. «Yo aprendí de los rioplatenses». La traductora e investigadora francesa difunde en su país el teatro ar-*

В Аргентине (и не только в ней) принято гордиться всем своим, поэтому там так заботятся о формировании канона: чтобы пустующий литературный пейзаж пампы выгодно выглядел со стороны Европы. Роль дизайнера попытался сыграть чилийский писатель Роберто Боланьо, как и Ламборгини, изгнанный в Барселону, но не разочаровавшийся в литературе: «Если Арльт <...> – это подвал литературного дома Аргентины, а [Освальдо] Сориано – ваза в гостиной, то Ламборгини – это коробочка, которая стоит на шкафу в подвале. Картонная такая коробочка, невзрачная и пыльная. Но откроешь коробочку, а внутри нее – преисподняя»⁶⁰.

gentino // *Página/12*, 30 Abr 2005). Ламборгини «стал одной из моих величайших находок», – говорил американский поэт Родриго Тоскано, комментируя список своих любимых неанглоамериканских авторов (куда, помимо Ламборгини, вошли мексиканец Эриберто Йепес, чилийка Сесилия Видуэра, Маяковский и Брехт): «Сборники его [Ламборгини] стихов вышли только несколько лет назад, очень немногое было издано при жизни. Не могу рассуждать здесь обо всех достоинствах этого автора, но скажу, что когда его сочинения переведут на английский, это определенно станет заметнейшим явлением» (см.: *Rodrigo Toscano // Here Comes Everybody, an Anthology*. Ed. by Lance Phillips and Gatza Geoffrey. NY: BlazeVOX, 2007. P. 525–531).

60 *Bolaño Roberto. El secreto del mal...*, p. 99. Впрочем, дизайнерские разработки писателя, который «боится запаха крови и кишок» и потому «не может» (точнее, «не мог», он умер в 2003 году) читать Ламборгини, можно уже не учитывать.

Освальдо Ламборгини

ФЬОРД

Так почему же, если это создание, в конце концов, оказалось таким жалким – в смысле размера, конечно, – она столько вопила, рвала на себе волосы пригоршнями и яростно билась задницей о полосатый матрас? Схватка – и затем расслабление; она раздвигала ноги, и черточка ее нижних губ раздвигалась в круг, позволяя видеть, как показывается яйцо, довольно-таки остроконечное, то есть голова младенца. После каждого толчка голова, казалось, вот-вот выйдет наружу; она угрожала выйти, но не получалось; голова возвращалась назад с резкостью ружейной отдачи, что для роженицы означало новый приступ боли, во сто крат сильнее. Наконец, Безумный Родригес, голый, с хлыстом на поясице, наводящим ужас, – поясяю: отец того ленивого отродья, – погрузил локти в живот женщины и стал давить сильно, и еще сильнее. Однако Карла Грета Терон все не рожала. Было ясно, что всякий раз, ловко возвращаясь назад, отродье ранило где-то в глубине нежные материнские внутренности, нежную требуху, которая обволакивала его и никак не могла выплюнуть наружу.

Новая рана в брюхе Карлы Греты Терон – и она испустила жуткий крик, от которого затряслись скрепы кровати. Безумный Родригес воспользовался случаем, чтобы размозжить ей рот своим железным кулаком. Полопались губы, посыпались зубы и, усеянные кровью, лежали во множестве вокруг изголовья кровати. У охваченного гневом Безумного напряглись бицепсы, а ядра, и без того громадные, увеличились еще больше. Шейные вены также вздулись, все в узлах и казались корнями вековых деревьев; густой пот стекал по спине; ногти на ногах, упирающихся с силой в плитки пола, налились кровью. Все его великолепное тело блестело, взмокнув. Фальшивым неоновым блеском. Безумный уже не раз и не два щелкал хлыстом, но крики Карлы Греты Терон не прекраща-

лись, даже хуже: становились вызывающими, заключая в себе смутное подстрекательство. Вязкая кровь сочилась у нее из рта и из щели между ног; кроме того, она все время безостановочно испражнялась. Честно говоря, испражнения ее были страшно водянистыми и запачкали коричневым даже волосы. Безумный, в силу того, что именно он оплодотворил женщину, довел до конца гуманитарную задачу разрушения кровати: орудуя лопатой, как заправский кочегар, он на хрен отправлял ее скрепы в огонь.

Новая схватка. Безумный исхлестал все ее тело (дай-ей-дай-ей-дай-ей). Он нанес также несколько ударов по ее глазам, как это делают с норовистыми лошадьми. Довольно-таки остроконечное яйцо высунулось чуть больше и уже было на грани полного и окончательного явления наружу. Но нет. Оно вновь отступило, ловкое, ранящее, антисанитарное. В отчаянии Безумный бросился на Карлу Грету Терон. Мы видели, как он бесстыдно мял свой член, чтобы совершить акт раньше остальных. Член медленно стал подниматься, его нижняя часть делалась напряженной, твердой, плотной, пока не приняла в точности форму бычьего рога. И, снося все на своем пути, он ворвался в окровавленную вагину. Карла Грета Терон заорала опять – возможно, пытаясь отогнать нас прочь. Но у нее не было выхода, не было ни малейшего намека на выход. Безумный уже покрыл ее в своей манере, скача сверху, пришпоривая ее и не упуская шанса ударить головой женщины о стальную спинку.

«Давай, я тоже хочу!» – промывчала рядом со мной Альсира Фафб. Закутавшись до самой головы в простыни, я отступил, я пополз к ножкам нашей кровати. Оказавшись там, я глубоко вдохнул, впивая запах наших тел, – мы никогда их не мыли. «Природные силы разбушевались», – сказал я и погрузил голову между ног Альсиры Фафо, прижавшись к ее потрепанному лону. Себастьян, мой приятель и поделник, скажем так, родной наш Себас, появился на сцене: «Да здравствует План Борьбы!» – прокудахтал он из своего угла. Я начал возражать, одновременно возбуждая его, но не успел: Безумный Родригес, закончивший с Карлой Гретой Терон, уже наносил мне глубочайшее сексуальное оскорбление, проникая в меня аналь-

но (а не протыкая, как сказал бы Себас). При всем том моему бедному другу пришлось еще хуже: мигающие глаза его, точно в агонии, блестели – в углу, который мы ему отвели, в углу, где он лежал все время между старым тряпьем и задиристыми газетками, которые в своем оппортунизме защищали режим террора. (Поскольку мы никогда не давали ему еды, то родной наш Себастьян напоминал жертву злокачественной анемии, голодающего из третьего мира, еврейского узника из лагерей уничтожения, – если такие лагеря вообще существовали, – несчастный пузатый индейский ребенок, истощенный, но большебрюхий.)

И вот, когда он понял, что буйство – буйство долбежа, разумеется, – началось, то стал подтягиваться с перекошенным лицом к кровати, где веселились мы с Альсирой и в придачу, у меня на спине, наглый Безумный Родригес, наш Патрон; мы никогда не давали трахаться родному нашему Себасу, вынужденно целомудренному, разгоряченному, который теперь еле-еле подтягивался к кровати, полируя лицом плитки пола, то и дело останавливаясь перевести дух, бормоча непрерывно «GGT, GGT, GGT⁶¹...», словно желая сбить нас с толку, а иногда – как молитву. Он опирался на руки, не толще ручки от метлы, и с помощью ног продвигался вперед, не без некоторой живости. Или, точнее, прилагая всю свою живость. Навсегда останется запечатленным в моей памяти он, удивительный Себастьян. Мы вместе сражались в рядах Гвардии Реставрации, много, много лет назад. И я смотрел на него, хотя толчки Безумного не оставляли мне много времени для беспристрастного, объективного наблюдения. Догматик Себастьян! В его взгляде была поэзия, была революция. Каждое движение его выражало бесконечную благодарность нам, которые вот-вот позволят – так думал он – стряхнуть одиночество плоти и духа, как собака стряхивает с себя морскую воду. И если бы мы ему позволили – его недюжинные мозги работали в этом направлении – что с того, что мы не давали ему ни есть, ни трахаться! Что с того, что его желудок выделял зеленую слизь, зловоние которой делало невыносимым воздух в нашей кишевшей

61 Всеобщая конфедерация труда, крупнейший аргентинский профсоюз.

насекомыми комнате! Что с того, что он жил среди выблеванных сгустков крови, беспокоя нас даже во сне, ибо каждый его рвотный позыв был чем-то вроде безнадежного вопля! Что с того, что!

Вперед, товарищ Себастьян, родной наш, друг Себастьян, шелудивая собака. Он почти уже касался нас прозрачными руками. Я был в застенке, образованном руками Безумного, а голова моя была утоплена в низ живота моей ласковой Альсиры. Великая любовь переполняла меня. В центре себя, нулевого существа, я ощутил семьяизвергательную вибрацию мощного орудия Безумного, а клитор Альсиры Фафо, восставший и шершавый, побуждал меня бить во все колокола; и все же я видел, видел краем глаза, как наводящий жуть, гнойный Себастьян рвался поласкать статные ягодички, скакавшие поверх моих, — зад нашего злобного Наставника и Господина. Как я и рассчитывал (полагаю, по меньшей мере) Патрон отреагировал немедленно. Ввергнув свой жезл в мои адамические глубины, он поднялся и вставил легендарный скипетр в глотку моего бедного друга, перевернув его таким образом из положения ничком в положение навзничь. Вот оно, зрелище: мускулистая нога, величественно прижатая к земле после этого события, четко выделялась на фоне шеи поверженного, — я видел это своими глазами, и как же далеки были те времена, Себастьян, когда унтер-офицер, выгнанный из армии после освободительной революции, терпеливо обучал нас марксизму.

Струйка желчи вытекла из уголка — левого — рта родного нашего Себастьяна. Его мигающие глаза постоянно обращались то в одну, то в другую сторону. Он попытался вытереть рот рукой, но крайняя его слабость оставила жест незаконченным: на полпути рука не выдержала и рухнула на огромное пузо. Вороны кружили над ним, а я, страдая от недавнего проникновения в меня, привязал к животу пузырь со льдом, воспользовавшись резинкой трусов Альсиры Фафо.

А еще я поддался порыву жалости и попросил Безумного прогнать хищных птиц, хотя одна из них уже успела оторвать бедному Себастьяну указательный палец на правой руке — захват и рывок клювом. Это была боль, вся мыслимая боль, но нет, не вся мыслимая боль. На лбу у Себастьяна показались

капли вязкой крови. Я принялся отчаянно рыдать. Как в детстве: стоя в углу на коленях, спрятав голову под мышкой и вдыхая мерзкий запах. Сзади по мне поползли тараканы и, преодолев небольшое препятствие в виде пузыря со льдом, подвергли мою спину тщательному обследованию. Между тем Безумный Родригес – Сукин Сын, хозяин и Повелитель, – действительно прогнал воронов, но обращаясь к ним, как к старым друзьям, которые стали слегка надоедать под действием алкоголя и воспоминаний о тех (лучших) временах, когда восстание не было необходимостью. И отчасти – как и каждый человек, впрочем – Безумный был прав, атмосфера внезапно сгустилась: «Я познакомился с вами на заседании COR⁶²!» Пользуясь гигантской Т-образной линейкой, Безумный открыл тусклое окошко в крыше, чтобы вороны могли очистить разлагающееся и разлагающее помещение. Один за одним вороны с шумом вылетали, роняя слезы, выкрикивая священные имена павших в борьбе. А у видного всем Себаса, глыбы – не человека, стало одним пальцем меньше. А Безумный, бичеватель и оплодотворитель Карлы Греты Терон, обнаженный, как был, не считая шляпы, подошел к окошку, чтобы незлопамятно попрощаться с темными птицами. И, высунувшись наружу, прокричал: «Пока».

С очередной схваткой у Карлы Греты Терон начался истерический припадок. Все мы разом посмотрели на ее родильное ложе, так как она, лежа, заголосила: «Пусть выйдет. Пусть родится. Пусть он! Пусть он! Пусть он уже будет! Гип, Ра! Гип, Ра! Гип, Ра!» На своем полужыке – приблизительноном, а не омерзительном, как сказал бы Себас, – она объясняла, что наконец рожает. И, несмотря на наши скептические предположения, ее тело ласточки стало вздвигаться. Раздвигаясь, она давила руками вниз от груди, чтобы эта тварь вылезла. «Не хочу, чтобы он застрял!» – проорала она, и Безумный, ловко и расторопно, привязал ей к ногам дерюжный мешок, раскрыв его пошире, чтобы этот долбаный младенец упал туда. На дно мешка она насыпал, кроме того, немного опилок, на случай, если голова отделится от тела. Альсира измерила растяжение нижних губ

62 Революционное рабочее движение – крайне левая марксистская организация в Аргентине.

портняжным сантиметром, затем отошла и появилась с громадной свечой. Я сразу же почувствовал запах Альсиры, запах удовольствия, и кончил, потершись головкой о ее загрузевшую, в трещинах пятку. И всем нам захотелось минетить, долбаться, ласкаться, раздирать друг другу зад нашими болтами. Даже обессиленный Себастьян изобразил подобие похотливой улыбки, и это была элегия в честь сотрясения плоти, – в честь процесса, а не деторождения. И наконец, появилась. Разрывая в клочья розовую плоть своей оболочки, своей матери Карлы Греты Терон. Рахитичная голова. На ней – ротик, размером не больше карандашного острия. Но с огромными глазами. Огромными, и великолепными, и печальными, и глубокими: Атилио Танкредо Вакан, высунулась его голова.

«Благословен будь!» – рыгнул Безумный, падая на колени, на охапку свежих кукурузных початков. Альсира, с раскинутыми руками, омыла свое обнаженное тело светом из окна, и ее нижние губы улыбнулись. Себастьян целовал мои ноги в грязных черных носках, доходивших до самого паха, – грязные черные носки грязного семинариста, – которые вместе с монашеской шерстяной накидкой составляли все мое одеяние. И, предвидя то, что случится, я выпрямился во весь рост, до самого последнего сантиметра. То был мой долг, пусть даже присущее мне угрюмое смирение заставило бы меня задуть самого себя. Липкая слюна текла из моего рта, увлажняя тело. Однако я исполосовал ногтями все ковры в пределах досягаемости. Исподтишка, ясное дело, исподтишка. Я изуродовал вышитые на них сцены добра и зла, искажил их суть, а некоторые ковры искусал выщербленными зубами. Исподтишка. Появился сладкий сок, противный и вкуснейший и сладкий во рту. Исподтишка. И всех нас изменило присутствие неизменяемого Атилио Танкредо Вакана. Он кидался во все стороны: новая связь! И – в! новой связи. Мужчина с мужчиной мужчина с мужчинами мужчинами мужчинами. Я преодолел даже пылающие деревянные скрепы кровати. Безумный захотел поймать меня на лету, и у меня упал – а не выпал, как говорит хитроумный наш Себас, – пузырь со льдом; и вот, мне все равно, – не тот момент, чтобы соблюдать чертовы стилистические тонкости! Я надел официантский фрак и собачий ошейник:

я быстро их достал, разве нет? Сперма мне в глаз! С остатками ковров, исполосованных мной, я приблизился к Карле Грете Терон, из которой чудище уже вышло наполовину, и дал ей. Дал. И сказал ей: Бери, ну же! Ну! И – нет! Я затанцевал каньенге⁶³, но не смог как надо завершить пляску: меж прежнеевременных предсмертных хрипов, Атилио Танкредо Вакан, уже полностью рожденный вышедший выплюнутый, упал в мешок с ручками и ножками, прижатыми к телу, на манер ацтекских мумий. И он не был мертв! «Победа, – закричал я, – ура, братья и сестры, он дышит и виляет хвостом!» Себастьян захлопал в ладоши и пополз к раковине, оставляя, как всегда, следы слюны на полу; он припал к сочащемуся крану, стал лизать его, чтобы обмануть желудок. Безумный, вне себя от радости со своей полосатой кожей, учинил над ним простецкую шутку: подбежал сзади, взял его за почти бесплотные ноги, и сунул головой в унитаз. А затем подергал несколько раз цепочку, как золотую брошь. Я захохотал до изнеможения, извиваясь и тоже ползя к нашей раздолбанной умывальне. «Уй-уй-уй, как классно! – повторял я, – давай еще раз, Безумный, я тебе помогу». Патрон посмотрел на меня с отвращением и, как-то вдруг вооружившись шприцем, вколол мне твердый бриллиантин: внутривенно. Еле-еле, в отчаянии, готовый ежесекундно отключиться, вырвать или наложить по полной, я пополз восстанавливаться в свой угол, надеясь, что Себастьян позволить себе какой-нибудь комментарий, чтобы содрать с него кожу зубами, превратить его в одну сплошную язву. Альсира сказала: «Хочу покачать Атилио Танкредо Вакана: он уже родился». «Дерьмо, нет, нет и нет, он мой, и только!» – возразила Карла Грета Терон. Альсира Фафо склонилась над ней, чтобы перерезать ей глотку навахой, и так как мы этого не допустили, она крикнула той, которая уже барахталась вместе со своим младенцем: «Чтоб тебе бешеная кошка залезла в пизду и все там порвала, порвала, порвала, блядина дочь!»

Все стекла в доме полопались, посыпались осколки. Первый огненный шар зажег шевелюру Альсиры. На этот раз пришлось всерьез прибегнуть к шутке, учиненной с Себастьяном: тот, полузадохшийся, икал, лежа на революционных

заголовках. Второй огненный шар испепелил левую руку Карлы Греты Терон. Затем появилась моя жена. С нашей дочерью на руках, окутанная столь присущим ей воздухом обманчивой юности, она возникла, светоносная, почти чистая, на фоне вод фьорда.

Суда медленно, с ревом выплывали из реки в море. Туман делал нечеткими силуэты докеров; но до нас из небольшого порта долетали брэнчание бесчисленных гитар и звонкое пение светловолосых прачек. Галерея портретов английских стихотворцев конца XVIII века на мгновение ярко блеснула во тьме. Но то, что происходило, не заканчивалось. Оно принимало другие формы, соединяя звено за звеном в цепь. Не разрешая никакой пустоты, превращая всякую потенциальную пустоту в узловую точку, где сходятся все противоположные силы в состоянии напряжения. Отчего-то ведь полопались все стекла и стали огненными шарами глаза пронизательного, критичного Себастьяна. Также не случайно было то, что мои руки прорвали оконтуривающий мою жену воздух и, хотя и поврежденные, потянулись к ее лицу, но тут же остановились на полпути, сжавшись, обратившись в два проклинающих кулака, неспособных даже к приветствию. Жена показала мне свои щиколотки: два кровавых обрубка. В правой руке она держала отрезанные ступни. И протягивала их мне, мне, кто осмеливался смотреть на них лишь краем глаза. Мне, кто не мог ни принять их, ни плюнуть на них. Кто снова глядел на фьорд и видел, как на его спокойных водах, спокойных и темных, взрываются маленькие сумеречные солнца между газовых облаков, одно за другим. И еще видел серпы, на время или навсегда отделенные от своих молотов, и куски грубых свастик, намалеванных смолой: Бог-Родина-Очаг; и шумную толпу – в ней я мог абсолютно четко различить лица каждого из нас, – проникавшей с флагами в ортопедическую улыбку Старика Перона. Мы не знаем в точности, что произошло после Уэрта–Гранде⁶⁴. Но что-то случилось. Пустота и узловая точка, где сходятся все противоположные силы в состоянии

64 Имеется в виду «Программа Уэрта–Гранде» (1962), антиолигархическая и этатистская, принятая рабочими организациями, которые поддерживали Хуана Доминго Перона.

напряжения. Что-то случилось. Действие – ломать – должно продолжаться. И оно породит только действие. Жена дарует мне свои ноги, источающие кровь, я гляжу на них. Спрашиваю себя, значусь ли я в великой книге палачей, а она – жертв. Или наоборот. Или мы вдвоем записаны в обе книги. Палачи и палачествуемые. В сущности, неважно, – это проблемы для трезвомыслящего, критичного Себастьяна: он со своей мордочкой ласки сунется в любую дырку, откуда сочится человеческое. Мы не даем ему есть и не дадим. И трахаться тоже. Никогда. Атилио Танкредо Вакан уже встает на четвереньки. Он сосет из материнской груди паутину, совсем непитательную: сухую идеологию. Безумный смотрит на меня, смотря на меня, низводя в ряд своих жертв: наконец-то я имею его. Я перехожу в ряд его палачей. Но то, что вроде началось, не закончилось и не закончится.

Безумный Родригес рукоятью хлыста распахнул дверь в столовую с чиппендейлом внутри. Он взял Атилио Танкредо Вакана на руки и уселся во главе стола, качая его. Я надел кандалы на родного нашего Себаса, чтобы отвести его в столовую, и там пристегнул к толстому железному кольцу, вделанному в стену специально для него. Альсира Фафо, сославшись на свой рак, хотела было покинуть сцену; и тут я опять за свое; ни больше и не меньше, воткнул ей в грудь авторучку, которая там и осталась, неглубоко впившись в кожу, и я заставил Альсиру Фафо, – а не вставил ей, как говорит Себас, – сесть слева от Безумного. Осталось разместить Карлу Грету Терон: это входило в список моих обязанностей, ведь я был *maître'om*. И все же я уничтожился перед Хоботом, Покровителем, Хозяином и Господином, в ожидании приказов, которые не замедлили воспоследовать. «Давай-ка, уложи ее в постель: мы побрызгаем на нее соусом, чтобы плоть не так ее донимала», – сказал он и повторил «мала», с презрительным жестом, после чего дал мне (презрение после презрения) щелчок по голове. Но нет такой горечи, чтобы повергнуть меня в отчаяние: до спальни я домчался рысью, с индейскими воплями, стуча ладонью по рту. Я отлично подлетел к кровати, скользя по полу, кривляясь и торопясь – торопясь не зря: Карла Грета Терон уже наполнила водой свой огромный стакан из синей пласт-

массы и готовилась открыть ящик для инструментов, где хранила смертельные дозы барбитуратов. «О нет, нет, – вмешался я, – только не барбитураты, лягушка», – и отвел ее к окну в крыше, и показал ей фьорд, полный лунного света. Потом взял ее за руку и посмотрел на ее зад внимательно, как маньяк. Сглотнул слюну. «Видишь?» – спросил я ее, разгоняя рукой испарения, чтобы показать ей ужасающую картину: группа механиков, каждый с веревкой на шее. «Видишь?» – не отставал я от нее, роняя в то же время свой причудливый профиль на округлые груди. Один из группы шел по дубовым головам остальных, пророчествуя: «Никогда не будем вандористами⁶⁵, никогда не будем вандористами». Потом застыл в неподвижности и стал уничтожаться. Карла Грета Терон встряхнулась, словно кошка, и выбросила смертоносные таблетки в писсуар. Я взял двумя руками ящик для инструментов (в форме лодки) и прижал его к своей голой груди. «Имея такой ящик, не жалко потерять все остальное», – солгал я. И она, милая, несравненная Карла Грета Терон, согласилась, потряхивая волнистыми волосами. Я припал к ее ногам, поцеловал нежные колени. Сжал свой член в кулаке и отодвинул пальцами ее лобковые волосы. Мы совокупились. То был быстрый, сумасшедший трах. Прежде чем прилечь, она убедила меня снять носки и накидку, мою единственную одежду. И носки и накидка отправились умирать в писсуар. Они умерли там, и мы вдвоем прилегли. Прекрасно. До чего красивые груди у Карлы Греты Терон. Я сосал их, пока не появилось материнское молоко. И когда я вышел в коридор, толкая кровать, я – я был другим.

Мы с Себастьяном разом незаметно перемигнулись, каждый уголком (левого) глаза. Я с радостью наблюдал, как улыбается родной наш Себас, впервые после нашего исключения из Университетского движения за истинные реформы: в воздухе витало нечто, говорившее о начале крупных перемен. Я сел напротив безумного и повязал на шею клетчатую салфетку, чтобы не запачкать себе жиром соски. Безумный нажал на кнопку; раздался ожидаемый треск, и из деревян-

65 Вандористы – одно из течений, существовавших в 1960-е годы внутри Всеобщей конфедерации труда.

ного ларя забил фонтан двух метров в диаметре. В центре его виднелся гигантский королевский павлин, зажаренный на вертеле, но без такого вульгарного приема, как ошипывание великолепных перьев. Возникли также дюжины бутылок красного вина с побережья, и уши мои зашевелились от радости. Но не знаю почему (или, наоборот, знаю слишком хорошо), у меня свело желудок. Даже хуже. У моих кишок в ближайших планах, похоже, был заворот. При первом же приступе я сложился вдвое, и Хобот, Хозяин и Господин нехорошо взглянул на меня. «Даю, – произнес он, – даю, – повторил он, – даю тебе время добраться до судна; второго предупреждения не будет». Да, в революционной войне надо прибегать к хитрости. «Нет-нет, ничего, сейчас пройдет», – ответил я, изобразив на лице самое лучшее мудацкое выражение. *Ipso facto* я изгадил себе душу, изгадил жизнь. И сверх того – с треском. На физиономии безумного нарисовалась гримаса неудержимого гнева, и он с ловкостью, сообщаемой одной лишь привычкой, достал из патронташа металлический колпачок, приладив его на конец Хлыста. Но его остановило изумление, ибо я, глядя ему в глаза и улыбаясь от уха до уха, снова уделался. Альсира Фафо укусила себя за руку, сдерживая крик, а Карла Грета Терон давала выход беспокойству, тыча в себя внушительным вибратором. Мое третье выступление вышло чудовищным: пол словно оказался вытоптаным стадом диких зверей, хотя это было всего лишь мое дерьмо. И тогда безумный решился: он подошел ко мне, ткнул меня, схватив за волосы, в мое собственное свинство, и поднял, готовый карать, жутко-прекрасный ХЛЫСТ. Однако жажда полного разгрома обратилась против него: прежде чем приступить к успокоению меня, он оглянулся вокруг, следя за Себастьяном, и обнаружил, что тот стоит на четвереньках, злобно показывая темно-зеленые клыки. Безумный оценил все свои возможности с быстротой тигра. Ударом каблука он отшвырнул стратегически мыслящего Себаса и занялся исключительно мной. Первый УДАР ХЛЫСТОМ превратил в разваленный кочан мое левое ухо. Я утратил всю свою центристскую робость и заорал, заорал как одержимый: «Да здравствуют бедняки всего мира!», и еще: «Вон, вон, буржуазный козел!» Второй вдавил мою грудную кость в стенку

желудка, покрытую плесенью. Третий оторвал мне яичко, – И я увидел собственную кровь. Орошая плитки пола, я предпринял дерзкое отступление в сторону воинственного Себаса; когда я оказался в пределах его досягаемости, он толкнул меня задом, подбадривая и приветствуя. Господин Хозяин Покровитель Безумный поднял хлыст, дабы в четвертый раз упрочить наши взаимные узы, и, как всегда, я едва не обкакался, точно младенец. Я хотел было позвонить в Общество защиты Первопредателей, но лишь только собрался крикнуть: «Помогите несчастному трусу!», как хлыст заткнул мне рот. Себастьян жестикулировал, строил рожи, сочился гноем и идеями.

Вскоре мне пришлось подытоживать ситуацию. Количество переходит в качество. Или же легендарные удары Безумного придутся мне по вкусу, как обычно. Еще один, и на хрен восстание. Тогда трезвомыслящий, бунтующий Себастьян вернется к прозябанию, несправедливо обозванный «идеологом», и снова для него настанут: пост, чтение только дозволенных книг, капелька мяса, навязанное целомудрие, вплоть до запрета на гомосексуальные отношения и коллективную мастурбацию. Но все же удача улыбнулась нам: Безумный вновь обратил свое внимание на Себаса, который собирался кинуть ему в лицо свеженаписанный памфлет. Патрон Родригес чуток потоптал невесомого Бастьяна и поигрался с ним, так, чтобы тот висел в воздухе; когда Себастьян завис, Безумный воткнул рукоятку хлыста в рахитичный зад; Себас описал параболу, издав мелодичное «а-а», и приземлился в угол, после неизбежного столкновения между его черепом и стеной; как видно, бывшая наша борьба в рядах Революционного перонистского движения не очень-то нам помогла.

Родина или смерть, тем не менее. Я вонзил зубы в мясистое плечо хлыстоносного Родригеса. Остановив взгляд, на манер святого праведника, я увидел, как расширяются поры на его лице, как искажается странным образом каждый участок его кожи. словно при крушении мира, я наблюдал все его трещины и выщербины. Я обнаружил, что у него искусственные зубы, картонный нос, ортопедическое ухо из саржи. Себастьян понял, в чем дело, и разразился хохотом там, в своем углу. Атилио Танкредо Вакана любовно уложили на нетро-

нутого павлина, и женщины заплясали вокруг него, жонглируя ложками и вилками, – все до одной голые.

Кровь Укушенного волнами лилась мне сквозь зубы, наполняя рот. Карла Грета Терон, приняв форму S, потом Z, K и гневного M, в отчаянии посягнула на яйца нашего экс-хозяина и господина. Удар коленом – и посыпались осколки: вся конструкция была из хрусталя. Себас извернулся, как мог, и притащил тиски. Зажав в них правую ногу Холощенного, он с удовольствием выяснил, что та стала резко укорачиваться и утончаться, пока не сделалась жалкой ножкой трехмесячного малыша: отвратное зрелище. Ясный, как майский день, Бастьян сделал еще одно усилие над своим изломанным телом: он донес до меня громадный револьвер с Дальнего Запада, – Зажатый ревниво оберегал его в коробке из-под слив. Вручив его мне, Себастьян залился блаженным смехом, – и, как истинный гаучо, как опытный стрелок, захотел самолично взвести курок. Я прицелился с десяти сантиметров: мушка совмести-лась с левым коленом Родригеса. Спустил курок. О, эта детская радость от звука выстрела! Пуля вонзилась между ломких костей, но наружу не вышла. Внутреннее кровотечение и – я заметил – нога почернела. Я повторил операцию над правым ухом раненого. Нажал на курок. Выстрел. Лицо, весь череп Игеса почернели. Черным стало все, вплоть до белков глаз. Только сжатые-стиснутые, до боли, зубы оставались белыми и сияющими. «Ай-ай» – передразнивали его Альсира Фафо и Карла Грета Терон и просили меня: «не убивай его сразу». «Дай-ему-дай-ему-дай-ему» – по-детски прошептал буржуазненький Бастьянсебас; отбросив ненужные теперь правила конспирации, он спросил: «Как тебя зовут?» «Рондибарас, Асангуи, Михирлис», – отвечал я, и он успокоил меня кратким «ага», надавливая себе на пупок, чтобы выжать гной. Атилио Танкредо Вакан упорно молчал, но непрерывно мочился.

Не все, однако, было фальшивым, ненастоящим, обман-ным внутри Родригеса, местами проложенного красивыми слоями человеческой плоти. Я нажал на одно место, выстрелил не без грусти; кровь потекла ко мне, словно просила при-юта. А если я дам его? Алый поток охватил мою шею по спира-ли, наподобие шарфа. Догматичная, трезвомыслящая Альсира

выбрала меня: «А ну, сорви с себя эту мерзкую мишуру!». Царапая себя, вспоминая тревоги, бывшие в прошлом – не смотря ни на что, оно существовало, – я стряхнул. Закрыл глаза и в последнюю минуту решил продолжать то, что начал. Что, если Агонизирующий предложит мне Союз, Программный Пакт – на основе чего-то? А почему нет? Я вздрогнул. Отныне ситуацией управляла беспощадная Альсира Фафо, Амена Форбс, Аба Фиур. Отстранив меня, она вколотила в затылок Истекающего Кровью стерилизованный пробойник длиной в полметра. Рес скончался на месте. Револьвер вяло выскользнул из моей руки. Басти посмотрел на меня, я – на него: мы жили ради этой минуты.

Ловкость Арафо не давала простора для действия: она двигалась, как рыбы в воде. С безупречной, безличной техникой она приступила к разделу того, кто только что умер; затем сделала быстрое, почти незаметное движение, схватив кнут. Первым делом она разрежала на куски отросток, который перелетел, кувыркаясь, и упал на руки Кали Гризельде Терон, а оттуда – на сковородку с кипящим маслом. То, что осталось от внушительной человеческой туши, окончило свое существование в нашем зловонном дезодораторе; Айсирфо специально позаботилась разрезать мясо на мелкие кусочки своим НОЖОМ «Де Маррас», чтобы быстрее их уничтожить. Она отрезала также съезжившуюся ногу и кинула ее Алехо Варильо Басану, фанатику мастурбации, – пусть тот сдирает с нее кожу. Сама она съела глаза. Кагрета – голову целиком. Я – сморщенную руку. Басти лизал в своем углу какие-то неопознаваемые части, полчища муравьев ликвидировали все остальное.

Удар гонга. Это была Безумная Ножовщица. Удар гонга. Это была она, приподнимавшая крышку со сковородки и с вождением впивавшая запах. Она делала пробу с помощью кусочка хлеба и – теперь уже витаминизированного – масла, смотря на нас искрящимися глазами. Еще раз зазвонил гонг, и она захлопала в ладоши, держа нож между зубов. Все мы уселись за стол, не сказав ни слова. Каждому досталось по куску жареного мяса, каждый пожрал его на свой лад, бормоча что-то вроде «хлеб наш насущный даждь нам днесь». Помню,

что я снимал с носа сопли и прилаживал их на ресницы, словно то были слезы. Я был в полном сознании.

Из зала доносился отчаянный шум. Моя жена впилась зубами в защелку окна на крыше. Не так-то просто найти точку опоры, если ты без ступней, и потом зубами открыть защелку окна. Защелка поддалась с суровым «клак». Корабль снова отчалил и вышел в открытое море, высадив свою единственную пассажирку. Та появилась на пороге столовой с изрезанным ртом, но без нашей дочери, которая, конечно же, где-то в порту ждала другой корабль, тоже медливший с отплытием. Моя жена поджала губы. Ее голубые глаза обозрели всех нас при полной тишине. Она подошла ко мне и показала свои запястья: два кровавых обрубка. В челюстях она сжимала две отрезанные ладони. И без гнева выплюнула их на стол. Сделав усилие, я приблизился, чтобы увидеть их, увидеть широко открытыми глазами. Левый глаз остановился на правой руке, потом правый – на левой. С середины стола убрали искусственный цветок и сложили стол. Лепестки посыпались мне прямо в лицо. Жена уползла прочь на коленях.

Неоновые надписи бросали скудный свет на наши лица. «Никогда не Будем Большеви́стским Мясом Бог Родина Очаг», «Два, Три Вьетнама», «Перон – это Революция», «Активная Солидарность с Партизанами», «За Широкий Фронт с Участием Всех». Альсира Фафо с наслаждением курила традиционную послеобеденную сигарету. Завитки дыма совпадали с формой тысячецветных букв. Я потянул родного нашего Себаса за ухо, дал ему знамя, и он согнулся под тяжестью. Я помог ему взять древко на тощее плечо: в конце концов, это была для него честь. Так мы отправились на манифестацию.

ДОЧЕРИ ГЕГЕЛЯ

(фрагмент)

Номер в отеле пуст – пока я не вхожу в него. Войдя, я оказываюсь в нем. Он полон. Номер в отеле.

ДЕРЬМО СОБАЧЬЕ, ГЯЗНЫЕ ШЛЮХИ**I**

15 октября 1982 года

...Хосе Эрнандес⁶⁶? нет (он совершенно здесь ни при чем)...

В литературе мне всегда хочется сразу пробраться к сути. Никаких прологов, отступлений, никакой хренотени – нет, нет и нет. Как выражался Хосе Эрнандес в одном из писем к некоему дону Зоило Мигенсу или к другому своему приятелю-выпивохе (похоже, разве что казаки *могли выпить столько же, сколько они*); в общем и целом – автор «Мартина Фьерро» признавался Мигенсу в своей нелюбви к всяческим околичностям и надеялся, что Мигенс считает так же. (Но вперед, вперед; бог с ним, с Эрнандесом, который никак не выходит из моей блядской головы). Это совершенно здесь ни при чем. И правда, Эрнандес очень мало говорил о женщинах и еще меньше – о блядях; а я как раз собираюсь (твердо намерен) поведать историю Марии Иральдин, очаровательной кошечки родом из столицы, которая промышляла в центре и богатых кварталах. Как мне кажется, надо попросту рассказать о том, что происходило – мне так кажется, я так думаю, – а не так, как делают телевизионщики со своими увелечениями и переменными наклонами объектива. Черт возьми; сразу переходить к главному. Просто, как тыква. Краткость и точность. Первозданная ясность в плане сюжета. Недолго думая, послать на хрен, мать ее за ногу, всякую болтологию; тех, кто виснет (или вязнет, что одно и то же) в бесконечных вступлениях; тех, кто лихо стартует, и еще, и еще раз, но так

66 Хосе Эрнандес (1834–1886) – аргентинский поэт, автор поэмы о гаучо «Мартин Фьерро», которая считается классикой аргентинской литературы.

и не переходит к делу. А я – что до меня – смогу ли? – сумею ли выкинуть этого самого Эрнандеса (да, вот этого) из своих болотистых мозгов? Наверное, это мой единственный недостаток как писателя.

Что до литературы, я предпочитаю гладкие завитки Хосе Эрнандеса (повторяю: я положительно сошел с ума до такой вот степени). Я положительно заколдован и мне придется сполна за это заплатить, очень скоро, своей головой. *Что до литературы*, я предпочитаю непредсказуемые обрывы у Орасио Кирогги, непредсказуемые – но, от одной дыры к другой, каждый жест быстро влечет за собой движение, закручивается в самоубийство, выскакивает, точно подпружиненный, и все неумолимо стремится к исчезновению «сюжета»; и эти обрубы под корень должны нести в себе язву возрождения. *Что до литературы*, я предпочитаю слабые проблески в «Набеге» полковника Мансильи, где его глаза предстают слепыми точками *двойной – двойной* – фабулы того, что есть вымышленное повествование и кроме того, сверх того, фабулы, основанной на точном факте, который используют – и идут дальше; остается лишь Пустыня в качестве «загадки», а за ней – новая загадка, движемся вглубь таинственного: почему индейцы отказались обменять доктора Масиаса⁶⁷, который не мог им ни на что сгодиться – тем более что с ним обходились довольно мягко? И вот доктор Масиас наполовину безумен, наполовину потерял рассудок. А затем была последняя остановка и смена лошадей. Был тот самый последний миг ожидания. Были повороты на 180°. Был грустный, незавершенный финал – потому что все-таки нет, в последний момент Масиаса не возвратили, и мы ничего не узнаем о его движении вглубь материка. Пустыня...

В общем. В конце концов.

Что до литературы, я предпочитаю выпуклые диалоги, с сорными словечками, живые: сезам, откройся, раз-раз. Да: что касается литературы, я предпочитаю, сеньор – пусть не запнется язык, пусть найдутся нужные слова, – лиризм

67 Доктор Масиас – персонаж повести аргентинского писателя Луисо Мансильи (1831–1913) «Набег индейцев».

и приключения; приключенческие истории с солнечными закатами; раздел добычи, кварталы, набитые пролетариями и всяким сбродом. Я *предпочитаю*. Религию. Любовь. И массы, массы, поданные в движении.

Придите, святые чудотворцы, придите мне на помощь. Песню выкую сейчас⁶⁸. С неизбежной грустинкой...

Мы входим на площадку для сжигания мусора. Марии Иральдин очень к лицу разбирательства по денежным вопросам, учитывая ее более чем удовлетворительную финансовую ситуацию. Пять лет, отданных своему ремеслу, пять первых лет (для других это обычно годы иллюзий, безответственное кувыркание по разным постелям) она посвятила всего одному клиенту (страшно богатому, of course). Удивительным образом она была ему верна, и наш персонаж – аргентинский делец, отребье человечества, – удивленный этим, все проверил, of course, через нанятых детективов, и выяснилось, что Мария Иральдин за эти пять лет ни с кем больше не имела связи, а горы полученных ею денег (она сошлась с ним в 18 лет: девственница, без балды, настоящая куколка: высокая блондинка, задница что надо, груди на месте и *бесконечные* ноги) оседали на срочных вкладах в банке, который он сам и контролировал вместе с четырьмя сутенерами (через подставных лиц). То была великая эпоха банд Мартинеса де Хоса, Виделы, Аргиндеги и CIA (CIA – так!), эпоха большого рэкета. Нежный покровитель Марии Иральдин, делец, доктор Сампичо, узнав о возвращении выданных им сумм под свой контроль, решил (ангельская невинность!), что дело в наивности, точнее – в ангельской невинности его содержанки. Понимаете, он оставался, несмотря на все, аргентинцем: в глубине сердца он верил, верил в щедрую душу шлюх, верил в небесную голубизну их жадных глаз.

Все было иначе, но углубляться в это – значит нарушить первозданную простоту нашей фабулы; итак, двинемся дальше. Случилось неизбежное: Сампичо, развалившись в кресле у себя в офисе, окутавшись – окутавшись – сигарным дымом, стал задавать себе фатальный вопрос: «Почему нет, почему

68 Цитата из поэмы «Мартин Фьерро».

нет?». И правда: почему нет? Действительно: *почему нет?* Кто спрашивает себя так, тот пропал. Как Сампичо, который «отдал все необходимые распоряжения, любимая» – и рассказал об этом Марии Иральдин – и он пропал! неисправимый болтун рассказал, чтобы плохо кончить! Той ночью «любимая» отсосала ему в стиле, который вызывал у Сампичо сладкую дрожь, он сам ее научил: в стиле «самолетный винт». Распоряжения (махинации с черным налом, экспортно-импортные делишки, манипуляции с накладными – страной правили военные, этим все сказано), распоряжения насчет того, что громадное состояние Сампичо перейдет к Марии, Марии Эулалии Иральдин, когда доктор умрет. Доктор Мариано дель Сейбаль Сампичо, поклонник здорового образа жизни, занимается спортом, ездит в Африку на сафари, шестьдесят лет...

...(На полях [и вперед, дальше]: возможно, этот самый Эрнандес говорил о женщинах чаще, чем мы думаем. Его персонаж, сержант Крус, как-то сказал: «я познал их всех в Одной»)...

...не доверял никому и ничему, и меньше всего – своей эффектной и *разубеждающей* охране. Это наш национальный порок, который американские наставники, хотя они из числа лучших (блестяще используют все средства – от простых, вроде кольта, до самых сложных – напалм, химическое оружие, геополитика) – так и не смогли вытравить из своих учеников (хотя те и относятся к числу продвинутых), лидеров Аргентины, которую в Пентагоне считают «страной-катастрофой» и к тому же приютившей нацистов. Они говорят: «Здесь может случиться все что угодно». И еще: «Им нравится ставить опыты над собой». И еще: «Они любят развлечься: разворотить у себя в стране все». *В Пентагоне знают, что война с Аргентиной неизбежна.* Там не разваливаются в креслах, наподобие Сампичо, чтобы задавать себе вопросы мрачные, как ночь.

Вам нравится война, нравится политика? Мне – да. Вам нравятся шлюхи? Знаю, знаю: это вопрос несколько иного порядка. Ну что ж... хм... посмотрим, посмотрим. «Я уже стар, стар», – говорил старый и хромой ризничий. В паре шагов от него, прямо у него на глазах (старый ризничий не умел читать), приходской священник писал письмо. В нем он обрекал

риз(ничего) на голодную жизнь, на блуждания холодными ночами под великолепием звезд, на заточение, сперва в тюрьме, за отсутствие занятия и местожительства (жизнь становится адом: правдоподобно) – а потом в доме престарелых из-за (как говорят полицейские: вас раньше задерживали?) – «достижения предельного возраста». Падре писал своему начальству, просто и тупо, чтобы оно уволило хромца без выходного пособия и с наихудшими, наихудшими рекомендациями на случай, если он отыщет другую работу. Совесть падре была чиста и спокойна: и никакого страха, что дело не выгорит. «Гнать, гнать», – обращался он к начальству: беспроигрышный вариант в области затасканного (и все еще затаскиваемого) «искусства обращения с персоналом».

Итак... Как уже было сказано, угодливого, смиренного (по Арльту⁶⁹) ризни(чего?) в детстве совсем, совсем не учили читать. И все же (интуиция?) он *знал*. Он понимал, что его жалкое благополучие зависит от этого письма, того, которое в *этот самый момент* писал Падле, грязный подонок. Ладно, *продолжаем*. Итак, наш Хро встал позади – камин пылал, как пламя под адским котлом, – позади Падле, но тот, поглощенный тихим изничтожением, ничего не услышал: он был на вершине блаженства – амброзия, нектар, оргазм! – раздавливая и изничтожая, изничтожая и раздавливая. Что-то – мягкая газовая ткань – обвилось вокруг его шеи. Первое, что он ощутил: *мягкое* падение в обморок. Ему удалось повернуть голову и увидеть Хро: такие наглые шутки – это уже за всякими рамками! – но ведь человек человеку всегда рад, и на секунду в душе его воцарился покой. На секунду.

И вот секунда прошла. Но он все пребывал в мирном настроении, хотя и не смог избежать хриплой властности в голосе, обращаясь к ризничему:

– Ты что, хромой, совсем охренел?

Насчет охренения: истина заключалась в том, что все это доставляло ему удовольствие. Он даже потрогал пуговицу на брюках, да, он не смог удержаться. Он даже погладил священника по голове, не смог удержаться – отыметь, отыметь

69 Роберто Арльт (1900–1942) – аргентинский писатель.

для себя – прежде чем сжечь голову в камине. Он подумал, а не вставить ли тому (сперва) и затем убить. Немножко разврата (если идея овладевает лишь той головкой, которой думают) никогда не помешает. «Трах (трах-трах) – подумал он, – а потом – к чертям тебя!». Нет, он придумал кое-что лучше. Идеальное время, идеальный момент для этого преступления, – если, конечно, бывают идеальные преступления. Бывают! – вспомним Виделу с его бандой, чтобы не ходить далеко. Но такое дело требует долгого выжидания – может быть, нескольких веков; у нашего ризничего веков в запасе не было. И он придумал кое-что получше: «Нет, пусть я останусь голодным, но трах-трах его не стану. *Итак...*»

Продолжим. Палач, следовательно, воспользовался «мягкой газовой тканью», чтобы довести жертву до полуобморочного состояния. Жертва, насмерть перепуганная, начинает сознавать, что это не игра. Там не менее (*тем не менее!*) она сознает это не до конца. Она делает слабое, еле заметное движение, желая освободиться, а на самом деле надо бы сделать резкое: резкое движение. Хотя бы попытаться. *Итак, на полях:* мозолистые руки хромца ловко орудовали платком из газа – мягко, крайне мягко; *продолжим...*

- небо и звезды
- течение реки
- ночь безнадёжности
- любимая
- снова встретить тебя
- самоубийство без запаха
- цветущей и прекрасной женщины
- актрисы, которая много курит
- и оставляет (курит слишком много) оставляет
- след, всегда ярко-красный
- на фильтре каждой сигареты.

Те дни: в отеле «Астор», с пустыми руками, на стене висит гостиничный распорядок (но, сняв номер, ты необязательно сидишь в нем трезвый) – сомнительные Правила поведения, и, в довершение всего, Мальвины; нас было мало, тут всплыла бабушка, твое отсутствие пронзало мне сердце; цветущее, утреннее, росистое, пахучее отсутствие. Аргентина, Аргентина.

С пустыми руками (не говоря уже о карманах), а в мозгу крепко засела, точно прибитая гвоздем, фраза: «Мы вернулись домой», ха-ха, банальная и неуместная. «Возвращается, как спящий / Тот, кто побывал в пустыне» (Хосе Эрнандес, «Мартин Фьерро»). Никогда мне ее не вытряхнуть. Из своей блядской головы.

Искусство: невозможная пошлятина.

Невозможная, нет никакой возможности: все искусство. Но это так, искусство – пошлятина и дурной вкус, а в особенности – великие произведения, пирамиды, которые мы поддерживаем хрупкими плечами, стоя на глиняных ногах. Мы входим на площадку для сжигания мусора, где встречаем Марию Иральдин, очаровательную кошечку родом из столицы, которой очень к лицу разбирательства по денежным вопросам.

- наш персонаж не оборвал жизнь священника через удушение. Он хотел, чтобы тот, живой, в мучениях, испустил на земле свой последний вздох;

- чтобы тот, как говорится, испытал предчувствие ада на земле. Все фразы кончаются на земле. Они – канаты, связывающие с землей.

- он использовал платок, чтобы посредством легких подергиваний, сдавливаний, натяжений (*Оливерิโอ Хирондо*⁷⁰) отвести священника к камину, пылавшему, как пламя под адским котлом. На лице удушаемой (*Хирондо*), удушаемой жертвы теперь проступили черные пятна: пятна ужаса.

- ...хотел было закричать и закричал, но никто не мог его слышать, и палач знал это: у него было полное сознание этого (а у кого нет?), абсолютное сознание (будто о нем можно сказать что-то определенное, будто метафизика... но мы отклонились в сторону).

- священник – некий субъект, – хотел было закричать и закричал, но никто не мог его слышать, и об этом знал некий субъект, его палач: два субъекта, логически предсказуемых. Однако граница между формальной и диалектической логикой

70 Оливерิโอ Хирондо (1891–1967) – аргентинский поэт. Здесь имеется в виду его стихотворение «Зачем пентотал».

проходит по линии «нет/ничто», и не совпадает с различием между идеализмом и материализмом. Обе логики утверждают одно и то же, в одних и тех же терминах: «Преступление не приносит выгоды». Но преступление все-таки приносит выгоду, несмотря на то, что трупы цепляют и цепляются, выходят на поверхность, когда их хотели бы видеть схороненными в глубинах – ночи, реки, озера, моря (или просто в прозрачной глубине рассвета, в чистом поле, в полном покое, в покое – полном: ничто не движется, однако все плодоносно). (Виноградные побеги и русые пряди до самой луны – о, фетишисты!) (Мария Иральдин и небо – *небо, небо и еще раз небо* – ее мертвых глаз, глаз покойницы, голубых глаз: она умрет, бедненькая девочка.) Или же трупы схоронены – и как раз в тот момент, когда их хотели бы видеть: видеть все трупы, всех мертвецов, раз (единственный) и навсегда. Итак...

...утро 16-го октября. Неумолимо приближается 17-е. Октябрь. Даты – имеют значение.

II

Льет, черт бы его драл. Как из ведра. Так, для времяпровождения (нет, не для «времяумерщвления», идиоты). Сменим тему. «Последние из» не отпускают меня. Я вижу их перед глазами, желтый чесоточный. Писать.

Писать и снова писать. О чем много говорил Эрнандес, так это о литературе. Он столько говорил о литературе, что она у него совершенно «выпала». Он творит ее в направлении прошлого и будущего. Он делает так, что та исчезает. Сейчас (вот прямо сейчас) он заставляет ее говорить с крайней беззаботностью: болтовня о кофе, ходячие истории, вечное «а вот как-то раз». Ему надо было *сделать так, чтобы та заговорила*. Так же, как бытие предшествует сознанию, ему надо было *сделать так, чтобы литература предшествовала сознанию, которое никогда не появится. Он сделал так, чтобы та заговорила*. Как абсолютное сознание. Как абсолютное сознание, которое обходится без бытия. Изнутри бесконечного «здесь». Изнутри силы (чтобы сказать все до конца, *говоря все до конца*). Льет, черт бы его драл, льет и льет, и вот я: обнуленный. Крушение. Нищета. Крах. Потеря.

О рассудке: иметь его и лишиться⁷¹. Но речь была также о пламени, – можно пробушевать пламенем и оставить от своей жизни только догорающие угли. В Нью-Йорке – Красотка Джейн. В Буэнос-Айресе – Мария Иральдин: все, все в Одной. Но ведь в Одной растворяется все: возврат к хаосу? Возможно – если речь идет об ужасающем «сам Я» (или просто «Я», а не о переложимом на бумагу (особенно в романы) «я сам». Тому, у которого (всегда) есть о чем порассказать, и у которого (всегда) есть в запасе доводы. В то время как сам Я...

и я сам был единым телом
с тем самым телом молчания.
Единым телом были и едины
– молчание –
внутри тела,
которое было единым целым,
равным молчанию.

(Висенте Уидобро)

Но мне нравится рассказывать истории, они текут из меня, как вода из родника. Я прирожденный романист и признаюсь в этом не краснея. Я также Белый Мудрец, брат мой, и еще я Черный Мудрец. Я от мира сего. Я пою.

– послушайте меня; послушай, послушай меня.
– ризничий сунул голову священника в пылающие дрова, – пронзающий душу вопль, волосы дыбом встают. Священник в ужасе и безнадежности неимоверно напряг силы, но ризничий был сильнее: голова заживо сгорела меж дров. Такой вот жуткой смертью умер (приходской) священник, лодырь и сводник.

III

Тьма спускалась – на этот раз царственно. Хромая, в своем стиле (*его отличительная черта*), ризничий направлялся в бар Метиса Катандзаро – пропустить стаканчик, как обычно: он пил умеренно, хоть это и не относится к делу, просто чтобы прояснить все (как это делает тонко Шекспир

71 «Америка», 41 (прим. автора).

в начале «Гамлета») – насчет нашего героя, насчет чистоты его сознания, не затуманенного алкоголем. Хромой купил газету в киоске Фернандеса, прямо напротив бара. Перешел через улицу. Ковыляя. Вошел в бар и проковылял⁷² к стойке. Возбродился ловко, ловко для своих ног и своего возраста, на высокий шестиугольный табурет, своими сильными, могучими руками развернул газету и сразу же наткнулся на новости спорта. Случай с Марадоной в Барселоне не давал ему покоя: он был не согласен с газетами и со всеобщим мнением. С другой стороны стойки Метис, конечно же, согласный со всеобщим мнением (линчевать Марадону и привет) поздоровался кивком и, не спрашивая ничего (годы знакомства!), протянул дармоеду холодного домашнего белого вина. Метис, который честно, клянусь его мамой, чистая правда, – Метис, который честно пообещал самому себе, во имя всего святого, не заговаривать в этот вечер о Марадоне (в Барселоне) с Хромцом, подошел, встал прямо напротив него, вплотную к стакану, показал своим толстым, грязным пальцем метиса на газету, на фото кумира: подошел, и пряча, пряча свою зубочистку, которой начал пользоваться еще прошлым январем, подошел и сказал великому ненаказанному убийце, хромоу ризничему:

– Этот ублюдок заколачивает столько, что можно построить новую больницу для детей. Кроме того, поезжай в Барселону, наведи там шороху. Кроме того, пусть он сцепится с нами, с аргентинцами, с журналюгами, пусть один раз услышит правду! Кроме того...

– Кроме того!.. – прервал его излишняя бледный Мистер Хромоног – кроме того, я схвачу тебя, накину на горло платок из мягкого газа (*сорвалось: тайное желание*), набью тебе морду (тут же *исправился*), давай, грязный пидор, сын шлюхи (*это нарочно, чтобы тот забыл про платок из мягкого газа*), убирайся вон, шевелись, вон, дерьмо, пизда твоей сестры, кроме того, кроме того, ты мне отсосешь, жирная задница, зад вдвое больше головы, выставь его за стойкой, и пусть тебя отымеют; хоть бы залез на свою жену, бедная донья Клеменсия, связа-

72 Он, который не ковылял никогда, который умел сдерживаться, даже когда его звали бархатные колокола прихода (*прим. автора*).

лась с таким уродом, и как только у тебя, педрила, дети народились, кроме того...

Между тем. В заднем помещении лавки донья Клеменсия встала на колени перед Бето Бертоли, своим старшим сыном, вторым призером среди любителей-тяжеловесов Буэнос-Айреса (направление Корея–Рио-Браво). Донья Клеменсия встала на колени перед обожавшим ее сыном – помешать ему отправиться в бар и нокаутировать, только чтоб раз и навсегда, этого жополиза при священнике, этого проклятого бесстыдника, этого хромого ризничего. Не стоит говорить, что донья Клеменсии это удалось. Не собирался, с другой стороны, и сам Бето Бертоли выбрасывать на помойку свою только начатую, но уже блестящую боксерскую карьеру, погубить себя, оторвав, кроме того, голову, ризничему, кроме того, неграмотному, кроме того, не умеющему писать, кроме того, – чтобы нарисовалась физиономия этого типа – который, кроме того, покупал каждый день газету, притворялся, как мальчишка, поистине – как бы сказать? – *кокетливый*, кроме того; и если бедняк обречен узнавать по радио и ТВ о царственной, величавой и священной поступи мира, который с каждым днем все современнее, и с каждым днем все сложнее – сложнее – какую ценность может иметь мнение такого типчика, который, кроме того, никогда не сможет прочесть серьезной газеты? Бето Бертоли махнул рукой – пусть живет. Бето Бертоли, который (кроме того) уважал затейника из Луна-парка Тито Лектуре больше, чем родного отца, а это кое-что значит, и больше того: много значит.

(((На что мы можем
махнуть рукой –
это счастье. Счастье,
в те дни,
это голливудские похороны
Грейс Келли, принцессы Монако –
пятящейся куклы;
чуть раньше, наспех –
немного –
хоронили Фассбиндера.

Он был гомик и наркоман –
закоренелый;
Он был революционер и великий актер.
Май 68-го жив –
находим,
находим его следы.
И как он
– как он, живо –
бушующее пламя
(чтобы не оставить от жизни
один догорающие угли) –
как он, живо
аргентинское
17-е октября
навсегда)))

17-е октября неумолимо приближается. Оно встретит меня, и я не виню себя за это (кроме того), обернутый, как луковица – шелухой. В риторический вопрос. Техника поэмы в прозе не заботит меня: я владею ей, как лоном своей матери, я держу ее в кулаке, держу. Техника, которая меня заботит уже немало времени (с мальчишеских лет, сколько помню), – это техника прозы. Обрубленной.

Я вагнерианец-пост? абстрактный экспрессионист? гегельянец, угрызаемый совестью за свою повелительно-рабскую любовь к «Мартину Фьерро», моей великой хартии, моей национальной конституции? (Не строй иллюзий, дурень. Ты прошел через многие книги, написанные и прочитанные тобой. Ты прошел через революции и войны. Через Европу и Америку, и «Америку» тоже. Ты теперь – экс-Мальвины, как раньше был экс-Вьетнамом. Ты теперь белокожий. Ты знаешь, что «Мартин Фьерро» содержит правду, всю правду. Но в этом-то все зло, и чтобы обнаружить его, надо пройти через революции и войны. Обнаружить и не знать, что ответить, ибо, возможно, *нечего* ответить, ибо, не исключено, ответить нечего. Кроме безумия, кроме недуга, нет ответа, как горим мы тут (искусство – не ответ, уже нет: после Селина мы знаем, что искусство – это творение – превосходное – издателей,

торговцев, продюсеров всех сортов и всех видов и пород). Короче, зло именно тут – злой, тошнотворный запах:

«правда»

«вся правда»

тот Субъект. Ты теперь бывшая жертва бойни в Ливане, и ты оставил его напоследок, размышление об антисемитизме – снова Селин, – которого ты не сделаешь, ты оставил его напоследок. Или *приберег* напоследок). Вагнерианец? Абстрактный экспрессионист? Марксист-ленинец-фрейдист? нет! – *иранский перонист*: революционное движение всегда возражается благодаря непорочной матери, – *иранский перонист*. Фашизма, но «мексиканского фашизма», – как просил Антонен Арто у Батая, который не брался за такие вещи (Масотта, Оскар⁷³) и никогда не будет. Он, бедняга Батай, слишком ручной для этого. Да, об испорченных: об испанских «философах» и о Чоране, для начала; *для начала*; «Мартин Фьерро» – наша Великая Хартия и наша национальная конституция, слова которой высечены, выжжены в камне гением. К счастью и к несчастью, Хосе Эрнандес – это Моисей. Он пришел из Египта, и, возможно, из-за этого, из-за языкового вопроса, у него была одна-единственная тема: Слово.

Итак, сегодня 16-е, 16-е октября. Дождь идет, превращая все в сплошное болото. Или в лужу, откуда нам квакают те, кто уже барахтается в ней (*Ленин*). Дождь идет, превращая все в трясину: пахнет плохо. *Гниение истории* – тоже ленинская теория. Теперь я понимаю. Невинно, ребячески (если не шизофренически) я направляюсь на берег Атлантики, в Мар-дель-Плату. Я бегу из Буэнос-Айреса (отель «Астор», больница Архерич). Бегу из Риачуэло, с берегов пресного эстуария Рио-де-ла-Платы, о, если бы я был. Если бы я был животным. Сестра Ницше хотела отвезти его – своего брата Ницше – в Парагвай. Но объединенное аргентинско-бразильское войско разорило Парагвай. Тотальный геноцид, и умный, такой умный, что не попал в европейские книги, такие умные. Ливанские события – нежности, легкие разногласия, если

73 Оскар Масотта (1930–1979) – аргентинский психолог, автор книг по психоанализу.

взять, что было там; там... тут встает вечный вопрос, цивилизация или варварство, и вот показательно: цивилизация восторжествовала, там... последнее сражение парагвайцы дали при Серро-Корá⁷⁴, его дали... парагвайские дети... фальшивые бороды, или намалеванные сажей, – театральные трюки в надежде... в надежде... что гиены решат, будто перед ними настоящее войско, задержатся на несколько часов для приготовлений к бою и дадут детям убежать... напрасная надежда, надежда напрасна... и была повальная резня, хороший ребенок – мертвый ребенок... ребенок и мертвый! изнасилованные женщины, но какого черта, почему только изнасилованные? нет, какого черта, изнасилованные – и зарезанные *до или после этого!* это вам не дурацкая европейская манера, цацканье, война для умственно отсталых... это вам не – ух! – монголы и не тамерлановские боины... нет (и нет), драгоценные мои... в те 1870-е каждый аргентинский отряд имел при себе *профессионального* резателя. Генералы и чиновники, выпускники знаменитейших институтов, академий, университетов Старого Света, чик-чик по горлу, как бы сказать?.. мысль о «военнопленных»... как бы сказать?.. отталкивала их, Америка была землей свободы, была республиканской, Америка была демократической и республиканской, мысль о «военнопленных» казалась ей слишком ограниченной, тупой... европейской, в общем... лицемерной, непоследовательной... к тому же. Если в Европе, сердце мира, резали друг друга беззаботно и безнаказанно, то как же не покрыть себя славой на этих безлюдных равнинах? Что делать? Что делать, кроме как читать – в оригинале – Тацита и лорда Байрона? Жизнь в отеле – скука и отвращение.

Нет, *Серро-Корá*. Охота продолжалась: ведь то была операция по уничтожению. Театральное детско-юношеское войско было вырезано, но оставались Солано Лопес⁷⁵, его

74 Это сражение состоялось 1 марта 1870 года между бразильскими (4,5 тыс. человек) и парагвайскими (чуть более 400 человек) войсками.

75 Франсиско Солано Лопес (1826–1870) – президент Парагвая в 1862–1870 годах. Командовал парагвайской армией при Серро-Корá.

мать, его жена, его любовница, министры и остатки генштаба. Все пошли под нож. Выжила одна только мадам Линч, любовница Лопеса. Ей уже приставили нож к горлу (шрам остался потом на всю жизнь), когда она догадалась закричать: «Я англичанка!». Спасительные слова. На самом деле она была ирландкой, но в такие моменты разве не простительна мелкая ложь? Мадам увезли по реке в Буэнос-Айрес, где посольство Ее Величества, хоть и неохотно, позаботилось о ней. Затем мадам посадили на корабль и выгрузили во Франции. Остаток дней она прожила в Париже, неизвестно, на что и как. Ее похоронили на Пер-Лашез. Останки многих коммунаров, жертв кровавого расстрела, покоятся рядом с ее прахом. Кажется, Рембо к тому времени тоже умер. И что?

И что? Кому, на хрен, важно то, что важно? *Вы имеете в виду: тому одному, которому важно или должно быть важно.* Значит, начнем. Печально (прекрасно и печально), печально, что все мы знаем, что я имею в виду, что имеется в виду или должно иметься. «Домик белый, как снег». Тело белое, как снег (женское тело; мужского не существует, насколько я знаю). Голубые, фашистские глаза. Это почти легочное. Дышится, когда идет война. Когда случается «уголовщина». Иначе говоря, когда дает сбой – чуть-чуть, совсем чуть-чуть – механизм отказа.

УТРЕННЕЕ **(РАССВЕТНАЯ ВЛАГА)**

Завернувшись на ночь в шерстяную накидку, уже давно немодную, он проснулся с перерезанным – его же ножом – горлом, проснулся, умирая, как тот, кто при пробуждении глядит в небо, касается своей крови, умирает. Разновидность смерти; может быть, горизонт стал для него бледным. Конь – его конь, рядом, – стал для него бледным. Вдалеке стало белым-бело, – будто развернули роялистское знамя. Пальцами, почти уже искаженными агонией, он надавил на кончик ножа, высывавшийся из тела, пока не поранил себе нечувствительно подушечки пальцев. («Цветок, мы – «щепки от одного бревна»). Кровь собиралась в лужицы, но он наслаждался теплом своей

глубокой раны, смертным – как говорится – разрезом. Дух блуждает среди этих условных знаков. Дух говорит. Всякий может стать первым бессмертным. Его (трясина!) внутренности были открыты; он поглядел на кровь на свои пальцах (и усмехнулся – она была зыбкой, как далекий горизонт), бледную кровь: когда его собственный горизонт был здесь, вывалившись из его тела (такие привычные, такие свои) недоступный для взгляда, не желающий тебя видеть. Сегодня/никаких заупокойных звонов/ясный поток пробуждения. Дух среди этих условных знаков: сон – говорит он – это неслышная часть любого веселья. А вот звон сопровождает любой счастливый беспорядок; или не звон, а музыка, бречание дурацкого укулеле; и музыка продолжается, когда смерть сказала уже «все, конец».

Когда рассвело еще больше, выпив свой первый за день мате, мать и дочь занялись конем:

– Давай, лошадка.

Мать посмотрела на труп, но ничего не стала делать. Она окропила тело воздухом, что-то приборматывая при этом, словно по чьей-то просьбе:

– Здесь ночью занимались любовью. Чей-нибудь сон, конечно.

– А отец встал рано и один, – добавила дочь с загадочным взглядом.

Обе вместе, помогая друг другу с ножом, закололи коня рядом с владельцем имения.

– Не пей лошадиную кровь.

– Конечно, нет, мама.

Сын владельца имения пил молоко (утреннее) за деревянным столом. Вошли мать и дочь, слегка забрызганные кровью после возни с конем. Мальчик слегка хромал после того, как его рьяно учили объезжать коней, желая сделать из него гаучо с ранних лет. Он волочил ножку с невероятной покорностью судьбе, – жертва беломордого жеребца.

– Папа умер, – прошептали женщины ему.

В каждом живом существе прячется хрупкий сосуд привязанностей, зеленый, вечерний. Но дело было утром, и влага оказалась рассветной. Укрываясь за платком, мальчик вы-

шел в поле. Он брел по бесполезной и бесконечной равнине, которая так нас очаровывает. Мальчик был одет старомодно: шаровары, яркие веревочные сандалии, берет, – как и полагается каждому гаучо.

Сопли уже покрывали его, как броней. Он втянул в себя побольше и испугался. Что в мозгу образуется сгусток. Или что живот приклеится к спине и станет похож на таз. Дьявол уже был там, в кроне дерева омбú, словно поджидая его (говорит дух):

- Что за мерзостный ребенок!
- Отвратительный!
- Да еще внебрачный!

Дьявол разразился смехом и исчез, со звуком, похожим на струнный перебор, от которого расстраиваются гитары. Вzbешенный мальчик стал пинать ствол дерева (здоровой ногой), и одновременно – глубоко внутри себя – бормотал: «Нет-нет. Сегодня я точно сойду с ума, у меня выйдет».

- *Сынок!* (говорит дух).
- Сынок! Убери с меня останки коня: даже под землей меня душит кровь гнедого!

Но как же сойти с ума? Сказать – одно дело, и другое – сделать! – и, само собой – быстро. Он попробовал приставить палец к виску, с силой нажал, покрутил. Ничего. То есть больно, но с ума не сошел, даже близко нет. (Подожду немного, подумал он, может, это подействует не сразу, вот и жеребец придавил меня утром, а хромать я начал вечером). Сойти с ума.

Когда он уже начал бредить, уже подзадоривал и подстегивал себя, как бы взбираясь на намыленный столб во время деревенского праздника, показался соседний латифундист, – он ехал на лошади без седла. То был опасный человек, особенно и прежде всего для детей: мальчика уже предупреждали об этом. А кроме того, по нему все можно было прочесть: он уже истекал слюной.

- Поехали, поехали со мной на берег, я покажу тебе австралийского пони.
- Нет, нет, нет!
- Хроменький красавчик!

Там, на берегу, живет конь-сказка. Интересно!

– Какой он, австралийский пони? У него на гриве ленточки, как у цирковых лошадок?

На берегу, у рассветной влаги.

Когда говорит безумие, – запомните это, – пампа наполняется смехом бесчисленных дураков. Они выходят со всех ранчо, в руках гулкие укулеле, плавящиеся от созвучий, пронзаемые эхом. Ветер побуждает их звучать.

В печальном убежище для безумцев под названием «Дали» оказался наш мальчик, по-средневековому прикованный цепью к железному кольцу, и он рвется оттуда.

Рассвет. Рассвет – это безумие, набитое решетками. Клетка из глины, кирпича, соломы. Круги «выслеживают», честное слово. В ушах скрежетал турникет губ. Неба касался бесконечный поток образов. Сосать до отвала, – но никогда не насосеешься. Вот сосок карточной колоды: на месте глаз у него теперь крысы. Насытившись плотью и кровью гнедого, они принялись за владельца имения: с удовольствием поглощают его лимфу, его бороду, – все, вплоть до высоких башмаков. Не торопясь. Австралийский пони / с перевязанной гривой / фыркает, скачет, пишет, читает, говорит, убивает.

– Сынок! Убери с меня останки коня: даже под землей меня душит кровь гнедого!

– Засов? О, пусть для меня он будет из серебра! Или из белого золота! Или, лучше всего, из коня!

– Грррива, – трещит сверчок, – грррива грррива.

Музыка просто так, ненужная музыка.

И опять говорит дух:

Серé и Ресорé, непонятные божества равнины. Мать и дочь, мягкая утроба. Отец, неузнаваемая гора мяса. На этом ковре – не совсем зеленом – пишут для тех, кто прочтет. Фраза за фразой.

И опять говорит дух:

Из влаги, или утренней росы, как водяная лилия, поднимается нечто, о чем молит моллюск/нога хромого мальчика (конечно же) вырванная. Она лежит в сосуде с позолоченным глазком и весит меньше червяка, вытянутого из земли пинцетом – вообразите – для выщипывания бровей у маски. Отец обожал его.

И опять говорит дух:

Завернувшись на ночь в шерстяную накидку, уже совсем немодную, я проснулся с перерезанным – моим ножом – горлом, я проснулся, умирая, как тот, кто при пробуждении глядит в небо, касается своей крови. Разновидность смерти; может быть, я соединился с бесконечностью.

ИЗ ПОЭМЫ «СЕБРЕГОНДИ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»

МАРКИЗ ДЕ СЕБРЕГОНДИ ПРИБЫВАЕТ И УЕЗЖАЕТ НАЗАД

Активный гомосексуалист, кокаиноман
(«терпения, задов и страха
у меня всегда было в избытке» – его слова)
маркиз де Себрегонди, бегущий от своих
руин, приплыл к нашим берегам
и бросил якорь в Буэнос-Айресе.
Я видел, как он показался,
ступая мелкими, размеренными шагами:
вперед, назад, обратно;
одежда его – маркиза – потерта,
в петлице – искусственный цветок;
дотлевают остатки его убеждений.
С севера Италии – легче пара – он прибыл сюда,
думая об этих домах,
о дымном Буэнос-Айресе.
Мы приняли его у нас, и началось:
отец повернулся и удалился,
почти удалившись уже в полуобороте
в этом повороте на стуле.

И – в другом ключе, в другом пространстве –
почти говорящий жест:
худой пластмассовой рукой,
затянутой в кожаную перчатку,
маркиз охватил подбородок:
скрипящий, смиренный сеньор в потертой одежде –
здесь, на Ла-Плате, его пристань, пристанище,
его стан, средь воды и глины;

искусственный жалкий цветок упал
на вышитую скатерть,
и – словно потускневшие камни в кольцах –
бесцветными в его пальцах казались
столовое серебро, опал, сигара.

Укрывшись за сигарным дымом,
он, много чего знающий и ценящий, признался:
«Никакие стихи уже не смогут меня поразить,
и все же
и все же
и все же
я не приехал сюда –
сюда я не приехал –
затем, чтоб занять чье-то место:
мои речи, полусонные, сверкают,
но это – сверкание осколка, это –
шепот воспоминаний, шорохи
ушедшей эпохи».

Вот краснобайствующее пространство:
руины громко говорят,
на каждый обвал – свои слова.
Этого маркиз, однако, не сказал:
он лишь внимательно
слушал наше пустословие.
Маркиз, прибывший издалека,
сидел за нашим столом,
в хрупком кольце из нас, подперев голову:
равновесие судеб и слов.

Когда никто его не видел, в своей
никем-не-видимости маркиз раздувал ноздри,
в своей никем-не-замечаемости
пускал горькую слюну через уголки губ
вместе с остатками еды;
то ли жевал слишком усердно, то ли
желание его раздувалось при мысли
о чем-то заде.

У него был парень, любимый, они жили
где-то на севере, в грязной квартире –
кажется, в Ареналес-и-Кальяо.
Рассказывая о своих неудачах,
он порой подходил к зеркалу –
и, отпустив шутку, говорил:
«Я – Нарцисс, которого преследуют беды».

Он глядел прямо в зеркало,
вся надежда его была на трещины
в зеркале и мире: как будто в каждой
трещине открывался выход.
Он жил бы на треснувшей поверхности Луны,
будь там трещина таким размеров,
чтобы через нее бежать.

Но он не говорил, а может, и не слушал подобных
слов.

Круглоблестящая Луна вращалась вокруг него,
пустовеликолепная, кровавая
кеведовская Луна:
слова, которые он знал,
но уже не припоминал.

С тайным умыслом мы учили его говорить
на лунфардо.

Осколки принуждения к разговору,
понимаемого как насилие
и как культура / принуждение в слюнях на его роже.
Но в трещине, медленно, с хрустом, ползущей
по арго и языку,
в этой рубленой
прозе –
история маркиза. И наша.
Она не закончена.
Три монгола говорят в унисон,
с поднятыми непрозрачными глазами.
В разговоре –
пересуды, толки, присловья,

покорный цветок падает с лацкана,
сонно приземляясь в бокале вина:

здесь

дыхание отрицается –
только умереть. И заснувший маркиз
опрокидывает вино внезапно
искусственной рукой: рраз –
и на скатерти расцветает
еще один усталый цветок.

Риторика сна не знает.

Он в восторге от совершенства выпуклого,
звонкого падения. Перед зеркалом, тем же
зеркалом,

маркиз принюхивается, облизывается.

Он кладет белый порошок в канавку ключа
и смотрит, как отражение втягивает его в ноздри.

– Я Маркиз Дури,

потертый господин, собак съевший на этом,

верую в бога в форме

кадета, который подчинится

(в форме Военного лица)

моим прихотям, –

и глядится в зеркало.

Он все глядится, преследует себя. И видит,

увы, другие потертые лацканы,

ибо маркиз стар настолько,

что носит робдешамбр.

С непреодолимым античным влечением –

желание, хотение, вплоть

до этой неуничтожимой надменности, –

размеренными шагами направляется к комнате

Россано.

И вот эта сцена, это слово,

что мы не пропустим:

искусственная рука покоится на затылке мальчишки

который ожидает на кровати, лицом в подушку.

Маркиз расстегивает брюки, вынимает

тонкий пятидесятисантиметровый член,
весь из утолщений и перемычек. Начинает
ввинчивать,
проникать, несмотря на стоны.

Мы увидим эту сцену, это слово.
И не раз – слово-персонаж
появляется и исчезает.
Маркиз де Себрегонди, утомленный, глядит
в открытое небо.

МАРКИЗ ДЕ СЕБРЕГОНДИ УЖЕ НАПИСАЛ СТИХИ ИСКУССТВЕННОЙ РУКОЙ

Мы славно потрахались ночью,
но это продолжилось утром.
Это – что «это»? Темный кофе,
капли спермы, что ниспадают,
ниспадают потертыми драпировками
из преддверия зада.
Тот мальчик был сладким и аппетитным,
тот мальчик – его плоды
начинали гнить в его сердце,
он держал мой член во рту, опустив глаза,
темные глаза; ягодицы его были пухлыми,
небольшими; сердце билось в особом ритме;
гнилые плоды, кислые на вкус,
он приносил мне на язык,
хотя язык – не вместилище вкуса,
а другое преддверие.
Тот мальчик оголил ягодицы,
приняв мой член целиком
и тот дошел до самой непрочной вены его сердца.
И вот мой член снаружи, покрытый нечистотами –
его дерьмом: оно было синим,
все в бороздах и комках,
и пахло прямо передо мной: запах
кухни, подожженной на рассвете,
его мальчишеское дерьмо было синим, он смеялся
(лицом ко мне, пока я имел его),

а я ласкал его жесткие соски,
и его зад был пронзен, продырявлен,
пропахан моим членом,
и его аргентинский смех разжигал до предела
мое яростное желание растлить его.

Мой член, внутри него, покрытый нечистотами
был его членом во мне, проникавшим до самых
пределов,

до того уголка, где арфа уже не смеется.
До пределов, тот особый ритм моего сердца,
что соотносен с преддверием моего зада.
Это мальчик надевает на меня шпоры,
мы обмениваемся ударами наших хлыстов,
он хорош тем, что слушает меня только в моем
яростном желании:

я далеко, я пью кофе в глубине его век,
он проникает в меня, и созвучия моего сердца
вставлены в созвучия стертых, темных речей.
Это – созвучие; о, созвучие это. Сдержанное
неистовство мальчика
достигает меня из местности, которая позади меня
и созвучна мне:

толчок его члена – слог на моих губах,
он поднимает меня в воздух на своем члене,
я упираюсь лицом в потолок,
лицом – на нем желание и страх – обращенным
к белонебью,
наконец, обращенном к молчанию.

ПРЕПЯТСТВИЯ

Красный пес одиночества
занял свой столик в «Эстаньо» на углу Талькауано
и Корриентес,
и это совсем
другая история
не та что случилась в «Реймсе»
угол Монтевидео и Корриентес

красный
пес одиночества
был безупречным воином
рожденным в Сáрате.
И точил он свое копье
и точил он свое копье.

Повествователь
всегда рассказывает что-то одно
и не может рассказать другое
направляя
свой голос.

Пес
Красный Одиночества
жил в отелях
каждый день в другом.
И никто не говорил
ему
об усыновлении.
Любое имя
вымышлено.
Рожденный в Сáрате
спасшийся из вод Параны
едва не уступив
бурлению волн
Красный
кровь капала с его копья
красная человечья
кровь других павших воинов.
Красный пес одиночества
«Эстаньо»
«Реймс»

поднимается ограда и отступает вода
рассказчик мечтает быть неслышанным
со своей историей.
Поднимается ограда
отступает вода

отступает
Красный пес одиночества
разъярился
все возможно.

ПРОЛЕТАРСКИЙ РЕБЕНОК

С первых же шагов в жизни пролетарский ребенок страдает от принадлежности к эксплуатируемому классу. Он рождается в комнате, стены которой готовы рухнуть, и обычно с высоким наследственным содержанием спирта в крови. Пока родительница тужится при помощи старой, насквозь порочной знахарки, родитель – под звуки рвоты, заглушающие неизменные вопли роженицы, – напивается вином, густым, как грязь, покрывающая комнату.

Я рад тому, что я – не рабочий, что я не родился в пролетарской семье.

Отец, вечно пьяный и вечно на грани потери работы, дерет сына до крови, а если говорит с ним, то лишь для того, чтобы заразить его человеконенавистничеством. Пролетарский ребенок еще ребенком начинает работать: он скачет от трамвая к трамваю, продавая газеты. В школе, которую он так и не закончит, одноклассники побогаче каждый день измываются над ним. Приходя к себе домой, в эту отвратительную конуру, он наблюдает, как его мать отдается окрестным лавочникам и тем поддерживает кредит семьи.

В нашем классе был один такой пролетарский ребенок.

Его имя было Кинтйн, но учительница младших классов прозвала его Кретином. Пинками под зад гнала она Кретина к директору, когда ребенок, шатаясь от голода, не понимал ее объяснений. Мы страшно веселились.

Само собой, буржуазное общество наслаждается, издеваясь над пролетарским ребенком, этим червяком, этим слизняком, выросшим среди всеобщего идиотизма и страха.

Бегут годы. Пролетарский ребенок превращается в мужчину-пролетария и не стоит ни гроша. Он подхватывает сифилис и тотчас же чувствует неодолимое желание жениться, чтобы увековечить болезнь в потомстве, на поколения вперед.

По наследству он может передать только свой шанкр и никогда не упускает случая сделать это. Он трется животом о свою сожительницу столько раз, сколько способен – и, благодаря некоей алхимии, пока что (а, может, навсегда) непостижимой для меня, из его семени получают сифилитичные пролетарские дети. Круг, порочный круг, тем самым замыкается.

Кретин в своих штанишках на одной подтяжке, с кипой газет под мышкой, шел в нашу сторону, не замечая нас, троих буржуазных мальчишек: Эстебана, Густаво и меня.

Отвращение к рабочим было у нас в крови.

Густаво чуть выдвинул вперед свой синий велосипед, загородив дорогу. Кретину пришлось остановиться; он поглядел на нас с тревогой, точно спрашивая глазами, какое унижение предстоит снести на этот раз. Мы тоже пока не знали этого, но для начала подожгли газеты и вытрясли из рваных карманов Кретина вырученные за них деньги. Кретин глядел на нас: его лицо побелело от ужаса.

о этот белый цвет, цвет ужаса, цвет ненавистных лиц, гнусных пролетарских харь: лишь бы он появлялся и не исчезал – мы отдали бы за это наши разноцветные дворцы, где царствовал золотой цвет.

Толкая Кретина руками, пиная ногами, мы загнали его в мелкую лужицу. Кретин упал ничком и стал барахтаться в воде, лицо его облепила грязь. Мы принялись безумствовать – чем дальше, тем больше. Лицо Густаво исказилось от мучительного удовольствия. Эстебан протянул ему треугольный кусок стекла. Все мы втроем плюхнулись в лужу. Густаво, высоко подняв руку с куском стекла, подошел к Кретину и посмотрел ему в глаза. Я держался за собственные яйца, страшась близкого, с воплями, мучительного удовольствия. Густаво рассек Кретину лицо, сверху вниз, и затем вонзил стекло глубже. Эстебан и я орали. Густаво поддерживал правую руку левой, углубляя надрез.

Давай, Густаво, давай.

Как мы хотели бы умереть в такой вот момент, когда наслаждение и месть переплетаются и достигают высшей точки.

Ибо наслаждение призывает наслаждение, призывает месть, призывает достичь высшей точки.

Ибо Густаво, казалось, орудует шпагой, зеркально блестящей под солнцем, ранящей и нас – наши глаза, наши органы наслаждения.

Ибо наслаждение предписывалось получить за счет того, что пряталось под этими штанишками на одной подтяжке, потертыми и грязными.

Эстебан сорвал их, и нам явились голые ягодицы пролетарского ребенка, жалкие и тощие. В них скрывалось наслаждение, предписанное нам, и Эстебан, наш Эстебан одним рывком сорвал грязную подтяжку. Однако первым сверху навалился Густаво; он первым набросился на хилое тельце Кретина. Густаво поведет нас во взрослую жизнь, и за этим последуют годы несчастной, исковерканной страсти; Густаво первым вонзил стекло туда, где начиналась щель между ягодиками, и удлинил ее. Кровь под лучами солнца весело брызнула вверх и вниз; задний проход сам собой увлажнился, точно желая облегчить нам затеянное. И опять Густаво первым проткнул его своим членом, огромным для парня его возраста и слишком острым для занятий любовью.

Мы с Эстебаном еле сдерживались в беспокойном, безнадёжном молчании. Мы с Эстебаном. Каждый с набрякшим членом в руке ждал, ждал, в то время как Густаво продолжал свои рывки, пронзая Кретина, а тот не мог кричать, не мог даже кричать, потому что рот его был крепко впечатан в грязь мочевой рукой Густаво.

У Эстебана от беспокойства свело живот; приступ рвоты – и вот у него изо рта изверглось что-то и упало к моим ногам. Это была великолепная, роскошная безделушка, составленная из множества блестящих, сверкающих на солнце частей. Я нагнулся, поднял ее и проглотил. Эстебан понял меня: то было братание. Он кинулся ко мне в объятия. Я спустил штаны и стал тужиться. Наконец, из моего зада выпала переливчатая безделушка, слепившая глаза. Эстебан съел ее, и я бросился к нему в братские объятия.

Между тем Кретин задышался в грязи, член Густаво раздирал глубины его зада – и вот Густаво издал вопль наслаждения. Невинное, законное удовольствие!

Мы с Эстебаном поспешили к грязному, брошенному телу. Эстебан погрузил в него свой член, глубоко в зловонные недра, а я через подошву веревочной сандалиии вонзил пробойник в ступню. Но не остановился на этом – иначе все было бы слишком уныло. Я отрезал Кретину, один за одним, запачканные пальцы ног, вонючие пальцы – ему они были уже без надобности. Больше никакой беготни, беготни и скакания по вагонам, желтым трамвайным вагонам.

Настал мой черед, но я не хотел входить в зад.

– А ну-ка, пососи, – прохрипел я.

Эстебан дышал все шумнее, завершая свое дело. Я ждал, когда мой приятель кончит, когда лицо Кретина оторвется от грязи, чтобы он мог пососать мне; но надо было вооружиться терпением. Я много чего успел со своим пробойником, пока садилось солнце и опускался синий сумрак. Я проделал довольно широкую дырку в ступне Кретина, так что оголилась жалкая, тонкая кость. Кость как кость; другое дело, что кости Кретина были непохожи на все остальные. Я рассек ему руку и увидел еще одну. Скрюченные пальцы намертво погрузились в глину, Эстебан же был близок к вершине наслаждения. Я снял с себя алый галстук и примерился к шее Кретина. Четыре рывка, быстрых и мучительных, но пока еще не предвещавших тот самый первозданный, серебристый конец всего: смерть. Все еще уклоняемся и – в буквальном смысле – выжидаем.

Густаво, в свою очередь, заорал, чтобы ему дали тонкий батистовый платок – вытереть жидкий кал Кретина, запачкавший ему розовую, заостренную головку. Кажется, Кретин обкакался. Член Густаво, заметим в скобках, был огромным и напористым. Он двигался совершенно независимо, сам по себе, так, и вот так: вперед, на приступ, тараним! Ко всему прочему тонкие края его щелочки широко раздвинулись, словно член был готов прямо сейчас, без промедления, завывть. А солнце садилось, оно садилось, *садилося*. Нас освещали его последние лучи среди надвигающегося синего сумрака. Все, что надвигается, все, что двигается, туда-сюда, туда-сюда, входит-выходит, все, что двигается... Густаво, бледный, глядел на умирающее солнце и требовал тот самый вышитый батистовый платок, материнский платок. Чтобы он заткнул-

ся, я дал ему свой, на котором было вышито величественное лицо моей матери, окруженное сверкающим ореолом, точно какими-то лучами, свой платок – сколько лет я вытирал им слезы, а затем впервые с трепетом кончил на него.

Ибо месть призывает наслаждение, а наслаждение – месть, но тут подойдет не всякая вагина; и лучше обойтись вообще без нее. Густаво вытер свой напористый наконечник батистовым платком и вернул мне его, запачканный красным и коричневым. Я вмиг вылизал ткань, так что вновь показался величественный образ матери, с жемчужным ожерельем на шее, о-о. С ожерельем на шее. Именно так.

Эстебан отдыхал, кончив, и глядел в небо; настала моя очередь. Я подошел к Кретину, к этой фигурке, наполовину погребенной в грязи, и перевернул его ногой. На лице у него блеснула кровь из раны, нанесенной куском стекла. На рахитичном тельце мертвенно-лилово светился пупок. Руки и ноги были скрючены, словно после всего, что случилось, он еще пытался уберечься от нападения. Надо было беречься раньше; но, выходец из своего класса, он не смог. Я сделал ножом новый разрез, начиная от пупка. Пальцы рук Кретина окрасились красным. Настало время действовать жестче: двумя – всего двумя – точными движениями я выколол ему глаза. Густаво свистнул от восхищения, а Эстебан опустил руку, которой, точно козырьком, заслонялся от солнца. Я нагнулся и приставил свой член к губам Кретина – тот слабо дышал ртом. Взяв воображаемый хлыст, я несколько раз хлестнул его по лицу, так что повисли лоскуты кожи. Я отдал краткий приказ:

– Оближи его. Соси.

И Кретин принялся сосать, несильно, словно опасался причинить мне вред, что усиливало удовольствие.

Теперь о другом. По правде говоря, смерть никогда меня особо не трогала. Те, которых я любил и кто потом умер, – включая друзей, – уходя из жизни, доставляли мне отчетливое облегчение. Это как белое пространство, которое расширяется, готовясь сковать меня холодом.

Белое пространство.

Белое пространство.

Белое пространство.

Но однажды оно захватит и меня. Моя смерть будет родами в одиночестве, и не знаю, сохраню ли я об этом память.

С холодной застекленной башни. С той, откуда я позже наблюдал, как рабочие тянут новую железнодорожную ветку. С башни, стоящей так прямо, как я никогда не буду стоять. Тела рабочих терпеливо сгибались под тяжестью грузов. Зрелище согбенной, согнутой смерти опустошило и скрючило меня. Я – тот, кто лишь вчера разговаривал: слушайте, что я вам говорю. Озлобление никогда не покидало меня, мои писания подтверждают это каждым словом.

При таком взгляде смерть пролетарского ребенка кажется вполне логичной и естественной. Кажется чем-то завершенным.

То, что осталось от Кретина, уже ни на что не годилось. Я ощупывал его, пока он мне отсасывал. Прикрыв глаза, я – на пороге высшего наслаждения – мог ощутить, что все надрезы нанесены с абсолютной точностью. Солнце скрывалось, последние лучи его гасли на горизонте, день умирал. Я с размаху опустил свой кулак на сплюсненную голову этого животного, Кретина; он все отсасывал. Нетерпеливые Густаво и Эстебан хотели, чтобы все наконец уже закончилось: исполнить приговор! Я взял Кретина за волосы и встряхнул его голову, чтобы приблизить кульминацию. Я не мог ничего делать, пока не развязался с этим. Я ввел ему в рот нож, чтобы мой член почувствовал холод металла – и кончил от одного этого прикосновения. И вот сплюсненная голова животного упала в грязь.

– Надо задушить его по-быстрому, – сказал Густаво.

– Проволокой, – подхватил Эстебан, – там, на немощеной улице, где живет всякий сброд.

– Пока, Кинтин! – бросил я.

Мы дотащили обмякшее тело до выбранного места, нашли проволоку. Потянув за концы, Густаво весело задушил его при свете луны. Язык свесился наружу, как это всегда бывает при удушении.

Перевод Владимира Петрова

*Михаил Осокин***ВНУТРИ «ПРОЛЕТАРСКОГО РЕБЕНКА»**

Desde que empieza a dar sus primeros pasos en la vida, el niño proletario sufre las consecuencias de pertenecer a la clase explotada/С первых же шагов в жизни пролетарский ребенок страдает от принадлежности к эксплуатируемому классу. – Рассказ о положении рабочего класса в Аргентине начинается как переписанное с аристократической брезгливостью «Положение рабочего класса в Англии» (1845), излагавшее теорию обнищания Маркса. Детали пролетарских «очагов грязи и нищеты» (разрушение домов, мусор, «пьяные бесчинства», последствия безработицы, матери, обреченные на проституцию и т. п.) Ламборгини, само собой, знал без Энгельса, но ПР и композиционно корреспондирует в прологе трактату классика марксизма: «Перейдем, однако, к более подробному исследованию того положения, к которому социальная война приводит неимущий класс <...> Начнем с жилища».

Nace en una pieza que se cae a pedazos/Он рождается в комнате, стены которой готовы рухнуть. – Пролетарский ребенок рождается в «развалюхе» – грязном («la mugre de su miseria» – «грязь его нищеты») и разваливающемся жилище, состоящем из одной комнаты (ср., кстати, у Энгельса: «Жилища беднейшего класса в общем очень грязны и, по-видимому, никогда не подвергаются никакой уборке. В большинстве случаев они состоят из одной-единственной комнаты»). С этого момента с «ребенком пролетария» связываются тема «обломков», «кусков» и мотивы «разъятия», «распадения», «разделения на части». Комнате, которая разваливается на части, корреспондируют его «останки» («despojos») – «части», «куски» («pedazos»), которые от него останутся после мести детей буржуа (Raia 2006, 1). Образ отсылает к идее насилия как политики расчленения-раздробления тел (см.: García 2003; Acusa 2003), откуда, кстати, основоположная метафора «Фьорда»:

фьорд – трещина в скалах, затопленный морем тектонический разлом, образовавшийся экзарацией (ледниковым выпахиванием) обломками горных пород. Рифмовку начала истории ПР с ее финалом скрепит семантический ряд из фетального алкоголизма и наследственной венерической болезни, провоцирующих тему «деформации и разрушения тела» (символический метасюжет первой, «теоретической» части истории, который «практически» воплотится во второй).

generalmente con una inmensa herencia alcohólica en la sangre/обычно с высоким наследственным содержанием спирта в крови. – Пролетарский ребенок должен рождаться с деформациями тела: фетальный алкоголизм коннотирует эмбриофетопатию и соматические уродства. Последние, становясь врожденным свойством, – в духе уроков натурализма, – приписываются особенностям биологического вида «пролетария». В ПР еще при жизни Ламборгини была опознана пародийная инверсия продукции группы «Боздо» (о пародийной связи ПР с текстами Кастаньюно, особенно, с «Червяками», см.: *Rubione 1980, 27–30*). Ламборгини утверждал, что главным врагом был не столько Кастаньюно, сколько Рауль Гонсалес Туньон и вся ультралевая литература. Помимо аргентинских натуралистических интертекстов (в т.ч., Эухенио Камбасереса см. *Fernández 1993, 414–415* и т.д.), в ПР выворачивается наизнанку весь аргентинский натурализм, где преступления совершаются обычно пролетариями (*Rosano 2003, 19*) и подвергается утрировке натурализм как метод. В еще более широкой перспективе ПР диссонирует всему неореализму, веризму и неисчисляемым «социалистическим» историям о социосексуальном бунте пролетариев против буржуа, получивших мощную колониальную подпитку: даже если не считать эротических фантазий Доминик Ори в «Истории О» (1954), к этому времени накопилось множество историй о неграх, которые для подавления комплексов расовой неполноценности или из мести за социальную обделенность насилуют (или пытаются изнасиловать) белых женщин, начиная с «Я приду плюнуть на ваши могилы» Бориса Виана (1946), «Человек, убитый тенью» Ричарда Райта (1946), «Убить пересмешника» Харпер Ли (1960), и заканчивая продукцией

негритянских писателей 60-х годов типа «Сиппи» Дж. Килленса (1967), «Другая страна» Джеймса Болдуина (1967), «Душа на льду» Лероя Элдриджа Клэвера (1968), см., в т.ч.: *Brazil Jana Evans*. Trans-American Constructions of Black Masculinity: Dany Laferriere, le Negre, and the Late Capitalist American Racial machine-desirante // *Callaloo: The Johns Hopkins University Press*. Volume 26, Number 3, Summer 2003. P. 867–900. Тогда же фетиш начинает осваиваться порнографией [так что роман «Это я – Эдичка», вышедший в Париже в конце 1980 под заглавием «Русский поэт предпочитает больших негров», ассоциировался целевой аудиторией не с «книгой о Мэрилин Монро «Джентельмэны предпочитают блондинок»» (Автор. *The Absolute beginner*, или Правдивая история сочинения «Это я – Эдичка» // *Лимонов Э. Это я – Эдичка: роман [= «Глагол», 2 (1990)]. С. 327*), а, скорее, с порнухой Жан-Даниэля Кадино «*Les Hommes préfèrent les hommes*» (1981)].

Me congratulo por eso de no ser obrero, de no haber nacido en un hogar proletario/Я рад тому, что я – не рабочий, что я не родился в пролетарской семье. – Это первое заявление о социальном статусе нарратора. В ПР, по словам Ламборгини, создан «манифест буржуазного дискурса» – «*volver manifiesto lo que sería el discurso de la burguesía*» (*Lamborghini 1980, 48*) – что, понятно, исключает проникновение в зону повествования всякой посторонней морали, кроме той, которую проповедует ребенок буржуа. В том, что одному из насильников доверено рассказывать историю, есть все основания увидеть выражение насилия в языке: жертва лишается даже права на речь (*Rosano 2003, 20; Ronsino; Salinas 2005, 10–11*). Подчиненные и отверженные должны молчать – это первое и необходимое условие. Запрет на язык беспрекословно соблюдается во второй части истории. Безмолвие – еще одно постоянное означаемое «пролетарского ребенка», которому позволена только мимическая и кинестетическая коммуникация: он спрашивает взглядом («*inquiriendo con la mirada*»), какое еще унижение для него придумано; издевательства переносит молча, «бледнея от страха»; во время изнасилования, когда ему распиливают ногу, он не может кричать от боли, потому что рот заполнен грязью; беззвучно дышит ртом («*Conecté*

el falo a la boca respirante...»); последним средством затыкания рта становится оральный секс. Понимание слова как кастовой привилегии в оргии унаследовано, видимо, у Д. А. Ф. де Сада. Не исключено, что Ламборгини читал не только «120 дней Содома» (1785), впервые напечатанные в 1904, но и работу Ролана Барта «Сад I» (1967), опубликованную дважды, в т. ч. в ПСС Сада. Во всяком случае, если у де Сада есть препирающиеся жертвы или даже жертвы-нарраторы (типа Жюстины), то у Ламборгини дети буржуа присваивают права на слово полностью, иллюстрируя бартовский тезис: «Господин – это тот, кто говорит, что полностью располагает речью, объект – это тот, кто молчит, кто лишен всякого доступа к речи, поскольку не имеет даже права воспринять слово господина <...> Отрезанность от слова оказывается более абсолютным увечьем, нежели все эротические пытки» (Барт 1992, 201–202), ср. интервью Ламборгини, где он отпирался от влияния Барта («Ни Барта, ни Тодорова, ничего подобного не было») на ПР, так же, как от знакомства с психоанализом (Lamborghini 1980).

y cuando le habla es sólo para inculcarle ideas asesinas/a если говорит с ним, то лишь для того, чтобы заразить его человеконенавистничеством. – Если расчленение и изувечение кодируются на пропозициональном (глубинно-семантическом) уровне, то здесь дана косвенная логическая мотивировка убийства: поскольку в этом «отвратительном логове» из пролетарского ребенка растят убийцу, значит он представляет «потенциальную опасность для буржуазного класса», поэтому «рассказчик «Пролетарского ребенка» видит в смерти Кретина акт правосудия, мести и удовольствия» (Raia 2006, 9). По мысли М. Райа, отчужденность двух миров, заявленная в прологе, войдет в конфликт новеллы, который может быть разрешен только смертью: «хочется сказать смертью одного, но в логике «Пролетарского ребенка» эта возможность отсутствует, так как дети буржуа имеют естественное право убивать и пользоваться (gozar) пролетарского ребенка» (Raia 2006, 10). С. Росано тоже указывает на этот пассаж как на «оправдание» убийства (Rosano 2003, 21). Кроме того, тут слышатся отзвуки теории дегенерации Бенедикта Августина Мореля, выводившего этиологию «нейрастении» преступни-

ков из бедности, болезней и отравлений, или наследующей ей теории Чезаре Ломброзо об антропологическом «преступном типе». Нарратор переносит атавизмы преступного человека на «пролетариев», перечисляя психофизиологические аномалии, по Ломброзо, – алкоголизм, патологическая асоциальная активность, результатами которой становится сексуальная невоздержанность и аморальность, а также повышение болевого порога и неимоверная живучесть, свойственные, кстати, и пролетариям из «Фьорда».

Desde niño el niño proletario trabaja, saltando de tranvía en tranvía para vender sus periódicos/Пролетарский ребенок еще ребенком начинает работать: он скачет от трамвая к трамваю, продавая газеты. – Строппани – разносчик газет, «canillita» в латиноамериканской литературе – филиация устойчивого типа потенциальных малолетних уголовников. Криминализация образа «разносчика газет» зачисляется на счет Флоренсио Санчеса (1875–1910): «Начиная с Флоренсио Санчеса, разносчик газет связан с криминалом, с сатирическим насилием у Тартарина Мореиры, а также с гротескным и даже более существенным насилием; эта [традиция] будет продолжена «Червяками» анархиста Элиаса Кастельнуово и достигнет кульминации в «Пролетарском ребенке» Ламборгини» (*Ludmer Josefina. The corpus delicti: a manual of Argentine fictions. Translated by Glen Steven Close. University of Pittsburgh Press, p. 284, n. 32; подробнее об этой традиции репрезентации «несчастливых детей» в аргентинской литературе см.: Barona 1999*). Помимо этих коннотаций, у Ламборгини перепрыгивание малолетнего живчика-пролетария из трамвая в трамвай аналогично легкости, с какой повзрослевший пролетарий будет оставлять сифилитическое потомство. Глагол *saltar* с «фрикционной» семантикой («выскакивать, вылетать», «лопаться, взрываться», «бить ключом, фонтанировать [violentemente]», «выплескиваться», «брызгать») метафоризирует эякуляцию. В пролетарском дискурсе «пронырливость» – устойчивое свойство пролетария и «неповоротливость» – свойство «буржуа» (самый запущенный из описанных в литературе случаев – барон Апельсин из антибуржуазной сказки Джанни Родари [1951]); в «манифесте буржуазного дискурса» неумной пролетарской мобильно-

сти, естественно, приписываются раздражающие и/или вредоносные свойства.

nino proletario, esa baba, esa larva criada en medio de la idiotez y del terror/пролетарским ребенком, этим червяком, этим слизняком, выросшим среди всеобщего идиотизма и страха. – Сравнение пролетарского ребенка с «larva» (личинкой или червем) отсылает напрямую к тексту «Червяки» (Les larvas, 1931) Элиаса Кастельнуово (1893–1982), с которым ПР соотносили неоднократно (от *Rubione 1980* до *Alabarces 2008*). «Червяки», основывающиеся на опыте работы Кастельнуово в исправительном учреждении для малолеток, – истории о жизни детей на улицах рабочих кварталов, – составляют часть парадигмы стигматизированных пролетариев в аргентинском натурализме. Во второй части новеллы Ламборгини это сравнение задним числом приобретает статус фрейдистской эмблемы садистского удовольствия.

En mi escuela teníamos a uno, a un niño proletario/В нашем классе был один такой пролетарский ребенок. – Матас Райа (Ун-т Буэнос-Айреса), которому начало ПР напомнило натуралистический постулат, предложенный Бальзаком в «Прологе к Человеческой Комедии» (о том, что «Общество подобно Природе», поскольку «создает из человека, соответственно среде, где он действует, столько же разнообразных видов, сколько их существует в животном мире», о соответствии социальной стратификации родовой классификации и т. д.), отметил тут натуралистическую типизацию: «описание индивида без точной идентификации» и обобщение-отождествление одного пролетарского ребенка со всеми пролетарскими детьми. Другие принципы натурализма – значение среды и семьи (пороки, которые пролетарский ребенок получает в наследство от родителей; мотив убийства по зову крови), пролетариат как биологический вид (Строппани – как особь, подопытная крыса трех буржуа), педалированный биологизм (основная активность пролетариата – размножение, т. е. животный инстинкт) и проч. (*Raia 2006, ibid*); такое их скопление в текстовом фрагменте ок. 2000 печатных знаков – несомненно пародийно. У этого вычленения («был один такой») есть метафорический смысл: пролетарий как класс репрезентирован

болезненным коллективным телом (венерическим, испорченным алкоголизмом, копошащимся в грязи, подвижным и т.д.); кромсание тела пролетарского ребенка репрезентирует классовое насилие (рассуждения о понятии тождества и его реализации в ПР см.: *Giorgy 2004, 141–145*, ср. о «медицинском языке» ПР как совершенной тавтологии: ребенок «повторяет совершенный цикл смены поколений как дегенерацию и, следовательно, уже реализует в своем „тельце“ категорию пролетарий, к которой оно принадлежит в силу того что воплощает ее и которую воплощает в силу того, что к ней принадлежит, и т.д.» – *Giorgi 2004, 140*).

Stroppani era su nombre, pero la maestra de inferior se lo había cambiado por el de ¡Estropeado! / Его имя было Кинтйн, но учительница младших классов прозвала его Кретином. – В оригинале: игра словами «Stroppani» – «¡Estropeado!» (изувеченный, испорченный, изуродованный, искалеченный, поврежденный и т.п.); я в свое время придумал для него дружную кличку: «Фамилия у него была Строппани, но учительница звала его Струпнем» (от струп – высохшие кровь, лимфа и гной, покрывающие поверхность раны), где есть, помимо семы «ранения», «повреждения», гипограмма «трупа» (Осокин М. «Пролетарский ребенок» Освальдо Ламборгини: поэтика группового изнасилования // Литература XX века: итоги и перспективы изучения. Материалы Пятых Андреевских чтений. М., 2007. С. 199). Фамилия Строппани не только дает повод для каламбура и апеллирует к натурализму (или, скорее, к веризму. – М. О.), но и выдает итальянское происхождение героя: Строппани – иммигрант (ср.: *Raia 2006, 3*), т.е. не только пролетарий, но еще и не местный, приезжий и всем чужой. Переименование Строппани имеет еще несколько объяснений. Во-первых, в нем заложен смысл «второго крещения», насильственного обращения. Строппани должен занять место в иерархии под новым именем: кличка придумана не сверстниками, а наставником, и дети повторяют установленный ритуал обращения с отверженным: учительница гонит его к директору, пиная коленом («A rodillazos llevaba...») – ровесники тычками и пинками загоняют в канаву («A empujones y patadas...»). Во-вторых, это проявление насилия в языке:

на «того, кто лишен возможности рассказывать свою собственную историю» ставится знак отверженного «властью буквы, написанного слова, культуры» (Rosano 2003, 20). Наконец, каламбур – еще одно дискурсивное проявление фатализма в ПР: буржуазный класс наделяет иммигранта пророческой кличкой. Эта «саркастическая оговорка» – «предвосхищение финала рассказа, набросок тела, которое подвергнется многочисленным смертельным мучениям» (Fernández 1993, *ibid*). «Estropeado» конспективно рассказывает практически всё о дальнейшей судьбе Строппани.

Como la única herencia que puede dejar es la de sus chancros jamás se abstiene de dejarla/Его шанкр – единственное наследство, которое он может после себя оставить, и он нипочем не удержится, чтобы его не оставить. – «Венерические заболевания» задают тему медленного разложения тела при жизни. Врожденный шанкр, коннотирующий мацерацию и некроз тканей, разрушение, исчезание плоти (такие, например, осложнения твердого шанкра, как фагединизм и гангренизация; гуммы, вскрывающиеся через кожу), рифмуется с эпизодом свежевания пролетарского ребенка, предвосхищая сцены обнажения костей на руке и ноге. Кромсание и разъятие в финале манифестирует процесс разложения тела, который неминуемо произойдет: дети буржуа просто катализируют его. «Буржуазный дискурс», последовательно утверждая идею расчленения, обрекает ребенка на смерть и готовит к выводу: «смертельная агония пролетарского ребенка – совершенно логичное и естественное явление. Это – замечательное явление».

La excreción de los obreros también nosotros la llevamos en la sangre/Отвращение к рабочим было у нас в крови. – Пассажем имплицитно задается антитеза: буржуа «несут в крови» ненависть к пролетариям вместо алкогольного (это очевидная отсылка к «alcohólica en la sangre» – алкогольному наследству) и венерического наследства, причем переносчиком венерических болезней делает пролетария его активность (в т. ч., сексуальная). На основе признака имплицитно задается еще одна антитеза, в которой слышится отзвук фрейдовской мысли о сексуальной несвободе буржуазного класса. Сема венери-

ческой болезни для «буржуа» нерелевантна еще и потому, что, как заметил Борис Долгин, наследство – это результирующая убытков и прибылей, болезней и лечения, здесь же баланс формируется только убытками-болезнями (иначе говоря, заражение «буржуа» сифилисом возможно, но тут же может быть компенсировано возможностью лечения, которой нет у «пролетария»).

Hace cuantas veces puede la bestia de dos espaldas con su esposa ilícita/При первой возможности он превращается со своей сожительницей в животное о двух спинах. – Это еще один натуралистический сигнал в ПР: «пролетарский», «преступный человек», символически уравнивается с животным, а в финале вовсе с ним отождествляется: «Descargué mi puño martillo sobre la cabeza achatada de animal»/«Как молотом, я двинул по сплюсненной голове животного»; «Entonces dejé que se posara sobre el barro la cabeza achatada de animal»/«Тогда я позволил, чтобы сплюсненная голова животного упала в грязь». Фразеология, может быть, даже напрямую подхваченная из «Гаргантюа и Пантагрюэля» («la bête à deux dos») или из «Отелло» («the beast with two backs» – I, i), призвана оставить след «образованности» в модели «буржуазного дискурса». Так формируется скрытая антитеза недоучившийся пролетарий vs начитанные буржуа, нагнетающая эффект социальной несправедливости: Строппани должен молчать еще и потому, что ему нечего сказать.

y así, gracias a una alquimia que aún no puedo llegar a entender (o que tal vez nunca llegaré a entender), su semen se convierte en venéreos niños proletarios/и, благодаря некоей алхимии, пока что (а, может, навсегда) непостижимой для меня, из его семени получают сифилитичные пролетарские дети. – Пролетарская венерология отождествляется с алхимией (т.е. донаучным, рационально непостижимым знанием): врожденный сифилис считался одним из самых загадочных явлений в сифилидологии, поскольку не существует его эффективной диагностики, патогенез неясен, а симптоматика либо отсутствует, либо неспецифична (Larkin J. A., Lit L., Toney J., Haley J. A. Recognizing and treating syphilis in pregnancy // Medscape Womens Health, January, 3:1 (1998). P. 5). Опять взамен мед-

ленного, но неизбежного процесса разрушения тела предлагается прогрессивный и по-своему логичный; этот физиологический пассаж предвосхищает ряд патологоанатомических экскурсов из второй части новеллы.

venía sin vernos caminando hacia nosotros, tres niños burgueses: Esteban, Gustavo, yo/с газетами под мышкой приближался, не замечая нас, троих детей буржуа – Эстебана, Густаво и меня. – О принципиальной возможности биографического подтекста «Я» ср. один «литературный» эпизод из череды попок с Эдуардо Ф. Сильвейра: «Помню, однажды ночью, когда Освальдо говорил о пролетарском ребенке, среди присутствующих был наш знакомый журналист, которому Освальдо в слезах признался, что этим пролетарским ребенком был он сам... Помню еще, когда этот человек ушел, Освальдо сказал нам, что не был он пролетарским ребенком..., все это было разыграно специально для того, кто платил за бутылку виски...» (*Silveyra 2003*). Мемуарист отнес это в счет способности Ламборгини идентифицировать себя одновременно с палачом и с жертвой, ср. в одном из манифестов «Литераля»: «Identificarse con el proletariado = Regodearse con los sufrimientos de los oprimidos mediante la coartada masoquista de sentirlos, como diríamos, „en carne propia“» (*Literal 1973–1977. Bs. As.: Santiago Arcos Editor, 2002. P. 15; Strafacce 2008, 356*) – «Идентифицировать себя с пролетариатом = радоваться страданиям от его угнетения посредством мазохистского алиби ощущения [этих страданий], так сказать, «на собственной шкуре»». Неслучайно «палачи и палачествуемые» в галлюциногенной части «Фьорда» объявляются проблемой только для «трезвомыслящих» (типа Себастьяна, не допускаемого ни к еде, ни к оргиям).

Gustavo adelantó la rueda de su bicicleta azul y así ocupó toda la vereda. ¡Estropeado! hubo de parar/Густаво чуть выдвинул вперед свой синий велосипед, загородив дорогу. Крептину пришлось остановиться. – На основе признака «вредоносная мобильность» создается сюжетная рифма пролога со сценой террора: дети буржуа останавливают Строппани, еще не решив, как будут его унижать. Их единственная задача пока – пресечь «бесполезную», раздражающую активность снующего повсюду пролетария. «Прыганию по трамваям»

противопоставляется «степенность» и «вальжность», а передвижению пешком – езда на велосипеде. Тут скрыто содержится идея «обездвижения» пролетария, которая реализуется в сцене отрезания пальцев на ногах, с моралью: «больше никогда ты не будешь бегать, бегать и прыгать по желтым трамваям, из трамвая в трамвай».

y nos miró con ojos azorados, inquiriendo con la mirada a qué nueva humillación debía someterse/он поглядел на нас с тревогой, точно спрашивая глазами, какое унижение предстоит снести на этот раз. – С этого момента в текст начинает генерироваться эротическая фантазия, род «психического онанизма», цель которого – «самовозбуждение со стороны писателя и возбуждение со стороны читателя» (М. Н. Золотых). Марсело Салинас в докладе «Сексуальное насилие у Жене и Ламборгини: эстетика невыносимого» на семинаре «Механизмы желания» (20 мая 2005, Ун-т Париж-Х) сравнивал оргию у Ламборгини с оргиями у Жана Жене. Выводы вкратце такие: французский писатель понимает насилие как удовлетворение сексуального желания жертвы, в результате оно становится приятным и, соответственно, терпимым; Ламборгини, напротив, утверждает, что извращенное садистическое желание не может стать источником удовольствия, а логическим завершением оргии всегда является смерть. «...Жертва уничтожается насилием, которому подвергается. Она не может его избежать или сублимировать <...> Желание здесь (в прозе Ламборгини. – М. О.) испытывают лишь мучители. Это желание извращенное, жестокое и не способное вызвать отклик в жертве <...> в этих текстах пыткам нет конца... содомия, скатология и смерть связываются в бесконечную механическую последовательность <...> Секс, экскременты и кровь – раскрывают сущность этого ужасного мира» (Salinas 2005, 3, 9–10). Наблюдение М. Салинаса о том, что жертве изнасилования не нравится быть жертвой изнасилования, оригинально только в сравнении с «nouvelle morale» сексуальных фантазий Ж. Жене или с феминистской морфологией сюжетов массового хардкора (см., к примеру: *Goscilo Helena. Porn on the Cob: Some hard issues // Eros and Pornography in Russian Culture*. М., 1999. Р. 553–571 или любое другое феминистское сочине-

ние о порнографии), а безотносительно, наоборот, – банально: Жене просто воспроизводит распространенный эротический сценарий, согласно которому, изнасилование – реализация собственных желаний жертвы. Эта статья (одна из первых о Ламборгини во Франции) – пример того, как исследователь заглатывает нарративную наживку: М. Салинас с садистическим удовольствием выписывает в свою статью длинные сцены оргии, практически никак их не комментируя (*de facto*), занимаясь психическим онанизмом, на который провоцирует текст), а вместо выводов вспоминает о «жертвах военной диктатуры» (*Salinas 2005, 10–12*).

Nosotros tampoco lo sabíamos aún/Этого мы тоже пока не знали. – У Ламборгини изнасилования, как правило, – спонтанные и непродуманные. И пролетарии из «Фьорда», и дети в ПР импровизируют, в отличие, например, от участников либертинских оргий Сада, где эротические сцены упорядоченно организованы. Об этом писал тот же Р. Барт (*Барт Р. Сад-1 // Маркиз де Сад и XX век. М., 1992. С. 197–198*), несправедливо объявляя такую «распланированность» (распределение ролей загодя) едва ли не десадовским изобретением, хотя она встречается еще в античности (ср., хотя бы, «Лукий» Лукиана, 8–10). Сад как наследник эпохи классицизма рационалистичен, а Ламборгини примиряет Фрейда с натурализмом, отсюда – большое количество простоев и заминок: дети насиловуют Строппани по очереди, пока один занят – остальные бездействуют в ожидании, проводят время впустую. Единственное оправдание распорядка – указание на иерархию внутри коллектива: Густаво – неформальный лидер, поэтому ему принадлежит почин в оргии, и если нарратор (герой-идеолог, как выяснится ниже) находит занятие в «препарировании», то самый недисциплинированный участник, Эстебан, – довесок к групповому сексу, концептуализирующий эту неорганизованность.

pero empezamos por incendiarle los periódicos y arrancarle las monedas ganadas del fondo destrozado de sus bolsillos/но для начала подожгли газеты и вытрясли из рваных карманов вырученные за них деньги. – Фрейд и Маркс, которых Мишель Фуко называл «учредителями дискурсивности», «создали... возможность и правило образования других текстов»,

«установили некую бесконечную возможность дискурсов», «они сделали возможным не только какое-то число аналогий, они сделали возможным – причем в равной мере – и некоторое число различий» (Фуко М. Что такое автор? [1969] // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Пер. с франц. Светланы Табачниковой. М.: Касталь, 1996. С. 31, sqq). Именно за счет «различий, релевантных этим дискурсам», становится возможен такой синтез: символический отъем прибыли, разумеется, иллюстрирует идею буржуазного обирания пролетариата в марксистской экономической теории, но деньги тут же обесцениваются, по Фрейду.

oh por ese color blanco de terror en las caras odiadas, en las fachas obreras más odiadas, por verlo aparecer sin desaparición nosotros hubiéramos donado nuestros palacios multicolores, la atmósfera que nos envolvía de dorado color/o этот белый цвет, цвет ужаса, цвет ненавистных лиц, гнусных пролетарских харь: лишь бы он появлялся и не исчезал – мы отдали бы за это наши разноцветные дворцы, где царствовал золотой цвет. – Неравноценность такого бартера (право на садизм покупается в обмен на роскошь) манифестирует регрессию либидо на садистско-анальную стадию: дети буржуа освобождаются на время от навязанных им ценностей внешнего мира («золотым цветом»), обменивают их на удовольствие, а удовольствие на этой стадии сексуальности достигается, кроме прочего, от жестокости: «Получение удовольствия – главный жизненный принцип ребенка» (Фрейд Анна. Четыре лекции по психоанализу для преподавателей и родителей // Фрейд Анна. Теория и практика детского психоанализа. Том 1. М., 1999. С. 31). Ребенок калечит животных не потому, что не понимает, что причиняет им боль, а именно потому, что хочет причинить боль, и для этой цели маленькие, беззащитные насекомые – самые подходящие и наименее опасные существа» (Фрейд Анна. Четыре лекции по психоанализу..., с. 30); сравнение пролетарского ребенка с larva наделяется еще одним смыслом.

Chapoteaba de bruces ahí, con la cara manchada de barro/Кретин упал ничком и стал барахтаться в воде, лицо его облепила грязь. – «Жидкая грязь» составляет лейтмотив «Бойни» Эстебана Эчеверриа: «Дороги развезло, болота – хоть

переплывай, а на окраинах города можно было утонуть в жидкой грязи» (*Эчеверриа Эстебан. Бойня/Перевод К. Наумова // Аргентинские рассказы. М.: Изд. Иностранной литературы, 1957. С. 10*). Предельной конденсации грязь достигает на скотобойне Конвалесенсия: «Зимой загоны превращаются в настоящую трясику, где сгрудившиеся животные вязнут по брюхо, не в силах сдвинуться...» (*Эчеверриа Эстебан. Бойня..., с. 14*); «животное... отчаянно упиралось; сам дьявол, кажется, не вытащил бы его из липкой грязи» (*Эчеверриа Эстебан. Бойня..., с. 17*); здесь она смешивается с кровью и кишками и становится фоном для сцены убийства мальчика: «Арканщик, осадив лошадь, натянул лассо, но петля сорвалась с рогов, просвистела в воздухе и... словно начисто срезанная ударом топора, покатила вниз голова сидевшего на заборе ребенка. Фонтаном забила кровь из безжизненно обмякшего туловища...» (*Эчеверриа Эстебан. Бойня..., с. 18*; ср. о мотиве смерти в грязи: *Ronsino 2001*, где описываются переключки ПР с «Бойней»). Если в начале ПР грязь – характеристика жилища пролетария («грязь нищеты»), отсылающая, в т. ч., к лейтмотиву главы об иммигрантах трактата Энгельса о «выросших в ирландской грязи детей ирландцев» («Он [иммигрант-ирландец] живет в грязи и беспечности»; иммигрантские районы «выделяются своей грязью и разрушением»; «Грязь и пьянство они также привезли с собой»; Милезиец <...> заводит помойные ямы и мусорные кучи, загрязняя весь рабочий квартал и отравляя воздух»; «дети играют с [поросенком], ездят на нем верхом и валяются с ним в грязи»; «А какая грязь, какое отсутствие всякого уюта царит в самих лачугах – трудно себе и представить»), то здесь уже грязь – еще один транспонированный в диегезис фрейдистский символ: размазывание грязи (как и ниже – экскрементов) связано с удовольствием от анальной зоны, не подавленным взрослыми запретами.

Esteban de un solo manotazo, arrancó el sucio tirador/ Эстебан одним рывком сорвал грязную подтяжку. – Фиксация всего с «шизофренической педантичностью», которую Гусман называл «требованием эпохи» («*Pedantería esquizofrénica: una demanda de la época*» – *Gusmán 2008, 49*), специфична не столько для эпохи, сколько для натурализма: это еще один

утрированный натуралистический прием – «накопление деталей». Характерно отсутствие брезгливости буржуа к телу пролетарского ребенка, по умолчанию, невымытому (в идеале – вообще невымытому; отсылка к жертвам либертенов де Сада), а значит, негигиеничному.

Gustavo le tajeó la cara al niño proletario de arriba hacia abajo y después ahondó lateralmente los labios de la herida/Густаво рассек лицо пролетарского ребенка сверху вниз, и затем углубил по краям губы раны. – Густаво сначала режет Стропани лицо, причем порезу присваивается эротическая семантика: он раздвигает края («губы») раны. Удовольствие, которое испытывают при этом малолетние буржуа, походит на сексуальное наслаждение. Вагинальная символика пореза могла быть подсказана Ламборгини монографией Бруно Беттельгейма «Символические ранения» (1971), – ревизионистской по отношению к классическому психоанализу. На материале ортогенетики и этнографии австралийских обрядов инициации у мальчиков, связанных с обрезанием и насечками на пенисе, Беттельгейм пришел к выводу, что надрезание основания пениса, обнажающее уретру, соотносит пенис с вульвой; насечка, следовательно, является символическим утверждением обладания вагиной, менструациями и способности к деторождению (*Bettelheim Bruno. Les Blessures Symboliques. Essai d'interprétation des rites d'initiation. P.: Gallimard, 1971. P. 43*). Идея о том, что травмирования – это не субститут кастрации, как считал Фрейд, а сублимация мужской зависти к вагине (аналог зависти женщины к пенису), вызвала протесты многих психоаналитиков, не стерпевших такой девальвации эдипова комплекса, и получила известность, в т. ч., не могла не обсуждаться в кругу лаканианцев будущего журнала «Литераль», для которых были интересны именно примеси в «чистый» (фрейдовский) психоанализ.

Porque Gustavo parecía, al sol, exhibir una espada espejeante con destellos que también a nosotros venían a herirnos en los ojos y en los órganos del goce/Ибо Густаво, казалось, орудует шпагой, зеркально блестящей под солнцем, ранящей и нас – наши глаза, наши органы наслаждения. – Когда и без того фаллический «треугольный осколок» в напряженной, поднятой

вверх руке Густаво сравнивается с колюще-режущим оружием, фрейдовская символика в этом фрагменте достигает предельной концентрации. Сравнение восходит, например, к «Толкованию сновидений» (1900) или к 10 лекции Фрейда «Символика сновидения» (1915), где фаллическими символами были объявлены все предметы, способные «проникать внутрь и ранить, т. е. всякого рода острое оружие, ножи, кинжалы, копья, сабли», а также продолговатые предметы, «способные выдвигаться в длину» и подниматься «в направлении, противоположном силе притяжения» (Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. Перевод с немецкого Г. В. Барышниковой. М.: Наука, 1991. С. 98). Фаллическим символом, если очень нужно, может считаться любой продолговатый предмет, даже неспособный вытягиваться в длину, ранить или подниматься вверх. Вся эта фрейдовская метафорика принадлежит к образному арсеналу художественной литературы, напрашивается туда и, в конце концов, этого добивается.

Gustavo <...> él primero, clavó primero el vidrio triangular donde empezaba la raya del trasero de ¡Estropeado! y prolongó el tajo natural/Густаво первым вонзил стекло туда, где началась щель между ягодицами, и удлинил ее. – В этом месте беттельгеймовская символика пореза эксплицирована: Густаво «продлевает естественный разрез», т. е. придает анусу форму вагины. Эпизод отсылает к 122-й из ста пятидесяти смертельных историй ла Дегранжа из «120 дней Содомы»: «Отрезав юноше по самый корень член и яички, он делает при помощи машины из раскаленного железа юноше влагалище и тотчас же прижигает отверстие; затем имеет его в это отверстие и собственноручно душит, кончая». По «искусственности» оргий Сад и Ламборгини примерно равны, разница только в характере телесных трансформаций: интеллигибельном у де Сада («...это идеи, а не действия» – *Палья Камилла*. Возвращение Великой матери: Руссо против де Сада/Перевод С. Никитиной // *Палья К.* Личины сексуальности. Екатеринбург: У-Фактория, Изд-во Уральского ун-та, 2006. С. 299) и «психоаналитическом» у Ламборгини (десадовское «омерзительное», изобличающее «злую природу» человека, – по Ламборгини, скрыто в подсознании и лучший по-

вод для него выплеснуться – социо-политический: классовый конфликт).

Salió la sangre esparcida hacia arriba y hacia abajo, iluminada por el sol, y el agujero del ano quedó húmedo sin esfuerzo como para facilitar el acto que preparábamos/Кровь под лучами солнца весело брызнула вверх и вниз; задний проход сам собой увлажнился, точно желая облегчить нам затеянное. – Даже современные психопатологи интерпретируют нанесение ранений маньяками в область живота и промежности жертвы «в психоаналитическом ключе» – как «имитацию полового акта» (Агрессия и психическое здоровье. Под ред. Т. Б. Дмитриевой и Б. В. Шостаковича. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. С. 231). Кровь, увлажняющая задний проход, явно соотносится у Ламборгини с секреторными выделениями влагалища. По замечанию М. Н. Золотоносова, «когда Кретину надрезают anus, это может быть интерпретировано как деталь для имитации дефлорации: должна быть кровь, для этого они его и режут там, где уже есть отверстие».

Era un espléndido conjunto de objetos brillantes, ricamente ornamentados, espejeantes al sol. Me agaché, lo incorporé a mi estómago, y Esteban entendió mi hermanación/Это была великолепная, роскошная безделушка, составленная из множества блестящих, сверкающих на солнце частей. Я нагнулся, поднял ее и проглотил. Эстебан понял меня: то было братание. – Психоаналитически поедание блевотины сочетается с символическим бартером анально-садистского инстинкта на ценности, заменяющие его в социуме. На вопрос в интервью, что означают эти отношения, когда один испражняется, а другой пожирает экскременты, Ламборгини серьезно ответил: «Это детские игры. Дети – многогранные извращенцы» (*Lamborghini 1980*). Скатологический пассаж инспирирован фрейдистской метафорикой; здесь и далее у Ламборгини реализуется психоаналитическая метафора «испражнения как подарок»: испражнение при отсутствии борьбы стремления к удовольствию с социальным достоинством становится естественным актом дарения, а поедание фекалий – благодарностью. Поданная Лу Андреас-Саломе идея сексуального удовольствия от испражнения (*Andreas-Salomé Lou. «Anal» und «Sexual» //*

Imago: Zeitschrift für Anwendung der. Psychoanalyse auf die Geisteswissenschaften, № 4 Bd. 5 (1915/1916). S. 249–273) была подхвачена Фрейдом для теории инфантильной сексуальности. До того как ребенок обменивает удовольствие на социальное достоинство, у него складывается иное отношение к экскрементам: «Он не испытывает отвращения к своему калу, оценивает его как часть своего тела, с которой ему нелегко расстаться, и использует его в качестве первого «подарка», чтобы наградить лиц, которых он особенно ценит. И даже после того как воспитателям удалось отучить его от этих наклонностей, он переносит оценку кала на «подарок» и на «деньги» (Фрейд З. Введение в психоанализ..., с. 200). Реконструированный Фрейдом сюжет инфантильной сексуальности воплощается Ламборгини в диегетическом мире, где испражнения становятся большой ценностью, которая не должна пропасть, и потому поедается. Можно вспомнить еще вариации на темы отцовских сочинений Анны Фрейд, которая стала подозревать, что ребенок, научившись контролировать сфинктер, «защищает свое право совершать испражнения тогда, когда ему этого хочется, и что он расценивает продукты своего организма как нечто принадлежащее ему. У него появляется необыкновенный интерес к собственным экскрементам; он пытается дотронуться до них, играть с ними и, если его не остановить, он даже засунул бы их в рот <...> Очевидно, что это доставляет ему удовольствие» (Фрейд Анна. Теория и практика детского психоанализа..., т. 1, с. 28–29). С момента возникновения «братства» («hermanación» имеет религиозный оттенок смысла – круг братьев, ср. франц. «fraternance») и вплоть до финала из текста пропадает вся социальная демагогия, которой напичкана его первая часть. Анальное удовольствие находится в противоречии-конфронтации с культурными и социальными нормами, когда эти нормы отброшены (сигналом служит исчезновение риторики), социальное достоинство – основная сила, враждебная удовольствию, – исчезает, и ничто уже не мешает регрессии на садистско-анальную стадию. Фрейдизм становится ресурсом поэтики: диегезис конструируется из механизмов бессознательного, проникающих в сознание или – иначе – все, что не обусловлено сюжетными рифмами

с семами первой части (разрушение тела, безмолвие и проч.), строится на референциях с фрейдистскими реконструкциями. Единственным законом становится наслаждение: анальная эротика полностью заменяет социальное (классовое) достоинство.

Desalojé una masa luminosa que encegüecía con el sol. Esteban la comió y a sus brazos hermanados me arrojé/Накопец, из моего зада выпала переливчатая безделушка, слепившая глаза. Эстебан съел ее, и я бросился к нему в братские объятия. – Если в «манифесте буржуазного дискурса» в самом деле пинается марксистская теория обнищания, то «братство» формируется за счет угнетения пролетарского ребенка и символически означает усиление буржуазии и укрепление буржуазного капитализма. М. Н. Золотоносов сразу опознал в «рондо «Эстебан рот – Я рот – Я anus – Эстебан рот»» отношения «товар – деньги – товар» или метафору «расширенного воспроизводства капитала». Масса, выделяемая Эстебаном («щедрое собрание блестящих вещиц, великолепно украшенных, сверкавших на солнце») и нарратором («светлая... ослепительно светящаяся под солнцем»), символизирует капитал, а отношения Эстебана и нарратора (Эстебан извергает из себя нечто изо рта, «Я» глотает, а потом испражняет через anus, а Эстебан снова глотает) иллюстрируют его накопление, по Марксу, т. е. выражают возрастание абсолютного объема капитала; «добавочной стоимостью» на символическом уровне является удовольствие от садизма и анальной зоны и, в конечном счете, от гибели. Ассоциативная отсылка блевотины и кала к «разноцветным дворцам, атмосфера которых заворачивает золотым цветом», загоняется в подтекст (не повторяется ни одного эпитета), поскольку отказ от ценностей в диэгезисе уже произошел, утвержден и подписан («декретирован») желанием насладиться, но нарратив продолжает игру с марксистской экономикой, начатую в эпизоде отбора денег. Совсем недавно этот обмен экскрементами привлек внимание специалиста из Принстонского университета: «Это описание рвоты и кала как блестящих и светлых вещиц отчетливо отсылает к исконной двойственности священного», к сакральности в определении Дюркгейма «как разнородности со светским миром»

(Díaz 2009). Д. Диасу удается объяснить религиозный подтекст братства с помощью Батая, заметившего «элементарную субъективную идентичность между типами экскрементов (сперма, менструальная кровь, моча, фекалии)» и постановившего считать их «священными и божественными». «Если мы согласимся с Батаем в том, что «ненависть к затратам была смыслом бытия и оправданием буржуазии», невозможно будет увидеть эту пытку пролетарского ребенка иначе как – метонимическим или метафорическим – представлением капиталистического угнетения» (Díaz 2009).

Esteban le enterró el falo, recóndito, fecal/Эстебан погрузил в него свой член, глубоко в зловонные недра. – Ламборгини явно пригодилась мысль Лу Андреас-Саломе о сочетании анальной сексуальности с генитальной, превращающей анус в эрогенную зону. Работу Ламборгини безусловно знал, хотя бы по ссылкам у Фрейда. В стихотворении, приложенном к «Наизанятнейшей песни дьявола (сочинению в прозе и наполовину в стихах, без шуток...)» («La divertidísima canción del Diante (obra en prosa y medio en verso, sin chanza...)»), он почти дословно процитирует «наблюдение» Саломе о том, что влагалище близко к прямой кишке и имеет общую с ней перегородку: «El cuerpo tiene un órgano metafórico/es el lugar de todas las transmutaciones/es el lugar poético por excelencia, el ano/en es sentido que es el lugar/donde el niño y la niña/se encuentran todavía, subrayando todavía/sin el corte, sin la diferencia de los sexos./El lugar metafórico, el ano,/mierda, niño, regalo, pene/todo es intercambio./Una gran mujer, mujer de Nietzsche,/mujer de Rilke, casi/mujer de Freud: Lou Andrea Salomé,/habló de la vagina como/eternamente/arrendada al ano» (Lamborghini 2004, 240) – «У тела есть метафорический орган/это место всех превращений/место исполненное высокой поэзии, анус/в том смысле, что это место,/где мальчик и девочка еще не обнаруживаются, еще не выделяются/[и существуют] без разделения, без половых различий./Метафорическое место, анус,/говно, ребенок, наслаждение, член – все взаимозаменяемо./Великая женщина, женщина Ницше,/женщина Рильке, почти/женщина Фрейда: Лу Андреас Саломе/говорила, что влагалище находится/в вечной/аренде у ануса».

«Неслучайно генитальный аппарат находится в столь тесной связи с анусом (а у женщин словно в аренде у него)», – тезис, высказанный в статье об анальном эротизме (*Andreas-Salomé Lou. «Anal» und «Sexual»...*, s. 259) и вдохновивший Фрейда на очерки: *Freud S. The infantile genital organization: An interpolation into the theory of sexuality* // Standart Edition, 19 (1923). P. 141–145. Профессор Национального ун-та Розарио Адриана Астутти приводит в своей работе текст Ламборгини без последних шести стихов и увязывает его с мифологией детства, отрицающей матрицу различения полов (*Astutti 2001b, 5–6*).

y yo le horadé un pie con un punzón a través de la suela de sogá de alpargata/а я вонзил пробойник в ступню через веревочную подошву альпаргаты. – Фаллический пробойник перешел в ПР из «Фьорда», где он тоже используется для пронзания тела («Que me apartó de un empujón y clavó en la nuca del Sangrante un esterilizado punzón de cincuenta centímetros de largo» – «Отстранив меня, она вколотила в затылок Истекающего Кровью стерилизованный пробойник пятьдесят сантиметров длиной»). Фалличность пробойника в теле пролетарского ребенка была распознана уже в статье Хермана Гарсиа как производная метафоры члена маркиза Себрегонди, утверждающего идею «письма как гомосексуального, т. е. противоестественного (*contranatura*)» (*García 2003*); другое дело, что у Ламборгини – это намеренная производная фрейдистской метафоры, см. выше о фалличности колюще-режущих предметов. На уровне сюжета о терроре буржуазной революции как перевернутой диктатуре пролетариата, существенно, что для кромсания тела употребляется два орудия: кусок стекла и пробойник (или шило); если первое – подобрано, то второе имелось при себе: буржуа выходят на улицу с пробойником, который, по логике, должен быть у пролетария. Переводчик Ламборгини Владимир Петров заметил по этому поводу: «мне эти ребята всегда виделись кем-то вроде банды из «Заводного апельсина» [1962], т. е. готовыми к агрессии, если сложатся обстоятельства». Компания Алекса (Пит, Джорджик и Тем), в самом деле, могла быть одним из прообразов «буржуазной банды» ПР; Бёрджесс мог подсказать и форму

Icherzählung (нарратор-идеолог – один из участников банды), и идею ультранасилия.

Le abrí un canal de doble labio en la pierna izquierda hasta que el hueso despreciable y atorrante quedó al desnudo. Era un hueso blanco como todos los demás, pero sus huesos no eran huesos semejantes. Le rebané la mano y vi otro hueso, crispados los nódulosfalanges aferrados, clavados en el barro/Я проделал довольно широкую дырку в ступне Кретина, так что оголилась жалкая, тонкая кость. Кость как кость; другое дело, что кости Кретина были непохожи на все остальные. Я рассек ему руку и увидел еще одну. увидел другую кость, корчившихся в судороге упорных фаланг пальцев, вонзившихся в грязь. – Этот «остеологический» пассаж – сравнение костей Кретина в фалангах пальцев и в ступне – замешивает в садистский дискурс медицинский: у «Я» появляется паталогоанатомический интерес к вдвойне экзотичной особи (территориально чужой и социально чуждой). Это еще один утрированный принцип натурализма: в отличие от Густаво, – неформального лидера, о котором ничего неизвестно, кроме того, что у него большой член и синий велосипед, – нарратор представляется идеологом: он изучает особь (анатомирует, препарирует). У Ламборгини есть более «чистые» образцы такого «метафорического слияния» медицинского дискурса с «нормативным идеалом» (точнее, с дискурсом натуралистическим). Габриэль Хьорхи отследил их у Ламборгини вплоть до «Тадеев», считая вторжение медицинских метафор одним из способов порождения «ненормальности» (или, скорее, «нездоровости») в нарративе: «ненормальность происходит, в значительной мере, из усилия восприятия» (читателя), которое в данном случае возникает из «взаимодействия видимого тела и другого, невидимого тела, созданного „теорией“ и наукой» (Giorgi 2003).

El ombligo de raquíptico lucía lívido azulado/На рахитичном тельце мертвенно-лилово светился пупок. – Снова примесь медицинской терминологии и деталь «теоретического тела»: «мертвенно-синюшный пупок рахитика»; наследственная нездоровость, заявленная в прологе как индуктивное заключение о пролетариях, теперь дискурсивно зафиксирована. «Рахитичный» («raquíptica») – один из излюбленных эпи-

тетов Ламборгини, ср., к примеру, во «Фьорде»: «La cabeza raquítica» – «рахитичная голова» (младенца, т. е. Вандора, перониста, противостоявшего Перону), «Безумный воткнул рукоятку хлыста в рахитичный зад [Себаса]» – «en su raquítico culo»; в стих. из «Пролетарского театра» «Чао, прощай, меланхолия...»: «¡Qué luz la derecha! / Rápida, decidida, / saqueó nuestra embriaguez / pesada y raquítica» (парафраз «Hence, loathed Melancholy...» «L'Allegro» Джона Мильтона? – М. О.), и др.

A fustazos le arranqué tiras de la piel de la cara / Ударом хлыста я вырвал лоскут кожи на лице. – Мотив хлыста, восходящий к флагелляторским фантазиям де Сада и в порнографии 1960-х ставший эмблемой садизма, часто возникает у Ламборгини, – тут в виде метафоры, ср. во «Фьорде»: «Первый удар хлыстом превратил в разваленный кочан мое левое ухо»; из поэмы «Себрегонди возвращается»: «мы обмениваемся ударами наших хлыстов» и проч.

Con mi corbata roja hice un ensayo en el coello del niño proletario / Своим красным галстуком я примерился к шее ребенка пролетария. – В ПР издевательская символика красного галстука, предназначенного было для удушения Стропани, в особых комментариях не нуждается (кумачовый цвет как символ крови борцов за освобождение пролетариата), ср. навязчивую идею «удушения красным галстуком с белыми пятнами», «после обладания» в новелле «Дядя Бевркзогес» («Tío Bewrkzogues»), опубликованной в той же книжке, что и ПР («La estrangulé. La estrangulé con una corbata roja a pintas blancas. Después la poseí»), – с убийством ребенка и вариациями символики: «белый домик на зеленом холме», «брызги крови».

Yo le di para calmarlo mi pañuelo de batista donde el rostro de mi madre augusta estaba bordado <...> y sobre él volqué, años después, mi primera y trémula eyaculación / Чтобы он заткнулся, я дал ему свой батистовый платок, на котором было вышито величественное лицо моей матери, окруженное сверкающим ореолом, точно какими-то лучами, свой платок – сколько лет я вытирал им слезы, а затем впервые с трепетом кончил на него. – Поскольку регрессия либидо с генитальной на анальную стадию состоялась, логична актуализация составляющих эдипова комплекса: воспоминание об эдиповой

ситуации (влечение к матери, выразившееся в эякуляции на ее лицо) и накопление фактов анального эротизма инфантильной сексуальности (слизывание экскрементов, которыми новый «брат» пачкает лицо матери). Дардо Скавино, отмечая «неожиданную встречу мелодрамы с порнографией», усмотрел в этом сосуществовании «непристойного и возвышенного, низкого и высокого», нечто вроде модальности, распространившейся на весь эпизод: поскольку «„освящение“ (santificación) матери проистекает из сублимации инцестуозного желания, можно говорить о „мученичестве“ пролетарского ребенка в двух противоположных смыслах: с одной стороны, его поднимают до положения „мученика“, а с другой, развратно наслаждаются „мученичеством“» (Scavino 2006, 162). «Уже Борхес в 30-е годы нападал на мелодрамы „рабочего класса“ и слезливую социалистическую эстетику: „Гуманность всегда бесчеловечна: один русский фильм доказывает несправедливость войны с помощью агонии несчастной клячи, умершей от выстрела“» (Scavino 2006, 162, n. 26). С боздистским мелодраматизмом, унаследовавшим «слезливую социалистическую эстетику», расправляется уже Ламборгини, ср. в том же интервью 1980 г.: «...я имею много чего против слезливой леволиберальной идеологии».

agonía la muerte de un niño proletario es un hecho perfectamente lógico y natural. Es un hecho perfecto/смерть пролетарского ребенка кажется вполне логичной и естественной. Кажется чем-то завершенным. – К этому моменту этот безотносительно сомнительный тезис можно считать доказанным на пропозициональном уровне текста: дискурс полностью на стороне нарратора-идеолога (остальные просто лишены голоса) и выстроен для обоснования этой логики. Д. Диас видит противоречие в уничтожении пролетария: если буржуа использует пролетария для производства добавочной стоимости, его смерть должна быть невыгодна, поскольку приведет в упадок их собственный класс (Díaz 2009). Противоречия нет, дети буржуа исходят из логики непрерывного воспроизводства средств производства, бесконтрольной сексуальной активности пролетариев (ср. тадеев из последнего романа Ламборгини), которая противопоставлена их сексуальной несвободе;

тем не менее, примечательно, что готовящееся убийство пролетария навевает рассказчику мысли о собственной смерти.

Habrás de lamerlo. Succión/Оближи его. Соси. – К сцене орального секса Строппани уже подготовлен: порезанное лицо символически приравнивается к вагине, а минет к ее пенетрации. Кроме того, оральный секс выступает в качестве последнего средства блокировки «пролетарского дискурса» – затыкания рта. Минет для затыкания рта, прежде встречавшийся в порнороманах (ср., например, рассказ баронесс-нимфоманки Карлы Арвон из «Колесницы плоти» [Chariot of Flesh, 1953] Альфреда Честера: «Мои возлюбленные <...> говорили, что единственный способ заставить меня замолчать – засунуть мне в рот язык или член. Это полностью успокаивало меня» [Честер Альфред. Колесница плоти. Перевод Валерия Нугатова. [М.:] Kolonna Publications, Митин журнал, 2007. С. 29]), теперь стал реализованной метафорой буржуазной «цензуры», удушения свободы пролетарского слова.

Los despojos de ¡Estropeado! ya no daban para más. Mi mano los palpaba mientras él me lamía el falo/То, что осталось от Кретина, уже ни на что не годилось. Я ощупывал его, пока он мне отсасывал. – И дальше нарратор удостоверяется, пробежавшись одной рукой, что на теле пролетарского ребенка не осталось живого места, – оно изранено с предельной точностью и всеобъемлющей полнотой: разрушение тела предстает одновременно как физическая трансформация – превращение всего тела в сплошной орган удовольствия «буржуа» (ср., например, нереализованную фантазию нарратора «Фьорда»: «содрать [с Себастьяна] кожу зубами, превратить его в одну сплошную язву»). При этом Строппани – израненный, освежеванный, с отрезанными пальцами и выколотыми глазами, – не умирает от гиповолемического шока, а продолжает отсасывать. Это не только особенность нейрастении «преступного типа», но и, как заметил М. Н. Золотоносов, доказательство фантазийности нарратива: живучесть жертвы, превосходящая возможности человека, – универсалия «психического онанизма» с эротической садистской фантазией.

Era un espacio en blanco/Белое пространство. – Белое у Ламборгини – цвет страха и смерти (или страха смерти), в ПР

этот пассаж отсылает к «белым от страха лицам пролетариев» («ese color blanco de terror»). Кроме того, как заметил Д. Диас, белый цвет здесь – объект желания «носителей» других цветов: «Эта белизна противопоставляется, с одной стороны, синему цвету велосипеда Густаво – знаку социального статуса, который он использует, чтобы остановить пролетарского ребенка, – а с другой, ярким цветам крови и рвоты, сияющих на солнце, которое освещает всю сцену. В конце, когда солнце уже садилось и при свете луны остается только финальное повешение, снова появляется белый цвет» (Díaz 2009).

Y adiós Stropani ¡vamos! – dije yo./Пока, Кинтин! – сказал я. – Как только пролетарский ребенок «обезврежен» и приговорен к умерщвлению, ему возвращается прежнее имя. Это уже пародийно-траурная речь, в которой сквозит официальность надписи на могиле.

La lengua quedó colgante de la boca como en todo caso de estrangulación/Язык свесился наружу, как это всегда бывает при удушении. – Смерть Строппани обеспечивает еще одну сюжетную рифму с прологом; композиционная симметрия рождение vs смерть поддержана индукцией («как это всегда бывает при удушении»): «Я» снова мыслит обобщениями, с которых начинался рассказ (generalmente «обычно», siempre «вечно», evidentemente «само собой» и пр.).

Позиция художника. Интервью с Освальдо Ламборгини

Что такое пародия – почтение или грубость?

Пародия всегда колеблется между ненавистью и любовью. Ненависть к себе подобным всегда подразумевает и любовь к ним. Пародию можно было бы назвать несчастной любовью, но ведь это словосочетание отвратительно. Это намеренное противоречие, оксюморон: разве может быть несчастье там, где есть любовь? Нельзя высмеивать что-то или кого-то без любви к нему.

Но ведь пародия в тоже время извращает, принижает пародируемый текст?

Да, но поскольку речь идет о литературном вымысле, никакого принижения нет. Автор пародии может считать, что он принижает кого-то, но на деле это не так: он не может принизить даже самого себя.

Что ты хотел сказать, когда начал писать «Пролетарского ребенка»?

Я решил тогда: почему надо тупо, в лоб заявить о том, что я против буржуазии? Почему не пойти до конца и не скомпрометировать буржуазный дискурс? Кто будет в результате скомпрометирован? В строго грамматическом смысле – «я». Местоимение. А что такое «я»? В то время я не был затронут влиянием Фрейда и не знал ничего об уничтожении субъекта, о перемене позиций в дискурсе.

Значит, этот рассказ написан до того, как ты углубился в психоанализ и Лакана?

Да. Психоанализ и Лакан здесь ни при чем.

Но там ведь появляется ребенок с членом...

Член – это вздутие на теле. Внутри текста есть разные регистры, иногда там появляется слово «палка», однако

оно не всегда уместно. Мне потребовалось слово «член». Те, кто пишет, подвергаются странным ограничениям, тебе не кажется?

У тебя в то время были собственные соображения насчет пародии?

В книге моего брата, которая выходит сейчас, сказано черным по белому: «Пародия – гений нашей расы». В «Мартине Фьерро» есть дуэт Черного мудреца и Белого мудреца. Почему бы, говоря о литературе, не принять за точку отсчета «Фауста» Эстанислао дель Кампо? Все поменялось бы головокружительным образом. В этом смысле взгляд на Рембо изнутри французской культуры будет не тем же, что изнутри любой другой, скажем так... Возьмем, например, Лисандро дель Торре с его рефрижераторами. Он один из нас; французы все делают на свой манер, а мы – на свой. Когда Рембо говорит «я уезжаю», мы должны понимать это так, что он приезжает; тот, кто офранцузился, прочтет «я уезжаю», идентифицируя себя с автором, представляя, что уезжает вместе с ним. Нет, друг, ты не уезжаешь, ты сидишь здесь и ждешь его. А Рембо приезжает сюда, к нам; Африка, аргентинские пампасы, – для него одно и то же.

Я обратил внимание, что когда в 1970–1973 годах ты сотрудничал в журнале «Литераль», у этого издания, похоже, был постоянный объект для нападок...

Да, народнические взгляды. Эва Перон была с народом; выходцы из среднего класса с факультета философии и литературы исповедуют народничество. Народническая эстетика меланхолична. Кстати, я не «сотрудничал» в «Литерале»: это был мой совместный проект с Херманом Гарсия.

«Пролетарский ребенок» относится к жанру народнического мифа?

Нет. Почему «мифа»?

Я имею в виду миф, который культивировали писатели из группы «Боздо». В частности, я говорю о «Червяках».

Хочешь, скажу правду? Главный враг – Гонсалес Туньон. Эти его каменщики, падающие с лесов, эта бессмыслица, проносимая с серьезным видом, эти большевистствующие вы-

крики, эти сожаления и хныканье. Идеология может привести тебя к литературному раздолбайству или к героическим мифам. И если ты находишься в окружении героических мифов, мне кажется, что любое хныканье – отвратительно. Вроде того, что вот, мол, я сын пролетария с мозолистыми руками, который трудом добывал для нас хлеб с хрустящей корочкой. Это значит использовать, в литературном смысле, беднягу, который приплыл из Италии сюда, чтобы горбатиться. Я не выступаю конкретно против Кастаньюово; что бы он, субъективно, ни имел в виду, это неважно. В текстах идеология действует, вмешивается в фабулу, выполняет свою роль. А возьмем сюжет «Жизни пролетариев» Кастаньюово: анархист, за которым гонится агент полиции, приходит к себе домой и просит свою мать защитить его. Агент намерен подвергнуть его пыткам. Я воспроизвел это в «Пролетарском ребенке»: трое подростков из буржуазных семей сталкиваются с пролетарским ребенком и, обезумев, хотят убить его. Наконец, полицейские его хватают, тут входит агент Гомес, тот самый, который хочет его пытать, анархист просит свою мать погасить свет, начинается страшный шум, свет загорается, мать анархиста лежит на полу, полицейский смеется и говорит: ты хотел убить меня, а убил свою мать. Повторюсь: не имею ничего лично против Кастаньюово, зато имею много чего против слезливой леволиберальной идеологии. Иными словами, ценность написанного должна измеряться вложенным в него страданием и причинами этого страдания – насколько они благородны?

Сюжет «Пролетарского ребенка» – это нечто обратное?

Абсолютно. Там есть одна опущенная фраза: «Я думаю, что». Этой фразой я уничтожаю текст, смешиваю его с грязью. «Я думаю, что» призвано было покончить с этой леволиберальной литературой. Мы пытались тогда пускать пробные шары – посмотреть, что люди скажут, что поймут. Не забывай, это было в 1969-м, одиннадцать лет назад, тогда все было сложнее. Приходилось объяснять, что человек – никакой не монстр.

Это провокационный, скандальный, извращенческий текст, так?

Не извращенческий. Сексуальный – это да.

Но вот эти отношения – один испражняется, другой ест...

Это детские игры. Дети – многогранные извращенцы. Такое наслаждение – разыгрывать смерть ребенка; вся западная культура заключается в этом, все думают только о том, как убить ребенка.

«Пролетарский ребенок» – единственная созданная тобой пародия?

Всё есть пародия. Последнее стихотворение в моей последней книге озаглавлено «Die Verneinung», хотя я, конечно, не знаю немецкого: так называется статья Фрейда, отсюда кавычки. В нем весь мир предстает как пародия. Мамаша Хогарт отсылает к живописцу, к его жутким полотнам. Большие куски поэмы содержат описание картины: повешенные, изломанная доска – что-то из Рембо, ведь правда?

А «Нейбис» – это шутка?

«Нейбис» – это «Так здорово» наизнанку. Я вывернул его наизнанку, чтобы обойтись без зачина.

Если в тот момент ты выступал против левых либералов, вроде Гонсалеса Туньона и популистов, ставших перонистами, то с каких позиций ты это делал?

Там, где есть позиция, нет поэзии. Ни с каких. Все, что связано с поэзией, не делается ни с каких позиций.

В тот момент ты мог бы назвать себя авангардистом?

Если хочешь, то да.

Кого ты читал в то время?

Я тогда проходил философское крещение: Гегель и все такое. После этого я не могу быть с народом, с рабочими. Всё внутри литературы, да, всё... Вся жизнь посвящена этому. Помню, что читал Кроче – критические работы, доступные в то время. Ни Барта, ни Тодорова, ничего подобного не было.

Разве в 1969-м ты еще не был знаком с Масоттой?

Нет, с ним я познакомился уже после того, как написал «Фьорд». В персонажах «Фьорда» Масотта увидел первую лаканианскую группу в Буэнос-Айресе.

Ты знал тех, кто принадлежал к группе «Контормо»?

Как я мог их знать тогда? Я десять лет провел вместе с Масоттой. Мы из одного квартала, я был юнцом, Масотта был для меня богом.

Пародия – это нечто непочтительное?

Нужно понимать, кто именно пародируется. В каком-то смысле непочтительна вся литература. Писатель никогда не говорит глупостей. Одна из трудных задач, которые надо выполнить, – это отмыть писателей от приклеившейся к ним репутации придурков.

Написанное человеком зависит от прочитанного им. Прочитанное каждым действует в качестве сверхдетерминации. Жизнь – это текст, который является еще большей сверхдетерминацией.

Возьмем, к примеру, Батая: он объясняет, каким образом старые фотографии производят пародийный эффект, кажутся нам чем-то забавным, хотя в замысел фотографа это не входило. В этом смысле мне очень нравится история про нашу национальную одежду – широкие штаны, которые носят гаучо. Они происходят от турецких шаровар. Аскасуби, будучи военным министром, закупил партию шаровар у турок, когда те проиграли Крымскую войну. Вот так появилась наша национальная одежда. Означающее найдено, оно уже найдено.

Пародия связана с тем, насколько агрессивным ощущает себя человек. Это примерно то, что Гегель называл переходом от трагедии к буржуазной комедии, от «Эдипа-царя» к водевилю.

[Последние 3 абзаца – необработанная часть интервью]

Основные издания Освальдо Ламборгини

- El fiord. Buenos Aires: Ediciones Chinatown, 1969. 48 p.
- Sebregondi retrocede. Buenos Aires: Ediciones Noé, 1973. 90 p.
- Oswaldo Lamborghini: Un museo literal/Entrevista de Jorge di Paola // Panorama, 22 de febrero de 1973. P. 47.
- Poemas. Buenos Aires: Ediciones Tierra Baldia, 1980. 73 p.
- El lugar del artista. Entrevista a Oswaldo Lamborghini // Lecturas críticas: revista de investigación y teorías literarias. Buenos Aires, Año I, Nº 1, 1980. P. 48–51.
- Literal 1973–1977/Héctor Libertella, compilador. Bs. As.: Santiago Arcos Editor, 2002. 152 p.
- Novelas y cuentos. Prólogo de César Aira. Barcelona: Del Serbal, 1988. 317 p.
- Tadeys; compilado por César Aira. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1994. 376 p.
- La divertidísima canción del diantre (obra en prosa y medio en verso, sin chanza...) // Xul: Signo viejo y nuevo revista de literatura, Nº 11 (Septiembre de 1995). P. 20–25.
- Palacio de los aplausos: o el suelo del sentido/Arturo Carrera, Oswaldo Lamborghini. Rosario: Beatriz Viterbo Editora, 2002. 63 p.
- Novelas y cuentos; edición al cuidado de César Aira. 2 v. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2003.
- Poemas, 1969–1985; edición al cuidado de César Aira. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2004. 559 p.
- Tadeys; edición al cuidado de César Aira. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2005. 448 p.
- Teatro Proletario de Cámara Con un prólogo de César Aira. Editor: Anxo Rabuñal. Santiago-España, Compostela: AR Publicacións, 2008. 552 p.
- Литература
- Acuña Enrique*. Entre balas (Oswaldo Lamborghini con Germán García) // Grama Ediciones, 24 de junio de 2003 <<http://www.gramaediciones.com.ar/>>

- Aira César*. Osvaldo Lamborghini y su obra // Lamborghini Osvaldo. Novelas y cuentos. Barcelona: Del Serbal, 1988.
- Aira César*. Nota del compilador // Lamborghini Osvaldo. Novelas y cuentos I. Buenos Aires: Sudamericana, 2003.
- Aira César*. Prólogo // Teatro Proletario de Cámara. Editor: Anxo Rabuñal. Santiago-España, Compostela: AR Publicacións, 2008. P. 7–13.
- Alabarces Pablo*. [Materia: Seminario de Cultura Popular y Cultura Masiva. Cátedra: Alabarces. Teórico N° 9]/Desgrabación: Mauro Vázquez [08.10.08] // Sitio de las Cátedras de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de Buenos Aires (UBA) <www.catedras.fsoc.uba.ar/alabarces/2_2008_teo_8.pdf>
- Astutti Adriana*. Mientras yo agoniza: Osvaldo Lamborghini // Rosario, Boletín/6 del Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria (Octubre de 1998). P. 75–90.
- Astutti Adriana*. Osvaldo Lamborghini: estilo e impropiedad // *Astutti Adriana*. Andares clancos, fábulas del menor en Osvaldo Lamborghini, J. C. Onetti, Rubén Darío, J. L. Borges, Silvina Ocampo y Manuel Puig. Rosario: Beatriz Viterbo Editora, 2001. P. 29–50.
- Astutti Adriana*. Infancia y experimentación en la prosa de Alejandra Pizarnik (1936–1972) y Osvaldo Lamborghini (1940–1985). Prepared for delivery at the 2001 meeting of the Latin American Studies Association. Washington DC, September 6–8, 2001 // Latin American Studies Association [Electronic resource]. <<http://lasa.international.pitt.edu/Lasa2001/Astutti-Adriana.pdf>>
- Astutti Adriana*. El sueño soberano: Osvaldo Lamborghini y Alejandra Pizarnik // Lazos de familia. Herencias, cuerpos, ficciones. Ana Amado y Nora Domínguez, compiladoras. Bs. As.: Paidós, 2004.
- Balderston Daniel*. Lamborghini o el relato violento [1993] // Balderston Daniel. El deseo, enorme cicatriz luminosa. Ensayos sobre homosexualidades latinoamericanas. Rosario: Beatriz Viterbo, 2004. P. 127–132.
- Barona Amelia*. «El niño proletario» hace explotar las «larvas»: la cultura popular y las representaciones literarias de los niños miserables. Desde las buenas intenciones hasta la voluptuosidad del mal // Letrados iletrados: apropiaciones y representaciones de lo popular en la literatura/Ana María Zubieta, comp. Bs. As.: Eudeba, 1999.

- Belvedere Carlos*. Los Lamborghini: ni «atípicos» ni «excéntricos». Bs. As.: Colihue, 2000. 136 p.
- Bolaño Roberto*. Derivas de la Pesada // Bolaño Roberto. Entre paréntesis. ensayos, artículos y discursos (1998–2003). Ed. de Ignacio Echevarría. Barcelona: Editorial Anagrama, 2004. 366 p.
- Bollig Ben*. Now/here Is Everywhere: Exile And Cynicism In The Verse Of Osvaldo Lamborghini // Journal of Latin American Cultural Studies. Vol. 15, Issue 3 (December 2006). P. 369–383.
- Carballo Pablo López*. Osvaldo Lamborghini y los ataques preventivos de la URSS // Afterpost, Abril 20, 2009 <<http://afterpost.wordpress.com>>
- Chejfec Sergio*. De la inasible catadura de Osvaldo Lamborghini // Babel, Nº 10 (Julio de 1989).
- Chitarroni Luis*. Continuidad de los parques, relato de los límites // Historia crítica de la literatura argentina: La narración gana la partida/Dir. Noé Jitrik. Tomo 11. Bs. As.: Emecé, 2000. P. 161–181.
- Chitarroni Luis*. Tipos de guerras // Babel, Nº 9 (Junio de 1989).
- Dalmaroni Miguel*. Osvaldo Lamborghini: las ruinas del cuerpo cortado de la prosa // *Dalmaroni Miguel*. La palabra justa: literatura, crítica y memoria en Argentina, 1960–2002. Santiago de Chile: Melusina-RIL. 2004. P. 63–71.
- Díaz Duanel*. El indiscreto sadismo de la burguesía (Una lectura de «El niño proletario», de Osvaldo Lamborghini) // La Habana Elegante, segunda época. Revista semestral de literatura y cultura cubana, caribeña, latinoamericana, y de estética. Editor: Francisco Morán. Nº 46 (Otoño – Invierno de 2009) <http://www.habanaelegante.com/Fall_Winter_2009/Invitation_Diaz.html>
- Dílon Ariel*. Narrar, la última voluntad del transgresor Osvaldo Lamborghini // Clarín. Com, 29.12.2005.
- Dossier Osvaldo Lamborghini // Boletín/8, Rosario (Octubre de 2000) [Introducción; Voz y escritura en los poemas de Osvaldo Lamborghini/Silvio Mattoni; El musical stylus de un cuerpo/Gerardo Jorge; Nota biobibliográfica sobre el artista; Teatro Proletario de Cámara. Reproducciones facsimilares de 8 páginas; Anxo Rabuñal: «Breve nota informativa acerca del Teatro Proletario de Cámara»; Ricardo Straface: «Austria-Hungría» (adelanto de la biografía de Osvaldo Lamborghini del mismo autor)].

- Drucaroff Elsa.* Los hijos de Osvaldo Lamborghini // *Atípicos en la literatura latinoamericana*/Jitrik Noé (comp.) Bs. As.: Instituto de Literatura Hispanoamericana, Facultad de Filosofía y Letras, 1996. P. 147–156.
- Drucaroff Elsa.* Osvaldo Lamborghini: la necesidad de un acto // *Espacios*, № 10 (1995). Bs.As. P. 36–40.
- Fernández Nancy P.* Violencia, risa y parodia: «El niño proletario» de O. Lamborghini y «Sin rumbo» de E. Camabaceres // *Escritura*. Caracas: Anauro Ediciones-Consejo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela, 1992. № 34 (1992). P. 159–164 [reimpr.: *Revista Interamericana de Bibliografía*. Washington: Organización Estados Americanos. Vol. 43, № 3 (1993). P. 413–417].
- Forastello Fabricio.* La vanguardia leída desde la letra: una lectura de Osvaldo Lamborghini // *Actas del VI Congreso Nacional de Literatura Argentina*. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, 1991. P. 199–204.
- García Germán.* Fuego amigo. Cuando escribí sobre Osvaldo Lamborghini Documentos. Bs. As.: Grama Ediciones, 2003. 56 p.
- Genovese Omar.* La invisibilidad de lo escrito // *Nacion Apache*, Agosto 5th, 2006 <<http://www.nacionapache.com.ar/archives/383>>
- Genovese Omar.* A propósito de *Tadeys* [Un texto inédito, parte I–IV] // *Hablando del asunto*, 19.08–22.08.2008 <<http://www.hablandodelasunto.com.ar>>
- Giorgi Gabriel.* Diagnosticos del raro. Cuerpo masculino y nación en Osvaldo Lamborghini // *Heterotopías: Narrativas de identidad y alteridad latinoamericana*. Ed.: Carlos A. Jauregui & Juan P. Dabove. Pittsburgh: Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, Universidad de Pittsburgh, 2003.
- Giorgy Gabriel.* Sueños de exterminio. Homosexualidad y representación en la literatura argentina contemporánea. Rosario: Beatriz Viterbo, 2004. 198 p. [incl. cap. «El cuento del cuerpo: Osvaldo Lamborghini»..., p. 121–153].
- González Horacio.* La frase-hecha. Literatura e historia a propósito de *El fiord* // *Narrativa Argentina: Noveno Encuentro de Escritores «Dr. Roberto Noble»*/Coord. por Liliana Lukin. Bs. As.: Fundación Roberto Noble, 1996. P. 15–20.
- Guaragno Liliana.* Acerca de *El Fiord*, de Osvaldo Lamborghini // *Revista de cultura*. Fortaleza, São Paulo. № 18/19 (Nov/Dez de 2001)

- [Reimpr.: LILITH: Revista Coleccionable, Año 3, Nº 9 (Abril de 2007)].
- Iglesia Cristina*. Mártires o libres: un dilema estético. Las víctimas de la cultura en *El Matadero* de Echeverría y en sus reescrituras // Letras y divisas: ensayos sobre literatura y rosismo/Cristina Iglesia, comp. Bs. As.: Santiago Arcos, 2004. P. 24–34.
- Imaz Mikel*. Analidad, deseo homoerótico y (de) construcción de la masculinidad en «Tadeys» de Osvaldo Lamborghini // Chasqui: revista de literatura latinoamericana, Vol. 34, Nº 1 (2005). P. 130–141.
- Kamenszain Tamara*. La nueva poesía argentina: de Lamborghini a Perlongher // Literatura y crítica, Primer Encuentro UNL 1986. Cuadernos de extensión universitaria, Nº 14 (1987). Santa Fe-Argentina: Universidad Nacional del Litoral, 1987. P. 137–143.
- Kraniauskas John*. PORNO-REVOLUTION: el fiord and the eva-peronist state // Angelaki: Journal of Theoretical Humanities, Vol. 6, Issue 1 (April 2001). P. 145–153.
- Libertella Héctor*. Algo sobre la novísima literatura argentina // Hispamérica: Revista de literatura, Nº 6 (1974). P. 13–19.
- López Casanova Martina*. La narración de los cuerpos // Historia crítica de la literatura argentina: La narración gana la partida. Tomo 11. Jitrik, Noé (dir.). Bs. As.: Emecé, 2000. P. 183–211.
- Ludmer Josefina*. El género gauchesco: un tratado sobre la patria. Bs. As.: Perfil, 2000. P. 155–159.
- Marimón Antonio*. La seducción del gesto // Punto de Vista, Nº 36 (Diciembre de 1989). P. 30–32.
- Pauls Alan*. Las malas lenguas // Literatura y crítica. Primer Encuentro UNL. 1986. Cuadernos de extensión universitaria, Nº 14 (1987). Santa Fe-Argentina: Universidad Nacional del Litoral. P. 115–123.
- Pauls Alan*. Lengua: ¡sonaste! // Babel, Nº 9, 1989. P. 5.
- Peller Diego*. Lamborghini se excede (y retrocede) // Otra parte. Bs. As. Nº 8 (2006). P. 27–30.
- Peller Diego*. La flexión *Literal* y la discusión sobre el realismo // El interpretador – literatura, arte y pensamiento – Nº 23 (Febrero 2006) <<http://www.elinterpretador.net/>>
- Perlongher Néstor*. El paisaje de los cuerpos; Una saga de la desubjetivación: lectura de «Los Tadeys» de Osvaldo Lamborghini; Ondas en «El Fiord»: barroco y corporalidad en Osvaldo Lamborghini // Papeles insumisos. Bs. As.: Santiago Arcos, 2004.

- Podalsky Laura*. Consuming Sex in the City. Censorship and the Dangers of Promiscuous Texts // *Podalsky Laura*. Specular city: transforming culture, consumption, and space in Buenos Aires. Philadelphia: Temple University Press, 2004. P. 196–198, 262.
- Premat Julio*. El escritor argentino y la transgresión. La orgía de los orígenes en *El fiord* de Osvaldo Lamborghini // América: La fete en Amérique latine: Rupture, carnaval, crise./Centre de recherches interuniversitaire sur les champs culturels en Amérique latine. Paris, 28 (2002). P. 115–122.
- Premat Julio*. La resaca de la historia. Erotismo y política en *El fiord* de Osvaldo Lamborghini // Satire, politique et dérision (Espagne, Italie, Amérique Latine)/Mercedes Blanco, éd. Lille: Université Charles de Gaulle-Lille 3, [Presses Universitaires du Septentrion], 2003. P. 161–169.
- Raia Matías*. Entre «ese antro repulsivo» y «una cadena de pegar»: vivienda, familia y vida del niño proletario // Golosina Caníbal, Julio 16, 2006 <<http://golosinacanibal.blogspot.com>>
- Rocha Carolina*. Crimes, Frontiers, and Stories of Extermination: Violence in Argentine Literature // Latin American Research Review, Vol. 42, № 1 (2007). P. 157–166.
- Ronsino Hernán*. La casa y los arrabales de la Nación Argentina: máscara, tragedia y dos cuentos // Enfocarte: Arte y Cultura en La Red, № 12 (Año 2001). <<http://www.enfocarte.com/1.12/articulo.html>>
- Rosa Nicolás*. Osvaldo Lamborghini y Nestor Perlongher. Política y literatura. Grandeza y decadencia del imperio // Usos de la literatura. Grupo d'Estudis Iberoamericans y Tirant lo Blanch, Universitat de València. Valencia, 1999. P. 117–130.
- Rosa Nicolás*. Osvaldo Lamborghini: Política y literatura. Grandeza y Decadencia del Imperio // La letra argentina: crítica 1970–2002. Bs. As.: Santiago Arcos Editor, 2003. P. 171–184.
- Rosa Nicolás*. Borges/O. Lamborghini: La discordia de los linajes // La letra argentina: crítica 1970–2002. Bs. As.: Santiago Arcos Editor, 2003. P. 185–217.
- Rosa Nicolás*. Los Confines de la Literatura o los Hermanos sean unidos // Relatos críticos: cosas animales discursos. Bs. As.: Santiago Arcos Editor, 2006. P. 109–138.
- Rosano Susana*. El peronismo a la luz de la 'desviación latinoamericana': literatura y sujeto popular // Colorado Review of Hispanic Studies,

- Vol. I, Nº 1 (2003). Special Issue (Cultural Narratives and the Demise of the Nation-State: Between Empire, Catastrophe, and the Brave New World). P. 7–25.
- Rubione Alfredo V.E.* Lo paródico en «El niño proletario» // *Lecturas Críticas: revista de investigación y teorías literarias*. Bs. As. Año 1, Nº 1 (Diciembre de 1980). P. 27–30.
- Salinas Marcelo.* La violence sexuelle chez Genet et Lamborghini: une esthétique de l'insoutenable // *Le Centre de recherches en Littérature et Poétique comparées* <<http://www.litterature-poetique.com>> («Espace carcéral, espace théâtral: la percée du désir». Séminaire du 20 mai 2005).
- Scavino Dardo.* Sexo, política y cachondeo en la literatura argentina // *Humour et politique en Amérique latine = Humor y política en América latina*/Coord. por Yves Aguila. Presses Universitaires de Bordeaux, 2006. P. 147–170.
- Silveyra Eduardo F.* Osvaldo Lamborghini o la perversión vacía // *Asterión XXI*. Revista cultural. Año 1, Nº 7 (Julio/Diciembre de 2003) <<http://www.asterionxxi.com.ar/numero7/lamborghini.htm>>
- Silveyra Eduardo.* Osvaldo Lamborghini, una biografía. Ensayo de Ricardo Strafacce // *DesmenuzArte Mejor*, Febrero 06, 2009 <<http://desmenuzartemejor.blogspot.com>>
- Steimberg Oscar.* Reseña de *El fiord* // *Los Libros*, Nº 5 (1969). P. 24.
- Strafacce Ricardo.* Osvaldo Lamborghini, una biografía. Bs. As.: Mansalva, 2008. 894 p.
- Teltscher Peter.* El informe deforme de Osvaldo: el fragmento de novela «Tadeys» de Osvaldo Lamborghini // *Desde aceras opuestas: literatura-cultura gay y lesbiana en Latinoamérica*/Dieter Ingenschay (aut.). Madrid: Iberoamericana; Frankfurt am Main: Vervuert, 2006. P. 255–266.
- Y todo el resto es literatura. Ensayos sobre Osvaldo Lamborghini/Juan Pablo Dabove, Natalia Brizuela (comps.) Bs. As.: Interzona Editorial, 2008. 288 p. [Introducción/*Natalia Brizuela*, *Juan Pablo Dabove*. Sebregondi no retrocede/*Luis Gusmán*; Osvaldo Lamborghini o la muerte del poema/*Tamara Kamenszain*; De la literatura entendida como delirium tremens/*David Oubiña*; De la novela al mito: el sentido de un comienzo/*Luis Chitarroni*; Ni siquiera la llanura llana/*Delfina Muschietti*; Lacan con Macedonio/*Julio Premat*; Escribir afuera: literatura y política en Walsh

y Lamborghini. (Para una lectura de Tadeys)/*Fermín Rodríguez*; La detención de la escritura: Samuel Beckett en Osvaldo Lamborghini/*Reinaldo Laddaga*; El arte como crueldad/*Susana Rosano*; «La muerte la tiene con otros»: sobre El niño proletario/*Juan Pablo Dabove*; El crimen, el experimento, la literatura: Osvaldo Lamborghini y la naturaleza/*Gabriel Giorgi*; La ficción de las masas/*Graciela Montaldo*].

Valente Alejandra. Maneras de subrayar en el salón literario: Lamborghini/Borges // Letrados iletrados: apropiaciones y representaciones de lo popular en la literatura/Zubieta, Ana María (comp.). Bs. As.: Eudeba, 1999.

Valente Alejandra, Strafacce Ricardo. Osvaldo Lamborghini o el desenfrenado deseo de la obra // El Rodaballo, Año V, Nº 9 (1998/1999). P. 69–72.

ANUS MUNDI

Борис Виан

О ПОЛЬЗЕ ЭРОТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Прежде чем начать эту лекцию, я должен извиниться за то, что буду читать по конспекту: без такой невинной меры предосторожности я неоднократно рисковал бы потерять нить своей речи, а сам характер предмета вовлек бы меня в рассуждения, которые могут оказаться здесь неуместными. Поэтому я буду благоразумно придерживаться написанного, надеясь при этом не слишком вас утомить, ведь хотя все и написано заранее, моя лекция не из тех, что принято называть «серьезными»... Это моя вина – я хулиган и не уважаю ничего, даже такие предметы, как этот, достойный всяческого уважения. Тем не менее, хочу вам сказать, что буду цитировать только ныне живущих авторов, не переводы с американского, и что все мои ссылки точны. Конечно, я намерен использовать произведения, относящиеся к теме, даже если придется зачитывать их по-латыни, чтобы вас подразнить...

Вначале я должен попытаться дать определение эротической литературы, установить рамки применения этого родового термина и объяснить, что он обозначает. Столь претенциозный план неизбежно ведет к провалу, ведь нельзя же сказать априори, почему то или иное литературное произведение является либо не является эротическим. К тому же мы сразу споткнемся о такие чудища, как «Жюстина» или «Сто двадцать дней Содома», которые невозможно классифицировать. Конечно, что касается де Сада, я могу лишь обеими руками подписаться под выводами мадам Клод-Эдмонд Маньи, которая с очаровательной беспечностью доверяет нам свою мысль в статье «Сад, мученик атеизма»... Приведу ее рассуждения дословно:

«Некоторые сцены из «Несчастий добродетели» оказывают несомненное воздействие на воображение, но подлинный смысл и интерес произведения – совсем в другом. Наи-

более скабрзные сцены де Сада обретают смысл и значение лишь благодаря метафизике, лежащей в их основе». Мадам Клод-Эдмонд Маньи, конечно, права, но... философ Хайдеггер, закладывая основы своей метафизики, тоже оказывающей несомненное воздействие на воображение, не испытывал ни малейшей необходимости пользоваться словарем де Сада или воображать разнообразные ситуации, в каких оказываются его герои, однако метафизика Хайдеггера при этом вполне убедительна. Когда мадам Эдмонд Маньи затем добавляет, что «четыре монаха из «Несчастий» – философы действия», так и хочется ей возразить, что сложное и красочное действие, о котором идет речь, для автора, похоже, важнее философии... Вместе с тем действие описано настолько убого, что никакого воздействия на воображение фактически не оказывает. На мой взгляд, произведения де Сада едва ли заслуживают звания литературы. Могу лишь повторить вслед за Жаном Поланом¹, слегка его подсократив: «Но Сад, со своими ледниками, безднами и ужасающими зámками... со своей настырностью, повторами и жуткими пошлостями, со своим систематическим духом и нескончаемыми умствованиями, со своей упрямой гонкой за сенсационными действиями, но при этом исчерпывающим анализом... Сад не нуждается в анализе и выборе, образах и театральных эффектах, изяществе и преувеличениях. Он не различает и не выделяет... Он повторяется и без конца мусолит одно и то же». Если это и литература, то плохая, и я осмелюсь утверждать, что законодательный запрет на произведения де Сада мог быть оправдан лишь именем литературы. Я возвращаюсь к тому, что отмечал выше: их нельзя отнести к эротической литературе, поскольку их нельзя отнести к литературе вообще. Лично мне хочется причислить их к разделу «эротическая философия», что снова подводит нас к отправной точке: какое же определение можно дать эротической литературе?

Разумеется, есть очень простое решение – придерживаться этимологии. Но в таком случае к эротической литера-

1 Жан Полан (1884–1968) – французский писатель, эссеист, издатель. – Здесь и далее прим. пер.

туре следует отнести любое сочинение о любви. Следующий пункт: заслуживают ли такого обозначения одни лишь художественные произведения или сюда же должны быть причислены сугубо научные труды, например, превосходный «Учебник по классической эротологии» Форберга²? Но таким образом мы просто обходим проблему, ведь второе, финалистское определение эротической литературы, в котором качество этой литературы измеряется *воздействием, оказываемым на наше воображение и чувства*, противоречит первому: в этом случае невозможно оставить в данной категории ни сочинение Форберга (чего заслуживают лишь приводимые им цитаты), ни «Историю древнегреческой любви» Мейера, ведь, как отмечает комментатор, «книга довольно аскетична, в силу той обобщенной точки зрения, на которую становится автор». Но, если уж придерживаться этимологического значения, что может быть эротичнее двух этих книг, в одной из которых тщательно классифицируются все физические возможности, а во второй с глубочайшим знанием дела и эрудированностью обсуждается любовь, не смеющая себя назвать? Итак, следуя этимологии, мы получаем два идеальных примера, а с финалистской точки зрения, как правило, смешивающей (впрочем, не без основания) эротическую и возбуждающую литературу, мы не получаем ничего. Так что же делать? Принять традиционное определение или решиться высказать истину об эротической литературе? Истина, конечно, существует... но, полагаю, еще не пришло время вам ее раскрыть. Чем дольше скрывается тайна, тем большую ценность она приобретает.

Вернемся в третий раз к словам-лейтмотивам данной лекции – «литература» и «эротика» – и попытаемся совершить обходный маневр, чтобы дойти до сути. Впрочем, этот маневр потребует повторения и варьирования усилий, что позволит оставаться в русле здоровой традиции описываемых явлений.

На сей раз *предположим, что задача решена*, как поступают математики. Отметим, что в любви этот метод вводит

2 Фридрих Карл Форберг (1770–1848) – немецкий философ, вначале находился под влиянием Канта, затем – Фихте.

в совершенное заблуждение, но, поскольку мы решили придерживаться здесь теоретического уровня, то можем добиться успеха – в случае небольшого везения и изрядной доли халатности.

Итак, перед нами – эротическое сочинение, например, роман. Предположим, что он написан сносным слогом.

Какова цель всякого романиста?

Развлечь публику? Возможно.

Заинтересовать ее?

Заработать денег?

Тоже возможно, но для этого есть лишь одно средство: заинтересовать публику.

Прославиться? Остаться в веках? Создать себе имя? Все та же проблема – чтобы интересовать людей сейчас или через сто лет, нужно их заинтересовать...

Стать членом Французской академии? Носить зеленый сюртук? Ну уж нет... Это не имеет отношения к литературе. Если не считать Эмиля Анрио³, которого я очень люблю.

Будем откровенны: пишем мы, разумеется, для себя, но мы пишем, главным образом, для того, чтобы временно покорить читателя, который всегда готовится к этому, открывая книгу, и автору надлежит добиться своей цели посредством своего искусства.

Конечно, средства бывают разные. Поэтому обычно различают хорошую литературу и плохую...

И читатели тоже бывают разные... Поэтому плохой литературы гораздо больше, чем хорошей.

Покорение читателя не имеет ничего общего с диктатурой: он волен сопротивляться. К тому же роль писателя весьма неблагодарна, ведь читатель может в любую минуту закрыть книгу и швырнуть ее в мусорную корзину, а писатель никогда не сумеет отплатить ему той же монетой. Писатель находится в положении немого, связанного по рукам и ногам, который заводит фонограф, поворачивая своим носом ручку (впрочем, вы вправе представить себе еще более корнелевские поло-

3 Эмиль Анрио (настоящее имя – Эмиль Поль Эктор Мегро) (1889–1961) – французский писатель и критик. Впервые употребил термин «новый роман».

жения, ни одно из которых не будет точным соответствием, поскольку в действительности писатель находится в положении писателя, а читатель – в положении читателя: вот и все, что следовало бы сказать, но приходится слегка усложнять объяснение, иначе лекции потеряют всякий смысл). Тем не менее, писатель пытается – или должен пытаться – привязать к себе читателя теми средствами, что находятся в его распоряжении. И, без сомнения, наиболее эффективное из них – вызывать физическое ощущение, внушить эмоцию физического порядка. Ведь очевидно, что, физически втягиваясь в процесс чтения, мы отрываемся от него с большим трудом, нежели от чисто умозрительных построений, за которыми следим рассеянно – краем глаза.

Незачем добавлять, что, если мы хотим заслужить титул действенного писателя, необходимо оказывать различные воздействия – приятные либо неприятные: заставлять читателя смеяться или плакать, тревожить и возбуждать его, причем всегда чувственно. Я имею в виду, что эмоция должна иметь вещественные последствия: если мы, например, плачем, то обязаны проливать настоящие слезы. Совершенно напрасно пытаться вызвать отрицательные эмоции определенного рода: в частности, стремясь поставить несчастную жертву в неловкое положение, мы рискуем увидеть, как она захлопнет книгу на пятидесятой странице, вне себя от раздражения. Конечно, я не утверждаю, что самые сильные и положительные чувства наиболее интересны; к тому же самые сильные для одних людей вызывают у других лишь минимальное волнение: тут все дело в выборе.

На самом деле, можно проявлять упорство: реактивная литература берегает для нас сюрпризы, и мы нередко удивляемся тому, что в наши ловушки не попадают даже те, для кого мы их расставили. На мой взгляд, предвидение реакции читателя – недостаточно исследованная отрасль искусства написания книг, и, хотя ее изучение затруднительно и бесплодно, полагаю, она берегает немало сюрпризов. Мне возразят, что подлинные произведения искусства создаются без всякого расчета и что инстинкт творца предвидит и заранее взвешивает все то, что считается непредсказуемым

и неуловимым; могут еще добавить, что это происходит неосознанно. Так вот, я не хочу отвечать за всех своих уважаемых коллег, но вижу некоторую опасность в том, чтобы представлять писателя гениальным зверьком, лихорадочно пишущим под диктовку Муз. Такое случается, но даже если мы творим с легкостью и без исправлений, расчет и замысел тоже не остаются пассивными. Однако, повторяю, обычно их доза все же невелика, и в нее входит значительная доля эмпиризма и традиции.

Если писатель – это и есть тот господин, который утверждает, будто вызывает у вас чувства по собственному желанию, стоит ли удивляться, что он метит в самые слабые ваши места? Как же писатель не воспользуется всеобщей предрасположенностью к любви? К любви-эмоции, как в «Суровой зиме», шедевре Рэймона Кено, или же любви-действию, как в «Акре Господа Бога» Эрскина Колдуэлла (как видите, я беру для примера и некоторых современников).

В самом деле, чувства и ощущения, общим источником которых служит любовь, будь то в форме грубого желания, будь то в более рафинированных формах интеллектуального флирта с цитированием и сопутствующей философией, несомненно являются наиболее сильными и интенсивными человеческими чувствами (наряду с теми, что связаны со смертью, кстати, весьма сходными).

Наверняка, у некоторых из вас возникнет возражение: если беспристрастно оценивать своих сограждан, мы непременно должны признать, что наиболее распространенная в современном мире страсть заключается в употреблении наркотиков в их благородной (опиум, гашиш) или выродившейся (алкоголь, табак) форме, не говоря уж о строго запрещенных химических и подкожных формах – кокаине и морфии.

На это я отвечаю, что если бы можно было разжиться женщиной с такой же легкостью, как рюмкой джина или пачкой «голуаза», и если бы мы имели право наслаждаться ею, словно алкоголем или сигаретой, прямо на улице, а не должны были заператься в грязной, невзрачной комнате, алкоголизм и наркомания моментально исчезли бы или, по крайней мере, приобрели умеренные пропорции. Забавный пара-

докс: правительство всячески поощряет граждан пить коньяк и копить вонючей травой, но в то же время задерживает и осуждает сатиров, которые, в сущности, лишь пытаются выполнить совершенно нормальную функцию, понапрасну усложненную предрассудками и другими предписаниями. Или, точнее, никакого парадокса здесь нет: это лишь две стороны одного вредительского заговора. Ведь, с физической точки зрения, чрезвычайно полезно предаваться со своей избранницей всевозможным радостным таинствам, как шутили наши предки, тогда как алкоголь неизбежно приводит к циррозу.

В этом-то заключается оправдание любви как литературной темы, а следовательно, и эротики – в небрежении государства к данному виду спорта, который я упорно считаю более разумным, нежели дзюдо, и более приятным, чем бег или брусья: к тому же он проистекает из всех этих занятий и имеет с ними много общего. И поскольку любовь, которая все-таки является, повторяю, главным предметом интереса для большинства здоровых людей, сдерживается и стесняется государством, немудрено, что нынешней формой революционного движения стала именно эротическая литература.

Ведь не следует обманываться. Коммунизм – это, конечно, очень мило, но он превратился в разновидность националистического конформизма. Социализм подлил столько вина в свою воду, что она прокисла... что же до остального, я не стану говорить об этом, поскольку не ведаю, что такое политика, и она меня интересует не более, чем табак... О да, истинные пропагандисты новой формации, подлинные апостолы грядущей диалектической революции – это, разумеется, так называемые «непристойные» авторы. Читать эротические книги, знакомить с ними, писать их – значит, подготавливать мир будущего и расчищать путь для истинной революции.

Впрочем, существует столько других оправданий эротической литературы, что я не смею настаивать. Разве война не признается наибольшим из зол? Разве мы не соглашаемся, что убивать ближнего предосудительно? Разве не предосудительно сбрасывать ему на голову тонны атомных бомб, облучать ра-

дарами и окуривать горчичным газом? Разве нам не твердят, что лишить жизни козавку – дурной поступок? А как насчет миллионов людей? Но сто́ит паре дебилов решить, что рынок артиллерийских орудий и урана стал слегка вялым, и вот уже воинственная литература разворачивается фронтом... Ведь, вообразите себе, существует воинственная литература, она открыто признается и печатается Берже Левро и Шарлем Лавозелем: вас научат чистить орудия и разбирать пулемет... Эта литература разрешается и поощряется... Но если какой-нибудь бедолага подробно опишет изгиб бедер своей возлюбленной или раскроет вам некоторые интересные и соблазнительные особенности ее непосредственной анатомии – караул! – его тотчас обругают, раскритикуют и осудят, а книги его изымут.

Конечно, все – против войны, но к военным мемуарам относятся с пиететом, а если ты убил сто тысяч человек, значит, ты – настоящий герой!.. Все – против алкоголизма, но если ты сколотил миллиарды на торговле вином, значит, ты – великий социалист!.. Все – за любовь, и нам вечно твердили: плодитесь и размножайтесь... Но как же мораль? Стоит нам ненароком совратить малолетку, и нас тотчас отправят в кутузку!..

Но я увлекся, а настоящий революционер должен воодушевляться, лишь когда наступает час Ч. А пока давайте бороться с врагом теми желчными и коварными средствами, которыми располагаем, попытаюсь посеять в его рядах смуту.

Беда в том, что зло глубоко укоренилось, ведь, наряду с истинной эротической литературой, издавна существует то, что можно назвать пятой колонной данной категории – эротическая псевдолитература.

Мы уже разоблачили де Сада с его чуть ли не медицинским анализом, ограничивающим воздействие, тем более что он приукрашен множеством неаппетитных деталей. Эротика «Ста двадцати дней Содомы» не выходит за рамки «Малого Ларусса» для извращенцев, если только не впадает в сущий комизм. А приготовления к оргии, занимающие множество страниц, убийственно скучны и не более интересны, нежели Генеральный каталог Оружейно-велосипедного завода Сент-

Этьена или, скорее, брачные объявления «Французского охотника». Костюмированные ритуалы и внутренние предписания замка Дюрсе обычно вызывают смех, и маниакальное стремление удовлетворять свои порочные желания с помощью девочек и мальчиков, похищенных у родителей, мало что меняет... Если чересчур хочешь доказать, то ничего не докажешь, или, по выражению Жана Полана: «Худшее – враг плохого». Прочитав еще Полана: «Рассказ о злодейском убийстве способен вызвать у нас беспокойство, а подробности одного перепихона внушают желание. Но десять тысяч перепихонов (за одну ночь) и сто тысяч мучений вызывают лишь усталость и отвращение. Я бы охотно избавился от воспоминаний де Сада о пытках эпохи Террора, против которых он выступал, как мы знаем, рискуя жизнью, и охотно заменил бы их парой монашеских призваний, несколькими уходами от мира, а также парочкой самоубийств на почве целомудрия – смертью Лукреции и Виржинии». Мне нечего добавить к этому приговору, не считая того, что сам термин «садизм», которым обозначают подобную литературу, с избытком доказывает фундаментальное различие. Наверное, ошибка объясняется чрезмерным употреблением слова *сладострастие*, которое сам де Сад применяет к абсолютно несоблазнительным вещам, например, когда целуют в губы персонажа с гнилыми зубами или грызут зародыш, словно сырую сардину.

В общем, де Сад не заслуживает внимания. Заодно покончим и с графиней де Сегюр⁴, у которой генерал Дуракин высек Торшоне, а исправник – госпожу Поповскую. Впрочем, следует признать, что когда госпожу Поповскую засовывают по пояс в люк и стегают ту часть тела, что выступает наружу, это уже начинает волновать... Но все это относится к садизму, и хотя порка может быть приятной, она представляет интерес в эротическом смысле лишь при условии, что остается любовной и совершается с согласия партнера или партнерши. Тем не менее, лично я не осведомлен о данной практике и предоставляю Графине и Маркизу самим разбираться

4 Софья Фёдоровна де Сегюр (урожд. Ростопчина) (1799–1874) – французская детская писательница, дочь московского губернатора Ростопчина, организатора большого московского пожара в 1812 г.

со своим кнутом. Псевдоэротика – это книги Делли, Макса дю Вёзи и всех тех барышень, чья главная задача, очевидно, состоит в том, чтобы развить в течение дня новые комплексы у юных католичек со съёмными именами. Одним из самых сенсационных (отсылаю вас к сочинениям Габриэля Фране «Мой рыцарь» и «Замок дез Авьель») стал около 1900 года комплекс дядюшки или опекуна тридцати пяти-сорока лет с рыжими усами и алыми губами, обнажающими блестящие клыки: ясно, какие опасности может таить в себе подобное орудие обольщения. Тем не менее, Фране, Делли и прочие – это псевдоэротика, поскольку все воображимые ухищрения просто предваряют более приятные игры: например, катание на коньках с муфтой из выдры, трость, протянутая при подъёме на скалу, теннис в пикейных юбках, открывающих икры, или амазонка из черного сукна, плотно облегающего бюст, не говоря уж о несчастном случае на охоте, – все эти приемы, в действительности, служат лишь приготовлениями к католическому браку или к роскошным пожертвованиям господину кюре. Самые частые клиенты психиатров и священников – читательницы Макса дю Вёзи... или их мужья, которых они порой доводят до полного безумия, упорно отказываясь расстаться для своей же пользы с куклой, подаренной на пятнадцатилетие, и докладывают обо всем своему духовнику. Тот слышал немало других историй, но не вправе этим воспользоваться, как обычно пользуется избранный круг близких друзей. В этой связи я вынужден процитировать Монтерлана⁵, который однажды сказал, правда, не помню где: «Воспитывайте в девочках силу, чтобы они могли читать все подряд: католических романов больше не будет». Псевдоэротичны сочинения Мориака. Наконец, псевдоэротичны все сочинения (а их много), где собственно эротические действия сопровождаются злобными жестами, что является абсолютным противоречием.

Какие еще есть враги у эротической литературы? Медицинские сочинения, которые сообщают молодым людям

5 Анри де Монтерлан (1896–1972) – французский романист и драматург.

и девушкам целый ворох понятий, способных отбить охоту регулярно пользоваться сложным, но столь изобретательным аппаратом. Газеты и журналы, отвлекающие на новости внимание, которое обычно с четырнадцати лет должно быть направлено на разумное использование органов с конкретным предназначением. Мы одобряем физическую культуру? Но почему же не одобрить полную физическую культуру? И я говорю здесь лишь о врагах в литературной или печатной форме... Но все эти живые враги в людском облике: Дэниэлы Паркеры⁶, скауты, молодежные организации, школьные союзы родителей, продюсеры американских фильмов, сторожа парков, полиция, унтеры (лучшими из них можно пренебречь)... Впрочем, справедливости ради следует добавить, что некоторые из этих врагов тоже являются лишь псевдоврагами, и раз уж я упомянул Дэниэла Паркера, вынужден признать, что мало кто из людей сделал столь же много для распространения сочинений определенного рода...

...Вы наверняка заметили, что, называя и разоблачая противоположности, с которыми сталкивается эротическая литература, я до сих пор ограничивался определением того, что ею не является. Но неужели не осталось ничего, что можно причислить к интересующему нас разряду?

И вот я вынужден временно вернуться к финалистскому объяснению. Необходимо рассматривать как относящееся к эротической литературе любое произведение искусства, вызывающее у читателя желание физической любви – непосредственно или посредством промежуточного изображения.

Именно в этом смысле священное писание можно было бы отнести к категории великой эротики, и я говорю не только о тех отрывках из Библии, где подробно описываются деяния и способности великого царя Соломона. Все эти страницы, где нам пытаются привить любовь к Господу, все эти литании, где повторяются, будто наваждение, имена существ, которые нам предлагается любить, – не что иное, как извращенная форма эротической литературы! Сие моя плоть... сие

6 Дэниэл Паркер (1781–1844) – баптистский проповедник-«антимиссионер».

моя кровь? Да это же идеальный комментарий к полному отождествлению двух начал влюбленной пары! Наилучший учебник по пропаганде – это Евангелие! Кто бы мог вообразить Геббельса царем? Порой мы придумываем рекламные уловки, призванные вернуть людям интерес к естественной любви – любви самца к самке. Я хорошо представляю себе объявления такого рода: «Любовь с блондинкой? Прекрасно... А вы пробовали брюнеток? Кто отважится?» Или такое: «Переспать с хорошенькой женщиной – это понятно, а знаете ли вы, каково переспать с уродиной?» В тот день, когда мы прочитаем в «Франс-Суар» или «Пари-Пресс» подобные объявления, можно будет сказать, что эротическая литература заняла свое место под солнцем. Ну а пока – увы... До тех пор, пока мы вынуждены это признавать, подлинная эротика остается достоянием привилегированного класса... Ведь она очень дорого обходится из-за сопротивления, с которым сталкивается, а государство, как я уже говорил, не в силах национализировать проституцию, обуздав ее подходящим налогом, государство (из последних остатков похвальной стыдливости, да еще потому, что оно предпочитает нападать на индивидуальную свободу окольными путями) запрещает и преследует лучшие образцы жанра. С какими трудностями придется столкнуться при публикации в недорогом сборнике «Подвигов юного Дон Жуана» или «Одиннадцати тысяч целок» Гийома Аполлинера⁷, не говоря уж о «Женщинах», тайных стихотворениях Поля Верлена – чудесных образчиках, чтение которых побуждает обычного нормального мужчину к весьма похвальным действиям! Остается лишь удивляться, и я искренне удивляюсь, что «Пшеница в траве» Коллетт⁸ – один из самых превосходных образцов эротики, который мне известен, и один из самых утонченных (что его ничуть не портит) – до сих пор не запрещен. Наверное, это реванш судьбы, к тому же Коллетт искусно представила

7 Борис Виан действительно произнес – очаровательный ляпсус – «Одиннадцать тысяч целок». Речь идет, разумеется, о знаменитом сочинении Гийома Аполлинера «Одиннадцать тысяч палок», полного шуток и веселья. – Прим. ред. фр. издания.

8 Сидони-Габриэль Колетт (1873–1954) – французская романистка, член Гонкуровской академии (1945).

свое произведение в таком виде, чтобы оно не привлекало внимания цензоров. Ведь «Пшеница в траве» – книга, где нет никакой похабщины... Еще одно слово, к которому мы вернемся через пару минут.

Другой великий эротический автор – Эрнест Хемингуэй. Любопытно, что наибольшим влиянием он пользуется у женщин, хотя они и считаются менее подверженными книжным влечениям, нежели мужчины. Сцены из романа «По ком звонит колокол», где герой и героиня занимаются всякой всячиной в спальном мешке, пересказывали и упоминали все милые особы, которых я спрашивал, какой они представляют себе хорошую эротическую литературу. «Хочется заняться тем же». – Не говоря уже о Пьере Луи⁹: его царь Павзол – несомненно, один из шедевров жанра. Но довольно примеров – перейдем к делу.

Что требуется от эротической литературы? Или, иными словами, какова польза от нее?

Полагаю, она должна быть, прежде всего, подготовкой, стимулом и посвящением для всех тех, кого неблагоприятные обстоятельства, неадекватная социальная среда или различные крайности лишили шестнадцатилетней кузины или молодой учительницы сольфеджио; для всех тех, чьи родители более двух десятков лет держали в семье одну лишь семидесятипятилетнюю прислугу. Наконец, для всех тех, кто, раньше времени постарев из-за всеобщего обязательного образования, целиком поглощающего внимание, так и не смог выкроить время для того, чтобы научиться обязанностям человека по отношению к своему и чужим телам. Перефразируя Хэвлока Эллиса¹⁰, можно и впрямь сказать, что эротика – неотъемлемый компонент общественной жизни, соответствующий глубинной потребности тела.

«Взрослые, – писал Хэвлок Эллис, – точно так же нуждаются в непристойной литературе, как дети нуждаются в сказ-

9 Пьер Луи (1870–1925) – французский эротический лирик и прозаик, писал в основном на тему лесбийской любви.

10 Хэвлок Эллис (1859–1939) – английский психолог и писатель. Автор семитомного труда «Исследования психологии пола» (1898–1928).

ках: она ослабляет гнетущую силу условностей». Замените слово «непристойный» словом «эротический», и вы получите не менее логичное суждение. В своем крупном исследовании, опубликованном в журнале «Родник» в октябре 1946 года, Миллер комментирует тезис Эллиса так: «Это позиция образованного человека, невинность и здравый смысл которого повсеместно признавались выдающимися критиками. Разумеется, поскольку Эллис был англичанином, его преследовали за эти взгляды и идеи в области сексуальности... Начиная с XIX века, все английские писатели, которые отваживались честно и реалистично подходить к данному вопросу, неизменно преследовались и подвергались оскорблениям...»

Конечно, не одни лишь английские писатели навлекают на себя гнев цензоров, которые, неведомо для себя, творят великое зло. Ведь, пытаясь отвратить человека от любви, они неизбежно нацеливают его на противоположный полюс наших страстей – смерть. Опять процитирую Миллера: «По мере развития цивилизации война все явственнее предстает наибольшей разрядкой, предлагаемой обычному человеку. На войне можно спустить пар...» Еще раз укажем на тесную связь между смертью и любовью, так глубоко проанализированную Мишелем Лейрисом¹¹ в его «Зеркале тавромахии» и часто исследуемую другими авторами, и выразим сожаление о том, что обычно война и в самом деле считается единственной возможной разрядкой, тогда как существуют другие, весьма разумные и гораздо более приемлемые способы. Но раз уж эти начала так близки, нечего удивляться, что война без труда получает признание у всего населения. К тому же война в особенности благоприятствует развитию садизма, который, как я уже говорил, является худшим врагом эротики; в частности, последняя война привела к возрождению рабства и тотального закабаления. Но, раз уж я дважды процитировал Миллера, уточню, что, подобно де Саду, он не может считаться эротическим автором, хотя некоторые отрывки из его произведений и заслуживают этого определения. Чаще всего они относятся, скорее, к медицинской литературе, поскольку он употребляет

11 Мишель Лейрис (1901–1990) – французский писатель и этнолог.

похабные выражения. Впрочем, Миллер не отстаивает своего права именоваться записным эротическим автором, а, скорее, претендует на звание непристойного писателя, употребляя данный термин в весьма широком смысле (по его словам, непристойность – это экстаз). Однако мадам Клод-Эдмонд Маньи, которая много занимается проклятыми писателями, возражает: «Под непристойностью следует понимать отчаянную попытку писателя поделиться с нами своей точкой зрения, когда ему отказывают обычные литературные приемы». Вернемся к более распространенному значению термина и констатируем, что эротика требует слегка сублимированной или, если можно так выразиться, поэтической непристойности, и ее дозировку крайне трудно соблюсти, ведь нельзя же заставить читателя читать книгу так, как ее следует читать. Имеется в виду, что если читатель захочет начать с XVII-й главы, затем вернуться к III-й, а потом перейти к XII-й, автору останется лишь развести руками. Это неприемлемо. Если мы собираемся написать эротическое сочинение, для начала необходимо допустить, что, подобно всем прочим сочинениям (за вычетом поваренных книг и католических требников), читатель будет читать его в том порядке, в каком оно напечатано. В противном случае рассматриваемый читатель рискует совершенно не понять характера книги, ведь в хорошем эротическом сочинении всегда есть крещендо, которое должно нарастать постепенно, чтобы не схватить читателя за горло и с ходу его не оттолкнуть.

Я случайно упомянул поваренную книгу, но она может служить нам еще одним примером: всякое сочинение этого жанра, столь же хорошо продуманное, как труд великого Жюль Гюффе¹², с большим умением и знанием дела излагает причины, по которым блюда меню подаются в том или ином порядке... Это же относится и к эротическим компонентам: они почти всегда одинаковы по существу, а ценность сочинения определяется лишь их последовательностью. Возьмем очень простой пример из другой области: разве Делли при-

12 Жюль Гюффе (1801–1877) – французский кулинар, автор «Поваренной книги» (1867).

шло бы в голову начать одну из глав своего романа следующим образом (попытаюсь симпровизировать): «Поль де Бетонкрё танцевал с Элианой, и тонкие усы молодого человека касались щеки, нежно порозовевшей от оживления, царившего на балу»? Конечно, нет... Делли – не сумасшедшая, она начала бы с описания приготовлений к балу, платья Элианы, прибытия Поля, его танца с той высоченной потаскухой – мадам де Монтамбрей, сущей тигрицей, о которой мужчины переговариваются шепотом, и наконец, его возвращения к Элиане, у которой сердце разрывается от волнения. Делли – опытная стряпуха. Впрочем, не берусь судить, ведь я прочитал не все ее сочинения, возможно, она так и не доходит до описания подобных сцен... Но я пользуюсь ее именем как символом. Да, в эротической литературе есть свои четко установленные правила, и, пользуясь случаем, назову одну из самых крупных удач в этом жанре: произведение Николя Шорье, французского юрисконсульта, издавшего под псевдонимом Луиза Сигеа, молодая испанка, «Сотадическую сатиру на секреты Амура и Венеры» (это сочинение выходило также под именем Мерсия и заголовком «Изыщество латинского языка»). Заметим мимоходом, что Николя Шорье поныне остается великим мастером мнимого перевода – на мой взгляд, весьма похвального жанра. Чтобы описать вам стиль Николя Шорье, лучше всего прочитайте... нет, не отрывок из «Секретов» (поскольку я немного застенчив и легко краснею), а комментарий Форберга из уже упомянутого «Учебника»:

«Трудно сказать, что в этой книге восхищает больше: изыщество слога, всегда отточенного и изысканного, но вовсе не манерного, веселые и прелестные шутки, яркие блески латинской эрудиции, богатый, роскошный язык, украшенный, словно драгоценностями, отборными, ослепительными словами и фразами, источающими аромат античности, или же непревзойденное мастерство, с которым автору удается удивительно разнообразить одну и ту же тему».

Поразмыслив, я все же решил привести отрывок из шестого диалога, дабы показать вам, до какой искренности способен возвыситься французский юрисконсульт... Это цепочка размышлений о плотских неудобствах при любовных утехх:

«Известно множество поз, которые нельзя принять в жизни, даже если бы суставы и поясницы тех, кто соединяются ради таинств Венеры, были невероятно гибкими. По мере размышлений и раздумий в голову приходит множество идей, которые невозможно осуществить. Точно так же, как нет ничего недостижимого для пылких желаний, нет ничего затруднительного и для безудержного, необузданного воображения. Оно проникает, куда пожелает, любым путем, который опробует; оно обнаруживает равнину, усеянную пропастями; однако телу не так уж легко приспособиться ко всем хорошим либо дурным фантазиям».

Я догадываюсь, что вы разочарованы этой цитатой, но мое широко известное целомудрие не позволяет приводить другие примеры... Полагаю, это чуть ли не единственный отрывок, который можно зачитывать перед приличной и неподготовленной аудиторией. Итак, подытожим и продолжим. Эротическая литература, прежде всего, играет образовательную и стимулирующую роль. Она может также служить паллиативом: если у капитана всадников на верблюдах, заблудившегося в пустыне, где на горизонте не видать никакой Антинеи, под рукой окажется хорошая эротическая библиотека, наверняка, она поможет ему скоротать время куда веселее, нежели полное собрание сочинений Анри Бордо¹³. Правда, это слишком очевидный, ограниченный и банальный пример. Однако эротическая литература является прибыльным источником доходов для молодых живописцев и талантливых рисовальщиков, которые могут, иллюстрируя классику жанра, очень быстро заработать деньги и завоевать репутацию. С общесударственной точки зрения, эротическая литература – одно из лучших средств повышения рождаемости, какое только можно придумать. Процитируем «Подвиги юного Дон Жуана» Гийома Аполлинера. Обрюхатив служанку Урсулу, свою сестру Элизу и тетушку Маргариту, герой делает вывод: «За один день я стал крестным отцом Урсулиного малыша Роже, Элизиной крошки Луизы и тетушкиной малышки Анны – все дети родились от одного отца, но никогда об этом не узнают. Надеюсь,

13 Анри Бордо (1870–1963) – французский романист и эссеист.

у меня еще будет множество других, и тем самым я выполню свой патриотический долг – увеличивать население своей страны». На этой оптимистической ноте книга и заканчивается. С точки зрения будущего, эротическая литература, побуждающая мужчин и женщин к разнообразным любовным связям, подготавливает почву для тех мер, которые неизбежно придется когда-нибудь принять: например, для принудительной полигамии (и уверяю вас, я вовсе не противник полиандрии – нужны ведь и передышки). Отметим мимоходом, что женщины-авторы достойных произведений в данной области встречаются крайне редко, их практически нет, и эту лакуну предстоит заполнить. Мне могут назвать имена Сапфо и Билитис, но они работали в довольно узкой сфере... А вторая, право, переведена с греческого примерно так же, как Луиза Сигеа с испанского. Как так случилось, что нет почти ни одной писательницы, стремящейся отомстить за подчас достаточно грубое обращение, которому подвергают ее сестер соответствующие авторы-мужчины? Но это отступление завело бы нас слишком далеко, и я вынужден ограничиться постановкой вопроса, всячески побуждая к его решению добровольцев... Эротика женских романов все еще остается слишком нюансированной, а порой и чересчур фрейдистской, как, например, в «Отражениях в золотом глазу» Карсон Маккалерс, и ни одна женщина пока не отважилась злоупотребить на бумаге мужчинами так же, как последние часто злоупотребляют ими самими. В эпоху, когда наши дорогие подруги, наконец, обрели право голоса, полагаю, пора бы им уже эмансипироваться и в этой области.

Поскольку польза эротической литературы представляется мне вполне установленной, настало время разрушить созданное и вернуться к началу, ведь на то есть очень простая причина. Невзирая на этимологическое, финалистское, традиционное и другие определения, которые я попытался ей дать, несмотря на аргументы в поддержку этих определений и побочное доказательство ее существования, которым служит наличие у нее врагов, мне следует подойти к последнему и главному пункту своей лекции. Если только это внушительное слово можно применить к моему нескромному исследованию, я вынужден, к своему сожалению, обезопасить себя много-

словием и парафразами, дабы не слишком внезапно раскрыть вам окончательную истину... В общем, я еще немного обожду, и, чтобы потянуть время, прочитаю несколько строк из Теодора Шрёдера, лукаво и насмешливо подобранных, дабы затем безболезненно подвести вас к неприятному выводу.

В своей статье, откуда я и почерпнул эту цитату, Генри Миллер пишет, что Теодор Шрёдер посвятил всю свою жизнь борьбе за свободу слова. Теодор утверждает:

«Невозможно отыскать непристойность ни в одной книге, ни в одной картине... Непристойность – это всегда лишь умственное свойство читающего или смотрящего... Никто еще не привел аргумента в пользу запрета непристойной литературы, который, в силу неизбежных следствий, не оправдал бы или уже не оправдал все прочие ограничения свободы духа».

Миллер добавляет: «Спустя годы борьбы с ханжами, святошами и прочими психопатами, решающими, что мы должны, а чего не должны читать, Теодор Шрёдер заявляет: „Когда книгу объявляют непристойной, учитывается не внутренне присущее ей свойство, а ее гипотетическое влияние на гипотетического индивида, который в сомнительный момент будущего гипотетически может ее прочитать“». Цитируя пастора XIX века, он добавляет: «Непристойность существует лишь в головах тех, кто обнаруживает ее и обвиняет в ней других».

«Эти люди, – подхватывает Эрнест Джонс¹⁴, – испытывают тайное влечение к различным соблазнам, но прилагают все силы для того, чтобы уберечь от них других. В действительности же, под предлогом защиты других, они защищают самих себя, поскольку в глубине души боятся собственной слабости».

Наверное, вы уже понимаете, куда я клоню. Напомню еще раз, как опасно полагать, будто книга способна влиять на читателя... В таком случае после рассказа о первом убийстве на земле не осталось бы ни одной живой души... Наконец-то я формулирую очевидный факт, к которому мы приходим: *эротической литературы не существует*. Точнее, лю-

14 Эрнест Джонс (1879–1958) – английский психоаналитик, один из самых верных последователей З. Фрейда.

бая литература может считаться эротической, поскольку все сказанное можно повторить слово в слово, лишь заменив непристойность эротикой, как это уже случалось в прошлом. Всегда нужно выбирать одно из двух: либо мы понимаем, что читаем, и, стало быть, уже несем это в себе; либо не понимаем – ну и в чем же тогда зло? Утверждая, будто книга способна внушить нам желание сделать то же, что в ней описано, мы грешим против истины. Ведь если мысленно перенестись в ту эпоху, когда были придуманы все эти приятные эротические обычаи, придется признать, что они пришли в голову кому-то первому, причем без всяких учебников... Насколько мне известно, человек предшествовал книге, а не наоборот.

Признаем также, что мужчина и женщина, рожденные на необитаемых островах вне контакта с цивилизацией и пребывающие в нормальном состоянии, которые затем познакомятся друг с другом, по-прежнему защищенные от внешних вмешательств, наверняка очень скоро узнают целую кучу разных вещей... Опыт приобретается легко.

Разумеется, истина заключается в том, что эротическая литература существует только в мозгу эротомана, и нельзя утверждать, что описание, скажем, дерева или дома менее эротично, чем описание пары искусных любовников... Главное – определить душевное состояние читателя... Октав Мирбо¹⁵ в «Дневнике горничной» рассказывает историю о старом господине, которого погружала в подобное состояние обычная женская туфелька... А что сказал бы этот старый господин о рекламных листках Аржанса или Перуджи? Нужно ли осуждать Аржанс и Перуджу или, не опускаясь до этого, можно ли утверждать, что рекламные агентства Аржанса, Перуджи и других городов являются эротическими изданиями?

Я все же полагаю, что можно... Именно поэтому проблема пользы эротической литературы, в конечном счете, сводится к проблеме пользы от литературы вообще. Иными словами, я не в силах ее разрешить... В заключение этого бессвязного монолога обращусь к восхитительному Форбергу:

15 Октав Мирбо (1848 или 1850–1917) – французский писатель-натуралист.

«Вина, поставленные на стол, возбуждают пьяницу, но оставляют равнодушным трезвенника. Точно так же чтение этого рода, возможно, распаляет развращенное воображение, но не оказывает никакого воздействия на целомудренную и воздержанную душу».

Душу, которой, вне всякого сомнения, обладают все присутствующие, включая самого докладчика.

ТРАХУЛА

Отрывки из дневника Дэвида Бенсона

I

Я находился в замке графа Трахулы не больше часа, но злобный облик этого места уже зародил в душей моей самые мрачные предчувствия.

Жилище графа высилось в одном из самых диких районов огромного трансильванского леса, который бросает на штурм первых отрогов Карпат черные орды высоких австрийских сосен и презрительных лиственниц. Замок, стоявший на самом вершине скалистого выступа, господствовал над глубокой ложиной, на самом дне которой ревел пенный поток.

Граф обратился в адвокатскую контору в Лондоне, где я работал, с просьбой прислать к нему представителя, чтобы привести в порядок какие-то важные документы. В портфеле у меня лежала копия ответа с моей рекомендацией, и этот небольшой белый листок был единственным предметом, способным развеять мою тревогу.

В самом деле, с тех пор, как я час назад пересек порог этого сурового строения из серого камня, мне пока не встретилась ни одна живая душа. В воздухе лишь причудливо кружились летучие мыши, наполняя своими пронзительными криками гнетущую тишину, и только воспоминание о моем большом, обшитом панелями лондонском бюро придавало мне уверенности.

Пройдя один за другим пустынные залы я, в конце концов, обнаружил за прямоугольной башенкой, возвышавшейся на северной стороне, комнату, где ревел огонь в очаге. В за-

писке, лежавшей на столе рядом с плотным ужином, хозяин, уехавший два дня тому на охоту, извинялся за столь бесцеремонный прием и просил устраиваться поудобнее и ждать его возвращения.

Как ни странно, таинственность происходящего вовсе не усилила мою тревогу, а, наоборот, рассеяла ее, и я с легким сердцем весьма неплохо поужинал.

Затем, полностью раздевшись из-за жары и духоты, я улегся перед очагом на огромную шкуру черного медведя, еще сохранявшую легкий запах хищника, наверняка, благодаря древним методам, применяемым местными горцами.

II

Из оцепенения меня вывело удушье и другое, совершенно незнакомое ощущение. Благодаря своему степенному холостяцкому прошлому я, конечно, был не готов к подобным переживаниям. На мою грудь наваливалась громадная туша, и в то же время мне казалось, будто мой член целиком погружается в теплую, весьма подвижную полость. От этого нового возбуждения необычайно приумножалась его сила и увеличивался объем. Мало-помалу придя в себя, я заметил, что мой нос и губы задевает упругий пушок. Своеобразный, чуть дурмящий запах заполнил мои ноздри, и, подняв руки, я наткнулся на два гладких, шелковистых полушария, которые вздрогнули от моего прикосновения и слегка приподнялись. После чего, почувствовав какую-то влагу на верхней губе, я слизнул ее, и мой язык проник в мясистую, горячую щель, которая в тот же миг начала ритмично сжиматься. Я всосал вкусный сок, стекавший теперь мне в рот, и, наконец, понял, что кто-то лежит на мне валетом и грызет мой член, а я, со своей стороны, оказываю ему ту же услугу. Я, Дэвид Бенсон, пощипывал губами орган какого-то существа и получал от этого величайшее удовольствие.

Я удостоверился в этом в тот самый миг, когда, охваченный бурным восторгом, выпустил обильную струю спермы, которая тотчас была проглочена. Одновременно ягодичы, сжимавшие мою голову, напряглись, я задвигал языком взад-вперед изо всех сил и осушил до дна воспаленную чашу,

ритмично двигавшуюся перед моими губами. Руки мои тоже не оставались без дела, и я водил ими вверх-вниз по душистой бороздке, жадно вдыхая возбуждающий аромат. Порой мои пальцы проникали в другую, менее доступную впадину.

«Я пропал, – подумал я, – граф – вампир, а эта креатура служит ему. Теперь я и сам стану вампиром...»

В ту же минуту существо немного придвинуло свой зад к моему носу, и я почувствовал, как в мой подбородок уперлось что-то твердое и волосатое. Ощупав предмет, я понял, что он заканчивается жестким, набухшим членом, пытающимся пролезть мне в рот.

«Я сплю, – подумал я, – у одного человека не может быть двух половых органов одновременно».

И поскольку сны позволяют расширить наш опыт, я принялся сосать этот член изо всех сил, прижимая язык к нёбу, чтобы удобнее было водить им вдоль бороздки, разделяющей головку надвое, ведь мне хотелось довести свои топографические исследования до конца. Вампир продолжал возиться у моего живота и, благодаря тому, что я неосознанно изогнулся, почему-то начал вылизывать края моей задницы заостренным и подвижным языком, похожим на змеиную голову. От этого прикосновения моя обмякшая палица вновь окрепла.

Стебель, который я жадно сосал, предупредил меня о внезапной перемене, растянувшись до предела, и рот мой наполнился брызжущими струями лакомой спермы со вкусом щелока и легким трюфельным ароматом. Прежде чем я успел все проглотить, вампир резко перевернулся и припал своими губами к моим, обшаривая мои десны и глотку в поисках каких-нибудь оставшихся волокон. Тем временем мой член заполнил горячий и нежный проход, а чья-то легкая рука, дотянувшись до моего ануса, вставила туда еще робкий фаллос, который, отвердевая с каждым толчком, приводил меня в самый пылкий и неожиданный восторг.

Пока я пытался прийти в чувство, я успел подумать, что все это может быть только сном, ведь влагилице, минуту назад зиявшее между анусом и яичками, находилось теперь над членом, и я по прежнему им наслаждался. Тварь быстро и проворно лизала мне лицо возле глаз, ушей и висков – я ни-

когда не предполагал, что эти места настолько чувствительны. Мне захотелось увидеть существо, но угасающий огонь позволял разглядеть лишь часть его тени, что ложилась на тлеющий красный очаг.

Мои размышления были прерваны новой волной оргазма, охватившего меня, и я выпустил жидкую стрелу в глубь тисков, сжимавших мой член, одновременно почувствовав, как в самой глубине моей утробы растекается сок моего сукуба. Судорожно вцепившись руками в груди, такие острые и твердые, что их соски буравили мою плоть, я потерял сознание от столь жутких и сильных впечатлений.

На этом дневник Дэвида Бенсона обрывается. Несколько листов были найдены рядом с телом в окрестностях необитаемого замка Радзагани в Венгрии. Дэвид Бенсон был частично сожран хищными животными, которые, как ни странно, набросились на нижнюю часть живота, полностью сглодав ее, и испачкали его лицо испражнениями и мочой.

Перевод Валерия Нугатова

Максим Артемьев

ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА И ЕГО СОВРЕМЕННИКОВ

Каждая эпоха откладывает отпечаток на автора, в чем-то сужая поле его зрения. Классический роман XIX века, несмотря на свой реализм, не замечал многого. Причем в разных странах, в зависимости от культурных предпочтений, из внимания художника могло выпадать больше или меньше. То, что мы называем «викторианством», накладывало едва ли не максимальные ограничения среди магистральных европейских литератур. С позиций сегодняшнего дня кажется желательным расширение и дополнение мира классических романов Диккенса и сестер Бронте. Таким дополнением может стать многотомная автобиографическая эпопея «Моя тайная жизнь» (*My secret life*), написанная неким «Уолтером» и напечатанная анонимно в Амстердаме в 1888–1894 гг. Некоторые исследователи считают ее возможным автором Генри Спенсера Эшби, торговца текстилем. Он много путешествовал, был увлеченным букинистом и собирателем эротики, входил в кружок викторианских вольнодумцев, таких как поэт Элджернон Суинберн и путешественник Ричард Бертон. Последний приобрел скандальную известность тем, что во время странствий измерял размеры половых членов представителей разных народов и подробно документировал сексуальные нравы и обычаи. Замаскировавшись мусульманином (даже совершив обрезание), Бертон попал в Мекку, но тут его чуть было не выдало нарушение кодекса поведения – он как-то раз помочился стоя, задрвав бурнус, а не на корточках, как подобало арабу.

Впрочем, вопрос об авторстве представляется не принципиальным. «Моя тайная жизнь» ценна вне зависимости от того, кто ее в действительности написал. В том, что ее содержание – не вымысел, сходится большинство исследователей. «Моя тайная жизнь» резко отличается от викторианской

эротики, фривольных французских романов XVIII века и тому подобной продукции. Она написана совсем не для развлечения – 11 томов со скрупулезным перечислением бесчисленных, но довольно-таки однообразных подробностей. В книге нет явно неправдоподобных деталей, зато немало психологических наблюдений и моралистических (весьма оригинального толка) раздумий. Назвать «Мою тайную жизнь» порнографией, как это делалось в XIX веке и большую часть XX-го, вряд ли правильно. Уже энциклопедия Британника в 1990-е годы поместила эту книгу в разряд «серьезной» литературы, рассмотрев ее в общем очерке истории английской словесности.

В стиле Уолтера много от простой разговорной речи, зачастую грамматически неправильной. Язык «Моей тайной жизни» напоминает графически четкий язык дневников Пипса, когда автор отбрасывает лишние переходы, стараясь ухватить главное. Читать Уолтера незатруднительно, и «Моя тайная жизнь» могла бы послужить увлекательным чтением для изучающих английский язык. Тем не менее, у переводчика на русский возникает немало проблем. Как адекватно передать слова, «неудобные для печати»? Уолтер не затрудняется в их выборе, используя современную ему устную речь, что звучит в подлиннике весьма современно. По-русски же получается необычайно грубо, так как наш язык еще недостаточно «обтесался» с обценной лексикой. Использовать же неологизмы типа «трахаться» – значит далеко уходить от оригинала. Думается, избранный вариант с буквальным следованием оригиналу даст более адекватное представление о языке Уолтера.

В XIX веке понятие цивилизации и прогресса было тесно связано с идеей победы над природой, природой во всех смыслах, в том числе и человеческой. Торжество духа над плотью мыслилось триумфом развития личности. Не случайно самая развитая страна, Великобритания, в культуре господствующих классов выдвигала на первый план ценности сдержанности, самодисциплины, самоотречения, обуздания страстей, следования «разумным» канонам поведения. Поэзия Теннисона, особенно *In memoriam*, хорошо это иллюстрирует.

Романтики – и Китс с Шелли, и Тернер с Констеблем, – обращаясь к «чувству», страшились его, и под чувствами понимали не «инстинкты», всегда звериные и злобные, а возвышенные медитации на благородные темы. Так и «реалисты» – Диккенс, Теккерей, Джордж Элиот, Тrollop, – постигали реальность выборочно, дабы не обидеть хороший вкус и здравый смысл.

Но каждой цивилизации противостоит антицивилизация, и борьба между ними проходит в душе человека. Автор «Моей тайной жизни» был в числе тех, кто получал по максимуму от цивилизации викторианского времени. Поезда, пароходы, телеграф, удобные отели, утренние газеты – он был потребителем всего, что мог позволить себе английский буржуа середины XIX века. Хорошие публичные дома также входили в этот список, равно как и податливые горничные. И здесь начинается водораздел между Уолтером и многими его современниками – пьюзитами-трактарианцами и прочими благочестивыми викторианцами. Они стремились к «духовному» и «вечному», писали богословские трактаты «на нынешние времена», призывали соотечественников к всевозможным добродетелям, и сами служили их примером – честной семейной жизнью, благотворительностью, усидчивостью, прилежанием.

Но и те, «другие», которые жили развратно, не посещали церкви, не жаловали в пользу неимущих или жаловали совсем скудно, не от сердца, также вынуждены были жить для окружающих относительно «правильно». Свои пороки они удовлетворяли тайно, так чтобы о них не знали даже самые близкие. Об одном таком «Уолтере», попавшем в Россию, ярко вспоминает благонамеренный Н. И. Греч:

Еще много носилось в свете анекдотов о членах Академии. Они куликали не одни: к ученым присоединялись и исполнительные члены Комитета Правления Академии. В числе их был некто Василий Иванович Емс, происхождения английского, родившийся в Архангельске; он говорил городским наречием, как гребец, пил напропалую, ругался, как подлейший извозчик, и участвовал с друзьями своими в самых развратных оргиях.

Мне случилось видеть их на обеде, который давала ежегодно Почтамтская Газетная Экспедиция Комитету Академии за какую-то уступку при подписке на Академическую газету. Экспедицию управлял тогда статский советник Иван Васильевич Мейсман, человек добрый и любезный, служивший сам прежде того в Комитете Академии. И меня приглашали на этот обед, как издателя журнала, от которого кормилась Экспедиция. Обед этот происходил обыкновенно в ресторации Луи, напротив Адмиралтейства, и оканчивался жестоким пьянством, а иногда и дракой. Емс был первым во всех этих мерзостях. В пример скажу, что он однажды, после обеда, спросил у своих товарищей: «Ну, господа, куда теперь поедем: в театр или к девкам?»

Не удивительно, что Емс существовал в моих мыслях как самый гнусный и низкий человек. Однажды, в начале 1817 года, мне случилась какая-то надобность до типографии Академии наук, которой он управлял. Я отправился к нему поутру в десять часов в квартиру его, на Васильевском острове, в доме лютеранской церкви св. Екатерины. Я думал, что мне укажут куда-нибудь на чердак, в подвал или, по крайней мере, на задний двор. Нет! Он жил в нижнем этаже. У дверей колокольчик. Я позвонил. Отворили двери, и явилась чистенькая служанка.

- Здесь ли живет Василий Иванович? – спросил я.
- Здесь, сударь, пожалуйста.

Она сняла с меня шубу и, по чистым, хорошо убраным комнатам, провела в кабинет. Там, перед письменным столом, сидел в креслах, в парадном шлафроке, Василий Иванович Емс. Все вокруг его было чисто и порядочно. Увидев меня и вспомнив, где и как мы встречались с ним дотоле, он смутился было, но вскоре оправился и принял меня очень учтиво. Между тем как мы разговаривали, вошла в комнату жена его, дородная, миловидная англичанка, и, поклонившись мне учтиво, спросила у него о чем-то по-английски. Он отвечал ей тихо и ласково, и она вышла. Кончив дело свое, я откла-

нялся. Он проводил меня до передней. Мимоходом видел я дочерей его, хорошеньких, скромных, чисто одетых. Это зрелище изумило меня: неужели этот опрятный, благообразный отец прекрасного семейства и пьяница, развратник, сквернослов Емс – одна и та же особа? Точно так.

Дома он был порядочный англичанин: с приятелями – грубый и развратный мужик архангелогородский. На одной из пьяных пирушек поражен он был параличом. Его свезли домой. Из неблагопристойных выражений его в разговоре с призванным к нему врачом, из разодранной и загрязненной его одежды дочери увидели его гнусное положение и догадались, что это случается с ним не в первый раз. Он вскоре потом умер, а одна из дочерей его, с отчаяния, сошла с ума!

Такие вот Емсы не писали воспоминаний, а если и сочиняли, то, как правило, невинные стишки для семейных торжеств. Даже когда автор брался за запретное, он писал либо развлекательно-ернически, снижая, вольно или невольно, тематику повествования, либо назидательно, преследуя воспитательно-дидактические цели. Иван Барков или Джон Клееланд, автор «Фанни Хилл», забавляли публику. Маркиз де Сад ее пугал. Лишь немногие могли размышлять о «запретном» спокойно и объективно, как, например, Гете в стихотворении «Дневник» или в приапических «Римских элегиях». Впрочем, ни «Дневник», ни самые откровенные из «Римских элегий» при его жизни напечатаны не были. Да и в те времена сексуальность не интересовала публику сама по себе, а была либо объектом порицаний и контроля, либо притягательным запретным плодом.

Заслуга анонимного Уолтера заключается в том, что он одним из первых в литературе Нового времени реабилитировал сексуальный интерес и сексуальную сторону жизни человека как важнейшие и самодостаточные факторы развития личности. Во времена античности и Средневековья еще возможно было писать о любовных приключениях (Сатирикон, Гэндзи-моноготари, Декамерон) как о чем-то само собой разумеющемся, не требующем объяснений и оправданий.

Уолтеру выпало жить в особенно сложное время для людей с его интересами. Родись пятьюдесятью годами ранее, он бы еще не застал в свои юные и зрелые годы удушающего «викторианства», став современником беспутного принца Георга, а, родись пятьюдесятью годами позже, оказался, вполне возможно, в числе членов кружка Блумсбери, высмеивавшего ханжеские ценности предыдущей эпохи.

Английская словесность имела до «Моей тайной жизни» образцы чувственной литературы: некоторые эпизоды «Кентерберийских рассказов» Чосера, сочинения шотландского поэта XV–XVI веков Уильяма Данбара (впервые употребившего в печати слово *fuck*) и придворного поэта и либертина XVII века графа Рочестера. Не забудем поэта Ловласа (ставшего именем нарицательным – «ловелас») и уже упомянутую «Фанни Хилл».

Но жизнь Уолтера пришлась на то время, когда «дух цивилизации», казалось, окончательно победил «зов плоти». Любопытная деталь той эпохи (из мемуаров драматурга Гнедича) – лекторы по анатомии в Академии художеств заранее предупреждали слушательниц-«девиц» о том, что на следующем занятии речь пойдет об известных частях мужского организма, дабы те могли не приходить и не слушать «нескромностей». В самой Англии господствовали прерафаэлиты со своими идеальными дамскими образами, и, памятуя о леди Годиве, на обнаженное женское тело редко кто рисковал взирать.

Позитивисты XIX века, ведшие нешумную борьбу с религией, исповедовали культ «чистоты», сходясь в этом с боязливыми мещанами. И даже радикалы словно стремились перещеголять попов по части половой сдержанности. Нигилист Писарев презирал аристократа Пушкина за увлечение женскими ножками. А вот образец типичной гимназической влюбленности того времени (из воспоминаний Викентия Вересаева):

Поражает меня в этой моей любви вот что.

Любовь была чистая и целомудренная, с нежным, застенчивым запахом, какой утром бывает от луговых цветов в тихой лощинке, обросшей вокруг орешником. Ни одной сколько-нибудь чувственной мысли не шеве-

лилось во мне, когда я думал о Конопацких. Эти три девушки были для меня светлыми, бесплотными образами редкой красоты, которыми можно было только любоваться.

А в гимназии, среди многих товарищей, шли циничные разговоры, грубо сводившие всякую любовь к половому акту. Рассказывались скоромные анекдоты, пелись срамные песни.

Из всех песен, из всех анекдотов выходило, что для женщины все это очень просто и что она сама постоянно только об этом и думает.

Я молчал про свою любовь, никому из товарищей про нее не рассказывал. А дома писал корявые стихи такого содержания:

Пусть говорят, что любовь идеальная
Время свое отжила, –
Нет, не смутит нас улыбка нахальная,
Не испугает молва!
Пусть говорит, что в наш век положительный
Эта любовь уж смешна,
Пусть нас пятнают насмешкой язвительной, –
Не испугаюсь я.
Только животную, грубую чувственность
Ставят теперь высоко,
Как неестественность, фальшь и искусственность,
Я презираю ее...
Да! Перед чистой красы обаянием
Всякий с молитвой падет!
Верьте, молитвы те чужды желаниям,
Грязная мысль не придет
В ум никому перед нею... Конечно,
Нету почти никого
Ныне, кто любит так чисто, сердечно.
Но отчего ж, отчего?!

Предполагался ответ: оттого, что мало теперь чистых людей, – таких, как я, – не развращенных грубою чувственностью.

Но дело-то в том, что чувственность, самая грубая, самая похотливая, мутным ключом бурлила и во мне. Я внимательно вслушивался в анекдоты и похабные песни, рассматривал, конфузясь, карты на свет, пробовал потихоньку рисовать голых женщин, но никак не выходили груди. В книгах были обжигающие места, от которых дыхание становилось прерывистым, а глаза вороватыми, – а потом эти места горели в книге чумными пятнами, и хотелось их вырвать, чтобы наперед не было соблазна. Все эти места точно помнились и легко находились среди сотен страниц. У Пушкина: «Вишня», «Леда», «Фавн и пастушка», в «Руслане и Людмиле», как красавица подходит к спящему Ратмиру

И сон счастливца прерывает
Лобзаньем долгим и немым.

В «Бахчисарайском фонтане», – как евнух смотрит на купающихся ханских жен и ходит по их спальням. Потом еще – примечание на первой странице «Дубровского», что у Троекурова в особом флигеле содержался гарем из крепостных девушек. И у каждого писателя были такие тайно отмеченные в памяти места.

А потом – ломота в голове, боли в позвоночнике, мрачное, подавленное настроение.

Я развращен был в душе, с вождением смотрел на красивых женщин, которых встречал на улицах, с замиранием сердца думал, – какое бы это было невообразимое наслаждение обнимать их, жадно и бесстыдно ласкать. Но весь этот мутный душевный поток неся мимо образов трех любимых девушек, и ни одна брызга не попадала на них из этого потока. И чем грязнее я себя чувствовал в душе, тем чище и возвышеннее было мое чувство к ним.

Петр Боборыкин, сверстник Уолтера, вспоминал о студенческой молодости так:

...светский искус я считаю положительно полезным. Он отвлекал от многих грязных увлечений студенчества.

О казанском «свете», о флирте с барышнями и пикантных разговорах с замужними женщинами я не скучал. Время летело; днем – лекции и работа в лаборатории, после обеда чтение, перевод химии Лемана, разговоры и часто споры с ближайшими товарищами, изредка театр – никаких кутежей.

От попок и посещения разных притонов и меня, и кое-кого из моих приятелей воздерживало инстинктивное чувство порядочности. Мы не строили фраз, не играли роль моралистов; а просто нас, на второй же год учения, совсем не тянуло в эту сторону.

А студенческая братия держалась в массе тех же нравов. Тут было гораздо больше грубости, чем испорченности; скука, лень, молодечество, доходившее часто до самых возмутительных выходок. Были такие обычаи, по части разврата, когда какая-нибудь пьяная компания дойдет до «зеленого змия», что я и теперь затрудняюсь рассказать дословно, что разумели, например, под циническими терминами – «хлюст» и «хлюстованье».

И это было. Я раз убежал от гнусной экзекуции, которой подвергались проститутки, попавшие в руки совсем озверевшей компании. И не помню, чтобы потом участники в такой экзекуции после похмелья каялись в том, а те, кто об этом слышал, особенно возмущались... под внешней подтянутостью держались довольно-таки дикие нравы – пьянство, буйство, половая распущенность.

Это Боборыкин пишет о Казани, а вот что он вспоминает о Дерпте, казавшимся почти заграничным городом, с преимущественно немецким студенчеством:

Эротические нравы стояли совсем на другом уровне. И в этом давали тон немцы. Одна корпорация (Рижское братство) славилась особенным, как бы обязательным, целомудрием. Про нее русские бурши любили рассказывать смешные анекдоты – о том, как «рижане» будто бы шпионили по этой части друг друга, ловили товарищей у мамзелей зазорного поведения.

Но и «мамзелей» в тогдашнем Дерпте водилось очень мало. Открытая проституция почти что не допускалась, не так, как в Казани, где любимой формой молодечества пьяных студенческих ватаг считалось – разбивать публичные дома за Булаком!

Все это в Дерпте было немыслимо. Если мои товарищи по «Рутении», а позднее по нашему вольному товарищескому кружку, грешили против целомудрия, то это считалось «приватным» делом, наружу не всплывало, так что я за все пять лет не знал, например, ни у одного товарища ни единой нелегальной связи, даже в самых приличных формах; а о женитьбе тогда никто и не помышлял, ни у немцев, ни у русских. Это просто показалось бы дико и смешно.

Ни одной попойки не помню я с женским полом. Он водился на окраинах города, но в самом ограниченном количестве, из немок и онемеченных чухонек. Все они были наперечет, и разговоры о них происходили крайне редко.

Положительного Петра Боборыкина, истинного сына века, с его «позитивным» направлением, неприятно поражали «скоромные» черты в литературных кумирах – выходцах из бар:

Позднее, когда я ближе познакомился с Григоровичем (в 1861 году я только изредка видал его, но близко знаком не был), я от него слышал бесконечные рассказы о тех «афинских вечерах», которые «заказывал» Дружинин.

Затрудняюсь передать здесь – со слов этого свидетеля и участника тех эротических оргий – подробности, например, елки, устроенной Дружининым под Новый год... в «семейных банях».

Григорович известен был за краснобая, и кое-что из его свидетельских показаний надо было подвергать «очистительной» критике; но не мог же он все выдумывать?! И от П. И. В. (оставшегося до поздней старости целомудренным в разговоре) я знал, что Дружинин был эротоман и проделывал даже у себя в кабинете разные

«опыты» – такие, что я затрудняюсь объяснить здесь, в чем они состояли.

Я узнал обо всем этом позднее; но, когда являлся к нему и студентом, и уже профессиональным писателем, – никак бы не мог подумать, что этот высокоприличный русский джентльмен с такой чопорной манерой держать себя и холодноватым тоном мог быть героем даже и не похождениям только, а разных эротических затей.

Вообще, надо сказать правду (и ничего обсахаривать и прикрашивать я не намерен): та компания, что собиралась у Дружинина, то есть самые выдающиеся литераторы 50-х и 60-х годов, имели старинную барскую склонность к скабрёзным анекдотам, стихам, рассказам.

Этим страдал прежде всего и сам откровенный рассказчик всяких интимностей о своих собратах – Григорович. Не чужд был этого, особенно в те годы, и Некрасов, автор целой поэмы (написанной, кажется, в сотрудничестве с М. Лонгиновым) из нравов монастырской братии. Отличался этим и Боткин. И Тургенев до старости не прочь был рассказать скабрёзную историю, и я прекрасно помню, как уже в 1878 году во время Международного конгресса литераторов в Париже он нас, более молодых русских (в том числе и М. М. Ковалевского, бывшего тут), удивил за завтраком в ресторане и по этой части. Я его перед тем знал лично уже около пятнадцати лет (с 1864 года) и не предполагал, чтобы он был в состоянии услаждать себя *такими* вещами.

В этом сказывается эпоха, известная генерация, пережиток нравов.

Все они могли иметь честные идеи, изящные вкусы, здравые понятия, симпатичные стремления; но они все были продукты старого *быта*, с привычкой мужчин их эпохи – и помещиков, и военных, и сановников, и чиновников, и артистов, и даже профессоров – к «скромным» речам. У французских писателей до сих пор – как только дойдут до десерта и ликеров – сейчас

начнутся разговоры о женщинах и пойдут эротические и прямо «похабные» словца и анекдоты.

Все это мог бы подтвердить прежде всего сам П. И. Вейнберг. Он был уже человек другого поколения и другого бытового склада, по летам как бы мой старший брат (между нами всего шесть лет разницы), и он сам служит резким контрастом с таким барским эротизмом и склонностью к скоромным разговорам. А ему судьба как раз и приготовила работу в журнале, где сначала редактором был такой эротоман, как Дружинин, а потом такой «Иона Циник», как его преемник Писемский.

В Париже Боборыкин нашел не меньше гнусностей, чем в Москве и Питере:

Тон за этими понедельниками отличался крайней бесцеремонностью по части анекдотов и острот... Раз в присутствии известной актрисы «Одеона» Жанны Эслер, очень порядочной женщины, один романист, рассказывая скабрезный анекдот, стал употреблять такие цинические слова, что я, сидевший рядом с этой артисткой, решительно не знал, куда мне деваться.

Такой «моветонной» бесцеремонности я никогда не слышал у нас даже и в пьяных писательских компаниях в присутствии женщин. Ничего подобного не видал и не слышал впоследствии ни у немцев, ни у англичан, ни у испанцев, ни у итальянцев. Это происходило оттого, что «интеллигенция» была по рождению и домашнему быту весьма мало воспитана – в известном смысле. Да тогда и вообще скоромные разговоры были в ходу. Этим зашибались и наши литературные генералы 60-х годов; но – повторяю – не в присутствии женщин, занимающих на сцене известное положение.

И у Уолтера, и у авторов других свидетельств мы видим противоречивую картину – «лучшие» люди эпохи тянутся к «чистоте», но вокруг них еще много «грязи». Позитивизм, равно как революционный радикализм, невероятно сужали угол зрения. Думается, и для Вересаева, и для Боборыкина, попади

в их руки «Моя тайная жизнь», текст явился бы свидетельством развращенности господствующего класса, и более ничем. Вот как описывал тот же Вересаев своего знакомого студента-«развратника»:

Кушанья подавали чисто одетые девушки. Одну неделю все они были в розовых ситцевых платьях, другую – в голубых. С белыми фартучками. Мне очень понравилась одна: русая головка, удивительно чистое, невинное лицо с большими синими глазами. Такою мне представлялась Гретхен в гетевском «Фаусте». Я стал всегда садиться за ее стол. С каждым днем она мне нравилась все больше. И меня радовало – ко мне она подходила скорее, чем к другим, и уже особенным голосом, как знакомого, спрашивала, что мне подать, – борщ или суп. В университете на лекциях я с радостью думал, что вот через два часа увижу ее. Душа жадно просила любви, женской улыбки, светлых грез. Умилительно было смотреть на девически-чистый лоб девушки и детски-ясные глаза.

Однажды был у меня днем Печерников. Пошли вместе пообедать в кухмистерскую. Я ему с восторгом рассказал, какая там есть прелестная Гретхен, с какою милою девическою фигурю.

У него засмеялись глаза за темными очками.

– Поглядим!

Сели за стол моей Гретхен. Печерников с изумлением спросил:

– Вот эта?

– Да.

Под усами его пробежала мефистофельская улыбка. Он замолчал.

Когда мы вышли, Печерников взял меня под руку и с чуть заметною улыбкою спросил:

– Хочешь пари, что самое долгое через месяц я эту самую твою Гретхен...

В циническом слове он выразил то, что собирался с нею сделать. Я с омерзением отстранился и холодно сказал:

– Я бы просил тебя таких экспериментов не делать, хотя и убежден, что ничего ты у нее не добьешься.

Он улыбнулся про себя и перешел разговором на другое.

В начале мая Печерников встретил меня в университете и спросил:

– Свободен ты сегодня вечером часов в десять?

– Свободен.

– Обязательно приходи на бульвар, на Среднем проспекте, между Пятой и Шестой линиями. Ровно в десять.

– Зачем?

– Увидишь.

– Что за таинственность такая?

– Приходи, узнаешь. Буду ждать.

Пошел к десяти. Было слякотно и холодно, черные тучи на болезненно-бледном небе; несмотря на ветер, стоял легкий туман. Бульвар был безлюден. Только на крайней скамеечке сидела парочка, тесно друг к другу прижавшись; рука мужчины была под кофточкой девушки, на ее груди. Я отшатнулся. В девушке я узнал мою Гретхен. Печерников, крепко ее прижимая к себе, смотрел на меня хохочущими глазами.

Долго в эту ночь я не приходил домой. Зашел куда-то далеко по набережной Невы, за Горный институт. По Неве бежали в темноте белогривые волны, с моря порывами дул влажный ветер и выл в воздухе. Рыдания подступали к горлу. И в голове пелось из «Фауста»:

Плачь, Маргарита! Плачь, дорогая!..

Правда, одержать окончательную победу «разумного» над неподотчетными инстинктами никак не удавалось, причем не только среди необразованной публики. В Швейцарии издавались «Заветные сказки русского народа» Афанасьева, а Лондоне насчитывалось до 30000 тысяч проституток, и приблизительно в год выхода «Моей тайной жизни» на них охотился Джек-потрошитель.

«Моя тайная жизнь» не случайно начинается с ранних детских воспоминаний. Блаженный Августин писал в своей «Исповеди» о грехах младенцев, Уолтер словно вторит ему, фокусируя внимание на эпизодах, которые взрослые могли счесть незначительными, но которые сильно врезались в сознание маленького мальчика. Первоначальный эпизод книги – эротическая игра няньки Уолтера с его крошечными гениталиями; о подобных забавах, неразумных по нашим понятиям, пишут и придворные в журнале о детстве Людовика XIII, когда так развлекались фрейлины с будущим монархом; и бывший земский врач в своем дневнике советских лет, живописующем ужас наступившей безбожной эпохи – «Ребенок одного года с резким воспалением прасрос и головки penis'a. Из объяснения с матерью выяснилось, что причина болезни – „шалости“ безработного мужа. „Целые дни ничего не делает, валяется на постели и играет с ребенком: дергает его за член и в восторге, что член напрягается. «Ну и молодчина, Васька, – да тебе скоро девку надо!»»

«Моя тайная жизнь» дает последовательную картину развития сексуальности человека от первых лет жизни до пожилого возраста. При этом Уолтер внимательно анализирует мужское становление подростка и его влияние на последующую сексуальную практику.

Понятно, что у читателя, как и у самого автора, возникают сомнения в достоверности описываемого спустя много лет. Поэтому Уолтер навязчиво проверяет сам себя – точно ли он помнит? – и добросовестно сообщает читателю свои сомнения.

В самой первой главе есть место, напоминающее нам о Прусте, о его знаменитом эпизоде с пирожным Мадлен. Даже сравнение с волшебным фонарем словно позаимствовано у Пруста. Все это так совпадает со сценой из «В сторону Свана», что невольно задаешься вопросом о прямом влиянии. Исключать его нельзя. «Моя тайная жизнь» была напечатана в Амстердаме в 1888–1894 гг. Марсель Пруст следил за современной ему английской литературой, переводил Раскина. Одновременно он вел свою тайную жизнь – жизнь посетителя гомосексуальных борделей, имел долговременные однополые любовные связи, что также считалось абсолютно недо-

пустимым. Отчего бы завсегда таю великосветского общества и, одновременно, ведущему светской хроники, либертину, человеку с порочными знакомствами, не быть в курсе новинок английской изысканной «порнографии»?

Пруст мог почерпнуть у Уолтера многое – того так же волновали темы времени, памяти, соотношения прошлого и настоящего – взять, к примеру, его воспоминания и рассуждения о переживаниях, связанных с Шарлоттой. Русскому читателю нечто подобное будут напоминать соответствующие страницы из «Жизни Арсеньева» Бунина. Размышления о механизме работы и устройстве памяти, тонкие наблюдения о соотношении чувств «прежде и теперь», особенно касательно любовных переживаний, самонаблюдения о зарождении сексуальных желаний выводят «Мою тайную жизнь» на видное место в мировой литературе. Во многих областях Уолтер оказывается первопроходцем. В пятом веке по Р.Х. Блаженный Августин писал почти о том же самом – о времени, о памяти, о детской греховности, о сексуальности, но трактуя это совсем иначе, с точки зрения сугубой религиозности. Уолтер же вне-религиозен.

Для историка нравов в «Моей тайной жизни» – кладезь любопытных сведений. Повседневная жизнь англичан при королеве Виктории предстает в ином ракурсе. Популярный роман Джона Фаулза «Женщина французского лейтенанта» написан с целью ниспровержения «викторианских ценностей» и в известном смысле перекликается с «Моей тайной жизнью». Но между разоблачениями писателя середины XX века и простым и трезвым рассказом современника (помните мемуары Короленко – «История моего современника»?) из века XIX лежит ощутимая граница. Уолтер не против современной ему жизни, он органичен, он – не революционер. Фаулз же тенденциозен, схематичен, про него можно сказать словами Гете: «чувствуешь намерение и разочаровываешься». Фаулз – поклонник Маркса и Фрейда, типичный левый университетский либерал, считающий, что вся жизнь в Англии XIX века сводилась к зверской эксплуатации пролетариев на фабриках, плюс к сексуальной эксплуатации низов социальными верхами.

Почему же XX век не поднял на щит «Мою тайную жизнь» – подобно маркизу де Саду – как предшественника новомодных тенденций и напрасно забытого автора, жертву мещанской морали?

Сдается, что Уолтер не подходит современности ввиду своей именно традиционности и «нормальности». Любовные отношения у него – это всегда архетипические образы охотника и его жертвы. Эпохе политкорректности и феминизма неприятны его стандартные роли «мужского» и «женского», которые Уолтер принимает как данность. Большая часть описываемых им сексуальных сцен по меркам сегодняшнего дня являют собой неприкрытое насилие, точнее изнасилование. Тщетно искать в «Моей тайной жизни» переживаний барина за испорченную жизнь служанок, угрызений совести по поводу использования проституток, соблазнения замужних дам. Секс, который наша эпоха стремится представить в идеале как добровольное соединение двух уважающих друг друга (если не любящих) людей, предстает у него в своей изначальной сути – «игрой без правил», говоря словами Бродского. Даже оправдание Уолтером сексуальной жизни *per se*, столь оболганной его современниками, не спасает его от гнева самой пестрой публики – феминисток и пуритан, леваков и филистеров.

Викентий Вересаев дополнял «Войну и мир» Толстого подобными моральными сентенциями:

Но вот самый обычный для того времени, повседневный эпизод. Мы узнаем о нем из черновых автобиографических заметок самого же Толстого.

«Отец мой в двадцать лет уже был не невинным юношей, а еще до поступления на военную службу, лет шестнадцати, был соединен родителями, как думали тогда, для его здоровья, с дворовой девушкой. От этой связи был сын Мишенька, которого определили в почта-льоны и который при жизни отца жил хорошо, но потом сбился с пути и часто уже к нам, взрослым братьям, обращался за помощью. Помню то странное чувство недоумения, которое я испытывал, когда этот, впавший

в нищенство, брат мой, очень похожий (более всех нас) на отца, просил нас о помощи и был благодарен за 10–15 рублей, которые давали ему».

Известно, что в «Войне и мире» под именем графа Николая Ильича Ростова выведен отец Толстого, граф Николай Ильич Толстой. В начале романа мы знакомимся с Ростовым как раз в то время, когда Николаю около шестнадцати лет и он только собирается вступить на военную службу. В гостиной сидят «большие» и чопорно разговаривают. Вдруг с бурною волною смеха и веселья врывается молодежь – Наташа и Соня, Борис и Николай. Мила и трогательна их детская, чистая влюбленность друг в друга.

«После того, как луч солнца, проникнувший в гостиную вместе с этим молодым поколением, исчез», – графиня-мать, между прочим, говорит со вздохом:

«Все боишься, все боишься! Именно тот возраст, в котором так много опасностей... Но я знаю, что Николенька, по своему пылкому характеру, ежели будет шалить (*мальчику нельзя без этого*), то все не так, как эти петербургские господа».

И щекотливой этой темы Толстой больше не касается. Николай объясняется с огорченною, ревнующею кошечкою-Соней, целует ее. Все так чисто, так светло, трогательно и «благообразно». Но мы знаем теперь: вечером заботливая мать приведет в спальню сына крепостную девушку с испуганными, неподвижными глазами, строго-настрога прикажет ей не противиться ласкам барчука. «Мальчику нельзя без этого». И где тогда весь тот светлый, радостно-чистый мир, в котором живет молодежь Ростовых?

Никакого подобного морализма в «Моей тайной жизни» не найти. В современной Уолтеру русской литературе его мирозерцанию вполне соответствует стихотворение Некрасова «Буря»:

Долго не сдавалась Любушка-соседка,
Наконец шепнула: «Есть в саду беседка,

Как темнее станет – понимаешь ты?..»

Ждал я, исстрадался, ночки-темноты!

Кровь-то молодая: закипит – не шутка!

Да взглянул на небо – и поверить жутко!

Небо обложилось тучами кругом...

Полил дождь ручьями – прокатился гром!

Брови я нахмурил и пошел угрюмый –

«Свидеться сегодня лучше и не думай!

Люба белоручка, Любушка пуглива,

В бурю за ворота выбежать ей в диво;

Правда, не была бы буря ей страшна,

Если б... да настолько любит ли она?..»

Без надежды, скучен прихожу в беседку,

Прихожу и вижу – Любушку-соседку!

Промочила ножки и хоть выжми шубку...

Было мне заботы обсушить голубку!

Да зато с той ночи я бровей не хмрю

Только усмехаюсь, как заслышу бурю...

ИЗ КНИГИ УОЛТЕРА «МОЯ ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ»

Глава 1. Ранние воспоминания – Эротичная нянька – Леди в кровати – Моя пиписька – Развратная гувернантка – Кузен Фред – Мысли о срамных частях – Женская пиписька – Похабные рисунки – Голый младенец

Мои первые воспоминания о вещах, связанных с полом, относятся, должно быть, к возрасту между пятью и восьмью годами. Я расскажу о них так, как я помню, ничего не додумывая.

Она, наверное, была моей нянькой и иногда держала в руке мою пипиську, когда я писал. Была ли в том необходимость? Я не знаю. Она закатывала мне крайнюю плоть – как часто, не помню. Но ясно вспоминаю залупленную головку, болезненные ощущения, мой плач, ее успокаивания, и то, что таковое случалось не единожды. В памяти она осталась как невысокая, полненькая девица, залупляющая мне пипиську.

Однажды – должно быть, ранним вечером, ибо солнце не садилось, а еще сияло (странно, но именно солнечный свет я отчетливо помню), я гулял с ней. Мне купили игрушки, и мы вместе их несли; вдруг она остановилась с каким-то мужчиной, который хватал и целовал ее. Я был напуган; это случилось возле извозчичьей стоянки, кэбов тогда еще не знали. Она отдала мне игрушки и вошла в дом с этим мужчиной. Что это был за дом? Я не знаю. Возможно, паб; он находился недалеко и от извозчичьей стоянки, и от нашего дома. Она вышла, и мы пошли домой.

Затем мы оказываемся у нас в комнате с коврами. Это точно было не в детской; мы сидим на полу с игрушками и играем. Разыгравшись, мы перекатываемся по полу, обнявшись; я так делал и с другими, в этой же комнате я играл с мамой и папой. Она целует меня, вынимает мою пипиську и дразнит ее, берет мою ручонку и засовывает себе под платье.

Там шершаво-колюче; она тянет руку все дальше; затем залупляет мне пипиську аж до боли. Я помню, как появляется красная головка, когда стягивается шкурка, помню свой плач и ее утешения. Вспоминаю, как нянька лежит на спине, а я сижу сверху, то ли между ее ног, то ли растопылив свои, и она подбрасывает меня вверх-вниз, и я как будто скачу на лошадке. Помню, что так играли не в первый раз. Потом я лежу на ней, и она меня прижимает к себе с такой силой, что я визжу. Я вырываюсь и в борьбе случайно протыкаю свой игрушечный барабанчик, отчего начинаю плакать.

Я сижу возле нее и рыдаю; попутно обращаю внимание на ее голые ноги. Ее рука – под юбкой и энергично ходит туда-сюда. Я смутно понимаю, что женщине плохо, и смущаюсь. Все на момент затихает, ее рука перестает двигаться, она неподвижно лежит на спине; я вижу ее ляжки. Затем она поворачивается ко мне, прижимает к себе, целует и успокаивает. Когда она поворачивалась, я видел половинку ее жопы. Я склоняюсь к ней, прижимаюсь лицом и плачу о своем поломанном барабане. Нас освещают лучи вечернего солнца; в то же время я помню, что шел небольшой дождь.

Полагаю, что я видел ее пизду, когда сидел у ее голых ляжек. Нет никаких сомнений, что она дровича в тот момент, когда я смотрел на ее ходившую туда-сюда руку и рыдал о барабанчике. Но у меня нет ни малейших воспоминаний о ее пизде, ни о чем другом, кроме того, что я сказал. Я точно видел ее голые ляжки (и видел не раз), но не уверен насчет всего остального.

Самая странная вещь заключается в том, что в то время, как я более-менее отчетливо помню все, имеющее отношение к половым вопросам и происходившее два-три года спустя и позже, помню почти полностью все, что я говорил, слышал и делал, это мое первое воспоминание о хуе и пизде исчезло из памяти на добрых двадцать лет.

Однажды я разговаривал с мужем одной из моих кузин о разных событиях в детстве; он рассказал мне о чем-то, случившимся с ним. Внезапно, почти также быстро, как волшебный фонарь отражает изображение на стену, я вспомнил все, что приключилось со мной тогда. Я размышлял об этом сотни

раз, но не мог вспомнить более никаких обстоятельств, нежели я рассказал.

Моя мать как-то дала совет моей кузине касательно нянек – им нельзя доверять. «Когда Уолтер был маленьким, я прогнала мерзкую дрянь, которую застала за гнусным занятием с одним из моих детей». Что это было – моя мать никогда не раскрыла. Она ненавидела нескромности любого сорта и обычно обрубала самые намеки на них, замечая, что об этом не стоит упоминать, «давайте поговорим о чем-нибудь еще». Моя кузина рассказала про это своему мужу, он в свою очередь передал мне во время нашего разговора, равно как поведал кое-что о своем детском опыте, и тут все произошедшее в тот раз всплыло в моем сознании – точно в таком виде, как я только что рассказал.

Я не мог, как читатель узнает далее, открыть залупу полностью без боли вплоть до шестнадцати лет. Равно я не мог залупить стоящий хуй, если только он находился не в пизде. Полагаю, моя нянька нашла это странным и пробовала исправить недостаток, но только причиняла боль. Моя мать, отличавшаяся тончайшей чувствительностью, старалась знать поменьше об окружающем мире, что было причиной ее изначальной веры в то, что я сохраню невинность лет до двадцати двух, пока не заведу себе французскую шлюху. Я полагаю, что должен был спать с этой нянькой и определенно спал в одной кровати с какой-то женщиной в комнате, называемой «Китайской» по цвету обоев. Я помню ее в кровати со мной, помню, как проснулся однажды утром, чувствуя нечто жаркое и мешающее дышать – моя голова как раз уткнулась ей в плоть, и плоть облепила меня; рот и нос погрузились в волосы или что-то такое жестко-колючее, с острым необычным запахом. Я помню руки, схватившие и вытащившие меня на подушку, и резко ударивший в глаза дневной свет. При этом не было произнесено ни слова. Этот случай я бы не мог позабыть, так как мне рассказывал о нем мой кузен, узнавший о нем от отца. Он говорил, что это была гувернантка.

Полагаю, что я заснул и спал, пока моя голова не уткнулась ей в живот и пизду. Годы спустя, когда я понюхал запах пизды другой женщины, оставшийся на моих пальцах, это сно-

ва напомнило мне об ароматах под моим носом в той кровати, и в голове мелькнуло, что этот запах мне знаком, и я вспомнил – откуда, но более ничего.

Не знаю – сколько времени прошло, думаю, года два-три; у нас дома были танцы, и несколько родственников остановились переночевать. Дом был полон людей, все вверх дном – кровати переставлены, гувернантка отправилась спать в комнату к слугам, и все в таком роде. Среди остановившихся у нас было несколько кузин. Заходя в гостиную, я внезапно услышал, как мать говорит одной из теток: «Уолтер всего лишь ребенок, и это только на одну ночь». «Тсс, тсс» – зашептали обе, когда увидели меня. Затем мать выслала меня из комнаты. Я удивился, почему говорят обо мне? Мне было любопытно, и одновременно я был раздражен, что меня выгнали.

Я привык спать в комнате, в которой стояла еще одна кровать, а может эта кровать находилась в соседней комнате, точно не помню. Главное, чтобы я мог кого-нибудь позвать – и потому дверь в соседнюю комнату держали открытой ввиду моих ночных страхов. И спал рядом не мужчина, поскольку слуги мужского пола спали внизу – я видел их кровати там. В ту ночь, о которой я рассказываю, мою кровать перенесли в «Китайскую» комнату. Одну из служанок, которая помогала передвигать кровать, я видел сидевший на горшке и сикавшей; я слышал звон струи, и, насколько я помню, это было в первый раз, когда я наблюдал нечто в этом роде. Хотя я также помню, что однажды внимательно рассматривал женщину, закатывающую чулок выше колена. Я тогда сидел на коленках на полу перед ней и дудел в трубу, которую она с раздражением вырвала из моих рук, так как я сильно шумел.

Я помню танцы, помню, что танцевал с высокой дамой, что мать послала меня в постель еще до того, как закончились танцы, и я был обижен и плакал, что ложусь спать так рано. Моя мать плотно задвинула занавеси вокруг моей кровати со всех сторон и сказала, чтобы я лежал тихо и не вставал, пока она не придет за мной утром; чтобы не поднимал занавески и не вылезал из кровати, иначе я потревожу мистера и миссис***, которые должны были спать в большой кровати,

а то они рассердятся. Я почти уверен, что мать назвала имена дамы и ее мужа, которые собирались заночевать у нас, но уверен не на все сто. Упоминание мужчины напугало меня больше, чем женщины; моя мать, убежден, знала об этом.

Надо заметить, что большую часть детства я засыпал, как только ложился, и никогда не просыпался до утра. Без сомнения, я очень быстро заснул этой ночью. Возможно, я выпил немножко вина, которое мне кто-то поднес. Неожиданно я проснулся от света, и некто сказал: «он крепко спит, не шуми». Казалось, это был голос матери. Я проснулся и прислушался – обстановка вокруг была непривычной, комната новая – все это взволновало меня. Привстал (не знаю почему – нечаянно или намеренно – возможно, намеренно, потому что боялся рассердить мать и джентльмена; возможно, половой инстинкт пробудил во мне любопытство, хотя я в этом не уверен) – в общем, понятия не имею, что мною двигало, но я привстал и прислушался. Разговаривали две женщины, тихо ходя и посмеиваясь. Я услышал звон в горшке, потом тишина, потом опять звон, и я знал, что это звук от писанья. Как долго я прислушивался, я не знаю. Должно быть, я задремывал и опять просыпался. Я видел, как по комнате блуждал огонек от свечи. Я прополз, боясь, что делаю что-то плохое, к спинке кровати, и осторожно раздвинул занавески. Помню, что они были туго завернуты, и мне было нелегко их расширить, чтобы подглядывать. Я увидел девушку спиной ко мне, причесывающую волосы, другая стояла рядом. Она взяла ночную рубашку с кресла, встряхнула ее и стала надевать через голову, а после спустила с себя нижнюю сорочку. Пока она все это делала, я увидел нечто черное внизу ее живота, испугался, что делаю что-то нехорошее и что меня накажут, если увидят за подглядыванием. Я снова прилег, пораженный увиденным, задумался об этом и заснул.

Затем опять раздалось какое-то шарканье, и снова я услышал звуки как будто от писанья, и как женщина поцеловала кого-то и сказала: «Тсс, ты разбудишь братца». Затем другая произнесла: «слушай!», я услышал поцелуи, и некто тяжело задышал, как будто стонал – я подумал, что кто-то заболевший пробудился, а затем снова уснул. Не знаю, кто были эти

женщины, наверное, мои кузины или молодые дамы, пришедшие к нам на танцы. Это было первый раз, как помнится, когда я увидел волосы на пизде, хотя должен был видеть их раньше. До сих пор в памяти присутствует женщина (наверное, няня), стоящая обнаженной, но я не припоминаю никакого темного комка у нее между ног, да и впоследствии я про этот случай не вспоминал.

Утром пришла мать и отвела меня к себе в комнату, где одела меня. Она сказала, что дамы в постели не будут спешить, и что она пришла только за мной.

Все это отчетливо вспомнилось мне несколько лет спустя, когда я заговорил о женщинах с моим кузенком, и мы рассказывали друг другу все, что видели и слышали о женщинах.

До двенадцати лет я никогда не ходил в школу. У нас имелась гувернантка, которая учила меня и других детей. Мой отец почти всегда был дома поблизости. Меня тщательно оберегали от общения с конюхами и другой мужской прислугой. Помнится, однажды я забрел на конюшню и увидел жеребца, забравшегося на кобылу. Как мне тогда показалось, его хуй почти полностью находился в заднице у кобылы. Помню появление отца и его крик: «что ребенок здесь делает?!», и мое поспешное ретирование. Я почти не общался с мальчиками, за исключением моих кузенов, и поэтому ничего не знал о любовных делах, в отличие от ребят, рано пошедших в школу. Я не понимал, что делал жеребец, я никому про это не говорил и не думал об этом.

Следующее, что я отчетливо припоминаю, это когда один из кузенов остановился у нас, мы вышли погулять, и когда вместе писали у забора, он сказал: «покажи мне свою пипиську, Уолтер, а я тебе покажу свою». Мы стояли и рассматривали хуи друг друга, и это было впервые, когда я понял, что не могу так легко зашкурить залупу, как другие мальчики. Его шкурку я запросто стянул и натянул. Он же, попытавшись, сделал мне больно и стал смеяться надо мной. Тут подошел другой мальчик, мы сравнили хуи, и только у меня нельзя было залупить. Они стали меня дразнить, я расплакался, полагая, что у меня что-то не так, и стыдился показывать свой хуй снова. Я начал

пытаться стягивать кожу, но всякий раз останавливался, боясь непереносимой боли.

Мой кузен затем сказал мне, что у девочек нет хуя, а только дырочка, через которую они писают. Мы всегда говорили о них, но я не припомню употребление слова «пизда», не помню я и похотливых мыслей, касательно девичьих дырочек для писанья или о том, что у них «гладкие пиписьки» – выражение, которое я слышал в то самое время. В голове осталось только то, что у меня пиписька, а у них дырочка для писанья, и ничего другого мне тогда на ум вроде бы не приходило.

После я часто заходил в дом дяди, мой кузен Фред готовился пойти в школу, и мы много говорили о девичьих пиписьках, которые начали меня очень интересовать. Как он сказал, он ни одной не видел, но знал, что у них две дырочки – через одну какать и через другую писать. Они присаживаются, чтобы пописать, а не писают, встав у забора, как мы, но это я уже знал. Позднее я этим очень интересовался. Однажды одна из его сестер вышла из комнаты, в которой мы сидели. «Она пошла пописать» – сказал он мне. Раз мы прокрались в спальню одной из сестер и внимательно рассмотрели содержимое ночного горшка, чтобы точно узнать, какие там ссаки. Ожидали ли мы обнаружить там нечто отличное от содержимого наших ночных горшков – я не помню. Когда мы начинали говорить о подобных вещах, кузен теребил свой хуй. Мы удивлялись – как у них выделяются ссаки – не описывают ли они при этом ноги? Где расположена эта дырочка – возле дырки в жопе или нет? Однажды Фред и я нассали друг другу на пиписьки, и это было восхитительное удовольствие...

Глава 2. *Мой крестный – В Хэмптон-корте – Тетина жопа – Общественные бани – Пизды моих кузин – Веселье на сенокосе – Семейные трудности – Школьные забавы – Дрочащий родственник – Романтика и чувства*

Мой крестный (чье состояние я позже унаследовал) очень любил меня. Где-то в то время он начал постоянно мне повторять: «Когда пойдешь в школу, не делай те штучки с самим собой, которые делают другие мальчишки, или ты попа-

дешь в сумасшедший дом, как уже попало множество мальчиков». И он рассказывал ужасные истории, причем делал это полунамеками. Я чувствовал, что здесь таился какой-то скрытый смысл и, не понимая его точно, спрашивал об этом у дяди. «Ты скоро узнаешь, – отвечал он, – но помни мои слова». Он повторял так часто, что это глубоко запало мне в сознание и угнетало меня – со мной что-то случится, если я что-то сделаю – но что? – непонятно. Эти слова были предостережением против дочки, и они оказали на меня влияние впоследствии, причем по-разному...

Раз мать Фреда, моя матушка, девчонки, Фред и я пошли после ланча погулять в парк. Был очень жаркий день, мы держались самых тенистых дорожек, одна из которых вела к месту, где женщины тайком писали. Тетка сказала: «Почему бы, мальчики, вам не пойти поиграть, не бойтесь перегреться на солнышке». Мы отошли, но затем повернули назад и увидели, что и женщины пошли в обратную сторону. Фред сказал: «Я уверен, они собираются поссать, вот почему они отослали нас». Мы, избегая садовников, прокрались сквозь кусты, сперва на четвереньках, потом пришлось ползти ползком, и забрались на небольшой пригорок, за которым была лужайка, на которую сгребались листья и ветки. Как только мы туда залезли, раздвигая листву, мы увидели большую задницу женщины, которая полустояла-полусидела, струю, лившуюся перед ней, и большую волосатую расщелину прямо под ее жопой; но видели все это буквально секунду, так как она закончила, только мы начали подсматривать. Она опустила платье, расправила его и полуобернулась. Мы увидели, что это мать Фреда. Она ушла. «Вот не здорово, – сказал Фред, – лежи тихо, сейчас еще подойдет».

Подошло еще две или три девочки. Одна сказала: «Смотри, если кто подойдет», присела и поссала; мы не видели ее пизды, только немножко ноги и как расплескивалась струя перед ней. Затем зашла вторая, но села жопой к нам и так низко, что мы не могли видеть и кусочка задницы. Фред сказал: жаль, что она хотя бы не привстала наполовину, как его мать...

Фред вскоре остановился у нас в городе. Нам было запрещено вместе уходить из дома без разрешения, но мы

сбегали и однажды встретили мальчика постарше нас, который шел в баню. «Пойдем и посмотрим моющихся», – сказал Фред. Мой отец никогда не брал меня с собой в общественные бани. Но, несмотря на это, мы добавили каждый свои шесть пенсов и зашли вместе с нашим знакомым. Однако мы не мылись, а забавлялись, разглядывая хуи взрослых мужчин. Никто, как я помню, не носил в то время подштанников, все просто ходили, прикрывая свои хуи руками, но и то не всегда. Я был удивлен размерами некоторых и темными волосами вокруг них, равно как и на других частях тела. Я также был поражен, увидев у одного-двух пунцовые головки, полностью открытые, что так отличалось от моего состояния. После мы обо всем увиденном много говорили. Это стало для меня постижением мужской сути и тела...

Мне было, думается, лет тринадцать, когда наш дальний родственник приехал из деревни и остановился у нас перед поступлением в одну известную школу. Он был сыном священника, лет пятнадцати-шестнадцати, весь покрытый оспинами. Я никогда прежде его не видел, и он мне сильно не понравился – семья его была бедной. Юноша готовился стать священником. Меня сильно раздражало, что он будет спать со мной, но в нашем доме для него не нашлось другого места.

Сколько ночей он спал в моей кровати – не помню: должно быть, немного. Однажды вечером в постели он начал залуплять мне хуй. Я сперва его оттолкнул, но потом все же позволил стянуть шкурку. Помню переплетенье наших рук, и потирание бедер. Проснувшись как-то утром, я почувствовал, что он прижался животом к моей заднице и давит хуем в заднее отверстие. Я отодвинул его рукой, но он начал двигать быстро хуем между моих ляжек, а мой член схватил рукой. Повернувшись, я встретился с ним взглядом. Он попросил меня занять прежнюю позу. Я ответил, что сделаю это позже, но ничего потом не было. Неприятное чувство от спанья с ним в одной кровати до сих пор в моей памяти, ибо, как я сказал, я не любил его.

На следующую ночь, сидя раздетый в кресле, он показал мне свой стоявший хуй. Это была длинная, но тонковатая штука. Он рассказал мне о дробке и пообещал подрочить

мне, если я подрою ему. Он начал двигать рукой быстро вверх и вниз по хую, который становился все тверже и тверже. Он резко дрыгнул одной ногой, потом другой, закрыл глаза; все это выглядело так необычно, что я подумал, что с ним случился припадок. Затем брызнули беловатые капли, он фыркнул, как делают некоторые люди во сне, и откинулся на кресло с закрытыми глазами. Я увидел, что эта штука текла у него между пальцев, сжатых в кулак.

Я был странно зачарован, глядя на него и на то, что оказалось на ковре, и все еще сомневаясь – не болен ли он? Но он сказал, что это большое удовольствие, и был при этом очень красноречив. Даже сейчас тот вечер кажется мне гнусным и неприятным – чувство испытанное мною и тогда. Однако я дал ему поддержать и подроить мой хуй, причем удовольствия не испытал. Он сказал: «у тебя шкурка не сползает, какая чудесная штучка!» Мне это не понравилось, и я ему больше ничего не разрешил. Мы поболтали, пока свеча не погасла, он растер ногой сперму на полу, сказав, что слуги подумают, что мы плевались. Потом мы заснули.

После он еще не раз дробил передо мной, и я ему дробил по его просьбе, удивляясь и забавляясь тому, чем это заканчивалось, хотя одновременно и чувствовал ко всему этому отвращение. Когда я однажды дробил ему, он сказал, что еще забавнее делать это в задницу, и они с братом делали это по очереди: «Это было восхитительно, не вру, ей богу!» Может быть, и я разрешу ему сделать это со мной? Будучи совсем невинным, я ответил, что такого не может быть и он врет. Он вскоре покинул нас и отправился в колледж. Я с тех пор видел его лишь раз-другой; в совсем раннем возрасте он утонул. Я рассказал кузену Фреду обо всем, он поверил насчет дробки, но сказал, как и я, что тот врет насчет пихания в задницу. Так впервые я увидел дробку и мужское семя, и это открыло мне глаза.

Хоть я и ходил в школу, но был робким и необщительным, однако жадно слушал все нескромные разговоры, которым верил безусловно. Я подружился с несколькими мальчиками со схожими интересами. Однажды они затащили меня в уединенный уголок и здесь, несмотря на мое сопротивление, по-

валили, крепко удерживая, вытащили мой хуй, и каждый шлепнул по нему. Так они ввели меня в свой кружок, который называли «все хуй»; допущенный в него должен был по очереди залупить каждому. Им я залупил, но, к моей досаде, узость моей крайней плоти вызвала насмешки надо мной. Я был рад услышать, что у другого мальчика в нашей школе был такой же недостаток, но я его никогда не видел. Это обстоятельство укрепило мое решение покидать моих новых друзей, когда они играли во «все хуй». То, что я был лишь приходящим учеником, а не жил в школе на полном пансионе, давало возможность избегать более интимного сближения с мальчиками...

Я рос так быстро, что мог каждый месяц замечать изменения в своем росте, но был очень хил. Мой крестный, бывало, всматривался в меня и строго спрашивал – не занимаюсь ли я «этими делами», как другие мальчишки? Я тогда уже знал, что это означает, но всякий раз отвечал, что не понимаю его. «Нет, ты делаешь, ты делаешь, – говорил он, сурово уставясь на меня, – держи себя в руках, а не то закончишь дни свои в сумасшедшем доме. Я обязательно узнаю это по твоему лицу; а за то, что тебя удастся меня провести, не дам и фартинга». Он служил хирургом в армии и давал мне немало денег на карманные расходы. Я не переносил такого его взгляда, а он лишь спрашивал, почему я опускаю глаза...

Глава 5. *Наш дом – Шарлотта и брат Том – Поцелуи и лапанье – Оба возбуждены – Моя первая ебля – Початая девственность – Неприличный дом – В уединении – Несчастья – Шарлотта нас покидает – Мое отчаяние*

После смерти отца наши средства уменьшились. В то время, о котором я собираюсь рассказать, мы переехали жить в маленький домик неподалеку от Лондона. Одну сестру отправили в школу-пансион, другую взяла к себе тетка (у меня их много). Я пошел в соседнюю большую школу, которую называли колледжем; мой маленький братец Том оставался дома. Но что касается членов моей семьи, то едва ли они будут упомянуты, так как имели мало отношения к событиям моей личной жизни, и о них я умолчу, ежели только они не будут оказываться ее участниками.

В нашем домике на первом этаже находились столовая, гостиная и маленькая комната, называемая «садовой», из которой ступеньки вели в большой сад. На втором этаже – спальня матушки и еще две комнаты; выше – комнаты прислуги, моя и еще одна, используемая как чулан. Кухня находилась в полуподвале, из нее мощеная дорожка вела в домик для слуг, далее лестница шла в сад, повыше ступенек была калитка, ведущая на передний двор, в который открывалась парадная дверь дома. Это описание необходимо для дальнейшего понимания.

Мне исполнилось шестнадцать. Я был высокий, с прогибающимися усиками, выглядел старше своих лет – где-то на семнадцать-восемнадцать. Мать, правда, считала меня сущим дитятей и совсем невинным; так она говорила своим знакомым. Она и не догадывалась, что у меня развилась страсть к женщинам, и сильнейшее желание познать секреты их природы овладевало мной. Беспреданный разговор о ебле, которым занимали досуг молодые люди; истории, которые они рассказывали – о том, как видели служанок или других женщин полуобнаженными, а то и голыми; уловки, которыми они этого достигали, вообще хитрости подобного рода, которые они все время совершенствовали, возбуждали меня, более того, обостряли природную чувствительность насчет подобных дел и побуждали меня искать всякую возможность увидеть женщину голой, вселяя похоть. Дрочка была теперь мне ненавистна; как мне помнится, я к тому времени не дрочил, испуганный, как уже сказано, крестным, сказавшим, что это делает человека сумасшедшим и, что еще хуже, омерзительным. Так что я весь кипел похотью и все же был еще совсем невинным.

Горничная прибыла как раз в то время, когда я возвращался из колледжа. В дверях стояла кухарка, живехонькая женщина лет двадцати пяти–двадцати шести, вся свеженькая и пригожая, звали ее Мэри. Горничная сидела в тележке, которой управлял ее отец, растивший овощи на продажу в своем огороде и живший в нескольких милях от нас. Я проходил мимо и увидел в тележке румяную и весьма милую девушку лет семнадцати. Когда я зашел во двор и обернулся, она сходила,

лошадь было тронула, девушка запнулась. «Слезай», – раздраженно прикрикнул на нее отец. Она шагнула вниз, ее платье зацепилось то ли за борта тележки, то ли за сходи, и я увидел на мгновение белые чулки, подвязки, ляжки и пятно темных волос над ними под ее животом. Это длилось буквально секунду, и платье вновь опустилось, скрыв все. Я застыл весь в восторге от того, что увидел ее пизду. Она, не подозревая, что случайно выставилась на обозрение, спустила саквояж; я же пошел в садовую комнату, стыдясь, что люди могли заметить, как я нечаянно подсмотрел. Я не мог думать о чем-либо другом. И когда она принесла чай, я не спускал с нее глаз. То же самое было за ужином (мы вели простую жизнь – рано обедали и потому ужинали). Вечером мать заметила: «У этой девчонки получается», и я обрадовался.

Я отправился спать, думая о том, что видел, и пожирал ее на следующий день глазами, когда бы с ней ни столкнулся. День или два я воображал, что безумно в нее влюблен, да так оно и было на самом деле. И сейчас я вспоминаю все ее черты, как будто бы видел ее вчера. После тех десятков и десятков женщин, которых я отъебал, я все равно помню каждую мелочь, связанную с тем, как у нас с ней было. Все словно случилось на прошлой неделе, хотя с того времени прошло много лет.

Ей только исполнилось семнадцать – вишневые губки, черные волосы, миндалевого цвета глаза, чуть вздернутый носик, широкая грудь; этакая пышечка, ничуть не низкая и выгладевшая при том лет на восемнадцать-девятнадцать.

Я начал с ней вежливые разговоры, становясь раз от раза все развязнее, в конце концов брал ее за подбородок, пощипывал за руку и проделывал все те фамильярности, которым сама природа учит мужчину в обращении с женщинами. В ее обязанности входило открывать дверь и, когда необходимо, помогать снимать мне верхнюю одежду и обувь. В один прекрасный день она разувала меня, ее выпирающая задница так меня возбудила, что, когда девица стала распрямляться, я схватил ее и ущипнул. Я рисковал, потому что мать почти все время находилась в доме рядом, домик был мал, и любой шум мог быть услышан.

Вскоре я начал ее беспрестанно целовать. Через несколько дней она возвратила мне поцелуй, что свело меня с ума. Я постоянно думал о ее пизде, всевозможные смутные желания волновали меня. «Девки дают парням, – размышлял я, – а я уже во многом преуспел. Что если я расскажу ей, что видел у нее? Не пожалеется ли она моей матери? Даст ли она мне? Что за вздор! Но ведь девицы позволяют мужчинам, они даже любят это дело, все мои дружки твердят об этом». Голова была полна надежд и сладостных предчувствий; как-то раз, заходя домой, я крепко ее схватил и прижал к себе, и, погладив по спине, спросил: «Шарлотта, что бы ты хотела от меня получить, что бы ты...» И это все, что посмел сказать. Я услышал, что матушка открывает дверь своей спальни, и осекся.

Объятия и поцелуи у нас не прекращались. Я сказал ей, что люблю ее, она ответила, что это все глупости. Мы теперь целовались, как только выпадала такая возможность. Раз за разом я хватал ее все сильнее и откровеннее. Я клал руки ей на талию. Затем, как бы случайно, опускал их ей на задницу, отчего хуй у меня вставал и я сходил с ума от желания сказать ей больше, но никак не решался. Я не знал как приступить, так как в самом деле мало знал о том, о чем мечтал. Я желал бы потрогать пизду, рассмотреть ее, и это было пределом мечтаний. Выебать ее казалось абсолютно нереальной сумасшедшей идеей, даже если бы я имел ясное понятие о том, как это сделать.

Я рассказал одному моему другу, на год-два меня старше, как у меня обстоят дела, не называя девушку по имени. Его совет был краток: «Скажи ей, что видел ее пизду, и задери ей юбки, когда никого не будет рядом – будь уверен, выйдет, что надо. А как-нибудь попозже вынь свой хуй, скажи прямо, что ты хочешь ебать ее. Девчонки любят рассматривать хуй, и она тоже посмотрит, даже если поначалу отвернется». Этот совет он мне повторял постоянно, но у меня долго не хватало смелости осуществить его.

Однажды матушки не было дома, кухарка одевалась наверху, и мы целовались в садовой комнате. Я положил руку ей на задницу, ткнулся лицом в ее плечо и, смущаясь, сказал: «Я хочу, чтобы мой хуй упирался в твой голый живот и безо

всяких одежд». Она вырвалась из объятий, вскочила, удивленная, и сказала: «Я никогда больше не буду с тобой разговаривать». Я взял себя в руки и продолжал, хотя и не без опаски, побуждаемый то ли любовью, то ли страхом. Совет друга звенел у меня в ушах. «Я видел твою пизду, когда ты вылезала из тележки отца, – сказал я, – посмотри на мой хуй (*вынимая его*), какой он твердый. Он хочет войти в тебя – „хуй с пиздой соединятся“». Это были слова из похабной песенки, которую мальчишки распевали в колледже. Она изумленно уставилась на меня, повернулась, вышла из комнаты и удалилась на кухню через сад по ступенькам, не произнеся ни слова.

Кухарка все еще была наверху, и я ринулся, ни о чем не думая, в кухню, и повторил там все, что уже сказал. Она пригрозила позвать кухарку. «Ну что ж, пускай она тоже посмотрит твою пизду, как и я», – сказал я, и она заплакала. Я начал было просить прощения, но тут опять вспомнил про совет товарища, замолчал и быстро сунул обе руки ей под юбку. Одной ухватился как следует за жопу, другой – за мохнатку. Шарлотта громко завизжала, и я стремглав убежал вверх по лестнице весь в испуге...

Моя мать к этому времени вернулась к своему привычному образу жизни и стала часто отлучаться из дома с визитами и на прогулки. Однажды после обеда она ушла до вечера, я же вернулся домой неожиданно. Кухарки не было, идти встречать матушку мне нужно было лишь к концу дня. Шарлотта накрыла мне обед, мы, как всегда, целовались. Я переполнялся похотью вкупе с неожиданной смелостью. Шарлотта, увидев, что я не ухожу из дома, казалась встревоженной. Со стола все убрали, кухарка, успевшая вернуться, опять ушла. Остались только Шарлотта, мой маленький братец и я. В ее обязанности входило сидеть с ним в садовой комнате, когда мать уходила из дому, чтобы в случае необходимости быстро открыть входную дверь, либо идти гулять в сад в хорошую погоду. То был прекрасный осенний день, она сидела в садовой комнате на высокой старой софе. Том играл на полу, я сел рядом с ней; мы целовались и дурачились. Мое сердце билось все сильнее, но я завел разговор о другом, дожидаясь удачного момента.

«Кухарка вот-вот вернется», – сказала она. «Мне лучше знать, мать сказала кухарке, что та может быть свободна до восьми вечера», – хотя я это и знал, но все равно боялся, однако спел песенку про пизду и хуй целиком. Она сердилась, но дело было сделано. Поднявшись, чтобы что-то подать Тому, она наступила на шнурок ботинка, который развязался. Ей пришлось сесть на софу и положить ногу на ногу, чтобы завязать. Я бросился помогать и увидел заодно тонкую лодыжку и кусочек белого чулочка. «Схвати ее за пизду», – звенело в моих ушах. Я не предпринимал таких попыток после того раза на кухне.

Завязывая ботинок, я попытался сдвинуть юбку как можно выше, но она дальше колена не поднималась, плотно зажатая между ногами. «Схватить» было невозможно, но похоть сделала меня хитрым – я похвалил ее ножку (хотя я и не знал в то время, как некоторые женщины тщеславны насчет своих ног) – «какая прекрасная лодыжка!», поднимая руку все выше. Она на какой-то момент потеряла бдительность, я резко толкнул ее левой рукой назад на софу, ноги взлетели вверх, в то же мгновение я ухватился правой рукой между ляжек за пизду, почувствовав нечто мягкое, волосатое и влажное.

Она резко выпрямилась и закричала: «негодяй, чудовище, мошенник!», но я крепко держался пальцами за пизду. Она сильно свела ноги, зажав мою руку бедрами, и какое-то время сидела так, пытаясь меня отодвинуть, но я не поддавался. «Убери свою руку, или я закричу», – сказала она. «Не могу». Последовало два или три очень громких стона. «Никто нас не услышит», – ответил я, и она взмолилась, чтобы я ее отпустил. Я вспомнил совет товарища, пропихнул правую руку между ляжек, а левой достал хуй, стоявший как кочерга. Ей ничего не оставалось, как смотреть на него. Затем я обнял ее левой рукой за шею, прижал к себе и покрыл голову поцелуями.

Она пробовала привстать и почти убрала мою правую руку, но я засунул ее обратно, еще глубже в пизду. Я не знал, что могу просунуть руку до жопы, слабо разбираясь в женской анатомии, но ухитрился схватить пальцами за одну из волосатых срамных губ и ущипнуть ее. Затем я опустил перед ней

на колени и остался так стоять, не давая ей отползти по софе назад, и одновременно держал то за талию, то за юбку.

На какое-то время наша борьба прекратилась, потом возобновилась, и она еще несколько раз попыталась убрать мою правую руку. Неожиданно она схватила меня за волосы и резко дернула. Мне показалось, что сейчас с меня слезет скальп, но я не ослаблял хватки и так потянул ее за срамную губу, что она заорала и назвала меня бесчувственным животным. Я сказал ей, что буду делать ей больно до тех пор, пока она мне причиняет боль. Она отпустила волосы, но боль от этой таски сделала меня еще более злым и решительным.

Наша борьба продолжалась. Я стоял на коленях с высунутым хуем, она плакала, умоляя меня остановиться, я же упрашивал ее позволить мне рассмотреть и потрогать пизду, используя все доводы и все похабности, какие только приходили мне на ум. Маленький Том спокойно играл на полу.

Я стоял на коленях, должно быть, с полчаса. Боль была уже такая, что я еле терпел. Мы оба тяжело дышали, я обливался потом. Опытный мужчина ею бы уже, наверное, овладел, я же был неопытным юношей и без ее согласия, выраженного в недвусмысленных словах, и не думал о том, чтобы овладеть. Новизны и откровенной чувственности моей игры с ней вполне хватало. Потом я почувствовал, что мои пальцы в пизде стали совсем влажными. Я сказал об этом, и она разрыдалась так, что я встревожился. Больше стоять на коленях я не мог. Но чтобы встать, нужно было убрать руку с пизды. Поэтому, убирая левую руку с талии, я постарался задрать ее платье как можно выше, обнажая обе ляжки. Она одернула одежды вниз, а я упал, так как колени затекли. Она выскочила из комнаты и побежала наверх.

Смеркалось, я сидел на софе, обнюхивая пальцы. Том заплакал, она спустилась вниз успокоить его и взять с собой наверх. Я пошел за ней на кухню, она назвала меня дерзким мальчишкой (что являлось тогда для меня сильной насмешкой), пригрозила рассказать моей матери и взять расчет. Она вышла из кухни, но я повсюду следовал за ней, говоря всякую похабщину, рассказывая как мне нравится запах моих пальцев,

пытался задрать ей юбку, порой удачно, а также показывал ей свои яйца; и так беспрестанно забавлялся несколько часов, пока кухарка не пришла. Внезапно испугавшись, я принялся упрашивать Шарлотту сказать матери, что я вернулся домой незадолго до кухарки, и что мне нездоровилось, почему я и лег в постель. Она ответила, что расскажет матери всю правду. Когда кухарка вернулась, я уже находился в своей спальне.

Мать вернулась домой поздно, я был напуган, лежал бледный от страха в постели и раздумывал о возможных последствиях. Услышав стук в дверь подвесного молоточка, я вскочил и в ночной рубашке спустился до середины лестницы, прислушиваясь. К моему облегчению, я услышал, что Шарлотта, отвечая матери, сказала, что я пришел домой час назад и сразу отправился в постель, принимогнув. Матушка поднялась ко мне в комнату пожалеть меня...

Надежду я возлагал на субботы, по которым я не ходил в колледж, так как скоро собирался покинуть его, готовясь к поступлению на воинскую службу. Однажды я пришел домой, зная, что Шарлотта там будет одна (кухарка – наверху). Я повалил ее на софу в садовой комнате, встал на колени и просунул руки ей между ног, встречая слабое сопротивление. Она немного мешала мне, но не поднимая шума. Целуя, она просила убрать руки. Я мог легко добраться до ее манды, что и не замедлил сделать. Шарлотта была на удивление молчалива.

Неожиданно я заметил, что она как-то странно смотрит на меня. Сперва ее глаза были широко раскрыты, затем она зажмурилась. «О-о! – вырвалось у нее из груди с продолжительным вздохом. – Уолтер, дорогой... о-о-о! убери руку, или... о-о-о-о! мне будет плохо». Ее голова упала мне на плечо. Я по-прежнему стоял на коленях. В этот момент ее ляжки слегка разошлись, потом снова сжались, опять раскрылись – как мне показалось, дрожа и подергиваясь. Затем она утихла.

Я протолкнул руку еще дальше, хотя думал, что она уже в пизде; на самом деле, палец находился лишь между срамных губ, как я теперь понимаю. Неожиданно она вскочила, оттол-

кнула меня, схватила Тома с пола и убежала наверх. Пальцы мои были все в чем-то мокро. Два или три дня после она избегала встречаться со мной взглядом и выглядела смущенной. Я ничего не понял, и лишь спустя несколько месяцев до меня дошло, что движения пальцев по клитору заставили ее кончить. Ничего не зная о том, как это делается, я подрочил ей.

Хотя где-то месяца три я развлекал себя подобным образом, пытался трогать и рассматривать ее пизду, я, в конце концов, попросил у Шарлотты разрешения поебаться, хотя особо не надеялся, что она согласится. Предложение служило взаимному удовольствию, но осуществить подобное казалось мне невозможным. Однако, побуждаемый любовью к девушке, ибо я действительно любил ее, равно как и половым инстинктом, я все-таки решил попробовать. Меня также торопил товарищ по колледжу, который видел Шарлотту в нашем доме и, не зная, что это та девушка, о которой я говорил с ним, сказал: «Какая прекрасная девица эта ваша служанка! Я собираюсь с ней поразвлечься. Я буду ждать ее в следующее воскресенье у церкви, я знаю, что она сидит там на вашей скамье». Я задал ему кой-какие вопросы. По его мнению, большинство юных девиц разрешают молодым людям отъебать их, если как следует нажать, и что она – не исключение. (Товарищу этому было восемнадцать лет.) Я покинул его, боясь, что сказанное им – правда, оттого ненавидел его и завидовал ему вне всякой меры. Он заставил меня задуматься – почему бы и мне этого не сделать, раз он может? И что если сказанное им о девицах – правда? Итак я решил попробовать и благодаря счастливому случаю добился успеха раньше, чем ожидал.

В часе ходьбы от нас находился дом сестры моей матери – самой богатой из моих теток. В то время она одна снабжала меня деньгами, мать же не давала почти ничего. Я раз навестил тетушку, которая передала матери приглашение навестить ее и провести с ней целый день на следующей неделе. Но я забыл об этом, пока через три дня не услышал, как мать сказала кухарке, что та может на целый день уйти по своим делам. Тут я сказал, что тетушка очень желала бы видеть матушку сегодня. Мать побранила меня за то, что я не ска-

зал этого раньше, но обменялась с тетушкой записками и решила идти, забыв, что отпустила кухарку. К моей вящей радости она решила взять Тома с собой, сказав Шарлотте: «Заданий для тебя особых нет, только запри дом пораньше и ничего не бойся». Я, как обычно, должен был встретить матушку на обратном пути.

Все утро я просидел в школе в радостном волнении и пришел в обед домой, весь дрожа от собственных намерений. Шарлотта удивленно посмотрела на меня – почему я не пошел встречать мать? Я ответил, что пойду лишь поздним вечером. Она сказала, что дома ничего не приготовлено, и что мне лучше пойти обедать к тете. Но я знал, что у нас было холодное мясо, и велел ей накрыть стол на кухне. Чтобы еще раз удостовериться, я спросил – ушла ли кухарка? Она ответила, что да, но скоро вернется. Но я-то знал, что кухарка по случаю выходного задержится до десяти вечера. Девушку тоже волновало то неведомое, что могло произойти; мы целовались и обнимались, но даже это ей, как я заметил, не нравилось.

За обедом я держал себя в руках, она же тихо сидела возле меня. Я закончил, она начала убирать со стола, и сытость вкупе с мельтешением Шарлотты вокруг придали мне смелости. Я хватал ее за грудь, за ляжки; началась наша обычная борьба, но я заметил, что сопротивлялась она не столь яростно и упрашивала меня перестать довольно ласково. Мы развлекались так где-то час, она опрокинула со стола тарелку и разбила ее. В дверь постучал булочник, она забрала у него хлеб, но сказала мне, что не закроет дверь, пока я не пообещаю остановиться. Я пообещал, но, стоило Шарlotte закрыть дверь, затащил ее в садовую комнату – еще на кухне я обдумал, как заману ее наверх. Хлеб упал на пол, я толкнул ее на софу; посопровтивлявшись, она присела. Я поцеловал ее, одновременно одной рукой обнимая за талию, другую запустив между ног поближе к пизде. Я сказал, что хочу ебать ее, приведя все доводы, какие только знал – наполовину смущенный, наполовину испуганный. Она говорила, что не понимает, что я имею в виду, сопротивляясь все меньше и меньше по мере того, как я откидывал ее все дальше, прижимая к софе. Вдруг опять

завзвонил колокольчик – это пришел молочник. Мне пришлось ее отпустить, и она побежала за молоком.

Я последовал за ней. Она вышла и хлопнула дверью, ведущей в сад, прямо передо мной. На какой-то миг я решил, что она направляется в домик для прислуги, и выскочил вслед. Она через сад вбежала в садовую комнату, а затем вверх в свою спальню – как раз напротив моей, и закрыла дверь на ключ прямо перед моим носом. Я принялся упрашивать.

Она ответила, что не выйдет, пока не услышит, что к нам кто-то пришел. Однако после молочника к нам никто и не должен был прийти, так что моя игра, можно сказать, закончилась. Но ничто не делает человека таким хитрым, как похоть. Где-то через полчаса я со злостью сказал, что пошел к тетке, спустился вниз, с шумом вышел и хлопнул уличной дверью, как будто бы ушел, а затем снял ботинки и тихо прокрался в свою спальню.

Там я долго сидел в ожидании, и почти уже потерял надежду, и начал думать о том, что будет, если она расскажет моей матери, но тут услышал, как ее дверь легонько приоткрылась и она вышла на лестницу. «Уотти! – громко крикнула она. – Уотти! – повторила еще громче. – Он ушел», – сказала она сама себе негромко, как бы удостовериваясь, что опасность миновала.

Я открыл дверь, Шарлотта издала громкий вопль и бросилась к себе в комнату, я за ней. Несколько минут мы обнимались, боролись, я ее умолял, запугивал, уж не знаю как. Я прижал ее к кровати полулежа, полустоя, задрав кверху и смяв одежду. Я залез на нее, держа в руке хуй, увидел волосню, провел по щели и, не зная точно, где дырка, но полагая, что между ног, всунул хуй туда со всей силы. «О, как больно! мне будет плохо! прошу, не надо», – взмолилась Шарлотта. Но если бы она даже сказала, что умирает, я бы не остановился. В следующий момент я испытал исступление плоти, мой хуй задергался в конвульсиях: из него словно вылетали капли расплавленного свинца, наслаждение смешалось с легкой болью, и все тело легко дрожало от переживаний – моя сперма перетекла в пизду девственницы, правда, не точно в нее, а на нее. Как долго я пребывал в умиротворенном за-

быть – не помню, в юном возрасте первое наслаждение не успокаивает надолго. Я почувствовал, что она стаскивает меня с себя, слегка поднимается и начинает то смеяться, то плакать, то впадать в истерику – такое я уже наблюдал прежде.

Я видел, что моя мать ухаживала за ней во время подобных приступов, но я тогда не догадывался, что их порождает половое возбуждение в женщинах, и что именно я был тому причиной у нее. Я достал бренди и воды и заставил ее выпить, выпил и сам, поскольку был сильно взволнован, а после уложил ее на кровать. Пользуясь тем, что она была в бесчувствии, я, хоть и был напуган, воспользовался ее состоянием, осторожно задрал платье и рассмотрел пизду и мою молофью на ней. Это ее пробудило, она слабой рукой опустила подол и отодвинулась на край кровати. Я признавался в любви, просил прощения, целовал ее, рассказал, как мне было приятно, и спросил о ее удовольствии, так как полагал, что доставил ей таковое. В ответ я не получил ни слова, но она жалостливо посмотрела на меня, умоляя уйти. Но я не собирался этого делать, хуй опять встал, я его достал, вид ее пизды возбуждал меня. Она смотрела на меня безжизненно, шапочка слетела, волосы растеклись по голове, платье было разорвано до груди. Но даже в таком виде она казалась мне прекрасной, удача придавала мне смелости, я напирал, а она была слишком слаба, чтобы мне противостоять. «Нет, нет, умоляю, нет», – лепетала она, отодвигаясь дальше по кровати. Я бросился на нее, достал и сунул елдак в щель, всю облитую моей спермой. Я был хоть и не так возбужден, но у меня стоял как кочерга. Однако я не мог спустить так быстро, как бывало впоследствии при второй палке, поскольку я был очень молод. Но природа все сделала за меня – хуй попал куда надо, в нечто сильно сжимающееся. «Ой, ой, больно!» – закричала она. В следующую секунду что-то сжало залупу, потом еще и еще, Шарлотта заорала от боли (при этом тело ее расслабилось), и мой хуй вошел полностью в нее. Я понял, что дело сделано, и при этом я еще не спустил. Я взглянул на нее, она была спокойна; хуй целиком находился в пизде. Я потрогал там рукой. Какой восторг я испытал, когда увидел, что мой аппарат полнос-

тью вошел туда! Нащупывались только яйца; ее волосня была увлажнена спермой, а волосики перепутались и слиплись с моими. Через минуту естество разрядилось, я спустил в ее невинную пизду своим невинным хуем. Так кончилась моя первая ебля.

Хуй был еще в ней, когда мы услышали громкий стук. Оба вскочили в ужасе, я не мог вымолвить ни слова. «Господи, это твоя матушка!» Еще раз громкий стук. Какое счастье, что это оказался почтальон. Спуститься вниз и открыть дверь было делом одной минуты. «Я думал, что вас нет дома, – сказал он раздраженно, – я стучал три раза». «Мы были в саду», – ответил я. Он странно посмотрел на меня и спросил: «босиком?», затем, усмехнувшись, ушел. Я поднялся, увидел, что она сидит на кровати, и присел к ней. Я рассказал о словах почтальона, она заметила, что он все расскажет хозяйке. За какой-то миг мы превратились из только что ебавшейся пары в отчаянных трусов. Я часто потом думал о том, как мы не слышали громкого стука почтальона, пока ебались, хотя дверь в спальню была открыта настежь. Это занятие так захватывает, что оглушает людей. Потом мы еще час кувыркались, я все пытался посмотреть на ее пизду; мы целовались, щупали друг другу срамные части, болтали о том, что мы только что попробовали и что ощущали в те минуты, а затем снова поебались.

Тем временем стемнело, что вернуло нас к реальности. Мы заправили кровать, спустились вниз, закрыли ставни, зажгли потухшую уже лампу. Делать мне было нечего, и я обратил внимание на свой елдак, прилипший к одежде. Я достал его, чтобы осмотреть, и обнаружил, что мое платье покрыто пятнами спермы и крови, а хуй ужасно саднит. Я сказал ей, что у нее шла кровь. Она попросила меня на минутку выйти из кухни и почти сразу же вышла сама, сказав, что ей нужно переодеться, пока не пришла кухарка. Хотя я и пошел за ней, она не разрешила мне присутствовать при этом в ее комнате и не показала мне свою нижнюю рубашку. И тут меня осенило, что я лишил ее девственности, что было для меня в новинку. Она нагрела воды, чтобы обмыться. Я не знал, что мне делать со своим платьем, мы решили, что мне надо будет его замыть, прежде чем я лягу спать. Также мы решили, что мне лучше все-

го сказать, что я вовсе не был все это время дома, и что мне следует отправляться за матерью. После поцелуев, объятий и слез с ее стороны, я вышел, по пути придумав отговорку, почему я не пришел за матушкой раньше, и мы вернулись, как я помню, вместе с Томом, в повозке тетушки.

Прежде чем лечь в постель, я попросил горячей воды, чтобы помыть ноги. Можете представить, как мы посмотрели друг на друга, когда я попросил об этом. Я кое-как выстирал рубашку и со страхом осмотрел свой ужасно болевший хуй. Я не мог закатать шкурку даже чуть-чуть, как прежде. Кожа на залупе была надорвана и слегка кровоточила. Я не спал почти всю ночь, размышляя об испытанном наслаждении и гордясь своим успехом. Проснувшись рано, я увидел, что пятна еще заметны и что, пытаясь замыть их, я так переусердствовал, растерев, что даже ребенок бы догадался, что произошло.

Я знал, что матушка, которая теперь вела домашнее хозяйство, сама отбирает вещи для сдачи в стирку, и в отчаянии придумал следующий план. Я нассал полный ночной горшок, добавил туда мыльной пены, сотворив немыслимую смесь нечистот, поставил его возле стула, на который повесил испачканную рубашку прямо над ним, причем самым неосторожным образом, так чтобы выглядело, будто она случайно туда упала, а сам надел чистую смену. После завтрака мать, которая управляла и свою, и мою постель, позвала меня к себе. Душа ушла в пятки, пока я поднимался. Она сказала, что надеется, что я буду более аккуратным и не забывать, что у нас теперь нет папенькиного кошелька. «Посмотри, – сказала она, – в каком постыдном состоянии ты оставил рубашку. Мне будет неловко послать ее прачке. Придется просить нашу горничную прежде постирать ее, потому что ты стал очень невнимательным». Шарлотта мне потом рассказывала, что чуть не упала в обморок, когда матушка дала ей постирать рубашку...

Вскоре она вышла замуж, как сказала моя матушка, поселилась в двенадцати милях от нас и мне не писала. Однажды я туда приехал и, хотя прослonyaлся довольно долго возле их лавки, ее так и не увидел. Я поехал к ней во второй раз, она заметила, как я к ней заглядываю, и, зашатавшись от неожиданности, скрылась в задних покоях. Я не посмел зайти, дабы

не навредить ей. После пришло неподписанное письмо, полное любви, но умоляющее не бродить возле ее дома и не тревожить ее. Деньги, время, расстояние – все было против меня. Я понял, что все кончено, и опять начал дрочить, что вкупе с отчаянием привело меня к болезни. Что на самом деле думал доктор, я не знаю, он сказал, что я занемог от нервного истощения, и спросил матушку – вел ли я себя благоразумно и здорово? Она ответила, что я был чистейшим и тишайшим из сыновей, невинным как дитя, и что я приболел от чрезмерного учения – так она воображала. На самом же деле я все эти четыре месяца вряд ли когда заглядывал в книжку. Все свободное время я либо думал о Шарлотте, либо писал похабные слова и рисовал карандашом и чернилами пизды и хуи.

Так я потерял свою невинность и похитил чужую. Так закончилась моя первая любовь или же похотливая страсть – назовите как хотите. Я полагаю это любовью, потому что любил девчонку и она любила меня. Кто-то может назвать это соблазнением, но, размышляя обо всем спустя годы, я с этим не соглашусь.

Это был всего лишь естественный результат встречи двух молодых людей с горячей кровью, страстно желающих удовлетворить свое половое любопытство. Винить нас можно только обоих вместе. Мы были созданы именно для этого и лишь доказали правоту старой песенки: «хуй с пиздой соединятся, если можешь, то проверь», равно как мудрости о том, что нельзя оставлять наедине парня и девушку, если не хочешь довести их до греха.

Во всех отношениях мы были б как муж и жена, сложились обстоятельства по-другому. Мы еблись, как только представлялась таковая возможность. Кошелек был у нас общим. Если у меня не случалось денег, она тратила из своих заработков; если они у меня водились, то я платил за ее обувь и одежду. Подарков в привычном смысле я ей никогда не дарил. Наши постельные забавы были вполне скромными, мы следовали в них старой моде. И хотя наша связь была естественной, не-притворной и благотворной, мир бы со мной не согласился на этот счет...

...Я часто думал – нашел ли ее муж, что она не девственница? И, если нет, то ввиду ли ее хитроумных уловок или же из-за собственного невежества в этих делах? Я слышал потом, что они жили счастливо.

Перевод Максима Артемьева

Марсель Жуандо
ТИРЕСИЙ
(из «Тайных сочинений»)

Особенность этого прорицателя в том, что, родившись мужчиной, он превратился в женщину, а затем вновь принял свою изначальную форму. Такое изменение было вызвано очень простой причиной. Однажды он встретил двух переплетающихся змей и, отважившись разнять их, обнаружил, что стал женщиной. Семь лет спустя, повстречав их вновь и сделав то же самое, он получил обратно свои мужские признаки.

Когда позже он попытался убедить Зевса и Геру, что женщины получают от любовного соития больше удовольствия, чем мужчины, богиня наказала его за болтливость слепотой, но Зевс наделил в утешение светом разума и неизменным даром предвидения.

РИШАР

Я хотел его до такой степени, что, не в силах завладеть им, отдавался кому попало с мыслями о нем, но Господь смиловился надо мной. Я наткнулся на мальчика еще красивее и тоже лет двадцати – чернокожего гиганта с пышными перламутровыми бедрами и светло-серыми глазами, которого по чистой случайности (хоть это невероятно), также звали Ришар.

– Значит, я – первый Ришар, которого ты *имеешь*, – сказал он.

– Имя для меня очень важно.

– Для меня тоже.

На его синем пуловере были вышиты красный лев и желтый леопард, и я попросил не снимать его какое-то время. Мне нравилось, когда мы были вдвоем голые, с этими хищниками между нашими сердцами.

Сняв эту последнюю одежду, он вытянулся на спине во весь рост, наполовину раздвинув ноги, а я встал на колени рядом с диваном, и мой взгляд оказался на одной линии

с его телом, которое чудилось мне разрезанным – великолепным. Какой роскошный, восхитительный ракурс! Похожий есть у одного ученика Микеланджело.

Я сказал:

- Можно тобой полюбоваться?
- Кому не нравится, когда им любуются?
- Даже думая о другом?
- Клянусь, что, выйдя отсюда, вы забудете о нем навсегда.

Волосы рисовали на его золотистых ляжках черные розы, какими усеяны ляжки Малатесты и какими покрыта шерсть пантеры: в тот миг, когда я обратил на это его внимание, он бросился на меня, укусив за плечо. Я тщетно пытался обороняться, но он перевернул меня и впечатался лицом в мой затылок, так что я увидел его лучше, чем если бы смотрел в упор, и вдруг, не понимая, как это произошло, почувствовал, что в меня уперся его член. Затем, пока он держал меня, убежденный, что я уже не вырвусь, у меня под мышкой показался его рот – чувственный и мясистый, как лопнувший гранат.

Я никогда раньше не ощущал самого пленительного удовольствия и самой жестокой боли одновременно. Мне было безразлично – жить или умереть, и я сказал ему об этом, ведь пытка и наслаждение взаимно усиливают друг друга. Под конец я забыл о пытке ради наслаждения.

- Боже, – прошептал он, – какой узкий проход!
- Боже, – воскликнул я, – какой требовательный и твердый прохожий, и какой у него торопливый и тяжелый эскорт!
- Я порвал твоё кольцо, так не проси у меня пощады. Эту приятную боль ты впервые познал благодаря мне? Прими же ее так, словно мой жезл наделил тебя вторым полом.

После этих сакраментальных слов наши губы слились, и последовал страшный натиск – в два раза сильнее: мы скатились с кровати на паркет, где больше нельзя было отличить его конечности от моих и где мы превратились в странный клубок перемешавшихся корней. Едва я приоткрыл глаза, пытаясь прийти в чувство, как мы душераздирающе вскрикнули в один голос: его сладость растеклась внутри меня, а моя затопила его ладони.

– Значит, – сказал я, – ты сделал так, что теперь я – не только мужчина. Тиресий! Тиресий!

– Неужели ты столь долго ждал этой метаморфозы?

Я рассказал ему, что года в двадцать три мне попался необыкновенный мальчик, выступавший в роли женщины. Я называл его «Ртом из слоновой кости». Мы встретились во «Французском театре» в день премьеры «Багатель»¹. Тогда я был еще не знаком с пороком, и мальчик приобщил меня к содомии, но занял подчиненное положение. Целый год мы прожили вместе, и он во всем походил на любовницу. Но как-то вечером мальчик получил телеграмму из Бонна, и та вынудила его уехать из Парижа – вероятно, надолго, а возможно, и навсегда. Я надел ему на палец *рубин* в обмен на *опалы*, которые он подарил мне, несмотря на то, что никогда не снимал их с руки за время нашего романа. Мы в последний раз занялись любовью по нашему обыкновению, как вдруг его глаза бешено загорелись, и он набросился на меня с дикой, звериной необузданностью. Без предупреждения, подготовки и малейших церемоний он подчинил меня себе, заставив поменяться ролями, словно хотел оставить на мне перед разлукой свое клеймо, неизгладимую печать. Увы, я промучился больше года, и какое-то отвращение к этому поступку всю жизнь мешало мне считать его приятным.

Мы с Ришаром видимся по четвергам. Отныне я живу от одного четверга до другого, и это напоминает блуждание по туннелю в поисках Света.

Я почти не осмеливаюсь двигаться и дышать из страха что-либо нарушить, затормозить деликатный механизм, который обеспечивает бесперебойную работу мира. Если в его или моей жизни произойдет что-то непредвиденное, если его или мои часы вдруг начнут немного спешить либо отставать, мы рискуем больше не встретиться! В обстоятельствах, диктующих его и мои шаги, стóит вкрасьться какой-нибудь помехе, и наше приключение завершится.

Я знаю лишь его имя, а он – мое. Мне известно, где он караулит меня с полтретьего до трех, в определенный день

1 Комическая опера Ж. Оффенбаха (1874). – *Прим. пер.*

недели, и это – все. За пять минут до моего прихода его могут похитить. Он так красив, что в промежутке может найти кого-то милее, чем я! Почему же я так колебался, перед тем как назвать ему свое имя? Наверное, свобода по-прежнему дороже для меня. Только не сейчас. Как трудно сохранять равновесие! Хочется оставаться независимым, тогда как уже стал рабом.

Сегодня получил вести от Жан-Жака, малыша Луи и Ришара I. В душе – целый хоровод из моих мальчиков!

В Ришаре II меня очаровывают житейские мелочи. Например, он рассказывает, что, как бы поздно ни возвращался вечером с праздника, камердинер его любовника никогда не ложится, поскольку ему приятно укутывать мальчика в постели. (Любовник, содержащий его по-царски, сейчас в отъезде.)

На шее он носит старинный массивный золотой крест, его белье поступает от продавца рубашек для английского короля, и каждый четверг около трех он ждет меня посреди сутенеров, которые однажды убьют его, чтобы снять шелковые носки, не забыв прихватить и все остальное.

Он настолько любезен, что не скрывает удовольствия, получаемого от наших игр. Нет даже секундного подозрения в шантаже, самодовольстве или усталости.

Красота его достигла как раз той степени возмужалости, которую я ищу: где-то на полпути между юношей и зрелым мужчиной. Мужественности в нем больше, чем изящества, он волосат, но эти волосы, разросшиеся по всему телу, мягкие, тонкие и редкие, нисколько не затмевают и не утяжеляют его округлости. У него всегда такой вид, будто он только что из ванны.

В любви между мужчинами меня занимает механическая сторона жестов, холодно-символическая сторона операций, когда сосуды сообщаются и член охотно принимает вид перегонного куба для опытов, не чуждых неким таинственным исследованиям, наподобие алхимии. Это алхимия Наслаждения.

Почему я не вправе позволить ему заполнить собой Все и должен видаться с ним, моим Солнышком, лишь раз в неделю?

Дисциплина светил, ведающих о том, что они могут делать вместе и на каком расстоянии обязаны держаться, дабы не уничтожить и не сжечь друг друга, а еще долго кружиться за компанию. Совместное движение – величайшее чудо, если строго следовать Закону, призывающему беспрестанно колебаться между высшей смелостью и сдержанностью, не уступая полностью ни той, ни другой.

Когда моя рука сжимает горлышко его тыквы, полной молока, он закрывает глаза, точно голубь, которого душат.

Еще долго после нашей близости я стараюсь не трогать себя, опасаясь стереть его следы.

Слышно, как за перегородкой сутенеры играют на деньги.

Я:

– А мы на что играем?

Он:

– На жизнь.

Ришар:

– Да, твое Солнышко будет преданно пронзать тебя своим лучом каждый четверг – уговор дороже денег.

Из уважения к нему я бреюсь перед самой встречей. Неважно, что мне выделен лишь час в неделю. Все остальные, в другое время – не в счет.

Как приятно натекать ладонью на тяжелые плоды могучего Древа, чьи корни прячутся в нем, а крона – во мне! Эти плоды висят у нас по бокам, и уже непонятно, чьи они – его или мои, как неизвестно и то, за что сильнее держится любое дерево – за Землю, где оно укоренено, или за Небо, в котором распускается.

Больше всего я наслаждаюсь той минутой, когда его искаженное лицо бледнеет, а сам он переходит от свирепой жестокости к сладостной истоме.

Он всегда уходит незаметно: так растворяются призраки. Он был таким реальным – и вот его больше нет. Когда же он успел выйти? Я ищу его глазами, но его форма остается во мне, а влажный голос еще долго говорит мне на ухо, хоть его и нет рядом.

Если я говорю, что его форма – во мне, это не метафора. Словно почва, недавно вспаханная лемехом, плоть моя еще долго трепещет, сокращаясь после заковки. Это беспокойство не сравнится ни с чем. Оно возвращает мне свежесть первых эмоций. Выражение моего лица уже не такое, как прежде.

Я всегда буду помнить свое бледное тело. Вчера, подняв ноги, как на «Снятии с креста» Рубенса, оно скользило вдоль его тела, более темного: мое такое щуплое и стройное, а его – покрупнее, коренастее. Вскоре его голова расцветала между моими ступнями, а на другом конце кровати он сжимал мне виски лодыжками, мы опрокидывались в пустоту – я снизу, а он сверху, долго раскачиваясь с восхитительными гримасами, что вмиг расправляются, когда он вскрикивает, и я в ответ рыдаю от счастья.

Просыпаясь ночью, я боюсь собственного тела. Я еще не привык к тому, что с ним происходит. Сначала возникает удивление, которое затем сменяется каким-то восхищенным оцепенением или страхом. Тиресий! Тиресий! Как обратиться вспять, как предотвратить последствия этой церемониальной магии? Тридцать лет спустя я превратился в женщину, хотя всю жизнь отвергал это и даже представить себе не мог! Я смеюсь при мысли о том, что мои бедра служили для телодвижений, которые сейчас больше не доставляют мне таких же чувств, как еще пару недель назад. Я, конечно, мужчина, но в то же время женщина. При виде меня мужчины невольно чувствуют беспокойство, которое передается мне.

Мне хочется останавливать прохожих и простодушно рассказывать им о своем приключении:

– Ах, если б вы знали, что со мной творится!

Мои члены пахнут новым потом, с которым я пока не свыкся: он не такой кислый. Мой костный мозг и кровь изменились. Я не знаю, какой амброй благоухаю, и погружаюсь в сон.

Что бы я ни делал, чем бы ни занимался, я все время галопирую под ним, и память о его шпоре в моей плоти напоминает печать. Нужно слышать, как я задыхаюсь от мучений.

Порой мой бред всплывает в самом серьезном или банальном разговоре. Та-ра-рам! Гоп-гоп! Я слышу его хлесткий голос, и мой собеседник спрашивает, что случилось.

- О, пустяки. Это Ришар на меня напал.
- Ришар? Кто это?
- Мой демон.

Блаженная юность! Ей нечего скрывать, и обнажиться для нее – естественная гордость. Как только мы остаемся одни, Ришар сбрасывает вокруг себя одежду, словно змея кожу. Едва оставшись наедине со мной, он перестает быть самим собой и становится божеством. Начинается экстаз. Он погружает, ввергает меня туда. Формы у него такие округлые, а кожа шероховатая, как у молодой лани. И вот я уже, разодранный, стою перед ним на коленях.

Сегодня вечером он излил свою сперму: ему захотелось увидеть себя во мне, зрительно измерить наше сочленение, его силу и протяженность, а также мою глубину. Потом, когда он отодвинулся и склонился над моим крестцом, я заметил, обернувшись в профиль, его львиную грудь, тяжелые сосцы, разбухшие от близящегося оргазма, в котором они тоже участвовали, и из соска брызнула капля молока. Посреди путаницы наших форм ничто не могло меня так взволновать, как эти единовременные эрозии, представление о коих способны дать лишь катаклизмы, изменяющие течение жидкостей в природе. Это назревает втайне, и вот вы уже потрясены до основания – вы трансмутировали! Разумеется, тут нельзя жульничать и к наслаждению следует относиться не легкомысленно, а словно к постоянному и постоянно возобновляемому посвящению в святейшие таинства.

Мы лишили Естество естественности, желая упразднить множественность под тем предлогом, что мир един и подчиняется некому единому руководству. Древние греки всегда считали, что *Божественные силы*, которым они поклонялись, подчинены Необходимости, и победивший монотеизм не виноват в том, что эти грозные и восхитительные *Силы* перестали обитать на Земле, в Воздухе и Волнах, присутствуя также у нас в крови,

выкачивающей их. Да здравствует Бог, и да здравствуют божества! Их переход можно понять лишь на примере тайфунов, сейсмических толчков, вулканических извержений и гейзеров, имеющих свои подобию в наших членах и страстях: мифологические легенды об этих частных метаморфозах – лишь своеобразное возвышенное предвосхищение.

Я долго остаюсь потрясенным и экзальтированным. Поле распаханно, и самое глубинное мое нутро вдруг выставлено на воздух, под открытое небо, на солнце: нервы обнажены, и я чувствую готовность к самому пышному расцвету. Меня уже торопят, отягощают плоды, которые я принесу. Я угадываю их округлость, объем, сочность, вкус. Отец их – Ришар. Достаточно опустить взгляд на его голое плечо или жилку, пульсирующую в паху, и я присутствую при сотворении и конце Света, который обновляется, ободряется во мне благодаря его объяснениям каждый четверг.

Неделя делится на две половины: с четверга по воскресенье я живу воспоминаниями, в сильном волнении. А с воскресенья по четверг надежда приводит меня к руслу реки Любовь, где я молодею.

Если в самой гуще сумятицы мы с невозмутимым видом допускаем бестактность, то интимность, позволяющая подобные вольности, еще больше возбуждает. Ведь красоту лошадиной рыси или галопа никогда не портило пуканье.

Наслаждение можно выдержать лишь в высшей точке. Тогда уже ничего не шокирует. Все защищено эмоциями. Любой жест, даже постыдный, имеет свое объяснение и оправдание в другом месте. По моему мнению, оправдания не нужны, все жесты – самодостаточны. Я не ведаю непристойности в собственном или общепринятом смысле: вернее, это совсем не то, что понимает под ней толпа. Вдобавок, на излете любой позы, которую оно вдохновляет, и каждого слова, вырывающегося у нас, сладострастие намекает на столько превосходящих вещей и на такие всецело преобразующие фабулы, что ничто не унижает, не оупляет и не опошляет меня. Тогда я чувствую себя ближе всего к богам. На мой взгляд, все происходит в эмпиреях.

Когда он говорил, например, пошуровав в моих внутренностях и повертев меня на своей железной оси, точно пытаемого на колесе; когда он говорил, например, встав на ноги, но не отпуская меня и покрутив слева направо и столько же раз справа налево, так что мое тело приставало к его боку, а конечности растопыривались, точно крылья воздушной мельницы; когда он говорил, например, показав всеми возможными способами, как крепко мы спаяны, как крепко я прибит к нему гвоздем и как крепко он прибит ко мне прочной заковкой; когда он говорил, например, почти с ненавистью, с полным ртом слюны на уровне моих глаз:

– Ну, как я тебя отдрючил?..

Что с того? Ведь речь шла не только о том, что происходило или якобы происходило между нами, но и о том, что происходит между хищниками в лесу или между бесами и проклятыми в Аду, а также между светилами на небосводе.

Сильная боль в паху – он смертельно меня ранил? Тем лучше. Разбитый, я улыбаюсь ему. Еще раз натяни свою тетиву и прикончи меня.

И лишь одна гарантия нашей встречи – верность друг другу на четверговом свидании.

Я gripую, но влюблен, то есть одновременно болен и здоров. Как можно упасть, если тебя все выпрямляет? Только на этих горящих углях невозможно спать. Если даже на моей пояснице застынут все снега, они растопятся в тот же миг. Ничто так не воодушевляет, как эти чередующиеся смерть и воскресение – почти без промежутков.

В среду я так боюсь заболеть, что именно от этого и заболеваю. Я настолько боюсь не прийти туда, где он будет завтра меня ждать, либо прийти с испорченным лицом или телом, что меня огорчают все мои жесты, ибо они кажутся бесполезной тратой, а все мои слова – опрометчивым расходом драгоценной энергии, сбереженной для него. И я не решаюсь крикнуть, встряхнув головой:

– Не трать силы зря!

Я оставляю себя под паром.

В экономику его удовольствия вводится новый неожиданный элемент, который вдруг меняет весь строй ощущений, нарушает все телесные привычки.

То, чего достаточно для удовлетворения, уже становится малоб: целая часть «я» временно упраздняется. Что-то другое, к чему еще не привык, одерживает верх, захватывает врасплох и выводит организм из равновесия. Оно почти приостанавливает, сламывает волю.

Отсюда проистекает утомление, усталость, подводящая механизм к какому-то ожесточению или, так сказать, мертвой точке, что выражается либо в сне, граничащем с каталепсией, либо в неодолимой бессоннице – ожесточенном, непрерывном бодрствовании.

Почти уже старик, я познаю любовь мальчика, которая делает меня моложе на двадцать лет, и у меня такое ощущение, будто один час, проведенный с ним, равноценен году жизни, хотя боги знают, что в подобных случаях я не торгуюсь.

Подумать только, я дожидался шестого десятка, чтобы пережить этот фантастический опыт, – как если бы на пороге могилы изменил арифметический знак всех своих интересов.

Чудом является размеренная, безупречная, восхитительная жизнь, добросовестное и тактичное исполнение всех моих обязанностей посреди этого переполоха!

Если бы я вдруг осознал, что со мной происходит, что бы тогда произошло?

О, эта безусловная симпатия, что взошла в разгар зимы между Ришаром и мной, будто исключительное солнце!

Однажды, в первый день весны, он не пришел. Мы больше никогда не виделись.

ФИЛИПП

Счастье хрупко. При его приближении сердце бьется чаще. В окружении опасностей мы срываем розу с еще большим волнением. Я раздвигаю шипы, не забывая магическую формулу для заклания судьбы. Дверь открывается, и вот уже он кричит, словно был здесь всегда:

- Я принес тебе сюрприз.
Никого – или этот банщик.
Четверть четвертого.
Он не придет.
Половина четвертого.

Стучат. Незнакомец, которому поручено утешить меня, представляется:

- Меня зовут Филипп.

Он так красив, что вполне заслуживает имени Александры. Его гримаса напоминает лица всадников с Акрополя; на подбородке – глубокая трещина, словно второй рот.

Дело в шляпе...

Жан Беж подумал: «Эти двое слишком часто встречаются – того и гляди, начнут жить вместе, а я потеряю лучшего клиента». И он отвалил Ришара, заменив его этим Филиппом, который утверждает, будто ему поручено оказать мне услуги другого, задержанного обстоятельствами.

Но чары были разрушены. Красота Вестника, требующего от меня всего сразу, довершила остальное.

Алкмена², погруженная в неопишемую растерянность, больше не помнит, кто ее супруг, и хоть их нельзя полностью перепутать, в мыслях я беспрестанно принимаю одного за другого, со смущающим меня бесстыдством.

Единственный уступил место второму – тоже обладателю чудодейственного копья. Филипп оказался способным на тот же, что и Ришар; возможно, он даже лучше и красивее.

С венцом стыда на челе, я не упоминаю о своих вывернутых внутренностях – взбудораженных, вздутых, кипящих, переполненных, раздраженных и беспокойных, словно я произвел на свет Дракона или Геракла.

Кто же их отец?

Разумеется, Зевс.

Вы же видите, я смеюсь.

2 Микенская царица, супруга тирийского царя Амфитриона. Алкмена отличалась необыкновенной красотой, и когда Амфитрион находился в военном походе, Зевс принял облик этого героя и сблизился с ней. – *Прим. пер.*

Конечно, теперь лицо Филиппа преследует меня гораздо чаще, чем лицо Ришара. Спросонок я тотчас замечаю, как оно склоняется надо мной, похожее на одну из тех каменных фигур, о которых я говорил, но живое и замученное его шпорой. Мое желание уже уносит меня галопом в объятиях его больших белых рук, поддерживающих меня, точно сбрую. Да о чем я говорю? Лучше нас никто не умеет играть в Кентавра.

Трагедия сменяется комедией, и с этого момента я больше не могу воспринимать нас всерьез, ниже определенного уровня серьезности, – и плевать на последствия! Как только страсть уступит место любопытству, мне будет гораздо проще отказаться от того и другого, нежели от чего-то одного.

Жить – значит беспрестанно нарываться на худшие неприятности, при этом ловко избегая их. Едва отвлекся, оступился – и ты погиб. Если ты внимателен, то обойдешь ловушку, а если бдителен, продвинешься далеко.

Порой я задаюсь вопросом: быть может, этот Филипп – Всадник Апокалипсиса с гравюры Дюрера? Ведь на нем такая же бесстрастная маска, а в доспехах он был бы еще больше похож, чем голый.

В тот миг, когда он заявил, что отдастся мне, я посмотрел на него: о, эта недовольная гримаса! Мертвенная бледность растеклась вокруг трепещущих ноздрей, а губы искривились, позеленев, точно завитки расплавленной бронзовой вазы. Его глаза затуманились от слез, а крик выражал лишь боль.

Никогда еще лицо не заполняло мой взгляд настолько – буквально до краев! Там совершенно не осталось места, и что бы я ни делал, вижу только его. Больше ничего не стирается.

Некий молодой Антонен Арто с более крепким фундаментом, ржавым железным скелетом, голубыми стальными мышцами, что прорисовываются под тонкой кожей. Профиль мужественнее, чем фас – благодаря выдающемуся вперед и загнутому вверх подбородку, перечеркнутому ямочкой.

Не считает ли он меня склонным к зрительным галлюцинациям? Я убежден, что в планы этого Филиппа входит их разжига-

ние и что в его силуэте все этому способствует. Все принимает его форму и облик, словно он порождает во мне самого себя до бесконечности. Чего бы я ни касался и что бы ни видел, все несет печать его фигуры.

Иного больше не существует.

Элиза³, словно догадываясь о происходящем, беспрестанно преследует меня в своем гневе. Избавленный от необходимости притворяться, я веду себя так, будто она знает, что я болею только из-за Филиппа, который меня разорвал.

Сегодня я отвел Жана Бежа в сторонку и сказал:

– Вы – достойный преемник Альбера. Вы, случайно, не его племянник?

– Нет, но когда-то давно, еще на улице Сент-Огюстен, он решил съездить в Бретань и доверил мне свое заведение. Когда по его возвращении я вручил ему еще больше денег, чем сам он обычно получал от своих клиентов, он сказал: «Запомни, малыш, мое предложение и обещание. Если я окажусь на пороге смерти, хоть завтра, хоть через двадцать лет, приходи ко мне, и я передам тебе свое дело – ты серьезен и умеешь считать деньги». Так вот, пятнадцать лет спустя кто-то сообщил мне, что Альбер болен. Я пришел, и он сдержал слово, хоть я и не приходился ему никем.

– Жан, – сказал я, – если бы не вы, я не познал бы главных радостей своей жизни.

Он взял меня за руку, и я поцеловал его.

Порой мне кажется, что я умер. Ставни ателье остаются закрытыми. Мои голуби растерянно мечутся на этажах. Вдали Ришар и Филипп спорят о моей любви:

– Говорю же тебе, он любит меня.

– Нет, малыши, я не предпочитаю никого. Да, Филипп, я отдаю тебе вторники, а тебе, Ришар, четверги, так неделя пролетает быстрее – вот и все.

3 Элизабет Тульмон, по прозвищу «Кариатида», – танцовщица, на которой Марсель Жуандо женился в 1929 г. Бывшая любовница Шарля Дюллена, близкая подруга Жана Кокто и Макса Жакоба. Безуспешно пыталась «отучить» мужа от гомосексуальных наклонностей. Умерла в 1971 г. – *Прим. пер.*

В этом-то весь секрет: скорее пищеварительный аппарат срастется с остальным организмом или я покину собственное тело, нежели откажусь от удовольствия.

Филипп обладает талантом вкладывать в любые свои слова завуалированный упрек, хотя мы с ним постоянно изнемогаем от усталости.

Филипп:

– Те, что заслуживают почестей, избегают их, а те, что их получают, недостойны этого, поэтому они в сущности не получают ничего. Они заслуживают лишь тумачков. Удовольствие встречается столь же редко, как и любовь. Оно требует слишком много заботы и отречения. Ах, комедия удовольствия! Лишь его подобие, но его все же необходимо познать!

5 марта 1947

Встал в 4. Сразу сел за рабочий стол. Как только достигаешь границ радости и боли, почти одновременно гибнешь, не в силах там освоиться. Например, вчера после обеда, когда я думал лишь о том, что последует за ним, еще раз пережил обмен ласками, казалось, обоюдно приятными, но затем вновь очутился в Аду, словно Элиза поставила перед собой задачу – наказывать меня за все мои удовольствия.

Конечно, эти ужасные *радости* может позволить себе лишь тот, кто поднялся над всем или пал ниже всего, – на самом деле, он уже ни там, ни здесь, и ничто не способно его унижить.

Памятник из моих костей был так поврежден последними бурями, что порой мне мерещится, будто он дрожит.

13 марта

Неужели под моими окнами плещутся флаги?

Да нет же, это крылья моих сизарей.

В ожидании:

– Счастье не бывает долгим.

Нескончаемый обед, за которым П. Л. сказал, что я навсегда останусь милым человеком, несмотря ни на что.

Жан П.:

– Как будто в сердце стучит черное крыло.

Сразу по окончании обеда я жду его в этой голой, темной и тесной комнате.

Кого? Ришара или Филиппа?

То был Филипп – красивый, в восхитительной тональности. Нежный и сильный, по желанию вдруг становящийся зверем. Зверь – оптимальный вариант для того, чем мы должны заняться.

Этот актер живет так, словно играет в театре, хоть и не знает, чья пьеса, и даже отдаленно не догадывается, что я за персонаж. Время от времени он импровизирует. Я не подсказываю реплики, а *навожу* его на них.

Например, спрашиваю, понимал и говорил ли он на том же языке, на котором общается со мной.

– Нет, – признается он, – это впервые.

Тогда я предлагаю ему окружать друг друга таким любезным вниманием, словно мы – два божества. В миг чисто плотского блаженства его глаза наполняются слезами, ноздри белеют, а губы вновь кривятся и зеленеют. Неужели именно я создаю это внезапное температурное воздействие? Все выверено: у меня в руках его лицо превращается в бронзовую маску.

Глупость Филиппа никогда не бывает тягостной, это глупость конюха. Она добавляет к его неотесанности мягкость, как раз необходимую для того, чтобы никогда не ощущать его грубости: словно расплавленное ореховое масло стекает между нами.

Я не в силах описать ту скромную предупредительность, то заботливое смирение, с какими он обижает меня: примерно так же палачи на полотнах Эль-Греко поклоняются конечностям, которые они должны ранить и истязать, или жокеи на манеже стегают оседланного скакуна, благодаря своей цене и изяществу становящегося в их глазах чуть ли не священным животным.

Он имеет меня только на коленях, и я обхватываю его ногами за шею. Поэтому лицо его остается открытым, а веки опущены вплоть до того момента, когда счастье охватывает нас обоих.

Тогда он широко открывает глаза – большие глаза цвета барвинка, чья нежность в тот миг еще острее, поскольку рот жестоко сминается, втягиваясь внутрь, как еще живая устрица, побеспокоенная в своем логове. Затем мне достаточно сказать ему об этом взгляде и гримасе, для того чтобы он улыбнулся, но так улыбаются только спящие животные, окликнутые посреди сладострастного сна.

17 марта 1947 г., 5 часов утра

Изучая летопись своих побед, я смущаюсь и конфужусь. Уж не знаю – искушеннее я или же оскорбленнее. Сколько сил, столько и слабостей.

Сладострастие затрагивает меня в той же степени, в какой напоминает религиозную трагедию, пробуждающую все силы бездн и Небес.

Только посредством него переживаем мы таинства мифологии, и каждый в полной мере воплощает многочисленные собственные метаморфозы.

Ждать любимого – какая отрада! Как вознаградить его за все страдания? Любовь, жизнь, мое Древо – его цветок и плод одаривает меня нагим. Все унижения, которым я подвергаюсь на этом пути, все опасности – не в счет. Какое счастье – топтать, попирая свою гордость, словно ковер, дабы воссоединиться с тобой в этой конуре, в глубине сырой пещеры, где перепутаются наши корни. Ах, если б ты знал, с какой высоты я спускаюсь в эту постыдную теснину, по которой ты пройдешь, а я последую за тобой, и ты овладеешь мною меж двух стен – каждодневных свидетельниц подобных аутодафе!

О, только бы не потерять сознание, пока не увижу, как ты, Филипп, бледный от страсти, опять приходишь ко мне на свидание.

...

Он изнемог за три четверти часа и ушел, пробормотав, чтобы я больше не приходил.

Когда я опоздал на час, его уже не было. И вот я грущу, брошенный. Какое заблуждение – поверить, что это будет продолжаться до бесконечности! Ришар, Филипп – лишь демидурги, мифы, видения.

КАРЛИК

Восемь дней. Он появляется вновь. Я исцеловал каждый сантиметр его тела, но, как только он дал тягу, почему-то попросил, чтобы мне прислали другого. Если б он только знал! Единственное мое оправдание – упоение чувств, в котором он меня оставляет. Я уже больше не могу удовлетвориться всем. Мне нужно больше. Осторожно! Именно по такому головокружению и таким требованиям я догадываюсь, что, не удовлетворяясь больше ничем, я вернусь к Мудрости. Тиресий колеблется между своими двумя ликами.

Ну и пусть. Я был счастлив один час. Что ж, когда его нет рядом, Земля становится для меня могилой! Если я чувствую за своей головой теплое дыхание живого существа – это праздник! И наверное, то был не Ришар и не Филипп, неважно кто: какой-то мохнатый приземистый зверек с короткими лапами, но при этом милый, гибкий, ласковый, с горящим взором и влажными губами, послушный, сильный и милостивый!

Ничто так безраздельно не излечивает от всего (и это магия), ничто так не сводит все в вас и вне вас к нулю, как неверность.

Неверность – это еще и верность небытия небытию.

Если Чудо мог совершить кто угодно, какую роль играл в этом Ришар и какая роль отводилась Филиппу? Чары пребывали только во мне – в моем воображении, облакавшем ими обоих.

Тогда почему бы не остаться одному? Сам по себе я стою всех вместе взятых, ведь незаменимых нет, ведь все – лишь *Другой*, взаимозаменяемый до бесконечности.

Мне сказали:

- Под всеми обличьями ты любишь *одного и того же*.

Но кто он?

В сладострастии, как и везде, ты пребываешь наедине со своей Мечтой. Филипп, Ришар – лишь воплощения твоего Двойника, с которым ты совокупляешься в поисках идентичности.

Я почти напился, но управляющий проявил большое остроумие. Он показал издалека высокого мальчика, пообещал,

что придет его ко мне, и, углубившись в пальмовый лес, где должна была состояться встреча, я увидел Карлика в широкополой шляпе, с зонтиком под мышкой. Когда он снял шляпу, перчатки и остальное, я не был разочарован. Неужели так действовали эти гигантские зеленые растения – точь-в-точь как в джунглях? Карлик разделся догола: весь заросший волосами. На груди и от коленей до пояса кожи вообще не видно, словно у гориллы или пса. Голос походил на глухое хрюканье, и Карлик тотчас принялся ползать на четвереньках – точнее, на пяти лапах. Я никогда еще не приходил на свидание со зверем, который был настолько человечен, и с человеком, настолько напоминавшим животное. Ягодицы скрывались под черной шерстью, точно под шелковой юбкой, утолщавшейся на складках и в промежности – спереди и сзади, так что яички, крепкие и сросшиеся с телом, становились заметными лишь при определенных движениях, а член раскачивался, будто гусарская сабля.

У. сказал мне:

– Я пришлю к вам Жоржа.

Но когда уже под деревьями я спросил Карлика, как его зовут, он ответил:

– Поль.

«Ошибка», – подумал я, однако Поль выполнил обязанности Ришара и Филиппа ничуть не хуже, чем сделал бы Жорж на его месте. Итак, мне для счастья не нужен никто. В сущности, подошел бы кто угодно. Какое оскорбление для моего сердца, для чувства, которое я считал посвященным лишь одному. Прощай, потребность! Под множеством облиций я любил *Мужчину*.

Теперь я знаю, что такое Сатир – эти меховые штанишки, этот бородатый зад! Когда он бросился на меня, ему пришлось снять естественную набедренную повязку, и, получая удовольствие, он одновременно мечтал о других, видимо, жалея лишь о том, что не способен испытать все сразу, и даже не смотрел на меня, точно имел дело с машиной.

Входя вчера к Жану Бежу, я сказал лакею, который встречает меня каждый четверг, – полагая, что он возмущен:

- Ах, Уильям, какое же я чудовище!
- Вы-то, сударь? Если бы на свете обитали только такие чудовища, как вы, здесь можно было бы жить!

Пасифая. – Теперь я знаю, что такое Бык, Корова, Минос, вся его семья и лабиринт (он не только в ушах, но и во всем теле). Нить Ариадны разматывается, скользит, завязывается узлом и забавляется в наших внутренностях.

Ну и ладно.

Я не знаю, что творится в моем животе: что-то приятно подпольное, опасное и мертвое для меня (тем лучше!), и не знаю, что во мне зарождается – нечто бесконечно чудовищное.

Весь свой жизненный интерес я сосредоточил на удовольствии, которое получал, и не извинюсь за это ни перед кем.

ПЬЕР

Вчера Пьер был очень любезен под этими мощными мышцами, которые, по его словам, ноют, стиснутые своей оболочкой. Зная о моей страстной любви к Филиппу и Ришару, он не хулит их. Напротив, хвалит их образованность и воспитанность, коими сам не обладает.

– Все очень просто: у них есть то, чего не хватает мне. Только ты можешь сказать, есть ли у меня то, чего не хватает им, – вздыхает он со смирением дворняги, которая тушется перед породистыми псами, но я вознаградил его за благородство, превознося его более осязаемые, реальные достоинства.

Какой прелестный мир обретаю я в этом сокровенном уголке, который так несправедливо считается гнусным!

Я знаю, что быть здесь *любимым* (можно ли в данном случае с гордостью сказать *ценимым*?) – справедливее и вместе с тем *почетнее*. О, уважение сброда, почтение, внушаемое сутенерам! Вот где необычный, редкостный, озадачивающий товар, которым я не стану брезговать. Наши-то добродетели и приводят нас в бордель: без сомнения, здесь я не смешаюсь с толпой любителей. Здесь я – *Меченый*⁴, *Синяя сороч-*

4 Прозвище Генриха Гиза (1550–1588) – одного из организаторов Варфоломеевской ночи (1572) и главы Католической лиги. – *Прим. пер.*

ка, а кто-то другой – *Мужчина в цепях*, третий – *шакал*, четвертый – *Жеманница*. Я слышу идеальным клиентом, который не скупится и не плутует, знает цену услужливости, добросовестной ласке. Поэтому со мной не скупятся и не плутуют, надеясь меня удержать. Все по-честному.

Раздеваясь, по обыкновению, медленно, я наблюдаю за ним украдкой. В два счета сняв с себя брюки, пуловер и сандалии, Пьер, уже голый, смотрит на меня, растянувшись на кровати, подложив руки под голову и выставив свои прелести с тайным намерением возбудить меня: пучки волос под мышками и в паху составляют треугольник, оттеняющий округлую полноту пышных форм, словно завязанных узлом на бицепсах, напряженных грудных мышц и грушевидных икр. Между широко раздвинутыми ляжками виден восхитительный половой орган, что покоится среди достойных его атрибутов, словно огромный черный такелаж на боку судна, отправляющегося в какое-то фантастическое плавание.

Как только я готовлюсь, Пьер подходит ко мне, притягивает к себе, и я начинаю дрожать, стонать от страха, умолять, чтобы он пощадил меня, чтобы не был слишком груб и суров: я похож на птицу, которой не спастись от ястреба или жреческого ножа. Затем он называет меня ласковыми именами – заслонявленными односложными словами, и я улавливаю не их смысл (он говорит на своем жаргоне), а, скорее, умышленную доброжелательность или иронию, если он не приправляет их грубостями – наоборот, понятными – или какой-нибудь угрозой, от которой у меня леденеет кровь. Одновременно его ладонь касается меня в нужном месте, его ласка возбуждает и успокаивает, он постепенно обнимает меня за талию массивной рукой, что давит на бедро, внезапно опоясывает и мнет. Его лицо исчезает, я чувствую, как оно спускается вдоль поясницы – в поисках тех глубин, куда он является, как к себе домой. От прикосновений его пальцев, а затем и языка я расцветаю. Зарождается доверие. Как только я ощущаю, что во мне водворилось его тепло, лицо его поднимается из бездн. Он словно задевает каждый мой позвонок один за другим, и когда кусает мой затылок, я чувствую его тело, лежащее рядом, его

чувствительные соски над моими плечами, а квадратный конец фаллоса, упираясь в мои ягодицы, будто нарочно для того, чтобы я испытал его жесткость, еще немного колеблется у порога и наконец распарывает меня. Уже в седле, после долгой прогулки рысцей, рывком поясницы он переворачивает меня, и, обвив его ногами за шею, наподобие ожерелья, я могу любоваться между его плечами, закрывающими от меня всю комнату, угрюмым Ликом Титана, что качается, переходя от жесточайших оскорблений к ласкам, от криков боли к блаженству и, наконец, тает от счастья. Его рот прилипает к моему, и глаза наши закрываются в тот миг, когда меня затопляет его обжигающий сок, а мой разливается между нашими сердцами – взрыв, приветствуемый бесконечными хрипами, как это бывает у хищных зверей, совокупляющихся в чащобах.

Эти странные, необъяснимые жесты, что являются трофеем удовольствия, – знаем ли мы, какие загадочные диковины высвобождают они в нас? Они принадлежат механике, ключ к которой хранят лишь мифологии, и горе тому, кто порочит их, вместо того чтобы обеспечить им значительность и уважение, без которых они – ничто.

Я могу лишь сказать, что стремлюсь снова утратить свою форму, лицо и расплавиться – дабы еще раз увидеть, когда все мои жидкости закипят и смешаются, как над крахом моей личности, будто из бушующего моря, появится на своей триумфальной колеснице сей Тритон с упрямым лбом и пеной на губах, и его борона раздерет меня!

Если бы это было необходимо, если б я обладал требуемой верой в первый же день, не знаю, пошел бы я туда, чтобы доказать себе, что это возможно и с ним. В этих отношениях есть что-то неправдоподобное, дерзкое, опасное, что меня привлекает и больше относится к ритуальному убийству, нежели к чистому сладострастию. Действия неистовы, как на вакханалиях, где грация запрещена в угоду экстравагантности, исступлению.

Замбк моего Небосвода, способен ли ты передвинуться, будто наяву, этой ночью вдоль моих снов, дабы я вдохнул твой запах, ощутил, как на лицо мне градом обрушиваются тяжелые

твои плоды, на глаза – их влажная свежесть, на язык – вкус их шероховатой, сдвоенной каштановой оболочки, висящей на суровой ветке, открывающей врата моей Преисподней?

Когда мы оказываемся друг напротив друга, как приятно сразу приниматься за дело – без тени колебания, тотчас цепenea от желания! Точно так же боа поглощает свою добычу, несмотря на ее величину, а росянка – свою, ведь мы привыкли подчиняться друг другу, по очереди.

Однажды ему захотелось зажать между нашими ладонями оба члена, соединенных пучком, и мы уснули вместе: моя грудь была усеяна нашей спермой, точно фосфоресцирующими кувшинками.

В тот вечер он сказал:

– Даже не верится – с тобой я развлекаюсь, а с другими работаю.

Он несдержан на язык, который бывает то низменным, то благородным, во взгляде какая-то угроза и некая наглость в посадке головы: он подставляет лоб, всегда готовый ринуться на препятствие. Рожденный под знаком Тельца, он отличается его повадками. Наверное, отвислые губы, немного обрюзглые и всегда мокрые от слюны, смущают любовников и любовниц своей звериностью, но я, догадываясь о том грозном и страшном, что может скрываться в этом теле и лице, лишь сильнее наслаждаюсь деланной мягкостью его улыбки, остающейся отчасти жестокой даже в самые приятные моменты, и неумелой лаской его огромной ладони душителя, которую достаточно не положить, а грузно опустить, для того чтобы задавить насмерть, или сложить на горле – дабы навсегда перекрыть дыхание. Нежность для него – лишь уступка, которой он стыдится и поэтому вскоре начинает вести себя высокомерно, но, разумеется, от него не ускользает ни один мой знак внимания, и он отвечает на каждый невыразимой изобретательностью своей неисчерпаемой чувственности.

Самый приятный момент – когда он уже голый, но еще на ногах ждет меня в условленный час четверга.

Все готово для жертвоприношения, кроме самой жертвы, что застенчиво не решается снять повязку.

С мечом в руке Жрец выходит вперед, издали прикидывая силу удара, который нанесет по моей хрупкости, уже дрожащей от страха.

Спустя долгое время я увижу в наступающей темноте комнаты, как оживает этот мрамор молочной белизны. Почти нерезкую искренность удостоверяет лишь взгляд, спрятанный под припухлостями. Ни одного властного жеста, ни единого приветливого слова и даже упрека. Такая экономия средств, что можно подумать, будто занимаешься этим со статуей, с немой. Никакой спешки или медлительности, и какая уверенность ладоней и поясицы – в миг перехода к действиям, то есть сразу! Лишь искусные приемы, лишь нарочитая нерешительность, призванная взбудоражить, возбудить желание и заставить вульву напрячься, распахнувшись навстречу ключу, затверделому и жгучему наслаждению, словно железо – навстречу огню.

Меня забавляет та дерзость, с какой я назначаю эту тайную встречу посреди очень напряженного дня, между самыми серьезными занятиями и визитами к почтенным особам, которые вовсе не догадываются, к кому я от них ухожу или от кого к ним являюсь.

Я сказал об этом Мари, и она тотчас побледнела.

Я никогда не испытывал такого состояния, в каком пребываю порой около двух часов после близости с Пьером. Он кажется мне завернутым от коленей до пояса в чехол из крапивы, жгущий до слез, похожий на человека, страдающего невритом или опоясывающим лишаем, но этот поверхностный жар – ничто по сравнению с тем огнем, что истребляет мои внутренности, куда он словно кладет горящие угли: можно подумать, он – Дьявол. Впрочем, это не оказывает на мое здоровье, которое никогда не было крепким, вредного воздействия и обладает теми же симптомами, какими порой осложняются венерические болезни. Речь идет совсем о другом, и я не могу сказать, хотя меня это беспокоит, довершает ли подобная мука мое блаженство. Кто же сие существо, способное поставить на вас столь жгучее клеймо?

Наше ли воображение приспособливает тело к своим фантазиям или же само тело предрасполагает воображение к своим, и они действуют наподобие двух заговорщиков?

Помнится, в детстве тот, кто приобщил меня к любовным занятиям, указал мне путь. Возможно, мне было лет двенадцать. Определенные неудобства удержали меня на краю. На шестнадцатом году я еще не знал того, чему впоследствии кропотливо обучил меня *Рот из слоновой кости*, но его грубость отбила у меня охоту до самого порога старости.

Именно ты, Ришар, расстелил подстилку из этих последовательных проб и ошибок и доставил мне удовольствие, к которому стремилось мое тайное естество, но после Филиппа лишь ты, Пьер, сумел сделать это удовольствие исчерпывающим.

Еще и сегодня я вырываюсь из его объятий, словно он посыпал мои конечности купоросом. Этот пожар надолго обрекает меня на некую сверхчувствительность: высшая степень сладострастия – о, милая боль! Я стою с содранной кожей и оголенными каналами, словно по ним течет кипящая лава, а в глубине меня – этот снег.

Вдруг вы начинаете бояться, что перешли границы Естества, изнасиловали свою природу. Берег смерти кажется вам близким, и вас охватывает какой-то священный ужас, впрочем, без сожаления.

Нет, все опять приходит в порядок.

Отсюда один шаг до мысли о том, что Естество можно принудить к подчинению, приспособить к своим требованиям, к своей личной экстравагантности, и это воспринимается как победа над ним, как согласие (по крайней мере, с его стороны) не погибнуть от этого.

Сегодня Жан-Пьер Л. сказал мне:

– Существуют праведники и нечестивцы. Вы – ни тот ни другой, и оба в одном лице. Я не знаю никого, кто напомнил бы вас в этом отношении. Возможно, вы – единственный в своем роде: я хочу сказать, что у вас праведная манера замышлять и творить нечестивости.

Я попросил его объясниться.

– Что ж, извольте. В чем причина – в возвышенности взгляда или же чувства? По-моему, это вызвано, скорее, наличием огня и вместе с тем света, который оживляет и преобразует их. Вы способны, без ущерба для себя, приручать страсти, познавать на опыте удовольствия, которые не мешают вам продвигаться вперед и даже расти, тогда как они тормозят и ослабляют всех прочих.

Между тем я обнаружил в себе нечто чуждое сексу, признанное моей чертой в день моего рождения, и порой на людях я чувствую ее неистовое присутствие, похожее на физиологический позор, но при этом, конечно, горжусь, что после подобного всплеска всегда сохраняю невозмутимый вид.

Пожалуй, самая большая редкость – умение скрывать явные стигматы собственных катастроф.

О, прекрасная медаль, на лицевой стороне которой выгравированы два божественных профиля, а на оборотной сплетаются конечности двух безликих зверей!

Чем меньше способов употребления, тем больше настаивают на их достоинствах и удовольствиях. Неотразимый Дон Жуан, женоподобный извращенец – какая гадость!

Когда ничего не ладится в душе и вокруг, в четверг у меня всегда есть он – вне всякой досягаемости.

Вчера он сказал мне:

– Понимаешь, чудо в том, что теперь я создан для тебя, а ты – для меня. Мы словно правая и левая ладони, которые не могут обойтись друг без друга.

Исходя из этих-то глубин, сладострастие способно заменить религию.

Поскольку сегодня мы не испытали оргазм одновременно, он грустит и укоряет себя за то, что не дождался меня, – упрекает, будто в несостоявшемся акте.

Я говорю ему:

– Пустяки! Мы бывали друг с другом так часто, как никто другой. Разве не ты превратил меня в женщину?

Тогда он назвал меня своим Единорогом, и мы долго пролежали вдвоем: его огромное твердое копьё вонзилось в меня полностью, а мои ноги обхватывали поясицу этого молодого Тельца. Но еще тверже был его взгляд, тоже вонзенный мне в глаза, пока мокрая от пены мордашка еще покачивалась над моими губами, о которые мимоходом, словно в шутку, вытиралась время от времени. Только Зверь бывает таким торжественным и ручным, ведь он видит свою жизнь во сне, пребывая целиком в настоящем и полностью отвлекаясь от того, что делает, без воспоминаний о прошлом и мыслей о будущем, неспособный на сожаления.

Порой я задерживаюсь между его лицом и бархатной маской, загораживающей живот, словно он выходит навстречу тем чудищам, которые живут ниже пояса.

О, кустарниковый шиповник, ретивый, нескромный и порой цветущий, словно в петлице, в его приоткрытой ширинке! Он голый? Из длинного черного руна боязливо появляется розовый язык моего пуделя.

Я едва смею надеяться, что увижу его сегодня, но желаю этого. Требуется стечение слишком многих обстоятельств, и я удовлетворялся столько раз, что очень долго подготавливаюсь к возможной помехе – чтобы не разочароваться. Разве он не может заболеть? Несчастные случаи происходят так быстро. А сколько мне нужно преодолеть препятствий, чтобы увидеть его наверху лестницы, с горящим взором, открытым ртом, молчащего, с рукой, засунутой в карман брюк для обуздания того, что мешает ему спуститься ко мне?

С Пьером я познаю счастье любить человека, который мало заботится о моей и своей верности. Удовольствие – наш Закон, и каждый получает его при удобном случае, не обижаясь на другого, откуда бы оно ни исходило. Чудо в том, что ни с кем другим мы не испытываем большего, чем вместе, и верность подразумевается сама собой, хотя и утрачивает свое название. Я хочу сказать, что, спонтанная, беспричинная, свободная и естественная, она теряет связь с тиранией и добродетелью, утрачивает то ненавистное и даже героическое, что может в ней быть.

Высшей деликатностью между любовниками – Пьером и мной – было разрешение по очереди, не рассказывая друг другу, спать с Жаком, и нас обоих весьма прельщало, когда наши губы делали крюк, дабы еще раз неожиданно встретиться на алых устах этого юнца, будто вокруг одного и того же кубка.

На пороге некоего счастья мы не решаемся его сорвать и остановиться. Этого ли мы хотели и хотим? Иногда в присутствии формы более реальной и конкретной, нежели предполагалось, гораздо более волнующей и мучительной, чем мы ожидали, желание тотчас ослабевает. Мечта остается, а мифология воображения повреждается, когда тело, угадываемое под одеждой, обнажается перед вами, но, тоже постепенно обнажаясь, вы приступаете к нему с соразмерным волнением – вернее, потрясением от того, что вы представляли его себе иным, перевернутым с ног на голову. На самом деле, вы вовсе не стали жертвой галлюцинации. Это – некто. Именно объект чувствует обязанность ударить вас первым. Он должен исходить не от вас, а из другого места, и чем больше вас поражает то необычное, что он привносит в ваше ожидание, тем явнее, очевиднее его присутствие.

Ну так иди, прикоснись к нему, чтобы он прикоснулся к тебе. Он уже проникает в тебя, входит посредством своего священнейшего члена и оставляет в тебе даже не свой отпечаток, но саму сущность.

Какого черта я так долго ждал, чтобы Ришар сделал из меня женщину, Филипп продолжил его подрывную работу, а Пьер нанес последний штрих?

Теперь во мне зародился морской еж, принадлежащий как к морской флоре, так и к земной фауне. Растительное и вместе с тем животное кольцо размыкается и вновь смыкается, словно дыша вокруг алмазного пальца Пьера.

– Прикоснись ко мне. Сильнее. Мягче. Там. Нет, здесь. Иди. Давай. Пронзи. Дальше, вперед, вторгнись, изомни, перевяжи, порви, смажь – и вот в ночи распускается моя пурпурная роза под жалом твоего когтистого шмеля с мохнатым брюшком и золотистыми крыльями.

Тот, кто создает орган, вызывает больше беспокойства, нежели доставляет удовольствия. В сей миг сознание подавляют изумление и тревога. Мы вдруг становимся свидетелями внутреннего опрокидывания естественных перспектив, что почти равносильно частному катаклизму. Непостижимая новизна положения приостанавливает чувство и даже ощущение – то есть остается лишь боль, если слова «боль» и «сладо-страстие» в этих пределах еще способны хоть что-либо означать (с *Ришаром*).

Лишь гораздо позже, когда проход уже сделан, изумление притупляется, смягчается, можно сосредоточенно насладиться удовольствием, и ничего не утрачивается (с *Пьером*).

Возможно, самый приятный момент – время ожидания на коленях, когда не видишь и не знаешь, что творится за спиной. Ничто так не волнует, как приближение пениса перед его легким прикосновением. Сладкая остановка члена на краю губ, которые втягиваются внутрь и расслабляются, словно встречая то, что раздвинет их и порвет. Вас уже обхватывают две руки. Не убежать. Проникновение сначала болезненно, но беспокойство железа позволяет ему занять свое место в ножнах, которые, разворачивая петли одну за другой, скорее, принимают форму того, что их наполняет, нежели навязывает свою, вплоть до момента, когда вульва, распахнувшись от удовольствия, сама разглаживается и смазывается. Тогда первоначальное мучительное скольжение превращается в сладострастнейшую и словно внутреннюю ласку.

Лишь Пьеру удавалось ритмично раскачиваться в набирающем силу экстазе: когда его живот касался моей поясницы и наши руна спутывались, он занимал во мне свое место, где оставался долго неподвижным и таким напряженным, что головка раздувалась внутри и, благодаря лишь собственной пульсации и вибрации, достигала оргазма. Тогда, оповещенный его криком, я вдруг ощущал, как меня затапливает его горячая жидкость, и, увлажняясь, он тотчас спешил воспользоваться этим, дабы продвинуться еще дальше, потихоньку напирая, так что теперь кричал уже я, и одновременно,

под воздействием наслаждения, все во мне сжималось, словно кулиса над его фаллосом, который я удерживал в плену, и, обезумев от взаимной благодарности, мы падали, обнявшись, на ложе и засыпали.

Невероятно, что после некоторых неудач нам хватает мужества продолжать. Ведь ожидания так далеки от реальности! Сколько времени требуется, чтобы мало-помалу восстановить в своем величии и вновь сделать достойным наслаждения то, что глупость, душевная черствость, бесплодность воображения и бесхарактерность большинства мужчин сделали омерзительным.

Сегодня я констатирую, что развил в себе чуть больше жизни, чем предусмотрено, позволив привить к своему телу новый орган.

По вине моих первых партнеров, либо слишком робких, либо слишком грубых, медленная работа на подступах продолжалась более пятидесяти лет. Сколько напрасных попыток! Множество поражений. Не было никакой преднамеренности, но я вынужден признать, что отныне я принял в себя, безо всякого ущерба для своего физического и морального устройства, второй пол – причем до такой степени, что могу называть себя одновременно мужчиной и женщиной. Нужно лишь сделать так, чтобы один пол не притеснял другой. Благодаря деликатным и неоднократным усилиям вначале Ришара, затем Филиппа и, наконец, Пьера, сформировался *морской еж*, который дышит, расцветает, ищет сосок. Необходимо только упорядочить, интегрировать это влечение, выделив ему долю в том зверинце, который я из себя представляю.

Иногда морской еж сердится, съезживаясь наискось, словно я рожаю обычного ежа или терновый венец.

Не все ли равно для удовольствия и для нас, какие формы оно принимает и какие сосуды заимствует? Так насладимся же! Отвращение точно так же совместимо с удовольствием, как и красота. Мифология беспрестанно показывает нам богов, заигрывающих с чудовищами. Дабы совокупиться со смертными, Зевс охотнее всего обращается в зверя.

Моя философия, которой я обязан непрерывным счастьем и мужеством, состоит в том, чтобы полюбить что-то одно, да так пылко, что все остальное отодвинется в сторону, все вокруг сведется к нулю.

Вы задаетесь вопросом, почему Х. соглашается на такую тяжелую, неблагодарную работу? Как он справляется? Он терпит у себя дома самую несносную из женщин, приступы раздражения, одну сцену за другой, беспрестанные расходы, которых он не желает, а вне дома сталкивается с трудностями неприятнейшей профессии. Ну и что? Лишь бы он мог время от времени, на исходе недели, удовлетворять свою манию – порок, о котором знает лишь он сам. Его не интересует больше ничего, и нет такого труда, который он не возложил бы на себя, дабы заслужить это удовольствие – объективно ничтожное, пустяшное в глазах других, но для него заменяющее Все.

Я больше не выбираю того, что происходит у меня дома. Ксантиппа незаконно лишает меня даже той тени авторитета, которую я мог бы обрести. К счастью, у меня есть порок – убежище, где я прячу свою свободу и обоз моей мести.

К сожалению, пытаюсь отомстить за одну беду, мы нередко попадаем в другую. Но какого черта я пришел в тот вечер на эту каторгу? Понаблюдать вблизи за удивленным безразличием незнакомца, взирающего, как я повис у него шее, прикованный к его гвоздю?

Не пытайтесь понять эти жесты – грандиозные и бесполезные мифы, что служат лишь продолжениями бреда, которому, наверное, из кокетства предается в нас Естество. Лишь у тех, кто отказывается становиться в цепь, оно импровизирует роскошные обряды и добросовестно подчиняется: мы видим ради видения, любим ради любви, не ожидая ни от другого, ни от себя, ни от удовольствия ничего, помимо *Удовольствия*.

Прилипнув к его бесстрастному боку, я извиваюсь, точно бабочка, пронзенная булавкой и машущая крыльями.

Никаких криков – это было бы вульгарно.

Гримаса, застывающая между смехом и слезами, и ты падаешь под грохот лавины.

Даже с вершины в бездну не обрушиваются с такой обоюдной отчаянной торжественностью – и прости-прощай!

Я возвращаюсь в три пополудни и вижу людей, по-прежнему сидящих у своих дверей. Ах, если б они только знали, откуда я пришел!

В Ателье застаю маленькую польку, навещающую справки по документам, которые я передал ей перед уходом. Моя жена, подметавшая лестницу, еще не добралась до последней ступеньки, а я за это время избородил миры, словно те авиаторы, что, попрощавшись накануне, здороваются с вами на следующий день, облетев, пока вы спали, целое полушарие. Сколько склонов одолел я за это время? И на скольких других оступился? Со сколькими плечами я померился силами? Скольким пыткам подвергся? Сколько пота пролил? Стрела, задевшая меня, еще вибрирует, дымясь в одиночестве, а жгучая рана пока не затянулась, и я двигаюсь вокруг нее, не обращая внимания. Я продолжаю свой разговор с этими дамами, как ни в чем не бывало, – с непринужденностью, которая показалась бы невинной, если бы не была бесстыдной.

Время от времени Ксантиппа подозрительно поглядывает на меня, словно догадываясь о чем-то, а малышка беспокоится: как будто некий запах разврата, пропитавший мои члены, тайком поведал ей о далеких краях, откуда я принес в строгую и спокойную комнату волнующие миражи, конечно, с расплывчатыми очертаниями, но окружающие мои жесты инфернальным светом, тогда как самые безобидные мои слова сопровождаются глухим и тревожным шумом, незаметно, но уверенно меняющим их смысл.

Я – чудовище, и кто знает, чем оно рискует. Я изменил Пьеру с Тео прямо у него под носом.

Не все ли равно?

У подножия башни – все тот же колодец, но, как бы я ни всматривался, там никогда не будет ничего здоровее, чище и роскошнее в моих глазах, чем бедра Пьера.

Не задержи меня З. у телефона еще на секунду, я бы не встретил его в дверях дома.

Раз уж он знает, где я живу, он скоро выяснит и мое имя, и если он сутенер, как я предполагаю, то начнет меня шантажировать, как только я чем-нибудь ему не ужогу.

Тем не менее, я веду себя совершенно естественно, и это, скорее, у него смущенный вид.

– Вот те на! Пьер, ты? Что ты здесь делаешь?

– Я мог бы задать тебе тот же вопрос. Твой сосед, доктор Н., лечит мне зубы.

– Ну пока.

Я повернул обратно, чтобы он не успел заметить, что я проживаю в глубине сада, но все напрасно: по возвращении я снова увидел его черные глазки, проследившие за этим маневром.

Если бы я не любил Риск, жизнь моя была бы отравлена.

Вчера вечером, работая за столом, я поднял глаза – и кого же увидел в кресле для пациентов врача Н.? Пьера!

Нет, никогда в жизни я не забуду подобной очной ставки. Мой четверговый любовник!

Анонимам позволительно все, словно людям в маске, но теперь, неожиданно явившись в мой дом, он вполне мог познакомиться с моей женой, которая шла в саду.

Неправдоподобность ситуации могла бы сделать ее пикантной, если бы мне захотелось посмеяться. На миг я счел себя жертвой иллюзии либо галлюцинации, однако уже был готов к этой встрече после его неожиданного появления два дня назад у нас на крыльце.

Чрезвычайные, драматичные ситуации обладают тем преимуществом, что подводят вас к краю пропасти, где все пресное становится неосуществимым и даже невозможным.

Три дня спустя в банке, когда мне сообщили об остатке на счете, я почувствовал, как чья-то ладонь легла на руку.

Опять он, и мне это не снится.

Я тотчас напустил на себя спокойствие, мы перекинулись парой фраз о его фотографии, которую он мне пообещал.

Жан Т.:

– Экий сорвиголова. Он что, вездесущий – этот Пьер? Вы же видите, друг мой, он – суший Дьявол.

Вечером четверга мы втроем, Жан Т., Ксантиппа и я, стояли перед церковью Сен-Фердинан, на тротуаре справа. Я поднял глаза – и кого же увидел спускавшимся по улице, с развевающимися волосами, в бархатных штанах и белом шерстяном пуловере? Моего Пьера на велосипеде.

Я показал на него локтем и подмигнул своему другу.

Жан:

– Он преследует вас. Вы встречаете его повсюду?

Я расхохотался.

Я понял, что это он.

Видел ли он нас? Узнал ли меня?

Эти стечения обстоятельств, эти совпадения, эти загадочные появления не могут не потрясать и вместе с тем восхищать. Подумать только: еще вчера мы, голые, обнимали друг друга, а на следующий день сталкиваемся в городе, когда я гуляю с женой и Жаном.

– Будьте осторожны, – шепчет он, – а вдруг это Архангел Содома, который принял такой облик, дабы предупредить вас о близящемся конце?

Конеч? Скорее уж, возмездие.

Внутри меня сгущаются такие тяжелые тучи, что я даже трясусь в лихорадке. Если пробую представить себе, кем являюсь в глазах окружающих, в собственных глазах и в глазах Пьера, когда он сжимает меня в объятиях или когда трижды за неделю захватывает меня врасплох – дома, в банке и на улице, я поневоле беспокоюсь.

Когда мы беседовали с Жаном и Ксантиппой, она сделала мне замечание о нравственности, и я расхохотался.

Жан, чуть позже:

– Вы не можете не знать, что означает ваш хохот. Здесь замешан Дьявол – Элиза поражена. Впрочем, она еще никогда не казалась мне столь гуманной: «Вы слышали?» – только и сказала она мне. А когда вы исчезли и пошли спать с голый шеей, не стану скрывать, вы были похожи на Принцатюржника... Как только вы закрыли за собой дверь, Ксантиппа заговорила вновь: «Вы помните этот смех? Мы уже

слышали его в четверг перед церковью Сен-Фердинан – без всякой причины. Он словно повис в воздухе. Такое чувство, будто он был обращен к кому-то невидимому для нас». «Ну да, к тому, кто случайно проезжал мимо на велосипеде», – огрызнулся я. «Вот именно, – продолжила она, – не успел появиться, как тут же исчез». «Вероятно, это был Дьявол».

Эд Мэдден

АНУС ТИРЕСИЯ: СОДОМИЯ, АЛХИМИЯ, МЕТАМОРФОЗ

...Теперь я – не только мужчина. Тиресий! Тиресий!

Марсель Жуандо, «Тиресий»

В западной литературе XX века мифический образ Тиресия нередко служит довольно двусмысленным символом вариативной или девиантной сексуальности. Гилберт Хердт связывает фигуру Тиресия с «народной идеологией гомосексуальности» и утверждает, что изображение андрогинных фигур в культуре важно для «понимания возникновения культурно обусловленного третьего пола и третьих гендерных ролей». Тиресий долго оставался символом мистической пороговой личности, представляющей особое знание, обретенное путем нарушения эпистемологических и онтологических границ. В XX веке границы, пересекаемые или воплощаемые Тиресием, чаще всего являются сексуальными, а пороговое или мистическое знание, неотделимое от мифов о Тиресии, основано на одной из форм сексуального знания. В поэме Овидия, источнике подобных представлений, Тиресий изображается сначала в роли мужчины, затем женщины и, наконец, снова мужчины, но образ Тиресия прошлого столетия берет свое начало не только в классической литературе, но и в сексологии конца XIX века. Сексология представляла себе гомосексуального мужчину как женскую душу или чувственность в ловушке мужского тела – как фигуру, уравнивающую сексуальные и гендерные различия путем констатации культурологических фантазий и страха проникновения в мужское тело.

Поскольку Тиресий в некотором роде знаком с сексуальным проникновением, в сексологических и литературных фантазиях прошлого века он нередко выступает в роли морфологически или психологически женственного мужчи-

ны⁵. В начале 1920-х гг. Т. С. Элиот, хоть и не делая Тиресия в «Бесплодной земле» явным гомосексуалистом, наделяет его женской грудью и преподносит как спорную фантазию, голос поэтической и пророческой силы, выражающий в поэме неоднократные угрозы психологической и сексуальной мужской целостности, – как мужчину, представляющего себя в положении изнасилованной женщины⁶. В 1942 году американский модернист Гленуэй Уэсткотт писал Кэтрин Энн Портер об особом человеческом сочувствии геев – способности, которую он связывал со своим сексуальным опытом «некого мужчины-Тиресия», одновременно субъекта и объекта проникновения.

«Тиресий» Жуандо явно относится к этой культурной традиции, ведь его герой – мужчина, объект сексуального проникновения, одновременно феминизированный и гомосексуальный. Жуандо описывает анальное проникновение как трансформацию – эпистемологическую и онтологическую, а ненормативное сексуальное удовольствие как мистическое. Оба смысла – трансформация и мистическое знание – сочетаются в центральном образе Тиресия, прорицателя и объекта проникновения, а также в изображении однополого секса как алхимии наслаждения. Тиресий Жуандо опирается на сексологическую и фольклорную морфологию сексуальной инверсии (женская душа в мужском теле) и отражает сексологическую одержимость симптоматической морфологией и этиологическими нарративами. Тем не менее, Жуандо делает эту фигуру необычной, пересматривая патологические нарративы причин и следствий, а также приумножая овидиевские мета-

5 Реже Тиресий представляет трансгендерную идентификацию от женщины к мужчине, как например, в «Сосцах Тиресия» Аполлинера, где Тереза отпускает свои груди, словно воздушные шары, отрачивает бороду и нарекает себя Тиресиём, или, в недавнее время, у лесбийско-транссексуальной перформанс-художницы Кейт Борнстайн, названной в интервью «трансгендерным транссексуальным посмодернистским Тиресиём». Транссексуальное использование метафоры Тиресия вполне обосновано, учитывая, что в поэме Овидия его пол меняется дважды.

6 Расширенный анализ этого образа можно найти в моей книге «Поэтика Тиресия», где прослеживаются трансформации Тиресия в произведениях авторов конца XIX-XX вв.

морфозы и сексуальные морфологии. Если в сексологической литературе трансгендерная душа считается онтологической основой сексуальной инверсии, то Жуандо преобразует причину в следствие: женская душа – не источник гомосексуального поведения, а, наоборот, результат пассивного проникновения. И путем последовательных мифологических трансформаций он пускает в ход целый ряд сексуальных морфологий – спектральных, физиологических или нетрадиционно метафорических. В итоге Тиресий становится символом удовольствий от пассивного проникновения и к тому же именем нетрадиционной сексуальной личности, которая является подчеркнуто *немужской*.

Жуандо опубликовал «Тиресия» анонимно в 1954 году тиражом 450 экземпляров. То был последний из трех автобиографических романов под общим названием «Тайные сочинения». В 1977 году он был переиздан, под псевдонимом Теофиль, Жан-Жаком Повером – публикатором спорных эротических текстов, а затем переиздан повторно, уже под фамилией Жуандо, в 1988 году. В книге «Скандал в чернильнице», посвященной гомосексуальности во французской литературе XX века, Кристофер Робинсон называет роман «апологией анального секса», текстом, воспевающим «однополый анальный секс» как «высвобождение женского элемента в мужчине». Робинсон отмечает, что мужская гомосексуальная динамика постоянно расшатывает гетеронормативные понятия власти и ценности, в особенности – гендерные структуры зрения, обладания и действия (взгляд и его объект, обладатель и предмет обладания, активность и пассивность). Добавлю от себя, что метафоры трансформации Тиресия, пронизывающие весь текст, чреватые дальнейшей мифологической и морфологической нестабильностью.

Первый любовник, Ришар, приобщает рассказчика к удовольствиям пассивного анального секса – критическая трансформация, требующая его переименования в Тиресия. Несмотря на то, что Робинсон придает особое значение дестабилизации гетеронормативных структур, Жуандо описывает анальный половой акт на откровенно гендерном языке: при пассивном проникновении мужчина феминизируется,

принимая женскую роль и испытывая женское сексуальное наслаждение. Повествователь не только переименовывает себя в Тиресия, но и признается, что в 23 года у него уже был анальный секс с любовником, всегда игравшим пассивную, женскую роль. Попытка этого мужчины поменяться ролями явилась актом насилия, который не доставил рассказчику удовольствия, а, скорее, внушил отвращение – эта сцена ярко отображает сексуальное доминирование, воспроизводя гетеронормативные темы обладания и власти. В отличие от того акта, изображение анального секса в романе, как полагает Робинсон, подчеркивает «обоюдность желания и единство в наслаждении». В первой сцене содомии с Ришаром обоюдность и взаимность акта выражается в совместных криках и синхронном оргазме.

Впрочем, Ришар и сам – пограничная фигура и, возможно, отголосок другого мифа о Тиресии, когда тот случайно увидел купающуюся Афину. Известны два варианта: Гера ослепляет Тиресия за то, что он утверждает, будто женщины получают от секса больше удовольствия, чем мужчины; или же Афина ослепляет его за то, что он увидел ее обнаженной, – в традиционных мифах о Тиресии угроза женственности всегда представлена ослепляющими или кастрирующими богинями. В более поздних версиях эта угроза принимает форму проникновения: угроза целостности (гетеросексуального) мужского субъекта или тела в результате эффеминации или проникновения, когда мужское тело становится женским при анальном половом акте. Это проясняет другая метафора – прошлый опыт Тиресия в бытность его женщиной отобразился в его теле и душе как воспоминание, фантом и, что еще важнее, форма наслаждения (ведь на суде олимпийцев он заявил, что женщины получают больше сексуального удовольствия, чем мужчины, и Гера ослепила его за это).

Провозглашая женщину средоточием наслаждения (а мужчину – символом знания и власти), миф о Тиресии четко демонстрирует, каким способом женщина способна функционировать в бинарных мужских космологиях: нарекая женщину центром удовольствия, Зевс и Тиресий признают власть знания над наслаждением. Как указывает Морис Олендер, по-

сколько женщина именуется в мифе «центром наслаждения», отсюда вытекает, что «она растворяется в мужской космографии, где становится фигурой, *внутри, ради и против* которой выстраивается мужское». Или, как лаконично выразилась Гаятри Спивак: «Мужской дискурс выражается в женской метафоре». Социально-культурный конструкт «женственное» не является женским вообще, по существу или хотя бы биологически. История Тиресия – благодаря аллегоризации наслаждения и знания, наслаждения и власти с гендерной точки зрения – учит нас, что тело Тиресия, для чего бы оно ни использовалось, способно привести к осуществлению, разворачиванию женственности. Перформативное тело Тиресия производит то, чем оно притворяется: категорию женственного.

В таком случае, женская душа – причина или следствие? Что первично – мужское тело или женская душа? Способна ли содомия феминизировать душу? По словам историка медицины Элис Дрегер, эти опасения высказывались в ранних работах по гермафродитизму и половым извращениям. Один врач сетовал в 1894 году на возникновение «случайных гермафродитов»: эти молодые люди и так обладали женственной внешностью, но после «знакомства с педерастией» «их души тоже становились женственными». В сексологическом дискурсе любым метаморфозам приписывается патологическая природа. В своем фундаментальном труде по сексологии «Сексуальная психопатия» Рихард фон Крафт-Эбинг обозначает термином «сексуальный метаморфоз» особое сексуальное отклонение у мужчин или женщин, при котором они не только присваивают одежду и личность противоположного пола, но и переживают «параноидальный» бред, полагая, что их тело преобразилось в соответствии с (ошибочной) внутренней гендерной идентификацией⁷.

7 Магнус Хиршфельд уточняет: «Обычно им кажется, что их гениталии стали женскими. Они воображают, будто у них растут женские груди... и они носят женскую одежду, тогда как на самом деле она мужская». В своем исследовании о трансвеститах как «промежуточных сексуальных формах» Хиршфельд проводит различие между «простым» трансвестизмом и более глубокой «сексуальной тягой к изменениям» (в которой Проссер усматривает зарождающуюся попытку транссексуального самоопределения), а также, признавая логичность термина «сексуальный метаморфоз» для обозначения

В середине XX века, когда Жуандо писал своего «Тиресия», сексуальный метаморфоз упоминался в стандартных медицинских словарях, наряду с сексуальной инверсией, как извращение, патологическая особенность трансгендерных личностей: «Извращение, при котором человек перенимает привычки и носит одежду противоположного пола».

Миф о Тиресии допускает смешение сексуальных и психосексуальных причин и следствий, ведь Тиресий служит подвижным символом нетрадиционности, фигурой, подменяющей нарратив, но Жуандо высказывается более определенно. В романе содомия порождает женственность, или, точнее, сексуальное удовольствие от пассивного проникновения позволяет мужчине вообразить у себя женскую чувственность. Жуандо описывает женскую личность как призрачную форму внутри его тела и как след на его поверхности – пот, отпечаток другого мужчины на коже, запах, пропитывающий тело, демонический ореол, молчание, заглушающее самые безобидные слова. Однако для Жуандо это не просто метафора: как возделанная почва помнит лемех плуга, так и его дрожащее тело помнит о проникновении, и от этого переживания у него даже меняется выражение лица. Все происходит благодаря магическому жезлу Ришара. По мнению Жуандо, анальный секс порождает женственный внутренний мир, связанный с телом Тиресия.

Хотя первое превращение рассказчика в Тиресия – центральная и заглавная трансформация в тексте, роман изобилует другими метаморфозами и пересечениями границ. После второго любовника, Филиппа, Теофиль/Морис/Тиресий обнаруживает, что сексуальное удовольствие можно получать не только с одним мужчиной. Это приумножение желания отражается в приумножении мифических трансформаций. Филипп – одновременно бог и зверь, сексуальное животное. Молодые люди неоднократно становятся метафорическими животными – пантерой, львом и быком, а карлик – гориллой

трансгендерной личности, отвергает его в связи со специфическим использованием у Крафта-Эбинга как названия паранойального расстройства.

и тюленем. Подобным же образом секс уподобляется запряганию лошади и верховой езде.

Эти зоологические метафоры дополняются мифическими метаморфозами. Когда Филипп скачет на рассказчике, будто на лошади, вдвоем они становятся Кентавром. Со своим последним любовником Пьером рассказчик становится единорогом, а волосатый карлик с женской грудью именуется сатиром. После этого сатира – непривлекательного, но умелого любовника – рассказчик понимает, что сексуальное удовольствие не всегда зависит от физической красоты партнера. С карликом рассказчик и сам становится сексуальным монстром: Тиресий – персонаж рассказа об удовольствиях и трансформациях – становится Пасифаей, а также быком, Минотавром и самим лабиринтом.

Эти зоологические метафоры и трансформации указывают на усложненное понимание нетрадиционного секса самим Жуандо и подчеркивают метаморфозную чувственность его нарратива. Как вспоминает в конце романа рассказчик, даже Зевс нередко принимал животную форму для совокупления со смертными, словно унижаясь и опускаясь на низший уровень. Сексуальные партнеры рассказчика – звери, но в то же время божества, и эта двойственность (боги и звери – или боги и чудовища) намекает на двойственное понимание нетрадиционного секса самим автором: с одной стороны, звериные, почти механические удовольствия, а с другой – мистические (и даже сакральные) возможности самотрансформации. Как пишет Жуандо, мифы о метаморфозах – лишь возвышенные предвосхищения частных метаморфоз, потрясающих наши тела и души, а главное таинство мифологии в том, что каждый человек переживает многочисленные метаморфозы внутри себя.

По мнению Жуандо, секс – это трансформация. *Во время* полового акта мужчины становятся зверями и богами, мужчина становится гермафродитом, люди получают новые, мифологические имена, а тела и души трансформируются, преобразуются. Как только Пьер достигает оргазма, его лицо превращается в бронзовую маску – алхимическая трансформация плоти в драгоценный металл. Жуандо представляет

однополый секс как алхимию удовольствия, а культуру однополого секса – как тайную область эзотерического знания, которая требует специального посвящения. Центральная метафора этой сексуальной алхимии посвящения – образ сообщающихся сосудов – указывает на связь между телами и знанием при однополом сексе.

«Алхимический» пассаж помещен в первой же главе, и это весьма уместно, учитывая, что она посвящена превращению рассказчика в Тиресия – прорицателя и сосуд потаенного знания. Сексуальные отношения – это сакральные таинства, в которые посвящается рассказчик, а его превращение в иллюзорную женщину (или в существо, отличное от мужчины) достигается с помощью «церемониальной магии». Для Жуандо тайная субкультура, основанная на поисках гомосексуальных партнеров и сексе, – это культура и дискурс эзотерического знания, загадочного и необычного, возгоняемого в перегонном кубе сексуального опыта. Французское слово *expériences* подразумевает экспериментальную и вместе с тем эмпирическую природу этого знания. Хотя сексуальные отношения кажутся механическими и бесстрастными (ведь рассказчик платит за секс), они являются также символическими и таинственными.

Возможно, образ «сообщающихся сосудов» заимствован из одноименной книги Андре Бретона: в сюрреализме сообщающиеся сосуды позволяют противоположным явлениям (например, сну и реальности) перетекать друг в друга, обеспечивая схождение и слияние различных миров. Вслед за Бретоном Жуандо намекает на изобретение, широко известное по экспериментам на уроках физики и алхимической литературе. Сообщающиеся сосуды – это вертикальные сосуды (трубки или чаши), соединенные внизу трубкой либо резервуаром, позволяющим жидкости, вливаемой в один из сосудов, подниматься до точки равновесия в другом, или же позволяющим двум разным жидкостям перетекать друг в друга, смешиваясь в тайном месте соединения.

Образ весьма многозначен: жидкости, которые уравниваются в двух телах, служат метафорой двух мужских тел в состоянии эрекции. Жидкости пропитывают весь текст, вы-

ливаясь на мужские тела и внутрь – семя, молоко, лава. Подобно сообщающимся сосудам, секс между мужчинами обеспечивает алхимическое слияние противоположностей – богов и чудовищ, праведности и нечестивости, нежности и грубости, удовольствия и боли – *douceur* и *douleur*⁸. Звериная натура Филиппа смягчается «расплавленным ореховым маслом, что стекает между нами»⁹.

Намек на равновесие и взаимодополняемость в образе сообщающихся сосудов полностью раскрывается в заключительной главе о Пьере, с которым рассказчик ощущает такую взаимодополняемость, что даже сравнивает их пару с двумя сторонами одной монеты (на одной – лики двух богов, а на другой – тела двух зверей) и с двумя руками одного человека. С Пьером взаимодополняемость настолько важна, что любовник извиняется, когда они не испытывают синхронного оргазма, а рассказчик с радостью описывает, как уснул с твердым фаллосом Пьера внутри. Они в буквальном смысле – сообщающиеся сосуды, которые благодаря соединению способны тайно обмениваться жидкостями. Пьер полностью посвящает рассказчика в сакральные таинства. Секс с ним – религиозная трагедия и одновременно физиологический позор, и рассказчик пишет, что обретает некие тайные стигматы, невидимые больше никому.

В заключительной главе «Пьер» происходит самая странная из всех зоологических метаморфоз в романе: внутри рассказчика зарождается морской еж. Теперь он уже не бог и чудовище, не мужчина и женщина, а животное и растение. Эта метаморфа имеет четкую физиологическую локализацию: морской

8 Робинсон отмечает, что эти рифмующиеся слова являются почти полными омофонами.

9 Как отметил Фрэнк Пол Боумен в своей монографии о религиозных метафорах гомосексуальности у Жуандо, тут читателя может сбить с толку интонация. Хотя этот отрывок, подобно многим другим в романе, может показаться читателю комичным, Боумен подчеркивает, что даже комичное и кощунственное приписывание однополую сексу религиозного или мистического значения продиктовано серьезными соображениями.

еж – это прямая кишка, куда входит палец или пенис любовника; «кольцо», или сфинктер, который «размыкается и вновь смыкается, словно дыша, вокруг алмазного пальца Пьера».

Французский психоаналитик Рене Нелли считает эротизированную «анальную зону» специфическим местом сексуального метаморфоза и гендерной трансгрессии по типу Тиресия. Сосредотачиваясь на двуполом анальном сексе, Нелли утверждает, что эротизация ануса – органа, которым обладают и мужчины, и женщины, символизирует насмешку над самой категорией женственного и над обменом мужскими и женскими полярностями: женщина символически маскулинизируется, уподобляясь содомируемому партнеру-мужчине, а мужчина символически феминизируется до такой степени, что мечтает о проникновении в себя через женское тело¹⁰. Кроме того, у содомирующего мужчины возникает одержимость «мифической женщиной», которую он воображает внутри себя, и возможностью тоже стать объектом проникновения.

Нелли также называет однополый анальный секс трансгрессивно метаморфозным: с самого начала происходит ожидаемое стереотипное распределение активной и пассивной гендерных ролей, при котором воспринимающий мужчина феминизируется (в то время как воспринимающая женщина маскулинизируется). Но затем Нелли настаивает, что гомосексуальная страсть обретает *высший* смысл сексуальной трансгрессии в непрерывном обмене сексуальными и гендерными ролями. Таким образом, для Нелли взаимозаменяемость «гендерных» конструктов при мужском однополом сексе служит репрезентативной функцией, преобразующей категории и состояния гендерной идентификации в *процессы* идентификации и изменения сексуальной личности не на телесной, а иллюзорной основе¹¹.

10 В своем обзоре сексуальных тем в литературе Джон Аткинс высказывает мысль, что «содомия» традиционно маскулинизирует женщину, превращая ее в воображаемого мужчину, который, возможно, и является, на самом деле, объектом желания.

11 Поскольку анализ Нелли сосредоточен на проникновении, лесбиянство упоминается лишь тропологически при анализе транссексуального «пограничного случая». В случае транссексуального

Посредством метафоры с морским ежом Жуандо превращает анус Тиресия в трансгрессивный и перформативный образ. Ранее Жуандо сравнивает пенис Ришара с тыквой, наполненной молоком, а рот Филиппа при оргазме – с извивающейся устрицей. С Пьером эти растительные и морские образы и связанные с ними удовольствия фокусируются в прямой кишке Тиресия. Морской еж – бесчувственное существо, управляемое лишь аппетитом и состоящее из кольца позвонков вокруг центрального рта, который служит одновременно для дыхания, выделения и питания. Более того, в романе Жуандо он дышит и цветет вокруг «соска»: анальный секс уподобляется кормлению, а ненормативное сексуальное наслаждение – младенческому аппетиту.

Используя образ морского ежа, Жуандо также называет прямую кишку «вульвой» – влагалищем, раскрытым для наслаждения. Лео Берсани отмечал «широко распространенное у гетеро- и гомосексуальных мужчин смешение фантазий об анальном и вагинальном сексе». Однако психосексуальные смешения здесь многочисленны и намеренно репрезентативны – фаллические, влагалищные, оральные и анальные удовольствия и влечения локализуются не в анусе Тиресия как таковом, а в метафоре морского ежа. Соединяя фаллические и иллюзорные вагинальные удовольствия в одном нетрадиционном образе, морской еж становится небывалым сгустком сексуальных идентификаций и удовольствий.

перехода от женщины к мужчине предпочтение, отдаваемое оральному сексу с женщинами, приводит личность в замешательство: она/он не может понять, является ли мужчиной, прельщенным «видом» женских гениталий и влюбленным в клитор, или же «трибадией» (что означает «лесбиянка» или, точнее, маскулинизированная лесбиянка с предположительно большим клитором), которую она всегда считает «ложной женщиной» – иными словами, используя эпистемологический оксюморон, *естественной подделкой* с гендерной точки зрения. Далее, если она/он «подвергается» анальному сексу, то считает это проявлением своего желания стать гомосексуальным мужчиной либо «настоящей» женщиной. Нелли пишет об этом «неустойчивом андрогине» (отмеченном как внутренними, так и внешними метаморфозами), что сексуальная личность всегда любит и любима, и акты идентификации и желания столь изменчивы, что «она» всегда любит как мужчину того мужчину, в которого влюблена как женщина.

Метафора (как и использование мифа о Тиресии) представляется сомнительной с точки зрения выбора женщины как тропа для тела гомосексуального мужчины. Прямая кишка – не влагалище, да и рассказчик – не женщина, а мужчина-объект проникновения. Тем не менее, образ, созданный Жуандо, воплощает не только редуктивную гендерную космологию, приписывающую удовольствие женщине, а знание и власть – мужчине, и не только подразумеваемую высокую оценку удовольствия от анального секса¹². Тиресий и женственное – тропы, позволяющие переименовать тело в *немужское*, т.е. более не мужское. Если гетеросексуальная мужественность строится вокруг отрицания гомозротики и женственного – меланхоличной идентификации с отцом и отвергания женственного в теле гомосексуального мужчины, то гомосексуальный мужчина вправе претендовать на эту отвергнутую категорию.

Наверное, поэтому версия Жуандо является весьма действенной. Оставаясь в рамках сексистского мифа – женщина как средоточие обоюдного наслаждения, Жуандо развивает и трансформирует миф о теле Тиресия для переоценки гомосексуальности и воображает нетрадиционное тело – мужское и вместе с тем *немужское*. Понятием для обозначения этого удовольствия становится иллюзорная женственность, а имя заимствуется из мифической истории Тиресия. Средствами же для воображения этой нетрадиционной сексуальной способности выступает у Жуандо каскад метонимий и целый «зверинец» трансформаций.

Перевод Валерия Нугатова

12 В классической традиции, откуда и происходит образ Тиресия, традиции, опирающейся на фаллические нормы активности и пассивности, обоюдность сексуального наслаждения приписывалась женщинам. Как утверждает миф о Тиресии, женщины получают больше удовольствия, поскольку они одновременно дают и получают. По словам Дэвида Гальперина, лишь немногие древние тексты признают, что мужчины способны наслаждаться «пассивным» сексом, и по большей части стать объектом проникновения считалось недостойным для взрослого мужчины, потому что получать удовольствие от этого – «признак моральной несостоятельности». Следовательно, прославление анального наслаждения очень важно.

Ролан Топор

ПОДЛИННОЕ ЕСТЕСТВО ДѢВЫ МАРИИ

Марии посвящается

I

При всей нерасположенности к такого рода изысканиям, после распития нескольких бутылок красного, чего-то вдруг потянуло обнажить подлинное естество Девы Марии.

II

При первом осмотре выяснилось, что подлинное естество Девы Марии не такого уж сложного замеса, как казалось прежде.

Впрочем, ввиду кое-каких странных нюансов это заключение пришлось пересмотреть.

III

При рождении Девы Марии ее подлинное естество имело вполне развитые формы, хотя и было лишено волосяного покрова.

IV

Дева Мария так рьяно размножалась путем партеногенеза, что ныне ее подлинное естество приходится собирать по кусочкам, как мозаику, комбинируя Черную Мадонну Ченстоховскую с Гваделупской Девой и уймой других, иной раз довольно разбитных девиц.

V

Молчание Девы Марии свидетельствовало об ее подлинном естестве куда более красноречиво, чем любые слова. Взгляд, бывало, на себя в зеркало, и вся покраснеет.

VI

Подлинное естество Девы Марии шло вразрез с элементарными правилами приличия. Она всегда полоскала свое грязное белье на людях.

VII

Иностранные инвесторы под конец позабыли о том, что у Девы Марии есть подлинное естество. А что до туземцев, так те вообще понятия не имели о том, что она девственница.

VIII

При беглом осмотре подлинное естество Девы Марии казалось имитацией. Иной гинеколог впадал в ступор от растерянности.

IX

Судя по древним писаниям, подлинное естество Девы Марии вполне уместилось бы целиком в ее дамской сумочке.

X

Подлинное естество Девы Марии было целомудренно прикрыто маскировочной плевой.

XI

Кроме подлинного естества Дева Мария хранила про запас еще несколько сменных комплектов, притом несравненных по удобству. Только посадит пятнышко – и тут же переоденется.

XII

Деве Марии было достаточно окунуть мизинец в молоко, чтобы его подсластить, вот что значит сладостное естество.

XIII

Особое значение имеет тот факт, что подлинное естество Девы Марии схоронили в сейфе глубоко в подземельях Ватикана, а где сыскать от него ключ, никто не ведал.

IV

Подлинное естество Девы Марии предстало во всей красе однажды в воскресенье в месяце мае, когда ураган силой в шесть баллов сорвал с нее одежду перед витриной кондитерской Пендар, напротив церкви, дабы приодеть петуха на флюгере.

XV

Подлинное естество Девы Марии было таково, что ни тебе на шпагат сесть, ни ноги раздвинуть.

XVI

Соли на подлинное естество Девы Марии не пожалели, вот только плохо его подмаслили.

XVII

О подлинном естестве Девы Марии можно судить уже по тому, как смастерили ее нимбы, облепив их для прочности лейкопластырем.

XIIIIV

Каково подлинное естество Девы Марии, можно было почувствовать, пожимая ее ладошку, мокрую от росы.

XIX

Подлинное естество Девы Марии таилось в каждой складочке на ее одеянии.

XX

Дева Мария истекала подлинным естеством, когда у нее шла носом кровь, и пятнала им все окружавшие ее двенадцать знаков зодиака. Ее носовые платки напоминали трагедийные маски.

XXI

Подлинное естество Девы Марии манило бесчисленных поклонников, но все были отвергнуты. Лишь один из них не желал сдаваться, да и то из пессимизма.

XXII

Подлинное естество Девы Марии было таково, что она хорошо ладила и с пернатыми, и с мохнатыми, хотя, случалось, ее и поклевывали, и покусывали.

XXIII

Подлинное естество Девы Марии было не от мира сего, но и не принадлежало к миру ангелов, оно застряло где-то на полпути, в окрестностях Венериного бугорка.

XXIV

Стоило завести разговор о подлинном естестве Девы Марии, как Леда с подозрением косилась на своего лебедя.

XXV

Подлинное естество Девы Марии не впитывало ни одной новой мысли. Можно было по сто раз твердить ей одно и то же, все без толку. Все равно что ссать против ветра.

XXVI

В недрах подлинного естества Девы Марии были сосредоточены большие залежи природного газа. Разумеется, он благоухал как розы.

XXVII

В силу своего подлинного естества Дева Мария была домохозяйкой и страстной домохозяйкой, а уж с веником и совком у нее просто была любовь. Втроем.

XXVIII

Чтобы получить дозволение прикоснуться к подлинному естеству Девы Марии, нужно было показать, что руки у тебя чисты, равно как и помыслы. Ну, и конечно, записаться в очередь.

XXIX

Когда полемика насчет подлинного естества Девы Марии принимала нежелательный оборот, она синела от синяков.

XXX

Подноготная подлинного естества Девы Марии заключалась в том, чтобы отдаваться всем тем, кому сама Дева Мария отказала.

XXXI

Все знания о подлинном естестве Девы Марии пришлось пересмотреть после того, как она породила Сфинкса.

XXXII

Подлинное естество Девы Марии толкало ее к утонченному разврату, который нравился ей во всех видах, хотя она так ни на что и не решилась.

XXXIII

Какие бы бредовые басни не плели веками о подлинном естестве Девы Марии, реальность намного превзошла самые смелые домыслы.

XXXIV

Подлинное естество Девы Марии было сродни детской игре, какой пробавлялась ее киска.

XXXV

Тот, кому довелось хотя бы одним глазком узреть подлинное естество Девы Марии, становился буквально одержим ее естеством. Мозг у него отказывал, зато половая потенция заметно возрастала.

XXXVI

Деву Марию насиловали раз двадцать за ее короткую земную жизнь, но ее подлинному естеству это нисколько не навредило и никакого побочного действия не возымело.

XXXVII

До Ренессанса верующие не могли изобразить подлинное естество Девы Марии в перспективе.

XXXVIII

По мнению диетологов, подлинное естество Девы Марии усваивалось далеко не так легко, как естество ее сына, хотя гурманы считают его более питательным.

XXXIX

Злые языки утверждали, будто подлинное естество Девы Марии мало-помалу отмирало и затем было погребено в ней самой.

XL

В силу своего подлинного естества Дева Мария была неуязвима ниже пояса. Выше пояса тело ее было испещрено любовными шрамами, словно следами от укусов клопов.

XLI

По некоторым внешним признакам подлинное естество Девы Марии поразительно напоминало столь же подлинное естество пресловутой блудницы Магдалины.

XLII

Отличается ли лицевая сторона Девы Марии от обратной? В каком ракурсе она выглядит лучше всего? Нужно ли делать

рентгеновский снимок, чтобы вникнуть в ее подлинное естество?

Во сне, случается, нисходит озарение, и сами собой находят ответы на эти неотвязные вопросы. Но, увы, после пробуждения в памяти остаются лишь два слова – «подлинное» и «естество».

XLIII

Подлинное естество Девы Марии таково, что она могла нести яйца без желтка.

XLIV

Один старец-посвященный дал такой совет: «Дабы раскрыть тайну подлинного естества Девы Марии, сынок, нужно просто пожевать смокву».

XLV

Стоит представить себе причиндалы ее мужа в натуральную величину, как все устоявшиеся представления о ее подлинном естестве покажутся сомнительными.

XLVI

В состав подлинного естества Девы Марии входил алкалоид, от запаха которого взмывали в небеса даже куры.

XLVII

Говорят, будто подлинное естество Девы Марии имеет изменчивую форму. Она может поправиться на целый килограмм от одной сливы и забеременеть от сливовой косточки.

XLVIII

Мать Девы Марии по простоте душевной воображала, будто подлинное естество передалось дочери от нее.

XLIX

Тайна подлинного естества Девы Марии все время была на слуху.

L

За две тысячи лет вокруг подлинного естества Девы Марии нагородили настоящую китайскую стену, притом совершенно глухую.

LI

Подлинное естество Девы Марии было таким нежным, что даже волосок, упавший ей на плечо или на спину, оставлял на коже рубец, как от удара хлыстом.

LII

Подлинное естество Девы Марии отличала такая щедрость, что ей самой оставались только пустые мешки под глазами.

LIII

Дева Мария могла раздвинуть колени, не опасаясь выставить на всеобщее обозрение свое подлинное естество; это была просто приманка.

LIV

Когда кто-нибудь вдруг оказывался один на один с подлинным естеством Девы Марии, оно производило на него столь сильный эффект, что кожные покровы у него темнели, а волосы белели.

LV

Подлинное естество Девы Марии поглотило не одного попа.

LVI

Музей Человека гордится тем, что в нем хранится точный слепок подлинного естества Девы Марии, выполненный из хлебного мякиша.

LVII

Шаловливая от природы, Дева Мария любила выдавать себя за жену своего сына.

LVIII

Подлинное естество Девы Марии творило с законами гравитации, что вздумается. Так что на потолок она падала чаще, чем на пол. Но ее нимб чудесным образом смягчал удары, как амортизатор.

LIX

Известно лишь одно прижизненное изображение подлинного естества Девы Марии, писанное с натуры; увы, на нем зияет дыра.

LX

Время здорово потрепало подлинное естество Девы Марии, но тут приладили кусочек проволоки, там капнули клея, и пожалуйста – оно еще держится.

LXI

Хозяину одного бродячего цирка взбрело на ум предложить Деве Марии ангажемент на демонстрацию ее подлинного естества перед публикой. Но после того как он лишился троих укротителей, от этой затеи пришлось отказаться.

LXII

Подлинное естество Девы Марии вызывало какой-то нездоровый ажиотаж у всех стихий.

LXIII

Когда Дева Мария путешествовала инкогнито, она выдавала свое подлинное естество за подлинное естество Мадонны.

LXIV

Подлинное естество Девы Марии приводило в восторг всякого, кто из любопытства заглядывал в замочную скважину. Ее пупок вдохновил одного ресторатора из Модены на создание знаменитых пельменей тортеллини.

LXV

Всякий раз, когда происходило чудесное явление Девы Марии, ее подлинное естество благотворно влияло на озоновый слой; дыра в нем целомудренно зарастала, чтобы не отставать от Девы.

LXVI

Как гласит предание, как-то раз белка решила припрятать в подлинном естестве Девы Марии свои орешки.

LXVII

Отец Девы Марии, – почуял, видать, каково подлинное естество его дочери, – запретил ей бить в барабан.

LXVIII

Чтобы укрыть свое подлинное естество от дождя, Дева Мария смастерила одно приспособление – взяла плеву и насадила ее на член осла. Так появился первый зонтик.

LXIX

По возвращении из Египта подлинное естество Девы Марии обросло волосками в виде треугольника на лобке.

LXX

Когда Дева Мария исполняла танец живота, ее живот ударялся в загул на пару с ее подлинным естеством, а потом все никак не мог найти обратную дорогу и заставлял ее подолгу ждать, оставляя с носом.

LXXI

Подлинное естество Девы Марии было наделено от природы музыкальными способностями. Абсолютный музыкальный слух гнезвился у нее где-то между крестцом и лобком, но она обычно затыкала его тампоном, чтобы невзначай не оглохнуть.

LXXII

До преклонного возраста Дева Мария, благо естество ее прямо-таки дышало свежестью, была избавлена от морщин, если не принимать в расчет ее зад, на котором отпечатались линии с ее ладоней.

LXXIII

Робер Брессон безуспешно пытался изобразить подлинное естество Девы Марии в своем фильме «Приговоренный к смерти сбежал».

LXXIV

Прочные стальные кованые решетки, скрепленные дюжиной цепей с висячими замками, — вот, собственно, и вся ночная амуниция, в которую Дева Мария облачалась перед сном, чтобы сберечь свое подлинное естество.

LXXV

Дева Мария повредила себе язык, когда увлеклась военным искусством, в котором никто не считается с ее подлинным естеством.

LXXVI

О неопределенной сущности подлинного естества Девы Марии рассуждали весьма неопределенно.

LXXVII

Едва появившись на свет, подлинное естество Девы Марии представляло не больший интерес, чем пустая калейбаса.

LXXVIII

После изучения подлинного естества одиннадцати тысяч девственниц, выяснилось, что ни одну из них не звали Марией.

LXXIX

Один трансвестит по имени Марсель уверял, будто он – первый и последний хранитель тайны пресловутого подлинного естества Девы Марии, да еще похвалялся тем, что стащил у нее волшебную палочку.

LXXX

Разница между подлинным естеством Девы Марии и естеством прочих женщин не намного больше, чем лист папиросной бумаги... из нержавеющей стали.

LXXXI

О подлинном естестве Девы Марии ходило много самых невероятных слухов; поговаривали, между прочим, что у нее жжет подмышками.

LXXXII

Подлинное естество Девы Марии просто источало любовь, так что, стоило ей слегка разжать губки, как по всему подбородку у нее растекалась слюна.

LXXXIII

По воле жестокого подлинного естества Девы Марии далеко не одна бедняжка угодила в руки подпольных абортмахов, которые исправно поставляют на небеса маленьких ангелов.

LXXXIV

Актерская жилка в подлинном естестве Девы Марии расходилась вовсю в те дни, когда спектакль отменяли. Но если уж у нее отказывала память, ей не мог помочь ни один суфлер.

LXXXV

О невинности, присущей подлинному естеству Девы Марии, нельзя было судить по ее полицейскому досье.

LXXXVI

Когда Дева Мария попала в затруднительное положение, ей пришлось дать разрешение на организацию туристических круизов с посещением ее подлинного естества, которое вследствие зрительной аберрации удалялось от любопытствующих по мере приближения.

LXXXVII

Дева Мария была такая недоверчивая особа, что полагала, будто у нее нет и в помине подлинного естества.

LXXXVIII

От ужасной жары, в которой прело подлинное естество Девы Марии, у нее возникали миражи между ляжками.

LXXXIX

Дева Мария пристрастилась искать какие-то сокровища, тающиеся в недрах ее подлинного естества.

LXC

Чтобы увидеть свое подлинное естество с изнанки, Дева Мария развлекалась, закидывая каждый день, с пяти до семи, ноги на стену.

XCI

Дева Мария упорно отказывалась разглядывать образа – боялась, как бы не возбудиться и не обнаружить ненароком свое подлинное естество.

XCII

Во избежание эротических снов Дева Мария вздумала зарывать голову в песок, как страус, надежно прикрывая тылы своего подлинного естества прочным тазом.

XCIII

Когда Дева Мария тыкала пальцем в небо и попадала себе в глаз, она видела только розовые и темные круги, да и те расплывались.

XCIV

Каждый раз, когда Дева Мария возводила глаза горе, она боялась, как бы ей не нагнать на небо огромные облака, похожие на потоки божественной спермы.

XCV

Дева Мария так любила покушать, что замечала, как ее подлинное естество постепенно округляется. Издали ее принимали за дюну.

XCVI

Будучи от природы независимой, в счете и в других важных делах Дева Мария больше полагалась на свои пальцы, чем на чужую помощь.

XCVII

Дева Мария любила поплавать, понырять в Мертвом море, поохотиться на морских ежей и всяких ракообразных. Попадались ей порой и большие раковины, которые она прикладывала к уху и слушала, как шумит ее подлинное естество.

XCVIII

У Девы Марии было в роду столько девственниц, что на нее фамильных драгоценностей уже не хватило.

XCIX

Более подробную информацию о подлинном естестве Девы Марии вы можете получить по телефону 36–15, кодовое слово – *Дева Мария*.

Эпилог

Пусть естество под спудом
Таится как под плевой,
Сожми проем ты чудом
И оставайся Девой.
Шов в три стежка – Вселенной
Позволит править. Вскоре
Венера да сирены
Сопьются тихо с горя.

*Вззон-ля-Ромэн, август 95 г.
Перевод Сергея Панкова*

Дмитрий Мамулия
АНАЛЬНЫЕ РОЗЫ

- 1 Есть лица, такие, будто в них смерть свила гнездо.
- 2 Ты что такое говоришь
 потому что розы не растут из анальных отверстии
 потому что тоже
 не растут нигде
 и когда-то тоже
 растут среди скал
- 3 Анальные розы стонут и и нет ответа
 и стон
 делает вид
 что стонут
 другие розы
- 4 Анальные розы подобны камням и губам
- 5 Тоже Анна и Фру Фру умерли одинаковой смертью у обо-
 их был переломан позвоночник
- 6 Морщины воздействуют на цветы и если поднести мор-
 щину к цветку тот будет пытаться уподобиться этой мор-
 щине
- 7 И нельзя подносить морщину к цветку ближе чем
 на 40 см. Отсюда воспрещается женщинам выше 50 ню-
 хать цветы подносить их к лицу
- 8 Другое анальные розы
- 9 Морщины их могут согреть
- 10 Анальные розы подобны тоже другим розам которые
 тоже анальные розы
- 11 Имела яму внутри

- 12 У ямы не было цвета
- 13 Яма внутри отличалась от ямы снаружи
- 14 Небо кажется белой стеной
- 15 Упасть провалиться можно в наружную яму из внутренней ямы можно смотреть и в движении можно забыть о наличии внутренней ямы
- 16 Когда греется этот песок и ты приходишь и жизнь на волоске и ты тянешь за волосок
- 17 Когда леденеют руки они садятся на ветки тоже скрестив свои белые руки сидят
- 18 Тоже старые анальные розы завяли и новые розы пришли
- 19 Розы замерзли тоже вобрав в себя все свои иглы
- 20 Твои анальные розы подобны моим
- 21 А те что у Иосифа подобны тем что у Серафима
- 22 Отдай эти розы садам
им не место
здесь
где плесень
и сон
- 23 Отдай их садам
где другие розы
и другие
люди
- 24 Есть люди
которым
не место
там где цветы
- 25 Открой свой безумный рот тоже что состоит из воды
и грязи
- 26 И дыры полны лепестков

-
- 27 Тоже полны одиночества тоже полны лепестков что вя-
нут прижавшись друг к другу
- 28 Эти ямы
касаясь друг друга
несут лепестки
друг другу
чтобы завяли
вместе
лепестки из двух ям
- 29 Безмолвные розы
владычицы
анальных земель
- 30 Ветры
делают вид
что в поисках роз
забрели
в эту
анальную местность
где ветрам
не место
где место
камням
- 31 Ненужные розы толпятся в анальных местах
- 32 Часами
касаются роз
другие
анальные розы
потом
изогнувшись
от этих касаний
вянут
- 33 И свято что вянет
и свято
что делает вид
- 34 Анальными розами их не спугнуть

- 35 Другие розы тянуться к анальным розам тоже они лежат
далеко друг от друга
- 36 Не всегда выходит наружу
в анальных местах
бывает скрывает свой стан
- 37 Скрывает свой стан в местах где не место розам
- 38 В других местах другие розы
не знают об этих которые тоже
не знают о тех
- 39 Нижняя роза качала своей туберозой
- 40 Также нелепо иметь человеческий вид
- 41 Все умирают и птицы тоже они умирают
- 42 Также случайно эти птицы дни свои кончат в местах где
не надо
- 43 Следишь за волосами и они двоятся и троются четверятся
- 44 И водоросль принес и был таков
- 45 Анальные розы плетут коварные сети
- 46 Также когда бесчинна и беспардонна ходила смотреть
на камни и холодные камни клала в живот и в камнях
зарождала здоровье
- 47 И когда была разнузданна она эти камни по сто кидала
вон из себя и горячие камни тотчас превращались
в дома и стояли как будто стояли
- 48 И вот Раймондина и вот Поликсена
- 49 И птицы умеют тоже стоять у стены лицом к стене так
что неясно даже за чем стоят
- 50 Потому что ничто так не похоже на птицу как птица кото-
рая делает вид что птица
- 51 И если смотреть на просвет и ты тоже птица

-
- 52 Тоже умереть может птица сидеть на дереве а потом умереть и не двигаться только качаться всем телом от ветра
- 53 И ты колеблешься между деревом и железом
- 54 Некоторые они канифоль растирали по бледным ногам
- 55 Тоже цветы что растут на твоём животе потом еще растут везде и можно их встретить среди скал и других от-верстий когда немало цветов изнутри
- 56 Ленивые женщины вступившие в порочные связи
- 57 За этих белых криворотых птиц я не в ответе
- 58 Тоже Август сказал не птица норвежка
- 59 И женщину можно убить
в бедро
положив ей железо
- 60 Птица – не так умри
- 61 Тоже замерзнуть от скуки может вода и дерево может засохнуть и сгнить от воды посредством ее скуки
- 62 Эти растенья растут и делают вид что растут и уходят когда другие растенья стоят
- 63 Имела воду внутри
- 64 И тоже их лепестки опадают как женские губы
- 65 Граф Сен-Жермен мог убирать трещины с бриллиантов
- 66 Сливовое дерево засохло вместо персикового
- 67 Тоже женщина засохла вместо другой.
- 68 Антигона жалуется хору что не чувствует себя своей ни среди живых ни среди мертвых
- 69 В розу смотри...
А женщинам, беременным женщинам,
им нипочем

смотреть на цветы
они увядают уходят подобно цветам
и белые словно зрачки на лице, что не знает о белых
зрачках, они
поднимаются вновь из незрелых могил

В их неловких движеньях
вдруг проступает ответ...

В розу смотри...

И в белых их волосах
Ты узнаешь, что был на земле...

В розу смотри...

Крики женщин, что шеренгами
шли из могил, уходили в стволы этих роз...

В розу смотри

70 И глазные яблоки, белые, без примеси черного, двигала
быстро, туда-сюда, как стрелки...

71 Сказал что не буду
брать ее
жирные ложки.

И она сказала
что тоже не будет
брать мои ложки...

И мои сережки...

72 Придут
с головами конквистадоров
и эти места
будут усеяны розами

73 Септимус может взять нож и уйти на небо

74 Еще Септимус может взять нож и уйти на небо

75 Кошкам на небо нельзя

- 76 И мертвые рядом совсем...
- 77 Так взлетел муравей чтобы погибнуть...
- 78 Кто-то другой умрет
она же еще постоит
у окна
- 79 Птица всегда это бывший паук
- 80 Сей человек похож на труп
- 81 Сам карлик, а руки тянешь к луне!
- 82 И больные не видят сердец
только стаи игрушечных птиц
что несут свою плоть
опираясь на палки
- 83 О женщинах, о смерти, о сестрах; о сестре Гегеля, которая воображала, что она почтовая сумка; и о сестре Ришелье, которая полагала что у нее стеклянная спина: о женщинах со стеклянными спинами, и как можно заиметь таковые, лишившись ума, или чего-то еще, но непременно лишившись; об онемении и оцепенении...
- 84 Эти розы похожи на птиц, которые так устали, что их можно ловить руками...
- 85 И смерть погоняет верблюда посвящения
- 86 И тот почтальон, что вскрывает письма,
одно за другим
- 87 О дура, дура ты любви не знаешь...
- 88 Розы пахнут щеками беременных женщин...
- 89 Улыбалась как собака, чуть приподнимая верхнюю губу...
- 90 И дочь совершенно здорового человека сказала я дочь
совершенно здорового человека
- 91 И редкие брови ее незаметны как листья в саду

- 92 И она улыбалась другим дочерям у которых нередкие брови
- 93 И деревья стояли везде как будто стояли
- 95 И среди них ни одно не стояло для той что имела редкие брови
- 96 И ветра попадали и вязли в нередких бровях
- 97 И потом она никогда ни единой розы не сравнила с собой потому что редкие брови не сравнимы с розами
- 98 И деревья стояли тихо для роз для нее не стояли
- 99 И дочь совершенно здорового человека сделала лицо как будто стонала
- 100 И клала голову в хлеб
- 101 Тоже у этих больших одиноких старух глаза как у птиц
- 102 Шестилетний шизофреник Миша Митрохин рисовал кружочки и говорил: «Это пауки, закрытые на ключ».
- 103 У Аттара: *«Когда мертвое тело Зу-н-Нуна несли по улице, птицы в небе расправляли крылья, чтобы закрыть гроб от солнца».*
- 104 Эмма Бовари ела полусырую пищу и любила уксус.
- 105 Она старательно шила... только поминутно колола себе в спешке то один, то другой палец, подносила их ко рту и высасывала кровь.
- 106 Пришедший за тридевять земель, чтобы найти жену, он увидел *лицо*. За тридевять земель всегда одно *лицо* – *лицо* смерти.
- 107 Некрасивые женщины – зеркала, в которых видны потусторонние камни.
- 108 Когда он стоял перед ней, его жизнь, вся, была сжата в кулак.
- 109 И сон нам дан, чтоб устоять в ночи

- 110 Быть подобным (уподобиться) дереву, которое за окном. И ты по эту сторону окна, а оно по ту. Одинаковое, а ты разный. И нет ничего вульгарнее этой разности. Уподобиться дереву, ему, одинаковому, и свидетельствовать об этой одинаковости.
- 111 И если не пьян, то пуст
- 112 И я ей сказал, что птица – всегда бывший паук, и что мы на площади видели много голубей, и все они бывшие пауки, и что это всегда нужно учитывать, когда смотришь на птиц, и она сказала, что всегда учитывает, и когда однажды взяла на руки птицу, тут же подумала, что это бывший паук.
- 113 Парацельс в своем сочинении *«О нимфах, сильфах, гномах и саламандрах»* упоминает о бесплотных существах, находящихся на границах живого и неживого. Они склизкие, вязкие, тянущиеся
- 114 Меня не видно
- 115 Цицерон так называл Зенона Китийского: *«Пришлый и никому не ведомый изобретатель слов»*.
- 116 Еще Фёдор Карамазов не мог поверить, что у дьявола есть крючья, чтобы тащить людей в ад.
- 117 Они, их слова, поступки, их лица – заслоняют вещи.
- 118 Сiju жду олигофрена
с нежным именем Лена
он придет и скажет только
здравствуй Коля
и я скажу ему здравствуй Лена
и будут здоровствовать
два олигофрена.
- 119 Ночь есть ночь, и женщина есть женщина.
- 120 Она эта птица делает вид что птица или только является птицей которая думает что будучи птицей она обязательно есть

- 121 И она эта птица имеет перья и клюв потому что птица
и как птица имеет перья и клюв и тогда она уже коллек-
тивная птица имеет в осанке все птичье
тогда
нептица увидев ее
примет в дар
от нее
что-то птичье
и будет иметь это птичье
и тогда
нептица будет иметь
что-то от птицы
и будет известно ей
что она нептица
немножко птица
- 122 Эта птица сказала
что долго
Олега ждала
очень долго
и потом решила уйти
и ушла
не дождавшись
Олега
- 123 Преждевременная птица пришла
например
вчера
и потом сказала
я пришла вчера
и потом она
сделала вид что нептица
и она среди птиц
тихо падала
ниц
и потом
она делала вид
что стонала

- 124 Эта птица
была ниже той птицы
что была выше
этой птицы
которая была ниже
и потом сказала
я ниже
и другая птица
я ниже
и эта легла
и другая
прилипла к земле
и эта
под землю ушла
и другая
еще под землю
- 125 Имел птицу внутри
и сидел и знал
что птица внутри
никогда не уйдет
и она
никогда не уйдет
наружу.
- 126 Наружу может уйти другая нептица она может тихо сидеть внутри как твое нераздельное что-то и ты уже только о ней привык говорить себе что-то и только о ней говорить и она внезапно уйдет и ты останешься только без нептицы и ты не сможешь быть без нептицы.
- 127 Наружная птица вовнутрь
никогда не придет
она будет
только
сидеть
на ветке
и будет
отражением птицы которая внутри

и будучи отражением
будет только
сидеть
и ты смотря на наружную птицу
что-то поймешь
о птице
которая внутри.

- 128 О нептица
среди других нептиц
ты нептица вдвойне
и ты делаешь вид
что нептица.

- 129 Содержал в себе птицу, которая давала знать о себе только тогда, когда прислушивался, и прислушиваться нужно было не нарочно, потому что если нарочно, тогда птица таилась, зажималась и делала вид, что ее нет. Услышать ее можно было только тогда, когда стихал гул машин (ночью), или во время ходьбы, ибо, когда он стоял, либо сидел, птица тоже стояла, либо сидела. Иногда, ночью, медленно шагая, утомив ее бдительность, он резко останавливался, и тогда изнутри до него доносились отзвуки остаточных движений, и он тогда понимал, что птица есть и что этот шорох, еле уловимый во время ходьбы, точнее, после преждевременной остановки, есть ее след в нем. И он только разводил руками, когда знакомые спрашивали, почему он вдруг внезапно остановился.

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

Артур Аристакисян (1961) – режиссер фильмов «Ладони» (1993) и «Место на земле» (2000). Проза публикуется впервые. Живет в Москве.

Максим Артемьев (1971). Книги «Почему» (2004), «Как работает Америка» (2009). Публикации в «НГ-Exlibris», «Ведомостях», «Forbes» и др. Живет в Москве.

Татьяна Баскакова. Литературовед, переводчик с египетского, английского, немецкого, итальянского. В издательстве «Kolonna/Митин журнал» в переводе Т. Баскаковой вышли романы А. Деблина «Три прыжка Ван Луны» и Р. Йиргля «Собачьи ночи». Живет в Москве.

Борис Виан (Boris Vian, 1920–1959). Лекция «О пользе эротической литературы» была произнесена 14 июня 1948 года в парижском клубе «Сент-Джеймс». Ее текст, а также незавершенный рассказ «Трахула» впервые были опубликованы в сборнике *Écrits Pornographiques* (1980).

Габриэль Витткоп (Gabrielle Wittkop, 1920–2002). Публикации в МЖ №№ 61 и 62. В издательстве «Kolonna/Митин журнал» вышли книги «Некрофил», «Торговка детьми», «Каждый день – падающее дерево», «Сон разума», «Образцовая смерть».

Марсель Жуандо (Marcel Jouhandeau, 1888–1979). «Тиресий» – третья книга из цикла «Тайные сочинения», опубликованного анонимно в 1954 году. Первые две книги – «Тайное путешествие» и «Блокноты Дон-Жуана», равно как и другие сочинения Жуандо, на русский язык не переведены.

Юлия Кисина (1966). Стихи и проза публиковались в МЖ №№ 19, 24, 27, 30, 31, 33, 35, 51, 60, 62. В 2008 году в издательстве «Kolonna/Митин журнал» вышел сборник рассказов «Улыбка топора». Живет в Берлине.

Освальдо Ламборгини (*Oswaldo Lamborghini*, 1940–1985) – подробную библиографию см. на с. 438.

Василий Ломакин (1958). Стихотворения публиковались в МЖ № 61. В 2004 году вышла книга «Русские тени». Живет в Вашингтоне.

Дмитрий Мамулия (1969). Фильмы: «Locus severus» (2006), «Москва» (2007), «Другая земля, другое небо» (2009). Публикации в изданиях «Комментарии», «Обойный гвоздик в гроб московского романтического концептуализма», «Text Only», «Воздух», «Сенанс». Монография «Dreimal Hesse», сборник «Птица внутри». Живет в Москве.

Эд Мэдден (*Ed Medden*) – поэт, литературовед, профессор Университета Южной Каролины. Статья «Анус Тиресия» опубликована в журнале *French Literature Series* 34 (2007).

Валерий Нугатов (1972). В издательстве «Kolonna/Митин журнал» вышел сборник стихотворений В. Нугатова «Fake» (2009), книги Г. Витткоп, Д. Парди, А. Кроули и П. Боулза в его переводе. Живет в Москве.

Михаил Осокин (1980), кандидат филологии, обозреватель Полит.Ру. Живет в Москве.

Джеймс Парди (*James Purdy*, 1914–2009). Русские переводы романов «Малькольм» и «Я – Илайджа Траш» выпущены издательством «Kolonna/Митин журнал».

Егорий Простоспичкин. Рассказы публиковались в МЖ №№ 60, 61. В 2003 году в издательстве «Kolonna/Митин журнал» вышел сборник «Разговоры с Донной Анной». Живет в Германии.

Павел Соболев (1973). Автор рецензий на книжные новинки на сайте «Среда». Живет в Таллине.

Ролан Топор (Roland Topor, 1938–1997) – художник и прозаик, основатель (вместе с Алехандро Ходоровским и Фернандо Аррабалем) Панического движения. Текст «Подлинное естество ДЪВЫ МАР!И» опубликован в 1995 году отдельным изданием с иллюстрациями Майкла Бастоу.

Алехандро Ходоровский (Alejandro Jodorowsky, 1929) – кинорежиссер, прозаик и автор комиксов. Фильмы: «Фандо и Лис» (1967), «Крот» (1970), «Священная гора» (1973), «Святая кровь» (1989). В издательстве «Колонна/Митин журнал» вышли книги «Альбина и мужчины-псы», «Плотоядное томление пустоты», «Попугай с семью языками», «Сокровище тени». Живет в Париже.

Издательство «Митин Журнал» представляет книги Габриэль Витткоп

КАЖДЫЙ ДЕНЬ – ПАДАЮЩЕЕ ДЕРЕВО

Габриэль Витткоп (1920–2002) говорила то, что думала, жила, как хотела, и умерла, как сочла нужным: приняв цианистый калий за два дня до Рождества – праздника, который она презирала. Холодные, мизантропические и блистательные книги Витткоп ее биограф сравнил с чудесным ядовитым цветком. Опубликованный посмертно роман «Каждый день – падающее дерево» – это портрет двойника автора, надменной и безжалостной Ипполиты, вспоминающей свою жизнь, озаренную гордым пламенем презрения к человечеству.

ТОРГОВКА ДЕТЬМИ

Маркиз де Сад – самый скромный и невинный посетитель борделя, который держит парижанка Маргарита П. Ее товар – это дети, мальчики и девочки, которых избранная клиентура использует для плотских утех. «Торговке детьми», вышедшей вскоре после смерти Габриэль Витткоп, пришлось попутешествовать по парижским издательствам, которые оказались не готовы к ледящим душу сценам. Вторая повесть, вошедшая в сборник, «Страстный пуританин», тоже посвящена предосудительной страсти: ее герой влюблен в тигра. Самое трудное для читателя Витткоп – понять, что это не литературная игра, не маска: автор действительно думает то, что пишет. «Можно написать всё, если знать как», – говорила писательница в одном из последних интервью.

СОН РАЗУМА

Муж забивает беременную жену тростью в горящем кинотеатре, распутники напивают шампанским уродов в католическом приюте, дочь соблазняет отцовских любовниц, клошар вспоминает убийства детей в заброшенном дворце, двенадцатилетнюю девочку отдают в индонезийский бор-

дель... Тревога – чудище глубин – плывет в свинцовых водоворотах. Все несет печать уничтожения, и смерть бодрствует даже во сне.

ВЕЧНЫЙ АЛЬМАНАХ ГАРПИЙ

Гарпии вездесущи и всегда настороже, так что нам от них не ускользнуть. Ключ к разгадке кроется в их имени – «похитительницы», «воровки». Они персонифицировали критское божество смерти, представленное в «Одиссее» бушующим ветром. В индуистской теогонии они становятся демонами небосвода, прекрасными, как крупные хищные птицы. Непрестанно меняясь из века в век, они принимают все новые, непривычные обличья, перетекающие одно в другое в вечном движении, похожем на волнение моря, где они и зародились. Они стары, как небо, и стары, как смерть. Гарпии – образ пожирающей Матери, космического существа, которое глотает и извергает в одном вечном двойном движении. Поэтому они родственны бородатым сиренам, богиням-змеям, изрыгающим большие реки, божествам хтонических глубин. Если вам снится, что вы едите печень гарпии, вы скоро умрете.

ОБРАЗЦОВАЯ СМЕРТЬ

Книга Габриэль Виткоп посвящена забавным обличьям, которые принимает смерть. Где провел последние часы своей жизни Эдгар По? Почему его труп был облачен в чужой костюм на несколько размеров больше? Куда делась юная английская туристка, осматривающая красоты Рейна, и отчего ее кости оказались на заброшенной башне? Кто похитил господина Т., решившего прогуляться по джунглям? Все истории подлинные, кроме последней: о жизни, любви и смерти прекрасных близнецов-гермафродитов.

Издательство «Митин Журнал» представляет

Джослин Брук. ЗНАК ОБНАЖЕННОГО МЕЧА

Конец 1940-х годов. Европа ждет новой мировой войны. Рейнард Лэнгриш, скромный банковский клерк, втягивается в таинственную систему военных учений и против своей воли становится бойцом непонятно с кем сражающейся армии. Его однополчане носят знак обнаженного меча на предплечье. Но началась ли война или это темные иррациональные силы испытывают рассудок героя? Первое русское издание романа классика английской литературы Джослина Брука (1908–1966) приурочено к столетию со дня рождения писателя.

Ладислав Клима. ПУТЕШЕСТВИЕ СЛЕПОГО ЗМЕЯ ЗА ПРАВДОЙ

— Кто я? Кажется, сам Бог не знает ответа на этот вопрос. Одно знаю точно: я живу, чтобы найти свинцовый медяк благодатного индейца Рацапи. Я долго искал эту монету, пока Мерлин не сказал мне, что я обрету ее только тогда, когда в моей собственности окажется бивагинальный слизистый мешок. Тогда я стал искать слизистый мешок, искал долго, но безнадежно — пока одна ученая крыса не объяснила мне, что для этого мне сначала надо повстречаться с синим псом, прозреть его кишки насквозь и раскрыть секрет. Но как же, даже если я его увижу, узнать, что он синий, ведь я слеп!

Пьер Гийота. КОМА

В конце 1970-х годов Пьер Гийота начал писать «Истории Самора Машеля» — гигантский роман о судьбе алжирского раба, соблазнителя и пророка, торгующего собой. Писательский труд потребовал непомерной концентрации воли и постепенно стал вытеснять реальность. Пьер Гийота перестал есть и питался только компралгилом — анальгетиком, который

в ту пору можно было купить без рецепта. В декабре 1981 года Пьер Гийота впал в кому: он спустился в бездну самоуничтожения и воскрес. «Кома» – книга о том, как дух поедает тело.

Йозеф Вахал. КРОВАВЫЙ РОМАН

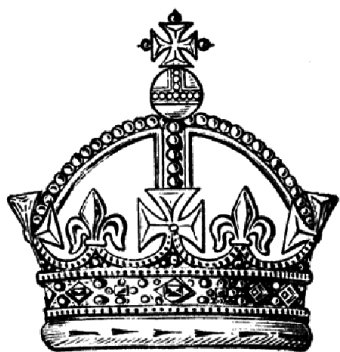
Созданный прямо в типографском наборе без рукописи «Кровавый роман» – литературный памятник, которому нет аналогов. Его можно воспринимать, как образчик автоматического письма, которое проповедовали сюрреалисты, как постмодернистский коллаж, пародию, произведение книгопечатного искусства, а можно просто читать как забавный приключенческий роман. Выпущенный в 1924 году тиражом 17 экземпляров для коллекционеров, «Кровавый роман» приобрел колоссальную популярность в начале 90-х годов, через четверть века после смерти его автора, художника и оккультиста Йозефа Вахала. Роман многократно переиздавался, был экранизирован, и ценители называют его лучшей книгой, написанной в двадцатом столетии на чешском языке.

Юлия Кисина. УЛЫБКА ТОПОРА

Юлия Кисина – человек с того света, житель двух миров – Европы и России, культурный мутант. Она ловко расправляется с прошлым и не щадит будущее. Ее тексты – хирургическое вмешательство в жалкую и героическую жизнь Фантома под названием «наше сентиментальное прошлое».

Валерий Нугатов. FAKE

Беззаконный бриллиант новейшей поэзии, черная звезда московской поэтической сцены – Валерий Нугатов отравит ваш покой, растопчет ваши хрупкие иллюзии, нарушит все ваши надуманные запреты и табу и взорвет изнутри ваш мозг.



25

**Do what thou wilt
shall be the whole of the Law**